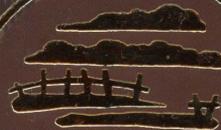


5

С. В. МАКСИМОВ



Сергей Васильевич

МАКСИМОВ



Собрание сочинений

ТОМ 5



Сергей Васильевич  
**МАКСИМОВ**

Собрание сочинений  
в семи томах

Сергей Васильевич

# МАКСИМОВ

---

---

Собрание сочинений  
в семи томах

Сергей Васильевич

# МАКСИМОВ

---

---

Собрание сочинений  
в семи томах

ТОМ 5

НА ВОСТОКЕ

Москва 2010

 **КНИГОВЕЖ**  
КНИЖНЫЙ КЛУБ | BOOK CLUB

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос=Рус)1  
М17



*Внешнее оформление художника*  
**А. БАЛАШОВОЙ**

**Максимов С. В.**

**М17**      Собрание сочинений: В 7 т. Т. 5: На Востоке: Путевые заметки; Примечания. — М.: Книжный Клуб Книгоvek, 2010. — 640 с.

ISBN 978-5-4224-0033-1 (т. 5)  
ISBN 978-5-4224-0028-7

Сергей Васильевич Максимов (1831—1901) — русский путешественник, писатель, исследователь-этнограф, знаток русского быта.

Глубокое знание быта и нравов народа, правдивость и живость зарисовок обеспечили С. Максиму подобающее ему достойное место в русской литературе.

По поручению Морского ведомства в 1860—61 годах автор совершил путешествие на Дальний Восток с целью изучения Амурской области, путешествие это повлекло за собой ряд статей, а затем легло в основу книги «На Востоке», которая вошла в пятый том собрания сочинений.

**УДК 821.161.1**  
**ББК 84(2Рос=Рус)1**

ISBN 978-5-4224-0033-1 (т. 5)  
ISBN 978-5-4224-0028-7

© Книжный Клуб Книгоvek, 2010

**НА ВОСТОКЕ**

---



## ВВЕДЕНИЕ

В четвертый раз судьба снимает нас с обсиженного уже и привычного места, сделавшегося если не родным вполне, то дорогим по многим воспоминаниям; в четвертый раз случай — редкий, но всегда дорогой гость — отнимает у нас лучшее из достояний, добытых родством, привычкой и дружбой, и снова ведет на чужбину, в чужие люди, в неизвестность. Сумев однажды развязать узел, связующий нас с существами, дорогими сердцу, мы в четвертый раз заметно равнодушнее переносим неизбежную разлуку. Решившись на дальнюю поездку, в четвертый раз мы уж не боимся дорожных невзгод и лишений и помним толковую русскую пословицу, которая прямо говорит нам, что «путь-дорога красна не сном, а заботой». Но отчего в этот раз, как в былые и памятные прежние, томит нас тоска (не по родине), мучит нас скука (не одиночества), неотступно преследуют сомнения не в возможности добраться до места, не в слабости сил физических, иначе не для чего было подниматься с места? Но отчего мы испытываем беспокойство, неловкость положения? Отчего самые простые, обыденные вещи кажутся нам чем-то роковым, неприветным: кибитка, как стены каземата, душит нас и волнует; дорога, на этот раз гладкая и удобная, кажется шероховатой степью, которая ведет нас куда-то в темную, мрачную неизвестность?

Вот вопросы, которые и на этот, четвертый раз так же неотступно восстают в воображении и наполняют все помыслы, как это было и в первые три раза. Попробуем разъяснить их себе, насколько позволит нам

сделать это память, уменье и силы. Кладем в основу откровенность, личные наблюдения, голые факты, целостно взятые из жизни. Возвращаюсь ко временам прошлым и начинаю сначала.

В мае 1855 г. я оставлял Петербург для некоторых уездов Владимирской губернии, населенных теми промышленниками, которые в разных местах России носят разные названия. В большей части случаев они известны под общим прозванием: *офеней, ходобщиков, коробейщиков, разносчиков*; в Малороссии называют их *варягами*, в Белоруссии — *маяками*, на севере Великой России — *торгованами*, в Сибири — *суздалами*, на Кавказе — *вязниковцами*; сами себя зовут они *мазыками*. Селениями своими они преимущественно группируются в Вязниковском и Ковровском уездах Владимирской губернии, очень мало их в Шуйском, почти нет в Гороховецком и положительно нет в Суздальском. Торгуют они образами, книгами, красным товаром, сыром, каперсами, колбасами — всем тем, что успело залежаться и прогнить в московских лавках Ильинского ряда, всем тем, на что падок и помещик, и деревенская девка, и баба, и сельский поп, в чем нуждается и богатый, и грамотный крестьянин, и щеголиха попадья, и помещица, и волостная писарша, и почтальонша, и проч. Для того чтоб крупнее обманывать и легче (для своих работников, темнее для покупателей) объяснять все тонкости надувательства, у купцов этих существует особый язык — *офенский*. Несколько десятков слов для примера поместил в 1839 г. в «Отечественных записках» г. Срезневский с коротеньким предисловием; еще меньшее количество слов уделили какие-то из номеров «Владимирских губернских ведомостей».

Вот все те наличные сведения, к которым могли привести меня печатные источники и с которыми мне привелось выезжать из Петербурга на новое дело, непривычное, затеянное первый раз в жизни. Позади — ничтожная практика, сложившаяся из цепи случайно-

стей, когда смотрелось на дело с точки зрения фланера, дилетанта и никак не работника, обязанного известным делом и непреложным обетом. Впереди — темное дело с темным успехом, даже с вероятностью неудачного исхода, тем более что опять-таки позади ни одного примера, никакой школы и поучения: масса путешествий — и в них конечные результаты, последние выводы и ни одного намека на закулисные, так сказать, рудниковые работы; значительное число путешественников — и все они или роются в архивах, добывая исторические материалы и заявляя их миру, или собирают травы, камни, наслеживают отмены, разновидности животного царства; таковы П. П. Свиньин, Лепехин, Гмелин, Паллас и многие другие; и затем почти ни одного слова для этнографии и за этнографию. Почти двадцать лет раздается в бесприветной пустыне один голос Владимира Ивановича Даля, голос сильный, заслуживший почетный авторитет, взятый с боя без уступок, без апелляций. Голос этот не остался без приветов и ответов: «Журнал министерства внутренних дел» стал наполняться этнографическими статьями, которые заметно ослабели в числе и качестве, когда вновь основанное Географическое общество заявило свои издания: «Записки» и «Вестник». И тут и там, и в литературных журналах стали часто появляться этнографические статьи, но везде с конечным итогом, с последним выводом. Везде тщательно и кокетливо припрятывались предуготовительные, закулисные работы, те, которые могли бы давать и примеры и поучение. Оставалось идти по заветному русскому обычаю наавось, положиться на случай, попытаться придумать свои средства и запастись возможно большим терпением. Я так и сделал.

Быстро примчала меня железная дорога в Москву; скоро очутился я у Рогожской заставы, где большой тарантас, шедший в Нижний, дожидался только одного попутчика. Извозчики, по обыкновению, накупились на меня огромной толпой: видимо, рады были моему

появлению; запросили с меня огромную сумму, считая за новичка, и не ошиблись. Сев в тарантас, я имел удовольствие слышать от одного соседа, что он заплатил только половину моей суммы и ехал до Нижнего, а от другого, что он заплатил против меня вдвое и ехал не до Вязников, как я, а только до Владимира. Все, словом, случилось так, как бывает это и до сих пор, по положению: раньше пришел — оплатишь всю дорогу; позже пришел, да узнаешь, что седоки есть, заплатишь ничтожную сумму, которую иной раз стыдно выговорить; самым последним пришел — при отъезде, когда уже не только окуплена вся дорога, но и взят крупный залишек, — уедешь чуть не даром. Во всем уменье и сноровка и такова уже логика, исконный порядок и обычай всех ямщиков у Рогожской.

Показали мы билеты свои на заставе, заплатили шоссейную пошлину и поехали. Ямщик у нас бесслезный, беззастенчивый, разговорчивый; каждого спросил: куда едет, кто таков, зачем. Дошел и до меня черед.

— Отгадай! — предложил я ему.

— Да как тут тебя судить? Дело темное. Пальто, вишь, на тебе из парусины, надо быть, шито; шапка не рваная. Кто тебя знает, что ты такое?

— Так на то, поди тебе, и голова в плечи ввинчена, чтоб знать да думать, и на то ты извозчиком зовешься, чтоб сразу отгадывать и в один дух догадываться о седоке; а затылком-то я и сам, брат, крепок.

— По речи-то по твоей равно бы ты из кутейников. Они больно на язык-то зубасты бывают.

— Зачем же ты изругался-то?

— Кутейником назвал? Извини! Так я тебя и духовенством могу взвеличать — изволь, сделай милость!

Так и вышло: всю дорогу до Вязников я слыл под именем духовного. Замешкался ли я на станции — «Духовного нет», — замечал ямщик. «Какого духовного?» — спрашивали товарищи. «А что в белом-то».

— Не бросай, господин духовный, окурок-от, дай мне. Как ты вот уже в попах трубку-то будешь курить — за волосья трепать станут.

— А что, господан кутейник... то бишь духовный господин, подыскал ли ты себе поповну-то? Без того ведь и места не получишь.

— Учат ли вас науке-то этой, чтобы по звездам читать и сказывать, что какая звезда значит, духовный человек?

И все в таком роде и в подобных выражениях, обращенных в большей части случаев в форме вопросов, по которым можно было видеть не пытливого исследователя, а простого, праздного расспросчика, который оттого и задает волросы, что ему больше делать нечего. Он меня успел уже спросить (и не один раз): на чем сви-нья хвост носит? как выходит по науке: к слезам или к радости левый глаз чешется; шуринов племянник как зятю родня? муж с женой, брат с сестрой, шурин с зятем: сколько народу стало? — словом, это был ямщик, распущенный, избалованный купеческой повадкой и баловством, ямщик, который хорош был бы в лакейской компании, едва ли пригоден к другому делу, помимо легкого дела — извоза, и, наверное, не устоял бы в такой работе, которая требует и внимания, и догадливости, и сметки, а потому-то он, наверное, и состоит в ямщиках.

Спутники мои на этот раз оказались тоже несостоятельными игодились только на то, чтобы идти в долю на чай, на порцию селянки, на пару пива. Один оставил нас во Владимире, его место занял другой, еще хуже, а в Вязниках оставили меня и те и другие — и старые мои спутники, и новые.

В Вязниках я остался одинок, без советника, без руководителя на постоялом дворе, остался потому именно, что из Вязников путь мне лежал всторону за Клязьму, где в 40 верстах лежало село Холуй, с иконописцами до последнего обитателя, с окрестными деревнями и

селами, заселенными исключительно одними офенями. Там моя Мекка, моя Медина, мой Эльдорадо!

Толстый, безобразно толстый и (вследствие того) флегматический дворник оставался пока единственным моим советником, руководителем, другом, если я имел только право на это последнее название тогда и если не принимать в расчет его грубые, краткие ответы, которые обижали меня вначале с непривычки, от незнания и неумения освоиться с настоящим своим положением, — так я решил впоследствии; но на первых порах выговорил-таки дворнику этому свое неудовольствие:

— Видимся мы с тобой впервые, другой раз, может быть, и не сойдемся; знаем мы друг друга всего только без году неделю. Я тебя не обидел и говорил-то с тобой — только квасу попросил, а такой ты сердитый, неразговорчивый! Ляпнул мне давеча один короткой да крутой ответ, и то словно бык рогатый в бочку рывкнул.

— Да вы из дворян, что ли?

— А хоть бы и так, положим, на первый раз.

— Ну так извините: так и знать станем. Что же вам от меня надо?

— Хочется знать, как в Холуй проехать?

— А по дороге надо ехать.

— Остроту твою чувствую, а не дивлюсь: толку-то она мне мало сказывает.

— Надо лошадей нанять.

— Не коров же, полагаю.

— По званию вашему надо тройку взять: у меня есть на дворе угарная. Прикажите — сейчас подадим.

— А сколько возьмешь?

— Да десять рублей на серебро: ведь в сторону.

— За сорок-то верст?

— За тридцатьвосемь с половиной.

— Ну, бог с тобой! У меня таких денег нет.

— Нет, так и разговору нет. Попутчика ждать придется вашей милости.

— А долго?

— Как Господь благословит: может, неделю, может и больше а, может быть, и сейчас навернется...

Все, видимо, располагается не в мою пользу: мало обнадеживает успехом; к тому же первый блин, да тот комом. Все начинает глядеть на меня как-то сумрачно, сухо, неприветливо; ничто не радует, ничто не увлекает. Корова подошла почти ко мне, вытянула шею и неистово, почти над самым ухом моим, промычала раз, другой, третий, десятый, без пауз, один за другим. Зачем, к чему, ради какой причины? Бросил я в нее палку — она отошла и опять заревела. Собака выбежала из подворотни, залаяла на нее и погнала; побежала корова, подняв хвост, и прямо на мост, вприскок. А под мостом, уж верно знаю, полощутся утки и шепчутся; пошепчутся в октавных тонах и опять пополощутся. Одна утка кончила, вышла из воды и пошла (что купчиха толстая, переваливаясь с боку на бок) в гору; за ней потянулась другая, третья, десятая. Вон вышли они из-под моста и все у меня на виду, и все вытягиваются в линию, в прямую линию, и тянутся гусем; одна сбилась с ноги и спешит поправиться, сравняться и не нарушать порядка — истые солдатики на батальонном учении. И опять идут новые утки, переваливаясь с боку на бок и покрякивая, шепчутся между собою — о чем? на каком языке? Вот сильно зашумела и понеслась за Клязьму огромная туча угорелых воробьев: видно, напугал их сторож и согнал с любимых мест, с вишневых кустов, которыми усыпана вся вязниковская гора направо... Вон пронесла тройка какого-то счастливец в Москву; сидит он в пыли весь; колокольчик выколачивает свою дурацкую, ленивую песню. Скучно и досадно! Скучно потому, что сумел себя выбросить в незнакомое, непривычное место; досадно потому, что третьи сутки жду и не дождусь избавителя-попутчика.

Но вот и он наконец.

Сидели мы с дворником на крылечке. Я объяснял ему, отчего у человека жир нарастает, отчего у него

икота делается и как от подобных неприятностей избавляются люди. Он жаловался мне на тягость жизни по летам от жары и жиру, на необходимость потреблять огромное количество квасу ежедневно, почти еже часно, говорил, что его и вода не принимает, что он на ней, как на постели, может ворочаться: и на спине лежит, и на любой бок может повернуться, а окунуться при купанье — труд великий.

— Свиная жизнь, — прибавлял он, — ходишь да хрюкаешь.

Словом, разговоры наши шли своим чередом и носили характер казенный, обыденный. В воротах между тем застучала телега, и на двор въехала пара лошадей с двумя седоками. Один из них рылся в телеге, другой ловко соскочил на землю и обратился к дворнику с тем же вопросом, с каким и я дня три назад.

— У нас лошади есть, да дороги, — отвечал ему дворник. — Ступай поищи в слободе: там найдешь охотников. Тебе куда ехать-то?

— В Ряполово.

— Так вот тебе до Холуя попутчик.

Дело шло обо мне. Сговариваться приводилось недолго: решили платить пополам, и дело поступило в архив как оконченное. Товарищ мой повертелся недолго около телеги, на дворе и в избе. Изумил меня своею юркостью, лихорадочною подвижностью, бойкими глазами, которые ни на один момент не сосредоточивались на одном и том же предмете; непрерывное движение рук и подергиванье плеч обличало в нем если не болезнь, то долгую привычку в спешных и торопливых работах. На мои глаза, это был купеческий приказчик, любимый у хозяина, доверенный у него и главный.

— По-нашему, попросту, офеня это, — объяснил мне дворник, по уходе товарища.

— Вон и тот непременно офеня, — продолжал он потом. — Теперь они в деревню, на побывку едут — время такое: много съезжается; ужю чрез неделю доползут, что воронье, успевай лошадей припасать.

Но у меня уже сердце на первых словах переполнилось радостью; и чем дальше и больше говорил мне дворник, тем сильнее возрастало мое нетерпение и душевный восторг. Предмет исканий сам дается мне в руки, и так легко и скоро, без всякого труда! Надо теперь подойти к нему осторожнее и выпытать правду, но так, чтоб он не замкнулся в своей толстой раковине, а распустился бы, как цветок на весеннем солнышке, всецело до последнего, самого мелкого лепестка. Если офеня — думалось мне в то же время — умеет надувать всю Россию, надувал когда-то в Венгрии, в Австрии, надувает теперь своего брата, хозяина, то сам, в свою очередь, наверное, нелегко поддается обману. Да еще и сумею ли придумать, сумею ли приложить к делу, сумею ли управить за всеми изворотами и направить к искомому результату: не попасть бы мне на мель, и не сесть бы тут надолго; не наскочить бы на скалу и не разбиться бы вдребезги. Но попытка не пытка, спрос — не беда, попробуем!

Сел я с офеней и поехал. Ехали мы недолго, за Клязьмой тотчас же слезли с телеги и пошли пешком. Жара была невыносимая, на телеге жар пропекал нас до мозга костей и напоминал нам о себе, за неимением дела, ежеминутно. Пошли мы пешком, задали себе работу — о жаре почти и забыли; закурили трубки, повели разговор с обыкновенных вопросов: кто мы, зачем и откуда.

Я — семинарист, отыскиваю место учителя.

Он — торгующий. Живет у хозяина, в Оренбургской губернии; три года не был на родине; идет отдохнуть и повидаться с родными.

— Стало быть, вы офеня?

Сердитый взгляд и короткий ответ:

— Мазыки.

— С коробком ходите?

Опять медвежье взглядые и снова короткий ответ:

— С коробками мелкота ходит, здешные.

— А вы-то как же?

— Мы в лавке сидим, а на ярмарки с возами ездим.

— Извините: нечаянно, не думавши обидел вас.

Офеня мой промолчал: видимо, простил меня. И опять молчит, сосредоточенно покуривая трубочку и сплевывая. Хочется мне опять приступить к нему, натравить его на разговор; но с какого конца? Боюсь опять не рассердить бы его, не ухватить бы за живое место. Попробую.

— И долго вы пробудете дома?

— Сколько прогостится, сколько сможется.

— Да ведь хозяин, вероятно, на срок отпустил.

— Хозяин нам в этом деле не указ; мы на него больше зависимость кладем, чем он на нас.

— Ну да врешь же, парень! — перебил его наш ямщик, давно уже прислушивающийся к нашему разговору. — Прогостишь-то ты, чай, до Макарьевской ярмарки, а там тебе велено в Нижний ехать, товары принять, да и везти их на место, к хозяину.

Спасибо, ямщик! спасибо за то, что поддержал ты меня, вывел большое дело наружу. А кому и знать офенские обычаи, как не тебе: не первый же год ты, поди, с ихним братом водишься, да и сосед такой ближний, может быть, и сам в былые поры офенствовал.

Так думал я про себя, но сказать вслух не решился: боялся. Офеня наш упорно молчал: обидчивый такой, суровый. Опять камень преткновения! Что тут делать с ним? Печальный, сиротливый вид дороги и окрестностей местности наводит на мысль, подает надежду опять завести беседу.

— Все-то здесь песок, все-то одно Божье дерево, ни ржи не видать, ни ячменю: видно не сеют их?

— Не сеют совсем почти.

— Да вон и болота пошли, на болотах озерки, что лужи, расплылись, длинные такие и рыбные, думаю.

— Заводями зовем; а рыбы в них нет никакой.

Много мест на святой Руси видел я, а таких печальных, таких горемычных, Богом обиженных не видывал.

— Наши места еще хуже.

— Могут ли быть хуже этих?

— А потому и могут, что у нас все болота, все зыбучны, все заводи. Здесь хоть река есть, и хорошая река, песок есть, а мы и тем обездолены...

— Скучно же вам жить, — сказал я, чтоб только сказать что-нибудь.

— Отчего наш народ на чужую сторону весь потянулся, как вы думаете?

— Вам это лучше знать, вы такой мудреный и задумчивый: надо быть, много знаете, да не любите скрывать.

Офеня мой приятно и снисходительно улыбнулся (видно попал я в шляпку гвоздя, что называется). И дух у меня захватило; думаю, что он скажет; но он снова обратился с вопросом:

— А как вы думаете?

— Вы это лучше меня понимаете: вам и книга в руки.

Офеня мой опять снисходительно улыбнулся и отвечал:

— Оттого народ и ходит в чужие люди, что дома жить нельзя: ничего ты с нашей горемычной землей не поделаешь, хоть зубами ты ее борони да слезами своими поливай. Так-то!

— Ну да, брат, и повадка тут большую силу имеет! — опять раздается спасительный голос ямщика.

Офеня молчит, снисходительно выжидая чужого мнения. А мне лучше, мне приятнее. Из споров выходит правда. Офеня молчит, но не молчит ямщик:

— Ведь и вы, что и другой кто, — говорил ямщик, — как бараны: один потянулся, так и все за ним шаркнулись.

Решился и я в свою очередь поддержать ямщика:

— Ярославцы в московских и петербургских гостиницах живут половыми...

— Точно! — в свою очередь поддержал меня ямщик.

— К чему же ваша речь клонится? — спросил меня офеня, и в вопросе его прозвучал тот же тон снисходительного внимания и благосклонной, милостивой уступки, которым обыкновенно отличаются все немногочисленные, но хвастуны и спорщики.

— А к тому моя речь клонится, что если где завелся половой из ярославцев и удалось этому половому сделаться буфетчиком, то уж скоро и, наверное, весь трактир будет наполнен ярославцами.

— Верно! — поддакнул ямщик.

— И вот почему вся Ярославская губерния или по крайней мере большая половина ее состоит в половых. Других ярославцев я знаю только огородниками да малярами.

— Да уж ты, брат офеня, что ни толкуй, а повадку вам эту насчет дальней торговли Синельников да Дунаевы дали. До них — сказывала старуха матушка — редкий который из ваших офенствовал. У Дунаевых, сказывают, офенские артели десятков до двух доходили; и где-где работники ихние не таскались! Потом, ведь, уж вас на место-то усадили да велели к городам приписываться и торговать там, где указ застал. С тем, брат, и получай! малога ребенка пришли — не обманем.

Я молчал и слушал. Разговор начинал принимать благоприятный для меня оборот и даже историческую форму. Ямщик говорил:

— Что бы вы до Дунаева-то сделали, коли бы он не указал вам на красные товары?

Офеня молчал.

— Ничего бы не сделали, хоть и богомазы подле вас живут: иконами-то не много бы наторговали.

— Иконы меняют, а не продают, — поправил офеня.

— Ну да, ведь, на деньги же, брат, меняют-то. А ты на словах-то меня не лови: знаю я сам, что знаю. А ты скажи мне, отчего ты сам-то торгуешь?

Офеня молчал.

— Скажи-ко? — приставал ямщик.

Офеня продолжал упорно молчать.

— Ну так я скажу за тебя: торгуешь ты чай оттого, что, поди, у тебя хозяин свояк, брат двоюродный, а может, и дядя родной. А что уж он из одной с тобой деревни — так это, брат, верное слово его то было (кивок головой на меня).

Офеня на слова эти опять снисходительно улыбнулся, но не замедлил ответить:

— Отгадал!

— Да уж это мы тебе как по печатному — верно так.

И, в свою очередь, самодовольно улыбнулся ямщик. Рад был и я его радости, тем более что, по-видимому, офеня наш был один из таких, которые крепко поняли свое ремесло и все тайные его изгибы и лазейки, и обязали себя строгим обетом молчания. С такими людьми тяжело вести дело: они, как тюремные стены, и многое видели, и многое слышали, но не дадут ответа. Несчастен тот час, когда с ними сходишься; самое тяжелое и трудное время в жизни, когда с ними сближаешься. Таким на первый раз показался мне и наш офеня; показался бы он мне и простым дураком, мало мыслящим, небойким на язык; но если офеня — плут вообще, то опять-таки плут дураком не бывает. Беседа с офеней начала казаться мне уже невозможной; оставалось надеяться на будущих, дальних. Но если один такой угрюмый и скрытный глаз на глаз с тобой, то что же можно ожидать от будущих, дальних, которых придется ловить и выспрашивать не по одиночке, а в целой артели? Вероятнее неудача, чем какой-либо успех; и опять холодом обдало сердце, и опять начали приступать и тоска и опасение. Но будет что будет! А между тем мы уже подъехали и к Холуйской слободе, к цели первоначальной моей поездки. Здесь оставляет меня суровый мой спутник: здесь я решил остановиться, потому что, как известно, слобода Холуй населена иконописцами, промысел которых тесно связан с офенством. Дело мое здесь идет успешнее, потому что работа вся

на виду и далеко не секрет. Пишет образа и мой хозяин, у которого я нанял светелку, пишут образа во всех домах, и не пишет их только мельник, и то потому, что сделался мельником (но и он писать умеет), да еще другой — здоровый, шутливый парень, который живет в шалаше и собирает с возов гроши и пятаки за проезд по мосту, наведенному через реку Тезу. Река эта делит Холуй на две половины и на два прихода, в той и другой половине каменные церкви; есть каменные дома; та и другая половины принадлежат разным помещикам. Бесплатный нестеснительный переход по мосту дает возможность часто бывать на той стороне и на этой. Вижу я и тут и там большие хозяйства; вижу стол; за одним сидит рабочих меньше, за другими больше; но у тех и у других одни и те же обычаи, раз заведенные и потом замороженные. Маленькие мальчишки растирают краски, подростки грунтуют и выглаживают доски, взрослые пишут иконы. Отмен никаких, исключения ничтожны. Одни из мастеров пишут *долишное*, то есть ризы, одежду, детали и орнаменты, образцы которых указаны киевскими святцами (с изображением святых); но главное всего пример учителя и те образцы, по которым выучился маляр и на которых он остановился, не делая шагу вперед, не думая ни об улучшениях, не стараясь познакомиться с иными, лучшими учителями, современными образцами. Другие мастера пишут только *лишное* (говоря их же выражением), т. е. лица. Почасту случается так (особенно у богатых хозяев), что тот, который умеет писать долишное, не умеет писать лиц, и наоборот; сделав свое дело, он передает доску другому работнику для окончательной отделки. Мастер, способный написать целую икону один, без помощника, почитается художником и составляет исключение. Так, по крайней мере, полагается в Холуе, который, как известно, приготавливает дешевые иконы, писанные обыкновенно яичными красками, и хорошими мастерами не хвалится. Лучших, то есть умеющих писать масляными красками, я нашел уже в других, богатейших се-

лах Мстёре и Палехе. В одном приготавливаются образа старообрядские, в другом — такого письма, которому позавидывали бы даже мастера лаврские (киевские и сергиевские), хотя и они все-таки, в свою очередь, далеки еще от совершенства. Приемы в производстве работ оказались те же самые, что и в Холуе.

В Холуе я дождался Тихвинской ярмарки. Ярмарка эта показала мне то, чего я не мог бы добиться в другое время и никакими силами. На ярмарку эту приехали московские купцы, ивановские и офени. Ивановские привезли сукна и красный товар, московские — чай и сахар и те лубочные диковинки, которые в форме картин пестрят все рядские проходы и ворота в Москве и в форме книг украшают рядские прилавки (и не только в Москве, но и по всей России). Книжки продаются здесь десятками и на вес, картины — пачками и стопами, красный товар — на аршин и штуками. Те и другие скупаются офенями, но офенями *мелкотой, хозяйчиками*, которые начинают только торговать и расторговываться. Крупные, говорят, делают закупки в Нижнем, на ярмарке. Тогда же холуйцы сбывают предметы и своего производства тем же офеням, и в малом числе москвичам. На ярмарке этой привелось мне натолкнуться и видеть все те сцены, которые, охотно просясь на перо, неудобно ложатся на бумагу и которые в десятках изустных анекдотов разошлись по всей России. Тогда же привелось мне окончательно убедиться и в том, что холуйцы смотрят на свое дело как на простой, обычный ручной промысел, что они точно так же легко могли бы быть и ткачами, как соседи их, шуйские, и что иконописцы они потому, что так уже сложились исторические причины. Помимо того что холуйцы отдают все, что успели заготовить, офеням (которые все это развезут и разнесут потом по дальним углам и закоулкам России), они и сами, в свою очередь, делают необходимые запасы. Изумительно быстро, до ранней обедни, успевают расхватать все возы с *досками* еловыми, ольховыми и дубовыми, возы, являющиеся сюда

обыкновенно из дальнего Семеновского уезда Нижегородской губернии. Тогда же холуйцы запасаются и всем нужным для жизни, кроме хлеба, который берут они в десяти верстах от села на так называемой Пристани на Клязьме. Не будь этой пристани и Тихвинской ярмарки, Холуй существовать бы положительно не мог: хлеба в нем не сеют ни зерна, ремесл, помимо главного, не знают никаких; нет у холуйцев ни кузнеца, ни швеца, ни сапожника. Работая пять дней в неделю и сбывая готовый материал одному из местных богачей-скупщиков на чистые деньги, они спешат купить хлеба только на неделю, и затем остатки тотчас же пропивают в субботу, и затем в воскресенье большего пьянства, как в Холуе, я не видал уже нигде ни прежде, ни после того.

Две недели прожил я в этом селе, собирая сведения не по обдуманному плану, а наугад, как они доставались и сообщались случайно: дело неопытное, дело новое! Хотелось мне поскорее добраться до офеней, и тот же Холуй доставил мне этот случай и легко и просто.

Судьба столкнула меня на базаре с офеней-хозяйчиком. Какие-то пустяки заставили нас заговорить друг с другом и разговориться. Я позвал его к себе выпить чаю; он зазвал меня в трактир выпить пару пива. Разменявшись взаимными обязательствами и любезностями, мы были уже с ним как свои. Разговоры шли у нас обыденные. Мне удалось рассмешить его два раза до упаду. Смотрю: товарищ мой — и добряк и простота человек. Он потребовал еще пару пива. Я опять завел его к себе и унес с собой полуштоф сладкой водки; завелись новые разговоры. Долго не думая, я решился начинать прямо.

— А что, дружище, говорят, у вас язык есть свой какой-то; да я этому не верю: на что он вам?

— Надо.

— Да врешь, ведь ты хвастаешься? «Ведь вот мол, я худ человек, да два языка знаю».

— Нет, не хвастаюсь, а два языка знаю.

— Окромья свинячьего, как говорится.

— Ты не шути, а это верно!

— Да ты не морочь, смотри: ведь день теперь, да и церковь видно.

— Я не колдун! А что свой язык и российский знаю — этому быть так.

— Не врешь, так правда. Научи-ка!

— И вправду? На что идет?

— На что хочешь: я не боюсь и не верю.

— Еще на пару пива.

— Идет.

— По-твоему, как вот это?

— Армяк.

— По-нашему, шерстяк. Ну а вон звоно.

— Дом.

— По нашему рым.

— Ври небось дальше: слушаем!

— Лопни мои глаза, коли я тебе вру! Да ты грамотный?

— Бывалое дело: учили господ. Нашему брату, дворовому человеку, без того нельзя тоже — сам знаешь.

— Пиши, что я сказывать тебе стану. Напишешь — завтра любому мазыку покажи: в одном слове фальшь сделал — с меня пара пива.

— Ладно, идет!

— А коли все слова скажу — четверть водки с тебя, и с закуской.

— Идет, идет, идет!

И идет мое дело и спорко теперь, и легко: руки дрожат от радости, и придвигается слово к слову и мелькают целые ряды слов: *лох* — мужик, баба — *гируха*, девка — *карата*, молодуха — *ламоха*, голова — *неразумница*. хрен — *нахрин*, репа — *кругалка*, рубли — *круглеки*, поп — *кочет*, напиться — *набусаться*, бежать — *ухлывать*, сидеть — *сеждонить*, продавать — *кухторить* и проч. и проч. Несколько сотен слов записалось в тот же день. На другой день, на свежую память и на мои запросы посыпались новые слова, по

уговору, по обещанию передать мне эту науку. Приложил я только ко вчерашней четверти еще новую, стало полведра и писалось уже слов за тысячу.

— Дешево ты, друг любезный, продал.

— Дорого ты, сердечный приятель, купил.

— По писаномуто я скоро выучу всю твою науку.

— Попробуй-ка выучи! У меня на этом старуха баушка зубы все съела, а не выучилась, с тем и померла.

— Я не баушка; у меня память молодая, здоровая.

— Да и на какой ты черт слова наши учить станешь?

— А чтоб ваш же брат не надул потом.

— Не стоит же, паря, шкурка выделки: и с глазами надуют, не то с языком.

— Сам торговать стану, офенствовать.

— А господская воля на что делась?

— Да ведь я на волю отпущен...

— Ну так слушай слово мое: язык наш на работе самой только и в память идет; без того слова наши, что пузыри лопаются, забываешь. Хочешь, к торговле нашей приспособлю.

— Хитро, чай, не поймешь сразу?

— Погляди, может, и скоро дастся. Ведь и я сам не сразу же начал.

— Приучи, сделай милость!

— Пойдем в деревню со мной. Ужо через неделю у нас на селе торжок будет: пойдем с коробком.

— Хорошо, согласен. Согласен хоть сейчас ехать!

— Ну и пойдем!

В неделю эту видел я офеню в домашнем быту; видел, как буйно пьянствовали те из офеней, которые приходили домой только на побывку и на отдых и действительно ничего больше не делали, как только опоражничивали штофы и полуштофы. Приятель мой пристал к землякам с выигрышным полуведром, но тотчас же и отвалился, только почуял, что ведро уже кончено. Живя и налаживаясь около дома, он был бережлив и, что называется, скопидомок.

Через неделю мы уже шли с ним на торжок: он с коробом за плечами я — с его аршином в руках. Памятны мне и безутешная, тоскливая местность, по которой мы шли; пыльная дорога, в деревнях ломаные гати, проезывающие дорогу по болотам; ржавые болота эти — топкие, сырые, сырые даже в то время, когда два почти месяца стояли жары невыносимые, породившие значительное число лесных пожаров за Волгой и на Волге. Длинные заводи по этим болотам, — заводи, которые то кажутся решительным озером, то без всякой видимой причины, уязятся в реку, иногда в ручеек, который соединяет одну заводь с другою, и так как будто в бесконечность. Там, где заводь уже, встречали мы мостик утлый и трясучий (и ездят по нем, да мало — и то храбрецы), за мостом находили мы опять изрытую, крепкоподержанную гать с погнившими бревнами, с кое-как умятым и прилаженным валежником. Выходили мы в ложбину сухую и душистую от недавно скошенного сена; тащились в гору, по большей части глинистую и невысокую, на которой думал я встретить родную рожь с васильками, ячмень, пшеницу, но встречал только плохо принявшиеся кустарники, словно после сильного лесного пожара. С горы мы опять спускались в ложбину и опять шли по болоту.

Я начинал изнемогать, уставать с непривычки: шли мы уже двадцатые версты. Надавленные плечи (хотя и не было на них никакой тяжести) болезненно ныли; подгибались колени, слышалась острая боль в пятках и подошвах. Выломил я себе палку, стал опираться — не помогала и она. Товарищ мой весело шел, забирая привычными ногами, шел в гору; я отставал от него, и отставал на значительное пространство. Хотел ложиться, но слышал с горы предостерегающее наставление:

— Не ложись, все дело испортишь: не дойдешь потом; это уж работа такая — знаю я ее!

«И кому знать?» — думал я и кричал ему в свою очередь снизу:

— Не могу идти, умираю!

— Раньше смертного часу не помрешь. А ты понатужься, укрепишь еще — недалечко: верст с пяток осталось. У бабушки Лукерьи горяченьким всполоснемся: щец потреплем, молочка — важно будет!

— Сил моих не хватает!

— Была, знать, у тебя сила, когда мать на руках носила; ты бы по-моему песню запел.

— Голос не пойдет.

— А ты попробуй! Не такую, стало быть, песню пел.

— Всякие пробовал: не выходит.

— А выходит, значит, то, что в дороге ты иди ровным шагом, не прибавляй, не укорачивай его: хорошо будет.

— Слышал я и это, да теперь уж поздно.

— Поздно потому, что село близко. А то мужики-богомольцы, слышал я, на траву ложатся и ноги кверху вздымают, что оглобли: отливает кровь — помогает.

— И я так же сделаю.

— Не смехи, Христа ради! На извозчичью телегу похож станешь: вороны закаркают.

Но вот наконец и село, и бабушка Лукерья с горячим, и теплые полати, и крепкий сон; вот и торжок в полном цвету и разгаре, по обыкновению, шумливый, живой и разнообразный. Приладили и мы из досок прилавков, вколотили четыре кола; навес от дождя и солнышка сделали. Разложили на прилавке вздор всякий: для баб и девок пуговики, петельки, ленточки ярких цветов, а на пуций соблазн зеркала раскрыли с портретами Рюрика с молотком, Святослава с мечом; для большаков — кожаные кошельки с изображением взятия Варшавы с одной стороны и Паскевича с другой; для попадей и поповен — стеклянные ящики, нитки бумажные, шелк, коробочки с бисером, наперстки, колечки: и серебряные и волосяные с бисером, цыганского дела, курительные свечки московского дела и проч. и проч. Принес мой хозяин всего товару на 62 рубля сер., а продал на 129, умея и обмануть вовремя, и надуть подчас.

Не входя в подробности этого дела, полагая их предметом особой статьи, я останавливаюсь только на са-

мом процессе работ, на той обстановке, которая сопровождала их, и потому продолжаю.

Возвратившись с ярмарки, я жил у приятеля-офени еще два дня — *гостьбы на слитки*, как называл он, — два дня последние, прощальные, как думалось мне самому, потому что меня блазило ближайшее село, в котором жили офени, прибывшие на побывку. Это были дальние, приказчики крупных хозяев, а не офени-мелкота, как мой приятель и его соседи. Тем же дешевым и легким путем пешего хождения пришел я туда, но не мог отыскать себе квартиры в доме с офениями; все светелки, отдельные от хозяйского помещения, достроенные обыкновенно над двором и воротами, все эти горницы заняты были гостями. Здесь гости эти, возвратившиеся домой после долгой разлуки, да еще вдобавок с порядочными деньгами и подарками в семью свою, гости эти жили и отдыхали от тоскливой, сосредоточенной, однообразной жизни приказчика на чужой стороне. В редком доме по этому случаю не была сварена брага и пиво, в редкой избе с раннего утра не стоял угар от множества приготавливаемых кушаний, и масляных и жирных; редкая деревня не наполнена была запахом жареного от начальной околицы с овинами до выездной околицы с башнями.

Видимо, и хозяева были рады гостям, видимо, и сами гости не поскупились расположить хозяев в собственную пользу. Загул и пьянство были всеобщие, начиная от дряхлых стариков и оканчивая ребятами-подростками 15 лет. Потчеванья и угощенья начинались с раннего утра, с того времени, когда подавались хозяйками плавающие в масле блины и оладьи; не переставали продолжаться они и в то время, когда все это снималось со стола, и заканчивались они обедом с бараниной, поросятиной, лапшой и пирогами. После обеда гости-офени обыкновенно спали, и, подкрепившись силами, сходились вечером у кабака или в другой избе, и снова пили и пьянствовали до поздней ночи. Восемь дней прожил я на новом месте и все это время видел только долгое и

систематическое пьянство. Только ранним утром удавалось мне разговаривать с офенями этими о деле; в остальное время я слышал от них некоторые откровенные и закулисные подробности, но в редком и малом числе. Правда, что в это время доставались на мою долю такие сведения, которых я не мог доспроситься в трезвые минуты и никогда бы не добыл их прямым путем; но минуты эти были так редки, дожидаться их приводилось так долго и трудно! Они валились как с неба, совершенно случайно, как дальняя и мелкая подробность в долгой беседе, наполовину пьяной, наполовину безалаберной. В пьянстве офени распоясывались, но все-таки как-то лениво и скупо, как будто они опасались даже самих себя, боялись обязательно поделиться друг с другом теми данными, которыми удалось поживиться им самим при долгой практике и приглядке к делу.

Во всяком случае, внутренний быт офени развертывался передо мною широко, являл много новых черт и особенностей интересных и поучительных, открывал и обнаруживал иные вопросы, до которых хотелось попытываться вопросами же и личными наблюдениями. Вопросы эти цеплялись за другие и шли как будто в бесконечность. Работа моя становилась увлекательною и по самой легкости процесса ее, и по вероятности успеха, который казался и близким и возможным. Не нужно уже было прибегать к вопросам косвенным, сторонним: вопросы возникали прямо один из другого. Начальная робость и оглядка превратились в эти восемь дней в смелость и храбрость, и без оглядки и без уступки. Я спрашивал обо всем, чего мне хотелось; шел по приглашению не задумываясь; записывал, что хотелось и где приспевало это желание; офени трепали меня по плечу, целовались со мной, называли дружкой, приятелем, и слова «холуй, лакей, барский барин» употребляли как слова ласкательные. Я торжествовал; я готов был жить у них еще не одну неделю, да так бы и сделал, если б не налетело темное, дождливое облачко, которому суждено

было омрачить ясный горизонт моей жизни в селе и разбить мгновенно все мои планы и предположения.

Дело было так. Я вышел на реку и, сидя на берегу, толковал с двумя ребятами, в речи которых мне нравилась та своеобразность вязниковского говора, целостность которого от влияния городов и дальней стороны утратилась в разговоре их отцов. Бойкий из мальчиков особенно нравился мне своею наивностью и откровенностью. Ему было двенадцать лет, и отец его брал с собой на чужую сторону.

— Чай, и ты плутовать будешь? — спрашивал я.

— Нельзя без того, — отвечал мне мальчик смело и без запинки.

— Как же так?

— Тятка научит: он это умеет.

— Да ведь это нехорошо и грешно делать.

Мальчик посмотрел на меня во все глаза, в которых так и светилось сомнение и неверие в слова мои.

— Надуваньями денег не наживают; за надуванья в тюрьму сажают, в Сибирь посылают.

— У тятки денег много; в тюрьму садят за долги, слышь, а в Сибирь посылают, кто убьет кого.

— От кого же ты узнал все это?

— Все сказывают. Я давно это знаю.

— Что ж они говорят?

— Да говорят, что нельзя не обманывать, потому народ очень глуп.

— Какой же народ!

— Всякой. Пуще-то, слышь, всех, барыни глупы очень: их, сказывают, обманывать всех легче, надо-де только поддакивать им. Товары выкладывать им все напоказ: беспрременно, сказывают, выберут тогда...

Разговор наш продолжался все в этом духе. Мы говорили бы долго и на этот раз, как это делывалось и вчера, и третьего дня, и прежде, если б нам не помешал священник. Он подошел к нам, снял шапку, благословил мальчиков и отослал их со словами: «Ступайте домой, не мешайте нам!» — и затем обратился ко мне:

— Мне давно хотелось поговорить с вами...

— Я к вашим услугам. Что вам угодно?

— Что вы здесь делаете?

— Свое дело, батюшка.

— Какое же дело такое?

«Кому какое дело до моих занятий? Я могу и не сказать, да и не желаю этого...» Так думалось мне, но выговорилось иное:

— Слежу за офенями, желаю познакомиться с нравами их и бытом.

— Я и сам так решил, когда узнал и увидел вас на другой день, приходя сюда. Мне сказали, что вы господский человек, отпущены на волю и возвращаетесь на родину. Я сначала поверил, но, взглядываясь в лицо ваше, прислушиваясь к разговору вашему, усумнился в истине показаний. Вы, должно быть, ученый, от Географического общества посланы?

— Нет, от редакции частного журнала, именно: от «Библиотеки для чтения».

— Я давно хотел поговорить с вами и предостеречь вас.

— Благодарен за ваше внимание. Но чего ж я могу опасаться?

— Офени не такие добряки и простаки, как вы полагаете.

— Я этого не думаю, но радушие, с которым они меня принимали, угощали...

— Не называйте это радушием. Они сегодня приходили ко мне и говорили о вас.

— Что ж такое?

— Что вы человек сомнительный и опасный, что вы что-то пишете про них, что они вас угощают и что вы — извините меня — продадите их: это были их слова.

Вся кровь бросилась мне в голову. Я никогда в жизни не был так оскорблен до глубины души. Я растерялся и и мог найтись только на один вопрос:

— Неужели и вы, батюшка, считаете мое невинное дело изучения быта делом сыщика-фискала?

— Не смею и думать этого.

— Какие же средства к тому, чтобы добиться правды у замкнутого, неоткровенного человека, какими особенно показались мне офени? Дальше этих средств не шли и прежние исследователи, лучшие люди в нашей литературе. Я только последовал их примеру, не найдя лучших, иных средств, за неимением, за крайнею невозможностью добыть их, особенно при срочной работе, ограниченной тремя вакационными месяцами...

— Я могу посоветовать вам только одно: уйти отсюда поскорее до несчастного случая.

— Но я не могу этого сделать теперь, потому что работа увлекла меня; она пошла так успешно и еще не кончена.

— Они хотят вести вас к становому...

— Я пойду охотно, потому что я не беглый и у меня есть отпускной билет от медико-хирургической академии, в которой я состою студентом.

— Но поймет ли вас становой? Поймет ли он вашу цель, и ваше полезное дело?

— Не сомневаюсь в том, если сумею объяснить ему толково и просто.

Священник на последние слова мои улыбнулся и недоверчиво покачал головой.

— Но можно ли в этом сомневаться? — спрашивал я его.

— Можно и должно, потому что вы должны знать давно наших становых.

— Вы думаете, что я должен буду дать ему взятку?

— Без нее он может препроводить вас в земский суд, в Вязники.

— Но это будет оскорбление. Я могу не пойти.

— На это он может не смотреть, не принимать этого в расчет и не примет, если задобрен будет со стороны, вам враждебной, которая, вероятно, не поскупится на то, чтоб удалить вас от себя как опасного человека.

— Но ведь, это батюшка, я думаю, одни только ваши предположения?

— И вероятные. Дай Бог, чтобы они не случились.

— Но могут ли случиться? Это вопрос...

— Не подлежащий сомнению, потому что они сегодня же хотели привести намерение свое в исполнение. Я просил их отсрочить, чтоб переговорить с вами. Ради бога, послушайте моего совета. За неприятный для вас исход дела я могу поручиться, к несчастью и к крайнему моему прискорбию. Согласитесь, что вам неприятно будет находиться в положении человека подозрительного и испытывать все невыгоды этого положения.

Снова кровь бросилась мне в голову; усиленно билось мое сердце; мне было и неприятно и тяжело. Я не мог говорить, я не мог сосредоточиться помыслами на одной мысли, на одном пункте. Говорил за меня священник, и говорил правду, сущую, мрачную, неутешительную.

— Вас поведут под конвоем в станковую квартиру, которая отсюда далеко. Для этого нарядят сотских, от которых будет зависеть связать ли вам руки или оставить их свободными.

— Но вы за меня заступитесь.

— По христианской обязанности и долгу священства; но меня имеют право не послушать и, может быть, не послушают. А за дальнейшие последствия я уже поручиться не могу. Бог весть, что там с вами сделают.

Бог весть, что там со мною сделают?

Честный человек священник, награжденный такой благородной душой, говорит правду. Я предчувствую, предвижу, что со мною сделают; я почти не ошибаюсь в своих предположениях и в вероятии тех подробностей картины, которые рисует мне напуганное и напряженное воображение мое.

Приведут меня в станковую квартиру. Становой пристав спит; велят подождать. И ждем мы, присев на крыльчке; понятия не оставляют меня, не позволяют мне

отойти от назначенного ими пункта и смотрят на меня сердито и косо, как мои заклятые враги. Нас зовут; мы входим в переднюю. Еще ждем несколько времени; выходит становой, сердитый, заспанный. Спрашивает:

— Что такое?

— Бродягу привели, — говорит один из понятых, выступая вперед и указывая на меня рукою.

И снова кровь приступает к голове и бросается в лицо. Вопрос в том: накинется ли на меня становой и начнет ругать всеми выражениями, насиженными, придуманными в долгую жизнь, или медленно, по пунктам, начнет выпрашивать меня, добиваться правды. Я не смею протестовать против его подозрения: он имеет на то много прав; может быть, он человек небезгрешный, как гоголевский городничий; может быть, он сам боится подсылу. Чем я могу ему доказать, что я не проклятое инкогнито, и могу ли, наконец, убедить его? Мы будем кричать; будем горячиться. Он не остановится на моем; я не уступлю ему своего права. У меня роль ответчика, взятого с поличным, у него — власть и сила. Он приказывает привести подводу; приказывает везти меня в город, в земский суд. И везут и мучат физически и нравственно. Там освободят, и освободят непременно, но скоро ли? А мучения пытки до счастливой поры свободы? А то состояние неволи, от которой, по преданию, Мария Антуанетта в одну ночь поседела?..

— Я согласен с вами, батюшка, и не знаю, чем благодарить вас за добрый совет. Сегодня же я уйду отсюда на Нижегородскую дорогу.

— Ступайте с Богом завтра, а сегодня милости прошу ко мне. Я приглашу стариков, и мы вместе, общими силами потолкуем с ними. Пойдете сегодня в сумерки, они вас схватят на дороге и будут иметь полное основание: скорый отход ваш они примут за прямое подтверждение их подозрений.

Нельзя было не согласиться со словами моего покровителя. Вечером, пришли к нему четыре старика, из которых трое были мои знакомые. Мрачно глядели

они на меня и даже не поклонились мне — обстоятельство, чрезвычайно поразившее меня и, конечно, опечалившее до глубины души. Не в духе простого русского человека такая сухость обращения, такое оскорбительное мнение за дело, которое окончательно еще не выяснилось, не приняло определенной и настоящей формы.

Говорил за меня священник и оправдывал мое дело почти столько же, сколько был бы в состоянии я сам это сделать.

Вопрос остановился на том подозрении, зачем я пришел именно в их село, а не в другое какое. Я оправдывал этот поступок случайностью. Ответ мой приняли недоверчиво. За меня отвечал священник:

— Пришел он в ваше или не в ваше село, но пришел за своим делом, и потому он уже имел на это право.

Старик молчали.

— Ведь и вы идете торговать в тот город, где вам лучше, где вы знаете, что вам будет дело, и дело выгодное. Не так ли это в самом деле?

— Это правда твоя! Это что говорить! Точно так! Верно твое слово... — отвечали старики в один голос.

— Кто же может запретить кому-нибудь входить к вам в село: ведь оно не зачумленное.

— Никто запретить не может: село наше точно что не заколдованное.

— Так за что же вы меня обидеть хотели?

— Зачем обидеть? Мы не хотим этого; мы хотим только у начальства спросить, как оно об этом полагает.

— На что же вам самим-то голова в плечи ввинчена?

— Дело-то, вишь, это не наше, а начальниче; затем ведь они и живут у нас.

— Отчего же вы миром не потолковали прежде? Может быть, что-нибудь и хорошее вышло.

— Толковали и миром, да вышло на то, чтобы у батюшки совета спросить. Мир-от толкует, зачем, вишь, ты по домам ходил?

— В дома меня приглашали: я не смел и не мог обижать хлебосольных хозяев, не желал обходить их дома.

— Ну а почто ты с пьяными хороводничал, а сам не пил?

— С пьяными толковал оттого, что пьяный скорее распоясывается, пьяный откровеннее.

— Ну а почто это тебе?

— Батюшка сказал, что это мне надо, что это мое дело. Я и сам скажу то же самое.

— Ладно! пуцай так! Ну а зачем ты все это в книжку писал, — все, что тебе пьяные ни наболтают с дурьего-то ума своего?

— В книжку записывал для памяти и со скуки.

— Ну а куда ты эту книжку отдашь?

— Это дело мое, отдам куда надо.

— Нет, ты скажи!.. Пьяный мало ли что наврет тебе; пьяный, брат, знамо, враг себе. Ты возьми у него язык-от да и вырви.

— Отдам я это не начальству вашему, а друзьям вашим: людям надежным и честным.

— Да где ты найдешь таких? Что врешь-то непутное?

— Я уж нашел и знаю таких. Да и сам я разве враг вам, Христос с вами? Батюшка-то вот перед вами: спросите его.

— Мы и тебе верим. Книжку-то бы тебе нельзя было привозить — вот что! Книжка-та у тебя, может, со шнурком да с печатью.

Я показал ее — эту тетрадку, без шнурка, без печати.

— Отдай нам ее!

— Я бы отдал, если б у меня была другая такая же.

— А если мы отнимем?

— Я за грабеж почту и буду жаловаться об этом в Питере. Если вы здесь мне не верите, то там мне поверят, даю в этом слово.

— Ладно, что тебя еще наши пьяные-то не убили.

— Это уж ты далеко хватил! Если б ты сказал мне, что и теперь меня убить хотят, то я и этому бы не поверил. Ты говори дело, а не предположения. Я бы и с места не двинулся не только на этот раз, но и в прежние, если б

не был уверен, что русский человек не только друга своего, но и врага не убьет.

— Ну извини, Христа ради! Сказал я тебе точно что дурость, и такую дурость, что давно уж такой не говаривал. Назад беру! А на чем вы с батюшкой-то порешили?

— Я завтра иду от вас и прах от ног отрясу, как в Писании сказано.

— Куда же пойдешь?

— А искать людей, которые добрее вас и хлебосольнее, которые не станут меня попрекать за свою хлебсоль да грозить мне за все это тюрьмой и станowymi.

— А ты прости нас по Писанию-то. Мы тебя с этого твоего слова как есть полюбили. Душа ты, видно, добрая, и Христос с тобой! Ты деревню нашу не ругай, мы к тебе всем сердцем. Пошто ты вот в книжечку-то писал? Это-то вот в большую обиду нам показалось.

— Книжечка эта, сказал я вам, пойдет в надежные руки, к честным людям. Это же самое и теперь повторяю!

— Вот за это спасибо! За это награди тебя Господь! А все бы тебе не надо с пьяными-то возжаться. Лучше, кабы ты нас спросил...

— А вы бы ничего не сказали. Я одного пробовал охаживать в трезвом-то виде, так только язык намозолил да на свою душу скорбь нагнал, что и деваться некуда было.

Старики, мои слушатели, дружно засмеялись и переглянулись между собою с такою же коварною улыбкою, какую часто награждал меня мой спутник из Вязников.

— С упрямым да с неразговорчивым говорить — клещами на лошадь хомут натягивать, — заключил я.

— Да ведь пьяные-то тебе, чай, черта в ступе нагородили?

— Это уж мое дело: отличить тут ложь от правды.

— Знамое дело: кто к чему простирается, тому то и в понятие, — понимаем мы это!

— Так о чем же теперь разговор ваш будет? Что вам от меня надо?

— Погости ты еще у нас.

— Обидели вы меня: сердце не терпит! Не сможешь, пожалуй, и дня прожить. Да с меня уж и будет.

— Знали бы мы раньше, мы не так бы и приняли тебя. Мы тогда все бы тебе по порядку сказали.

— Да, полно, так ли?

Старики не ответили и опять переглянулись между собою.

— А если б я по казенной надобности приехал?

— Да нешто ты от казны?

— А хоть бы и так?

— Так мы тебе и словечка б не молвилн. Все бы тебя потчивали, да не так, как вот те дураки, с которыми ты хороводничал-то. Те — ослы.

— А по-моему, так это лучшие люди.

— По твоему, может, так, а по-нашему-то, так мы их утре же на мирской сходке на глум примем.

— Тогда я другу и недругу закажу к вам ездить.

Старики промолчали на это и взялись за шапки. Безопасность моего отхода, по-видимому была уж обеспечена. В поступках моих и тех приемах, с которыми я приступил к своему делу, мне начинала уже видеться предусмотрительная догадливость, может быть, наполовину случайная, но, во всяком случае, усвоенная с легкой руки моего первого офени. Оставаться в этом селе я уже не находил пользы и поучения; по-видимому, мне пришлось бы пировать и на пирах этих быть не столько допросчиком, сколько, в свою очередь, рассказчиком. Подобные примеры не раз уже случались со мною и прежде, когда только приводилось заявить себя случайно охотником говорить: у мужиков конца не было расспросам. (Но об этом ниже, в своем месте.)

На другой день, на ранней заре, я выбрался из села и целые двадцать верст находился в том беспокойстве, которое может испытать человек с большими деньгами, проезжающий темною ночью в темном лесу, где, как говорят, *пошаливают*. Боялся я не за себя, боялся я за свою записную книжку. Может быть, не боялся бы я и за

нее, если б за околицей села не попался мне один из моих знакомых офеней. Я простился с ним. Он спросил меня:

— Совсем идешь?

— Совсем.

— Все ли захватил-то с собой, не забыл ли чего?

Я промолчал.

— Не пришлось бы вернуться тебе с полдороги, али бы из наших кому догонять тебя.

— Все со мной!.. Прощай. Спасибо за хлеб за соль!

— Не поминай лихом. Будь здоров со всех четырех сторон! Иди — не спотыкайся, беги — не оглядывайся.

Почему-то словам этим дал я тогда какое-то враждебное, зловещее толкование, хотя мог бы, конечно, объяснить их и простым и мирным путем, как это и оказалось на самом деле. Я все-таки шел и оглядывался; а когда нагоняла меня телега, у меня замирало сердце и мне становилось неловко. В одной телеге оказалась баба, в другой — две бабы. Я успокаивался и шел себе вперед, шел наконец последние версты этой станции и уже не оглядывался. На другой день я был в Пурехе, большом и торговом селе Балахнинского уезда, Нижегородской губернии. Село это — некогда вотчина и местопребывание раненого князя Пожарского — на мой приход туда полно было народа, съехавшегося на базар. Кончалась обедня; народ валил из церкви. Все так светло и радостно показалось мне на ту пору; широко дышала грудь. Я был покоен и весел: я знал, что личность моя здесь пропала уже в толпе всецело и бесследно. Я был такой же зевака, такой же праздношатающийся, как вон и этот парень в красной рубахе, засучивший один рукав и отщипывавший на балалайке веселые, беззаботные трели. Я любовался и на него, и на свежую, здоровую молодку, которая искоса поглядывала на парня своими черными глазами и сладко улыбалась и поощряла его удалую посадку и доморощенную ловкость и досужество. Как будто веселей и беззаботней ржали лошади, как будто откровенней и полней лилась волна народного говора, и словно самые толчки базарные были

и смелее, и откровеннее, и простосердечнее. Жизнь и движение шли нараспашку, забыв, что они перенесены на народную площадь; толпа болтала без умолку, и так хорошо и так свободно! На мое наболевшее сердце веяло чем-то живым и если не новым вполне, то, во всяком случае, давно забытым, но родным и близким. И каким молодцом, каким красавцем смотрит на эту толпу с трактирного крыльца рослый ямщик в пуховой шляпе набекрень, в синем решемском кафтане, с рукавицами и кнутом за поясом!

— Не свезешь ли ты меня в Нижний?

— Можно.

— На тройке?

— Как есть.

— Что возьмешь?

— Три на серебро и езда со взломом.

— Валяй во всю тяжкую!

— Держись крепче: надо домой поспешать. Завтра чем свет в Нижнем будем.

Лег я в его просторный тарантас, еще вздохнул полной грудью и расплылся, как сибарит, как лежебока, у которого только и есть одна забота — на мягкое лечь и добыть себе во что бы ни стало и какими бы то ни было средствами и негу и блаженство. Испытал и я на ту пору это блаженство, при котором, по народному приговору, из косточки в косточку мозжечок переливается. Все мне начало улыбаться, все мне несло и привет и ласку. Вон выбежали слева аллеи большой почтовой дороги которая шла из родной мне губернии. Вон мелькнуло что-то светлое впереди, сначала немного, потом значительно больше, и наконец разлилась передо мною огромная масса воды и явилась во всей чарующей прелести река-кормилица Волга, родная сыздетства, покинутая на время для московских фонтанов и петербургской Невы.

— Волга это, ямщик?

— Волга дальше прошла, это — Волгушка: рукав, значит.

И закружился в голове моей целый рой воспоминаний, светлых, живых, свежих, и всегда приятных, и дорогих свыше всякой цены и меры. Я жил дальним прошедшим, жил лучшими воспоминаниями жизни и совершенно забыл о недавнем прошедшем; я даже вспомнить не смел о нем, чтоб не оскорбить, чтоб не испортить целостности представлений и лучших и святых. Такие минуты редки в жизни и никогда не забываются. Я не вспоминал об офенях, я забыл о них на то время. Целый месяц истрачен был мною на Вятскую губернию и на преимущественное знакомство с вотяками, от которых я вернулся прямо через Семеновский уезд снова в Нижний Новгород.

Офеней встретил я уже в то время, когда разыгралась Нижегородская ярмарка; встретил я их на одном из постоянных дворов на нижнем базаре, потом в ресторациях на мосту и на песках. В тот же год наследил я их в Москве на Ильинке, на Никольской, в книжных лавках, в проходных воротах, у торговцев лубочными картинками и, забыв прошлое, толковывал с ними уже не один раз дружно и миролюбиво в ближайших с городом трактирах. Не оставляя мысли о них и преследуя свою цель, я встречался с офенями и на Белом море: в Кемии и Мезени, беседовал с ними и у помещиков Пензенской, Тверской, Костромской губерний, и у вятских чиновников. Не оставил без внимания и тот мелкий класс офеней, представители которого выпевают на петербургских дворах козлинным, неприятным для слуха голосом: «Щетки, гребенки». Правда, что эти офени оказались в большей части случаев не вязниковцами, а крестьянами костромских уездов Буевского и Галицкого, но и они знали офенский язык (с некоторыми изменениями и особенностями), как знают малую часть этого плутовского наречия московские жулики, петербургские мазурики и некоторая часть торговцев в Щукином и Апраксином.

Останавливаясь на некоторых подробностях моего второго путешествия, спешу оговориться. Путешествие

это совершал я по поручению морского министерства, гарантированный от него подорожною по казенной надобности и письмами г. управляющего морским министерством ко всем начальникам тех губерний, в пределах которых согласился я производить работы. Работы эти обязывали меня приготовить ряд статей для «Морского сборника» и изучить быт жителей побережьев Белого моря, Ладожского и Онежского озер, местные условия наших морских заселений, селений и жителей; способы рыбной ловли и орудия, при ней употребляемые; суда и судоходные орудия; суеверия, предрассудки и вообще все, что я сочту за нужное включить в свои описания. Год истратил я для работ и разъездов по Архангельской губернии, где привелось испробовать всевозможные способы переправ: плавал на карбасах и на шкунах, ездил на почтовых парах и тройках в телегах, ездил на оленях, на лошадях верхом и, наконец, ходил пешком. Не испытал, стало быть, только езды на собаках. На озерах Ладожском и Онежском странствовать мне не привелось, потому что, как оказалось впоследствии, работы мои обусловлены были *одним только годом*.

Путешествие по Архангельской губернии приняло для меня иные формы, новую обстановку, опять-таки в первый раз изведываемую. Я имел в руках открытое предписание, которым предлагалось городским и сельским начальствам оказывать все зависящее от них содействие при исполнении возложенного на меня поручения. О подобном же обязательстве для местных властей при губернских ведомостях разослан был печатный указ gubernского правления. И действительно, при данных подобного рода я не встречал задержек в пути, имел право требовать судебные дела, принявшие бумажную форму и переданные в архив; имел право рыться в этих архивах, наполовину, правда, обездоленных кем-то давно уже, — архивах, которые представляли беспорядочную пыльную грудку и которые во многих местах находил я в сырых подвалах и ямах под

колокольнями, в других не находил вовсе: архивы или сгорели от пожара, или утрачены по неизвестным причинам, которые даже не сохранились и в преданиях, — словом, все то, что зависело от местных властей и самых простых и легких приемов, для меня было доступно. Но зато все то, что составляло для меня самый живой интерес, что обещало поучительную жатву, передо мною замыкалось, от меня сторонилось.

Внешняя, обрядовая сторона дела давалась просто, без малейших препятствий. Легко замечалось то, что бросалось в глаза и преследовало потом много раз. Но оставался внутренний быт, оставалась самая важная сторона дела. Передо мною становилось существо мыслящее — человек с его убеждениями, религией, верованиями, с его, пожалуй, суевериями, предрассудками; становился целый мир предо мною, и мир богатый и интересный.

Но отчего первые шаги ваши неуспешны, первые приемы поражают безнадежностью? Приступаете вы к существу этому с полным уважением, с честным, незлобивым помыслом, с верою в святость своего дела и неприкосновенную святыню этого существа, исповедником, решителем тайн которого вы теперь становитесь. При первых же попытках ваших вы видите, что существо это замыкается, как улитка в раковину. Между вами становится стена, какая-то преграда; какой-то злой дух мрачит пространство между вами и превращает его в непроходимую, глубокую бездну. Нет исхода: ваша роль изменяется; вы поставлены в положение человека, к которому не имеют веры, которого боятся, которого считают предателем и еще, чего хуже, фискалом...

Тяжелее этого нравственного удара, неизбежного для меня и в этом случае, как бывало и прежде, я представлять себе иного не мог. Та же самая замкнутость при разговорах встречала меня и в Архангельской губернии, как некогда во Владимирской. Крестьяне-поморы, зная о моем открытом листе, успели уже дать мне прозвание «большого начальника». Много случаев

припоминается мне на этот раз, но приведу более резкий и памятный. Как теперь, вижу огромную толпу пещорцев, рассеявшихся у крыльца моей отводной квартиры в деревне Великовисочной. На все мои просьбы никто не входил в избу, и когда уже я, в безуспешности дела, сажусь в сани, чтоб ехать в Пустозерск, все они мгновенно скинули шапки. Когда же сани мои тронулись с места, из толпы вслед за мной полетело наивное замечание какого-то старика: «Семьдесят годов живу на свете, а начальника с бородой не видывал».

В большей части случаев я поставлен был в такое положение (против собственного желания и воли), из которого был прямой исход — простые наблюдения того, что металось перед глазами; положение легкое, но незавидное; приемы простые, но безуспешные. В избу крестьянина войти легко; гостеприимство и хлебосольство — наша племенная честь и гордость: «Милости просим, войдите!»

Вы осматриваете избу: изба опрятная и чистая, как будто только сейчас для гостя прибранная. Вон в переднем углу тябло с Божьим милосердием, в заднем углу огромная печь; над кутом полати, кругом лавки, стол, скамейка... Смотрите на картинки, которые в последнее время особенно часто выставляют наши художники в залах академии; обойдите всю Россию — одно и то же. Богаче народ — дома опрятнее, но изменений немного. Эти изменения бросаются в глаза только тогда, когда пойдете путем сравнения от первообраза русских изб — малороссийских мазанок (которые только что успели заменить собою шатер, юрту, чум, шалаш, кочевую кибитку), дойдете до бревенчатой, тесной и какой-то сиротливо-утлой избы крестьян черноземной полосы России и до богатого двухэтажного дома вятских, сибирских и поморских крестьян. Осмотритесь кругом дома — деревня похожа на все сотни тысяч деревень в России: избы рядами, всегда почти кривыми; бани на выезде; овины на задворьях; в селе — церковь; в деревне —

часовня... Осмотрите костюм — то же самое; путем сравнения уйдете от рубахи до свиты, до азяма, армяка, поддевки и, наконец, до цивилизованной сибирки, но найдете неизменную подпояску на животе под грудью кушаком или поясом, на груди крест. Подробность, роскошь наблюдений доведет вас, может быть, до того, что вы заметите, что шапка с развальцем и широким днищем — новгородка — постепенно узится к Москве, переходит под Москвою в форму гречневика и у рязанца и тамбовца является кувшином с перехватом посередине, перевязанным ленточкой. Найдете, может быть, что тамбовский мужик носит подпояску низко, рязанский — криво, щеголь ярославец — посередине живота, костромич завязывает узел подпояски почти на середине груди.

Словом, вы убеждаетесь, что внешняя часть дела чрезвычайно проста и доступна, да и о ней так уже много писано, что тут особенно важных и трудных работ ожидать нельзя. Попадете к свадьбе — увидите и смотрины, и рукобитье, и сватанье, и девишник, и поезд, и красный стол. Случатся похороны — там тоже все перед глазами. Случатся крестины — опять то же. Случайность приезда вовремя и на счастье может одной неделей обеспечить на доброе и подробное дело. Прожив год (*и непременно все четыре времени года*), можно смело поручиться себе в усвоении внешней стороны несложного крестьянского дела.

Но обращаюсь к особенному делу в Поморье. Вспоминается и просится на перо еще один случай.

Я приехал в одну из деревень кемского Поморья. Прозвание «большого начальника» привезено уже было вместе со мною ямщиком с прежней станции. В комнату мою добровольно собралось тотчас же человек двадцать крестьян. Они не ушли на дальний океан за промыслом трески по причине крайней своей бедности и бездоля, причиненных прошлогодним крейсерством англо-французского флота около берегов Белого моря.

Крестьяне эти собрались для того, чтобы, по обыкновению, пожаловаться на свое бездолье, на трудную

жизнь, на притеснения местного земского и палатского начальства. Я поспешил объяснить им главную цель моей поездки — крестьяне недоверчиво посмотрели на меня. Я приступил к расспросам — крестьяне упорно молчали. Я повторил просьбу и желание свое узнать, какую они ловят рыбу.

— Кто ловит? — спросил наконец один из крестьян, видимо самый бойкий из всех. — Мы-то ?

— Да.

— То ись?..

— Какую рыбу ловите, чем и когда?

— Рыбу-то ловим?

— Да.

— Всякую рыбу ловим.

Следует молчание долгое и мучительное. Я принужден был повторить вопрос:

— Какую же именно, какой сорт?

Последовали опять те же тоскливые, уклончивые вопросы, с которых началась беседа. Привелось мне самому стать в положение ответчика, вместо того чтоб задавать им вопросы. С великим трудом и после многих усилий удалось мне допроситься ответа, и то, вероятно, опять-таки от самого бойкого из них:

— Рыбу мы ловим такую, какую нам Бог пришлет, а море принесет. Такую-то вот мы рыбку и ловим.

За ответом этим следовало опять повторение прежних уклончивых ответов, обращенных в форме вопроса ко мне же самому. И опять ответ самого бойкого:

— Ловим мы рыбу снастями: сети такие живут...

— Какия же это сети?

— А всякие бывают.

— А именно?

— Чего?

— Какие же сети-то бывают, как называются?

— Чего называются?

— Сети-то.

— Сети-то?

— Да.

— А вот хоть бы, к примеру, гарва.

— Слава богу! Это что же такое ?

— А гарва — сеть, значит, такая...

— Ну дальше.

— Чего дальше?

Иного исхода я уже не видел из этой цепи вопросов, как отправиться самому на берег моря и лично посмотреть на сети и попросить указать их применение.

Со мной отправилось трое, вероятно, избранных, более опытных и умелых в уклончивых ответах. Здесь мне удалось наконец простым и дешевым личным наблюдением достигнуть своей цели. Но вызвать крестьян на откровенную беседу я не мог при всех усилиях.

Возвращаясь в деревню, я услышал от троих моих спутников следующую просьбу:

— Батюшко, ваше сиятельное превосходительство! Не пиши ты этого: может, и сболтнули мы тебе чего неладного. Не погуби ты нас, сделай милость! Нам уж эти писанья очень неприятны и от своих-то! Мы ведь уж больно просты: извини ты нас! прости, ради Христа и соловецких угодников!

Мне хотелось собрать несколько сведений о быте раскольников, особенно интересных в том краю, и для этого приступил к предварительным расспросам.

— Вы ничего не узнаете, — говорили мне все в один голос смело и откровенно.

— Почему же?

— Они вам ничего не скажут.

— Но для этого можно найти средства. И отчего же, например, не попытаться?

— Напрасен будет труд ваш; печальна попытка.

— Но отчего же вы так думаете? Почему вы это знаете?

— Потому что раскольники знают уже, что к ним едет чиновник из Петербурга, который станет их расспрашивать, все расспросы свои записывать и потом печатать. Раскольники знали о вашем приезде гораздо

раньше нас, людей официальных. Мы получили печатный указ губернского правления ровно чрез три недели после того, как один из наших главных ересиархов показывал нам письменную копию с этого указа.

Впоследствии я заходил в один скит — меня не пустил парень, поместившийся на крыльце с дубиной; останавливался я в домах раскольников — хозяева суетливо прибирали все вещи, книги, оглядывали все углы, шкапы, все ящики в столах...

Большой привет, радушие и словоохотливость встречал я в крестьянках. Простые русские женщины, как известно, почти единственные хранительницы всей массы старых преданий и верные поборницы всевозможных суеверий и предрассудков. Робость с первого раза скоро переходит у них в крайнюю откровенность и замечательную словоохотливость, после того как успеешь посильно объяснить им, что расспросчик их не враг и супостат, которого надо окуривать ладаном или вспрыскивать богоявленной водой. От них я слышал тогда и свадебные, вечеринковые, хороводные, похоронные песни, и стихотворную старину или сказку. В их речи чаще удавалось мне услышать поговорку, поговорку, присловье. По женским речам я наслеживал и оттенки местного говора, узнавал многие приметы по звездам и по погоде, слышал, чем лечится цинга, икота и комоха, каким заговором останавливается кровь, вытирается из тела стрелье, каким *замком* изгоняется бес из миряка и кликуши-икотницы. От баб же узнавал я и все мельчайшие подробности нашей довольно сложной демонологии: какой норов и повадка у чертова отродья, лесовика-лешего, у водяного, домового, русалки-чертовки; когда слетает на землю огненный змей; зачем ходит по деревням кикимора и нарождаются на свет семь дочерей иродовых — злых сестер-лихоманок. С бабьих же слов мне удалось составить народный календарь на целый год. Не падкие и не корыстные на денежное вознаграждение, не имеющие даже почти никакого понятия о существующем курсе, простые

русские женщины довольствовались грошиком на свечку, пятаком или семиткой на просвирку.

Из этих баб вспоминается мне одна, свежее и белее других. Еще раньше я слышал про нее как про мастерицу петь лесни и знавшую много старин, стихотворных исторических сказаний. Ранним утром приехал я в ту деревню, где жила она, именно в Калгалакшу. Ко мне явился старшина, бравый такой, ловкий!

— Знаешь такую-то мастерицу?

— Тетка Анна, — отвечает он.

— Узнай, пожалуйста, дома ли она. И если спит — не буди!

(Перепугает, думаю, старуху: испортит дело.)

— Не стучи у ней, не сбивай, как подводу.

(Ошеломит старуху — остатки памяти растеряет.)

Дал он мне слово поступить по моему совету, но сделал-таки совсем по-своему. Не больше как чрез четверть часа перед моими окнами показался и он, старшина с палкой, и она плелась, опустив вниз голову, наскоро и криво покрытую платочком: видно, неумытая, с неприбранными волосами, видно, сейчас и с криком поднятая с постели к начальнику. Вошла она робко, отвесила поясной поклон — раз, два и три, — и остановилась в углу у дверей, словно приговоренная к смерти, словно овца, приведенная на заклание. Жаль мне ее стало и больно! Испортил мне дело старшина, но делать было нечего. Я обратился к ней с просьбой пропеть. Она отказалась незнанием.

— Брет, ваше благородье! Лютая петь! — объяснял старшина.

— Ты, старшина, не пугай ее; а ты, бабушка, не бойся. Я тебе за это денег дам.

— Какие, ваше благородье, деньги? По начальству петь должна. Поет же ведь без денег другой раз.

— Я прошу тебя не мешаться! А ты, бабушка, сядь, обогрейся.

Старуха низехонько поклонилась, но не села.

— Чайку не хочешь ли?

Опять следовал низкий поклон и ни слова в ответ.

— Чашница, ваше благородье. Не станет.

— Напугал тебя старшина-то, бабушка! Чудак ведь он. Я про тебя много слышал: все тебя хвалят. Хотелось бы твоих песен послушать. Ничего, кроме спасибо, сделать тебе не могу.

Поддержал меня старшина, поддержали ямщики, старый и новый: старуха как будто отогрелась и вымолвила:

— Петь велишь али так сказывать?

— Как хочешь, как самой лучше и легче.

Старуха запела. Пела она незнакомую мне новгородскую старину про Романа Митриевича млада. Пела потом сон Мати Марии, про Ивана Грозного, про Егорья света Храбра, про Алешу Поповича, Чурилу Пленковича и проч. Пела и говорила, и охотно потом и смело. Ушла наконец, отказавшись от всякого вознаграждения. Через час уже, когда я снова собрался в дорогу, явилась моя хозяйка с таким сказом:

— Баушка-та, что даве тебе старины пела, чайку у тебя щепоточку попросить наказывает да сахарку два кусочка.

Кемские девки во время езды нашей на карбасе по морю охотно пели мне песни, но не хотели их диктовать, когда я принялся за перо и бумагу. Я прибегнул к хитрости. На мое счастье, отлив, не допустив нас до берега, посадил часа на два на мель, верстах в двух от пристани. Начался довольно бойкий дождь; мне хорошо было в будке, где я засветил себе свечку; скверно было девкам на лавочках, они стали проситься ко мне. Я согласился пустить их, но под условием контрибуции — по пяти песен с горла — и тридцать песен успел записать до того времени, пока прибывшая вода не подняла нашего карбаса и допустила нас до пристани.

Была еще для меня одна надежда в последовательности моих работ и расспросов на духовенство архангельской епархии на большую половину свою не удовлетворяло меня, не давало ответа. Поставленные во

враждебное положение почти ко всему поморскому люду, который крепко придерживается старой веры и раскола, священники сообщали мне мало, почти ничего. От тех же священников, паства которых не была подвержена расколу, я, по несчастью, слышал немного. Мне удавалось узнать от них подробности некоторых свадебных обрядов, и преимущественно тех из них, обязательными свидетелями которых священники становились по прямому своему долгу и обязанности. Кое-что рассказывали они о суеверных обрядах, но и то в большей части о тех, которые или прямо противоречили уставам православной церкви, или были указаны предписаниями местного епархиального начальства. Ни поверий, ни суеверий, ни всего, чем существует и живет внутренний быт нашего крестьянина, священники в большинстве своем не знали. Понимая одну только схоластическую сторону своего дела, они как будто с омерзением отворачивались от всех особенностей и отступлений в понятиях и жизни крестьянина, которые противоречили смыслу и понятиям, принесенным священниками с семинарской скамьи.

«Не только запоминать, но омерзительно даже слушать и видеть самому все то, чем злой дух-дьявол, враг человеческий из веков, опутал в коварстве своем умы наших поселян».

Вот ответ, который мне не один десяток раз доводилось слышать от сельских священников. С другой стороны, они были щедры на сообщение тех сведений, которые относились ко внешнему быту крестьянина и его сельским работам, к числу и времени деревенских праздников, к праздничным обрядам и обычкновениям — словом, ко всему тому, что достается легче, простым наглядным наблюдением. К тому же почти все сельские священники связаны теми же работами и заботами, которые несут и крестьяне наши. На вечеринки и к хороводам доступ священникам запрещен приличием и значением самого сана.

Попадья могли еще сообщать мне многие песни сва-

дебные; сказывали некоторые деревенские сплетни (частности, редко пригодные к делу), сообщали многое и в замечательной подробности о крестьянской кухне, и то потому, естественно, что попадья на всех праздниках почетная гостья, и потому, наконец, что она — та же крестьянская баба, родившаяся в той же деревне, воспитанная в тех же правилах и убеждениях, и попадья она оттого только, что жена попа.

Надо было много испытаний, много труда и терпения, чтоб войти в доверие тех лиц, от которых ждал я поучения и нравственной пищи; много надо пускать в ход всяких пружин, чтоб оправдать себя в глазах крестьян и рассеять подозрения и опасения всякого рода. Но, раз добившись этого права, можно смело ручаться за непременный успех дела. Откуда бралась и откровенность, и словоохотливость, и долгие подробные разговоры, которыми счастливили меня и на Печоре, и на Терском, и на Поморском берегах Белого моря, на Двине, Мезени и Пинеге. Я платил крестьянам деньги по уговору, платил деньги после рассказа, в благодарность за сообщенное и уже без всякого договора. Хотелось ли мне записывать песни, я сначала пел сам одну, другую и третью, хвалил свои песни и, незаметно возбуждая зависть, а затем соревнование, слушал потом лучшую песню туземную, мне неизвестную. Хотелось мне сказки — я рассказывал свою и далее слушал уже или ее вариант, или новую сказку. Рассказами множества анекдотов я почасту доходил до понятий и убеждений крестьянина о чиновнике, о попе и проч. и слышал от них, в свою очередь, подобные же рассказы, анекдоты, бывальщины и случаи, всегда чрезвычайно характерные и поучительные...

---

Для третьего систематически обставленного и обдуманного мною путешествия по губерниям черноземной полосы России, где преимущественно приводилось

иметь дело с торгующим классом и на рынках, я решился пустить в дело русский костюм торговца средней руки. Костюм состоял из поддевки так называемого серо-немецкого сукна со складками на пояснице с боков и сзади, высоких — до колен — сапог, мерлушечьей шапки и романовской овчинной шубы на плечах. Торговец в прямых и непосредственных сношениях с крестьянином, они в постоянной дружбе и во взаимных обязательствах: один сбывает излишнее, другой дает за то чистые деньги. Связь эта и поразительна и несомненна. И мелкий торгош, обманывая крестьянина, понимающего его плутни, все-таки остается его другом и оттого, что торговец не ушел далеко в своих понятиях от своего побратима, и оттого опять, что у крестьянина нет уже иного друга и искать ему такового положительно негде.

Так думал я в оправдание новой выдумки замаскироваться русским костюмом торгового человека, простым и удобным при постоянных дорожных передвижениях — и не ошибся. В пять месяцев я успел выполнить заранее предначертанную себе программу и все то, на что, по крайним расчетам, полагал я год.

Выбирая мне род занятий по своим соображениям, крестьяне не считали меня ни барином, ни начальником, ни управителем, ни земским, раскрывали мне такую бездну подробностей, которые являли иной мир, неведомый, интересный до мельчайших подробностей, хотя и возмутительно печальный, крайне несовершенный.

Особенных невыгод и неприятностей костюм этот не принес мне нигде. Приплачивал я лишние прогоны на тех трактах, где не установился правильно устроенный проселочный путь, не получивший еще прозвания купеческого, задерживали лишние часы на почтовых станциях, требуя двойных прогонов, да гораздо позже потом и уже в кофейной московского Большого театра не пустили было меня в курильную комнату, требуя, чтоб я снял кушак, и именно один только кушак, и оставил его, как галоши, на сохранение. Но зато до гробовой доски не забыть мне лучших, счастливых минут моей

жизни, которыми подарили меня вятские крестьяне Яранского уезда. Коротенькая беседа, имевшая предметом некоторые эпизоды из русской истории, — беседа, затеянная с вечера для хозяев, привела в мою квартиру на другой день большую половину деревни с расспросами и просьбою «поговорить о хорошем». Поздно вечером собрался я выезжать оттуда дальше. Стал прощаться с хозяевами и слушателями. Один старик долго смотрел мне в лицо и закачал головой:

— Не питерский ты купец, хоть ты и говорил вчера. Не верю я, хоть ты и опять тоже сказывай.

— Какой же, по твоему положению?

— Да что хошь, а человек ты не питерский.

— Почему же тебе так кажется?

— Да не стал бы так толковать с нами долго. Ты либо из Москвы, либо откуда поближе.

— По речи, что ли, ты полагаешь так или по другой какой причине?

— И по речи по твоей, и по охоте твоей к разговору; да и много ты нам занятного такого сказывал.

— Учился, дедушко, оттого и сказывал. Не затем ведь учился, чтоб про себя держать. Чем богат, тем и рад.

— Да ведь это, брат, тоже человеком: из иного колом не вышибешь, а и знает, сказывают, много. Возьми ты вон наших купцов...

— Да, может, не спрашивали?

— Пытали и спрашивать, и все делали. Ну да мы тебе за это такую тройку обрядили, что слободские купцы на таких лошадей из нашей деревни не выезжали да и не выедут никогда.

В санях своих нашел я бурак с пивом, кулек с пирогами и жареной живностью. Ямщик ни за какие просьбы не соглашался взять с меня ни на водку, ни прогонных денег, отвечая на все настояния:

— Старики не велели. Узнают — заключут...

— Не узнают, неоткуда.

— Сам промолвлюсь. Здешних спросят — скажут. Да я и сам не желаю того — Христос с тобой...

Русский костюм торгового человека указал мне многое, до чего трудно и почти невозможно добиться иным путем. Вот какое он дал мне поучение и к каким привел результатам.

Наши кабаки — эти народные клубы, откуда, по половице, идет весь мирской толк и разум, — одно из важных и живых подспорий для исследователя. Здесь русский простой человек *распоясывается*, чрез искусственное возбуждение делается крайне откровенным и разговорчивым. Сюда он несет и заветную вещь, и заветную мысль. Не боясь внутреннего себя, он решает здесь легко и скоро то, что не решить ему нигде в другом месте. Пусть исследователь забудет на это время о существовании паркетов, на которых так легко и удобно свидетельствовать перед всеми о своем знании и ловкой выправке во всевозможных иноземных танцах; пусть он забудет на время о портьерах и тех изящных кабинетах и гостиных, где так легко говорится всякий вздор и так удобно ничего не делается, и пусть он смело, с полною верою в себя и в свое дело идет в кабак, который и на крестьянском языке получил название проклятого места: тут видится жизнь без подготовки, без хитрости, вся нараспашку; тут слышатся песни, песни веселые, не те, которые, по счастливому выражению одного из наших поэтов:

Намело с полей метелицей,  
Нанесло с пожараиц дымом-копытью, —

а те, в которых высказывается и бойко прыщет весь юмористический склад хитрого русского ума, вся его затаенная мысль, которая подчас дышет бешеной веселостью и всегда жаждет свободы, простора воли. За дверями кабака русский человек таких песен не поет, как не высказывает своих сокровенных помыслов, не выдает всего себя с душой на ладони, с сердцем за поясом, говоря словами его же поговорки.

Вот отчасти почему служащие по питейным откупам, так называемые кабачники, можно сказать, лучшие знатоки крестьянского быта. Прямые соотношения, частые столкновения (в большей части случаев заискивающие, нередко враждебные и всегда погибельные) сделали и самых откупщиков замечательными знатоками крестьянского быта. Считаю излишним входить в объяснение этих и без того уже осязательных причин: успехи откупов исторически и безапелляционно доказывают мою мысль.

Из остальных бесчисленных классов и подразделений нашего общества в прямых и непосредственных сношениях с крестьянами два более других резко выдающиеся, более замечательные, это — помещики и управляющие именьями. Богатые живут среди столичных развлечений, между спектаклями и клубами, относятся к крестьянам чрез посредство управляющих. Помещики средней руки, если и живут в своих именьях, то опять-таки не прямо и не посредственно относятся к крестьянам, а через бурмистра, старосту и иных деревенских властей. Лучшие из них заявили себя печатно, остальная часть оказалась несостоятельною. Мне не привелось слышать от них ничего. Много говорилось о псовой охоте, о похождениях по крестьянским поседкам, толковали о невозможности жить на крестьянские деньги в столицах и проч. Самые бедные помещики поражали меня, при бедности в материальных средствах, крайним недостатком образования. В исключительных случаях дети этих помещиков давно уже не в деревне, а в ученье или на службе. Живущие и обжившиеся на родном пепелище отличаются теми же суевериями, держатся тех же предрассудков, как и крестьяне их, от которых они ушли весьма недалеко. Для исследователя около этих помещиков — тот же заповедный и зачуранный робостью и боязнию круг, в который не пройти никакой пытливости.

Но зато важным подспорьем, сильно пособляющим средством для исследований служит особый и весьма поучительный класс людей, который составляют

управители имений. Грамотный управитель, если он не отставной солдат и не немец, внесет в дневник путешественника многое и охотно. Я был счастлив не одним десятком людей этого класса и рода занятий. Грамотный, а тем более образованный управитель для этнографа — высокий, многоценный клад; из-за него хлопот и ходьбы немного: из-за него только разве одна поверка, контроль его показаний, и то для окончательного успокоения совести. Солдат с первого шага из деревни и крестьянской избы в город и в казарму становится чуждым крестьянского, родного ему быта и его интересов, а с производства в унтер-офицерский чин он уже презирает крестьянина и именем «мужика» бранит всякого рекрутика, переданного ему в науку, всякого солдата, низшего чином и должностью. От управителя-солдата ничего нельзя узнать, во-первых, потому, что он сам не привык и не умеет рассуждать и много думать, а во-вторых — и в-последних, — потому, что введением в управление делами крестьян строгой системы он успел отдалить и себя самого от крестьян, и крестьян от себя. Управляющий из немцев по самому происхождению, по плоти и крови и по многим другим причинам совершенно чужд крестьянских интересов; редкий из них умеет говорить по-русски. Эти случайности явлений в большей части случаев складывались так, что от управителей из немцев я никогда не узнавал ничего. Говорилось об агрономических работах в Германии, в остзейских губерниях, у меннонистов и сарептских гернгутеров, о новом плуге, изобретенном в Саксонии, объявлялось, что русский мужик «неопрятный, и ленивый, и грубой, глупый», но и только.

Перехожу из крестьянской деревни и от крестьянина в город.

В город крестьянин везет свои достатки, в городе живут покупатели и потребители им привезенного; в городе крестьянин на суде и в ответе, в городе живут власти его и начальники; те и другие, и купцы и чиновники, находятся в непосредственных сношениях

с крестьянами; те и другие кладут на него свою долю влияния, судя по степени важности этих двух классов. Присутствие этнографа в городе необходимо: он должен иметь там место; но какое?

«Конечно, — скажут, — решительно выгодное, заметно легкое и лучшее: тут он в среде цивилизованных людей; тут он между своими, людьми одинаковых с ним убеждений, одинаковых с ним взглядов на вещи, одинакового образования; тут уже его нечего бояться, не зачем его принимать за ревизора, нет причины считать его за фискала».

«Так, решительно так!» — отвечу я всем на эти предположения, если только они составлены будут по логическим наведениям и...

«Нет, положительно нет!» — скажу я всем, кто любит и хочет правды и уважает практику.

Положение исследователя-путешественника в городском обществе (будет ли то уездное, будет ли то общество губернского города), положение исследователя здесь едва ли не печальнее, чем в деревне, и работы его идут медленно и тяжелее. Много причин этого обстоятельства просятся теперь на перо, но я назову из них главные.

При столкновениях моих с городским обществом мне прежде и легче всего выясняются два класса людей: одних, которые привыкли *всего бояться*, и других, которые *ничего не боятся*. Говорю таким образом, чтоб скорее и проще сократить изложение моих положений. Оба эти положения я выясняю себе так: всего боится, во-первых, тот, который уже сызмалетства был напуган и запуган нередко до того состояния, в каком мы видим деревенских дурачков-блаженников, которые и неглупы по натуре и от рождения, но так уже поставлены, что не смеют вымолвить умного слова; у таких людей нет уже веры в человека, ему незнакомого: это предрасполагающая причина его болезненных припадков.

Такой человек боится своих родных, своего лучшего друга; он не доверяет даже им и верит только в себя

самого, но и то не во всех случаях жизни. Исключения из этого рода людей — герои, люди исторические. А между тем этот класс людей, привыкших всего бояться, лучший, честнейший класс общества; это наши передовые люди. Наше время, и особенно начало пятидесятих годов настоящего столетия, преимущественно и значительно обогатились такими субъектами... Во-вторых, боится всего тот, на совести которого лежит много неомытых, неискупленных грехов, который покойно спит ночью, покоен душевно, пожалуй, и днем иногда, если только не омрачится горизонт того дня появлением нового лица не из того общества, не из тех кружков или, проще, *инкогнито проклятое*, говоря словами гоголевского городничего. Горе путешественнику, если судьба случайно поставила его в положение этого проклятого инкогнито! Тут много ему надо силы душевной и присутствия духа, чтобы перенести то нравственное оскорбление, которое не замедлит основаться на одном подозрении. Крепким и опытным борцом надо быть ему тогда, когда последуют всякие козни и препоны, неизбежно основанные на этом подозрении. Надо много опыта в жизни, много общественных знаний и смысла, чтоб оборонить себя, перешагнуть через все пороги, рытвины и кочки, на которые всегда щедро подзревающее человечество. Так вот и слышится опять тот же гоголевский городничий с его простосердечною бессмертною речью: «Мало того, что пойдешь в посмешище, найдется щелкопер, бумаго маратель, в комедию тебя вставит, чина, звания не пощадит».

В этих случаях почти всегда приходится, посыпав главу пеплом и отрясая прах от ног своих, уходить в места иные, где больше света, меньше мрака, больше людей, а не чиновников. И счастлив пытливый исследователь, если обретет одну душу сочувствующую, одно сердце, способное болеть его болью, жить его интересом; и горе ему, если он попадет на тот класс общества, у которого нет страха, который привык ничего не бояться и всех презирать. Он привыкнет, он скоро поймет, что те

люди, которые, свысока подняв голову, смотрят на других, на все общество *rinse-nez*, — жалкие, ничтожные люди, что их содержание внутреннее столько же бедно, сколько богата их внешняя обстановка — их платье, их кабинет, их обед. Что они похожи на бутылку лимонад-газеса, который хлопает и шипит, но приторно-сладок на вкус и скоро выдыхается. Авторитета их не признавал никто, его не признают теперь, вероятно не будут признавать никогда. Они — порождения того из бесчисленного множества классов нашего общества, который уже потерял свой кредит и упал в глазах большинства. Тут этнографу поучиться нечему. Мимо!

Другие люди небоязливы по своим различного рода связям; их тоже мимо: пожива плохая! Третьи грозят внешнею силою, силою, обусловленною обычаем и многими другими предрассудками общественными, но и их мимо: и от них пожива плохая!

Негде уже искать людей общественных, могущих приносить исследователю пользу: все они несостоятельны или сами по себе и от себя, или по причинам, *от них не зависящим*.

Опять посыпай этнограф главу пеплом и беги из города или, сложа руки, опять углубляйся в самого себя и ищи в себе самом ответа, ищи того, чего не нашел в людях. Но вот раскладываются перед ним приманки: всеми цветами радуги, гармонически соединенными, обольщают его глаза; всеми мотивами лучших композиций пленяют его слух, очаровывают воображение, оковывают все пять чувств внешних. Выбор от тебя зависит: слабый ли ты или крепкий духом — докажи теперь! Вот проба; делай любое: поддавайся приманке, если ты не знаешь, что песня сирен и до сих пор еще оглашает если уже не Тридентское, то житейское море, и беги и беги мимо и дальше, если ты помнишь, что и болотная топь прикрывается бархатистою зеленью, что и зверь боа предварительно прельщает кролика красотою перелива цветов и завлекательными изгибами своего тела и потом уже пожирает его всецело. При таких

условиях увидишь ты только балы, а с ними decoltè, разнородные танцы, много свечей по стенам, но мало света и правды в речах, всегда стереотипных и всегда пустых и заученных. Пойдешь в театры, если ты еще не убедился в том, что только одна Москва всецело и частью Петербург в исключительных сюжетах способны питать твое эстетическое чувство и не возмущают его безобразием исполнения всегда при плохой обстановке, еще при худшей постановке и меньше чем посредственном исполнении. Увидишь ты маскарады — пародии на те, где уважается инкогнито, нет, стало быть, места сплетне, которая особенно зла и безобразна в провинции...

С тех пор как поднялось в литературе знамя обличения и множество повестей, рассказов и драматических сцен обличительного характера наполнило столбцы наших газет и журналов, городское общество сделалось заметно доступнее. На новое и свежее лицо не смотрят уже с предубеждением и опасливо, как это было назад тому четыре или пять лет.

Приводя эти факты, я не могу и не имею положительного основания выводить заключений, которые не могут быть законченными, а тем более непогрешимыми. Ограничиваюсь сообщением одних только фактов.

Благодетельные последствия гласности возымели уже всю свою силу законную и положительную. В пройденном мною пути в прошедшие лето, осень и зиму я уже имел счастье видеть многие плоды ее. В губернских и даже некоторых уездных городах мне указывали на весьма многих, посвятивших свои досуги приготовлению обличительных статей. Описание плачевных последствий, которые в большей части случаев постигли авторов, не входит в план моей беседы. Они свидетельствуют о том, что у нас еще создается только общественное мнение. Имеют ли к нему уважение, дают ли ему веру и ход — вот вопросы, решением которых или, лучше, приготовлением материалов занята в настоящее время журналистика. Решено пока немногое.

Что в нашем обществе развито стремление к обществу, ко взаимному сближению, есть желание составлять кружки — это не подлежит никакому сомнению. А что наше общество еще до сих пор не придумало положительных средств к своему развлечению — это также истина. Существующие средства несостоятельны и в большей части дышат тою же скукою, которая их породила. Смотря с этой стороны на общественную жизнь и на общественные отношения, мы увидим всегдашние карты — лучшее пока развлечение, получившее у нас право гражданства, развлечение, дальше которого не шло современное человечество. Там, где публичность вошла в гражданские узаконения, где журнальная деятельность возбуждает общее сочувствие, где чтение газет — насущная потребность, общественное мнение и суд стоят впереди: его боятся и уважают. В нашем обществе пока еще чтение беллетристических статей — главное чтение. Вопросы наук, и преимущественно наук политических, только недавно с легкой руки московских журналов стали возбуждать сочувствие русского общества, сочувствие, которое, к несчастью, господствует только в малом кружке избранных. Оттого в провинции нет обществ, где бы в литературных чтениях находили и пищу и развлечение; оттого в губерниях на театральные представления смотрят как на простое развлечение от нечего делать, идут туда посмеяться и на сцену смотрят как на средство, помогающее в известных случаях пищеварению; оттого-то и на самой сцене господствует изумительная бессмыслица из цепи скандалов, грязно-двусмысленных выражений, бессмыслица, озаглавленная именем водевиля; оттого-то и успех французских мелодрам со множеством нелепостей, неожиданностей и эффектов, которые пугают детей и ласкают слух взрослых, не западая в душу. К тому же недостаток образования, бедность дарований, преимущественно в женских сюжетах, делают то, что всем русским городам, исключая столиц, приводится видеть

не театральные, а балаганные представления. Не буду говорить о балах, которые больше, чем где-либо, обездоливая супружеские и родительские карманы, больше, чем где-либо, дышат в провинциях натянутостью, скукою, бездельностью, — словом, всем тем, что ясно свидетельствует о замечательной несостоятельности, как будто даже племенной неподготовке нашей веселиться общественно и об умысле составлять лучшие свои компании только для выпивки, как остроумно и давно замечено одним из наших писателей.

Все эти обстоятельства, вместе взятые, приводят нас к тому положению, что путешественнику-исследователю и в городском обществе трудно находить данные и подходить к конечным, разумным результатам. Здесь он видит распадение целого на части, многочисленные части, за неимением общего интереса и общественной связи; видит он лиц служащих, взаимные отношения которых держатся или на степени их административного значения, или на кровном родстве и почти никогда на душевном сочувствии и родстве идей и убеждений; видит купцов, которые в высших слоях своих потянулись за дворянством или подражают тому же чиновничьему быту: стало быть, в редких исключениях самобытны и интересны. В низших слоях своих купечество представляет интерес и значительно больший, и существенно важный. Тут вера в предания и обычаи отцов свято соблюдается и почитается. Наше купечество, не обладающее крупными капиталами, — единственный класс в котором доводится наследить особенности местного туземного колорита; только одни они и самобытны — и от того, что независимы, и от того, что заключены в круг занятий, неизбежно требующих ежедневных работ и ежечасного наблюдения. Класс этот в редких исключениях замкнут, и то только в купцах-раскольниках, — класс этот интересен и по патриархальности своих верований, и именно потому, что в нем сохраняется всецело русский человек, со все-

ми его доблестями и сладостями. Наше купечество дало уже возможность А. Н. Островскому наследить склад русского ума и сердца, все мелкие особенности и весьма иногда мелкие подробности их приложений к практике, к семейному быту, к общественным условиям и проч. Здесь Русь настоящая, та Русь, до которой не коснулась немецкая бритва, на которую не надели французского кафтана, не окормили еще английским столом.

Переходя от купечества к торгующим мещанам, даже крестьянам, исследователь не увидит особенной разницы: дело будет состоять не в общих чертах, а только в дальних и мелких подробностях. Подробности эти бросаются в глаза везде, где угодно: на базаре, на речной пристани, у ярмарочных балаганов и проч. Дробность этого класса на множество оттенков объяснена географически, искать ее нетрудно. В южных, подмосковных губерниях живет народ, исключительно занятый хлебопашеством; отсюда на ливенских, елецких, моршанских и других базарах толчется плут перекупщик или сводчик, прозванный кулаком; отсюда в южных уездах Тверской и Псковской губерний, где производится торговля льном, булыня — тот же перекупщик. Владимирская губерния, обездоленная песчаною и неплодородною почвой, породила домашние работы, и отсюда в Шуйском уезде — фабричный урод из простого доброго народа нашего, пятно на честном его имени, фабричный — вор, пьяница и развратник; отсюда в Вязниковском и Ковровском уездах — богомазы-иконописцы, а вследствие того и офеня-ходебщик, разносчик образного товара; в Муромском уезде — извозчик, из Ярославля — половиной, в Архангельске — рыбак и промышленник морского зверя, из рязанского села Деднова — целовальник, из Углича — колбасник, из Кимвров — сапожник, из Чухломы — маляр, из Галича — плотник, из Ростова — огородник, из Романова — шубник и проч. и проч.

Остается мещанин, которого можно было бы назвать городским крестьянином, если б он не стоял в той среде,

которая зовется городским обществом, если б он, оставши от крестьянства и хлебопашества, не тянул к купечеству и ремеслам, если б он, словом, не был мещанин. Класс этот мало еще до сих пор подвергался исследованию; его отчего-то обегали, несмотря на всю его доступность. Класс этот представляет столько же много интереса, сколько в то же время поражает своим конечным бездодем, незавидною и в большей части случаев бедною, внешнею обстановкою своего быта (если только он не превратится из мещанина в купца). Мещане неторговых и непромышленных городов — те же крестьяне, только бедные и в большей части случаев разоренные, и разоренные оттого, что они уже не крестьяне, а горожане. Отсюда отчасти идут и все те пороки, выходят и все те негодяи, которые ложатся пятном на имя простого (и настоящего) русского люда; из мещан и кулак, и всякий другой перекупень, лошадиный барышник, с кнутом в руках, с ложною клятвою на устах и с подлым намерением в сердце, барышник готовый обмануть и крестьянина-продавца, и ремонтера-покупателя везде: и в Лебедяни, и в Ромнах, и на Коренной. Мещане же в подгородных лесах и перелесках темною ночью обирают прохожего и подрезают у проезжих чемоданы, на что так особенно досужи мещане кунгурские и орловские, недаром прозванные в народной поговорке «проломанными головами». Зато галицкие мещане хорошо выделывают меха, холмогорские — режут на кости, осташковские — шьют сапоги, тульские — делают стальные безделушки, самовары и ружья, ветлужские — берестяные изделия и тавлинки; мценские и балахнинские мещанки плетут превосходные кружева, кинешемские и ярославские — ткнут тонкие полотна, вяземские — пекут пряники, валдайские — баранки, калужские — тесто и проч.

Остается еще один городской класс общества, многочисленный в некоторых городах; таковы все старинные: Киев, Вологда, Москва, Новгород, Владимир;

это — сословие городского духовенства. Сословие это, свободное от сельских работ и, стало быть, от условий крестьянского быта, немногим, впрочем, разнится от духовенства сельского. Меньше угловатости, больше развязности; не поразит он книжным, мертвенным колоритом речей своих; не наследит он в комнатах, не затруднится в ответе; успел оставить кой-какие рутинные, застарелые предрассудки; не бежит от общества и наполовину не чужд его интересов... И вот почти все.

Я бы остановился на многочисленном и постоянно нарастающем сословии людей дворовых, если б о них не было высказано много и почти все: что они тунеядцы; что они запачканы всеми теми пороками, которые порождаются ленью, лестью, вечным прислуживаньем; что в них успели совместиться все дурные стороны характера крестьянина и дурные стороны самих господ. Это лакейство, хамство — слова, обратившиеся в позорное прозвище, в ругательство. Типы лучших людей из них — идеалы; честное сословие так называемых старых слуг — отрадное исключение, но теперь уже старое предание, почти анахронизм.

Безутешно, повторю в заключение, безутешно и непривлекательно положение путешественника-исследователя, и будет оно трудно и тяжело, может быть, до тех пор, пока не войдут у нас в плоть и кровь те верования и убеждения, которыми живет Западная Европа и которые у нас, в России, так недавно стали высказываться, и то немногими избранными. Трудно, повторю, положение путешественника-исследователя до тех пор, пока не установится у нас общественное убеждение, что только сова и летучая мышь боятся света и не любят его; что гласность если и начинает выбирать жертвы, то эти жертвы очистительные. Пусть этих жертв приносится больше: от каждой из них прибыль истине, прибыль обществу от малого до великого. Пусть, наконец, скорее раздастся голос приветный и

призывный и прозвучит он твердо, радостно, и последними словами его будет привет: «Теперь выходите на дело свое прямо с открытым лицом и под своим именем; не берите с собою иных запасов, кроме жажды труда и веры в святость своего дела: трапеза будет готовая и здоровая. Не отравят у вас ни одной минуты, ни одного момента; с радостью вас встретят, с благословениями проводят, как лучших друзей, как родных по крови, и от чистого, незлобного сердца пожелают вам, по русскому заветному обычаю, “счастливого пути” и “Бога в помощь”!..»

# ПУТЬ НА АМУР

## ГЛАВА I ПО РОССИИ

Говорят, приятно и здорово путешествовать. Может быть! — скажу я взявшим билет на почтовой пароход, чтобы ехать в Штетин и в Европу, и никак не скажу этого тем из моих знакомых, которые заручились билетом на Московской железной дороге, чтобы ехать в Москву и в Россию. При одном слове «путешествие по России» в воображении должны вставать десятки ужасов, начиная с шоссейной пыли летом и глубоких ухабов зимой до станционных смотрителей и почтовых форменных экипажей включительно во всякое время года. Поведу речь сначала.

Москва праздничала на тот раз, когда мне приходилось начинать первые версты путешествия. Праздничала Москва, по обыкновению, кружком *по душе*, шумливо и таровато, там, где примкнул и отвел ей место старый вековой обычай и где современные блюстители нравственности успели уже окружить ее теми педелями, которым давно и по справедливости дано прозвание дантистов и костоправов. В толпе этой, приткнувшейся на этот раз у ворот Спасо-Андрониева монастыря, я успел, однако, увидеть всех, кого было надо. Оказались все налицо: кумушки, торгующие всем, начиная с краденого или добровольно вверенного их попечению салопы, оканчивая их лично и чужою честью, совестью и невинностью; мужики, случайно занесенные в Москву за небольшой трудовой копеечкой и задержанные тут их недоброхотами: может быть, кулаком с Болота, может быть, хозяином из лабаза. Вижу и самого хозяина из лабаза, орастрившего уже свое чужеедное

брюхо и налитого чаем и водкою до того состояния, когда уже пальцы его, что тротуарные тумбы, не складываются вместе и имеют форму козла: клади между них по три зарядских сухих пряника — раздавят их в мелкие крошки, на спор и пари. Тут же и нечистый на руку, зоркий жулик в рваной одежке, с помятым лицом и битыми боками — жулик, который обчистил уже многие карманы и — не попадетя. Тут и фабричный с медвежьим взглядом, с *мокрым рылом*, которого уже прибьют и посадят в часть. Вон и дантисты... и костоправы... все налицо.

Вот и Рогожская застава с опустелой будкой, без шлагбаума и караульных солдат, а стало быть, и без кучи телег, некогда выжидавших тут своей очереди по целым полусуткам. Те же виды с теми же выжидающими обозами разыгрываются теперь только подле шоссе-сейных застав и шлагбаумов, где неизбежен солдат из евреев, широкое окно на гауптвахте и в окне путейский щеголь — писарь, перетянутый в рюмочку, тоже из евреев.

Говорят, за Рогожской заставой кончается Москва. Но с этим положением трудно согласиться. Городская черта действительно кончается, но Москва будет вас преследовать долго и долго вперед. Попробуйте оборотиться: длиннейшая колокольня Рогожского старообрядского кладбища стоит себе как бельмо на глазу на целую станцию. Но вот и станция — попробуйте войти и потребовать:

— Лошадей!..

— Нет лошадей! Все в разгоне.

— Да ведь у вас удвоенное число против довольно значительного обыкновенного числа лошадей?

— Удвоенное по случаю Нижегородской ярмарки; но разгон велик.

— Купцы ездят в коровинских и других частных тарансах.

— Ездят и на почтовых. А лошадей все-таки нету.

В книгу, где записываются подорожные, если уже едете не в первый раз, вы смотреть не станете, зная, что время отправки и число отпущенных лошадей отмечено произвольно и так ловко, что книга прямо подтверждает слова зрителя. Загляните на двор и в конюшни — увидите много лошадей, но вам скажут, что это под почту и курьеров. Придется остановиться и ждать, если не выручит вас из беды и сомнения какой-нибудь тутошной.

— Я тебе дам полтинник: скажи, ради Бога, по совести, есть на станции почтовые лошади, лишние, для проезжающих?

Он недолгое время помнется на одном месте, обещается весь и сам в свою очередь спросит вас:

— Да вы какие прогоны-то платите?

— Обыкновенные.

— Дайте купецкие — повезут.

— Какие же это купецкие?

— А тройные.

— Не могу да и не хочу.

— Потолкуйте со зрителем: он, может, и на двойные пойдет. Только посильней попросите: крепко неговорны, упорчивы: вишь, ведь ноне ярмарка...

— Да верно ли ты говоришь, так ли это на самом деле?

— А мы ямщики; мой черед ехать с первым проезжающим, лошади обхомуваны — готовы. Нам ли не знать? Теперь дело ярмарочное — известно.

Вернетесь к зрителю; попугаете его жалобой; он вам и книгу подложит. Пишите, упражняйтесь в сочинении сильных и жалостных фраз, если все это вам еще не надоело.

Один исход — дожидаться, и один выход — в трактир, без которых не стоит ни одна из деревушек, ближайших к Москве. В трактире, в просторечии именуемом «заведением», все столы заняты, на всех столах пьют чай, и именно один только чай. Политико-экономы

уверяют, что чай — суррогат вина. В добрый час, если это так будет впоследствии! Я спрашивал многих:

— Отчего так много пьют чаю?

— Московская повадка, баловство! — говорили старики.

— В чаю сила; чай пот гонит, кости распаривает: оно рабочему человеку и полезно! — ответили те, которые успели уже из семи печей хлеба поесть.

— Канпания за чаем важно ладится. Плешечек десятка два перешвыряешь — на ермонии шаркнешь песню другую-третью: весело! — отвечала молодежь.

Этим убеждениям следуют, кажется, и московские купцы, которые до пятого стакана толкуют о делах; за пятым молчат и вздыхают; перед десятым выпивают водки и крестят рты и, наливаясь чаем, опять дразнят половых: половые ругают их алтынниками, аршинниками и другими приличными и неприличными прозвищами. Тем дело и кончается, если только азартный половой не швырнет в лицо чашкой, салфеткой, не обольет помоями и проч. На этом факте можно бы остановиться подольше (но когда-нибудь в другой раз): теперь готовы лошади, а в дороге нет ничего хуже, как заставлять лошадям дожидаться.

— Поталкивай, ямщик! Не с молоком едешь!

Молчит ямщик и рукой не тронет.

— Двенадцать верст в час вези по положению, на тебе взыщу.

Ямщик молчит и рукавицей не тронет: трусят себе лошади, словно опоенные.

— Сделай же милость, прибавь им шагу!

Наконец летит ответ с козел:

— На водку-то по сколько даете?

— По-казенному.

— На такое положение и езда такая, казенная. Московской купец на двенадцать-то верст по полтиннику кладет, а покрепче наляжешь, так по той же силе и прибавка идет: ярмарка-то один раз в году бывает.

На следующей станции та же история.

— Да вы, почтенный, из каких? — спрашивает ямщик после долгих усиленных просьб скорее ехать.

— Из купцов, из московских.

— Так вам по какому угодно: по-московски или по-коломенски?

— Это что же такое?

— По-московски пристяжных только в скок пуцаем, а по-коломенски так и коренную вскачь. Так купцам и сказываем.

— Валяй по-коломенски!

— Рубль стоит.

— Там уж увидим.

— Нет, ты последнее сказывай: мы ведь без запросу. Уговор лучше денег.

— Однако, как я погляжу, вы порядочные плуты.

— Да ведь без того нельзя: на одном-то кнуте далеко не уедешь, так-то! А сухая ложка рот дерет.

— Оставь философию, ты вот что скажи-ка мне лучше, ямщик: отчего и Покров такой же скверной городишко, как и Богородск?

— Да уж так, видно, надо.

— Нет, ты говори потолковей!

— Чего уж хотеть хорошего от городов наших? Известно, маленькие города, где им до Москвы тягаться!

— А может быть, они оттого и плохи, что Москва хороша.

— Тоись как это так?

— Москва, что пьявка, высосала из них все хорошее, всю кровь; сама разбухла, отвалилась, что налившаяся чаем купчиха или тою же чужою кровью пьявка.

— А ведь это ты ладно сказываешь: ну-ка еще!

— Да ладно кажется. Погляди вон на Бронницы по Рязанскому тракту или на Подольск по Тульскому; на Дмитров, на Верею... все города эти чуть ли не хуже. Не любит же, стало быть, Москва, чтобы подле селился богатый сосед: сейчас всякою хитростью переманит к себе да и обездолит...

— На это и я тебе сказывать могу, что вот и у нас, который мужик стал в брюхо расти, наковал копейку, сейчас он в Москву съедет и старой дом продаст и семью перетацит. Там — слышь — на Болоте ихнему брату очень приятно.

— Сказываешь ты известное дело, да и я тебе передам не новое. По-моему, который город подальше отодвинулся да рекой хорошей позапасся назло Москве и всему ее роду — тот и богат и почетен. Возьмем вот хоть бы город Коломну, Серпухов, Переяславль. Про Ростов и говорить не стану.

Но вот и Покров весь налицо, точь-в-точь такой же, как и первый от Москвы город Богородск: одна улица тянется из конца в конец, изгибается посередине под гору, переламывается на какой-то речонке и, опять изогнувшись, прямым уже идет в гору и пропадает на шоссе, на этот раз пыльном и, стало быть, едва выносимом. Я обращивался назад и встречал то же однообразие видов, доставшихся на долю тех городов, которые созидал не народ, а назначало начальство. В городе две-три церкви, одна соборная, другая кладбищенская. Города эти были села: одно Богородское (хоть бы, напр., и на этот раз), другое Покров. Понадобилось сделать уезд: села назвали городами, привезли чиновников; построились каменные присутственные места, каменные дома исправника, судьи, городничего. Завелся купец бакалейных товаров, вин и москатели; кое-как понагрел руки у чиновников и помещиков, *смеючи и умеючи*; появился другой, третий. Все трое выстроили по каменному дому. А остальное в городе все осталось так же плохо и ветхо, не подвигалось к улучшению ни на шаг, ни на йоту. И реки в этом городе нет хорошей, и бойкий бы тракт идет на него, да идет он мимо: поживиться нечем, и живет Подольск и Богородск мелким кулачеством, и нигде столько не надоедает нищая братья, как в печальном городе Покрове, Коврове и других городах подмосковных.

Незавидна участь и спопутного губернского города Владимира, похожего на купчика, которому досталось

после отца порядочное состояние, да, на беду, и ведьма-мачеха. В то время, когда мачеха беспечно расплывалась в ширину и толщину от китайского напитка, можайских поросят и свиней и от калачей домашнего приготовления, когда обстроивала она свой наследственный участок на чужие деньги и чужими трудами, — пасынок день ото дня беднел. Беднел он оттого ли, что построился на неладном месте, болотистом и безлюдном, или оттого, что плохо его наделили — нечем и не с кем торговать ему, — решать не беремся. Злосчастный пасынок не сумел свести домок в один уголок, все его бросили, и все перешли от него или к той же толстой купчихе-мачехе, или разбрелись по дальним и чужим людям; одни нанялись у немца на Неве дома рубить, печи класть, комнаты штукатурить и красить, другие (*мелюзга народ*) поплелись у той же злой мачехи просить Христова подаянья с печально-пискливым припевом: «По ягоду — по клюкву, по володимерску — по крупну».

Обездолил Владимир, как и другой его дальний родственник — Новгород (от такого же богатого и злого соседа и по той же самой причине). Поволок Владимир дни свои в тоске да горе, и не жить бы ему долго, если бы богатую ярмарку не завел ближний сосед Нижний Новгород. Открыл Владимир постоянный двор для проезжих от мачехи приказчиков и побирается кое-как с кроху на кроху мелкотой — по пословице; нанимаясь подчас и в такие работы, какие совсем бы уже не купеческому уму править, каков, напр., извоз и другое прочее. А и жаль: из честного, хорошего роду шел и ни одним себя скверным делом не запачкал ни в счастливые дни свои, ни в ненастные. И стоит он теперь сирота сиротой, словно уже приговоренный к скорой и неизбежной смерти и словно в последнее любитесь на немногое из старого своего великолепия, от которого остались одни только золотые ворота (но и те совсем пообтерлись). Остальное все погорело; а деревянные печи и железные церкви сохранились только в одной присловке.

Говорят, Андрей Боголюбский с тоски от потери киевского престола построил свое Боголюбово на таком месте, которое напоминало ему Киев. Не знаю, так ли это на самом деле, но может быть, что так это было тогда, но положительно не так это теперь. Мелкая и ленивая Клязьма — не бойкий Днепр, а одинокая церковь на болоте, под горой — далеко не Крещатик. Мост, тот предательский мост на дороге из Владимира к Вязникам, который обрушился и погубил под своими развалинами не так давно много народу во время церковной процессии, не смеет и напоминать о том мосте, которым красится и справедливо гордится нынешний Киев.

— Вот этот мост! — говорил мне ямщик.

— А где же глубокий овраг, о котором писали в газетах?

— Овраг засыпали.

— Слава богу, догадались. А отчего, говорят, у нас мост обрушился?

— Сгнили — стало быть — балки; плохи были.

— А может быть, плохи были инженеры наши?

— Какие это инженеры?

— А путейские.

— Может быть.

— Может быть, они плохо глядели?

— Может быть, и недоглядели.

— Сроду уж такой: простите!

Направо высокая гора вся в зелени; под горой, по которой и по высокому отрогу рассыпался красивый город со множеством церквей разнообразной архитектуры, с каменными домами; город, видимо, и старинный, и не бедный. Город этот — Вязники. Влево от него в ложбине рассыпались пески в неоглядную даль; пески эти, разметав по сторонам, прорезала печальная, хотя и историческая, река Клязьма. Мало на ней, в ней и за ней жизни: редко-редко попадет на глаза какое-нибудь утлое речное суденко: лодка, барка, плот; печально глядит песчаное поле; печальна зелень, вся почти в низком душистом божьем дереве и в ивняке, от которого так мало сущей

пользы, помимо употребления на связку изгородей, на плетушки и корзинки. С городской горы виды богатые, хотя уже и достаточно прискучившие русскому человеку: внизу, у подножия, стелется город, похожий на все старинные русские города и столько же — на всякий другой восточный город; тонкие высокие колокольни, что минареты, высокие дома и рядом низенькие лачужки; их много, они составляют огромное большинство. Вон и река, с трудом одолевающая глубокие пески и прорезавшаяся по местам замечательно узенькой лентой; а там, за ней, и пошел писать сухой ивняк с тщедушным божьим деревом, обдающим на ранней и поздней зорях своим камфорным запахом. Ржавое болото; дальше — словно случайно брошенный кусок стекла — блестит одинокая лужа, озерко; бережно сторонясь, вьется и изгибается узкое полотно дороги, знакомой и приятной теперь для меня в дальних воспоминаниях. Пять лет тому назад шел я по ней пешком, с трудом осиливая ношу непривычного и нового для меня труда. Шел я по ней одинокий, с котомкой за плечами, замаскированный именем семинариста, отыскивающего место учителя, шел я за сорок верст в село Холуй и ходил потом во Мстеру и Палех, чтобы видеть на месте иконное производство и познакомиться с бытом иконописцев (в просторечии богомазов). Бродил я потом по офеням-разносчикам, которые вышли все из соседних с этими сел и деревень... Но теперь уже я здесь временный только гость, проезжий в более далекие и бесприветные страны. Пять лет прошло с тех пор, но Вязники все те же: тот же бой часов соборной колокольни, отсчитывавших четырнадцать, и затем через час — пятнадцать и еще через час — шестнадцать; часы эти так называемого евангельского или библейского звона, отбивающие летом большее число часов дня, меньшее число часов ночи (зимой — наоборот). Те же в Вязниках зеленые кустарные сады по горным скатам, сады, снабжающие Москву и значительную половину России мелкими, но сладкими вишнями; то же щелканье в дощечки, укрепленные на кустах и на

веревках, протянутых к одному центру, к вышке, укрепленной на высоких шестах; и те же стаи ворышек-воробьев, напуганных этим сторожевым щелканьем и густыми тучами летящих на время за Клязьму и на Нижегородское шоссе.

На Нижегородском шоссе — те же общие виды: вдали село с белой церковью, обрамленной черной рамкой строений, правее — опять село; левее — третье, четвертое... точно так же и за Вязниками, как и перед Вязниками. До Вязников с ровного места (и не с горы даже) один раз я насчитал двенадцать сел и не нахожу в том ничего странного и удивительного. Москва, принявши и перенеся православие из Киева, начала деятельную пропаганду на первых же порах своего существования и направляла ее преимущественно в северные страны, предоставив юг влиянию Киева. Владимирское княжество, как ближайшее, первое приняло и возрастило плоды этого усилия, сосредоточенно-настойчивого и замечательно деятельного. Во Владимирской губернии больше теперь сел, чем во всякой другой, даже Московской и Ярославской; число духовенства вдвое превышает количество того же сословия в других губерниях. Владимирского крестьянина вы отличите и в Петербурге и в Москве по той ревности, с какою он совершает молитвенные поклоны — поред всякою церковью, перед всякою иконою. Студенты Московского университета из владимирских приносят с собою в студентскую семью сотни гимнов, церковных тропарей, ирмосов, кондаков и проч.

Предоставляя себе право еще раз вернуться к этому знаменательному явлению в другое время, спешу оставить печальные места Нижегородского шоссе, которое особенно становится скучным по мере того, как приближается к Нижнему. На дороге должен бы попадаться проезжему еще один город — Гороховец, но шоссе обошло его и — обездолило.

— Торгуют вишнями, а что другого-прочего — нетути в нем! — говорит вам ямщик про этот город, и говорит справедливо.

Некоторое время продолжают еще преследовать вас стеклянные ящики в станционных комнатах, — ящики, наполненные складными и перочинными ножами, кинжалами, замками, несессерами и прочими безделками дорогой цены и аляповатой работы: доказательство, что недалеко от шоссе и места родины этих стальных, медных и железных безделок — Павлово и Ворсма — богатые села-города на Оке.

Вон и крупные, мрачные горы вправо от шоссе, вдруг ниоткуда взявшиеся и вытянувшиеся в плотную шеренгу. Горы эти — правый берег величавой, красивой реки Оки. Скоро Нижний и то место, где Ока соединяется с Волгой и борется с ней, намечая результаты этой борьбы в широких и длинных перекатах, из которых особенно знаменит так называемый Телячий брод.

Вон и последняя шоссе́йная застава; целое селение вправо с церквями и каменными домами, как будто небольшой уездный город; вон часовня прямо, а вон на лево цельный каменный город, обставленный замечательным множеством деревянных строений. Эти деревянные строения — трактиры и армянские кухни; каменный город — ярмарочные строения, *ярмарка*. Вон и армянская церковь, православный собор, вон и татарская каменная мечеть на горке; а вон на горе и город Нижний. Но перед вами пока Кунавино и ярмарка (она на этот раз в полном цвету и широком разгаре).

Нижегородская ярмарка существует, живет отдельно, самобытною жизнью от города; с этим она общего ничего не имеет. Ярмарке Нижнего не нужно, она может существовать и без него; ей только нужно то завидное место, которое успел занять в дальние исторические времена город Новгород *Нижний* (названный так в отличие от *Великого*). Ярмарке азиатско-русской именно необходимо было место слияния двух знаменитых рек, Оки и Волги. Один угол занял своим кремлем город; другой угол заняла ярмарка, и хотя угол этот весенняя вода топит ежегодно и ежегодно ломает строения, —

ярмарка, раз крепко уцепившись за это дорогое и завидное место, держится на нем уже пятый десяток лет.

Чтобы убедиться в том, насколько ярмарка не нуждается в Нижнем, стоит только пойти в город. Но прежде полюбуйтесь на панораму, которая открывается с ярмарки, с песков и с мосту на город: таких панорам не много в целой России (вообще небогатой картинными видами): насчитаете три или четыре вида — и не пойдите дальше. Нижний базар шумлив и люден, но он зато очень близок к ярмарке (он составляет ее продолжение); верхний базар тих и безлюден, но таким я видал его и зимой, и весной, когда не бывает ярмарки (Нижний замечательно скучный и сосредоточенный город). Лавки всюду заперты, все они перенесены за Оку, на ярмарку, где свои трактиры, свой театр, своя полиция и пожарная команда, своя почтовая контора, и туда же на все время ярмарки поселяется губернатор. Чего же больше? Я писал бы про Нижний и про ярмарку возможно подробнее, если бы не боялся повториться. Раз я уже имел случай говорить об этом, в 1855 году, в «Библиотеке для чтения». Хотелось бы говорить и про самый Нижний, но предвзятая задача дальней поездки в дальнюю восточную часть дальней Сибири преследовала ежедневно, ежечасно: «На Амур! на Амур! и скорее!»

Выбрал я благоприятный момент для отъезда во время, особенно неблагоприятное для поездок по Волге не только вверх, но и вниз. Волга от сильной засухи, малоснежной зимы и недождливого лета сильно обмелела. По городу ходили неблагоприятные слухи. Говорили, что на реке появились небывалые новые перекаты, что на Телячьем броду сидят на мели и ждут воды до пятнадцати пароходов разных компаний и разного наименования; что «Самолет» уменьшил наполовину количество рейсов вверх к Твери, до которой-де пароходы уже и не доходят, а если и переползают иногда, то с мучительными остановками и великим трудом. Говорили, что «Меркурий», назначая сегодня один пароход к отправлению, изменял назначение и спутал сроки и вре-

мя отправок, что пароходные печатные объявления не имеют уже своего знаменательного смысла, как старое, покинутое и забытое предание. Говорили, что по Волге ходят теперь до Казани только пять-шесть пароходов из всех компаний, что нужно верить не общим объявлениям, а временным — частным, да флагам, которые выбрасываются на пароходных пристанях. Мы так и сделали. От компании «Самолет» отходил пароход «Телеграф».

Это один из лучших мелкосидящих. Он, как мышь, проходит во всякую щелку, нащупывает самый узенький, самый плохой фарватер, и тихо и скромно проходит себе, и потом громко и весело подсмеивается над отставшими своими соседями и товарищами.

Вот что говорили нам. Первое впечатление, конечно, радовало нас и веселило. Нельзя же было не верить честному слову честных людей. Так и случилось: пароход «Телеграф» отходил через два часа. Просим билета.

— Нет! — говорят.

— А мы пришли так рано и первыми просим билеты!

— Вчера все распроданы.

— А сегодня назначен срок распродажи.

— Совершенная правда.

— Отчего же вышло иначе?

— Билеты накануне распродают на ярмарочной сибирской пристани. Надо бы вам там справиться.

— Но этого не знали; об этом не извещали нас. О, ужас!

— Спросите г-на офицера.

Еще луч надежды. Счастье нам улыбается: билеты нашлись. Нас, видимо, хотели пугнуть и потешиться — пусть-де пострадает человек, иногда это бывает полезно.

Надо было сдавать вещи: идем туда, но находим такой хаос, какой и вообразить трудно. Бог весть, кто принимает вещи, кому вверяют их. Невдалеке кипит ярмарка, на которую выезжают, говорят, до тысячи московских жуликов и петербургских мазуриков,

падких на чужую собственность, ловких на самую сложную изобретательность. А здесь так это раскидано по-домашнему, а пароход стоит о борт с пристанью.

Наконец мы замечаем одного мужика, который более других суется, кричит и дерется: видимо, серьезно и старательно он занят делом своим и обязательством. Говорят, и к этим уловкам прибегают опытные мошенники, тем более что мы на суетливом мужике не видим ни бляхи, ни иного знака, господа с бляхами стоят поодаль, не принимая никакого участия в этой суматохе, как будто все это и не их дело и как будто медная досочка на лбу с надписью «Самолет» существует только для украшения.

Кое-как добрались и мы до крикливого и суетливого господина.

— Прими, пожалуйста, наши вещи!

— Некогда!.. подождите!..

— Мы ждем уже полчаса; скоро девять, пароход наш уйдет.

— Послезавтра другой пойдет.

— Остроумно! — замечает кто-то из толпы.

— И справедливо! — прибавляет другой.

— Но нам от того не легче! — отвечаем мы.

— У них всегда так: такой порядок! — раздается иной голос и слышится в нем тон оскорбленного чувства, вызванного тем же бесполезно долгим ожиданием. Нас теснят и давят; идем на уступку: ждем еще полчаса, слышим звон цепей, усиленные вздохи пароходной трубы. Боимся опоздать и снова решаемся напомнить о себе суетливому и бранчливо-грубому господину.

— Подождите, ради Христа! дайте вот барские вещи принять.

— Какие барские вещи?

— Дворянские — значит.

Ничего не понимаем. Знаем только одно, что мы с бородой и что в Нижегородской губернии и в следующих за ней губерниях много помещиков, много дворян, живущих в имениях. Знаем, что много их выезжает

на ярмарку, что для них существует так называемый Никита с общим столом, всегда жирным и до бесконечности сытным. Знаем мы и еще кое-что, и еще кое-что приходит нам в ту пору на память, но молчим и ждем, и входим наконец на пароход. За нами сейчас же убирают трап. Мы были последними.

Но вот и палуба. Перед нами крутой берег Волги; и отсюда так же хорош Нижний, как и от ярмарки; под нами и за пароходом Волга мутно-желтая рябит легкой волной и слегка раскачивает пароход; он визгливо свистит и по временам отдает на берег учащенным звоном в колокол. Палуба полна народом, загромождена вещами, для которых словно и нет уже другого места, а они между тем решительно не позволяют ни ходить, ни лазить; впрочем, общая картина носит оживленный характер. Между многими видится бородастая, довольно плотная фигура, по-видимому, купца. Купец осеняет крестным знаменем небольшую группу на берегу: ребенка, готового кинуться в воду и едва сдерживаемого рукою матери, обливающейся горячими слезами расставанья, и другого мальчика-подростка, ухватившегося за платье матери и тоже неутешно рыдающего. Отец продолжает крестить и вполголоса приговаривать:

— Благослови вас Господи!.. Простите, простите!.. Молчи, Никандрушко, Христос над тобой. Подьтё домой, подьтё...

Ребенок бежит к берегу; его не пускают; он вырывается из рук матери и готов кинуться в воду. Едва вовремя схваченный, он плетется в гору, по временам вырываясь и продолжая реветь безнадежным, зарезанным голосом. Некоторые насмешливо смотрят на эту сцену; иные негодуют на визг ребенка; другие, принимая участие, обращаются к отцу с казенными вопросами:

— Сынок ваш?

— Сын, сын...

— Любимый, надо быть?

— Балую, балую: согрешил перед Богом; четвертый годочек пошел: глуп, потому мал! извините!

Слова его перебивает громкий крик с берега:

— Постегай ты моего пострела, постегай покрепче; пущай не балует!

— Ладно! — слышится ответный голос.

На палубе общий смех.

— Вот тебе и родительское благословение! — замечает кто-то.

— Крапивой ты его постегай! — продолжает отец.

— Ладно — ну ладно! слышу.

— Сделай божеское одолжение!

— Не проси, не трудись. Прощай-ко!

Пароход почему-то еще не отчаливает; говорят, ждут кого-то. Сгоряча и в суматохе этот кто-то, по обыкновению, растерялся и затерялся. Перекличка палубных с береговыми продолжается.

— Хлеб-от прихватил ли, Матюха?

— Есева! — отвечает наш и показывает каравай.

— Мотри не помри с голодухи. Хватило бы!

— Пощо? Не помру... хватит.

— Кланяйся нашим! на ярманке, мол, примостился. Ноне в бурлачину не пойду: черт с ней; всего изломало. Нутро болит, грудь...

— Ладно — ну, молвлю!

— Сделай милость!

— Не проси: молвлю!

И опять новые:

— Трубку забыли, ваше благородье.

— Давай сюда! Ты смотри: с радостей, что проводил меня, не облопайся!

— Слушаю, ваше благородье, рад стараться!

Видится на берегу одутлое, заспанное лицо денщика, его серая куртка, военная фуражка с козырьком, а вон на палубе и его барин — армеец. Все стоят с сосредоточенным вниманием: пароход отчаливал. Отперли буфет: на водное пространство — как известно — влияние винного откупа не простиралось. Пассажиры потеряли с этой минуты все свое личное значение и сделались чужою собственностью, в полном распоряжении капитана и его приспешников.

Права пассажирские не широки и не многосложны, но и не завидны. Те, которые получили билеты 1-го класса, пользуются лучшей участью: у них зеркала, диваны; за ними право не платить денег за вытребованное из буфета тотчас же по потреблению; они могут безнаказанно посещать все места низших цен, смотреть свысока и не удостаивать ни вниманием, ни разговором тех, у которых билеты низших цен. Пароходная прислуга с ними замечательно вежлива и предупредительна; у нас в каюте не только можно сидеть, но и прилечь в случае надобности. Не то в каюте второго класса: здесь от тесноты собравшихся пассажиров дохнуть, повернуться нельзя. Компания «Самолет», верно рассчитавши собственную прибыль, не приняла в расчет того, что пассажир не тюк со льном, не ящик с мылом (которые — кстати сказать — нашли себе завидное место на палубе и бережно прикрыты рогожками и еще сверху парусиной). Права пассажиров 2-го класса все сошлись, что называется, клином: спать им нельзя, сидеть с трудом (какие-то номера, прилепленные сзади к стенкам, ничего не значат). Пришли поздно — едва найдете не место, а местечко; все занято теми, кому судьба посчастливила прийти раньше (как сделали на этот раз персияне). Неумелые ездить в дальний путь обложились саквояжами, картонками, ящиками, узелками и прочим. Пассажиры 2-го класса могут требовать и не требовать припасов из буфета, обложенных дорогими, выше чем петербургскими, ценами; пассажиры 2-го класса платят за кипяток почти столько же, сколько и за самый чай, взятый из буфета. Они могут выходить на палубу и расплачиваться за вытребованный сюда чай десятью копейками меньше, чем за тот же чай, потребованный в каюту. Будьте вы пассажиром 2-го класса — все одно в каюте чай дороже, хотя цены за деревянные бифштексы, тухлые котлетки, жидкие и холодные щи безобразно и одинаково дороги и в каютах, и на палубе. Золотопромышленник, возвращавшийся в Сибирь,

потребовал бутылку шампанского, затилатил за нее 6 рублей и — уже другой бутылки не спрашивал.

Вот все права и привилегии пассажиров первых двух классов; общее у них одно только — право прятаться от дождя в каюту, завидное право, которого безжалостно лишены несчастные пассажиры 3-го класса. Это — по обыкновению — рабочий народ из серого, трудолюбивого, доброго, простого русского люда. Разместили их на некрашенных скамьях, оставили за ними право есть всухомятку и пользоваться всеми неудобствами дождливой погоды.

Вот набежали черные дождливые облака; из них по временам начинает сыпать дождь; вот он приударил бойкой полосой и окатил пароходную палубу: мужчины подогладивее свалились под скамейки и лавочки, другие плят над головами свои дырявые кафтаны; третьи забились под полушубки. Дождь назойливо продолжает обливать их холодной волной еще несколько времени до той поры, когда взыграла дальняя радуга и тучу пронесло на Нижний. Мужички оправались, но, промокнув до последней нитки, представляли из себя весьма плачевную, неутешительную картину, обратившую на себя внимание некоторых.

— На порядках таки вас, братцы, пополоסקало! — замечает купеческий приказчик в синей сибирке, с бирсерной цепочкой и копеечной сигарой во рту.

— Живем-таки! — ответил один голос.

— Ничего, почтенный! Дождь не дубина, мы не глина! — объяснил другой голос.

— Бог вымочит — Бог и высушит! — успокоил их приказчик и отошел.

— Тебе, чай, синей сибирке, ничего под крышкой-то! Парил, мол, брюхо чаем с ромом. Это хорошо, сказывают. Уходи-ко!

— Станем, други, хоть сказки сказывать; а там, гляди, солнышко выглянет — высушит; паки накроет дождик — вымочит. Так ли я высказываю?

— Воистину!

— Чай, ведь бурлаки все?

— Бурлаки. А ты кто?

— Тоже, пожалуй, бурлак: барской лакей! За барин-ном на запятках стоим, привычны тоже... насчет до-ждя.

— Ты, кажись, выпил, паря? Мокрому-то тебе экому тоже пущай дождик-от нипочем.

— Ты меня не поил, а ладно сказываешь. Перед то-бой, как перед тещей: не таю́, полуштоф урезал один.

— На здоровье!

— Не стоит благодарности!

Лакей стал набивать трубочку; последовало молча-ние. Кто-то зевнул и вздохнул; лакей поймал это дви-жение.

— Эх, кабы теперь на печь или бы в баню!

— Да так, так, парень, так! — следовал ответ.

В одном углу послышался сильный храп; лакей и это поймал. Он сошел с места и стал будить спавшего:

— Дядя Обросим!.. как тебя звать? Пузыри напишь! Вставай! Гляди, опять дождем пугает. Очнись!..

Проснувшийся сердится, бранится, но лакей входит в роль весельчака, души компании, без которого не об-ходится ни одна артель, будет ли то плотничья, бурла-чья, солдатская и всякая другая.

Мы оставляем палубу, потому что дождик опять на-чал барабанить по ней: мужички бросились под лавку. Один из них лежал еще некоторое время лицом на до-жде, но и он спрятал голову под угол полушубка и по-добрал под себя ноги.

В каюте второго класса — по обычаю русского чело-века и — также, по-видимому, все ознакомились между собою охотно и скоро и — разговорились. Образовались отдельные кружки; слышались своеобразные различ-ные разговоры.

— Построили противу разбойников этих суда та-кие — гаркоуты! — слышалось из одного кружка.

Рассказывал старик.

— Построили эти гаркоуты, — продолжал он, — казенных солдат и офицеров на них нарядили и на эти гаркоуты посадили. Сказывали им по начальству такое слово: «Есть-де на Волге места такие (и таких-де мест очень много), где в Волгу мелкие и немелкие реки впадают. Тут завсегда лес растет покрепче; пригорки есть, за ними можно прятаться, а если жилье ушло далеко и лес вырос раменной — тут разбойникам лафа, тут они любят хорониться с косными своими лодками и выжидают добычи!» Вот и едет богатой купец на ярмарку или с ярмарки от Макарья. Тогда ярмарка еще на Желтых Водах была; у него десяток работников в бурлаках: половина спит, по обычаю; другая свою должность правит: ладит паруса и снасти. Оплошка есть — да малая. Сторожевой, чередовой разбойник в кустах спрятался и все видит, и видит больше того, что хозяин барки думает. У них уж такие лазутчики были в нищей братии, что разузнавали всю подноготную: какой купец когда поедет, какие повезет товары, и на сколько рублей, и сколько этих рублей в мощне у него; какая у него сила, сколько рабочих и хворый ли то народ, али здоровый. Все знали лазутчики и об всем давали знать воровскому атаману. Тот по окраске и судно узнал, а на корме у него во всю силу и имя прописано. Молодцы сейчас в лодку и сейчас за разбойничью песню свою, и пели ее так ладно и складно, что заслушаешься и страх позабудешь на время. Это первая уловка разбойничья — да ей не давались! И гребут разбойники к судну купецкому, и кричат на него свое «сарынь на кичку». Дурак-бурлак понимал это слово, понимал он его так, что сейчас же ничком ложился на палубе; разбойники приходили, все обирали; и ничего не оставалось делать хозяину, как отдать свои денежки, потому что вся прислуга ничком лежит и не шелохнется. Кто пошевелился — тому и нож в затылок: расправа короткая! А лежал бурлак ничком потому, что в бурлацких артелях мнение такое было, что разбойник с нечистою силою знает, а что в атаманы они и не брали такого, который раньше не продал свою душу черту за шелковую пер-

сидскую рубаху и за бархатные шаровары. И был у меня в старые годы дружок (ноне покойной) вятский купец Анфилатов: в городе Слободском он купеческой банк основал. А на тот год он впервые и торговать начал: нагрузил барку хлебом да и поехал в Астрахань за персидскими разными товарами. И знал он про бурлачью дурь, про повадку и оказывал им: «Кто-де из вас первый ляжет ничком — тому первому и пуля в лоб. Себя — сказывал — не пожалею». Так и случилось: выехали разбойники, свою «сарынь на кичку» вскричали, а бурлаки стоят себе на ногах и не валятся. Раза три кричали свое слово разбойники, да и полезли наверх: Анфилатов топором урезал первого — «положил в воду». Другой полез — и того положил. Видят остальные, что дело плохо — наутек...

— Извините, я вашу речь перебью!

Старик остановился. Общее внимание перенесено было на новое лицо, перебившее речь старика. Это был сухой господин с французской бородой, в очках и в помятой пуховой шляпе той формы, которая так быстро успела войти в последнее время во всеобщее употребление.

«Чем-то этот хочет потешить нас?» — думали многие, если не все, и, опустив головы, стали прислушиваться. Затронутое любопытство, но с большою долею равнодушия и праздности смешивалось на многих лицах. Ждали недолго; господин в мятой шляпе продолжал.

— Важно, — говорил он, — не то, что вы рассказываете; не то, что про разбойников и против разбойников построены были гаркоуты. Надо же было принимать когда-нибудь и хоть какие-нибудь меры предосторожности. Разбои так быстро и сильно увеличивались. Все Приволжье обуял какой-то страх панический, — страх, который не могли рассеять ни воинские команды, ни дневной свет, которого вообще боится всякий вор, из какого бы он народа ни происходил, в какой бы части света ни родился. Разбои на Волге происходили среди бела дня, при блестящем солнечном освещении — это факты. Разбойники хорошо знали, что за ними назначены следить воинские команды на гаркоутах; мало того,

они видали эти гаркоуты; скажу больше — бывали на них, пили водку, пиво. Важен тот факт, хочу я сказать, что эти же самые казенные гаркоуты производили грабежи (правда, не разбои); не говорилось «сарынь на кичку», но брался оброк, и довольно тяжелый, сильно стеснительный. Важно здесь то обстоятельство, что в процесс искоренения одного зла успело вкрасться иное зло, домашнее. Грустно думать, что у нас доброе начало в большей части случаев имеет скверные последствия. Руки у нас нечисты; словно до самого корня пропитаны мы злом, а зло успело раздробиться на тысячи видов, и каждый вид получил свое название. Казнокрадство и взяточничество, неуважение к чужой собственности и к чужой личности — худшие из этих зол, но они существуют и теперь, а что было тогда? Гаркоуты велено было уничтожить: они превосходили всякую возможную меру терпения. Разбои прекратились, но не гаркоутами, а сами собой: некому было воровать, да и разбойники, сначала напуганные правительственной мерою, замолчали, перестали выезжать; потом с сосредоточенным вниманием и изумлением смотрели на новых деятелей и, изобретательные сами по себе, изумлялись находчивости соперников и наконец кончили тем, что обратились к мирным занятиям и преспокойно нанялись в бурлаки, в ямщики. Тогда берега Волги к стати успели крепко облудеть, заселиться. Я хотел сказать, что все, вами рассказанное теперь, не новость: про это всякий слышал и читал, мало того, видал даже на сцене. Стоит только вспомнить московские серобумажные издания тридцатых годов, где вы найдете и «Таньку, разбойницу Ростокинскую», и других разбойников. Ванька Каин на своем оригинальном, замечательно метком языке добросовестно передал ко всеобщему сведению свои личные разбойничьи похождения. Смотрите на столичных сценах на Масленице счастливую драму или, лучше, дивертисмент князя Шаховского «Двумужница», вы увидите повсюду если не совсем правду, то, во всяком случае, что-то чрезвычайно близкое

к действительности. Такова, по всему вероятно, была внешняя сторона разбойничьего дела, декорации, которыми украшался и обставлялся этот род греховного промысла. Он всегда грозен и отвратителен, потому что на нем запеклася кровь.

— Мне кажется, это были по большей части те уроды из простого народа, те негодяи, которые избаловались и привыкли к праздности, привыкли к кабаку. Нуждались в выпивке — шли в разбойники.

— Это слишком узко. Так судить о знаменательных событиях нельзя. С такими положениями мы недалеко уйдем.

— Но вы начинаете сердиться...

— Не сержусь я на то, когда оправдывают разбойника, я отвык сердиться и уходился до того, что спокойно верю и в тот знаменательный факт, что едва ли нашему времени позволено будет и удастся раскрыть прямую причину разбоев. Она так сложна и запутана! Я не стану ходить далеко и возьму в пример недавних казанских разбойников; со смерти или, лучше сказать, со времени казни их не прошло и двух десятков лет. Один из них, именно Быков, сознался, что зарезал беременную женщину затем, чтобы посмотреть, как у ней лежит в матке младенец и живой ли он; и разорвал татарина пополам, привязавши ногами к двум наклоненным вершинам, для того только, чтобы видеть, что из того будет. И потом прибавлял, что собственными руками не сделал он ни одного преступления, не запачкал их ни одною каплею крови: все за него исполнял товарищ его Чайкин. Да, так действительно, было. В этом характере Быкова я вижу что-то демоническое, фатальное.

— Он был сумасшедший.

— Да! Но мания его достойна глубокого изучения — и патологического, и философского. Он принадлежит к числу тех бешеных, отыскание причины мании которых предмет интересный, серьезный и чрезвычайно трудный. Сам он ничего не ответил. Верю: может быть, и оттого, что его не умели спрашивать, хотя, говорят, он

и сказал одному из членов, желавшему знать причины его зверства: «На что вам это? али на всякий случай, чтоб самим вперед пригодилось?». Верю также невозможности раскаяния и присутствию чистосердечия в том человеке при смерти, который ни разу не уступил совести при жизни. Нет! что хотите, а я не верю таким скороспелым выводам, которые вы успели высказать. Зачем же были Стеньки Разины, Пугачевы? Мы займемся теперь разбором простейших, более доступных нам фактов. Что вы, например, думаете в этом случае о бурлаках?

— Полагаю, что страх их поддерживался суевением — исконным достоянием всякого народа, а в том числе и нашего.

— Этого, по-моему, даже и не нужно, как и доказал то, напр., тот же Анфилатов: он показал пистолет — и бурлаки предпочли невещественный, отвлеченный страх действительному, вещественному. Я знаю и многие другие примеры подобного рода, но не стану приводить их, потому что не хотел, собственно, и говорить об этом предмете, да скучно стало сидеть, да и пришлось к слову. По-вашему, что такое бурлак?

— Это один из несчастнейших видов, подразделений нашего простого народа. Бурлак — человек, профессия которого, сосредоточивая и развивая силу физическую, обездолила его нравственную сторону. Это — рабочая сила, которая только теперь, к счастью, и то наполовину только, заменена лошадьми и паром; рабочая сила, повторю я, подчиненная произволу и воле одного человека за известную плату, на известную путину. Он видит только впереди известное число рублей, которые пропьет до последней конейки раз в Рыбинске, другой — в Астрахани и третий раз в Нижнем; знает он только одного хозяина...

— С которым, однако, прибавлю я, не связан нравственными узами. Хозяйское добро бережет или сам хозяин, или приказчик, — бурлак только добро это тащит куда велено. Он не муромский, не коломенский

извозчик, который берет все обозы на свой страх и попечение и за целость их по накладной отвечает только честным словом, кстати сказать, всегда верным и незыблемым. Бурлак, ложившийся ничком перед ножами разбойников, думал никак не дальше следующего: «Пронеси, Господи, беду мимо меня, а у хозяина денег много; коли отдаст, сколько потребуют, — не убьют; а наши деньги всегда оставят, таков уж разбойничий обычай! Да и из-за какого черта лысого станем мыivotы свои тратить; на это нас не подряжал хозяин, да и невесть какие деньги и так-то получаем, из-за них и мизинец занозить стыдобушка. Опять же когда и не наша — на беду — возьмет; разбойник — ближний человек, соседний: из одной деревни другой найдется, чего доброго! А со своим человеком ссориться — хуже худа нету. Опять же, сегодня один хозяин, а на другой год и к другому можно наняться. Матушка-Волга широка, долга — не клином сошлась на ту беду!» Не правда ли, что это отчасти так? — отнесся господин в мятой шляпе к старику-рассказчику.

— А я, признаться, о разбоях этих мало размышлял; рассказываю, что слышал, а самому испытывать не доводилось. Правда же это, что доброго приказчика и встарь, что и ноне, днем с огнем поищешь, а уж не только рабочего какого.

— Разбойники, по моему мнению — продолжал господин в измятой шляпе, — плодились быстро оттого, что была им повадка от продажной совести земской власти и от того равнодушия (не скажу пока сочувствия), какое питало к этому людному сословию остальное наше простонародье. Иначе чем объяснить то явление, что от самого истока до крайнего устья Волги почти на каждом шагу попадают бугры и горы, заклеянные именем какого-нибудь разбойника и даже разбойницы? отчего от самого истока у редкого села нет позорного прозвища; то слышишь: «Новоторы — воры, да и Осташи хороши»; то: «Скопинец да Бобринец вора кормилец, а Елец вора отец»; то: «Лихвинские горы да

Новоторжские воры злее всех»; то: «Кинешма да Решма кутит да мутит, а Солдогда, Арменки убытки платит» и проч. Не диво отчасти, что при таком множестве коренных пунктов корпорации разбойников были многолюдны. Нет ничего странного, если предположим, что между всеми партиями существовала помимо нравственной и вещественная, действительная связь, как это и доказывает признание Ваньки Каина в собственной повести. Не дивлюсь я теперь, что бурлак послушно падал при крике «сарынь на кичку»: бурлак такой убитый человек! Я даже не верю, чтобы они были авторами поэтических дум и песен волжских. Их воображение и фантазия не могли идти дальше той простой песни, которая бьет им такт и уравнивает их шаги, — песни, в которой нет никакого особенного смысла, кроме ряда слов, расставленных в известное количество равных слогов. Авторы волжских песен, несомненно, разбойники. Бурлаки только хранители этих песен, и то плохие; теперь они уже заметно пропали и у редкого доспросишься, редкий подарит замечательной песней помимо тех, какие уже успели набить оскомину с ученической скамьи до веселой и бурливой компании в настоящее время. Счастливее других был в этом отношении г-н Костомаров, начавший печатать свой замечательный сборник в «Саратовских губернских ведомостях», но не кончивший. Г. Якушкин, напр., нашел волжскую разбойничью песню в Орловской губ., бог весть кем и когда занесенную. Песня эта особенно замечательна по тому обстоятельству, что в ней восстает изумительно поэтический образ женщины-разбойницы: может быть, Дуньки Казанской, может быть, Таньки Ростокинской. Во всяком случае, образ этот — гомерический. Им можно любоваться до ужаса. Такой же точно чудовищный образ женщины-атамана виден в одной из песен костомаровского сборника, описанный не менее яркими красками и обставленный не меньшими ужасами. Знаете ли что? О разбоях можно говорить много, и наши писатели обязаны говорить об этом много. Чувствую, что труд не-

малый; бог весть, где разбоев не было, бог весть, сколько архивов надо перерыть для этого дела! Решая задачу Стеньки Разина, г. Костомаров положил только начало делу. Останавливаясь на создании Руси в Киеве, на обручении ее с Византиею в Москве, на крещении ее Петром, я готов еще остановиться на казачестве, на Великом Новгороде, на расколе и на разбоях, чтобы вывести последний итог и уяснить себе многое, если не все.

Речь рассказчика прервана была пронзительным свистком, возвестившим нам, что мы близко от пристани. Выйдя на палубу, мы увидели мрачные, одинокие стены монастыря, за ними церкви и утлые домишки несчастного города Макарьева. Видели девок, таскавших на пароход дрова, двух-трех послушников, баб, продававших пироги, яйца, молоко, ягоды и яблоки. Видели опять господина в мятой шляпе с товарищем, возвращающимися с берега на пароход.

Рассказчик говорил, и говорил уже более смягченным тоном и спокойным голосом:

— Это, понятно, дело детское. Не играйте — говорят им — тут, потому-то и потому-то, дурно и вредно, играйте здесь, потому что здесь лучше, посмотрите сами! «Ай — и в самом деле лучше, станемте играть лучше здесь!» Так точно и тут. «Вам, — говорят, — торговать лучше там, где сошлись Ока с Волгой, и посмотрите, какие это славные реки, а здесь, — говорят, — что за место? и река и некрасиво». Посмотрели, подумали — нашли, что и в самом деле лучше, сначала по тупой привычке года два-три ездили на старое место, а потом догадались и совсем перешли на новое. Умные дети, послушные дети! Мы вам за это игрушки подарим: вот пока вам каменная дорога, а вот вам и железная за хорошее поведение.

— Но отчего же так вдруг обеднел город? — спрашивал товарищ.

— Да он никогда и не был богатым. Разве самый Нижний сильно богатеет? Ведь ярмарка привозит деньги и удаляет их, но в то же время она привозит и столичные затеи. А мы народ и балованный и неумелый, потому что

не только малообразованны, но и малограмотны: истина старая и истертая уже до безобразия. Вы укажите мне хоть один город, который разбогател бы от ярмарки.

— Ростов.

— У него и без нее много средств богатеть. Не забудьте, кстати, что ростовцы — все огородники, лучшие и единственные по всей России. Да и Ростов давно строится, Ростов старый-престарый город. Недаром ярмарки придумали выносить за городскую черту, как это делается везде: и в Лебедяни, и в Курске, и в самом Нижнем, и в Ромнах, и везде, решительно везде. Ярмарке только нужно приткнуться таким образом, чтобы не строить себе (лишний раз не хлопотать) постоянных дворов и гостиниц. Вот эти-то постоянные дворы и заменяет город, этими-то гостиницами и служит он для приезжих купцов, именно для *приезжих*, потому большинство туземцев маклачит по мелочам, торгует на грош: дело мещанское! Я знаю, что в Лебедяни мещане — барышники лошадиные; на хлебных рынках — кулаки, в Ростове они торгуют мелкою дрянью: деятельность невидная! Виднее еще как будто торговля съестным, но и та ведется женским населением города, но и та с крохи на кроху мелкотой пробивается из-за хлеба, на квас не зарабатывает, говоря словами их же поговорки.

— Изумительно печально положение наших мещан!

— А еще печальнее то, что за них еще почти совсем не вступалась наша литература и обходила их, как будто забывая, что они существуют, что они составляют самостоятельный и интересный для изучения и поучения класс, что они не крестьяне и не купцы, а именно мещане, срединное звено между этими двумя звеньями в сложной цепи сословий русского царства. Во всяком случае, вопрос еще на очереди, мы не будем говорить о нем теперь; пойдете лучше любоваться на Волгу, она так хороша здесь!

Действительно, гористый и лесистый правый берег Волги необыкновенно живописен. Начинаясь высоко от самого Нижнего, он здесь, за Макарьевом и особенно от

стороны богатого Лыскова, изумляет величиной и разнообразием высей. И мирно плывет рядом с ним низменный левый берег, весь в зелени, весь заросший сочной, богатой травой. Хороша Волга налево и еще лучше направо. Контрасты разительны и в то же время так своеобразны и увлекательны! Налево что-то кроткое и мирное, направо что-то торжественное и страшное; налево — тени легкие и ласкающие, направо — резкие и пугающие.

— Если разбойники водились и в здешних местах, то они непременно выходили из деревень этого, правого, берега. Бурлаки непременно, в свою очередь, жили в то время в деревнях левого берега. — Так говорил наш недавний знакомец — словоохотливый рассказчик в помятой шляпе. — Впрочем, — прибавил он, — Волга так хороша и про нее так много было говорено и печатано, что лучшего не придумаешь. Одни народные песни дают на это какой богатый и полный ответ!

С этими словами нельзя было не согласиться вполне и бесспорно.

Пароход наш между тем летел очень скоро, притягивая новые виды и давая достаточно времени, чтобы ими полюбоваться. Замечалось разнообразие, хотя и не особенно резкое. Начинало между тем смеркаться. Левый берег отошел от нас далеко и пропал во мраке; правый почернел еще более и еще сумрачнее стал глядеть на нас. И как он дико красив был в эту пору!

По несчастью, нам привелось этим любоваться недолго: берег вскоре пересекла широкая полоса реки. Река оказалась Сурой, знаменитой своими стерлядями, лучшими после чепецких. Там, далеко в темноте, пропадали город Василь — и хорошо делал: печальнее его и беднее мало других городов на святой Руси.

Мы бросили якорь. Нам объявили, что за темнотою капитан не надеется пройти дальний и довольно опасный пережат, и потому мы должны были простоять здесь часа четыре, пока длился ночной сумрак. Воспользовавшись этим временем, я вышел на берег.

Песок хрустел под ногами; кругом было тихо, вдали виднелся огонек, как будто разложена была теплина. Я пошел по этому направлению. Вижу разложенный огонь, над ним чугунный котелок, подле валяются живые фигуры — человек шесть.

— Здешние вы?

— Нету, бурлаки.

— Откуда?

— Вятские.

— Как это вас сюда Бог занес, в даль такую?

— Ребята нахвалили: пошли пробовать.

— Ну что, хорошо?

— Больно плохо: тяжелее работы, кажись, и на свете нету. Не знаем, как и до дому добредем, а добредем — назад уж не вернемся.

— Одежей износились; в баню бы вот хочется, так, вишь, не готовят, а закажи — слышь: и прождешь целой день; а работа на срок.

— Да, может быть, выгодно нанялись?

— А не знаем. Чай, домой-то и трети не принесешь выручки...

— Хлеб-от есть ли у вас?

— Хлеб есть: в Козмодемьянском купили. На варево больно шибко позывает: надоела сухомятка. Вон какую-то рыбку половили: уху варим. А опричь того — ничего больше и нетути...

— Подайте, батюшки, отцы благодетели, бедной страннице на пропитание! — вдруг, откуда ни взялся, разбитый старушечий голос, и сама, разбитая ногами, старуха-нищенка стояла уже подле группы нашей, из среды которой раздался новый голос, не менее разбитый, в ответ ей:

— Бог подаст, бабушка, сами семерых послали — не знаем, что принесут.

Все засмеялись.

— Шишка наш! — счел за нужное объяснить мне самый ближайший ко мне.

— Веселый же он у вас — и с голоду шутит! — заметил я.

— Такой ли он был, как из дому шел?! Изломало его пуще всех: дело, вишь, его такое, что всегда он должен быть впереди, вся тягость-то на него и ложится. Он же и песню запевай; он первым и лямку дергай. Трудно!

— Как не трудно, когда все на грудь ложится: болит — поди!

— Схватывается же он за нее часто, жалуется, а все шутит.

— Шутки шутить — всех веселить, дядя Мартын! Так-то! — отвечает уже сам шишка, и продолжает потом: — Дело бурлачье, почтенной человек, такое выходит, что пять тебе алтын да из боку ребро — вся тут и сказка. Идешь себе путиной да и думаешь: шел — перешел, кабы день прошел, а уж об этом не кладешь заботы, что тебе завтра есть дадут, а ино смекаешь, что большая-де сыть брюхо портит, да ведь и опять же много есть — не велика честь, не назовут богатырем, а объедалой. Дома, почтенной человек, безотменно лучше, чем здесь!

Все засмеялись. Одобренный повадкой, шутник продолжал:

— «Бог даст день — Бог даст и пищу» — сказано, а на другой день попищим-попищим, да и так просидим. А ведь уж бурлацкое дело такое: нет ему ни от ветра затулы, ни от дождя защиты, и в лаптях идем, а не спотыкаемся. Дома таки не в пример лучше.

— Да ты женатый?

— Была жена, да и тоё корова сожрала. Кабы не попово сено, и самого бы съела.

Опять все хохочут.

— Чем же тебе дома-то лучше?

— Да хоть бы и тем, что там ешь, сколько хошь, ешь, покуда упадешь, а на ноги поставят, опять есть заставят. Оставляя шутки, надо тебе говорить, господин честной, вот что: баней мы очень тяготимся, дядя-то Мартын

тебе даве правду сказывал. Бабы наши недаром толкуют, и верно: в бане паришься, из косточки в косточку мозжечок переливается. А тут вон тебе судовой-то хозяин даст деньги — да и сказывает: вот тебе, слышь, копейка, выпей хорошенько, закуси да грош сдачи принеси. Вот что худо.

И опять общий смех, и, вероятно, продолжится этот поддерживающий силы, отрезвляющий помыслы смех, честный и искренний, до тех пор, пока не устанет и не угомонится шутник-шишка. Не буду же и я мешать им и употреблять во зло словоохотливость и откровенность простосердечного и добродушного вятского народа.

Потянется шуба за кафтаном, наступит осень, станет рябить матушку-Волгу в последние разы и начнет прихватывать с краев и затягивать цельным полотном ледяным от берега до берега — придет бурлаку пора ко двору тянуться. А встанет вода на воронках и осилит их лед — и придут по Волге обозы с деревянной посудой, с кожами, с лыком, да с мерзлой рыбой, да с овечьим руном — бурлак уже давно дома на печи шутки шутит, за столом, через хлеб, калач достает, ест, сколько в горло войдет. А мужицкое горло, что бердо, по пословице — долото проглотит, а брюхо из семи овчин сшито!

На дороге мне попался опять наш неутомимый рассказчик, также возвращавшийся на пароход. Он говорил:

— Пословица говорится: «Богатому быть трудно, а сытому мудрено». Раз не успевши захватить в свои руки хлебной торговли, раз не заявивши себя срединным хлебным центром, Василию уж трудно было делать что-нибудь в то время, когда завелись богатые-пребогатые соседи, за которыми тягаться далеко — упаришься, напр., село Лысково и город Козмодемьянск. Конечно, Василь, собственно, должен быть пунктом хлебным для Суры и посредником для передачи низового хлеба на Волгу, но, во-первых, там, в верховьях Суры, завелось деятельное торговое село Промзино-Городище, а во-вторых, ни один хлебный приказчик по завету отцов и

по приказу хозяев не закупает хлеба в Василе, а едет в Промзино-Городище. Это-то село, почти с исключительною привилегиею для себя, и отправляет на мокшанах весь пензенский, тамбовский и отчасти симбирский и саратовский хлеб в Петербург.

Я видел это село — деревянное, правда, но многолюдное и летом крайне оживленное; оно как будто втянуло и сосредоточило в себе всю силу хлебной торговли по Суре, обездолив остальные сурские города: и Алатырь, и Курмыш, и Ядрин. Последний город еще является соперником, но слабым и ничтожным...

— А рыбные промыслы в Василе?

— Ничтожны: капля в Волге.

— Однако сурские стерляди почитаются лучшими из волжских, не идут в сравнение ни с шекснинскими, ни с унженскими, ни с ветлужскими. Они уступают, говорят, одним только вятским, именно чепецким.

— Лучшее доказательство их достоинства вы видели сейчас в трактире: горячая вода, две луковицы, две стерлядки, и — наполовину миски ржавчина — вкуснейший жир и такая уха, какой не подадут вам ни в одной из столиц.

— В Козмодемьянске мы ничего не найдем особенно замечательного?

— Ничего, да и там не надолго остановимся.

На другой день, со светом, мы снялись с якоря. Острова по Волге стали попадаться реже, выплыл один, но заметно больший против тех, какие уже нам попадались десятками. Волга становилась замечательно шире: приближалось то место, где впадает в нее река Ветлуга своим широким, песчанистым устьем. Ветлуга — шестая большая река (от истока), впадающая в Волгу, шестая река, бегущая из лесов, стало быть, многоводная, и многоводная в той степени, что она из лесных рек уступает в величине одной только Каме — царственной реке всего Приволжья, последней из лесных волжских притоков. Остальные притоки Волги бегут из степных лолос России, и между ними Ока

является достойной соперницей Камы затем следуют: недавняя Сура и недалекая уже (для нас) Свияга; и затем степных притоков Волги нет, все остальные ничтожны и немногочисленны. Ветлуга, как Кострома-река, Унжа, как Керженец, как Кокшага, несут в Волгу лесные материалы в плотках, а нередко и в судах разных наименований, между которыми гусянкам принадлежит первое место. Правда, что подобного рода промыслы по рекам Унже и Ветлуге обездолили эти реки, засыпанные теперь песками и способные поднимать неглубоко сидящие барки только во время весеннего половодья. Ветлуга не выпустила даже в Волгу недавно выстроенного (собственно для нее) парохода, скоро принужденного ограничить свои рейсы небольшими прогулками и затем — сколько помнится — совершенно прекратить их. Насколько между тем развита лесная промышленность в притоках Волги, можно судить по двум рекам, коротким в своем течении, каковы Керженец — некогда средоточие сильного раскольничьего толка, и Кокшага, при устье которой, в селе того же имени, в весеннюю и летнюю пору временно основывается целый город, шумный попойками, громкий сильной карточной игрой и другими делами, на какие падко богатое деньгами и праздное человечество.

Между тем «Телеграф», исполняя свое обещание — сегодня же доставить нас в Казань, спешит далее. Мы видим издали Козмодемьянск, видим Чебоксары, вдали белеет Свияжск — город Грозного. Видим тут, там и здесь белые и желтые старинные церкви, каменные дома. Видим барки, росшивы и другие суда, бегущие к нам навстречу. Несутся оттуда заветные бурлацкие песни, которых успеешь еще послушаться под Нижним и которым не будет конца и за Казанью до Самары, и до Астрахани. Вот белеет вдалеке, в десяти верстах от Волги, разбросанная на горах и под горой Казань. Пароход останавливается на Бакалде. Извозчики-татары чуть не разрывают вас на части: некоторые в пролетках, другие с долгушками, но большая часть — ломо-

вых в каких-то курьезно мелких телегах. Берем и того и другого и едем по отвратительно скверной дороге, едва возможной для езды, едва выносимой. Не дорогой, собственно, едем мы дальше — везут нас между кустами, по каким-то тропинкам, оврагам; деревья хлещут в лицо; колеса срываются в глубокие колеи и грозят ежеминутным падением. С трудом добираемся мы, обрызганные наполовину, измученные, до Адмиралтейской слободы, по которой предстоит новый ряд мучений, едва ли не тягчайших. Мучения не оставляют нас и на дамбе, связующей слободу с Забулацкой стороной города. Но отчего мучения эти переносим мы с меньшим ропотом? Отчего радуется нас появление казанского памятника, в котором, кроме пирамиды, нет ничего бросающегося в глаза и особенно радующего? Отчего, наконец, бьется наше сердце, и тем сильнее, чем ближе придвигается к нам Казань? Отчего испытываем мы радостный трепет даже и в то время, когда являются печальные виды недавно погоревшего, несчастного города, обездоленного на большую свою половину? Отчего, наконец, мы начинаем испытывать ту лихорадочность нетерпения, какая так редко дается в жизни и становится дальним, туманным преданием темного детства, то приятное нетерпение, обливающее сердце кровью и наполняющее все помыслы, когда вы видите родной кров, родные лица, улыбающиеся вам после долгой разлуки, когда вы смотрите на тех существ, которые не покупаются ни за какие деньги в жизни, а даруются природой, как лучший ее дар, как драгоценное жизненное достояние? Прочь всякая преступная, задняя мысль! Прочь всякое сомнение, недоверие, скептицизм!..

Но отчего же именно Казань ласкает нас своим видом и охватывает все существо приятной радостью, навеивает тысячи отрадных воспоминаний и ощущений? В Казани нет для нас ни одного кровного существа. В Казани нет для нас родительской кровли. То и другая там далеко, за Волгой, за дремучими лесами, в печальных местах дальнего Костромского уезда. В Казани

мы прожили только два месяца своей скитальческой жизни, — жизни, сложившейся уже из трех десятков лет. И мы все-таки радуемся полною радостью, искреннею и неподкупною. Мы блаженствуем, мы наслаждаемся. Забылось все прошлое, живет одним настоящим, всецело верится в будущее.

Поймет нас — может быть — тот, кому удалось уже в жизни не один раз сниматься с привычного, обсиженного места и толкаться между чужими людьми, где мало привету и нет места для душевного спокойствия, для сердечных наслаждений. Все дни, недели и месяцы сложились из цепи беспокойств, недовольств, неудобств — вещественных и нравственных. Начинаешь день в полном неведении того, что придется уловить, чем поживиться, продолжаешь день под влиянием в большей части случайностей (редко удается действовать наверняка) и кончаешь день почасту в неудачах, почасту ложишься спать измученным, далеко не удовлетворенным. Наступает иной день, полный бесконечных тревог и туманных, сосредоточенных ожиданий и в то время, когда новые места манят своей новизной, своим интересом. Эти же новые места, бездна новых лиц, обставленных знаменательной средой, иные нравы, иные поверья, суеверия, предрассудки, новые слова, пословицы, поговорки, неотступно преследуя, обязательно и всецело увлекают, обуславливают впереди новые дни; целый ряд рабочих дней, недель и месяцев, богатых тревогами и ожиданиями. Больше, чем когда-либо, понимаешь глубину нравственного смысла простой пословицы: «Путь-дорога красна не сном, а заботой» — и не видишь иного исхода, кроме работы и заботы. И вот мелькнет приветный огонек, разогрет очажок для тебя; обступила тебя хлебосольная радушная семья людей добрых и честных; не жалеют для тебя заветного, вкусного куска, уделяют тебе много из того, чем высятся и красятся их добрые и честные души. Благословениями и неподкупно добрыми пожеланиями и с тою же хлеб-солью провожают тебя за околицу.

Несешь ты о них свои лучшие, светлые впечатления, долго живешь воспоминаниями о них и ласкаешь себя ими потом, в минуты тоски и печали. И вот вновь счастливит тебе судьба и благоприятствует случай снова увидеть еще раз в жизни тех же людей, которых ты привык уже считать почти родными, своими. В ласки, в привет их веришь — и не ошибаешься. Такие минуты редки в жизни скитальца, но оттого-то они так и ценны, оттого-то они так и волнуют сердце!..

Казань больше, чем какой-либо иной русский город, похожа на восточный город: может она соперничать в этом смысле с Москвой одной, но во всяком случае перецеголяет и Астрахань, и Симферополь — необходимые восточные города. В Забулачье (на этот раз заваленном грудями погорелых развалин) встречает вас та же грязь, которая была бы даже впору хоть и самому Константинополю. Грязь эта по набережной Булака лежит глянцевиной массой, как жидкий овсяный кисель, и расплывается на всем длинном пространстве до озера Большого Кабана, из которого, как известно, вытекает Булак, из которого (также всем известно) казанцы пьют отвратительно грязную воду, наполненную живыми, приметными даже невооруженному глазу инфузориями. Один досужий человек вычислил математически (и говорят — очень верно), что на каждую живую душу в Казани приходится в год слишком по полупуду грязи. Чтобы уменьшить, а по возможности и уничтожить эту пропорцию, вот уже десятый год усидчиво думают умные люди и — пока ничего не придумали. Более достаточные и, конечно, счастливые пьют недурную воду из колодцев, между которыми колодезь, принадлежащий Духовной академии, почитается лучшим (но он лежит на противоположном краю города, чрезвычайно далеко; там же есть еще два-три колодца, но и только). Самый Булак — тоже грязная полоса, та же грязь, только заметно пожиже; рекой и даже речонкой назвать его нельзя, потому что высокие берега, в которые он глубоко заключен, искусственная,

вытянутая в линию прямизна, с каковою Булак идет в Казанку, скорее дает ему вид и форму канала, чем реки. Это далеко уже не тот Булак, *мутный и тинистый*, через который переходил Иван Грозный — решитель судеб татарских царств.

Чрез Булак перекинуто несколько мостов: выберите любой для переезда в самый город — встречаете ту же грязь и на Вознесенской улице, и на Проломной, которые тянутся параллельно друг другу в замечательную даль и кончаются замечательною грязью на рыбных площадях, — грязью, превосходящею всякое вероятие. Это — подгорная часть города; над ней высятся горы; на этих горах разбросаны хорошо распланированные и постоянно сухие лучшие улицы города. Между ними Воскресенская — Невский проспект Казани, Невский проспект потому даже, что на ней существуют еще до сих пор остатки торцовой мостовой. В конце ее — и клиники, и здание университета; была до давнего пожара семинария, до сих еще пор стоящая в развалинах, — длинное здание с замечательною по архитектуре Петропавловскою церковью во дворе.

Воскресенская улица ведет в кремль с Сумбекиной башней, с старинным Спасским монастырем, в котором низенькая церковь, постройки Грозного, — первая православная церковь в Казани. В крепости же этой дворец и замечательно длинное полуразрушенное и грязное здание присутственных мест, с неопрятностью которых могут еще спорить стоящие напротив их казармы. Из кремля можно любоваться на разбросанный по горам и под горами город, на картинную группу казанского женского монастыря, на единственный в городе бульвар, между зеленью которого видится озеро, справедливо прозванное Черным. За Черным озером недалеко театр, еще дальше и значительно дальше Арское поле с Духовною академиею, военным госпиталем и Родионовским девичьим институтом. Собственно Казань ушла за Булак и Большой Кабан. Там-то именно старая Казань, где и каменные мечети, и каменные дома татарских кня-

зей — купцов и татарского плебса, который и по городу ездит в извозчиках, и на домах русских в найме исправляет всегда крупные ломовые работы, и на Волге сидит в веслах, и частицею ходит в Москву и Петербург с именем бухарца и с халатами... Таков внешний вид на Казань, при беглом взгляде на нее проезжего...

Многое и весьма многое иное просится теперь на перо, но обязуя себя правом и долгом говорить о Казани отдельно, я оставляю ее ради дороги, а с нею и вольной почты, которая преследует едущего в Сибирь далеко за Уральский хребет.

— Согласитесь, что может быть лучше и удобнее вольной почты! — говорил мне один из моих знакомых. — Вы приносите свой билет, выданный вам на проезд, платите деньги вперед, получаете квитанцию в получении денег и билет из конторы. С билетом этим не терпите остановок, лошади для вас всегда готовы; экипажи удобные: вы уже не получаете тех мучительных телег, какими до сих пор еще щеголяют обыкновенные почтовые тракты.

— Но за все это — прибавьте — плачу я по 3 коп. на версту и на лошадь, т. е. ровно по  $1\frac{1}{2}$  коп. лишних против обыкновенного положения.

— Вас целую дорогу не беспокоят. Вам нет нужды расплачиваться на каждой станции.

— Но я могу иметь мелкие деньги готовыми, иметь товарища-спутника, помощника, прислугу. Он платит ночью и спит днем или наоборот.

— Вы можете взять напрокат экипаж в конторе...

— Но всего лучше я могу иметь свой экипаж. Это так нетрудно.

— Но за взятый экипаж напрокат вы платите только по 1 коп. на версту...

— И заплачу огромные деньги, если, на беду, экипаж, взятый напрокат, изломается на дороге; могу даже вовсе остаться без экипажа и опять мучиться на перекладных. Свое, хорошо известное, лучше, чем чужое, неизведенное.

— Вам не нужно подорожной...

— Но я ее и не боюсь; я плачу за нее только по копейке на версту: полкопейки моих лишних остается еще за вольною почтой.

— За эти полукопейки вы избавлены от труда засиживаться на станции в ожидании лошадей..

— И дольше 6 часов не прожду — и это самое большое. Да я, сделавши по России несколько десятков тысяч верст, мало верю в эти сидения на станциях. Тут или стачка смотрителя и почтосодержателя с ямщиками, или простое желание взять на водку лишнее: лошади в хомутах и в конюшне, хотя они по книге и в разгоне. Да и бешеная скорость езды приятна и выгодна, может быть, иркутскому курьеру, нужна московскому купцу, поспешающему в Ирбит или в Тюмень, а долговременное сидение на станции неприятно, может быть, только нервному и раздражительному человеку, но таких людей почасту и самая скорая езда не удовлетворяет.

— Однако теперь по всей России берут уже по 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> коп. на версту.

— И никто на почтовых не ездит. В тех же деревнях, где стоят почтовые дворы, повезет за 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> коп. любой мужичок. По Вятской губернии делают даже <sup>1</sup>/<sub>2</sub> коп. скидки (в Сибири по Барабе берут семитку [2 коп.] на тройку). Я слышал даже, что многие почтосодержатели просили назначить прежнюю прогонную плату. Все проезжие повернули на проселки.

— Говорят, что вольные почты будут по всей России...

Сожалею мы о России и спрашиваем: куда же денутся тысячи извозчиков, вольных ямщиков?

— Они тоже будут возить, потому что конторы вольных почт их же самѣх и нанимают...

— Но не всех желающих, а, вероятно, только тех, кого захотят.

— Не знаю.

— Я знаю даже больше: вольные ямщики, нанятые для вольной почты, жаловались мне на дальность оче-

реди, которая до них доходит иногда раз в три недели на ничтожность заработной платы и проч. Вольная почта хороша во время ярмарок, когда творится и бойкий, и сильный разгон, и чем-то не достигающим цели, почти лишним является она в остальные  $\frac{7}{8}$  времени года и на том тракте, каков Сибирский, по которому сравнительно очень малый проезд. Да и три копейки очень дорого, потому что вы, едущий по собственной надобности, платите еще по 12 коп. сер. на каждой станции за экипаж. На квитанции вы, правда, видите еще новую для себя привилегию, которая гласит: «Ямщики на водку требовать права не имеют, но это предоставляется на волю проезжающего». Но, во-первых, кто же захочет отнять у ямщика право просить на водку, когда ему удалось — что называется — заслужить это, угодивши седоку скорой ездой и когда уже он сделал привычку без того не отпускать «барина» и, избалованный поведением, в самом деле просит на водку на каждой станции. И кто же, во-вторых, поспеет дать ему 6—10 коп., как это давалось и даже по всей России, и когда все это составляет и в итоге десятков станций приметно — немного. Нет, как хотите, а путешествовать по России и дорого, и неудобно, и вольная почта нимало не достигает прямой цели, не исправляет этого недостатка.

— Но вы как будто сердиты на нее...

— Напротив! Но в то же время и не вижу в этом учреждении особых достоинств уже потому, что это — монополия. Из того города, где контора, возьмем хоть Казань: ни один заехавший сюда ямщик ни на какой тракт, даже проселочный, не может взять седока, иначе заплатит огромный штраф. Вольная почта взяла в исключительную привилегию возить на все окрестные станции — будут ли они на почтовом тракте, будут ли на глухом, проселочном. Для обратного ямщика это, пожалуй, и не особая потеря, но для меня скверно: я не знаю, где остановиться; я завезен в незнакомое место, как человек, которому, несомненно, надо ехать вперед и с которого, стало быть, любой ямщик имеет право

требовать и взять, сколько ему угодно, без таксы, без совести. Поезжай я с ямщиком обратным и прямо с места, он привезет меня в знакомую ему деревню, к своему дружку. Этот непременно возьмет с меня дешевле, чем тот, который привез меня из города, но и этот всегда согласится, и скоро согласится, на половинную цену за провоз против назначенной от вольной почты. Не удивите вы меня ни этими круглыми бляхами на шляпе и левом плече ямщика (они ничего не доказывают и надеваются только для седока с крупным чином), ни этими двумя колокольчиками (перед ними так же не сторонятся обозы, как и перед заветным одним колокольцем всех остальных почтовых дорог в России). Что мне в большом помещении станционных домов вольных почт, где большая половина занята семейством смотрителя и ровно так же ничего нет, ничего не найдете из съестного, как и в тесных станционных домах других трактов. Я помню станцию Дебесы; помню прейскурант с весьма высокими ценами, — прейскурант, на котором написаны и супы, и щи, и соусы, и котлеты, и жареные рябчики, бекасы, и много другого, способного расшевелить и аппетит, и возбудить надежды.

— Дайте мне самого простого: щей с говядиной, жареной говядины.

— Нету сегодня, не готовлено.

— Когда же ведется у вас этот обычай?

— Закажите яичницу-скородумку: поспеет.

Пришлось ограничиться стаканом молока, за который и заплачено было по таксе: 10 коп. сер. и в той губернии, где кринка молока стоит 5 и 6 коп.

Спрашивал молока на другой станции.

— Коровы не доят, — был ответ.

Спрашивал на третьей.

— Коров не держим.

На четвертой станции я бежал уже в соседнюю крестьянскую избу и находил там и молоко, и яйца.

Не знаю, замечали ли проезжие на вольных почтах особенную неприветливость, иногда даже грубость

всех станционных лиц: мне она надоедала на всем пути до Перми и далее до Екатеринбургa, надоедала и за Екатеринбургом к Шадринску, но не бесила — от привычки, от готовности переносить мелкие мелочи, когда я успел уже примириться с самыми крупными.

Но вот и печальный Оханск; вот и Пермь, разбросанная, так редко обстроившаяся, как ни один из других губернских городов России. На ней кончаются пароходные рейсы по Каме, но не кончаются вольные почты, которые дают уже иные впечатления, носят иной характер. При выезде нашем из города нам попадаются конные казаки с калмыцким оттенком в лицах, с пиками в руках.

— Откуда они?

— С пикетов; очередные.

— Кого же они караулят, что стерегут?

— А недобрых людей.

— Что же это: беглых из Сибири?

— Нету, своих.

— Что же, пошаливают, что ли, здесь?

— Случается. Теперь реже, теперь только с возами; а вот ярмарка в Ирбите начнется, так уж со всеми тогда разбору нету.

— Однако и теперь тоже может случиться?

— Да ведь это как им вздумается: известно. Кто их думу поймет?

— Все-таки бывает и эдак?

— Редко, — и то больше к ночи, а то и наутро бывает. Недавно, сказывают, воз на свету подрезали — и сумерек еще не было. Опасна эта первая станция, потому она большая и все, вишь, лесом; дальше тише, зато бойся Кунгура-города.

Действительно, в Кунгуре посоветовали мне остаться ночевать. Город этот, хорошо обстроенный и церквями, и домами каменными, издавна славится теми мошенниками, которые в былые (и недавние, впрочем) времена выезжали на лихих тройках и, выезжая навстречу проезжей тройке, путали упряжь, кричали,

суетились. В то время валявшиеся в канавах соучастники их выходили на дорогу и, прорезывая задок экипажа, подрезывали чемоданы, выхватывали саквояжи и все, что попадало под руку. В Кунгуре, говорили нам, многие купцы сделались богатыми и зажили в каменных домах именно от этого рода промысла. Промысел этот кунгурскими мещанами не покинут и теперь, хотя уже и производится в мелких размерах. Примеру их следуют заводские крестьяне следующих по дороге уральских заводов; занимаются тем же, как говорят, и татары деревень, расположенных в стороне от почтового тракта; мошенничают и беглые из Сибири (их также любят принимать и татары и заводские).

Чем глубже забираешься по этому тракту, чем резче местность принимает характер горно-уральский, чем чаще лопадаются заводы в стороне и на дороге, тем рассказы о дорожных шалостях увеличиваются и принимают грозную форму.

Рассказывают, что на днях отрезали задок у тарантаса.

— И тарантас-то был наш, напрокат брали, — говорит ямщик. — И какое важное железо крепило, а перерезали молодцы, ножом перерезали и так, братец ты мой, ловко: любо-два! Ножи, знать, уж у них такие острые, стальные.

— Ну да далеко ли у вас тут достать ножи хорошие?

— Это точно, что так! Заводов много. Вон, видишь ты хоть бы эту гору, в сторонке?

— Коричневая такая? Вижу.

— Все ведь медь, все руда.

— А вон в этих дальних-то, что лесом покрыты, есть руда-то?

— Да, почесть, все перерыты; все горы, почесть, на одних подпорках держатся. Меди здесь сила, а про железо и говорить нечего.

— Ну да и мошенников много.

— Много же и есть: верно твое слово.

На следующей станции новые рассказы. На один обоз, шедший с чаем, выбежала из лесу целая шайка, человек с десять, схватили воз с 6 местами, да и потащили в сторону и с лошадей. Возчики бросились защищать, началась драка: воз был отбит, но с потерей трех мест, из которых каждое заключает в себе от 2½ до 3 пудов чаю и стоит приблизительно 100—120 рублей.

— Зачем же они по ночам ездят? — спрашивал я туземцев.

— Да как не поедешь, когда поставку на срок получил. Они, пожалуй, ночью-то и спят в деревнях, а ведь сумерек-то как избежишь? Тут-то вот их и накрывают.

— И следа нет пропаже?

— Опытные и бывалые знают, може, всех главных-то коноводов и нащупают, пожалуй, пропажу, да ведь деньгами надо выкупать, а судом поди ищи-свищи, — да и на другой раз не ездят, коли затеял ссору: тогда весь обоз, пожалуй, вырежут и самому бока наколотят.

— Разбои бывали?

— Разбоев не слышать, и примеров не было. Плетет народ сказки, да мы мало этому верим. Один, говорят, прорезал ножом кожу сзади да маленькому мальчику (посередине лежал) горлышко перерезал, нечаянно...

— Чего же смотрит начальство?

— Смотрит начальство, да как углядишь? Пикеты на каждых пяти верстах расставлены.

— Ну и усмотрят ли они, что на третьей версте делается?

— Известно, нет.

— А слышат ли?

— Да коли ветер оттуда, может, и услышат.

— А может, не услышат и при ветре?

— Чего доброго, пожалуй, и при ветре не услышат.

— Принимают ли сами извозчики какие-либо предосторожности?

— Принимают, да пользы мало. Самое лучшее — ночью не ездить, сказывают. У них на трех-четырех возах веревками крепко фонари привязаны, чтобы

видно было недоброго человека. Так вор ихнего брата и тут нерехитрил. Они, лежа в канаве, швыряют камушки так метко, что и в одном фонаре стекло разобьет (а ветер огонь задует), и в другом, и в третьем... Бросятся возчики к фонарю, глядят — назади один уж мастерит свое дело, подрезывает. Они туда, а там уж в другом месте другой режет. Нет им на такое дело хуже волчьих ночей этих, когда не глядит месяц. Нет того обоза, на котором бы на ту пору трех-четыре мест не срезали.

— Но когда же все это прекратится?!

— А Господь ведает: возчики-то и кистени с собой возят — не помогает...

И между тем это лучшая дорога в России, дорога, усыпанная хрящиком, налаженная в былые поры и поддерживаемая до сих пор в состоянии самородного, естественного шоссе, ровная, гладкая, богатая разнообразными картинными видами; одним словом, завидная на Руси дорога отравлена такими тяжелыми, неприятными впечатлениями, запугивающими рассказами. Сколько хороша дорога эта осенью, столько увлекательна она должна быть весной и летом. Высокие горы — ближайшие отроги Уральского хребта, светлые, бойкие реки, людные селения, большой билимбаевский завод на дороге: все это рисует иную жизнь, неведомую, обхватывает новыми впечатлениями, неиспытанными. Равнина, бесконечная равнина преследовала вас сыздетства; попадались нам на путях-дорогах и такие горы, при спуске в которых ямщик ваш тормозил колеса, потому что эти горы были круты; но были ли они горами, смели ли, имели ли право называться они этим именем, которое так торжественно и с такою славой поддерживают именно вот эти горы, окружающие нас теперь? Вторую сотню верст преследуют они нас всем разнообразием своего строения; одни, говорят нам, богаты медью, другие железом, в третьих попадаются цветные камни, так любимые и в печатках, и в запонках; есть целая магнитная гора; вон под горой разбросалось людное селение, в

селении этом ванны; из горы этой текут серные ключи, дающие целебную воду. Живописец обогатит здесь портфель свой до бесконечности разнообразными, картинными видами. Редко путешественника ввозят на гору, но и с низменностей, по которым идет большая половина дороги, виды являются во всем своем разнообразии и великолепии; и глаз не оторвешь от диких выносок, когда дорога, незаметно поднявшись на гору, начинает спускаться с крутого обрыва; там, далеко внизу, рассыпались избы, стоит церковь; на кровлях их видна мельчайшая подробность, малейшая щепка, случайно попавшая туда. Серебристо-зеркальной ленточкой, как змейка в тысячу изгибов, прокладывается по зеленому полю речонка. Она под нашими ногами уже и вблизи превращается в порядочно бурливую, довольно широкую реку, которая оттого, может быть, по местам мелка и песчаниста, что обездолил ее какой-нибудь дальний завод, поживившийся и водой, и ее силой.

Так же незаметно везли нас от билимбаевского завода в гору: не чуялось нам ее присутствие, не давал и глаз никаких резких и разительных доказательств тому: высокие горы, по обыкновению, стояли далеко впереди. Проехали мы и вторую половину станции, к деревне Решетам, по той же равнине, по таким же низменностям, как это было несколько раз прежде.

— Где же Урал? — спрашивали мы у ямщика.

— А сейчас переехали. Он тут низок: совсем, почитай, не приметен! — отвечал нам ямщик, и хотя не сказал нам ничего нового, но сказал сущую правду. Еще учитель гимназии (бог весть, как давно!) говорил нам, что Урал так невысок перед Екатеринбургом, что переезд чрез него совсем не приметен. Тогда верили мы ему на слово; теперь убедились в том на самом деле и факте. В этом только и была наша находка и выгода!..

И вот географический рубеж между двумя частями света! Вот водораздел: вода в реках текла к нам навстречу, теперь потекла прочь, по направлению нашего пути. Следующую станцию от Решет мы ехали уже в

Азии. Сердце наше екнуло и затем говорило нам многое; воображение рисовало туманные, безутешные картины. Все говорило нам, что мы в Азии, хотя туземцы и уверяли нас, что мы еще в России, а не в Сибири. Так ли это было на самом деле — должен решить Екатеринбург и следующее за ним длинное пространство Пермской губернии до рубежа Тобольской, которая уже по всем правам и положениям губерния сибирская.

Вот и Екатеринбург — пока в полусвете утренних сумерек, — объятый до последнего обитателя крепким и глубоким сном.

## ГЛАВА II ПО СИБИРИ

Сильный осенний дождь, крепкий, порывистый ветер, изрытая колеями грязная почтовая дорога заставили меня остановиться в ближайшей деревне, войти в первую попавшуюся избу. Деревня была вятская; изба — как все православные избы. Дело клонилось к вечеру. В избе горит лучина, тускло освещая предметы. Стрекнет уголек, и зашипит в лохани и вспыхнет тотчас за ним яркая струйка пламени, освещая старые, давно мне знакомые и любезные виды и лица. Тускло глядит в правом углу на тягле Божие Милосердие: Казанская Владычица, Никола-угодник и праздники. Дедушка на полотах лежит, по временам кряхтит, по временам зевает, всякий раз прикрывая рот ладонью и затем осеняя его крестным знаменем. Большак семьи туез гнет за столом из береста; жена его в левом уголку шумит веретеном — нитку тянет. Бабушка на печи закатилась от кашля, тяжелого, грудного кашля, которому и конца не видно: им она как будто в последние разы откашливает небольшие остатки силы и самую жизнь, тягостную для себя, тяжелую для семьи и для всех равно бесполезную. В избе еще два-три мужичка, без дела,

забредших с улицы, и я — человек заезжий, жертва бесконечных расспросов: кто я, зачем и откуда?

— Из Питера еду на Амур: посмотреть тамошнее житье-бытье.

— Далеко же тебя Бог несет. Шибко, сказывают, далеко.

— Десять тысяч верст, дедушко, насчитали с хвостиком.

— Эдаких-то, поди, дальних мест и нету больше.

— Есть, дедушко, да мало.

— И что это там за Мур такой проявился? — вступилась хозяйка. — Недавно про него толковать стали: али его допрежь и на свете не было? Вон у нас тут мужичок туда же сбирается. Хорошо уж, что ли, там, на Муре-то на этом?

— Хорошо, хозяйюшка; так, говорят, хорошо, что и сказать невозможно. Берега, слышь, кисельные, вода сытовая.

— Это что в сказках-то сказывают?

— Эту-то вот, хозяйюшка, реку и нашли теперь.

— Так, родименькой мой, так. Оттого-то, стало, народ туда и охотится.

— Оттого и охотится, что и золота-серебра там много, и камнями многоценными пруд пруди; и птицы человеческим голосом молву ведут. Виноград растет, хозяйюшка!

— Это какой же такой виноград растет?

— А вот большаки-то твои в кабаке водку покупают. А там, вишь, дерево такое растет, что и в кабак ходить не надо. Рви с него ягоду, жми ее — вино будет. Тигры, хозяйюшка, водятся.

— Ну уж и это мне невдомек твое слово.

— А это зверь такой, что волка лютее, медведя сильнее.

— Так чем же стороне-то оттого лучше, что такое лютое зверье живет?

— А это зверье (велят понимать) благодатную сторону обозначает. В худых местах не живет оно. Тем и

начальство тамошное хвастает. С ихних слов и я тебе сказываю. За что купил, за то и продаю.

— Ну а еще-то что, родименькой мой?

— Да чего тебе больше? Будет с тебя и этого. Лучше-то этого есть места, да не наши.

— А ты, баба, не слушай его! — вступился старик. — Не слушай его, потому сказывал ведь он тебе, что из Питера едет. Столичный народ — известно — на похвальбу озорной. Извини ты меня на этом крутом слове, а это дело так, верно оно. Сказывай ты лучше, какова земля-то там?

— Хороша земля, уж если виноград родится.

— Да он-от родится, для него-то она, может, и хороша, а для хлебушка, поди, и не споркая; хлебушка-то она, может, и не подымет, силы-то ему своей, соку-то и не даст. Всякая ведь тоже и земля у Бога живет. Наша вот ячмень родит хороший, рожь самую наилучшую. К Архангельскому городу купцы наши возят: немцы, слышь, не нахвалятся. А вот, к примеру, пшеницы хорошей земле нашей не поднять ни за что; на то есть там где-то, на низу такая земля, где пшено выходит, что янтарь, чистое, на свет прикинешь, так как бы стеклышко, чуть-чуть чужого глазу не видно. Верно, брат, это, ей-богу! А живал ли там, в земле твоей, допрежь этова народ какой?

— Нет, не живал; земля впусе лежала.

— А лежала земля в пустырях и народу в ней не жило — на землю ты на эту похвальбы большой не клади: подождем, посмотрим сначала, порасспросим. Знаешь ли ты, что нет для мужика крещеного того зла на свете злее, как вот с этими новями возиться? Так трудно, что и сказать не можно! Тут кажинный день чуть не зубом выковыриваешь, кажинной корешок чуть не ногтем окаличиваешь; а и поднимешь землю, зерно положишь — двумя засевами она тебя не порадует; ты так и знай, что многого она не даст; земля эта еще крепко набалована траву давать любит. Надо так, чтобы на Мур на твой народ шел со своим запасом на четыре года, а на Мур бы на твой не надеялся.

— За что же ты его моим, дедушка, называешь?

— А за то, что ты его уже крепко превознес, возвеличил.

— Да ведь я с чужого голоса тебе сказывал, а сам я его не видал. За тем вот и еду теперь.

— И поезжай, Господень ты человек, сам присмотри за всем, что там и как, да в добром здоровье к нам возвращайся и обсказывай. А допрежь ты того ничего не хвали, и не смущай ты своими наказами крещеного люда, не соблазняй...

Простые слова простого вятского человека до сих пор звучат для меня всею простосердечною истиною и до сих пор памяты для меня, переданные почти в том виде, в каком были получены. Прошел тому уже не один месяц; многое я уже мог забыть; помню, что в летучей, наскоро надуманной и затеянной беседе не было с моей стороны ничего, что могло бы заставить старика находить в простых моих словах значение соблазна. Снимаясь с места, я видел в Амуре новую страну — интересный предмет для изысканий, вот и все. Тогда только начинались еще споры с двух противоположных сторон, несогласных во многих положениях. По временам и урывками доходили и до меня на дороге остальные подробности этого интересного спора: враждующие стороны не сходились уже между собою ни в чем. Амур принимал для меня вид загадки, истинный смысл решения которой заключался в хитром сплетении фраз, противоречивших друг другу фактах. Путаясь в дельных и неделных подробностях, вопрос об Амуре завязывался сложным узлом, развязать который желалось ежечасно, но могли это сделать только время и самое место. Препятствия были ничтожны, хотя и огромное расстояние отделяло меня от цели моей поездки; но там, где существуют в России правильно организованные средства к переездам, переезды эти легки и возможны. Нет, правда, тех удобств, которыми так комфортабельно обставилась Западная Европа, множество лишений сопровождают еще до сих пор каждого, кто

решится на дальнюю дорогу, но и против этих злых и непримиримых врагов существует верное специфическое средство — привычка. И я ехал вперед, ехал и думал: «Счастлив я буду, когда наконец судьба приведет меня к тому месту, к которому давно уже стремятся и около которого давно уже вращаются все мои помыслы; и трижды-четырежды буду счастлив я тем, когда та же судьба и случай поставят меня в возможность внести и свое слово в решение того вопроса, каким так занято было на тот раз все русское общество. Но пусть это мое слово будет твердо и истинно!

Там, на Амуре, — думалось мне, — совершается теперь и долго будет продолжаться интересный, поучительный процесс перерождения разных национальностей во имя новой страны, по степени влияний климатических, физических, административных; тот процесс, который до сих пор ускользал от истории, с трудом наследенный по ту сторону океанов: в Соединенных Американских Штатах и в Новой Голландии. Там — на Амуре — работы много, и работа эта несет и заботу, и наслаждение».

— Ищите там, — говорили мне одни, — того развеселого русского горя, которое... сказывается песней, какой нет уже ни у какого другого народа.

— Ловите слова, пословицы, — советовали мне другие, — да нет ли такого нового слова и новой пословицы, в которых бы так же всецело и неподражаемо мастерски улеглась добытая умом и жизнью какая-нибудь интересная сторона житейской мудрости. Пусть она дышит тем же горьким юмором, как и все другие, без того наш русский человек и не высказывается, и чем больше этого юмору, тем лучше: стало быть, есть еще надежда на будущее.

— Собирайте, — говорили мне третьи, — и собирайте старые предания, собирайте все, что ни попадется интересного, — во всем амурском есть для всех уже что-то притягательное, что-то обещающее и даже, может быть, обновляющее.

И я снова ехал вперед, ласкаемый надеждой на святость дела, в котором и мне предлагается малая крупица, полный веры в неопровержимую пользу того края, которым судьба хочет соединить нашу Россию в Восточным океаном — этим *Средиземным морем будущего*, как условились и привыкли говорить об океане в то время.

«На Амуре сталкивается Россия с Китаем, — опять думалось мне. — То и другое государство сходятся лицом к лицу; то и другое неизбежно должны выставить свое для сравнения, для поучения. Одно упорно держится за старые верования, за высиженное веками взаперти на своих правилах; но и имеет вследствие того уже многие застывшие формы, облеченные в форму закона и религии. Другое, также упорно державшееся за старые предания, теперь готово обновиться... Борьба между этими двумя незнакомыми элементами неизбежна, и притом неизбежна на первых же порах: может быть, она уже и началась на Амуре. Кяхта не пример: там и цель, и самый характер сношений должны быть до крайней степени дружелюбны. Коммерция начиналась оружием, но никогда не сопровождалась им. Другое — дело Амура, взятого наскоро, только теперь обставляемого, как собственность России, как такая страна, на которую одна только Россия и имеет право».

— Следите же, — говорили мне многие, — чья возьмет. На чьей стороне будет больше победы, хотя бы признаки ее были пока мелки, едва уловимы. Способны ли мы иметь силу национального влияния на чуждые народности; не осилит ли нас крутая, упорная национальность маньчжурская и останется в целостности своей и особенности; возьмут ли они от нас что-нибудь и нет ли у них того, чему бы и нам самим можно было поучиться? Так же ли устойчивы и самобытны останутся другия племена приамурские, как остаются крымские татары и черемисы, или так же падут под влиянием славянского элемента, как пали другие племена: вотяки, мордва и вогулы?..

Все эти вопросы и предназначения, преследуя один другого, уясняли и создавали новые в последовательной связи, в замечательном количестве. Время между тем уносило пространство. Мелькнул чистенький, каменный Екатеринбург; торговый и хлопотливый Шадринск. Дорога вела по настоящей Сибири, хотя пермяки отказывались от названия сибиряков, уклончиво и наивно указывая границу Сибири с Россиею там, где она сошлась с границею губерний Тобольской и Пермской. Вот и Сибирь, и сибяряки и — ничего резкого, ничего бросающегося в глаза на первых порах. Круто завертывали октябрьские морозы, бойчее бежали лошадки; народ глядел несколько веселее и толковал посвободнее: ни дать ни взять, как в благословенных странах Архангельского края. Изумляет поразительное сходство говора в названии предметов первой необходимости, относительная чистота домашних помещений и еще немногое. Вот и могила Ермака, исторический Иртыш, на днях только остановившийся и еще не успевший затянуться в зимний саван: ребрами стоял лед, запружая дорогу и являя ту же безобразную картину, какую имеет и Нева после первого ледостава. Бурлила вода быстрого Иртыша в тех местах, где лед оставил полыньи, еще не успевшие затянуться даже салом. Мы въехали в гору крутым обрывистым оврагом; за горой раскинулась деревушка.

— Далеко ли у вас тут Бараба-то? — спрашивал я.

— Да вот Бараба все и пойдет от нашей деревни. Мы уж в степи живем.

— Чем же ваша степь отличается от той, которую мы сейчас проехали перед Иртышом?

— Ничем не отличается, да, видишь, уж так прозвали. Бараба, стало быть, и пошла от нашей деревни чуть ли не до самого Томска.

Как бы то ни было, но вот и Барабинская степь — одна из тех степей, которыми вообще богата Россия; только эта — самая большая из них, но едва ли меньше их скучная, тоску наводящая. Уныло глядят чахлые

деревья, редко расставленные по сторонам, по большей части сиротливыми кучками; но чем дальше в степь, тем меньше этих перелесков. Большими, бесконечно длинными полосами легла прихваченная морозом и пожелтелая ковыль-трава, до которой, может быть, от веков не касались коса и грабли. Иногда по годам проходят тут палы, при представлении которых у редкого сибиряка не дрожит сердце; редкий сибиряк их не любит. Быстро перебегают эти лесные пожары с одного места на другое огненными змеями и — говорят — поразительны по своей картинности и по опасности: иногда сгорают огромные годовые запасы сена, а иногда и (весьма нередко) целые деревни.

В 1761 году приступлено было к заселению большого почтового тракта по Барабинской степи на 600-верстном протяжении. Только три форпоста до того времени служили станциями для курьеров, и по степи пролегли чуть приметные тропы. В четыре года сибирский губернатор Чичерин — один из энергичных и замечательных администраторов этого отдаленного края — успел заселить степь, и преимущественно теми помещичьими крестьянами, которые присылались сюда за развратное поведение, в зачет рекрут. В эти четыре года они успели расчистить леса, построить дома, устроить мосты, гати, запастись замледельческими орудиями благодаря строгой дисциплине и расправе с ссыльными, о которых еще много в народной памяти свежих преданий. И вот через сто лет трудно уже наследить приметные признаки новых поселений. Деревни людные и длинные; крепко поддержанные дома и прочно устроенные хозяйства резко бросаются в глаза даже при беглом обзоре, при такой быстрой езде, про которую давно уже на целую Россию прошла слава и вошла даже в азбучные картинки под названием: «сибирский ездок». Еще до сих пор с честью поддерживают славу барабинские «дружки», хотя уже и нет тех докучливых криков и драк, с какими некогда выбегали они на дорогу и каждый из поселенцев тащил проезжего на

свой двор. Операция эта производится теперь гораздо проще, и для того, чтобы воспользоваться ее приложением, надо непременно с почтового тракта свернуть на проселочный, «на дружков», как называют там. Тракт этот, по которому возят дружки, на 150 верст короче почтового. Выигрывая во времени, проезжий лишен докучливых формальностей и избавлен от неприятности видеть самые тоскливые из тоскливейших городов русских и сибирских, каковы Ишим и Ялуторовск; даже казенный, форменный Омск остается в стороне и не показывается.

Первый дружок, принимая проезжего с почтовой тройки, обыкновенно торгуется о количестве прогон и непременно на тройку; на паре, сколько я мог заметить, дружки ездить не любят. Торговля о цене происходит недолго: сибиряк сговорчив; в переторжке его нет того упорства, той досадной сделки с другими, которая московских ямщиков в уговорах с седоком доводит до упрямства, до острот вначале и даже до дерзких слов потом. У Рогожской и Крестовской застав проезжие нередко кончают разговоры в ямщицких кружках тем, что ведут ямщика в полицию или тут же на месте производят короткую расправу собственноручно. Там уж как-то ямщики и привыкли к этому. Мне не раз — к крайней досаде — приводилось слышать от них ответ на это такого сорта: «Где дело идет о деньгах, там без крику, без драки — нельзя! Деньги — дело жаркое и щекотливое. Мне меньше взять не хочется, седоку дать больше не трафится: вот мы и снимемся, подеремся и поругаемся. А тот и ямщик — не ямщик, который на съезжей не ночевывал». Совсем не таков сибирский дружок. С ним перекинешься друмя-тремя словами, и дело в шляпе. Дружок даже спешит с вами кончить сделку, зная и как бы боясь, что вот-вот тотчас же из-за угла выскочит его сосед, да не один и не два, а целый десяток, которые тотчас же пойдут с ним наперебой, возьмут дешевле, и он не повезет. Главное дело, кажется, тут не в том, чтобы взять дешевле, а именно в том, чтоб самому везти, а

не передавать этого дела в чужие руки. Кончивши дело таким образом с одним, вы уже кончили в то же время дела со всей Барабой и остальным трактом до Томска. У первого дружка отличная тройка, но плохой экипаж, какая-нибудь разбитая, мочалами связанная кошевка или легонькие саночки; у него — неисправимое поползновение ехать вскачь и, что называется, и в хвост и в гриву, насколько хватит у лошадей духу и силы; и в то же время — редка хорошо выезженная тройка. Большая часть лошадей беганые, какие-то угорелые, непослушные. Мне всегда почти случалось садиться у крыльца в сани в то время, когда ворота на улицу были заперты и тройку, сильно храпевшую и рывшую ногами снег, держали двое-трое под уздцы. Ямщик бросался в кошеву наскоро, иногда опрокидывался вверх ногами, оправлялся, обматывался вожжами. Отпирались ворота: сподручники отскакивали в сторону, тройка бешено вырывалась на улицу; редко успевал ямщик уснаравливать ее вдоль улицы, прямо на выезд; по большей части тройка налетала на соседний дом, в ближайšie открытые ворота, через двор в огород, из огорода в соседний овраг, куда выкидывала и меня, и ямщика, и мои чемоданы, и его теплую оленью или козулью доху. Таким образом случилось со мною два раза. Постромки и вся упряжь путалась, с трудом лошади выводились на тракт и на улицу, при помощи брата, сына ямщика, который откуда ни брался на помощь, размахивая руками и нещадно ругая и лошадей, и овраг и соседа, который, на беду, растворил ворота, словно тот и не мог этого-де сделать после. Полдороги потом лошади мчали нас вскачь, редко по главному полотну дороги, большею частью по степным кочкам и рытвинам, и только с половины пути, усталые и измученные от собственной безрассудной рьяности, начинали вступать в права настоящих разъезжих лошадей, с крупною и быстрою рысью.

— Отчего ваши лошади такие шальные? — спрашивал я барабинских ямщиков.

— Оттого, что степные. Все они у нас лето в степи гуляют на вольной воле, где хотят, оттого и сердитые такие.

— Где же вы их покупаете?

— У киргиз покупаем, в Петропавловске, рублей пятьдесят на серебро за самую уж наилучшую платим. Лошадку киргиз продаст, а уздечку ни за какие тысячи не отдаст. На деньги он сговорчив; деньги ему любы, а лошадой у киргиза довольно. Степи ихние лучше наших.

— Однако если лошади ваши все бешеные, то и езда с вами на охотника!

— Да вот на такого, как и ты же!

— Я другой раз с вами не поеду.

— Поедешь, брат, не рассказывай. Эдак-то вот толковал красноярский купец в прошлом году, когда ему Фомка в овраге шею сломал, а нонче вот опять пробежал в Рассею на наших лошадках. Кому дело к спеху — такие завсегда с нами; почтовые возят хуже, а степь-то наша, вишь, она скучная какая!

Действительно, скучная степь: убийственное однообразие окрестностей, голые пространства, малая населенность, полное — зимнее — отсутствие всяческой жизни: все против вас. Однообразие степных пространств сбивается даже до того, что, уж если покажется впереди роща после долгой степной глади, за рощей этой непременно раскинется деревенька; и непременно роща эта тщательно расчищена, деревенька неправильно разбросана, улица кривая и узенькая; дома крепко поддержанные, и опять-таки непременно ямщик везет к своему дружку. Там в четверть, много в полчаса, запрягут лошадей, дружка старого усадят чай пить, накормят за дружбу и побратимство всякою съестною благодатью, в которой замечается изумительное обилие. В Филиппово заговенье я увидел у них за ужином плошку с бараниной, другую — с поросенком; жирные щи со свининой, пироги с рыбой, бессмертные пельмени, пельмени на всем тракте от Екатеринбурга,

и вечный, почти бессменный чай, чай в тех неистовых размерах, с какими услаждаются этим китайским напитком одни только московские куццы в трактирах и ресторациях на Никольской улице и на Нижегородской ярмарке. С избытком живут барабинские поселенцы, и редко можно встречать такой достаток в других местах России и Сибири.

Остальные впечатления Барабинской степи ничтожны и утомительны: всегдашние длинные обозы с местами чаю; всегда распущенные, несвязанные возы; лошади вразбродку по всем местам, где только можно проехать встречному. Валит в снег ваши сани, вашу тройку, летит ямщик ваш, летите в сугробы вы сами; перебраниваются извозчики с ямщиками — и все одно и то же по несколько раз в день. И опять «станок», и опять вы в чистенькой, теплой избе дружка вашего ямщика. К другому вас не повезут, да другие уже и не выбегают. Иногда робко, исподтишка подойдет к кошеве вашей, когда вы в ней одни сидите, какой-нибудь молодец в дохе или полушубке и спросит:

— Почем вы за тройку платите?

— По три копейки серебром согласились.

— А мы бы и по две копейки взяли с твоей милости, да и лошадей-то бы получше впрягли, не таких одров.

Да тем и удовольствуется, и отойдет, положив напраслину на своего соседа, — может быть, во всех других случаях его закадычного приятеля. У нового ямщика вашего такие же хорошие лошади из степей, от киргизов; он и сам такой мастер и охотник быстро ездить, как и все прежние. Недаром же про них про всех идет такая слава; недаром же их считали долгое время (а многие и до сих пор) потомками коренных русских ямщиков: московских, тверских и новгородских. Хуже лошади станут по Барабе после того, как мелькнет мимо вас печальнейший город Тюкала, а особенно когда проедете Колывань, город без крыш, беспорядочно разбросанный, исключенный из числа (уездных) окружных городов Томской губернии.

И снова остальные впечатления сбиваются на одно: на бесконечные возы с чаем, на желтенькие домики этапов в каждом селении, домики холодные, отапливаемые только в назначенный день прихода кандалной партии. Изредка разнообразит впечатления и самая эта кандалная партия, но уж лучше, если бы она и не разнообразила. Медленным шагом, побрякивая цепями, тянется она во всю длину селения и мучительно тоскливым голосом поет свою так называемую «милосердну», и выбегает на песню эту народ из домов, и тянутся руки туземцев с подаванием грошика, семитки, куска пирога, черного хлеба. Партию угонят в острог и запрут там. Через час пойдет по селению один из кандалных — артельный староста — за новым, одиночным сбором. На третий — на четвертый день обгоняете вы новую партию, впереди которой на отдельной подводе в одну лошадку мелькнет мимо вас этапный офицер; он только обгонял партию, но не отошел от нее, верно служа свою трудную, беспокойную и опасную службу.

— А не бегут они из партии, не вводят в ответ офицера? — спрашивал я у ямщиков, и от всех получал один ответ:

— Да ведь они на сделке с ним. Хорош-де будешь и все станешь отдавать нам по положению, тебе же поможем. Было раз так, что трое бежали, а офицер-от хороший был, любили его. «Позволь, — сказывали, — ваше благородие: мы их сами поймаем!» Отпустил — согласился. Два дня проходили, на третий и сами пришли, и беглых привели. Они ведь, каторжные-то, смирны, когда в кандалах идут.

— Да ведь бегут же они, бегают часто?

— А уж это с местов бегут, где их посадят; из заводов бегут, а из кандалной партии это редко бывает. Вот начнет весна обогреть землю — жди гостей.

— И они для вас не опасны, вы не боитесь их?

— Смирной народ; его только не трогай, а он тебя не тронет; ты его только на родину-то пропусти: ее-то ему подай, о ней-то у него и забота. Мы вот летом-то

на страду ходим, так на оконце (на полочке на такой) и хлебца выставляем, и молочка, и пирожка. Вернемся домой: все съедено; значит, *варнаки* были. А и в избу зайдем: все на месте, ничего не перевероршено. Большими же они артелями бегают, человек по тридцати и больше.

— И вы их не ловите?

— А вот станут холода завертывать, он сам на завод придет, бери его руками. Одежонка у него, значит, поизмызгалась; холода-то сибирские — дело не слишком привычное, ну да и нагулялся. Возьмут его — поестегают; а к весне — он опять уйдет, по осени — он опять придет. Много есть и таких, очень много. Да вон мужичонко сторонкой идет — видишь?

Ямщик показал на окраину дороги. Я увидел мужика с котомкой за плечами, в рваном полушубке. Он шел смело и не смотрел на нас, как будто даже ему проезжий — дело привычное. Шел он медленным, спокойным шагом.

— Какую ты мне поруку дашь, — спрашивал меня ямщик, — какую поруку дашь, что не варнак это? Спроси у него пачпорт — не отыщешь. А бредет вот он себе — и Христос с ним!

— А где он полушубок-то себе взял?

— Да стащил, поди, где. Не без того!

— Так вот, видишь же, не все они такие хорошие, как ты рассказывал мне.

— Ну да всякие же, всякие живут. Так ведь и опять тебе тоже молвить надо: на то человеку и глаза в лоб ввинчены, чтобы всякой за своим добром глядел, не отдавал бы добра своего лихому человеку. По пословице: плохо лежит — вору корысть. Эти варнаки еще что! противу этих оборона есть; варнак тебя боится, потому ты его по начальству можешь представить. А ты меня научи, как вот нам с амурцами дела делать?

— Кого же ты амурцами называешь?

— Да вот года три стали новых гостей к нам гонять. Видишь, народ туда для сельбы понадобился, и стали

вот из Расеи солдат отправлять... Партии большие, народ отпетой... А по мне какой уж в этом народе прок?

— Что же они такое делают?

— Да все, что неладно-то, чего бы не надо-то, то они и делают. Начать с того, что баб наших очень обижают, пристают. Ты вот от него отвернуться не успел, а уж он к твоей бабе лезет... Опять же скверно и то, что воруют. Ты отвернулся — а он у тебя и стащил что-нибудь...

И у ямщика моего даже улыбка скользнула по лицу.

— Что же такое они сделали?

— Ловко сделали, ей-богу, ловко: слышать даже приятно, пушай что неладное да скверное такое дело сделали.

— В чем же дело-то?

— Да и дело-то такое, что никак ты не надумаешься — никак ты не смекнешь: вот как чисто сделали!

— Рассказывай же, сделай милость!

— Стояли они, амурцы эти, в одной тут избе в нашей деревне, а у бабушки три внука с меня ростом: большие ребята. А вот ведь ухитрились, сделали же, сорванцы!..

С великим трудом наладил я ямщика своего на рассказ: так он был увлечен и очарован поступком амурца. И между тем все дело состояло в следующем.

Один из амурцев, успевший уже обрезать полы казенного полушубка до половины и заложить овчинки с подолу, признанные им за лишние, в ближайшем кабаке нашел свою овчинную куртку невыгодную в путешествии. Стоя в избе, на которую указал ямщик, амурец этот заметил на полатах новую хозяйскую овчинную шубу. Утащить ее смело и решительно он не мог: из избы не выходили хозяева во все время и зорко следили за гостями. Амурец пустился на хитрость: он лег на полаты отдохнуть с позволения хозяев, успел в это время отрезать у шубы оба рукава и надеть их на ноги. Когда партия вышла из деревни, вышел вслед за другими и этот солдатик. Мужички из деревни, по обыкновению, провожали партию за околицу; провожали ее и хозяева солдатика. Этот не прошел и версты, как вернулся

назад и побежал прямо в тот самый дом, где стоял на дневке. Там оставалась одна старуха и младший сын. Амурец вбегает впопыхах:

— А я у вас, бабушка, шубу забыл.

— Какую шубу? Не видала на тебе такой.

— Овчинную, бабушка, шубу забыл, новую.

— Да новая-то шуба ведь наша. Вечорась шведы дошивали.

— У тебя, бабушка, не бывает такой: моя шуба солдатская, без рукавов.

— Без рукавов у нас не живет шубы! — ворчит бабушка. — Коли найдешь без рукавов шубу — твоя шуба.

— Давай-ко я ее поищу; твою найду — тебе отдам. Я спрятал ее под вашу лопатину на тот случай, чтобы наш же брат солдатик не стащил ее.

Стал искать и, конечно, нашел ее там, где сам положил, и, конечно, без рукавов. Увидел ее и парень — отдали шубу солдату:

— Твоя, солдатик, шуба, коли без рукавов шуба. Наша с рукавами была; зачем мы ее без рукавов шить станем?

Таким образом, пока они искали свою новую шубу с рукавами, солдатик уже был далеко.

На новом станке — новые рассказы про похождения амурцев. В третьем месте тоже.

— Куда же идут все эти краденые амурцами вещи? Что их понуждает на эти кражи? — спрашивал я людей опытных и присмотревшихся к похождениям амурских поселенцев.

— Да дальше кабака они вещей этих еще не носили! — отвечали мне. — Посмотрите вы на те селения, которые счастливят своим пребыванием питейные дома и пьющие гости из России: сколько в них шуму, историй; сколько в них бешеной, пьяной жизни, о которой наши смиренные сибиряки и понятия не имеют; грязных подробностей, которых им и во сне не снилось! Бывают у нас в Сибири свои, домашние загулы с треском и визгом,

но мы таких еще и не видывали. Раз в году бушуют наши промысловые партии, заручившиеся большой и бешеной копейкой на золотых промыслах. Но и те как-то год от году становятся заметно тише, пьют легче, бушуют меньше. Не слышать уже, давно не слышать безрассудных поливаний шампанским тех дорог, по которым благоугодно будет проехать нашему сошедшему с ума на золоте золотопромышленнику. Не ездят уже они на бабах, запряженных в сани, по улицам сел и деревень; не мечут уже они в толпу горстей серебра и золота. Глядя на хозяев, угомонились и промысловые партии. Есть еще у них загулы и пропойства, но далеко не в тех размерах, с какими производят ту же операцию амурские солдаты, которым удастся где-нибудь ловко пожить чужим, плохо положенным добром. Против наших промысловых буянов и пьяниц приняты уже меры даже самими хозяевами, против амурских нужно принять такие же меры.

— На все это даст ответы время и обстоятельства; может быть, поспособствует даже самая случайность. Ведь выросло же в Сибири из ссыльных поселенцев русских — здоровое, мыслящее и способное племя сибиряков, у которых есть хорошая и (может даже быть) блестящая будущность.

— Давай-то Бог вашими устами да мед пить... Поезжайте дальше — увидите и услышите многое сами! — говорил мне один из коренных, один из умнейших сибиряков.

И я снова ехал вперед, ехал много и долго, ехал до того долго, что и у меня, как у Кадиновича в романе А. Е. Писемского («Тысяча душ»), ямщиком очутилась наконец баба. Только тогда уже узнал я об этом, когда она сняла доху в избе своего дружка и когда шипел на столе приготовленный для нее самовар.

Не было со мной попутчика-купца, который бы оговаривал ямщика-бабу; не было и ямщиков, которые подняли бы ее на смех. Все на этот раз казалось обыкновенным. Ямщики-дружки спросили ее только «какова

дорога?» и ни одним замечанием, ни единой насмешкой ее не обидели.

— Что тебя, тетка, заставляет ездить: не бабье ведь это дело? — спрашивал я.

— Кому же и ездить-то, коли у меня хозяина в дому нету?..

Так же молодцевато вскочила и соскочила она с облучка. Так же бойко и послушливо бежали и у ней лошади, как бы и у любого ямщика, как бы, наконец, у той же бабы Писемского, которая везла Калиновича с купцом. Доха и несколько грубый мужской голос довершили мое очарование.

Но вот Бараба кончилась; кончилась и не-Бараба — то пространство, которое отделяет ее от Томска. Томск потребовал с моей стороны некоторой остановки для отдыха. Сзади меня легли с лишком тысяча верст и восемь суток скорой езды днем и ночью; то и другое круто сказалось на моих спине и плечах и на всем физическом составе. «Нет, — думалось мне на тот раз, — и курьерская езда требует призвания и подготовки. Хорошо испивать горькую чашу всю разом до дна, но и на это нужно уменье и сноровку».

Отрадно, весело и приветливо мелькнул передо мною этот один из лучших сибирских городов, не уступающий даже во многих отношениях столице Восточной Сибири — Иркутску. Составляя один из главных центров золотопромышленной деятельности, Томск хорошо обстроен; некоторые дома его отделаны даже роскошно и комфортабельно. Правда, что таких домов немного; правда, наконец, и то, что Томск во многих и лучших местах погорел и до сих еще пор не оправился; все же он оставляет приятное впечатление в проезжем. Город носит тот вид, как будто он еще не совсем готов и продолжает еще строиться, как будто в нем и самое общество еще не готово и усиленно, старательно стремится в дружную, согласную семью. Томск вызывает много вопросов и на многие из них дает сам ответы положительные и безапелляционные. Что до меня лично,

то на меня город этот произвел отрадное, освежающее впечатление. В малой, избранной части общества, но передовой по своему положению я встретил много хорошего. Небольшой кружок этот серьезно и внимательно следит за движением мысли, за умственной и практической жизнью обновляющейся России; ему не чужды интересы прогресса, он уже успел соединиться в тесную дружескую кучку, ведущую еженедельно оживленные, серьезные беседы, какие носят название литературных вечеров. Мыслящие люди без подготовки, без церемониальных приглашений назначают себе день и час для сходки, ведут беседу о каком-нибудь — более знакомом всем и каждому — предмете, спорят и в большей части случаев расходятся поздно вечером. При мне читали две беседы: о ядах и о взгляде магометан на Евангелие. Та и другая оставляли крупные, живые и свежие впечатления. Жаль, если и это общество постигнет та же участь, которая постигла в самом начале иркутское педагогическое общество. В Томске между учителями гимназии и профессорами семинарии есть много людей с свежими и крепкими силами, еще не надорванных ни рутиной, ни пошлостью жизни, которая вращается вокруг и около. О той половине томского общества, которая играет в карты, я на этот раз говорить не стану. С одной стороны, оно похоже на всевозможные провинциальные общества, а с другой — имеет крупные отмены и различие (но и об этом после, в другое время). Беглым, летучим заметкам нельзя подводить итога. Да и пора — на Амур!

Много несется уже о нем свежих слухов; слухи эти становятся учащеннее, хотя и звучат еще глухо, неполно, даже и там, где лежит граница между Восточной Сибирью и Западной.

На пути за Томском попадают еще два печальных городка; города это только по названию: один новопозалованный из села Кии — Мариинск, другой раскиданный — Ачинск. Первый начинает уже испытывать ту печальную участь, какую несут все русские села, пе-

реименованные в областные и уездные города. Некогда в Кие сосредоточивалось сильное торговое движение по поводу найма в этом месте рабочих на золотые промыслы. Ачинск же никогда не играл значительной роли. Это — первый город Восточной Сибири. Скоро за ним и Красноярск, поразительный по горам, обступившим его со всех сторон, и по отсутствию снега в самом городе и кругом его на тридцати и больше верст. Весь снег сносится частыми в тех местах и сильными ветрами. Красноярск — главный центр золотопромышленной деятельности, соперничающий только с одним Енисейском, но все-таки город не из лучших. И он как будто застроен и не доделан: много пустырей, огромных площадей, но мало домов прочных, хозяйственных, стародавних.

Мало несет дорога живых, свежих впечатлений. Нетерпеливо хочется если не достичь, то, по крайней мере, скорее приблизиться к вожделенной преднамеренной дели поездки. Амур начинает преследовать меня даже до смешного, до случайностей. В Томск приехали мы ночью; часов пять искали гостиницы, попали в какой-то трактир, где наскоро отделили особенную комнату с диваном, с какими-то портретами, относительно чистенькую и для жилья сносную. Утром на другой день, выезжая из ворот трактира в город, я обернулся назад, чтобы по вывеске узнать и запомнить название заведения; вижу: курсивными косыми буквами с какими-то диковинными завитками на вывеске этой начертано: «Гостиница “Амур”». В Красноярске, тоже наугад, по приезде ночью в первой, попавшейся из трех существующих гостиниц та же история: на вывеске еще прихотливее курсив гласил мне (как будто на пущее зло и досаду): «“Амур”, гостиница для господ приезжающих».

Амур еще далеко, ужасно далеко, и новые впечатления, новые виды заслоняют гадательные представления о нем. Правда, что впечатлений этих немного и все они такие тусклые, такие нерадостные. Длинный,

чуть не тысячеверстный путь до Иркутска, холодные станционные дома, покрашенные убийственно досадной желтой краской, какой покрашены те же этапы, все еще преследуют вас на каждом станке (по-сибирски), или станции (по-русски). На станционных домах нечего достать из съестного. Словно крепкая нужда подошла к этому краю; почтовые книги исписаны жалобами проезжих купцов на невыдачу лошадей, на задержки на станциях иногда более суток и проч. и проч. Весь этот тракт мало заселен, замечательно безлюден. Самое заселение его шло путем какой-то случайности, ничего верного, все неудачи. Вот эта коротенькая история.

По указу Павла I (от 17 октября 1799 года) назначено было 2000 поселенцев в Забайкалье. Часть их была отправлена туда, но там сильно поднялись цены на хлеб, чувствовался недостаток продовольствия. Сенат указом от 3 сентября 1801 года велел остановить находившихся в пути переселенцев, а в 1802 году поселить их по тракту от Красноярска до Иркутска и в Нижнеудинском округе. В эту категорию поселенцев вошли (по смыслу указа) преступники, которые не подлежали ссылке в каторжную работу и которых указано было называть сначала просто ссыльными, а по истечении десяти лет, смотря по поведению и прилежанию к земледелию, — государственными крестьянами, и помещичьих людей с зачетом в рекруты, не старше 45 лет. Отставным солдатам, которые от воинских команд назначены были и которых по указу Сената и по населению указано было считать государственными поселянами, предоставлено было на их собственную волю право селиться в Забайкалье. Действ. ст. сов. Лабу, командированный Сенатом для удостоверения как в образе пересылки, так и в способах обзаведения людей пересыльных, нашел, что люди отправлены были от помещиков в рублищах, почти полунагими и без достаточного числа кормовых денег; деньгами довольствованы были безрасчетно, и выданные по рукам были промотаны. Большая часть поселенцев этих денег не получила, большая часть из

них принуждена была продавать свое платье. Толпами бродили поселенцы по дорогам с женами и детьми, питаюсь мирским подаванием, к крайнему отягощению обывателей. «Смешавшись между собою, поселенцы часто утрачивали свои документы, с которыми нередко терялась и известность о происхождении и звании их. Нигде не было смотрителей, обязанных заботиться о содержании поселенцев. Между последними были люди (против положения) имевшие свыше 45 лет; между другими же были дряхлые старики, увечные, неспособные к поселению. С беременными женщинами и с больными поступали небрежно: их возили за партиями в самом жалком положении, оттого некоторые безвременно умирали; женщины рожали в телегах». Кормовые деньги для поселенцев присылались обыкновенно вперед по почте в губернские правления: в иркутском было до 25 тысяч, из которых выдана малая часть при проходе небольшого числа переселенцев через Иркутск. Из двух тысяч душ явились на места только 1454 человека.

Но — дальше в дорогу.

Еще два ничтожных города попались на пути: один маленький, сбившийся в кучу Канск, другой — Нижнеудинск. Те же этапы в каждом селении, те же лошадиные трупы, валявшиеся подле дороги: над ними носились, по обыкновению, черные, густые стаи воронов. Я бы не придавал этому обстоятельству особенного значения ни тогда, ни теперь, если бы оно было слишком обыкновенно на русских дорогах и заметно поразительно по сибирским. Дороги по Барабе, дорога между Томском и Красноярском, между Красноярском и Иркутском на редком перегоне не пополнены этим атрибутом, как будто он неизбежен, как будто он так обыкновенен, что на него и не стоит обращать внимания. Я, однако, решался спрашивать ямщиков и всегда получал один ответ:

— Курьеры заматывают очень уж крепко — много наезжает их, а есть между ними такие крутые господа,

что упаси господи! Никакой ты его молитвой не умолишь; так уже и просить их побаиваемся: не просим.

На станциях получаешь какие-то темные, неопределенные советы об осторожности при проезде впотемь и по ночам и короткий ответ: «Варнаки-де гуляют, пошаливают, а места глухие». И вот, не доезжая до Иркутска две-три станции, ямщик обращается ко мне с замечанием:

— Я теперь лошадок-то потише пуцу, пуцай вздохнут, а вот как с леском-то дальним станем равняться, я уж во всю прыть погоню; надо то место шибче проехать.

— Отчего же так?

— Да на днях тут купца с приказчиком ограбили. Следствие наезжало, да еще не знаем, кто сотворил экое нехорошее дело...

Дело было к вечеру. Глухою полночью подъехал я к Иркутску благополучно. Было начало декабря; глубокие снега лежали по дорогам и окрестностям; но Ангара не поддавалась еще морозам, и мрачно оттенялась перед нами темною, широкою полосой. По ней шла уже так называемая шуга, или сало, которое обеспечивало возможность предположения, что река должна скоро покориться сибирской зиме и покрыться льдом, хотя и на короткое время — два-три месяца. Я переехал Ангару в лодке и очутился в Иркутске, в котором судьба судила мне найти радушный, искренний привет, теплую дружбу и — теплый угол.

Почти два месяца прожил я в Иркутске. Беглыми, летучими заметками отделяться от него я не имею права и не в силах этого сделать по той причине, что пребывание мое там — одно из лучших воспоминаний моей жизни. Но теперь опять-таки окорее — на Амур и к Амуру!

Байкал, сибирское море, на то время покрылся уже льдом, давая возможность сократить путь и избавляя от того мучительного, так называемого *кругоморского* пути, о котором ни один сибиряк и несибиряк не могут

вспоминать без ужаса. Высокие горы, дурно устроенные дороги, езда верхом над пропастями — все, говорят, враждебно противодействует смелому решению ехать там. Байкал-море успел уже на время нашего проезда дать длинные и широкие (аршина в  $2\frac{1}{2}$ ) трещины, на которые клались доски, — и проезд совершался благополучно. Две станции (около 50 верст) вели нас по льду невдалеке от берега, и одна станция в 55 верст — на пересечение, поперек, к монастырю Посольскому.

И вот я в Забайкалье, судьба которого так тесно и неразрывно связана с настоящими и будущими судьбами вновь приобретенного Россией Амурского края. Отсюда шли (и идут до сих пор) первые и большая часть поселенцев; отсюда же идет хлеб и все необходимое для насущных, первых надобностей. Амур без Забайкалья существовать не мог, не может в настоящее время и едва ли будет в состоянии еще и на долгое будущее время обходиться без помощи этой благословенной, плодородной страны. Изучение и знакомство с этим краем едва ли не важнее изучения самого Амура, а изучение Амура без крайнего знакомства с положением Забайкальского края и невозможно, и даже невысказимо. Но и у Забайкальского края есть своя история правительственного, не самопроизвольного заселения, и история эта весьма недавняя и во всяком случае поучительная. На ней-то я и остановлюсь пока на некоторое время.

В начале девятнадцатого столетия правительство наше с большою заботливостью, сравнительно с населением других сибирских мест, занялось заселением Забайкальского края. Указом от 17 октября 1799 года повелено было: 1) поселить там на первый раз до 10000 душ; 2) поселение начать с сентября 1800 года, чтобы к тому времени заготовить все нужное; 3) под поселение отвести удобнейшие места между Байкалом, рекою Верхнею Ангарою, Нерчинском и Кяхтою, назначая на каждую душу по 30 десятин; 4) при отводе этом не касаться пространства, находящегося между городом Верхнеудинском и Читинским острогом, если оно

занимается харинскими бурятами, ни других мест, кому-либо принадлежащих или кочующими народами занятых; 5) селения расположить так, чтобы в одном месте более 100 дворов не было, и те селения расположить позади линий государственных крестьян, разумея от китайской границы; 6) на первой раз построить для 200 душ в назначенных селениях дома на счет казны, запастись хлеба на 1½ года, приготовить земледельческие и другие орудия, снабдив поселян потребным скотом для обзаведения и семенами для посева, а на отдаваемых с зачетом в рекруты, как они берутся без разбора, взysкивать с помещиков жалованье и провиант на год с обыкновенною при рекрутских приемах обувью и платьем; 7) когда первые 2000 человек поселены будут, должны они в свободное время от работ заготавливать дома для следующих на будущий год поселян, и для того первое поселение расположить так, чтобы в назначенном для селения месте было бы не более 20 дворов; 8) до совершенного устройства поселений губернское начальство обязано определить попечительных, надежных и знающих сельское хозяйство надзирателей; 9) каждый пришедший поселянин свободен от всяких податей десять лет, а солдатам быть наравне с прочими таковыми же поселянами в других местах; 10) однако ж предполагается, не в виде податей, а для общей пользы того края, особливо же для приходящих вновь, собирать с каждой души хлеба в магазины по одному четверику, начиная с первого урожая. Иркутский военный губернатор Леццано исчислил на это 98 156 руб. 22 коп. и предполагал для постройки 334 домов употребить самих поселенцев, с дачею им плакатных денег. Сумма, назначенная Леццано, была ассигнована, но согласия на второе предложение не дано затем, чтобы не изнурить с первого раза людей, еще не имеющих пристанища. Сенат предписал непременно заготовить третью часть домов, а орудия и инструменты доставить с казенных заводов.

Затем неудача следовала за неудачей, как я уже и имел случай говорить выше по поводу заселения тракта

между Красноярском и Иркутском. Для удостоверения как в образе пересылки, так и в способах обзаведения переселенцев послан был Лаба. Лаба — по свидетельству г. Пейзена (из статьи которого я делаю эти извлечения) — отведенные за Байкалом земли нашел к поселению неудобными, разбросанными на пространстве более 4000 верст. Взамен того он отыскал 150 000 десятин самой плодородной земли в том крае. Лаба не нашел также ни нужного количества хлеба для водворения первых 2000 душ, ни назначенного числа домов для помещения их (исключая 35, построенных и купленных, в которых и водворено 236 человек семьями). По представлению Лабы начертаны были правила, по которым в Забайкалье велено обратить всех людей прежних, обзаведшихся и водворившихся в других местах поселенцев и не стесняя солдат в свободе выбора мест. На каждую семью положено выдать по одной лошади, по одной корове, по три овцы, по три свиньи.

Вообще все дело шло не только крайне неудачно, но и противоречило тем намерениям, с какими предпринято было устройство поселений за Байкалом. Все дело поправил Трескин, иркутский гражданский губернатор, и привел его в исполнение быстро — в один (1807) год. По его распоряжениям переселенцы по прибытии на место водворения были тотчас снабжены всем необходимым для хозяйства. Земли для первоначальных посевов приготавливались самими поселенцами или прежде водворенными. Леса вырубались в свободное от полевых работ время. Дома строились по чертежу изд. 1772 года для двух семей, состоявших из одного женатого и двух холостых. Положено в каждом селении завести по одной кузнице и выстроить во всяком новом селении запасные магазины, в которые и собирать хлеб с первого урожая, назначенное число. Чтобы обеспечить женитьбу поселенцев, Трескин просил иркутского архиепископа предписать сосланных в Забайкалье девиц и женщин не венчать ни с кем, кроме поселенцев, что и было исполнено. Скот для поселенцев

докупался в Верхнеудинском округе у харинских бурят, делавших — по приглашению начальства — в пользу поселений значительные безвозмездные пожертвования. Кроме того, некоторые частные лица добровольно приносили значительные пожертвования. Петровский завод изготовлял земледельческие и домашние орудия<sup>1</sup>.

Каким образом производилось все это дело, какими подробностями обставлялось оно и о процессах дальнейших, новейших поселений и переселений за Байкалом — мы позволяем себе говорить потом, дальше, в своем месте. Но не можем при этом не остановиться на том грустном и многозначительном факте, что вообще поселениям в Восточной Сибири как-то не счастливилось. Западной Сибири в этом отношении выпала более благоприятная доля. Поселенцы, помещенные по реке Вилюю (109 душ), не имеют оседлости, крайне обленились, едят рыбу и сосновую кору. С жителями Амгинской слободы (в 200 верстах от Якутска) совершился диковинный факт: люди славянской расы превратились (посредством браков) в якутов, утратили русский тип, нравы, обычаи, язык; находятся в бедности и без хлеба, заменяя его сосновой корой (в числе 400 душ). Но в этом случае, по крайней мере, не благоприятствует климат; там нет ни сенокосных, ни удобных мест для хлебопашества (кроме Амги и Алдана). При столкновении с этим краем, оказалась даже невозможною гужева дорога, стоившая казне огромных издержек, не принесших никакой пользы. Вновь проложенный путь (в 1852 году) от Якутска до Аяна, на который издержано 20 000 руб. и переселено 211 душ, ничем не отличается от старинного несносного пути по болотам к Охотску. Местность тамошняя — лесистая и болотистая; климат — недружелюбно-суровый и переселенные люди — жалкие. Но и тут опять-таки препятствия физические: обширные тундры и кочковатые болота, летом превращающиеся в непроходимые топи, потом каменистые и утесистые горы с горными потоками, беспрестанно меняющими свое направление. Нельзя строить ни мостов, ни перевозов. В 1853 г. пыта-

лись было снова между Амгою и Охотском (на 803 верстах) устроить поселения, но и эти попытки рухнули... Против природы не пойдешь!

«В Америке, — говорит г. Пейзен в конце своей статьи, — в Америке дух предприимчивости, промышленных и торговых спекуляций имел последствием, что цветущие колонии, города, мануфактуры, фабрики возникают с неимоверною быстротою: всему этому осталась чужда Сибирь! Казалось бы, для населения столь огромного края, как Сибирь, много должны были способствовать ссыльные поселенцы, которыми наполняется Сибирь вот уже двести лет и которых ежегодно присылается сюда по несколько тысяч. Но, к сожалению, должно сказать, что в настоящее время, в особенности с тех пор, как развились в Сибири золотые прииски, колонизация ссыльными не достигает действительной своей цели; ссыльные увеличиваются только числом, но влияние их на заселение края и развитие в нем предприимчивого духа — самое ничтожное».

Неужели такая же судьба ждет и амурские поселения? Для Амура обстоятельства сложились иначе, благоприятнее. Сзади администраторов лежит целая история всяческих колонизаций, начиная от Америки и Ботанибея до французских поселений в Алжире и до русских — в оренбургских и саратовских степях. Тут и там — готовые ошибки, которые опасны так, как опасны кораблю банки и рифы; тут и там — готовые формы, по которым с первого разу можно отливать оконченные образы. За Амуром — право. Богом благословенной страны, богатой климатом, роскошной растительностью; наполовину те же условия физические, какие представляет Забайкалье, наполовину те, которые схожи с условиями недавних поселений в Охотском крае. За примером и доучением ходить недалеко. Под боком у Амура богатая, хлебородная, готовая в своих формах страна; глубокие воды удобны для сплавов от слияния главных рек до самого дальнего из всех океанов — Восточного. Так ли все это творится там, как творилось

прежде, или взяты новые источники, приложены иные правила, не менее логичные и последовательные?

Вот все те вопросы, которые естественно возникают впереди всех других и требуют правдивого, неподкупного ответа. С верою в возможность легкой добычи материалов при всяческом обеспечении, с убеждением в несомненную пользу всех выводов и наблюдений и, наконец, с твердым намерением говорить только то, в чем можно убедиться только при личном наблюдении, — приближался я, не торопясь и исподволь, к вожделенному и темному для меня Амуру. Осталась сзади меня Карымская степь с бурятами, город Чита, выстроенный на печальном и неудобном месте; город Нерчинск — не тот Нерчинск, куда по указу 1797 года велено отсылать уголовных преступников, — этот Нерчинск-город населен по преимуществу коренными сибиряками и заводскими, отслужившими свой срок крестьянами; с лишком в 200 верстах лежит от города ссыльное место каторжных, носящее название Нерчинского завода (который почему-то привыкли у нас смешивать с мирным городом Нерчинском). Здесь, в последнем, в двух соборах старого и нового города, сохраняются те образа, которые были некогда с казаками на Амуре, в Албазине, двести лет тому назад. А вот и село Бянкино, в тридцати верстах от города, с некоторою остановкою для меня.

Предоставляя себе право снова обратиться к этим местам для более подробнаго описания, я теперь прямо и непосредственно перехожу к тому времени, в которое я приблизился к Амуру. На этот раз я пока принужден буду ограничиться мелкими заметками, какие удалось мне вносить в дневник по мере того, как амурские подробности бросались в глаза. Добытые простым путем личных наблюдений и расспросов, заметки эти останутся в том же виде и в том же порядке, в каком они наскоро вписались в дневник, по мере того как они ловились на месте, попадались под перо в тот же самый час, даже в те самые минуты.

В то время, когда река Шилка понесла свой последний весенний лед, отправился и я вслед за ним по течению реки к Амуру из села Стретенского, на котором прекращается летний тележный путь. Стретенск различал меня надолго с сухопутьем, со способами переездов, родными и привычными с детства. Мне предстоял впереди длинный и продолжительный водяной путь по Амуру, обещавший со временем превратиться в не менее безотрадный морской путь. Быстро плыла моя лодка по течению Шилки, подгоняемая еще так называемую коренною водою. Вода эта — по туземным приметам — сопровождает, а иногда и совпадает с весеннею прибылою водою от речных льдов. Коренная вода набирается от ручьев и источников из оттаявших болот и горных родников. Быстро плыла моя лодка на этой коренной воде, скоро мелькали мимо меня берега и селения, и вот что писалось на ту пору в дневнике:

«Общие впечатления реки Шилки неблагоприятны. Раз задалась она известного рода картинами — и потом на всем своем долгом протяжении и пошла писать все одно и то же, повторять одни и те же виды с ничтожными изменениями. Течет она прихотливо-извилисто: горы направо, горы налево, большею частью каменистые, а иногда и сплошь каменные. Растительность не из богатых, деревья редки, отчасти, может быть, и оттого, что сильно вырублены. Может быть, там, за горами, деревья эти образуют сплошной лес, но на бережьях леса эти глядят решительными рощами. Там, где горы отойдут от воды и выдвинут вперед себя лощину, низменность: станица стоит, село выстроилось. Таковы: Бянкино, Вологдино, Стретенск, Шилкинский завод, Горбица и друг. Там, где выбегает из лощины (поздешнему — пади) прибрежных гор река Черная, бойкая и быстрая, течение Шилки сильно. Черная прямо бьет в утес противоположного берега.

— Немного не усноровишь, — говорил мне гребец, — как раз на эту скалу наскочишь. Плоты и бараки казенные здесь зачастую бедуют.

Утес, обрезанный водой и как будто подрубленный снизу, чрезвычайно картинен с лодки. Вода под ним и визжит и шипит. Шипит она и журчит во многих местах и на дальнейшем протяжении — там, где из ложбин между скал выбегают горные ручьи, всегда бойкие, иногда минеральные, как, напр., в Ключах (в деревне в 5 верстах от Бянкиной)<sup>2</sup>.

Станицы, расположенные по берегам, грустно-унылого вида, который еще более мрачится теми серыми полусгнившими частоколами, за которыми берегут во время дневок каторжных, кандалных и ссыльно-поселенцев. Остроги эти, преследуя от Москвы через всю Сибирь, наконец кончаются здесь Шилкинским заводом (казенным стеклянным, где теперь работают по воле; каторжных уже нет). При устье Кары, по берегу Шилки, выстроилось длинное здание госпиталя для больных каторжных. Здоровые из них работают в 15 верстах от того места на так называемых карийских промыслах. Там-то вот и последний, самый дальний из острогов, крайний пункт, до которого тянутся кандалные партии из-за Урала. Острогов этих нет уже на всем дальнейшем протяжении Шилки.

За Горбицами Шилка уныла, леса очень часты, сплошные и непочатые; ничтожные по величине площадки вырублены на 28—30 верстах для зимников, в которых живут почтовые ямщики. Шилка перед сближением с Аргунью, круто поворачиваясь к югу и загибаясь, камениста, к тому же и течение ее становится быстрее и прямо идет на скалы. Гребцы-ямщики не брались везти моей лодки даже и в ту легкую потемнь, которая характеризовала на то время весенние забайкальские ночи. Равняясь с Аргунью, Шилка расходится на три протоки (средняя глубже других), между которыми образовались два небольших острова и видно было много дичи: куликов и уток, поднимавшихся над водой густыми, шумливыми стаями. Аргунь вышла также двумя протоками, но самая широкая из них немногим больше самой узкой протоки шилкинской. По-

видимому, Аргунь меньше Шилки и к тому же — как говорят — очень камениста. Вид на слияние этих рек очень хорош: оставленная казаками станица (или караул) Усть-Стрелка прилепилась к невысокой, правда, скале, но такой, которую венчает высокий гребень гор лесистых, шилкинских. Высокие же гребни гор пошли по правому побережью Аргуни и затянулись синевой и тою картинною мрачностью, до каких такие охотники живописцы морских видов...

Начался Амур, тот Амур, до которого два года уже стремились все мои помыслы; два года лелеянная в моем воображении, сильно расхваленная одной стороной, значительно униженная другой, но для меня, во всяком случае, река вождеденная. Радостно бьется сердце по мере того, как весла моей лодки зачерпывают воду уже амурскую, а не шилкинскую. Шилкинская вода после малоснежной зимы сиротлива; баржи и лодки казенного сплава то и дело становились по мелям...

Виды Амура на первых порах не представляют ничего особенного; они служат только продолжением шилкинских: та же лиственница (начинающая уже зеленеть), та же береза, что и по Шилке; Амур даже и не шире ее течением. Если оба берега Шилки обставились крутыми горами — отрогами Яблонового хребта безразлично и одинаковой меры, зато берега Амура начинают уже как будто сдавать и подчиняться общему закону всех рек на свете. Правый его берег пошел круче: скалы отвесны, на левом берегу чаще показываются низменности, за которыми чернеют и синеют дальнейшие горы; и опять всюду лиственница. Лед, разбросанный по обоим берегам Шилки, разбросан и по обоим берегам Амура, где он и будет изнывать на солнечных лучах, распространяя вредные миазмы и заразы. Течение воды в Амуре становится заметно спокойнее, делается как будто торжественнее, особенно по сравнению с течением Шилки.

Вот и первая амурская станица — *Покровская* — из новых, существующая только три года».

## ГЛАВА III НА АМУРЕ

### *Первые путевые впечатления*

#### 1. ОТ УСТЬ-СТРЕЛКИ ДО БЛАГОВЕЩЕНСКА

На левый берег Амура вышел частокол и потянулся вниз по течению на целую версту; за частоколом этим тотчас огороды (на этот раз с расчищенными грядами); в огородах торчат черные пни обгорелых толстых деревьев; такие же точно пни попадают и в тех узких проходах, которые ведут между огородами на улицу. Улица эта узка и обставлена в один ряд домами, которых на этот раз 23. Дома в одно жилье, в два-три окна, новенькие; многие даже без крыш, с голыми стропилами. За домами пустыри, огороженные на образец дворики; в них кое-где загороди, выстланные соломой для скота; на них бродят куры, свиньи, телята. Кое-где за домами амбарушки; у весьма редких — баня. Сзади селения потянулся лес, который кое-где успели уже расчистить и засеять. Вот общий вид первой амурской станции — *Покровской*.

Зашел я в избу: там — светло, чисто, поразительно опрятно (зимой-де было тепло). Снаружи все приглажево, все вычищено: стол новенький, печь недавно беленная. Но каково-то в печи и на столе?

— Ничего, слава богу, живем помаленьку, привыкаем.

— А не тоскуете по родине?

— Да чего тосковать-то? Здесь еще, пожалуй, и лучше: повольнее...

— То есть как повольнее?

— Да вот хоть бы насчет пашни и огородов: паши и городьбу городи где хочешь: места много. Наряды уж очень обижают...

— Какие наряды?

— Да кое-куда: все больше насчет стройки. Не успеет парень домой вернуться — опять шлют. Вон там, пониже-то, Черняеву станицу строят.

— А свыклись между собою?

— Живем ладно: не ссоримся. Жены вот больше, ну да ведь это ихнее дело — известно. Очень нам неохота гарнизонных солдат принимать...

— Отчего же?

— Пакостят много. Уйдешь ты на службу, а он норочит, как бы к жене твоей. С этими тяжело.

— Это дело пуцай бы бабы и делали; пусть бы как знают и справлялись.

— Так опять же пользы-то от них мало видать. Какие уж они работники?

Выступает вперед толпы старик седой:

— Я вот стар. В прошлом году у меня в Амуре сын потонул, другой при мне — хворенькой; оба состоим на *нутренней службе*; а давай мне «сынка» — не возьму. Они только бедокурят. Ну их к ляду!

Ребятишки подошли к нам, такие пухленькие, веселенькие — и не дичатся. Да и вообще все казаки заметно свободны в движениях, а до некоторой степени и в ответах. Такими, по крайней мере, кажутся мне на первый взгляд.

— Все вы здоровы?

— Слава богу — посвыклись. Ребятишек к весне лихорадка прихватывала: так потрясет, потрясет и перестанет.

— И ничем не лечили?

— Да чем лечить? У нас нет снадобьев.

Позади станицы, к дальней горе, в луговых ложбинах, поля распахиваются, но заметно в малом количестве.

Ребята в корыте-боте, выдолбленном из бревна, приплыли из-за реки, которая здесь немногим, чуть-чуть пошире реки Шилки на всем ее долгом и тоскливом течении. Ребята эти привезли козулю, утку.

— Где же вы порох берете?

— Казна дает. Здесь насчет рыбы и дичи — очень хорошо. Много их.

И действительно, очень много. Огромные стаи куликов и уток тучами летали над нашими головами, особенно в тех местах, где река Шилка сливается с Аргунью, образуя травянистые длинные острова с цепкими, частыми кустарниками. Водораздельный хребет высок и покрыт редким и невысоким лиственным и отчасти березовым лесом. На месте слияния рек хребет этот оступается в Амур небольшим каменистым утесом, впереди которого, по предгорью (неширокому и печального вида, разбросано несколько (около 15) домов, почернелых от времени и непогодей, с обвалившимися крышами и покинутых жителями: казаки отсюда расселены по новым амурским станицам. Это давнишний Усть-Стрелочный караул. Не доезжая Усть-Стрелки — верстах в двух от нее на Шилке — казенный соляной сарай; при нем, по наряду от казаков, староста, который на время кое у кого в Покровском землю пахал, городьбу городил, гряды копал. Тем и кормился.

— А суха земля, хороша для пашни?

— Хороша земля. Есть же, однако, болотины. Болота в некоторых местах выходят даже на берег Амура. Горы сопровождают реку по обоим ее берегам и если иногда отходят от нее на небольшие расстояния, то оставляют впереди себя низменность, всегда обрывистую. На низменности, около станицы Покровской, стоят поленицы дров, заготовленные (по 50 коп. за сажень) для частного парохода «Адмирал Казакевич» и для казенного «Лена». Вот и этот частный пароход, поднимающийся вверх по реке к Стретенску, диковинный такой, безобразный, — «сахарный завод, поставленный на барку», как остроумно выразился мой спутник: с одним колесом позади кормы, накрытым чудовищным зонтиком. Над пассажирскою рубкою (сахарным заводом) еще одна рубка для лоцмана, словно скворечник. Обладая при высоких рубках огромною парусностью, опасною при постановке поперек реки, при сильных ветрах и волнении, пароход все-таки, говорят, ходит скоро и счастливо. Чудовищная, некрасивая форма его, гово-

рят, весьма обыкновенна в американских реках, но на Амуре она как-то дика и глядит странно, может быть и потому, что не привык русский взгляд к подобного рода паровой конструкции.

Оставляя станицу Покровскую, я спрашивал казаков, отчего они оставили родные места ради неизвестных, неведомых новых.

— Тесновато же там стало! — отвечали они мне; хотя, как известно, они переселены по воле начальства, а очутились здесь по жребью.

И вот на первый раз все впечатления первой амурской станицы.

Вторая станица — Амазар. Вот что писалось на то время в дневнике:

«Вот где настоящая бедность! В домах пусто, сиротливо; в амбарушке шаром покати; полей не видать; казаки такие сиротливые. Вот как это объясняют они сами:

— Взяли нас с Аргуни — велели ехать сюда: вот это место указали. Приехало начальство, сказывало: «Живите с Богом и будьте довольны; вас теперь на свет вывели. Там, в глуши-то своей, вы ведь ничего не видали». Вон огородцы развели: хотим картофель садить. Хотели хлебушко было сеять, а семян ни зернушка. Да и получить негде, да и пахать негде.

Действительно негде. Прибрежная гора отошла от реки не дальше ста сажен, оставивши низменность версты на две в длину, и затем сама встала крутой, бесплодной, скалистой стеной, словно настороже. Низменность и песчана и мокра. Но место найдено удобным для заселения и на берегу реки врыт в землю столбик; к нему прибита дощечка; на дощечке написано крупным и четким почерком: «Станица Амазарская». В станице четыре дома (один еще только строится). Дома маленькие, наскоро срубленные, малонадежные. Подле одной избенки пригорожено род собачьей конурки для птицы; немного подалее, на задах, отгорожены места для скота (этот-де еще кое-как держится, наполовину,

однако, пал еще во время сплава, не доходя Амура). В избах, пожалуй, и чистенько, но потому, что нечем грязнить; пожалуй, и просторно даже, но и просторнее оттого, что теснить нечему: стол тяжело и наскоро сработанный, лавки подле стены — и все тут. Перед домами, по берегу, у самой реки, расчищены огороды, но ничего еще не посажено; и сиротливо глядят они поднятыми, разрыхленными, раскопанными пустыми грядами.

— А тут еще, на беду, наряды. Двое ушли в Черняеву — станицу строить; да один в наряд с чиновником. Хотят еще, слышь, три семьи приселить к нам.

— Чем же живете?

— Кое-как маемся: в Покровское в работы наймемся: огородцы там копаем, робим помаленьку, а они нам за то хлеба дают.

— А покровские-то живут несравненно богаче вас...

— Те и на Усть-Стрелке жили с достатком. У них и земля в отводе не в пример лучше нашей. А нас ведь и с места сняли бедными.

— Просились бы вы на другое место.

— Да куда проситься-то?! Новое место нас не обогащает.

На ребятишках одежка рваная. Бабы немногим лучше. На казаках платье поприглядней, и то, вероятно, оттого, что солдатская шинель скоро не изнашивается и всегда в одной красоте.

У покровских же *робили* и те две ороchonки, которые встретили меня на берегу и продали мне утку. Ороchonки эти недурно говорили по-русски (особенно молодая) и давно, говорят, выучилась.

— А где вы живете? — спрашивал я их.

— А вон где! — И они указали мне на грудку тряпья, валявшегося на прибрежном песку; подле кучи этой сидел ороchonок. Оказывается, что они кочуют из станицы в станицу и где можно нанимаются в работу.

В гребцах у меня очутился еще один ороchon, которого только по черным жестким волосам да по излиш-

ней развитости верхней челюсти можно было признать за инородца, а относительно он недурен. Маленькие орочоны вообще не безобразны и далеки от соплеменников-взрослых. Весьма недурна молодая орочонка (ей 25 лет), которая продала мне утку особенно, если попристальнее взглядеться в нее: глаза черные, взгляд веселый, добрая улыбка и смешки. Но зато, по мере того как скелет орочона с годами складывается, развивается, принимает законченные формы, — чем, одним словом, человек становится старше, тем черты его принимают округлость и близятся к некрасивому самородному типу. Такова тут же, у берега, стоявшая старуха: она и мала ростом, и щеки ее необыкновенно отдуты и как будто распухли, особенно по орбите глаз, да и ходит она как-то вприпрыжку на своих тоненьких ногах. Но вообще во взгляде орочон нет той тупости и бессмыслия, которыми отличаются старые друзья мои, вотяки и самоеды.

Амур продолжает говорить одно и то же. Горы левого берега, отходя от реки, оставляют вперед себя площадь широкую, всю обсаженную тою же лиственницей, начавшею уже на этот раз зеленеть. Горы правого берега, принадлежащие уже Китайской империи, все-таки продолжают отступать в реку крутыми утесами, кое-где разрезанными поперек ложбинами, из которых журча бегут ручейки. Из русского берега выпала река Урка, рыбная; на ней сделан так называемой ез, т. е. тот же беломорской забор для рыбы, только с измененными названиями принадлежностей<sup>3</sup>. Попадают в эти заездки: харьюсы, лини, таймени, налимы. Видимо, казаки наши не зевают. Не зевают они и около себя. На правом берегу во многих местах виден был дым, показывался даже огонь. Сибиряк и на Амур перенес свои вековые обычаи пускать так называемые п а л ы, объяснять и здесь их необходимость тем же, чем объясняют это обыкновение и на Шилке, и на Енисее, и на Иртыше. Палы эти сжигают, истребляют кобылку, вредную для хлебов, в самом ее зародыше; в яйцах и куколках

истребляют и всякого *паута* (насекомых и гадов). Но палы опасны для селений — это неоспоримая, ежегодно несколько раз доказываемая истина. Чрезвычайно красивы эти пожары ночью, когда огненные змейки их вбегают в различных направлениях в гору или такими же огненными ручейками сбегают вниз в чрезвычайно прихотливых и разнообразных извилах. Но вот белесоватый дым палов изменился в черный и повалил густо и быстро, спирально крутясь вверх и брызгая по сторонам крупными искрами, — загорелись смолистые пни, валежник, хвоя ближайшего дерева. Палы начинают трещать и гудеть; подуй в это время усиленный, настойчивый ветер — палы быстро превращаются в лесной пожар, от которого трудно сибиряку защититься канавами и новыми палами, пущенными навстречу. Догадливые крестьяне при приближении сильных чужих палов деревни свои предварительно опаливают своими палами и иногда спасают их.

— Палы здесь (на Амуре) жгут для скота, чтобы ветошь (старая, прошлогодняя, нескошенная трава) новой травы не глушила, чтобы была хорошая *елань* (сеннокосное место), — объясняет мне один из гребцов.

Между тем высокие и округлые горы китайского берега ушли от берега далеко, в дальнюю монгольскую степь; показалась низменность лесистая, а может быть, дальше и болотистая. Левый берег по-прежнему низменный; по-прежнему горы стоят вдальеке, в стороне, уступая место этой равнине, иногда выбегающей к воде прикрутостью. Река кое-где начинает разбиваться на протоки и таким образом строит острова, песчаные у самого берега, зеленые на всем остальном протяжении. Но вот речка *Игнашина*, а за ней, по берегу, и тот ряд новых изб, которому дано название станицы *Игнашинской*.

В ней 20 дворов; те же виды и те же вести: впереди огороды, позади их дома, обращенные лицом к реке. Сзади домов проложили было улицу, да раздумали.

— Начальство нашло, что неладно там-то: улица по задворьям домов не живет, — велели прочищать впереди.

Огороды вследствие того стали такие маленькие и уютные, не столько огороды, сколько игрушечки; улица вышла такая узенькая, неровная, оттого что изрыта поперек недавними бороздами и грядами.

— Шибко же грязно живем, когда дожди пойдут. Земля разрыхлена, что пух; для огородов приспособляли, а теперь, вишь, улица стала. Чистим-чистим гряды: все плохо!

— Понятно: еще бы не так!

В начале поселения много пало скота и лошадей; коровы во время сплава промочили ноги, по колени стоя в воде во все время, редко получая пищу и не сходя на берег; лошади замотались от усиленной казенной гоньбы с почтами и курьерами, оттого игнашинские казаки нынешний год половину полей не поднимали. Обсеялись ячменем, пшеницей и рожью из собственных запасов, оставшихся от прошлого года. Запасами в нынешнем году подошли сильно, особенно в хлебе; ждали вспоможений от казны, да, говорят-де, отказали, не дадут. Зимой четыре месяца пользовались казенным пособием, выдаваемым на один месяц, за которым пособием (кому нужно было) ездили на своих подводах в Покровское. Живут чисто. Землю хвалят: лучше-де аргунской. Начали рыбу ловить самоловами (большими сетями заpastись еще не успели). Селение прибавляется, обстраивается, да тут и есть где: места много. Один казак, по-видимому более достаточный, к первоначальному квадратному скороспелому дому своему сделал пристройку. Вышло недурно, поместительно для его большой семьи. Он к дому и клетушку приделал, и скот огородил плотно.

По бойкости и развязности в разговорах и движениях, по кропотливой деятельности около дому, по всей наглазной обстановке (в гребцы со мной наряжают по большей части ребятишек с одним каким-нибудь

взрослым калекой) — вообще по всему видно, что благодарная, но невозделанная и новая почва заставила сбросить лень, принудила, что называется, развернуться. Так и должно быть. Ленивый и у каши не спорок. А труда, видно, было много: лесные пни, в аршин в диаметре, видны еще во многих местах: и перед домами на улицах, и на дворах, и на задворьях. Лес этот выжигали и отчасти вырубали. Избы в станице выстроены из толстых, диковинных бревен и зимой, говорят, теплы были. В гостиных комнатах завелись даже картинные украшения московского дела (покупали у проезжих купцов с Шилки).

*Станица Уруши* — с новыми рассказами и жалобами на бедность...

В речах рассказчиков много простоты и искренности, а в говоре их — особенностей. Вообще все казаки, пришедшие на Амур с Аргуни, картавят и призекивают: букву “з” употребляют вместо “ж”, “с” вместо “ш”, и проч. В самом типе их замечается что-то особенное: приметная скуластость, узкий разрез глаз, поразительная смуглость кожи — как бы перерождение монгольского типа в плохой русский. Черты и того и другого типа сплываются и заплывают. Все они хорошо говорят по-монгольски вследствие тех простых причин, что они до этого времени жили по китайской границе, среди трех племен монгольской расы: тунгусского, монгольского коренного и бурятского. Женщины-казачки довольно красивы.

За Уруши Амур становится заметно шире, но берега не теряют своей основной характеристики: китайский лесист и горист, наш изменен у берегов, горист на дальнейшем протяжении. Сплошной ряд деревьев сопровождает реку на всем ее течении и таким идет, кажется, и дальше. Дальше — новая станица *Ольдой* (20 дворов), но той же горе. В маленькой тесной избенке живут по два и по три семейства. Вид станицы тот же, но с реки недурен, вся она в лесу, обросла крупной лиственницей нови: хорошенько еще не успели прочистить. Но зато

внутри бедность. Я осмотрел две клетушки и нашел только лопать (носильное платье), но хлеба ни зерна. В одной кадлушке осталось малёнки две-три гречихи для семян. Заработков нет никаких, кроме казенных, стало быть, обязательных и бесплатных. Вблизи от станции в ближних хребтах ищут золото (и, говорят, даже нашли в незначительном содержании), но зачем? Затем ли, чтобы и здесь воспитать негодное, пьяное, развратное и ленивое население; чтобы отклонить казаков хорошими и надежными заработками от присущих, от самых важных занятий по земледелию и домоводству или, наконец, чтобы и здесь, на молодом Амуре, повторить печальные, мрачные истории нашей Енисейской губернии и не нашей Калифорнии?!

От Ольдоя низменный берег Амура продолжает тянуться еще верст на 10. Тут, говорят, и трава хороша, и для *пахоты* много места — все оно принадлежит Ольдою. Китайский берег продолжает тянуться горами, но уже замечательно меньшей высоты. Работы для поселенцев с их лесом меньше: деревья крупные, нет тех густых, цепких кустарников, с которыми довелось вести долго почти нечеловеческое дело североамериканским поселенцам. Да к тому же для наших не так часто рассадилась и самые деревья. Климат, по видимому, также не враждует с новыми поселенцами, а напротив, по общему сказу, все казаки здоровы, здоровы бабы, здоровы и ребятишки...»

Едем мы дальше, и дальше писалось мне в дневнике: «Амур прихотлив, хотя в течении своем по временам и стремится к чему-то систематическому; так, напр., в иных местах, если русский берег горист близ воды, то противоположный — китайский — низменен; иногда же оба берега низменны, и вот на китайском опять вышли на берег лесистые горы, наш русский продолжает быть низменным. Лед, который непрерывными полосами лежал выброшенным по берегам Шилки в начале течения Амура, теперь, вот уже вторую сотню верст, не виден; весь лед унесло не порывистое, бойкое течение,

как в Шилке, но строго-спокойное течение Амура, каким он и является, говорят, на всем дальнейшем своем протяжении. Зато снег залег и лежит еще большими, довольно значительными грудями в ущельях обоих берегов, особенно русского».

Станица Орловка сказывает то же, что и прежние: припасов нет. Хлеб успели посеять и расчисти сделали, хотя и живут на новом месте только еще один год.

Но вот берег амурский отступился с левой стороны в воду высокой скалой; под скалой выбежала в Амур речка Невур; вот и станица Рейново (7 дворов). Граф Муравьев-Амурский назвал эту станицу, говорят, по имени одного из своих, но на языке казаков она превратилась в Релино и очутилась в тех же печальных условиях, в каких находятся и все прежние: хлеба мало для еды, нет для посева.

Для последней цели услали несколько человек от станицы в Забайкалье на родные места за семенами: ждут со дня на день. Огороды раскопали и засадили картофелем. Один казак ушел в станицу Черняеву, двое — на годовую службу в Благовещенск. К счастью, лошади и при сильной зимней гоньбе, но при короткой станции успели к весне отдохнуть и поправиться. Казаки, бывшие в гребцах, идут назад домой пешком, берегом, и идут скоро (у меня был такой, который успел уже в эти сутки раз сплавать сюда). Дома много работы: избы не отстроены, некоторые даже не покрыты; сенокосные, мелких надворных работ много... Видимо, крепкая нужда заставляет казаков дорожить домом и спешить к дому. «Спасибо стуже — подживила ноги». Хорошо, если действительно справедливо и это предположение, и тот слух, который утверждает, что казаки и ленивы, и не находчивы в трудных, крутых обстоятельствах. Можно бы было благодарить судьбу и считать ее благодеею Амурскому краю, если бы новые места и труды, сопряженные с расчисткой и обработкой земли, выколотили из казаков ту лень, которую, говорят, привезли они с собой. И такой теперь ловкий, отличный

случай обратить казаков на путь правды и сделать из них полезных и трудолюбивых! Архангельский люд, да и всякий другой, поставленный лицом к лицу со враждебной, негостеприимной природой, не знает устали, а обусловленный положением государственных крестьян — и независим, и не имеет того забитого печального вида, каким отличаются все забайкальские.

Казаков забайкальских наполовину сделали из казенных заводских крестьян для того, как объясняют, чтобы иметь казенных рабочих, обязанных по самому учреждению и положению своему быть всегда готовыми и ненаемными работниками. А забайкальских казаков переселили, между прочим, и для того, чтобы таким образом упростить и облегчить дело устройства Амура. Но все-таки должно сказать, что казак забайкальский, а стало быть, и амурский вышел дурно обтесанный! Как его ни учили вертеться на каблучках, прищелкивая носками, как ни выдергивали руки — он все-таки надевает халат и поразительно любит его носить по праздникам, хотя в то же время и при солдатской фуражке без козырька, с красным околышем; а солдатскую шинель свою и амурский, и забайкальский казак все-таки подпоясывает кушаком; не утратил и крестьянской любви своей к полушубкам, теплой шапке и рукавицам.

Амур перед Албазином разбился на множество протоков (кажется, 5); все острова в свежей, хотя еще и небольшой зелени. Горы и нашего и китайского берегов ушли далеко в сторону, словно для того, чтобы, расступившись, дать место картинным островам. С высокого места вид на Амур, и на все его острова, и на все его протоки должен быть очарователен. Главная протока, по которой ходят, все-таки чрезвычайно широка.

Замечательно, что способ постройки станиц начинается несколько изменяться. Так, напр., в Орловке улица тянется уже по берегу; огороды приготовлены позади дворов. Огороды впереди дворов не составляют уже существенной, обязательной необходимости. Один казак

выпихнул даже баню вперед, на берег реки. Некрасиво оно, да зато за водой не надо бегать: она тут же под руками; выскочил, зачерпнул и опять в баню и под ве-ник; опять выскочил и в воду, по заветному русскому обычаю, который закалил здоровье наших отцов и де-дов. Отчего же и не быть бане тут и отчего же не де-лать этого!..

Но вот и Албазин — 48 семейств, 40 домов, нечто солидное и серьезное. Станица хотя и существует только три года, но глядит большим и людным селением. Посе-ленцы — большею частию казаки с Шилки (из Горбиц и Усть-Черной); недавно пришли два «сына» гарнизон-ных из Благовещенска и поселены у более достаточных казаков. Нужды одни и те же: «перебиваемся, говорят, кое-как, а жить тяжело».

Послали на Шилку за хлебом.

— Как же перебиваетесь? — спрашивал я их.

— Да занимаем друг у друга.

— А не отказывают вам богатые-то?

— Пошто же они будут отказывать, когда сами ви-дят, что у нас ничего нет. Дают мало-мало.

Лица казаков имеют еще некоторую приятность в чертах, особенно те, которые выселены с Шилки (ар-гунские уже пропадают). Но вообще казаки пользуют-ся хорошим здоровьем; хворали они только по весне и осенью, когда приводилось им по целым суткам стоять по пояс в воде — помогать казенным, севшим на мель, баржам и потом платиться за то ногами и страдать тифом. Особенных, новых характеристических видоизме-нений известных болезней не замечено. Ребятенки хво-рают лихорадкой (хина помогает). Ссылно-каторжных поражает очень часто цинга, казаков — редко.

Положение Албазина довольно счастливое. Позади его идет широкая и просторная равнина в огромную даль (лес начали вырубать). На китайском берегу впа-ла в Амур река Албазиха, необыкновенно быстрая, до-статочно рыбная. Туда орочны (живущие подле Алба-зина, в береговых юртах) ходят за промыслами; ловят

хорьков, белок и лосей, соболей мало, но зато албазинские соболи почитаются лучшими во всей Сибири.

Большая и главная часть нынешней станицы выстроена внутри тех укреплений, которые построил выходец из Великого Устюга, Хабаров. Несколько нынешних домов лежат позади этих укреплений отдельной слободкой. Укрепления до сих пор изумительно хорошо сохранились и во рвах, и в насыпях. Два рва и между ними высокая, неправильной формы насыпь, начинаясь на самом берегу Амура, справа от селения, тянутся в гору. Там (в невырубленном еще лесу) насыпь и рвы поворачивают влево и, обходя кругом станицы, справа ее выходят снова на берег реки. Здесь в этом месте (в левом конце станицы) возвышается над рекою новый вал, по-видимому насыпной. Это — собственно городок, последнее место защиты наших казаков. Городок господствует над всею станицею, так что второе укрепление правильнее нужно называть нижним. Место для него, по одним, выбрано казацкою дружиною, посланною нерчинским воеводою в 1658 г., а по другим — гораздо раньше, в 1652-м, занято самим Хабаровым как уже готовое, и именно, после упорной защиты этого места маньчжурским князем Албазою. Пока Хабаров ходил с товарищами вниз по Амуру для новых завоеваний — Албазин был оставлен. В 1665 г. он вновь был занят и возобновлен одним из искателей сильных приключений, беглым поляком Никифором Черниговским. Он возобновил острог в виде крепостцы (13 саж. ширины, 18 длины), имевшей две башни на стене, обращенной к Амуру, и одну с воротами на нагорной; внутри сделаны были кладовые. Жилища находились под горой и именно там, где теперь стоит наша станица. В 1685 г. явилось к городу маньчжурское войско, и Албазин снова был оставлен. 25 человек ушли к маньчжурам и увлекли с собою священника Максима Леонтьева. Нерчинский воевода Власов в июле месяце того же несчастного года послал сюда немца Афанасия фон Бейтона, который и привел с собою нарочно для Албазина сформированный

в Тобольске шестисотенный казачий полк. Этот-то Бейтон и соорудил тот вал вместо острога, приметные остатки которого идут четырехугольником кругом настоящей станицы. Вал этот имел в основании 4 сажени, 3 саж. в высоту и скреплен был кореньями и дерном. Округлость той стены вала, которая обращена на реку, хорошо сохранилась; с вала этого ясно видна между зеленью противоположного острова китайская батарея (в горе городка выкопаны недавно ядра, брошенные этой батареей). В самом городке, отступя несколько шагов от речного берега, приметна яма, как думают, остатки казачьего колодца; в гору — к стороне леса — кирпичная яма; тут был, но всему вероятно, пороховой погреб (кирпичи изумительно сохранились и необыкновенно прочны до сих пор). К стороне вновь строящейся церкви и подле нее заметны следы землянок, в которых жили албазинцы в июле 1686 г., когда под городом явилось восьмьтысячное маньчжурское войско и когда все дома, находившиеся вне крепости, были оставлены и сожжены. Нынешнюю станицу пересекает почти на две равные части сухой и глубокий овраг, по которому на то время, может быть, протекал ручей. Маньчжуры, как известно, повели траншеи, окопались рвом и прикрылись деревянной стеной, которую, однако, русские уничтожили. Тогда-то маньчжуры и насыпали тот вал, остатки которого (и вместе со рвом) так хорошо сохранились теперь, несколько отступя и против остатков русских укреплений. (Маньчжурские укрепления сохранились лучше русских.) 1 сентября 1686 года неприятель решился на приступ, но был отбит с жестокой потерей. Маньчжуры повели осадные работы и вели их с таким искусством, что способны дивить и в настоящее время опытных инженеров. Русским, как известно, не благоприятствовали обстоятельства. Толбузин был убит ядром в первые дни осады (его место заступил Бейтон); в крепости от сырых землянок распространилась цинга. Недостатка в съестных припасах на 736 человек, по видимому, не было, если принять в расчет то, что еще до

построения городка Толбузин озаботился снять с полей весь хлеб, не уничтоженный маньчжурами после второго оставления Албазина русскими (хлеба насчитано было тысяча десятин). Когда маньчжуры прослышали, что в лагере открылась цинга, то предложили своих лекарей, но Бейтон лекарей не взял, а для доказательства избытка в провизии послал в неприятельский лагерь пирог весом в пуд. Осада продолжалась с ноября по май 1687 г. Маньчжуры сначала отошли от города на четыре версты, а вскоре и совсем оставили осаду. Русские начали было уже строить дома, когда было объявлено им о трактате, заключенном в Нерчинске 27 августа 1689 года. По смыслу этого трактата, русские, как известно, обязаны были очистить Амур и оставить Албазин. Все они переведены были в Нерчинск. Туда же отвезены были и образа. Несколько икон хранится в старом городе; три — в новом соборе. Образ Ильи пророка находится на Шилке в часовне станицы Боты и принесен туда одним из албазинских жителей, потомки которого, Выходцевы, до сих пор живут в Ботах. Остальные защитники рассеялись по разным деревням Нерчинского округа<sup>4</sup>; но — по старой привычке — все еще продолжали ходить на Амур для промысла зверя и рыбы и для торговли с инородцами (то же делали до настоящего занятия Амура и их потомки).

Существование в древнем Албазине церкви почти не подлежит сомнению, и весьма не удивительно, что она была именно в крепостце на горе — последнем месте геройской защиты казаков — и, может быть, даже на том самом месте, где строится настоящая церковь. Доказательство: образа в Нерчинске, по всему вероятно, церковные, местные; поп — Максим Леонтьев, сдавшийся китайцам и основавший в Пекине первую русскую церковь. Если в Албазине и не успели построить церкви в то давнее время, то, во всяком случае, могла и должна быть часовня, как и существует в настоящее время таковая же сзади селения на горке, в лиственничном лесу, но внутри старого укрепления. Замечательно, что

в старинных рвах, и русских и китайских, успели уже за эти 170 лет вырасти огромные, высокие лиственницы (из которых многие, впрочем, нынешними казаками уже вырублены). На горе внутри крепости нынешним казакам селиться, рассказывают, заказано. Распахивая под поля нови, казаки находили внутри нижнего большого городка землю разрыхленную, мягкою, вероятно вспаханную прежними казаками Хабарова. Откопали топор, сошники; находили кресты нательные: один серебряный, другой медный.

Амур за Албазином продолжает разбиваться на протоки и обставляться зелеными островами: места необыкновенно картинные. Берега все еще низменны: горы синеют вдалеке как по правому берегу, так и по левому. В лесах появляется особенный вид березы — *черной* (*betula daurica*). Казаки начали делать из нее кое-какие поделки и находят ее прочнее белой березы, хотя и сплошного черного цвета в разрубе.

Под Бейтоновской станицей сидят на мели четыре баржи и на тех местах, где сидели в прошлом году другие баржи. Эти четыре баржи нынешнею весною разгружены; припасы, находившиеся тут, сложены на плоты и отправлены в Благовещенск.

Баржи эти еще на наших глазах продолжают разгружать на плоты. На берегу мука, говорят, подмоченная, слежавшаяся, гнилая; на берегу люди, подле берега — плоты.

Вот какими видами и слухами встречает нас Бейтоново.

В ней 23 дома и 23 семьи. Эта станица и глядит веселее, и живет в ней лучше: так, по крайней мере, утверждают. Казаки картавят, поселены с Шилки и родную свою реку все продолжают называть «Шилька». В начале поселения хворали, но кое-как перемоглись; страдали по большей части лихорадкой. Теперь здоровы и старики, и дети. Места хвалят. Прочистивши лес и расчищая нови, нашли землю такую, которая когда-то и кем-то была уже разрыхлена, вспахана, но после того

успела порастить пустым лиственничным лесом. По откопанным в земле сошникам и по форме их предполагают поселение маньчжурское. Очищая места под избы в левом (от Амура) краю селения, находили срубы; нашли кирпичи от припечки, обуглившееся дерево, ямы для погребов. Одна казачья изба по этим старым указаниям так и выстроилась: где гнилушки сруба — там дом; где яма — там погреб. Один казак нашел под своим домом тонкие плиты хорошо обтесанного камня; другой казак откопал ножик (формы маньчжурского), огниво и стальную огнивную плитку уже чисто русской формы. Отчего же не поверить и не задаться тем предположением, что древние поселенцы были русские, особенно если припомним, что Хабаров из Албазина с казаками ушел на низ и что казаки, раз проживши и сумевши соорудить город и потом навещая Амур ради промыслов, могли иметь две-три избы вблизи Албазина, хотя бы и в том месте, где строится теперь Бейтоново. Между тем известно, что Хабаров на обратном пути снизу останавливался и спрашивал своих казаков, где бы построить город для зимовки. Это было в 1653 году. Вибраны были три места и построены три острога: первый у князя Лавкая, другой — ниже, а третий — на устье реки Зеи. Товарищ Хабарова, Степанов, привел это в исполнение и в том же году поставил острожок там, где был городок Лавкаев, второй — на устье Урки, а третий — на устье Зеи.

Что может быть счастливее выбора этого имени, взятого в название новой современной станицы! Плененный в польскую войну и сосланный потом в Тобольск Афанасий фон Бейтон (родом немец) привел в Нерчинск казачий полк из шести сотен (когда Албазин уже сдался). Двести человек, а с ним и прежние албазинские жители пошли опять в Албазин по приказанию воеводы Власова. Бейтон сделал вал и укрепления, а когда Толбузин (вновь назначенный албазинским воеводою) был убит, Бейтон принял начальство над войском и благодаря личным познаниям в инженерном искусстве

десять месяцев выдерживал осаду, веденную тоже опытными руками китайских миссионеров — инженерами из иезуитов. Не прельщаясь никакими предложениями маньчжуров (привязываемыми к стрелам и бросаемыми в русский город), Бейтон умел, хорошо укрепившись, крепко и упорно держаться без продовольствия, без всякой надежды на какое-либо подкрепление. Только Нерчинский трактат 1689 года мог заставить его выйти из укреплений.

Осада Албазина — выдержанная, победоносная, одна из редких в русской истории, хотя и не особенно замечательная по своим последствиям: мы все-таки не удержали за собою Амура.

Замечательно, что и в Бейтоновской станице то же горе: по первоначальному плану на реку следовали огороды, потом дома, позади домов — улица (!!). Нашли это неудобным: улицу велено пробить перед домами и между ними и огородами. Огороды были уже раскопаны и обсеяны. Стало быть, пролито достаточно поту; что ж делать? Делать надо было новые загороди, отодвигать их до домов сажени на 4, на 5; уменьшать величину гряд и огородов, лес рубить, гряды старые уравнивать; оттого-то улицы до сих пор и не гладки, и требуют новых усиленных работ и внимания. На беду, еще казак от себя прибавил: выпихнул хлевы на самый берег; тут же, подле, бани приладил. Оно и некрасиво, да, по крайней мере, своеобразно.

Казаки бейтоновские начали уже ловить рыбу самоловами версты за четыре от станицы (осетрину, калугу, тайменей). Неводов завести еще не успели. Замечают, что осетр шел при начале их поселения около самого берега, но что теперь начал держаться середины и идет, нащупывая стреж. В первые годы рыба ловилась обильно — нынешний попадает очень мало. Кто виноват? Усиленное движение судов, усиленный улов на низу, население прибрежное, шум и свист пароходов? Все это должны решить последующее время и сравнительные уловы самой рыбы. Старик рыбак начал очи-

щать (и даже продавать по 1 руб. сер. фунт) осетровый клей. Показывал: некоторые куски белы и смотрят настоящими продажными; другие красны, кровависты. «Надо, — замечает старик, — более промывать: которые вот промыть не поленился, те и белы стали!»

Станица *Пермикина* — 13 дворов.

Те же неудобства первоначального заселения; но к прежним общим здесь присоединились новые враждебные препятствия.

— Одолели ребят комары, и мошка, и *пауты* (оводы). Змея (черная и бурая) в большом количестве живет, ужалила вымя коровы, ребенка. Но, слава богу, все прошло благополучно. Змею больше аршина убили у меня на углу избы, — сказывал старик, отец старшего. Он же рассказывал, что перед переселением их с места родины в родных их избах целый год не видать было тараканов.

— Ушли, и Господь их ведает — куда! Сорока опять же появилась, а допрежь того мы этой птицы в наших местах и не видывали.

То же самое подтвердила старуха — жена его — и дочка. Видимо, присущее бездолье и несчастья, не находя оправдания в действительности, заставляют казаков стараться объяснять их мистическими предзнаменованиями.

Впрочем, старик этот, видимо, крепко суеверен: он полагает, напр., что змея скоро должна уйти от селения, потому что свиньями обзавелись.

— Не терпит в гадине дьявольская сила свиного духа, и пропадают змеи. В наших местах, за Байкалом, бывало уж экое дело.

Болот, сказывают, нет и земли под станицей в избытке. К ней подошла длинная широкая равнина; место это никогда прежде заселено не было. Для скота корму много.

— А девки за ягодами ходят?

— Да нету ягод-то, кажись, а может, и есть, так еще не успели присмотреться-то, доискаться.

— А вечерки по зимам затевали оне?

— Девоч-то у нас мало, да и не до вечеров.

— А на Шилке было весело?

— Ну да как не весело? Своя сторонущка! Ревели-ревели, как с родного места снимались! Тяжело ведь, дело-то не свычное! А здесь вон и коровушки-то как-то плохо телятся: то недоносками без шерсти, то зобатые. Родится эким теленочек, да и помрет.

Следующая станица *Бекетово* повторяет то же самое вслед за предыдущими. Место для нее выбрано невыгодное, на горе, — тесное, каменистое; делают росчисти, но медленно, за неимением достаточного числа рук.

Прошлой зимой вблизи этой и предыдущей станицы кочевали манегры — особенное от ороchon племя. У них и черты лица правильнее; они и зажиточнее, богаче ороchon, деятельнее и оборотливее их в торговле, но те и другие кочующие: ороchonы с оленями, манегры с лошадьми. Некогда юрты манегров попадались по всему течению Амура, начиная от реки Невур и Албазина и дальше. Я не видал ни одного представителя этого племени, а бродили они, говорят, до Кутоманды.

— Куда же они делись? — спрашивал я у казаков Бейтоновской станицы.

— Приезжал, сказывают, к ним маньчжурский чиновник, перевел их на свою сторону. Сказывают тоже, что поселили их по реке Кумаре в двух днях пути от Амура. Там-де они и живут теперь. Начальство наше велело обходиться с ними поласковее, на свою сторону переманивать. Старались мы, прикармливали, припаивали. Иные успели даже и призадолжать кое-кому и кое-что.

— А каков народ этот на ваши глаза показался?

— Тихой народ, добрый народ; кажется, и ороchon лучше; с ними жить хорошо было.

— Каково вы с манеграми жили? — спрашивал я в Бекетовой станице.

— Ладно жили. Пользовались от них рыбой, мехами, кожами на лапоть. Давали им старые, рваные рубахи

свои, бутылки, у кого были. Все брали, ничем не брезговали; особенно им любы были старые наши тряпки. Да вот по зиме-то ушли от нас: все вдруг, словно по заговору. Успели задолжать — не расквитались! Чиновника маньчжурского, однако, не видали.

— Вернутся они к вам, как вы думаете?

— Кто их знает: может, к весне-то и вернутся; вот уж ни единого человека во всю зиму не видали, а нам около них и хорошо было: рыбку давали, меха продавали — есть же страстишка к торговле-то...

Амур от станицы Бекетовой продолжает по-прежнему разбиваться на протоки и обставляться островами. Пристально вглядываясь, находишь, что коренные берега Амура — горы, хотя они и отходят всегда несколько в сторону. Низменности, в последнем случае выходящие на берег, — или острова, образованные протоками реки, или случайность в такой степени, что большая часть окраин этих низменностей ежегодно отмывается весенней водой и значительными гудами отваливается. Пропадают, говорят, целые острова; берега за одну весну успевают сокращаться сажень на пять — на десять; часто из воды торчат опрокинутые недавно, вывороченные лесины, целые кусты, называемые туземцами *паршам*. Таких паршей чрезвычайно много по всему Амуру; в этом отношении он представляет замечательную особенность реки, еще не установившей своего коренного течения, продолжающей строиться, принимать законченные и надлежащие формы. Таких рек, как известно, не существует во всей Европе; нет ничего подобного и в реках сибирских. Зимой, говорят, река имеет новые капризы; она обыкновенно замерзает замечательно толстым слоем льду, но теплые ключи береговые в приметном множестве выжимают воду на ледяную поверхность. Вода там снова замерзает сплошной корой, и так иногда до трех раз и больше. Вода теплых подземных ключей и ее подледные испарения, не находя себе исхода, выпирают лед

наверх и таким образом делают бугры высокие, неправильной формы, большею частью конической! В иных и частых случаях испарения ее успевают просочить лед в виде полыни, преимущественно около кустарников, и в этих местах река обыкновенно и постоянно отдает паром. Таким мест много на Амуре. Много и таких, где недостаточно теплые ручьи подводные затягиваются тонким слоем льду и забрасываются обманчиво снегом и где, стало быть, очень часто проваливаются и верховые проезжие, и едущие в санях. Последнее обстоятельство важно еще потому, что теплые ключи не всегда являются в одном и том же месте: прошлогодние обнаруживаются и в следующий год, но весьма нередко на совершенно другом, новом месте.

Островов по Амуре чрезвычайно много, острова эти низменны, песчаны, покрыты кустарниками; красиво выплывают они впереди, картинно затягиваются в туманную синеву и пропадают из глаз, предварительно сгруппировавшись в один сплошной остров. Таких островов особенно много перед ст. Толбузино; легко между ними запутаться: станицы не видать за островами, успевшими уже одеться бойкою и густою зеленью, которая особенно распустилась после недавнего дождя. Чтобы не блуждали в этом месте казенные плоты и баржи, догадались на выдавшемся мысу берега построить избу-караулку, которая и служит маяком.

*Толбузино.* И вот снова историческое имя в названии станицы. Алексей Толбузин два раза был на Амуре албазинским воеводой; первоначально в 1684 году. Когда при осаде русские потеряли сто человек и когда священник с жителями просили объявить неприятелю о сдаче города, Толбузин согласился, только с тем условием, чтобы все остальные люди отпущены были в Нерчинск. Маньчжуры пригласили воеводу и жителей в лагерь и там вновь предлагали передаться на особенно выгодных условиях. 25 человек соблазнились и сдались; остальных воевода повел в Нерчинск. На пути их вернул, как известно и выше сказано — Бейтон, шед-

ший из Тобольска с войском, и Толбузин снова назначен был воеводою. В июле 1686 г. явились маньчжуры. Толбузин, при искусстве Бейтона, держался долгое время; но вскоре, во время вторичного приступа, убит был ядром. Еще одно историческое имя мелькает в названии станицы — имя храброго Хабарова, но далеко впереди, при впадении в Амур реки Уссури.

Место для станицы Толбузиной выбрано весьма неудачно. От береговой избы, пустой и с выбитыми стеклами, до селения с лишком две версты. Тропа к ней от берега Амура ведет по болотным кочкам, в четыре мокрых оврага; в двух из них налились даже значительной величины лужи. Такое же точно озерко подошло и к самой станице. Из него казаки берут воду, стоячую, едва ли особенно годную; озеро весьма невелико и неглубоко, а проток Амура, как будто направившийся к станице, взял влево и до станицы не дошел с версту, а может быть, и больше. Станица пристроилась к горе, но направо и налево от нее потянулись луга. По суходольям выросла лиственничная роща, в которой расчищаются пашни. В станице обыкновенные виды: дома в ряд, скороспелые; улица, тоже сделанная из огородов, кочковатая, грязная, едва проходима после недавнего дождя. Между поселенцами-казаками с *Онона* выселился бурят, у которого на дворе, в уголку, сохранилась еще юрта. Хотя бурят и выстроил для себя русскую избу, но не живет в ней по племенной непривычке. Юрта бурята, как и все забайкальские, укрыта кошмами; посредине, в верхушке конуса, отверстие дымовой трубы, три тагана и три шкапика — первые легкие признаки некоторой цивилизации.

— Отчего, — спрашивал я казаков, — отчего выбрали вы такое неудобное место?

— А лучше нет. Посуше вон те, которые к протоке, так уж очень низки.

— А здоровы ли вы?

— Этим не похвалимся. Лихорадка часто схватывает. Сыро у нас, большой сыростью сдает вон с болота-то.

Ребенок захворал было лихорадкой — выздоровел, так вон, вишь, горлышком храпает.

И действительно, у мальчика в горле сильное накопление мокрот, а вследствие того и хрипота<sup>5</sup>.

Поселенцы следующей амурской станицы, *Вагановской*, выселенные из Кучугая, помещены здесь весьма неудобно: во-первых, они нашли непроходимую густую чащу (кое-как вырубали и выжигали); во-вторых, место каменистое, к хлебопашеству неспособное, а потому казаки пашни свои перенесли на противоположный, китайский берег, где земля, говорят, чрезвычайно хороша. Там они успели уже высеять гречиху, пшеницу; сеяли еще на острове, по пути к ст. Ольгиной, хотя остров этот тоже близок к китайскому берегу, от которого отделен неглубокой (в 1½ сажени) протокой.

— Ну а прогонят вас, выжгут ваш хлеб?

— Нет, не выжгут. Мы спрашивали манегров в прошлом году. «Ничего, — сказывают, — пащите сколько хотите. Мы не препятствуем; нам лучше: у вас готового хлебца купим. Только бы наш-де начальник не заприметил и не запретил бы». Накосили мы там сена — манегры его не жгли, не трогали, разве только когда клочочек для своих коней брали. Нельзя же без того: Христос с ними!

В доказательство невыгодного положения *Вагановской* станицы тамошние казаки приводят и то, что скот их, не находя себе пищи, переплывает за кормом на другую сторону (у одного казака уплыли таким образом две лошади; не могли найти).

Станицу свою казаки прозвали было *Ключевскою*, от двух ключей, бегущих вблизи (и с них-де всегда ветер), но начальство прислало приказ назвать ее именем офицера, который ездил к китайцам и там был убит; вывезены-де были одни только кости.

Между врагами своими новые поселенцы указывают еще на крыс, которые объедают мешки с мукой.

— Так полмешка и отвалит проклятая, и с холстом сожрет по всей длине посудыны, — объяснил мне старшой станицы.

— Крысы седые, величиной другая в рукавицу. Одну задавили собаки — смотреть было страшно: такая большая! Другая завелась в избе, ныла и проедала потолок долго, да кое-как убили пешнями. А кошки зимой на улицу не заходят. Как вот стало кошек больше, и крысы поубавились. Рубль серебром я вот за свою кошку-то заплатил: нет у нас их. Христом уж Богом на лодке у купца выпросил уступить мне. Людям, однако, крысы эти обиды не делают.

Не делают также обиды и змеи, которых также много и в лесу, и по берегу и между которыми бывают-де и черные и пестрые.

— На китайском берегу змей и крыс, однако, не видали. Змеи эти проклятые молоко высасывают. Из зверей видывали коз, зюбрей, волков, медведей; никто, однако, к станице не подходил, не беспокоили. Рыбу вот ловить ладимся: летом осетёр идет. Зимой перегораживали кое-где реку: линёчки, таймени попадались.

Вид из станицы на Амур картинен, особенно в правую сторону, где плавают три затянутых в зелень острова: один из них совершенно круглый. Острова эти продолжают сопровождать нас и дальше. Амур делает изгиб, колено. Зимой расстояние между станицами Вагановской и Олгиной всего только 15 верст; рекой же теперь верст 30. Но вот и станица *Олгина*, в десять дворов. Олгина она не по Оле какой-нибудь, а по реке Олге, отстоящей от станицы верст на 8 и прозванной так первыми кочевниками здешних мест — манеграми. Манегры кочевали и на той стороне и на этой. Поселенцы все с Онону.

Для станицы назначено было место ниже и внизу, на луговине: там и успели уже построить 5 дворов три года тому назад. Потом нашли, что берег рыхлый, Амур его подмывает, а в большую воду и совсем затопляет; тогда отнесли станицу несколько (в версту) выше на гору, которая оказалась и крута и высока, покрыта березняком. Березняк этот успели вырубить и построили тут пять дворов, в которых успели уже завестись сивые крысы

и желтенькие полевые мыши; не завелось достатку, но нет и особенных лишений. Новой станице на новом месте истек год. Огороды еще копают, пашни хвалят, хотя работы сначала и шли туго. Точно так же не благоприятствовали и луга: скот хворал и даже нередко падал. И опять повторение странного явления. Здесь также коровы родят зобатых телят. Не объедаются ли они какой-нибудь вредной болотной травой? Болота есть поблизости, хотя и небольшие и не слишком топкие; на них озера достаточной глубины и рыбные. Ловят рыбу и в Амуре по осеням. В заезды попадают осетры; в невода лени, таймени. Отравляли лисиц; водятся волки; змей поблизости нет; медведь не бедокурит; водится белка; продавали приезжим купцам сверху: за лисицу давали 2 и 4 рубля, смотря по времени, а больше по наличным достаткам.

Климат новых поселенцев встретил сначала недружелюбно: перехворали все; теперь, свыкшись, кое-как перемогаются.

— По родине вот тоскуется: часто же она приходит на память; а придет — и всплачешься. Там хозяйство было больше: здесь еще не успели устроиться. Сумеет — тогда может, и позабудем про родину.

Берега Амура за этой станицей опять гористы и оба покрыты исключительно одной лиственницей. На китайском берегу часто выясняются пади; в одной из них говорливо журчит ручеек, но, кажется, временный, а не постоянный: у него нет русла, и мечется он в две пенные струи через камни.

Амур<sup>6</sup> (собственно *Шилькар*) начинает становиться шире, особенно заметно это между станицами Черняевой и Кузнецовой. В Черняевой казаки успели уже устроиться, и хорошо устроиться, хотя и живут только один год: по десятине хлеба нынешний год посеяли, огородцы раскопали; место для станицы выбрано хорошее, луговое, все в зелени. Хорошо, если на черняевских благодетельно подействовали неудачи первых поселенцев

и они поспешили взяться за ум-разум. Велика задача: в два казенных года расчистить нови, обстроиться да еще и запасами со своих полей заручиться!

Русский берег перед ст. Кузнецовой становится опять гористым; против него растянулись низменности китайского берега (а за ним пошли и горы). Из падей шумливо бегут ручьи, на берегу слышатся живые голоса: птицы чирикают, кукушка кукует. Чуетя всюду заметная жизнь и замечается на самом деле, что мы поплыли теперь заметно к югу, и весна входит во всю свою силу и права. Горы продолжают держать на себе красный цвет. Казаки уверяют, что краснота их от травы; между нею чернеют камни — целые, выдающиеся в неправильных формах скалы. Две из них (за 2 версты до ст. Кузнецовой) словно остатки стен, параллельно стоящих друг к другу, как будто остатки замка, острога. Правильные четвероугольные камни, словно кирпичи, образуют ту и другую стену. Обе скалы, взятые отдельно и издали, имеют решительную форму башен. Форма эта прихотливо видоизменяется по мере того, как наша лодка отходит от них. Гранитные стены эти несколько отошли от берега (хотя и нераздельны с ним). Так, по крайней мере, кажутся они издали, и вид на них сбоку необыкновенно красив и оригинален. Передняя стена фантастического замка, острога, ящика словно отвалилась от двух оставшихся и провалилась в воду. В середине, между обеими стенами, разбросаны камни, ютится зелень травы и даже кое-где деревья; промежуток между стенами усыпан камнями. После низменности, перед станицей, и китайский берег становится высоким, гористым, засыпанным зеленью: береза и лиственница сменяются между собою попеременно. Вскоре, в свою очередь, китайский берег, сделавшийся крутым, начал выставлять скалы, но неправильной и некрасивой формы. Русский берег превратился в низменность; из-за зелени ее виднеется уже и станица Кузнецова (бывший Анган), в 8 дворов.

*Анган.* Станица эта зовется так потому, что тут вблизи текут две речки этого имени, а Кузнецова — неизвестно (сам старшой объяснить не мог). Казаки переселены с Онона; нужды большой в продовольствии не чувствуют. В прошлом году пахали землю и нашли ее разрыхленную, даже приметны были в некоторых местах борозды: видимо, кто-то распахивал, если не маньчжуры, то русские казаки времен Хабарова. Нынешний год хотели было сеять, да беда стряслась: от усиленных зимних разгонов лошади к весне пали (у старшого две; у соседа его — три). Объясняют:

— Станок до Олгина большой: уедешь — да с неделю и не бываешь дома; а езда по горам трудная. Одним казна давала лошадей, другим не давала. Ищите-де свою правду — найдете; станем вот просить, что Бог даст?

Те казаки, которые выселились позднее, строят дома повыше реки, поодаль от настоящей станицы (два дома уже выстроены там).

— Так вот и велено строиться в гору.

Дальше книзу идет низменность, которую в полную воду заливают Амур. Гора отошла в зад станицы версты на три, и все это место поросло лиственницей; места болотистые. Такой же болотистой овражек залег между рекой и станицей: здесь, по всему вероятно, некогда было русло Амура. До сих пор сверкают тут длинные озерки направо и налево от той тропы, по которой шел и мне путь в селение, через кочки и по лужам в этой русловой ложбинке.

— Травы у нас хорошие, — подсказывает казак, — и места для пашен и огородов ладные. Змей нет; лисиц отравляем; про медведей не слышать; белок кое-когда промышляем.

— Чем же вы землю распахиваете, когда у вас лошади пали?

— А друг у друга занимаемся. Берем у тех, у кого остались лошади, помиловал Бог, а то и на волах обрабатываем. Да вон!

По косогору к реке действительно два вола поднимали черную землю и, как говорят, для огородов.

Местом в следующей — *Ермаковой* — станице казаки остаются довольны, почитают здоровым, хотя справа и подошло к самой станице болото, а на нем разлилось мелкое озерко; дальше — река рыбная. Прозвали реку Ононом — именем родной реки. Места под станицей много; траву при начале заселения жгли было, да не принялись запалы: очень густа и влажна была. К осени успели накосить сена, да стояли зимой пурги сильные: много стогов разметало. Скот, однако, кое-как перемагается. Некоторые коровы телились голышами, которые тотчас по рождении и помирали; другие коровы рожали телят с зобами.

— Я, — сказывала одна баба, — с чужого совета соседей, которые раньше нас поселились, пробовала прикладывать к зобу сало на тряпочке — помогало: зоб опадал, а видать его, однако, и по сию пору. Овцы начали ягниться на зелень (т. е. ко времени настоящей, зеленой весны).

— А как вам жилось вначале?

— Да ничего, слава богу. Сначала жили в балаганах, а по осени да при хворости кое-как печь сбили, пазы замазали. Зиму жили тепло и сыто: провизию от казны получаем, на то у нас — в селении-то — и магазеев есть.

В хлебном ермаковском магазине, как и во всех других, успели завестись крысы.

— И плодущие такие, проклятые, и голодные: не усмотришь — всю муку из мешка так и высыплет, хоть и не сожрет всего. Много же этих крыс и до нас по берегу-то было.

Змей также много; одна заползла не только в землянку, но и на постель.

— Зашевелилась — разбудила; вздули огня — смотрим: черная такая, вреда не сделала. А сразу мы того и не смекнули.

Рыбы еще не ловят; промышлять в лесу тоже еще не успели собраться. Зимние подводы с круга сбили.

— Человек по десяти господ в один день собиралось; иные дня по два ждали. Не успеешь лошадей откормить — и опять в дорогу. Тяжело было, а теперь легче маленько.

Сбивали мне долго подводу; в гребцы нарядили, между прочим, двух «сынков» — гарнизонных солдатиков.

— Хорошо ли они живут с вами?

— Да не всякий же: все больше озорники. Редкий хорошей-то попадетя. В работе он тебе не помогает, топора в руки взять не умеет, да и барином жить хочет. Я-де у тебя до времени в избе живу, а паек свой получаю: стало быть, вы мне не указчики; я-де вас и знать не хочу. Лаемя-лаемя, грыземя-грыземя, а он устоит-таки на своем и ничего ты с ним не поделаешь. Посылаем вот их больше в казенных подводях. Никакой они нам подмоги не делают. Мы уж так им не рады, что хоть бы взяли их от нас — обеими бы руками перекрестились!

Вот и дальные, давние слухи о них — на самом деле, на самом факте. Народ, впрочем, бойкий в движениях, ловкий на словах, острый на язык. Всю станцию песни пели, и вдобавок еще — веселые: видимо, даже гордятся и этим хвастаются; забайкальские казаки, как известно — что рыбы: десен никогда не поют и не знают. Не слыхал я песни давно, больше полугода. Казаки и топором тешут, и сено косят, и веслами гребут сосредоточенно — молча, ни слова между собою, ни прибаутки, ни присказки. Их, по-видимому, дивили даже развеселые солдатикки, но песни их нравились.

Один из «сынков» гребет и приговаривает: «Кто на Амуре не бывал — тот и горя не знавал; и кто на Амуре побывал — тот и горе распознал» — и завернул это все глубоким, тяжелым вздохом. Вот и новая, готовая поговорка — пока, на время; пойдет ли она дальше в века? неизвестно. И опять-таки высказал ее, выпустил из уст не забайкальский казак, а *российский* солдатик.

— Не хитра она складом, да ладная! — заметил он мне.

На половине станции русский берег из скалистого превратился в песчаный. Полукругом правильного очертания обступил он реку и состоит из желтого песчаника вверху с тонким напластыванием чернозема и с довольно скудной растительностью (лиственниц на  $\frac{3}{4}$  вышины). Желтый песчаник нередко превращается в белый, который во многих местах в свою очередь пере-резан тонкими слоями или полосами как будто глины. Белый песчаник во многих местах отделился от основного желтого и образовал род скал, таких же, каковы до этого времени были каменные скалы. Верхние глыбы этих песчаных скал как будто известкового свойства. Они идут на дальнем своем протяжении при тех же условиях, как шли прежде каменные скалы, т. е. с ущельями и пещерами. В одном из этих ущелий дымится, курится что-то, или, как называют казаки, «горит живой огонь».

— Едешь ночью, — уверяют гребцы, — видишь даже, как сыплется оттуда песок и даже с искрами. А дымит так, что когда ни поедешь: днем ли то, ночью, — все курит и не перестает. Зимой дорога стороной идет — не видывали, что тогда бывает.

Посередине этого песчаникового полукружия, почти в самом центре его, поместился на Амуре совершенно песчаный же остров, с зеленью на том краю, который обращен по направлению к ближней станице. Вид на полукруглый берег издали если не особенно красив, то, во всяком случае, неожиданный и оригинальный. Берег очень крут и обрывист: подниматься на него прямо с реки нет никакой возможности, надо обходить далеко, даже очень далеко. Амур в этом месте под берегом, по словам гребцов, чрезвычайно глубок. Глубок он и вообще на всем протяжении, подле всех крутых и обрывистых берегов своих, сколько можно судить об этом по постоянно вертящимся и крутым кругам. Темнота воды также поразительна.

Впереди еще три станицы печального вида. Две из них выстроены недавно; одна принадлежит к первым заселениям. В *Аносовой* (*Унмийской*) — девять домов, одиннадцать семей, черноземная земля, место хорошее и благодарное. Раскапывая землю, находили ее и здесь разрыхленную для пашен; костей всяких нашли довольно, черепа откапывали, втулку от телеги нашли. В нынешнем году в станице пало много лошадей (от частых зимних разгонов, и много пало рогатого скота); от глубоких снегов совсем почти не было сена. Станица отодвинута от Амура на полверсты, но зато стоит на сухом месте: сильно разливающийся в этом месте Амур, во всяком случае, до селения никогда не доходит. Под теми же условиями населено и *Кольцово* (два дома, пять семей). Нужды здесь не имеют, получая пока еще казенный провиант (живут на новом месте только год), но спешат засеяться, чтобы иметь запасы на будущее время, когда сойдут с казенного содержания (по истечении двухгодичного срока). Ни в лесу, ни в реке осмотреться еще не успели. К осени прошлого года, вскоре по приходе на место, сильно прихварывали. Здесь не только телята, но и ягнята рождаются с зобами, с желваками; по совету соседей припаривают опивками от кирпичного чаю — «Помогает: желваки мало-мало пропадают». Станица *Ушакова* (4 дома, 5 семей) только строится: двое живут еще в землянке, хотя со времени прибытия их сюда прошел уже год. Жилье вырыто в берегу реки и кое-где схвачено тонкими бревнами и без крыши. Без крыши же стоят и две других избы: одна вновь построенная, другая временная, прошлогодняя, которая, конечно, скоро превратится в баню; в ней не столько тепло, сколько душно. Нужды не чувствуют, потому что живут еще на казенном довольствии (успели, однако, развести огородец и пашут поле); но все болеют; понятно, что сколько же и новой климат, столько, наконец, и сырое помещение в землянках невозделанной первобытной земли — порождают лихорадки. Больных много. Место, однако ж, привольное и сухое: равнина про-

шла на далекое пространство; хороши покосы, хороша и пастьба для скота: «Зимой замотались от гоньбы лошади — и пали».

По предписаниям областного начальства видно, что прошлым летом слышались жалобы казаков на сплавщиков, шедших с паромами: сплавщики-солдатики, растерявши или даже и истребивши в пищу казенный скот, угоняли казачий и воровали по избам лопать. Посоветовали остерегаться и смотреть за собственностью. По другому из таковых предписаний видно, что по Амуру гуляла фальшивая бумажка в 25 руб., но аляповатой, топорной работы. По третьему видно, что солдаты бегали с плотов; «выпросится на берег скот пасти — и удерет». Казаки приносили жалобу также и на то, что поселенческий скот травил их траву и даже готовое сено.

Амур на всем этом протяжении (в 75 верст) между тремя упомянутыми станциями становится замечательно широким. Особенно широк он верстах в семи от станции Кольдевой, где левый берег тянется обширною безлесною низменностию, вид на которую не лишен оригинальности. На китайском берегу (все еще гористом) виднелась высокая обрывистая скала. При взгляде на нее видится легкая возможность существования батареи, которая обстреливает реку на значительных пространствах, господствует над низменным русским берегом и может не пропускать в Амур никого — ни сверху плывущих, ни снизу. Дальнейший китайский берег далеко не высок в такой степени и хотя еще горист, но не дает скал. За станицей Ушаковой оба берега низменны и песчаны. Иногда эти площади усыпаны мелкими камнями; по реке плавают зеленые острова. Берега, однако, не выдерживают своей характеристики: и горы, все время уходившие вдаль, перед станицей Кумарской вышли на реку и оступились в воду крутым утесом с небольшим навесом у вершины. На утесе русского берега крест поставлен: говорят, так — для приметы. Растительность на горах становится заметно

реже и леса почти пропадают: несколько держатся они только в ложбинах, в падах между гор. По-видимому, мы начинаем близиться к степным местам. За дальними островами сверкают протоки и наконец река Кумара, вышедшая из китайского берега, по которой расселены мангры и живут маньчжуры. На низменности подле реки видны распаханная поля, торчит шалаш — говорят, маньчжурская сторожка: видно-де тут у них хлеб посеян. Заметна жизнь; заметно движение ее теперь и на правом берегу, до сих пор мертвенно-пустынным в первобытной тишине и безлюдье. На русском берегу, песчаном в воде, зеленом во внутренности, бродят коровы; видны лошади. Видна наконец и станица *Кумарская*.

Это одна из самых больших и людных станиц по числу душ и домов (домов 28, семей около 40). Вид ее и с берегу обещает многолюдство и кажет селение. Вытянутая в одну линию, и на этот раз неправильную, она с двумя амбарами на низу, с двумя улицами, с огородами, не примкнутыми к домам, а разбросанными кое-где и кое-как без стремления к симметрии военных старорусских поселений — кажется решительным селением, не похожим на все прежние станицы (исключая, может быть, одного только Албазина). Чистенький и опрятный с виду домик сотенного командира с палисадником впереди, вновь строящаяся церковь, новая, выстроенная позади селения ветряная мельница скоро сделают из станицы решительно село, которое будет напоминать сколько великорусские, столько же и сибирские села. К церкви пристраивается слободка в пять домов. Только они, можно сказать, одни напоминают еще недавность заселения и некоторую скороспелость. Этот вид новых домиков, в большей части случаев чрезвычайно похожих один на другой, эти свежие загороди огородов, пни, которые торчат по всем дворам и на улицах, в иной чувствительной душе могут еще, пожалуй, произвести некоторого рода восторг, довольство. Что до меня, то мне уже все это, во-первых, надоело, а во-вторых и последних — эта чистота внешняя теперь начинает пу-

гать. Не декорация ли это, наскоро и ярко написанная, издали обманчивая декорация, которая скрывает за собою много сору, много неприбранного, беспорядочного хлама? Артисты еще полунагие, принарядиться и подмазаться еще не успели, ролей не затвердили и к выходу еще не готовы. К тому же, судя по степени их талантов, не обещают они не только хорошего, но даже и порядочного спектакля. Пускался я и в другие расспросы, надеясь как-нибудь удержать за собою приятность первого впечатления, и — не имел успеха.

— Многие очень нуждаются, особенно те, которые живут здесь третий год и четвертый, хотя при батальонах и сотнях старались селить богатых казаков. Земли вспахать еще не успели: трудна очень, жестка. Семян для посевов не припасли. На родине (одни с Онона, другие с Аргуни) не в пример было лучше: там и земля-то как будто ладнее. За что ни ухватись — все здесь купи, за все отдай деньги. А купцы привозят товар — что ни на есть гниль: наденешь два раза и сбрасывай. Деньги за все берет нестерпимые. Вот кирпичный чай, по два рубля серебром за кирпич покупали. А нам без него как без рук: и привыкли, и сытной он. Лёньюской (прошедший) год у маньчжур еще кое-чем заимствовались, ноне и они не стали ходить.

— Давно ли же они к вам не ходят?

— А не видать их с той самой поры, как река встала. Рассердились, что ли, на то, что ихние бекеты противу нашего берега сожгли, или за то, что им не велели на нашем берегу лес рубить — Господь их ведает! И те нас, горемычных, покинули. Никого теперь и не осталось за нами.

— Какую же пользу приносили вам маньчжуры?

— Муку продавали, *буду* (пшено) привозили. Купишь буды куль: кашу и ешь всласть и впрохолодь.

— На что же вы у них все это покупали?

— А все брали. Старый, чуть годящийся полушубок, платок рваной; всякую негодную лопатинку брали и — не обижали. А вот им пятаки медные, старинные: так

уж это самое лучшее. Это уж их великая радость: дивно любят пятаки. Бумажки-то вот, однако, не берут же, стало, не понимают их силы, какая в них такая она заключается.

— Как же вы с ними объяснялись?

— Да ладили кое-как. Чего на перстах, чего как... смекали же, а то и слова ихние стали доめкать; свои им тоже втолковывали. Ничего: шло дело! А вот теперь и их нету...

Чувствуя, что разговор наш опять впадает в плаксивой тон, я перебил:

— Ну а манегры что и как?

— Да и манегры ушли: увели их. Манегры ведь те сами народ бедный; от этих нечем поживиться. Народ этот такой, что ему самому как бы сыту быть, а уж другим уделить нечего. Жили они где день, где ночь; сегодня на одном месте, наутро ищи их на другом. Дикий тоже народ.

Паромы с гарнизонными солдатами, севшие в прошлом году на мель, оставили в Кумарской станице несколько молодцов, назначенных к поселению на Уссури. Разговорился я с ними.

— Да что, ваше благородье! — говорил один. — Житье здесь самое ненатуральное, потому как очень казачи здешные во всяком провианте сами нуждаются очень, и таперича без всякой причины их мало того что нарядами обязывают, еще к ним сынков из наших гарнизонных ставят. Иному самому кормиться нечем, а тут другого еще корми.

Вот-таки договорился, как ни сильно ткал свою российскую, казарменно-писарскую речь, желая уснастить ее красноглаголением и долго не попадая в *настоящую точку*.

— Только вот, кажись, в одну полночь, когда уж крепким сном забудешься, — о родине-то своей не вспоминаешь, а то она, родная, все на уме: дом-то наш, суседи... и все (слезы).

— Ты откуда родом-то?

— Из Расеи; из Саратовской губернии (жена одного из гарнизонных солдатиков).

— Овцы плохо ведутся: слепнут (телята рождаются здесь уже без зубов).

— Не вредит ли им гад какой? Хороша ли пища; нет ли болот поблизости и там трав вредных?

— Трава-то, пожалуй, и хорошая, а коли и есть болота, так небольшие, да и те больше в озерки втягиваются. Травы тоже вредной не замечали, а и гад не вредит: нету такого.

— В прежних станицах на змей указывали.

— Есть они и у нас, да вреда никакого не делают. Летось парнишко мой сидел на дворе около пня, посмотрю: одна калачом так и легла круг него, а не ужалила. Большая была, пестрая. На первых-то порах, как выселились сюда, много их было. Теперь стало не в пример меньше. Стало, они боятся человека, стало, дальше в лес уходят, в хребты, в пади.

Из последующих расспросов оказалось, что крест, виденный нами на скале русского берега, поставлен по приказанию начальства и молебствие-де при этом было; а никакой тут могилки нету.

Казак обкапывает древесный пень среди улицы. Я спросил:

— Тяжелая, поди, работа-то: долго провозишься?

— А вот обкопаю кругом, корни стану топором перерубать и выворочу: часа на два будет работы. Надо же вырубать!

И здесь, в станице Кумарской, зимние подводы измотали лошадей, из которых также многие пали.

Позади селения места много, и места привольные, хотя берег наш и низменный, по обыкновению. Против него за рекой высоко поднимается скалистый, крутой маньчжурский.

Шесть человек гарнизонных солдат, помещенных в Кумари в сынки, по словам старшого, люди хорошие; другие есть со всячиной.

— С какой же всячиной? — спрашивал я.

— Ленивы работать.

— Грубы, непослушны?

— Ну, этого нет, потому как подле боку начальство.

Вообще старшой здешней станицы неразговорчив, но расторопен: скоро по требованию нарядил мне гребцов; поехали. Дорогою я разговорился с рулевым (казак, поселенец с Аргуни).

— Как поживаешь, привыкаешь ли?

— Плохо. Провианту мало.

— Как же перебиваешься?

— А у маньчжур покупаем будущу: тем и питаюсь.

— Да ведь они ушли от вас?

— Зимой были; да вот гляди — скоро опять придут. Становятся на устье Кумары шалашами. Мы ездим туда, и они к нам в станицу ездят.

— Что же они тут на устье делают?

— А ничего: стоят да наблюдают, чтобы наши на их берегу земли не пахали. Сено косить не воспрещают, однако.

— Рыбу-то ты ловишь?

— Семейстые которые казаки — те ловят, а одинокому — нельзя. Поставишь ловушку-то, а там тебя на службу угонят. Два дня проходишь: вода и несет твою ловушку. Вот и в лесах одни только богатые промышляют коз...

— А белок?

— Нет же у нас белки-то, не водятся как-то. Вон и маньчжуры приходят с Кумары и приносят белку, да мало, да и белка нехорошая такая.

— Много мы, ваше превосходительство, скота дорогой порастеряли, у меня у одного шесть голов пало. Надо быть, от дороги все это: сходили в воду — ноги застудили, опять же все на воде да в воде и все больше без пищи, без гулянки опять; а путь дальней: как тут не падать скотинке?

— Сколько же теперь у тебя осталось?

— Да две лошади: зимой изморились — к весне опять в тело вошли. Землю-то уж волами зацали па-

хоть. Овецка одна есть — а купить другую: так вот у нас овца-то рубль стоит.

Аргунец — по обыкновению — шепелает и цокает. По этому признаку казаков с Аргуни весьма легко отличить от поселенцов с Шилки.

За пять верст до ст. Казакевича левый, русский берег скалист, и скалы эти, как будто разрезанные пополам, картинно глядятся и оступаются в воду, на этот раз затянутые еще сверх того красноватым отблеском заходящего солнца. Китайский берег — лесистая низменность, вдобавок еще песчанистого свойства. Одна часть берегового Русского хребта, постепенно понижаясь, оканчивается сопкой правильной конической формы; в вершине ее, прихотливо забравшись, выросло капризное деревцо, одно-одинешенько. Образовалась падь; из пади, по обыкновению, выбежала речка (небольшая). Из речки опять поднимается скала, начинающая новый хребет, который также в свою очередь (на расстоянии  $1\frac{1}{2}$  версты), постепенно и в полуторах верстах от станицы Казакевича, выдвигает из себя выпуклую скалу.

— На скале этой, — рассказывает рулевой, — у маньчжур моленная была. Приносили они тут жертвы камням, и позади была настоящая моленная. Ее велели сжечь и эту сжечь. Маньчжуры прошлой зимой опять приходили и зачали строить новую кумирню. От нас, из Кумары, назначены были 20 человек — разломали: строиться не пустили. Кумирню-то они начали ладить дощатую: легко было ломать.

— Сердились маньчжуры-то?

— Отступились, бросили строить. Ладят, сказывают, на нынешней год строить новую, супротив старой.

Этот пункт — выдававшаяся скала — важен потому, что по пади вправо от него, тропинкой, до изгиба Амура всего только версты  $1\frac{1}{2}$ —2. Вот почему и там и здесь решились буддисты-маньчжуры освятить пункты священными зданиями. От этой-то выдающейся скалы, из той же пади, где идет тропинка в станицу

Карсакову, сейчас же поднимается утес, образующий сплошной кряж на всем протяжении до станицы Казакевича. Угрюмо глядит он высокими темными скалами, высота которых замечательна и по сравнению со всеми прежними. Словно громадный камень, сплошной и твердый, залег тут. Об этот-то камень как будто и надломился Амур, соблазнившись низменностью противоположного, маньчжурского берега. Река делает луку, крутой поворот к западу, встречая дальше скалы и на маньчжурском берегу, и, словно сдавленная ими, берет направление к юго-востоку, и потом снова течет к северу, как будто завязывает узел, и обоими своими концами не сходится только в расстоянии 3—4 верст. Форма извива Амура в этом месте несколько похожа на подобный же тому в Волге, под Самарой, где, по словам песни, любили «разбойнички шалить».

Извив Амура сумел так выгнуться коленом, что вместо трех верст расстояния между станицами дает нам обход в 28 верст. Скала, на которой совершается этот перелом реки, быстро сбегает в низменность, на мысу которой и стоит станица Казакевича.

— На этом месте, — продолжает рулевой все об той же пади с тропинкой, прямиком в станице Карсакова, — да и там, под Карсаковой, маньчжуры жили еще в прошлом году. Теперь их прогнали: не живут больше. Место это что-то они очень любили.

— Ну будет, казак, спасибо и на том! А какая это птица кричит?

— А не знаю, как назвать: не применились еще, не приладили прозвания никакого.

— Островам имен тоже не дали?

— Не дали еще. Может, после как приладят.

Однако я слышал уже, что одну высокую скалу, вышедшую на Амуре выше станицы Амосовой, казаки успели уже прозвать Масляной. Мало-помалу таким образом и все окрестят.

Обе станицы (Казакевича и Карсакова) отправляют гоньбу по очереди (понеделно) сообщая. В Казакевиче-

вой 8 дворов; огороды раскопали, рожь взошла хорошо, ярица тоже. Разговорился я в ней с казаками.

— Как вы думаете: отчего Амур-от изогнулся?

— Не можем знать отчего.

— И не думали вы об этом, не толковали?

— Не думали. Господь его ведает, чего он этак-то...

— Земля-то плотная, когда вы ее распахивали?

— Хорошая земля, плотная.

— До камней внизу пе дорывались?

— Не дорывались.

— А ничего там не находили?

— Черепки от горшков словно попадались, когда вот погребя себе рыли.

— А не замечали, что земля была разрыхлена и тут было селение прежде, когда-то?

— Нету, не замечали. А три дома маньчжурских у Карсаковой были.

— Да ведь вы их сожгли вместе с кумирней?

— Сожгли.

— Сердились маньчжуры-то?

— Сердились точно, а не грозились, однако: так и ушли.

По мере того как мы плыли дальше, плыли вторые сутки, береговые горы начинали принимать печальный вид: утлые деревья рассажены кое-где, вредкую, по вершинам и в ничтожном количестве; выплывающие навстречу острова покрыты низкими и негустыми кустарниками. Левый берег настойчиво удерживает за собою характер низменного, равнинного; правый только в падах гор зеленеет как будто лесом. На низменностях русского берега разбросаны кустарники (и, стало быть, лес также дровяной, а не строевой). В станицах к прежним и общим жалобам присоединяются новые:

— Место у нас привольное, сухое, одним вот только и тяготимся: лесу очень мало, строиться не из чего. Рубили уж вот на том берегу; там еще задался кое-какой, а живем вона в землянках еще, что кроты какие-нибудь.

Вот что говорили мне в ст. *Буссе*. В *Бибиковой* видел я готовые дома, но все они глядят заметно почернее, и станица не имеет свежести первых. Поселенцы (с *Онона*) плыли сюда на плотях; бревна из этих плотов и были употреблены ими на постройку домов (которых в станице десять). Свежи еще, впрочем, глубокие ямы на берегу — места недавних землянок. Дворы и хлевы успели уже обнести плетнем.

— Ивняку-то много же по берегам! — заметил мне казак из гарнизонных солдат, с год уже поселенный здесь.

— Лесу-то у вас мало: не видно нигде!

— У нас еще что! У нас хоть дровяной есть — версты за две растет. А вон в *Благовещенске* за двенадцать верст за дровами-то ездят. Сажень до 3 руб. сер. дошла там. На улице каждую щепочку приберут да припрячут.

Вижу несколько полениц по берегу *Амура*: дрова, вероятно, заготовлены для частного парохода. Спрашиваю:

— Почем они вам за сажень-то платят?

— По два рубля серебром.

В доказательство близости степных мест казаки приводили мне необыкновенное присутствие на всех этих прибрежьях и островах паута (т. е. комаров, мушек и слепней): «От них-де и на воде никакого спасения, и скотину сильно обижают; часов пять побродит она в поле, да и бежит домой: сил ее не хватает. Мошка какая-то жгучая; слепни тучами носятся. Легче бывает, когда дождичок вспрыснет либо сильной ветер завяжется: мошка и всякий паут тогда улетает, по своим местам прячется».

В станице *Екатерининской* (по-казацки — *Катериновке*) живут по большей части в землянках. Некоторые также успели построить дома из бревен, приплавленных в плотях с дальних мест родины, но дома эти обнаружили всю свою невыгоду: всю зиму сильно промерзали, не успевши сесть и просохнуть, и дава-

ли сильную капель со стен и потолка, против которой нельзя было предпринимать никаких решительно мер.

— Вытрешь когда, глядишь, — и опять закапало. Опять же шибко угарны были: головушек не подымывали. Лихорадка крепко била, да вот не отстаёт и теперь. Ждем своих сверху не дождемся: место здесь просторное, да все и веселей кабысь будет с ними, да и по нарядам казенным легче. Опречь лихорадки-то — тоска одолела. Выйдешь на берег-от да чуть не всплачешь: вода да горы — и все тебе тут. Зимой вот что выездишь, что заработаешь денег, то и отдашь маньчжурам за припасы.

По берегу валяются выдернутые пни толстых деревьев. Такие же точно деревья (и даже березовые) гнили на берегу ст. Бибикова. По всему вероятно, здесь некогда существовал густой лес, который и вырублен маньчжурами. По множеству поленниц, стоящих на правом берегу, думаю, безошибочно можно заключить о том, что маньчжуры в здешних местах заготавливают лес и дрова: может даже быть и для Айгуна.

Разговорился я с одним казаком. Казак этот рассказывал, что пестрые-де крысы беспокоят, а есть-де и маленькие мыши, красненькие; соболям и слыху нет; белкам также.

— Нет ни осины, ни лиственницы, оттого и не вод им. Волк один заходил зимой, заходил на двор: овцу зарезал. Лисицы есть: одна объелась (окормили), другую затоптали лошадьми.

— Как так?

— А возвращались домой с подводы — увидали. Стали на лошади гоняться — замучили, загоняли. Видели раз и чернобурую лисицу, да не доспели.

— А рыбы много было?

— Лонским годом много было: не приедали (в Бибиковой рассказывали, что-де не только сами объедались, но и продавали чуть не возами). Как поселились, то и заезды сделали и — невесть сколько попадалось. Ноне

весна-то, что ли, запоздала: совсем стало рыбы мало. Оттого поди нонешной год все словно не так кабы починается. Уж Христос ведает отчего!..

На правом берегу огоньки засветились.

— Что это такое?

— А манегры: рыбу, надо быть, ловят. Всегда они в это время выходят сюда.

— Куда ж и зачем уходят отсюда?

— А Господь их ведает: этого мы не знаем.

Еще до Екатерининской станицы Амур величественно-смело начал разливаться в неоглядную даль, особенно когда перестали теснить его последние скалы маньчжурского берега. Амур становится замечательно красивым: во множестве плавают на нем наполовину зеленые, наполовину песчаные острова. Оба берега становятся низменными. Навстречу выплывает один остров; два остались назади и, поместившись среди реки, становятся один за другой, выравниваются, как лебеди на полете к небу, в дружной и большой стае. Выравниваются острова как будто для того, чтобы пропустить вперед себя другого вожака передового, более их красивого, более их зеленого. А там, за этим самым передним островом, и голубое небо слилось с водой. Приятно и отрадно дать теперь возможность отдохнуть глазам на вольном просторе прибрежных равнин. Надоели уже, сильно надоели эти горы, эти скалы, которые вот уже двенадцать суток утомляют наше зрение, около тысячи верст теснят течение Амура.

За Екатерининской станицей Амур прямо-таки пошел по равнине. Горы ушли от него в заметную даль. Островов показалось гораздо большее количество, чаще стали вливаться в Амур реки. Вот две, так называемые *Грязные*, впали. Скоро выйдет большая — Зея-река.

— И все вот так идет она до самого Благовещенска, — объясняет рулевой. — Проток очень много и косы есть: одна под самым городом, большая очень. Зея, надо быть, наметала.

В воде плескаются и выпархивают потом на берег воробьи особой породы, так называемые *водяные*, несколько побольше полевых, но с длинными, род утиных, носами. Гуси огромными стаями и очень часто летают над нашими головами и гогочут, лебеди показались. Наступила ночь, выплыла луна: река сделалась еще красивее; берегов почти не видать стало...

На другой день ранним утром я был уже в Благовещенске.

## 2. ОТ БЛАГОВЕЩЕНСКА ДО ХАБАРОВКИ

Не много надо уменья и красок, чтобы описать внешней вид нового амурского города Благовещенска. Достаточно, если читатель представит себе длинный ряд новых домов (числом 16), вытянутых в прямую линию по прибрежной равнине реки Амура на двухверстном пространстве. Мне прибавить к этому остается не много: все эти дома деревянные, недавней постройки, все с красными крышами, все однообразного фасада. Два из этих домов (крайний и средний) с балконами вышли на самый берег реки; все остальные отошли на заметное расстояние внутрь, образуя впереди себя длинную площадь, на этот раз пыльную и пустынную. Дома эти, не стянутые заборами, кое-где и изредка обставленные кое-какими службами, придают новому месту вид чего-то унылого и тоскливого. Пустыри, залегшие кругом строений, отсутствие малейшего, ничтожного деревца, долгая и бесприветная степь справа, слева и позади строений — все это, взятое вместе, не располагает нового пришельца в пользу нового города. Можно надеяться на его будущее, но нельзя похвалить настоящего: Благовещенск пока только казарма, наскоро построенная, холодная, со сквозным ветром, с капелью с потолков и крыш. Ладил ее линейный солдатик, у которого в первый раз в жизни очутился в руках топор ненадежной работы казенного Петровского завода.

Дело солдатику этому дано на урок и наспех, оттого он и углы плохо приладил, он и пазы кое-как загрузтовал; кое-где моху положил, кое-где заткнул просто ветошь, т. е. старую прошлогоднюю траву; солдат-плотник кое-где и так обошелся. Пусть себе сквозит и дует: от холоду можно и в полушубках согреться, а чиновники могут и в шубах праздничные визиты делать. Оттого-то, говорят, в целом городе в прошлую зиму было всего три или четыре теплых комнаты; оттого-то слова «жителейский комфорт, удобства» здесь пока еще анахронизм и оттого-то, наконец, Благовещенск — город только еще в будущем и никак не в настоящем. Правда, однако, то, что делается в нем много, но сделано мало; пустыри стараются застроить, облюдовать: между казармами заложен огромный дом для губернатора и небольшой частный; сзади казарм видится несколько срубов, маленькая церковь, сделанная недавно и наскоро из часовни; на двух противоположных краях казарменной линии, в двухверстном расстоянии один от другого, расположены два замкнутых заборами отдельных квартала: один принадлежит Амурской компании, другой — артиллерийской батарее. Оба они представляют вид некоторой законченности и постройки не на живую, а на прочную и крепкую нитку. От Амурского квартала вышли вперед, на самой берег, два сарая-пакгауза, около которых предположено расселить торгующее купечество с их домами и лавками по направлению вниз реки, к устью Зеи. Между пакгаузами выстроится дом, долженствующий служить украшением города; перед ними соорудится пристань для частных и компанейских пароходов. В свою очередь, на противоположном краю города, против так называемого артиллерийского квартала, на берег Амура вышли два сарая, но уже на этот раз казенные, для хлебных и других складов; позади предполагается строить новый квартал с госпитальными зданиями. Тут же, в этом краю Благовещенска, уцелели два-три обмазанных глиной барака, в которых жили

первые прибывшие сюда переселенцы. Вблизи этих первоначальных городских строений, на самом берегу реки, крутом и обрывистом, прилепились землянки — эти стрижовые норы, людские гнезда, — составляющие большинство городских зданий. Такой же ряд землянок, плотно прилаженных одна к другой, выстроился и на дальнем, противоположном конце города, против компанейского квартала, в количестве свыше десятка.

Таков общий план нового амурского города. Прибавлять к описанию его остается не много. Часть казарм занята гражданскими и военными чиновниками по количеству далеко еще не заполненного штата по положению об новом сибирском областном городе Амурской области. В четырех казармах размещен линейной баталион, на обязанности которого давно уже легла и лежит до сих пор вся постройка городских строений: вольных плотников в Благовещенске нет, да и взять их негде. Вольные поселенцы из охотников и выслуживших казенный срок ссыльных все разместились по берегу в землянках. Несколько (меньше десятка) частных домов застроились позади казарм по сторонам церкви и церковной площади.

Наружный характер города не представляет также многих особенностей. Преобладающее население — военное; редко попадается борода и проходит какой-нибудь мастеровой, мужик из поселенцев; еще реже — чиновник. Солдаты на площади пилят бревна; солдаты на домах и в домах рубят те же бревна. Со всех сторон слышится лязг и стук топора, визг пилы, во многих местах затянули «Дубинушку» — тащат бревно из речных плотов на берег, тащат его на вновь строящееся здание; солдаты везде, солдаты кругом, куда ни обернешься. Если прибавить ко всему этому ряд казарм, высокие окна которых с рамами, как будто снятыми на время с парников, уныло глядят на берег, и десяток чугунных пушек на той же площади, которые тоже зачем-то глядят на реку, — то картина города едва ли не будет полная и законченная, по крайней мере в том

виде, в каком она казалась мне в течение трех дней мая месяца. Вся эта картина нова и, пожалуй, недурна; все это, пожалуй, и похоже на начаток города; все это живет и, пожалуй, радуется, особенно после утомительного однообразия верховых станиц.

Берега Амура ниже Благовещенска становятся разнообразнее и оживленнее. Местность все еще упорно продолжает сохранять свой низменный, безлесный, степной характер, особенно по правому, русскому берегу. Этот берег заметно песчанее, именно с того места, где река Зея вливает свое широкое русло, вдвое большее русла Амура. Растительность все еще ничтожна и едва приметна: это не иное что, как чахлые и невысокие кустарники. Таков по преимуществу левый берег. Правый берег замечательно оживлен, особенно по мере приближения к маньчжурскому городу Айгуну, на 35-верстном расстоянии между ним и Благовещенском. Еще против этого последнего города разбросалась маньчжурская деревушка Сахалин-Ула, и затем весь правый берег вплотную почти усыпан деревнями (на левом берегу деревни эти попадают заметно реже). Вид на них относительно очень обыкновенный, но после верхового безлюдья он производит живительное, успокаивающее впечатление. К этому надо прибавить еще то важное обстоятельство, что все эти маньчжурские деревни тонут в рощах, на этот раз покрытых уже густой свежей зеленью. Насколько гол и без деревьев новый русский город, настолько богаты зеленью деревни маньчжур. Этому обстоятельству они обязаны — как говорят — тому религиозному чувству, которое повелевает им осенять тенью деревьев высокочтимые ими могилы отцов и дедов. Деревья кладбищенские становятся с того времени неприкосновенною святынею: кто их срубит, тот лишается головы. Наши, напротив, стараются все срубать: и голая равнина вследствие того тянется печально от Благовещенска и до дальних станиц. Зато почти сплошная зелень подошла и к самому городу Айгуну. Те же деревни и те же рощи тянутся

еще и за Айгуном по правому берегу на пространстве больше чем ста верст. Станицы казачьи по-прежнему размещены в 30- и 40-верстном расстоянии одна от другой, но, во всяком случае, выстроились и поселились под благоприятными условиями. Амур обложился пространными площадями-равнинами; горы изредка выходят на реку, но малыми отрогами и по преимуществу на правом берегу. Отсутствие леса крайне заметно на всех этих пространствах: острова, правда, выкрыты все до единого кое-какою зеленью и кустарниками, а дальние горы отдают чернетью еще невырубленных лесов — все-таки станицы строились из приплавленно-го сверху лесу, иногда шилкинского, нередко ононского. Таковы условия, соблюденные при постройке станицы Низменной, где береговые кустарники заслоняют строения от реки, и в ст. Константиновской, удаленной от реки на  $1\frac{1}{2}$  версты по той причине, что берег ее песчаный, низменный и подмывается водой (нынешней весной отвалила вода большой кусок, сажени на четыре в ширину). К счастью, Амур тут очень глубок и место это не скоро может засориться: болотистая у берега равнина эта идет к станице суходольем. Местные обстоятельства станице благоприятствуют. Вот что по этому поводу рассказывал мне старшой:

— Противу нашей станицы есть остров — *виноградным* мы его прозвали.

— За что же так?

— Виноград на нем растет.

— Да негодной, поди, кислой?

— Кислой-прекислой, а есть можно: успевае́т же дозревать. Так вот за этим островом *Старой* Амур прошел — преширокая такая протока! Она мелкая, во многих местах промерзает до дна: рыба-то вся и идет к нам, в нашу протоку. Вылавливаем ее столь много, что успевали в прошлом году продавать в чужие люди, на сторону.

— Хорошо ли вы живете: не хвораете ли?

— Хворостью Бог миловал, а жили попервоначалу со всячиной. Без маньчжуров было бы плохо.

— Дружно вы живете с ними, не бранитесь, не деретесь?

— Зачем драться? Мы от них сами ничего худого не видим; друг дружке помогаем тоже, потому что все заедино. Они нам хлеба, а мы им что нам самим не надо отдаем. Очень они наши овчины полюбили: пять кулей крупы давали в прошлом году за плохенькой, крепко поношенной полушубок. Лопотное (носильное) всякое тоже берут, и оно у них в большой силе. С ними ладить можно, как они еще не свычны, не понятливы на наше добро.

— Не привесились.

— Точно так! Настоящее это слово. Сами мы промышляем лисиц, да докудова еще очень мало.

Эта Константиновская станица одна из больших по всему Амуру: говорят, поселена целая казачья сотня. Следующие станицы: Сычовская, Пояркова и Куприянова прожили тоже под благодетельным пособием маньчжур, которые весьма охотно (несмотря на запрещение начальства) продавали казакам муку и буду (крупу). Казаки успели уже поосвоиться, пообсеяться. Леса за ст. Поярковой становятся заметно гуще и чаще, и на левом берегу, по мере удаления от маньчжурских деревень, преобладающие в нем сорта деревьев — черная береза, на этот раз одетая густой-прегустой зеленью. В станице Куприяновой рассказывали про следующее замечательное событие. Вблизи ее существовали долгое время две деревни ороchon. Деревни эти сожжены в прошлом году по приказанию маньчжурского нойона (чиновника), приезжавшего из самого города Цицикара. Причину этого приказания казаки объясняют следующим образом: ороchonы эти платили маньчжурам ясак соболями; по прибытии русских лучших соболей они стали продавать новым пришельцам; худшие соболи поступали в ясак. Это было замечено в Цицикаре. Замечено было также и то, что ороchonы стали сближаться с

русскими и показывают им больше расположения, чем своим прежним владельцам. Для исследования подробностей на месте прислан был полномочный чиновник, который, найдя, что орочны близки уже к тому, чтобы перейти на русскую сторону, решил деревни орочонские сжечь дотла в чаянии, что народ этот, оставшись без жилищ, пойдет внутрь страны. Но чиновник в расчетах ошибся. Орочны жмутся к старому пепелищу и до сих пор от него не отходят.

— Если нас и за сто верст отвезут отсюда — говорят они нашим казакам — мы опять придем к вам. Жаль, что нойон не попался нам с глазу наглаз — мы бы его непременно убили.

— Сидят вот теперь на пожарищах-то своих да горько воют: жалость даже берет! — рассказывали мне казаки куприяновские.

— Что же вы: торговали с ними, покупали у них что-нибудь?

— Рыбу покупали, зверей покупали. Больше ведь у них ничего не купишь: земли ведь они не пашут.

— А бродячую жизнь-то ведут?

— Нет: в домах живут. Да, знать, уж такие несвычайные. А плут же народ: туги очень, а мы их ласкали, приманивали. Очень уж они нас за то и полюбили.

Казаки здешние как будто развязнее, смелее, разговорчивее; нет натянутости в движениях, опасливости в разговорах и ответах; одеты довольно чисто и опрятно: оборванцев почти не видать вовсе. В добрый час! Станицы — вероятно, по причине ближайшего соседства с маньчжурами — сгруппированы чаще и населены гуще. На дальнейших 56 верстах, залегших между старыми станицами, Куприяновой и Скобельцына, начали строить новую — Никольскую (готовы только три двора). Место для нее выбрано довольно удачно; вся она тонет в густой зелени черной березы. Подле выбежала речонка, вся затянута в густую зелень листвы. Дома отстроены: землянок не видать уже. Прибрежья песчаны, но не обрывисты, а потому и станичные избы

подошли почти к самому Амуру. Гор на берегу нет и в помине: словно всех их вытянуло на дальнюю тундру северной Сибири и там распластало и разбило на мелкие холмы и болотные кочки. Правый берег продолжает по-прежнему быть густо-зеленым; горы невысоки, но зато чрезвычайно отлоги; кое-где видятся отдельные холмы; один из таких плотно усажен дубками и черной березой, а по *подушкам* (маленьким пригоркам) рассыпалась ель. По всем этим местам и по низменностям наши казаки во многих местах видали ямы; были ли то жилища или укрепления, за которыми прятались, — распознать теперь трудно. На реке стояла юрта ороchon, но ее также сожгли маньчжуры.

Равнина левого берега выпустила из себя реку Бурею — один из главных и больших притоков Амура; устье ее замечательно: широко и едва ли меньше устья благовещенской Зеи. Про Бурею рассказывают казаки, что она — река лесная, что на нее ходят ороchonы на промысла (*зверуют* там), но что остаются ли там на житье — неизвестно. Вообще казаки наши, за кратким временем пребывания своего на новых местах и за крайним недосугом, осмотреться кругом себя еще далеко не успели; но знают наверное, что от Айгуна и маньчжурских деревень напрямик на Бурею давно уже проложена большая, трактовая дорога. Знают также, что по пространным равнинам левого берега разбросано множество рыбных озер и что по реке Бурее живет особое ороchonское племя, называющее себя бирарами. Некоторые представители этого племени выходят иногда на амурские прибрежья с хорошими соболями для промена их на буду и одежду.

Между тем лодка моя подвигалась дальше, и Амур дарил нас таким вечером, роскошно теплым, весенним, о котором мне давно уже не мечталось. Особенно хорош был тогда Амур при лучах заходящего солнца. И вот что на этот раз привелось мне записать в дневнике:

«Неистовый визг, писк, сливающийся во что-то необычайно шипящее, несется к нам с соседнего острова

направо. На острове болото; в болоте мириады лягушек, у которых, по словам рулевого, теперь вроде как бы *гонбища*. Вот уже оплываем вторую версту, а шум этот все еще необычен. Как будто пилят во множество пил, как будто громадный самовар шипит и хлещет по краям... На Амуре необыкновенно тихо и торжественно. Острова продолжают выплывать впереди и позади: и все зеленые, и все такие красивые, даже и в сумерки. Но скоро выплывает луна и острова будут еще лучше.

— Отчего (слышу спрашивает мой спутник А. Е. Б. казака-рулевого), отчего — как я заметил — многие из казаков неохотно идут в греблю?

— А оттого, что тут есть обида. В греблю идет и тот, у которого лошадь есть: он за эту лошадь и получает, а идет и такой, пешой...

— Какой пешой?

— А такой, у которого лошади нет: пала. Это очень обидно, потому что он ведь не за себя, а за лошадь в гребле получает; а я ему по человечеству и землю вспаши, да и ступай с ним и одинаковое получай. Вот отчего идут неохотно!

— Нам хотелось, чтобы начальство гоньбу на подряд отдало: и охотники находились. Начальство не согласилось, однако» — сказал казак и — соврал.

Вспоминается мне при этом совершенно противоречащий рассказ одного из начальствующих лиц Амурской области. Лицо в одной из станиц хотело припугнуть казаков ради желания узнать их мнение.

— Слышал я, — говорило это лицо, — слышал я, что вам тяжело, братцы, казенные подводы гонять!

— Очень тяжело.

— Так я думаю на казенный счет принять это.

— Нет уж, помилосердуйте: дайте нам — мы как-нибудь сами ладить станем. Не очень же шибко тяжело. Мы, однако, справимся!..

Гребцы начинают учащать удары веслами: подошла Бурья и валит сильную воду. Вышел я из каюты: влеве засверкало широкое русло этой реки, быстрой и

крутой течением. На двух противоположных мысах ее зачернела густая зелень. На заднем и дальнем мысу горит великолепный пал сильным пожаром, пущенный, может быть и нашими казаками, а может быть, и оро-чонами, у которых существует то же обыкновение, вероятно, заимствованное у русских. За передним мысом раскинулась станица. Буря — славная река.

— Сюземная река! — прихвалил ее рулевой казак.

— Что же это значит?

— А насчет промыслов и зверовья очень все одобряют.

— Лесные места-то пошли по Бурее, крепко лесные, оттого и есть где палу разгуляться, оттого он и яркой такой! — толковал мне рулевой.

Но вот и станица Скобельцына (286 верст от Благовещенска). Пошел я в нее — и не нашел. Блуждал я по пням и кочкам, по гладко укатанному побережному песку, между кустами черной березы; блуждал по кочковатому полю; слышал опять визгливый хор лягушек, хотя и не такой сильный и громкий; блуждал я версты с полторы, но в станицу таки не попал. Ни свету, ни собачьего лаю и — ничего путевого. Пришел старшой и рассказывает, что поселены здесь казаки с Онона, с Шилки, но большая часть с китайской границы. Домов в станице 14; семей 24. Все здоровы. Живут порядочно. Успели посеять. Станица удалена от берега версты на две!

Просыпаюсь поутру и вижу: Амур продолжает обставляться по-прежнему берегами низменными, разбивается на протоки и на острова, которых на этих местах и особенно много, и они особенно велики. Зелень мечется в глаза преимущественно на правом берегу (там видны и горы, ушедшие далеко от воды). Левый берег песчанист, обсыпчив и совершенно голый, без деревьев. О горах на этом берегу нет и помину. Вода Амура желта и необыкновенно мутна: прибывает ли река, как уверяют казаки, или перемутил воду целую ночь шедший дождик? Теперь ни дождя, ни ветра; солнце светит

во всю силу, и день предстоит великолепный. Весна во всем своем блеске: мириады каких-то насекомых — род бабочек с длинным туловищем и крыльями — летают над водой, плывут по воде, лезут в лицо и садятся всюду. Жужжал комар — тоскливый и докучливый гость на Амуре, но комарам еще — как уверяют казаки — не время (20 мая). Появились мухи, одна сейчас влетела в каюту — огромная, черная, шумливая.

На левом берегу начали наконец появляться еще голые деревья-розги густыми кустами, но печального красноватого цвета и без всякой зелени. Низменность предсказывала прежде близость станицы, но теперь это уже не примета: низменности обложились кругом, но низменности эти — последние. Сегодня же для нас начинается Хинган, картинный, говорят, интересный. Но вот пока станица *Халтанская* или *Косаткина*».

Халтан — это станица оттого, что так названо было это место первыми обитателями, ороचनाми. До сих еще пор сохранилась покинутая ороचनाми юрта в неприкосновенной целости и тут же подле нее мельница с жерновами. Хозяин оставил старое пепелище по приказанию маньчжур, и, конечно, неохотно; но сила власти взяла верх над силою привычки к насидженному и отогретому местечку. По словам казаков, все соседние им орочны отведены к Айгуну и размещены по тому тракту, который ведет от этого города к главному городу области, Цицикару, в числе — как уверяют — двенадцати тысяч. Причину этого полагают в том, что — как говорят — между маньчжурами прошел верный слух, что русские намерены в непродолжительном времени идти внутрь Китайской империи, и по ближайшему пути: именно к городу Цицикару. И вот по этому случаю готовится им на этом пути препятствие и сильная отпора. Но эти вооруженные орочны успели уже привыкнуть и полюбить русских.

— И будь у нас, — говорили казаки, — будь лишняя мука, крупа, одежда — орочны эти и не задумались бы: все бы перешли на нашу сторону. Маньчжурами они

крепко недовольны: нойоны их грабят. «Не успеваем-де соболей бить, а не знаем, как и выплатить: все, что ни выловим, все идет в ясак, и все еще мы же — говорят нам нойоны — в большом долгу у них. Араки (водку) и буди (пшено) ценят ужасно дорого, а наших соболей почти ни во что не ставят. Русские пришли — мы ими довольны, у нас соболи стали подороже: видно, новые люди толк в них знают».

Дома свои инородцы перед уходом сожгли и здесь, будто бы по приказу маньчжурского нойона, который — по слухам — и сюда наезжал также. Орочон поблизости станицы не видать теперь вовсе.

Место для станицы этой, равно как и предыдущей, Иннокентьевской, и для заселения в полном смысле слова великолепное и удобное. Равнина здесь и там суха и неоглядна. Горы — отроги Хинганского хребта — чуть-чуть синеют вдаль. С обеих сторон ст. Халтанской выбежали речки, в которых в прежние годы ловили много рыбы (так как-де рыба была очень дикая, глупая); теперь, однако, попадает заметно меньше («стала опасаться снастей наших: ведь она тоже рассуждение себе имеет»). Я ходил по тропинкам, проложенным сзади станицы; суходолье выстилалось мелким приземистым кустарником, теми кустиками, которые в сообществе с полынью любят затягивать жилые места, и одни без полыни все те суходолья, которые раз когда-то были уже пропаханы. Доказательство последнему — дом старика орочона, оставленный им только в прошлом году. Станица отнесена несколько на пригорок: в 20 лет один раз (по свидетельству старика орочона) Амур успел залить весенней водой все это место. Замечательно, что при начале заселения позади станицы была болотистая луговина; стали выжигать траву и валить кустарник — высохла. Я шел по ней свободно, а без указания и подзревать бы не мог, чтобы тут так недавно могло быть сырое болото. Все остальные места кругом — сухие.

Земля трудна, жестка была для первоначальных работ, но теперь обещает хороший урожай. Если казак

не поленится, раз пропахавши землю, пройтись по ней плугом в другой раз, чтобы разбить траву и корни и таким образом дать им время загнить и превратиться в назем, — урожай верный. Без этого передваиванья трава вздохнет и будет потом глушить хлеб. Жечь траву на выгонах казаки также полагают необходимым: прошлогодняя трава глушит свежую и в то же время сама по себе совершенно бесполезная ветошь. Даже самый воздух хуже. «Воздух на свежей траве здоровее», — замечают даже сами казаки. Земля под станицей — по рассказам — благодарна до такой степени, что, если, например, росток или траву поднявшегося картофеля несколько подрезать у самого корня и потом пересадить в новую ямку, в новое место, картофель получается необыкновенно крупный (толщиной в здоровый кулак). Надрезанный стебель при этом процессе обыкновенно поднимается снова, но потом отваливается. Повидимому, и сами казаки своей новой землей довольны — не нахвалятся. «Одно только тяготит, — говорили они, — что сперва очень трудно было — маялись: жестка земля была, и дело несвычное. Приглядимся — пойдет на лад: все от времени».

Сторонние обстоятельства также благоприятствуют станице. Две реки: Ганукан, выбежавшая из озера, дает часто осетров и калуг; а Хара (впадающая в Амур в 30 верстах выше Иннокентьевской и на двадцать верст подходящая к Касаткиной) идет хребтами, в которых много соболей<sup>7</sup>. Места по Харе весьма удобны для заселения; некоторые из халтанских казаков успели уже упромыслить на ней несколько соболей. Вот что рассказывал мне по этому поводу один из казаков:

— Соболи в хребтах живут, в норах. Он ведь тоже сам промышленник: питается кровью, ест полевых мышей и других маленьких зверьков, которых может одолеть своей силой. За ними ходим с собакой. Собаки уж их и должны отыскивать, а зверь соболи — злюга. Да на беду, наши собаки плохие, и ведутся они в здешних местах как-то туго, таскают щенят — да все каких-то

неладных, мохнатых, глупых. К этому вот мы еще не успели присноровиться. Опять же в здешних местах лисиц много: брали на отраву. Про медведей не слышать. В прошлом году тигра убили.

И вот что рассказывал мне и по этому последнему поводу один из зауряд-офицеров казачьих:

— Залег тигр на острове, в чаще, а чаща густая была: только теперь и начали мы ее выжигать; трава на острове превысокая.

Вижу я и островок этот, как раз подле крайней избы селения, от которой отделяется узеньким ручейком. Густота растительности на нем действительно замечательная. Зауряд продолжал:

— Поселился он в этой чаще — стал собак заманивать. Думаем, скоро, пожалуй, и до скотины доберется. Я собрал десять человек казаков с винтовками: собак не взяли. Думаем так: бросится он на собаку, собака испугается, побежит к человеку — тигр человека испортит. Стали мы в чащу стрелять: зверь на вид к нам вышел. Один прицелился — попал, надо быть, потому что тигр присел, спрятался, а трава густая, выше аршина — не видать его. «Где, мол, он?» — «А вон, — говорят, — в этой траве». Я ударил в нее. Одни сказывали, в лоб-де попал. Я не поверил, велел другим стрелять; один в зад угодил, другой передние ноги перешиб. Он уже и не пошел — убили его. Много же этих тигров тут шатается, бродяжничают. Приходят они сюда из Хингана, а куда ладят — неизвестно.

— Да ведь они тут в Хингане и родятся, стало быть, никуда дальше его и не ходят.

— Щенят ихних действительно видали, а того не знаем: тут ли они рождаются или из Китая откуда приходят.

— Змеи, крысы есть тоже и у вас в станице?

— Змей стало меньше: вреда, однако, не делали; много змей в Пасековой. Мы штук шесть за все-то это время убили ли полно? А крыс много — и есть преужасные. Эти, как орочоны же, когда мы пришли, были бродячие:

ходили с места на место. Я еще и смеялся в ту пору своим казакам: как, мол, люди-то, так, мол, и крысы-то: бродяжничают. Вероятно, оттого, что за людьми и они ходили, потому что от людей им пожива вернее.

Теперь есть, стало быть, надежда, что они скоро сделаются, а может быть, уж и сделались оседлыми, потому что новые люди не бродят с места на место.

На задворьях станицы валяется множество костей и лошадиных черепов: много лошадей пало в прошлую зиму от тех же самых причин, что и в верховьях Амура. Вправо от станицы по задворьям пошла поскотина; дальше к лесу — поля. И вот что рассказывали казаки о полях этих:

— Семена к нам пришли в прошлом году все перемешаны, перепутаны. Сеем ярицу — родится рожь; сеем рожь — смотрим: всходит и рожь и ярица. Надо быть, там в Забайкалье, а может быть, и во время сплава по Амуру плохо смотрели за этим.

Дома станицы Косаткиной, как и Иннокентьевской, расставлены довольно далеко один от другого. Между ними оставлены значительные промежутки, столь пригодные и полезные на случай пожара. Это произвело то, что переселенцы не могли сесть все вплотную на одном месте (ниже место низменнее), а потому и принуждены были, отойдя от большой станицы на версту и выше, начать строить новую, отдельную слободу (в ней теперь уже 7—8 домов). Тот же самый факт повторялся и в предыдущей Иннокентьевской станице, где на середине, между обоими слободами, начали строить церковь и соорудили два сарая для казенных складов. Дома как в Косаткиной, так и в Иннокентьевской станицах — мазанки, за недостатком и неимением поблизости лесу. Дубы здешние какие-то дряблые, дуплистые, с толстой корой, но с мертвой, гнилой древесиной: удобное жилище для крыс и барсуков, но для домовых поделок неспособно. Впрочем, лес вначале на этом месте был очень част и требовал многих хлопот. Пни во многих местах целы до сих еще пор. Мазанки эти не

иное что, как два ряда плетей, утвержденных на четырех устоях, подставах. Плотно шитые и закрепленные на углах, плетни эти в промежутках наполнены сухой землей; внутри и снаружи обмазаны глиной. Сверху на плетни эти положены два бревна и на них утвержден потолок. Крыши пока соломенные, но думают сделать дощатые. Избы внутри небольшие, но уютные и довольно опрятные; полы земляные, но думают сделать также дощатые; печи из сыромятных кирпичей и не слишком большие. Зимой в этих землянках было и холодно и сыро. В Иннокентьевской станице казаки поленились связать кольцами угловые устои, а если и связали, то очень небольшим числом. Вышло из этого то, что тяжесть потолка и бревен сверху и земли внутри раздвинула устои, выперла стены и — обездолила казачков. Заметно, что как в Халтанской, так и в предыдущей станице казаки спешат к зиме запастись бревнами, сплавливая их с Буреи и приготавливаясь заводить знакомые, привычные бревенчатые избы. Во многих станицах (напр., в Пасековой) мазанки эти строили батальонные солдаты (в 1857 г.), и строили не для себя — стало быть, кое-как, не закрепляя плетни к устоям-кольям.

— Мажем, мажем, — говорила мне одна казачка, — мажем и внутри и снаружи, а не можем никак сладить: все прет.

С двух сторон этих мазанок большие окна; было одно окно и с третьей стороны, да начальство-де распорядилось заколотить это третье окно доской и замазать.

— Что же, лучше ли, теплее от этого стало?

— Какое теплее! Свету-то, только, кажись меньше стало, ничего не лучше.

День выпал на нашу долю светлый, теплый, настоящий весенний. Недавние дожди успели развернуть всяческую зелень, и она теперь вся дышит тем здоровым ароматом, от которого широко в груди, легко и приятно дышится. Все встрепенулось и зажило целостной, завидной, торжественно-веселой жизнью: птицы щебечут во всех кустах, в каждой травяной гу-

стоте. Капризно перебирает, пробует различные трели и мотивы здешняя маленькая желтая птичка, которую казаки называли соловьем; скворец — и тот ведет разнообразный приятный говор (воробьев нет; вороны не смеют и носу показать). Там далеко, в низовьях Амура, гниют еще по берегам выкинутые весенней водой льдины; здесь же, в срединном течении Амура, повсюду уже воцарилась веселая, цветущая, торжественная весна. Легче она чувствуется; труднее впечатления ее передаются. Весенний день этот надолго должен остаться в памяти, как будто он нарочно прибрался и приукрасился для того, чтобы картину входа Амура в Хинганской хребет, так сильно восхваленную, сделать на этот раз еще красивее и торжественнее.

И вот на правый берег реки вышел один из отрогов Хинганского хребта. Весь вплотную и густо затянутый зеленью, он в некоторых местах (и преимущественно около вершин) проглядывает прогалинами и серопепельного цвета гольшами. Вид на хребет этот с лодки и с реки не лишен оригинальности, но пока не имеет еще ничего поразительного. Густая зелень его выкупает многое, а высота и неправильность очертаний разнообразят местность, которая вот уже около пятисот верст идет почти сплошной низменностью, степью, которой могли бы позавидовать и астраханские, и те же забайкальские братские степи. Правда, что левой берег все еще низменный и кажется решительным пигмеем перед высотами Хингана на противоположном правом берегу. К левому берегу подтянулись острова, которые заметно узят реку, до сих пор разлившуюся на замечательно большое пространство. И вот, разбиваясь на отдельные хребты и на мелкие песчанистые отроги, Хинган главным хребтом своим вышел прямо на берег и оступился в воду крутой скалой, выкрытой, однако ж, бойкой зеленью. Наискось от этой скалы, по суходолью низменности левого берега, рассыпалась станица Пасекова, имеющая также в свою очередь в общей картине *входа Амура в Хинган* не последнее и не худое место.

Станица эта вдобавок еще одна из людных на Амуре и растянулась почти на целую версту. К ней примкнул и от нее потянулся другой отрог, другие не менее высокие горы того же Хинганского хребта. Река в этом месте изгибается несколько к северу и затем уже круто поворачивает на юг, уступая силе влияния скалистых хребтов и побережья. За станицей Пасековой Амур уже вступает в настоящий коренной Хинган: русло реки становится замечательно уже; течение несравненно быстрее и глубина поразительная<sup>8</sup>. Реку обступают горы и прикрутости, носящие на казачьем языке название щ е к. Щеки эти на правом берегу заметно круче и выше, чем на левом; левый берег изредка делает даже уступки: пуская вперед себя отлогости, он вдруг отступает горами своими в низменность, которая тянется иногда верст на пять в длину. Горы в таком случае и по обыкновению начинают отходить дальше от реки дугой, чтобы потом опять выйти на реку и круто оступить в воду. Правый берег во все время продолжает выдерживать свой характер — идет крутыми высями, между которыми залегают иногда мрачные и глубокие пади.

Перед станицей Раддевской Амур становится замечательно узок. В этом месте он мне сильно напоминает Шилку: те же густые леса, те же темные пади. Амур только, может быть, несколько шире и мрачнее, глубже и богаче всякой рыбой, и то затем, может быть, только, что богатства его недавно еще только пущены в оборот и не получили определенной, законченной формы. Перед станицей Раддевской низменный левый берег отделил и пустил вперед себя остров... и вот другой... вот наконец и правый берег делает уступку, постепенно спускаясь отлогостями и выпуская вперед себя низменность; Амур, пользуясь случаем, разливается, становится заметно шире. Но зато узким, замечательно узким проходом, как бы коридором кажется русло реки, когда обернешься и посмотришь назад; и чем-то торжественно-мрачным глядит вся окрестность впереди и с боков. Сидим мы, как будто замкнутые в гробу, и

спешит вода, спешит за водой наша лодка, как бы нарочно стараясь высвободиться на вольный простор от гнетущей темноты и мрачности прибрежных отрогов Хингана. Неровности этих отрогов за ст. Раддевской рисуются на горизонте неровными зубцами, словно стены крепости, и в общей фигуре имеют вид отдельных холмов, в большей части конусообразных возвышенностей, носящих на казацком языке название сопок. Особенно много этих сопок за станицей Помпеевской. Там одна из них, самая большая, исподволь поднимаясь из Амура, растянула у подошвы своей довольно отлогую покатость, а сама ушла в черную падь и там — по всему вероятно — разбилась на мелкие холмы и огромные и частые камни. У подошвы одной из сопок, по отлогой покатости, потянулся правильный ряд домов в одну линию; сзади домов огороды; видна некоторая жизнь, что-то новое и притом хорошее новое, тем более что кругом все затянуло густой, непроницаемой зеленью. Зелень эта глухой и высокой стеной высится направо и налево, высится назад. Горы, как великаны, высоко поднимаясь и как бы чередуясь между собою, обступили Амур со всех сторон. Нигде он так часто, и прихотливо, и неожиданно не изгибается, не делает колен, как здесь. Хинган стеснил и сжал Амур до такой степени, что ширина его течения делается меньше полуверсты; река течет в решительных стенах, закованная в насилуемые, гнетущие цепи. Редко дает вздохнуть реке каменистый Хинган; редко позволяет ей сделаться несколько пошире, но и то только в тех местах, где хребет сумеет выпустить глубокую падь и из-под нее успеет вытянуться недлинная и неширокая площадка, вся в густой зелени. Но таких площадок попадается очень мало; упорно держатся каменные выси, более каменистые и с частыми голышами на правом берегу, чем на левом. Высей этих нельзя, впрочем, назвать горами в полном значении этого слова: и на Шилке и на верхнем Амуре скалы попадались выше этих. Отроги Хингана скорее высокие холмы, тем более что Хинган дробится

на бесчисленное множество таких сопок. Все они соединяются между собою, но не на берегу, а внутри материка, вдали от берега. Редко сливаются они в сплошные горы: горы такого рода в большей части случаев чернеют вдали, за глубокими и мрачными паадьми. На самый берег выходят леса и деревья, из которых многие успели уже зацвести: одни сплошным белым цветом, как черемуха. Из глубоких и длинных падей выбегают речки и, по замечательной случайности, не шумливые, но спокойные. Богаче этими ручьями и реками маньчжурский берег. Между деревьями нетрудно отличить от преобладающей черной березы и кедры, и пихту (елок нет; сосна — редкая гостья), изредка попадается и грецкий орех (растущий по преимуществу у самого берега), но орех этот имеет скорлупу необыкновенно толстую, с трудом разбиваемую; зерно, вследствие толстоты скорлупы, маленькое, мизерное. Тою же грубостью и негодностью отличается и амурский виноград, вьющийся преимущественно подле воды. Мякоть винограда необыкновенно кисла; зерна велики и едки; сам он растет в Хингане не гроздьями, а ползет отдельными ягодами по стволу. «На клюкву похож, но до настоящего винограда ему далеко».

Вот и последняя станица в Хингане — Поликарповка... Но возвратимся назад, к первой.

Ст. *Пасекова* (Пашкова, 23 дома) выстроена вся в орешнике, которого очень много под самыми домами; он уже устилает все зады станицы и берега небольшой речки, Хингана, протекающей в версте от селения; река шумлива и бешена в полную воду, рыбная в тихую. Много рыбы и в Амуре, на счастье станицы выселены сюда из Горбиц (с Шилки) рыболовы, которые и поспешили завести здесь самоловы, сложившись между собою артелями, по две семьи вместе<sup>9</sup>.

Позади станицы, и сейчас за домами, пришелся луг — болотистый и водяной в том месте, которое подошло широкой ямой к берегу Амура. Змей около станицы много (и чем дальше в Хинган, тем их больше); водятся

змеи всюду: и чрез Амур плывут, и по хребтам ползают. В хребте, позади станицы, водятся соболи, которых казаки сбывают купцам проезжим за 5—6 руб. сер. и самых лучших за 8 и 10 руб. В свою очередь, и сами казаки скупают их у ороchon. За соболя прежде давали одну штуку дабы (да еще, говорят, отрывали кусок), а теперь давай-де две штуки.

— Да и все вот так теперь сильно вздорожало, и в станице настoит нужда великая.

Мальчишки бегут мимо меня в рваных рубашонках.

— Бедно же живут казаки: вон и ребят одеть не могли...

— Один казак всю зиму ходил в одной и той же рубахе; да я уж глядел-глядел: дал свою казенную. Нам по три рубахи выдали. (Рассказчик из гарнизонных солдат Владимирского батальона, в *сынках* у бедного казака, который-де ведет свои дела еще кое-как.)

— Всю, батюшко, лопотинку за хлеб маньчжурам (орочонам) отдали. Так дошли, что и холодно и голодно было. А теперь вот новое горе: без соли сидим. И рыбы промыслишь, да не станешь ее есть без соли. Ладно вот, еще хоть скотинка-то мало-мало держится: которая благополучно дошла да устоялась, та и хорошая, за ту и руками и ногами хватаемся — бережем, значит.

— А не рожает она уродов, с зобами?

— Этим Бог миловал. Овцы, почесть, извелись: собаки перегрызли. Господа проезжали тут у нас: злющих каких-то собак оставили; дали приплод. Презлые собаки стали и все какие-то несвычные. Про медведей и волков не слышать. Белок очень много: на крышах домов зачастую бегают. Да теперь и тех стало меньше: удаляются. Тигров видали в стороне, а к деревне они не подходили. Водятся барсы. Один плыл через Амур, увидал казаков в лодке — поплыл на них за лодкой. Казак один выстрелил в него из винтовки: сказывают, подле сердца попал. На том и успокоились, а сами спешили угрeбать и плыть верст тридцать; барс до половины плыл за ними, а там и пропал. Пристали казаки к

берегу, стали теплину разводить. Один из ихних бежит и кричит: «Барс-от, братцы, здесь!» Что врешь-то, мол, не путное. «Ей-богу, слышь, здесь: подите — посмотрите». Приходят и видят: лежит, распластался — мертвый. Лежит в пади подле самого того места, где наши огонь развели. Их, надо быть, искал и наслеживал, да не дошел: вот какой живущой. Рану подле самого сердца нащупали.

У станицы Пасековой начинается первый строевой лес, растущий не дальше 4—6 верст. Пашни в этой станице разведены за версту повыше и по ту сторону реки Хингана, потому что сзади селения потянулся в гору густой орешник, и все станичное место имеет вид восходящего возвышения, как подошва Хингана.

Станица *Раддевка* прислонилась к двум горам — отрогам Хингана, между которыми образовалась падь: каменистая, с *пещерами* — как выразились казаки. Поля пошли влево, вверх по реке, по низменности. Избы бревенчатые; станица большая: место выбрано удачно. Хинган правого берега невысок; одинаковы с ним горы и левого берега. Казаки распахали пашню; осенью (с Покрова) ходили в хребты за соболями (штук около 200 упромыслили). Скот станичный несколько подошел, потому что проходивший в прошлом году скот все потравил: и траву и сено. Особенно туго и трудно поправляется тот скот, который приплавлен был на казенных паромах. Всходы по весне были хороши, но теперь хлеб в стрелу пошел, оттого-де, что все засуха стоит, ни одного дождя не видали. Из зверей — белок стало меньше: «оттого-де, что в прошлом году был малый урожай на кедровые орехи». Много волков: обижают (режут) скотину, особенно в настоящее весеннее время. Охотясь по зимам, видали следы тигров и барсов, но немного...

Ст. *Помпеевская* (по казацки *Панфеева*) разбросана по кособогу и — по словам казаков — не на удобном месте.

— Где у вас поля? — спрашивал я у них.

— А по пади вправо да туда дальше верст за восемь. Места нехорошие, потому что камней очень много. Вот

хлопотали два года, а только по десятине на дом и успели заготовить. А земля очень хорошая: черноземина такая, что вон в Ратьбинском (в Раддевке) по залежам пашут. Хорошо бы пахать по пади на правом берегу: там и камней, почесть, совсем нет, так вишь земля-то, сказывают, не наша. По реке трава родится хорошая: сена нагребли на целую зиму. Одно неладно: в прошлом году много лошадей пало от сильной гоньбы; в первой-от год гоньбы меньше было — и скот поправился, в тело вошел.

Строевой лес верстах в 14—15 от станицы: крупный кедровник.

Следующая станица в Хингане — *Поликарпова*, несет все тяжести неудачно выбранного места: ни скотины некуда выпустить (лес черно березовый густ, луговинки малы и ничтожны), ни огородов распахать (те же препятствия).

— Студено было: всего скота познобили. Место открытое, круглые сутки ветры дуют.

К станице подошла высокая каменистая сопка, но она нисколько станицы от ветров не защищает.

— Пахать совсем негде: вот и семенной хлеб привезли. Кабы туда нам переселиться али бы вот верст за 15 отсюда (места хорошие!) — жить бы можно.

— Хотим на ту сторону перебраться, и начальник советовал.

— Мы на том берегу все лето лоньского году прожили и сена там накопили. Так и того боимся, чтобы не прогнали: чужое место. А здесь выпустил скотину, да и гляди — не ушла бы, а уйдет — пропадает; кругом чаща да орешник.

В прошлом году одну лошадь зарезал тигр верстах в полутора от деревни.

— Прибежал я туда (искал ее); смотрю — весь пестрой, жрет — и до половины съел, а хвостище у него длинной, да толстой, что полоз от саней. Дал я драла назад — не то станешь делать.

— Скучно живем: вот старику и укусить нечего. Хочу ему из семенного хлеба дать — все приели.

Смотрю: собралась ко мне вся станица с просьбою похлопотать перевести их на другое место.

— А здесь не сживешь — тяжело очень и гнуса всякого много: змеи, крысы одолели. Реки нынче мелкие; рыбы дали мало, да и, совсем, почесть нету. Вон взять пониже-то: Белую али Быструю...<sup>10</sup> Есть у нас и орехи грецкие, виноград растет по берегам-то, да что в них толку-то?! И не глядел бы. Хлеб нам из своей стороны (с Аргуни, из острога) везли: так сложили, слышь, в Низменной, а к нам не спускают. Сказывают, что будто уж его там и порешили. Не знаем мы, как и жить. А еще, сказывают, десять семей селить хотят. Мы дома свои перенесли уж на зады, за лесок, а то, где теперь стоит, место неладное, всю зиму студило. Там словно и вольготнее будет, потеплее — соболя кругом нас очень довольно, и соболя хороший, так опять же некогда ходить за ним: окодо дому дела много. Распахиваешь-распахиваешь, а не много наготовишь. Очень трудна земля, и — не приведи бог! Все новое: росчистой старых не видать, да и не было. Зимовье однако ороchonское было, да снесено теперь. В Панфеевой не в пример лучше!..

Хинган в этом месте довольно живописен.

— Хороши места здесь, красивы! — заметил я матросу Ершову, который плыл со мной из отпуска в Николаевск.

— Нет, не хороши: горы все, полей нету!

— Да уж поля надели; горы теперь приятнее. Мы уже от них начали было отвыкать.

— Нет, поля лучше. Вот они опять скоро пойдут туда, пониже-то. Здесь насчет козуль очень, надо быть, хорошо: их много.

— Козуль мало, — перебил казак, — те либо выше где, либо ниже водятся. Изюбрей здесь много...

Но вот и сам козел, легок на помине. Козел этот, вероятно, выждавши проход нашей лодки, незаметно соскочил в воду с левого берега. Мы видели уже, как он

плыл, оставивши на поверхности воды одну только голову. Плыл он бойко и скоро вышел на правый берег; встряхнулся там и быстро исчез на своих бойких ногах в береговой чаще.

— Когда вот в первой-от год поселения заводили — медведей очень много видали. Ужаси много медведя было и зверья всякого. Медведь смирен, никого не трогает. Иной сядет на берегу, да и поглядывает на лодку-то, словно дивится. Много зверья и по реке плавало. Теперь все это ушло дальше с той самой поры, как *русь* поселилась.

Отступая пять верст ниже станицы Поликарповой, Хинган незначительной крутизной расстается с Амуром на маньчжурском берегу и потом идет и круто сворачивает вправо, сначала значительно возвышаясь и потом постепенно спадая и теряясь в туманной синеве и дали. Вперед себя он на этот раз пустил огромную низменную равнину, уставленную богатой растительностью. Щеки Хингана кончились, но левый берег продолжает еще быть гористым, как бы наверстывая то пространство, которым он запоздал перед ст. Пасековой. Горы этого берега наполовину из голого камня; в падах растительность гуще, и из многих текут реки; по рекам тянутся луговины.

— Сюда-то вот и пропадает наш скот. Сюда-то вот он и заходит так, что никак мы его отыскать не можем, — заметил мне рулевой.

— Вот бы вам хорошо было здесь поселиться! — заметил я в свою очередь, указывая на роскошную низменность маньчжурского берега.

— Где уж нам! Нам бы вот и в конце гривы-то той ладно было.

И он указал на отлогости при подошве Хингана, кончавшегося на правом берегу. К подошве этой подошла довольно широкая падь, растительность на которой и не так густа, а — по словам казаков — и лужаек больше, и для скота привольнее. Вся беда в том, что та —

хорошая сторона — не наша. Казаки этого никак понять не хотят.

— Вишь левой-от берег, — толкуют они, — гористой такой задался! Что бы начальству-то нашему правой бы взять, а левой маньчжурам отдать: пушай бы их там!..

По мере удаления от Поликарповки Хинган левого берега начинает делать уступки: раз отошел от берега на большое пространство, пустивши, по обыкновению, вперед себя низменность. На низменности этой две избы, недавно выстроенные, но еще непокрытые. Место хорошее. Под хребтом (голым к низменности) протекает порядочная речка.

— По ней хорошие луга, травянистые, — объясняет казак. — По хребтам довольно количество еланей для пахоты. Сюда было мы и просились, а на старом месте хотели зимовье сделать и соглашались станок держать для проезжающих. Начальство не позволило: нельзя, говорит, старому месту без селения оставаться. Тут бы и залежи есть: маньчжуры жили, расчищали место. Да оно и зовется-то Маньчжурка. Не знаем, как теперь начальство позволит прозывать. До этого вот до самого места от нашей станицы ни одного лужка, ни одной елани нет: все горы крутые да с густыми гривами, а ничего больше.

Скалы, заключающие Хинган на Амуре (левого берега), голы и обрывисты: вид на них издали очень недурен. Вблизи они кажут мало разнообразия: между некоторыми из них образовалось отверстие — род ворот; во многих других видны дыры, норы, нередко глубокие. В ложбинах, рубцах уцелела земля, и на ней прицепились маленькие дубки, почти пропадающие в общей картине серого фона. Это — северный отклон; восточный несколько богаче растительностью. Последняя скала отлого спустилась в воду, довольно красиво поросши по покатоному спуску своему реденькими деревцами, словно аллеей столбовой почтовой дороги. На берег вышла лесистая низменность; но растительность с этой поры начинает заметно ослабевать; дубы вырос-

ли только на берегу; дальше идет уже голая степь. Горы правого берега все густо-прегусто затянуло дымкой, и они отошли далеко назад, стали едва приметны.

И вот Хингана словно не бывало. 158 верст сопровождал нас этот хребет, идущий из крайней дали Маньчжурии и Кореи и через Бурейские горы соединяющийся с юго-восточными отрогами нашего северного — Станового — хребта. Больше расхваленный, чем картинный на самом деле, он, может быть, и поразил бы свежего прохожего, если бы не существовало на пути к нему Шилки с ее не менее высокими побережьями, не менее своеобразными и характерными неожиданностями. Из станицы Екатерино-Никольской Хинган правого и левого берега сливается уже в одну сплошную стену и густо затягивается синеватой дымкой дали.

На берегу Амура пропасть ребятишек; шум, смех и громкие, звонкие разговоры: подбирают разбросанные кули с семенным хлебом. Станица обещает многолюдство; два съезда — некоторый род хозяйственного благоустройства. И действительно — станица глядит приветливо и весело. Недаром ходят слухи, что на этом месте хотят выстроить город. Место счастливое, просторное, веселое. Крутой и высокий берег Амура (на 6 и на 7 саж.) обеспечивает станицу от могущих быть когда-либо наводнений. Ряд домов тянется по берегу реки; против них картинно и счастливо уцелели довольно толстые и высокие дубы. Вправо от станицы, вниз по Амуру, на крайнем углу поместились дома Амурской компании; несколько отойдя (сажен около ста) на высоком пригорке заложена церковь. Позади ее, в глубь еще невырубленного леса, пошел новый порядок домов. Такой же ряд изб тянется позади домов Амурской компании. Распаханы огороды; распаханы поля. Вот привезли сегодня семенного хлеба — казаки ликуют, несказанно радуются. К Троицыну дню начальство неожиданный праздник пригнало.

— Чему больно обрадовались? — спрашивал я у толпы.

— Как тут не радоваться! Землю мы вспахали, а семян не было; засуха начала просушивать все, что ни успели поднять. Дождей нету. Боимся за голод; а уж он к нам и так начал было подбираться. Теперь, слава богу, как будто бы и отойдем маненько: есть надежда!..

Между станицей и тем возвышением, на котором строится церковь, замечательно сохранились следы трех ровов: два из них с возвышениями несомненно насыпными (которые, однако, успели уже порости толстыми и высокими дубами) идут от настоящей станицы, и круто, под прямым углом, поворачивают в Амур, и оканчиваются на берегу его. Прямо против них идет третий ров, которой почти правильным квадратом ограничивает площадку сажен в десять—двенадцать. Внутри этой площадки — глубокие и хорошо сохранившиеся следы ям — места землянок. Такие же ямы залегли между первыми двумя параллельно идущими рвами, по направлению к возвышенности, на которой церковь. Квадрат этот четвертой стороной своей примыкает к реке; берег реки крут и осыпчив. Подробности земляных работ тождественны с работами (лучше, впрочем, сохранившимися) в Албазине и, видимо, производились под одними теми же условиями, по одному и тому же закону. По-видимому, этими следами древних укреплений в ст. Катерино-Никольской дорожить не намерены. Один ров уже вскопали, чтобы приладить на том месте дом для священника и отыскать в этом месте глину, которой действительно тут много. Станица, впрочем, стоит вся на песчаной почве, и туф, как говорят, доходит только до одного фута глубины. Туф этот естественно образовался от наноса листьев с деревьев, листьев, постепенно обращавшихся в почву в течение не одного столетия. Ниже станицы — лучшие места для пахоты. Выше ее, на реке Маньчжурке (в 14 верстах), попадаются известковые месторождения: одна большая плита — мраморная.

Между расспросами одно известие поражает всем ужасом неожиданности: прошлой весной в станице

Катерино-Никольской тигр растерзал часового казака, поставленного к сараю с казенным складом.

— Изба его была тут подле самого магазина. Никто даже не слышал его голоса: не успел, видно, крикнуть, — прибавляли казаки к этому печальному известию.

Второй рассказ о тигре имеет иной характер. Казаки выехали преследовать его на лошадях — нашли спрятавшимся за горой. Выехавши на эту гору, встретились с ним почти лицом к лицу и быстро спешили. Один выстрелил — мимо; другой бросился на зверя, но тигр подмял казака под себя и начал хватать лапой за руку, постепенно переставляя лапу. Третий казак в это время принял тигра на штык и поднял на дыбы. Подмятый казак был спасен; тигр начал возню со штыком. Стараясь высвободиться, зверь обернется направо, и казак наклоняет штык ваправо. Тигр сильно погнулся — и штык переломил. Но казаки успели уже доходить его пулями из ружей.

---

За станицей Катерино-Никольской Амур повел свою обыденную, казенную степную форму: сильно разлился он в этих местах. На правый берег вышла невысокая коническая сопка, одинокая, сиротливая. Бог весть откуда она взялась и зачем тут одиноко поместилась. День опять задался чудный. На левом берегу кричит, словно в громкую дудочку, какая-то птичка и словно выговаривает: «Кто ты таков»? Говорят, маленькая, желтенькая.

— А как вы ее назвали?

— Поботун назвали. Не знаем, ладно ли?

И вот новое слово, и притом меткое и ловкое.

— А есть еще птица, которая все около самой земли летает и словно бы все стонет жалобно. Эту назвать еще не применились как. Обе эти птички на лет проворные, спешливые. Все летают и никак долго не посидят на месте.

Река Амур становится заметно шире (470 саж. против ст. Екатерино-Никольской). Станица Добрая отошла от берега на целую версту.

— Так-де сначала начальство распорядилось; теперь стали выселяться на берег; земля очень хорошая. Голоду хватить-таки успели.

В этой станице попался мне первый гольд, подъехавший на своей маленькой лодке, форма которой решительная маньчжурка: вроде длинного ящика, без киля, с четвероугольною, почти квадратною кормою и выступом на носу. У гольда в лодке сеть и на распорках, словно крылья летучей мыши, просушивается кожа с рыбы калуги. Кожу эту гольды употребляют на обувь. С гольдом трое ребятишек: у одного подвеска в ухе, серьга — вероятно, девочка; двое других, по-видимому, мальчики. Цвет лиц решительно черный; но оклад имеет замечательное сходство с маньчжурским. Гольд ласковый такой: кричит «мендо!» (здравствуй!). Казаки разговорились с ним:

— Рыба есть купи?

— Рыба купи нету.

— А соболи есть?

— Има; юрта (есть в юрте).

И юрта эта тут же недалеко, на правом берегу. Гольд этот пришел с Сунгури, которая в этом месте на 15 верст отошла руслом от русла амурского. На ребятишках-гольдах надета ужасная рвань: беспредельно дырявые полушубки, вероятно вымененные у казака на соболя. На самом гольде шляпа чуть держится и до того ветха, что похожа на старый, измызганный, истоптанный валяный сапог. Подъезжал он к нам, видимо, из одного любопытства: иной причины не могло быть, потому что в лодке у него ничего, кроме рыбьей кожи на распорках, не было.

Ст. *Квашина* (13 домов, 26 семей) выстроилась под теми же благоприятными условиями, как и предыдущие: место просторное, сухое и привольное; степь дает и места пахотные, и великолепные места сенокосные, здоровые.

- Всего один казак умер.
- Тягостно одно вот: лесу нету, лес далеко.
- А вот этот лес, что подле растет?
- Этот лес никуда негодящий: вот посмотрите!

Дома станицы выстроены из соседнего сосняку и отчасти дубняку. Короткие бревна принуждены были утвердить на четырех столбах, поставленных с каждой стороны по фасаду — чрезвычайно оригинально. Бревна эти мохом не скреплены и по всем пазам наскоро смазаны глиной: «Холодные были, да перебивались же кое-как».

Празднику (Троицыну дню) казаки обрадовались: вырядились в белые рубахи; казачки — в ситцевые платья (купленные у проезжих купцов); даже маленькие девочки и те в ситцах и платках на головах. Девочки эти поставили на краю станицы березку: ухватились за руки — стал хоровод; родину на чужой стороне вспомняли. «По своей забайкальской вере», — заметил мне один старик.

— А тоскуется? — спросил я его.

— Ну да как же? Оно, пожалуй, и все бы ничего, коли б вот хлебушко-то был, а родится он хорошо: земля добрая; супротив нашей забайкальской будет много лучше.

Орочоны для казаков подспорье ничтожное; гольды — также.

— Рыбой около них заимствуемся. Прежде они все брали: всякую рвань, всякую тряпку, а ноне давай им дабу да серебро. А где мы серебра-то возьмем; мы его отродясь не видывали; нету его у нас.

— Сами-то вы начали ловить рыбу?

— Нету; достатков не хватает. Зимой-то острой ловили тоже сомов, осетров...

— Много у вас сомов?

— Шибко много; рыбы всякой много.

— В Сунгари-то вы хаживали?

— Не доводилось.

— А пускают туда?

— Нет, не пускают. Тут у них бекет стоит: домов пять; чиновники ихние живут — не пускают ни за что.

Чиновники есть всякие: и с синими шариками на шапке, и с белыми, а есть и такие, у которых шарик эти не каменные, а шелковые: простые, надо полагать. Один купеческой приказчик с товарищем прошел туда, а не пропускали было. Сказывают, до ихнего города (Сан-Сина) доходил, ни на кого не посмотрел: молодец! Однако его убили там. Одни сказывают, что к маньчжурке подъезжал; так муж-де поступился; а другие толкуют, что-де велено было его убить и на тот конец чиновник к нему представлен был, как это у них всегда водится.

— А слышали вы что-нибудь про реку эту?

— Да вон вышла в Амур-от (верстах в сорока от нашей станицы) большая-пребольшая и не ладит с Амуром-то, а своей струей идет. По реке-то по этой много же, сказывают, всякого народу живет; города-де у них там пошли. Попервоначалу, слышь, гольды поселены, а там уж и маньчжуры пошли дальше.

— Вот уже в пятой станице по пути крышки все соломенные и все разметаны; торчат почти одни только стропила. Отчего это?

— Ветры у нас живут сильные: никакого противу них способу нет. Тут вот с неделю назад такая метель закрутила, что все поломала: ужаси что было!

Ответ этот почти слово в слово передавался мне и в ст. Квашниной, как и во всех четырех предыдущих. Особенно эти метели со взломом яростно сказались в ст. Екатерино-Никольской и Поликарповой, где ветер вырывается из падей Хингана и всегда в этих случаях необычайно свиреп и продолжителен.

Берег Амура перед станицей изменен, песчан и сильно обрывист: вода подмывает. Едва ли не придется казакам перетащить свои дома подальше. Правда, что впереди домов они успели уже развесть огороды и в этих огородах кое-что посеять. Из-за острова (в 3 верстах от станицы) вышла в Амур довольно большая река, названия которой еще не придумали казаки. За этой рекой синеют горы, но очень далеко.

— Наши, — говорит рулевой, — ходили было туда для белковья: четыре дня шли. Кажет-то ведь это только так, что близко, а на самом деле ужасно далеко.

В ст. *Дежнева* те же условия постройки домов на осиновых столбах (с трудом отыскиваемых) и из сборного лесу (еловых и дубовых бревен) и те же явления и слухи: крыши разметаны; венцы выворочены бурями; луга хорошие, но в лесе сильный недостаток. На беду еще станица построена не на материке, а очутилась на острову; некуда скот выпускать; мало места для огородов; просят на место пониже настоящего: там-де и место выше, нет опасности от воды, да и места отменно хорошие. В дуплистых дубах живут бурундуки, которые в сообществе с крысами подъедают хлеб.

— А места здешние не в пример лучше забайкальских: один казак высеял три фунта гречихи — получил три пуда, и, может, разве немногим меньше. Большое количество бурундуки у нас хлеба поели.

Для звероловья ходили в хребты, но промысел был ничтожен: соболей попадается мало.

— Да и тугие времена подходят: купцы и проезжие чиновники наложили и подняли цену на соболей у гольдов. Прежде, бывало, за кусок свинцу отдавали соболя, а теперь просят деньги серебряные, да и те чтобы были целковыми.

Вблизи станицы видится много лисиц, а по всему суходолью, в дубовых перелесках, в норах живут еноты. Енотов этих промышленяют и гольды, но подняли цену на шкурку до 2 руб. сер. Промышляют их обыкновенно таким образом: найдя с собакой норку, в которой зверь любит селиться и которую он прорывает глубоко и далеко, вход в нее закладывают сухим назёмом. Назём поджигают, а чтобы дым не терялся в воздухе, покрывают все это место дерном. Зверя дым выгоняет вон: зверь выбежит — его подстреливают.

В прошлом году на Сунгарийском посту стояли чиновники маньчжурские, казаки ходили туда беспрепятственно и даже маклачили кое-какой торговлей. Но

теперь, говорят, присланы чиновники никанов (китайцев), торговля запрещена и казаков к гольдам не пускают. Никогда, впрочем, и прежде не пускали их на самую Сунгари, а там-де еще можно бы было вести с ними торговлю; достатки у них большие, и народ бы хороший гольды, покладливой, — с ними жить-де можно всласть и в удовольствии.

Устье Сунгари и на нем китайский пост расположены в двадцати верстах от ст. Дежневой. Эта станица — самое южное место на всем Амуре; от устья Сунгари Амур заворачивается к северу и постепенно идет в этом направлении к Николаевску. Левый берег Сунгари сопровождают высокие горы; правый остается долгое время низменным. Река эта, впадая в Амур под замечательно острым углом, долго борется своими водами с водами Амура. Вот отчего и здесь существует такой же спор и такое же убеждение, как и в Нижнем относительно рек Оки и Волги. Маньчжуры остановились на том убеждении, что не Сунгари впадала в Амур, а Амур — в Сунгари. Во всяком случае, река Сунгари чрезвычайно важна во многих отношениях. Она течет из дальних и высоких гор Корейского полуострова, принимает в себя две (и даже три) больших реки: *Галхубира*, текущую с юга из тех же Корейских гор и впадающую в Сунгари под городом Сан-Син (Ичше-Хотон), и реку *Понни*, берущую начало из коренного материкового — Хинганского хребта. На этой последней реке лежат два города: Марген (на севере) и Цицикар (южнее) — ближайшие города к амурскому Айгуну. В самом южном течении Сунгари, при выходе ее из Корейского хребта, лежит город Гирин-Хотон (Гирин — город).

Про реку эту известно русским гораздо больше, чем про всякую другую, выходящую из Маньчжурии. Обнародование этих сведений лежит на обязанности тех из русских, которые успели случайно посетить эту реку. Рассказы про Сунгари не редки, но по большей части или противоречат друг другу, или сообщают гадатель-

ные, неправильные сведения. Мы на них останавливаться не решаемся.

Ст. *Михайло-Семеновская* лежит верстою ниже от того места, где вышли на берег Амура дома батальонного штаба и поставлены две пушки и мачта с флагом.

Маньчжуры со здешними казаками не имеют никаких сношений и ни за что не решаются пускать их в Сунгари, однако враждебных действий никаких не показывали: ни буды, ни муки казакам достать было негде. Нужда настояла в станице, настояла едва ли не большая, чем во всех предыдущих. Вдобавок еще ко всему они обязаны были в *полтора месяца(!)* соорудить два батальонных дома, которые были и холодны и сыры, и весной лил с потолка буквально дождик.

Гольды, кочующие поблизости, полезны были для казаков только рыбой и отчасти соболями (покупали их от 3 до 5 руб. серебряною монетою за шкурку). Сами казаки били енотов, выкуривая их из нор.

От впадения Сунгари Амур сделался необыкновенно широким. Образую множество протоков, он разбился на большое число длинных и низменных островов: одна протока, оставаясь главной, ведет за собою форватер; остальные по большей части мелки и только под крутыми и обсыпчивыми берегами имеют глубину, достаточную для прохода судов. За тремя такими мелкими протоками расположена и *станция Воскресенская* (9 дворов, 27 семей), на этот раз очутившаяся в горах; но горы эти, крутые и высокие, преимущественно синеют вдалеке за множеством островов, которыми особенно сильно затянулся в этом месте Амур. Положение станицы во всяком случае не блестящее: она удалена от главного русла на значительное расстояние (и лишнего живого человека не увидишь); она окружена болотами и вообще глядит как-то и уныло и крайне бедно.

Ничем не лучше положение и состояние и следующей станицы — *Степной* (домов 8, душ 23). Степная она настолько же, насколько и все предыдущие. С одной ее стороны синеют горы, но до них 40 верст, день ходьбы;

задние горы того же левого берега удалены еще дальше, на два дня ходьбы — стало быть, на расстояние около ста верст.

Дома в станице строены из лесу, вырубленного по соседству, и уже не на столбах, да и глядят как-то лучше и приветливее, потому что выкрыты не соломой, а берестом: бури были часты, но дома их выдержали; зимой было тепло.

У одного казака крысы шесть мешков порешили. В этой станице, по рассказам, их больше, чем во всех других.

— Мало провизию — куриц жрут, проклятые. Сядет на курицу-то верхом, да и ездит проклятая и все норovit как бы за горло ухватить и перегрызть его. Бурундуков бездна, не знаем, как и избавиться от них. Барсуков стреляем.

— А каковы ваши соседи?

— Гольды — честной народ: забудешь у них вещь — он уж и бежит за тобой, возвращает. В торговле, однако, стараются как бы свою подороже отдать, чужую вещь подешевле приобрести. Рвани нашей теперь не берут; поприоделись коло нас. Маньчжуры шибко красть любят. Когда мы плыли на паромах — придут к нам: гляди, слизнул что-нибудь. Так уж это по положению. Придут маньчжуры, и все наш скот считают, и все пишут по-своему. На что это им надобно — Господь про то ведает!..

Скот, припавленной на паромах, и здесь не выдержал: лошади пали, овцы ослепли. Казаки думают — от высокой травы и новой свежей пищи.

— А может, и ноги застудили. Овцы поживут недолго на новом месте; глядишь: выпучат глаза, встанут не двигаясь и — ничего не видят. Лошади трудны были потому, что взяты в Забайкалье из степей, с вольной волюшки. С трудом великим приучались к домовым работам, привыкали к хозяевам. За пропавших коней казна вознаграждала новыми. И спасибо ей! На наше счастье, кони попадались молодые все: легче с ними

ладить было. Скот теперь ладно держится на богатых травах. У нас и молочко теперь завелось. Коровушки выходились.

Поля в Степной станице отошли от нее далеко, версты за 4, за 5, потому что к самому селению подошла болотистая луговина, лог.

— Сеяли семена хлебные, да что-то неладно вышли; высеяли ярицу — выросла рожь и какими-то кустами, ключьями. К осени догадались, по забайкальской вере траву скотом потравили. Трава вышла на нынешнюю весну новая, а зерен не дала. Сеяли гречиху, овес — отменные вышли. Семена-то, вишь, подвозят к нам все не вовремя — запаздывают.

Место станичное казаки хвалят, но строиться-де шибко дорого. Особенно сильно жаловался гарнизонный солдатик из евреев, высланный сюда из России:

— Дорого платишь за бревна: 15 коп. за вывоз из реки одного бревна. Строить некому: все руки заняты.

Купцы казаков шибко прижимают. Знают они, что казаку вещь нужная, что ни проси — купит.

— Не торгуют они с нами, — заметил один старик казак, — не торгуют, а грабят нас. Я так это самое одному купцу в глаза и сказывал на днях.

Солдатик из евреев, верный племенному характеру, успел уже завести кое-какую торговлю по мелочам: по перекупке, перепродажам. Вырядившись в пальто и жилетку, он ведет эту торговлю, разнообразную, суетливую.

— Да мало, — говорит, — тянет, не клюет. Гольды за соболь-то с трех рублей довели теперь до восьми.

На дворе Духов день, и в станице — праздник: в избах жареным пахнет (вероятно, козуля). Среди улиц стоит березка; к верхушке ее привязана ленточка, словно флаг. Сама березка обвязана платками; кругом ее ходят маленькие девочки, одна за другой, и поют песни согласно и верно. Старушка подле стоит: учит их, налаживает дело, показывает, как надо, как водится это на матушке-родине, в Забайкалье. Вечером березку

эту снимут с места, понесут на реку и потом с песнями бросят на воду и что-нибудь загадают на свое девичье, а может быть, и станичное счастье... А маленькие девочки отправляют обряд этот потому, что больших девиц нет.

Амур за станицей продолжает разливаться словно широкое озеро. Необыкновенно широка и главная протока: посмотришь направо — остров вышел, и кругом этого острова обходит вторая протока далеко-далеко; может быть, к тем самым горам, которые затянуты дымкой и синевою. Посмотришь налево — то же самое. Острова выплывают впереди, плавают назад; островам этим конца не видать. Амур разнообразен и своеобразен. Прихотливо изменяет он свой характер почти на каждой сотне верст. День стоит чудесный; солнце, в истинном смысле южное солнце, печет сильно. Небо необыкновенно чисто, и повсюду тихо, берега далеки; оттого, вероятно, и птиц не слышать; не слышать даже кукушки, которая криком своим преследовала нас с утра до вечера несколько суток сряду. Навстречу нам, тяжело махая крыльями, летит журавль подле самой воды и скрывается потом в тальнике и высокой болотной траве. Вероятно, сегодняшний лягушачий концерт не будет совершенно полный; не один, вероятно, певец сократится: недаром у журавля и длинные ноги, и длинный нос, и журавль — птица болотная.

Берега Амура замечательно низменны и все подмыты водой. Во многих местах торчат тальниковые корни, и у берега в воде пропасть корья; но и тальник этот, вероятно, скоро рухнет в воду всей своей кучей. По левому берегу выстроено семь домов в ряд — ст. *Головина*, построенная наполовину из лесу, приплавленного из Забайкалья; остальная половина — бревна осинового, местные. К числу общих казачьих повинностей в этой станице присоединилось еще содержание перевозов на двух соседних речках (одна в 4 верстах от станицы; другая в одной версте). Также низменные берега и так же широко, как озеро, и картинно расплывается Амур и перед следующей станицей *Вознесенской*.

Станица эта удалена от главного русла Амура версты на полторы, на целую версту от протока, и помещена на маленькой возвышенности, посреди таких луговин, которые, судя по кочкам, по рассказам гольдов и по приметам самих казаков, в иные годы покрываются водой. Оттого трава по луговинам отличная и выгоны для скота роскошные настолько, сколько могут позволять это амурские степные пространства. Подле деревни довольно длинное озеро, которое в сухие лета высыхает почти все: заводятся черви; но теперь Амур наполнил его водой, которую казаки употребляют в пищу и остаются довольны. Родников поблизости нет, и самое озеро, конечно, не иное что, как протока Амура, замененная новой. Но насколько хороши около станицы травы, столько же неблагоприятна земля, исключительно песчаного свойства. Вообще хлеб не родится и поля ушли далеко. Дома большею частью сделаны из лесу, приплавленного в парамах с Шилки. Кое-какой осинник вырубает в соседних перелесках. Незначительное число бревен тащит за собой Амур на полной воде и — «имаем» (ловим, добавляют казаки). В дровах недостатку нет. К домам приделаны даже крылечки, видно, за тем малым досугом, который дает непригодная к посевам земля. От протока к станице на первом году поселения успели проложить порядочную дорогу и даже через одну болотную луговину мост навели.

Посетила цинга и эту станицу (как и все почти от самого Благовещенска).

— На родине-то мы про нее и не слыхивали, а здесь вот довелось и на костылях проходить — сначала-то шибко мучились: не знали, что и делать. Да вот степь-то дала лук экой (дикой — черемша): стали есть, ладно вышло. Лук-от этот крепко способляет. Теперь, однако, цинги этой меньше стало.

Оказалось, что первых поселенцев этой станицы сначала выселили было на остров, который тянется вблизи настоящей станицы, за узенькой, но глубокой протокой. Остров оказался узким (сажен 150), хотя и длинным

(16 верст), но без удобных мест для пахоты. Казаки начали сильно жаловаться. Велели им отыскать новое: выбрали то, на котором стоит теперь станица.

— Нашо место еще ничего, — говорили мне казаки, — а вот будут станицы пониже — дрянь такая, что и не приведи господи! Кочки да топи все, лесу опять же нету. У нас хоть выехать за дровами, за лесом есть куда, а там и того нету.

Ст. *Петровская* (8 домов, 20 семей) помещена в некотором расстоянии от берега. До сих еще пор в неприкосновенной целости все пни, сучья, неровные, кочковатые тропинки — все, одним словом, обстоит благополучно.

— Каково, братцы, живете-можете?

— Да так, кое-как пробиваемся.

— Есть ли запасы? есть ли семена для посева?

— Запасы под исход идут: запасами-то крепко нуждаемся. А посеять-то? *Мало-мало* посеяли. Вишь, у нас сеять негде; пахоты-то нету, местов таких: все кочки да болотины.

— Зато для скота, поди, лучше?

— Скоту точно что привольно. Травы растут хорошие.

— Лес для домов где брали?

— А здесь вот осинник рубили: такой и лес наш.

— Да ведь этот непрочный: погниет скоро.

— Какой уж это лес! Мы на своей-то стороне и в избу его в свою не носили, брезговали. А вот теперь и он в честь попал: жить в нем довелось. Прочность-то его какая: года чай два простоит ли полно? Весь он укреплен на ветоши: моху не нашли. Ветошью (а кое у кого и берестом) и крыши мы свои крыли. На ветошь эту (старую, прошлогоднюю траву) мы в Забайкалье палы напускали, а здесь вот и она в великую честь попала.

— В ветоши-то этой, поди, всякого гнуса много?

— Довольное количество: и ужаси!

— Ветры, поди, тоже мечут крыши ваши?

— Зимами-то сильные пурги живут. Да вот и теперь: коли днем ветру не было, жди к ночи. Дня без ветру не проходит.

И действительно так. На Амуре погода расходуется замечательно скоро. Глазом почти мигнуть не успеешь, и пойдет волна постукивать в борты лодки.

— Ладно ли едите-то? Ладно ли зиму-то прожили?

— Да со всячиной.

Станица *Луговая* (7 домов, 26 семей) помещена за протокой; за протокой же лежит и ст. *Спасовская* в пять дворов (21 семья). Спасская протока вытянула длинный остров, весь затянутый в густую зелень. Из-за зелени этой не видно второго устья реки *Уссури*, которым вышла она в Амур недалеко от Спасской станицы. Второе и главное устье *Уссури* расположилось в 40 верстах отсюда, под *Хабаровкой*. Между этими двумя устьями и Амуром обе реки набросали длинный низменный песчаный остров, замечательный по величине своей и крайней бесполезности.

— Место тут, — говорили казаки, — самое такое дикое, что все один песок да тальник, и какая есть трава на свете, так и той, кажись, нету вовсе.

На правый берег Амурской (левой уссурийской протоки) вышел коротенький, но довольно высокий горный кряж: его-то прорезывает устье *Уссури*, столько же широкое, как и главная (матерая — по-казацки) протока Амурской. Мелким островам в этих местах как будто и конца нет. Прямо против станицы Спасской самый длинный из островов этих; подле него залегла мель и оголилась длинная песчаная коса.

В этой станице жалобы на бездолье превращаются уже в ропот. Оказывается, все — дурно: и земля вся песчаная — ни садить, ни сеять; для пахоты места вовсе нет, луга хороши, но кочковаты; лес еще не вырублен. Место действительно безутешное. В нужде своей казаки дошли, напр., до того, что ели дубовые желуди (недели за две до моего приезда).

— Зимой всю лопатину (носильное платье) проели за буду гольдам.

Некоторые стали шить себе рубахи из мешочного холста. Хлеб начали подвозить только теперь (24 мая):

— Надо быть, семена, — говорили казаки, — да мы их съедем.

В огородах посажен лук, огурцы; последние уродились особенно хорошо — пришлись залежи. На этом месте весьма недавно жили гольды и до сих пор еще цел покинутый ими дом. В доме этом бабы делают свои уроки-кирпичи не столько из глины, сколько из песку: изо ста кирпичей успевают обжигать только тридцать; остальные от жару трескаются и разваливаются на несколько мелких кусков<sup>11</sup>.

Гольдский дом замечательно выстроен. Стены его из глины, перемешанной и перемятой вместе с ветошью, укреплены на тонких столбах и чрезвычайно прочны. Потолка, по обыкновению, нет, но крыша держится вся на тонких тальниковых прутьях, положенных прямо на стропила. Тальник этот устлан одним слоем той же ветоши и так же круто смешанной с глиной. На этот слой накладывается слой сырой глины по длине крыши, чтобы вода свободно могла стекать на двор, а не просачиваться сквозь крышу. На слой глины снова накладывается толстый слой ветоши, которая обыкновенно сплетается *китами*, т. е. пучками, и решительно в том самом виде и с теми же подробностями, как это привелось мне видеть в Орловской, Тамбовской и Пензенской губерниях.

— Вот вам, казаки, где бы поучиться! — заметил я своим проводникам. — А то ведь ваши крыши все разметало да подбросало. Крыша твердая, толстая, а ведь, пожалуй, и красивая, да и давно уж стоит, поди.

— Лет восемь стоит, надо быть, потому что и мы-то вот уж четвертый год здесь живем, а дом этот казал и вначале, словно бы давно уж тут.

— Так отчего же вы не берете простых таких и хороших примеров?

— Некогда, Богу поверьте: некогда! Денег в руках своих никаких не видим. Получим вот семян, да и все тут.

— У нас еще что! — приговаривал другой казак. — А вот по Усуре, так там уж плохо. Мы хоть козулю

убьем да съедим, а там и того нету. Вот батальон-то под горой пришелся...

Вправо от нас синееет гора, под которой течет Уссури и выстроена станица Казакевича с батальонным штабом (до нее от станицы Спасской с небольшим 30 верст прямиком по уссурийской протоке).

— Работа у них тяжелая, — рассказывал мне казак. — Лодки-то плавают они все вверх: станок-от еле в сутки одолевают...

Не больше радостей и вестей отрадных получаешь и в следующей амурской станице — *Новгородской*. Первоначальное место для ее основания пришлось в лесу, среди кочек и выбоин: мест для пахоты изыскивать было нельзя; решились перенести селение на новое место, верст на пять пониже. Место оказалось очень удобное: всходы были отличные. В день моего приезда получили небольшое количество семян и все, несмотря на праздничный день, бросились в поле (верстах в 3 от селения). В станице я не нашел ни одного казака. Лес от станицы верстах в двух, но хорошего нет: один только осинник. Бурундуки разрывают огороды и оципывают зелень преимущественно на капусте.

— Как, — говорят, — плотно ни прикроешь рассаду, пролезет, проклятый. Есть они тоже у нас в Забайкалье, так станешь прочищать места около лесу, корни выкапывать — пропадают.

В соседнем лесу трех кабанов убили: одного в 10 пуд, другого в три. Те, которых убили осенью, были жирнее; весенние (недавние) попались скудны телом и жиром. Охотились на сохатого, на козуль. Вот казачья мясная пицца! В прошлом году был невод — рыбу ловили.

— Нынче невод загнил, а нового сделать некогда, да и не на что. Хлебом кое-как перебивались из Хабаровки, по небольшому количеству снабжали — были милостивы. Кое-что покупали у гольдов. У маньчжур всего много, в избытке, да ничего они продавать не хотят. Так, слышь, им от ихнего начальства приказано!

Новгородская станица — последнее казачье селение на левом берегу Амура и последняя принадлежащая Амурской области. Хабаровка — первая станица на правом берегу Амура и левом Сибири. Характер местности и характер самых селений принимает иные формы; видоизменяется Амур: из степных пространств вступает в лесную полосу; леса сопровождают его вплоть до устья, до Охотского моря. Все пространство это от устья Уссури предназначено для так называемых гражданских поселенцев, из охотников — крестьян русских губерний. Хабаровка стоит на самом рубеже этих двух разнородных семейств: казачьего и крестьянского (казачьи поселения идут еще по всему правому берегу реки Уссури).

Хабаровка расположена в 927 верстах от Благовещенска и почти в таком же расстоянии от Николаевска.

### 3. ОТ ХАБАРОВКИ ДО НИКОЛАЕВСКА

Река Уссури, впадая в Амур почти под прямым углом, ведет по левому берегу своему тот низменный и песчанистый остров, который образуется ее вторым рукавом и рекою Амуром. На правый берег Уссури (за 40 верст до устья) выходят высокие сопки — отроги внутреннего возвышенного хребта, носящего на языке туземцев название *Хохцыра*. Отроги его, по мере приближения реки к устью, постепенно склоняются и идут в большей части случаев сплошными прикрутостями. Там, где Уссури встречается с Амуром, последняя прикрутость *Хохцыра* оступается в воду крутой каменистой скалой, стоящей как бы отдельно и в то же время богатой разнообразиями растительного царства. Об эту скалу Амур как будто надламывается, и, как бы уступая быстрому подгорному течению Уссури, круто поворачивает к северу, и идет почти в том же направлении, как и Уссури. Долго затем темная вода этой последней реки не мешается с желтоватою полосой

воды амурской; долго потом Амур течет все в одном и том направлении, какое назначено ее притоком. Устье обеих рек замечательно широко и многоводно; слияние их обозначилось вначале огромным откосом, замечательной величины мелью; фарватеры обеих рек прижимаются к противоположным берегам (уссурийский к правому, амурский фарватер к левому берегу); круто обрывистая скала служит разделом вод и той и другой реки. Около этой-то скалы и по ее отклонам, или прикрутостям уссурийского берега, выстроилось новое казенное селение, носящее имя первого храброго завоевателя Амурского края, *Хабарова*.

Застроенная исключительно домами батальонного штаба (в виде крупных казарм и мелких домов для семейных), Хабаровка с реки поражает замечательною оригинальностью постройки и самого вида. Благодаря естественному строению Хабаровской горы, разбившейся на две — на три терассы, и отчасти предусмотрительности строителей, Хабаровка выстроена именно таким образом, что ни одно строение ее, как бы оно ничтожно и некрасиво ни было, не прячется от глаз, не скрывается одно за другим. При сравнительно малом числе строений Хабаровка кажется при выезде с Амура большим, людным и хорошо обстроенным селением. Дома Амурской компании, застроенные поодаль за оврагом на отдельной прикрутости по направлению к Уссури, в общем виде Хабаровского селения играют не последнюю роль и в свою очередь значительно дополняют своеобразность этого ландшафта. Лишь только проезжий очутится на берегу, стук топора и визг пилы преследуют его с утра до вечера везде: и на том краю, где выстроились в два ряда длинные казармы, и на другом *фланге* (как привыкли выражаться в Хабаровке), где опять идут казармы, несколько землянок и овраг с пересыхающим ручьем, за которым на горе и в невырубленном еще лесу поместились строения Амурской компании. Между домами кое-где огороды, во многих местах убраны свежие пни богатых и некогда рослых

деревьев и, благодаря распорядительности начальства, с одного конца селения до другого (на расстоянии двух верст) проведена гладкая дорога, род шоссе. Шоссе это, воспользовавшись разлогами скал, спускается на берег Амура ниже скалы, разделяющей воду двух рек, и оканчивается там, где выстроены госпитальные здания. Лес на этой скале остался в целости, невырубленным; прочищены между деревьями дорожки и убран валежник, вследствие чего первобытное лесное место превратилось в довольно большой и красивый сад. С одного пункта этого сада, с одной площадки его, видна вся затейливая и хитро обдуманная постройка Хабаровки, видна Уссури с двумя песчаными отмелями, с низменным огромным островом, дальним высоким хребтом Хохцыр, виден прямо перед глазами широкий Амур, огибающий огромную низменность, ушедшую в бесконечную даль к станицам Новгородской, Спасской и Луговой<sup>12</sup>. Вторая расчищенная в саду площадка выводит наблюдателя уже прямо на Амур и показывает ему то место, где обе реки сошлись в одно русло, и только подле самого берега, под ногами, вода реки Уссури быстротой течения оспаривает свое место и право у спокойного, торжественного течения желтоватой воды амурской. Прямо перед глазами тянется еще во всей своей неоглядной красоте зеленая степь низменного левого амурского берега; правее и дальше выплывают амурские острова, и еще правее, по правому берегу Амура, потянулись уже вековые густые леса, наполненные дубами, лиственницей, буком, орешником и проч. На этот раз правый берег Амура — русский берег, нераздельно с левым принадлежащий по правительственному разделению, как известно, к Приморской областн Восточной Сибири.

Во всяком случае, Хабаровку должны мы отнести к числу лучших, красивейших мест по всему долговому течению Амура и готовы, пожалуй, признать за нею все выгоды и преимущества для того, чтобы селению этому со временем превратиться в город<sup>13</sup>. Действительно,

лучшего места для города выбрать трудно, и, вероятно, город и будет тут, если изменятся настоящие условия амурских заселений и если будущее Амура будет счастливее настоящего.

Усури сделала Амур на дальнейшем течении его замечательно широким. Редко он успевает протянуть свое русло от гористого материкового берега до гор другого, противоположного, по большей части, как и прежде, застилаясь множеством островов, но зато острова эти становятся замечательно больше. Ветры, которые на этот раз по большей части низовые (встречные) и по преимуществу сильные и устойчивые, успевают разводить и гнать такие волны, которые решительно напоминают волны морские. В одном месте нам удастся заметить такое огромное количество чаек, какое может быть видно только в одном Соловецком монастыре; но там чайк этих прикармливают — здесь они сами с невыразимым писком поминутно набрасываются на воду, предварительно описывая круги в воздухе. Видимо, рыбы тут много, и если не всякой, то по крайней мере мелкой. Не увеличивая своей глубины, река продолжает иногда затягиваться мелями и даже во многих местах сдавать так называемыми *перелевами*, т. е. песчаными косами такого рода, которые появляются среди реки и затягивают ее почти от одного ее берега до другого. По обыкновению, также замечательная на реке редкость — *буяны* — камни, случайно поместившиеся иногда в самой середине<sup>14</sup>. Береговые отпрядыши, откосты, все еще по-прежнему очень часты и приметны для глаз по желтизне воды на всех местах подобного рода и по тем *толкунцам*, которые набивают набегающие волны — *бельки*. Течение реки заметно быстрее, по крайней мере на всем ближайшем к Хабаровке пространстве; быстрота эта приметно и значительно увеличивается во всех тех местах, естественно, где в Амур выбегают реки, всегда на этот раз горные, и, конечно, быстрые, и если не порожистые, то во всех случаях каменистые и рыбные. Горы, сопровождающие сначала один правый берег, а

потом, на второй сотне верст от Хабаровки, оба берега, как будто круче и выше; вершины их острее, и, во всяком случае, все выкрыты довольно густым лесом, и все мрачного, неприветливого вида. Некоторые сопки, зачастую выходящие прямо на речной берег, высотой своей не уступают хинганским сопкам; большая часть из них голы и обрывисты. Иногда между горными кряжами задаются пространные низменности, но замечательно редко; все они заставлены густыми, темными рощами. Острова одни (которым положительно можно счет потерять) все еще бедны растительностью; на большую половину песчанистого свойства, обрывистые и обсыпчивые на всякой сильной и устойчивой волне, острова эти по большей части выкрыты чахлым кустарником, носящим на местном языке казаков и солдат название *таваложника*. Кустарники эти растут часто и плотно, с трудом проходимы, особенно когда по окраинам берегов они идут в сопровождении высокого бестолкового тальника. Река во многих местах подле берегов завалена горами вырванных с корнем деревьев — явление особенно частое и особенно замечательное на Амуре. Здесь процесс строения берегов и образования коренного законченного русла все еще как будто не остановился ни на чем положительном, все еще как будто продолжается. Во многих местах острова значительно (наполовину иногда) уменьшились в величине и объеме; во многих они совершенно смыты, пропали. Особенно знаменательный факт совершился против ст. Горинской (Хоро). Там пропал нынешней весной остров, который по словам старожилов до прихода русских имел длины шесть верст; в начале нынешней весны от него оставался еще замечательно большой кусок длиной с версту. Вода пять лет подмывала его и потом, разломавши медленно и верно на несколько частей, рассыпала наконец в разные стороны без шума, без грома, со всем сущим на нем: деревьями, камнями, бурундуками, крысами и прочим. Конечно, теперь в этом месте образовалась мель. Берега

Амура густо поросли лесом: березой, пихтой, сосной и елью; часто на прибрежный щебень из падей выбегают живые, свежие ручейки-ключи, которые, кажется, нынешней только весной выбились на свет Божий и мчат себе без русла прямо по камням и через них, мало-помалу быстротой своей раздвигая их. Летом образуется русло; к осени оно пересохнет и на осенних дождях, по всему вероятно, снова расширится. Зимой все это затянет снегом и закрепит льдами; на будущую весну ручей вздумает проложить новую дорогу, и старое русло пропало навеки. Таких ложбинок по побережьям очень много.

Сторонние виды на этом низовом течении Амура необычайно дики, особенно по правому берегу реки темная, густая полярная зелень сосен, пихт и елей сумрачно глядит по низовьям этого берега, и леса, то, постепенно понижаясь и возвышаясь, взбираются по ближайшему невысокому гребню, то, редая и путаясь с свежую зеленью недавно распустившихся берез и лиственницы, рассыпаются по всей ширине и длине ближайших к воде прибрежий. Хороши и картинны во всех этих случаях подьемы на горные отлогости по ровным, словно подстриженным, вершинам деревьев. Тянутся леса эти ровно и гладко на широком пространстве и, постепенно чернея вдали, пропадают в падах, заставленных новой горой, также вплотную выкрытых такой же рощей. А там дальше, назад, словно великаны, стоят настороже высокие хребты плотной и мрачной стеной. Зелень там стусевалась в громадную черно-синюю площадь, по зубчатым вершинам которой стелются и липнут по местам, что облака, белесоватые и длинные клубы туманов. Но зато мирно глядит левый берег, весь усыпанный мелким щебнем, между которым с великим трудом можно отыскать крупные камни. Камни эти, как осколки, сопровождают только скалистые берега; у лесов же, как и на низменных берегах, большие крупные камни — замечательная редкость.

Дикость и бесприветность всех этих мест удваивается еще крайним безлюдьем. На всем этом пространстве от Хабаровки до Мариинска (в пятьсот с лишком верст) весьма редко расставлены одинокие избы в расстоянии одна от другой в 30—35—40 верстах. Избы эти носят названия по большей части ближайших к ним гольдских селений и рек, чаще отличаются номерами, по счету, начатому с Хабаровки. Избы эти — станки, деревянные дома, наполовину не отстроенные, — населены небольшим числом (меньше десятка) линейных солдат, получающих казенное содержание и обязанных смотреть за казенными почтовыми лошадьми, рубить лес для казенных пароходов. Они выстроили эти избы и перестроили их, когда время в явь показало, что все, что скоро, не бывает споро. За все это солдаты получают 1½ фунта хлеба (сухарями), муки, когда подвезут, крупы, когда дадут, и вот уже почти полгода не получают *ни щепотки соли*. Что и рыба гольдская, что и дичь лесная без этой приправы?

При некоторых избах семейными солдатами разведены огороды, вырублены значительные лесные рощи, но пахотных мест нигде не заготовлено — и по необязательству, и за недосугом. В помещении этих станков замечается одно общее стремление — ставить их ближе к селениям гольдов, без разбора удобных или неудобных мест; некоторые из них очутились на островах и иногда на подмываемых водою берегах, отчего некоторые станки принуждены были перенести во второй раз на новые места. При некоторых из них построены бани, по большей части из первоначальных землянок; около многих сооружены сараи для складов пайка и покупной у гольдов провизии. Выстроенные на местах, открытых ветрам, станционные избы представляют вид разрушения: разметанные крыши, разбитые окна. У некоторых из этих станков пристроено несколько новых изб, назначенных для так называемых гражданских переселенцев, плывущих сюда из внутренних

русских губерний. Таково, по крайней мере, селение *Горинское*.

Еще далеко до этого селения и почти сейчас же за Хабаровкой, на берегу Амура, разбросаны гольдские селения, доходящие в количестве юрт своих в одном месте от 3 и 4 до 12 и 23. Впрочем, большая часть этих деревень держится материкового берега и разбросана за островами и по протокам; замечательно редки они по берегам главного амурского русла. Но все по преимуществу заняли лучшие, удобные места для поселений; гольдские деревни, как маяки, могут в этом случае служить указанием для новых русских поселений. Выйдет широкая, обширная падь с бойкой рекой или речонкой; расстелется ровная прикрутость, заслоненная горами, — гольдская деревня непременно уже разбросалась со своими зимниками (назади) по уступам, террасам, по так называемым *подушечкам* и со своими летниками, — на *стрелках*, по песчанистым или каменистым побережьям, впереди селения. Зимники обмазаны глиной, летники из береста: обстоятельство, делающее гольдские деревни похожими одна на другую как две капли воды, даже и в мельчайших подробностях и обстановке. Таковы все, попавшие нам на глаза гольдские деревни: Доле, Май, Панке, Хунгари, Джооми, Мылки, Бельго, Цянка, Хоро и др. Гольдовской деревне обыкновенно предшествуют большие и частые ряды мелких кольев, воткнутых в землю на всем пространстве от воды до юрт. На перекладины этих кольев гольды вешают обыкновенно свою юколу — ремни, ленты, вырезанные из выловленной красной рыбы: кеты и горбуши и желтые из осетрины (головы рыбы просушиваются особо). Оттого-то осенью гольдская деревня всегда отликает красным цветом, как будто сплошными полосами крыш. На этих кольях красная рыба обыкновенно вялится и по зимам служит вместе с будою единственною пищею этого инородческого племени (эта же юкола вместо мяса вошла в паек для солдат, населяющих станки). По этим же кольям можно легко узнать гольдскую

деревню издали, и этих же колышков можно пожелать и русским селениям. Немного отступя от берега, поближе к воде, всегда на низменности, выстроены берестяные юрты-летники, которые иногда снимают на зиму, иногда относят их на некоторые расстояния от селений, на места более счастливых и выгодных уловов рыбы. За летниками, всегда на возвышенности, выстроены зимники из мятой и смешанной с ветошью глины. Юрты эти ничем не отличаются от маньчжурских юрт. Те же широкие окна с бумагой вместо стекол, те же нары кругом всей юрты, накрытые соломенными циновками и подогреваемые снизу проведенными из печки трубами; те же неизменные горнушки с горячими угольями во многих местах подле самых нар, в количестве трех-четырех, смотря по числу семейств, живущих в юрте. Уголья эти необходимы для гольдок и гольдянок, зараженных от мала до велика страстью к курению табаку. По этой причине у редкого из гольдских селений не видать на задах огородов с длинными зелеными лопухами маньчжурского табаку. Кроме огородов, у гольдовской деревни нет никаких других особенных украшений. В замечательно редкой из них где-нибудь на пригорке виднеется деревянный храмик с деревянными же, но некрашеными бурханами. Но зато во всякой из деревень — клетки для рыболовных снастей и домашнего скарбу, утвержденные на четырех столбах, на некотором возвышении от земли<sup>15</sup>; кучи собак, злых и беспокорных; несколько стариков, женщин и малолетков, оставшихся домовничать за уходом всех остальных на рыбные промыслы; на берегу лежат опрокинутыми гольдские лодки, носящие общее название маньчжурок<sup>16</sup>. Затем — картина гольдской деревни не требует уже никаких дополнений.

Гольды только чернотой лица и большою скуластостью отличаются от маньчжур, да еще, может быть, страстью ко всякого рода подвескам. Нам случалось встречать и у мужчин в ушах огромные медные кольца с подвесками из разноцветных камней; те же огром-

ные медные кольца попадались в ушах у женщин и в ноздрях у маленьких девочек. Домашняя обстановка, одежда — все, по-видимому, заимствовано гольдами, и народ этот как будто не иное что, как одичавшее племя маньчжуров, живущее в пустынях и за горами, вдалеке от городов и людных селений. Те же бритые лбы и длинные косы, черные как смоль волоса, рубахи и русские и маньчжурские, курмы и у гольдов, как у самих маньчжур. Язык гольдский, впрочем, не имеет ничего схожего, но зато та же страсть украшать кисеты с табаком нашими русскими целковыми и полтинниками; та же страсть к торговле, доведенная до навязчивости, и, наконец, те же законы в заимствовании и коверканье-русских слов в способах и приемах при торговле.

— Далеко ли до Бельго? — спрашивали мы одного гольда.

— Нету далеко! — ответил нам гольд так же, как ответил бы нам в подобном случае и маньчжур, умеющий — что называется здесь — говорить по-русски.

— Деревня там? — спрашивали мы опять того же гольда.

— Рушки юрт, — отвечал он нам и тотчас же обратился с своим запросом: — Соболи есть купи: селебело есть купи соболи?

От привычки нетрудно было понять, что у него есть соболи, что он желает их продать, но не иначе, как на серебряную монету.

В лодку мою, лишь только она приставала к какой-нибудь гольдовской деревне, лезли эти гольды с юколой, осетриной, белужьей свежей икрой. Привелось мне у одного купить и расплачиваться пятиалтынными. Гольд и толк потерял: не берет.

— Покажи, сколько их приведется на чальковой! — мог я понять по его движениям и словам.

Маньчжуры в этом отношении далеко опередили гольдов и счет деньгам русским знают лучше нашей другой старосветской мелкопоместной барыни.

Один только гольд на всем пути моем от Хабаровки до Мариинска сумел прямо выпросить четыре чальковых и половину за одного довольно порядочного соболя.

Солдаты наши у одного из гольдов на кисете с табаком между многими подвесками заметили русский серебряный крест. Потолковавши между собой, решили крест этот выкупить, «чтобы нехристь над ним не надругалась». Пошли на сделку и «кое по перстам, кое на языке» столковались на том, чтобы отдать столько серебрянных монет, сколько вытянет крест. «Крест вытянул три четвертака: три четвертака и отдали».

Кроткий, миролюбивый взгляд, крайняя бедность одежды, коротенькие наполеонские клинообразные бороды у стариков, смелые улыбающиеся лица у ребяташек и робость при встрече русского только в прекрасной половине гольдского племени, в говоре частые придыхания — вот все, что можно было заметить в гольдах при легком, поверхностном наблюдении.

Шумно живут довольно людные гольдские деревни, оживленные и людским криком, и лаем собак. Как и быть надо, жилым и настоящим селением глядят все эти Бельго, Джооми, Хунгари и друг. В этом отношении им могут даже позавидовать все наши казачьи верховые станицы. И каким-то мертвенным, бездушным контрастом отбивают наши русские избы, построенные всегда поодаль деревень гольдов (верстах в  $1\frac{1}{2}$  и 2), хоть бы, напр., и та изба, которая выстроена неподалеку от деревни Цянка. В деревне этой нам довелось купить у гольда рыбы калужины (белужины) и фунтов 10 икры. Мы давали ему серебра; серебра он не брал: просил табаку. «Подари, — говорит, — мне табаку, а я тебе рыбу подарю...»

— Чем вы пользуетесь от гольдов? — спрашивал я у солдат.

— Да чем от них поживишься?! Рыбу дают: рыбы они много промышляют.

— Чем же вы платите им за это?

— А ничем, да и нечем: даром дают, в подарок.

— И дружно вы с ними живете?

— Дружно: народ чудесной. Гиляки пониже-то живут: те народ — плуты, разбойники, скверной народ. Самогиры с верховьев Горюна-реки (Гирина) приходят — совсем как гольды, по языку только и распознаешь: другой язык. А то все одно!

— Чем эти промышляют?

— Соболей много живет в хребтах-то.

— А еще что живет там?

— Медведей много. Вот и теперь у них с год уж живет один в срубе: для гиляков откармливают. Гиляки эти раз в году, в праздник, медведя этого выпускают из сруба; бегут за ним, на веревки крутят, борются; а как он изойдет уж силой — тогда прикалывают и едят. Этим они своему богу почет воздают. А насчет медведя, то они этого зверя почитают за человека; очень поэтому его любят и боятся... В хребтах-то наших еще олени водятся...

И вот после слухов о кровожадных тиграх начинаются слухи о недальных оленях — самых мирных из всех лесных обитателей. Амур сильно подается к северу, и все на нем обличает близость суровых полярных стран. Дни все время стоят заметно холоднее, чем те, какими дарили нас берега Амура между Хинганом и Хабаровкой; ночи заметно суровее; раз завязавшийся ветер, всегда крепкий, тянет непрерывно от полтутора до двух суток. Ветер этот как будто припадет на реке; слышишь — он уже гудит по горе, шатает лесами, несет оттуда гул, который постепенно усиливается; ветер накидывается на воду, круче заворачивает уже раньше расходившиеся волны и рябит их хребты с визгом и крупными брызгами. Гул становится общим; опять на время припадает и опять начнет сначала. Ветер иногда, что называется, обтечет и станет нам боковым и начнет как будто укладывать, уменьшать волны; смотришь — и опять он во воей своей силе, как и быть надо весеннему свежему и не столько речному, сколько морскому ветру.

На дальних горах замечаются как будто просветы, и просветов этих особенно много после того, как разре-дились туманы, сгруппировавшиеся по дальним окраи-нам неба. Какие-то светлые, серебристые, яркие пятна видятся нам на дальних горных вершинах.

— Гольцы подошли! — заметил один солдатик.

— В Камчатке и все так! — подсказал другой.

— На Байкале-море таких гольцов тоже очень мно-го, и на них снег никогда не тает. Эти, надо быть, к морю уж подошли! — решил из гребцов моих третий.

И действительно, горы так высоки, что как будто упираются вершинами своими в небо. Местах в деся-ти сверкают остатки снега, может быть вечного, но во всяком случае вешнего. Туман по местам прицепился к ним, и снег оттеняет своим мертвенным, дымчатым цветом еще яснее. Горы кажутся решительно высере-бранными. Долго смотришь на них и не можешь доста-точно налюбоваться: и дико, и своеобразно, великолепно!.. Целый гребень гольцов этих залег там в туманной дали и долго тянется длинной и непрерывной цепью; ярко-серебристым цветом отливают они, резко, нео-быкновенно резко оттеняясь от соседних белесоватых облаков. Один хребет выше другого и без всякого срав-нения выше передних, близких к реке. После крайнего однообразия амурских берегов картины гольцов увле-кательны. Долго потом держался туман около этих сне-гов, но затем мало-помалу пропал, поднявшись выше, и серебро гор потеряло всю свою прелесть и весь эффект. Серебро вершин их, не оттеняемое теперь контрастом дымки тумана, оказалось простыми глыбами снегу, за-лежавшегося еще на горах, несмотря на то, что было 1 июня. Гольцы, по всему вероятно, не гольцы, а более возвышенные вершины, покрытые тем же лесом, хотя на этот раз может быть и чахлым, реденьким, низким. Горят серебром только самые дальние и высокие хреб-ты; на горах (также высоких) по левому берегу снегу уже нет нигде, и уцелел он только в падах и ложбинах между горами правого берега.

Немного разнообразия несут за собою и следующие места по Амуру, и следующие станки за Гирином, окрещенные уже русскими именами, каковы: Чуринова, Шелехова, Литвинцева, Жеребцовская, Шахматова, Федоровская, Елисеева, Чуриновский домик — решительная вербная игрушка: и лесенка, и избушка, и мох даже есть... В нем нашли мы двух линейных солдат (двое других ушли на работу в лес); ни полей, ни огородов не разводили. Соль вчера получили; без нее сидели долго. В Шелеховой вид тот же: изба на горе по подушке, ручеек выбежал, на берегу к горе примкнулась баня... В станке Федоровском на берег вышла баба; гребцы мои, солдатики, отправленные в Николаевск из Хабаровки, завели с ней разговоры; ничего интересного.

— Сколько верст до Елисеевского?

— Тридцать.

— Где солдаты-то?

— Лес рубят (слышен звон топоров где-то поблизости).

— Чей мальчик-то?

— Мой.

— И ладно! Промежуточного станка нет?

— Нету.

— Будь здорова, тетка, прощай!

И ребята хохочут: довольны.

— Охота же вам об таких пустяках разговаривать, — заметил я им.

— Живой человек, ваши благородие! Поговорить хочется: скучно уж очень шестые сутки без молвы ехать; скучно ехать...

Действительно скучно: места прибрежные становятся сумрачнее и тоскливее; горы глядят голыми камнями, лес затянулся мертвенной хвоей. Противный ветер тянет крепким холодом и целые сутки держит нас прибитыми в лодке к пустынному песчанистому берегу. Гольдские деревни становятся реже и мельче: дома два-три и — не больше. Припадет ветер — на вершинах

гор завяжутся туманы; скоро поползут они вниз; мгновенно затянут дальнюю деревню, расстелются по реке; мигом закроют от нас все и сыплют потом на лодку, на ваше платье крупные капли росы. Долго и упорно крепится туман над рекою; пахнет ветерок — погонит его с воды, с берегов; покажет нам вдалеке одинокую, сиротливую избу-станок, как две капли воды похожую на все прежние, и поползет опять этот докучливый туман по горным отлогостям к вершинам; заляжет в ложбинах и долго потом лежит в них, не двигаясь до тех пор, пока опять не потянет низовой ветер.

— Без ветру, знать, Амур-от не живет! — замечают про себя мои солдатики.

— зуб, братец ты мой, на зуб не попадает, а кажись бы и лето в поре! — подсказывают другие.

И то и другое замечание справедливы и неоспоримы. Но от этого не легче!

К полудню начнет проглядывать и пригревать солнышко. В лесу заиграет какая-то птица, словно горнист в трубу: и густо, и звонко, и часто, как будто пробует горло, не отсырело ли оно, не засорилось ли за ночь и за туманом. Еще какие-то птички чирикают, и с ними неизбежная кукушка, которая особенно любит расхотиться к вечеру. Для полноты картины лягушки разведут свои концерты. И иногда, изредка, гольды, легкие на помине и на ногу, протащат вверх на лямке большую лодку, бойко прыгая по камням, и вызовут от моих солдатиков бесцельное замечание:

— Должно быть, на дальней промысел собрались!

Гольды, однако, в летнем платье и все в своих остроконечных, наподобие воронки, белых шляпах, сделанных из бересты и в одном только месте (и аляповато) сшитых черными толстыми нитками.

Ст. Елисеевская то мелькнет, то снова пропадет от нас за возвышенностями правого берега, спрятавшись между кустами острова, хотя и стоит она на матером берегу<sup>17</sup>. Из-за острова вышла вторая протока; при слиянии ее на берегу очутилась обрывистая и крутая

скала, покрытая лесом. За скалой образовалась падь; на этой-то пади и выстроена станционная изба Елисе-евская. За ней, по обыкновению, вблизи растянулась гольдская деревушка; на этот раз большая (10 домов) и красивая.

В избе солдатики что-то варят в печи: оказалась рыба, подаренная гольдами; на заедку казенные сахара принесли.

— Отбираем, — толкуют солдатики. — Которые ржавые — не едим; остальные в воде мочим — хорошо. Муку вот очень плохую получаем. На сплаве-то она подмокла.

Показали и муку эту: действительно нехороша.

— Плохое же, братцы, житье ваше.

— Очень плохое: вот и обуви и одежи нету хорошей.

Действительно: на них какие-то куцые шинеленки, дырявые и заплатанные рубахи.

На ногах какие-то ошметки, называемые *чаржи* или *черки*, из сыромятной кожи. Это — башмаки, калоши, туфли — все, что угодно, только никак не сапоги. Процесс созидания их очень прост и печален. Это — кожа, очищенная от шерсти и потом мятая в тальках (род льняного трепала с языком) самими же солдатами из казенного товару и потом сшитая в казармах умелыми и досужими. За чирки берут рубль, а больше одного-де месяца не выдерживают. На поношенные, прослужившие месячный срок смотреть невозможно. Подобные чарки носят все линейные солдаты; подобного же рода ошметки оказались на ногах и моих гребцов.

— В Николаевске, — говорил мне один из них, — матросы в сапогах ходят<sup>18</sup>.

И неужели амурский солдат не стоит лучшей одежды и обуви, когда он поставлен в трудное, бездомовное и неприютное положение? Солдатик на Амуре, как известно, несет тройную службу: он и сплавщик казенных складов на паромах, лодках и баржах; он и плотник — строитель всех казенных зданий по Амуру, всех станционных домов и проч.; он же и под ружьем на

николаевской гауптвахте; он, одним словом, на всех тех работах, где и платье вчетверо скорее изнашивается и рвется.

Но — едем дальше!

Правые горы за ст. Елисеевской выходят на берег сначала невысокой обрывистой скатой, потом идут лесистыми высокими сопками. В кустах левого берега видны две гольдские деревушки; а вот на прикрутости правого берега и *город Софийск*<sup>19!</sup>

Длинная-длинная казарма с ярко выкрашенной красною краскою крышей, вся еще на сваях, без за-грунтовки. Вблизи этой казармы четыре-пять домиков, крыши которых не успели еще выкрасить красной краской. Застроенная и до половины не доведенная церковь стоит прямо подле берега. Пни на берегу, пни перед казармою и пни за казармою; приготовленный шест для флага. Кругом густой, дремучий лес; огромные выси скал. Вот общие впечатления того места, которому решено дать название города Софийска. Затем — стройка кругом; солдатики во всех местах: и на строениях, и на берегу. Везде щепы и сор. Место, впрочем, довольно возвышенное и удобное для заселения, хотя гигантских трудов стоила — по всему вероятно — очистка его, плотно и густо поросшего лесом. На гору ведет лестница. На самом берегу еще что-то застроили. Город покуда заселен только одними солдатами; часть из них ушла прорубать просеку к озеру Кизи и от озера Кизи к морю (версты с четыре уже прорубили, а всех около ста).

Один из моих солдатиков стоит на корме, глядит на Софийск, головой покачал и глубоко вздохнул. Я спросил:

— Кого тебе жалко?

Поднял вздох с самого донушка:

— А вот на город-от смотрю и всячески думаю: строили, строили. Сколько денег потеряли, а зачем все? Поставили бы станок — и так бы хорошо было.

— Да ведь город надо.

— Зачем город? Не надо города. Обошлись бы всячески и без города. Ведь есть город, Мариинск, близко.

— Да ведь, чудак, надо же где-нибудь начальству жить, чтобы народом-то управлять?

— Каким народом управлять? Много ли мы с вами народу видели, от Хабаровки ехадши?

— Все же, кавалер, лучше как город стоит, а не станок.

— Ничего не лучше!

— Толкуй с тобой!

Но солдатик мой везет свое:

— Зданьев-то настроили много, а что в них пути? Все на живую нитку. Дурак ведь медведь здешной — смирен...

— Как так?

— Напустить бы нашего, расейского, умелого: ему бы тут и на одну ночь работы не хватило. А двух приставить — живо по бревнушку разметали бы...

Воспоследовал неистовый, довольный хохот. Рулевой, вообще смешливый, так и заныл. Слышу: и между гребцами кто-то хихикает; и правый гребец очень доволен и крепко осклабился, и ротозей солдатик, заменивший в артели должность повара, сначала гигикнул, а потом и его раскачало со смеху.

Тотчас же от Софийска подле берега начала изгибаться правая протока по направлению к озеру Кизи; на мелких лодках ее проходят смело. Левая протока глубже и полагается если не главной, то удобною; верстами пятью она длиннее правой и соединяется с нею в одно русло в 50 верстах ниже Мариинска, т. е. идет самостоятельно и разъединенно восемьдесят верст. Между обоими главными протоками образуется, таким образом, длинный остров, рассеченный ручьями и малыми протоками на множество побочных мелких островов (что заметно даже на скороспелой и крайне неверной почтовой карте реки Амура, изд. 1859 г.). Но особенно заметно это, когда проплывешь половину тридцативерстного пространства между двумя городами (упраздненным

Мариинском и вновь сооружаемым Софийском). До половины этого пути Софийск продолжает виднеться и белеть своими новыми зданиями даже до того места, где торчит избенка с отшельником-солдатом, так называемый *полустанок*. Протокам, а вследствие того и островам нет числа. Этот лабиринт, этот архипелаг островов единственное (и последнее) место на всем Амуре. Ночью идти тут нет положительно никакой возможности. Острова и протоки перепутаны так, что непрерывною цепью окружают нас со всех сторон: не знаешь, куда идти и что выбрать; протоки все как будто одной ширины; у всех из них правый берег обрывистый и глубокий. В глинистых обрывах его стрижи понаделали норки и мечутся около них, словно мухи, в огромном количестве. Течение по берегам мырит воду: вероятно, тут и сильная глубина, и, может быть, подводные ключи бьют: вода ходит большими кругами и образует поча-сту во многих местах воронки.

Соблазнительны для нас и правые протоки; обещают удачное плавание и левые. Нет ни одного знака, ни одной приметы, которая бы указывала нам настоящую дорогу. Плыдем наугад, помня предостережение и совет держаться с половины пути правой стороны; но там боимся попасть в большую мелкую протоку. Боимся плыть и влево, чтобы не уйти далеко: хочется видеть Мариинск. Плыдем долго и много; попали в какую-то узенькую протоку, в которой весла наши задевают за оба берега. Мы, несомненно, запутались и остановились у первого острова. Остров этот оказался песчаный и с диковинкой: видим несколько деревьев, вершинами как будто связанных до того, что в таком виде образовали род алеи, или лучше — полукруглых ворот, под самым крайним сводом которых стоит что-то белое, берестяное, род улья. От улья этого по песку к берегу идут в два ряда колышки, образующие род тропинки, дорожки, ведущей прямо в воду. Налево от улья, низенького и широкого, к кустам вытянута и брошена лодка, довольно уже почерневшая и с веслами.

- Что это такое?
- Гольд потерялся.
- Как потерялся?
- Сдох тут.
- Как сдох?

— Потонул, значит. Тут ему могилу сделали и вишь какую честь воздали. Промышленник, надо быть, был...

С трудом, при неистово бурном и враждебном нам ветре, тянулись мы вперед. В середине самой широкой и едва ли не главной протоки вытянулась мель, вся уже затянута в зелень — будущий (и недалекий уже) остров. От правого острова отошла новая отмель; воды на ней сначала оказывалось на два аршина, а потом делалось на пол-аршина. Мы стукнулись и остановились. С великим трудом и после сильных и долгих блужданий мы выбрались в главное русло Амура, и перед нами сверкали уже огоньки селения Кизи и экс-города Мариинска.

Селению Кизи предшествует скала, на которой выстроен красивый домик фермы (принадлежащей командиру портов Восточного океана П. В. Казакевичу). По низменности растянуты казенные здания казарм, между ними — окончательно отстроенная церковь, дом священника, купеческая лавка. Общий вид селения очень недурен; поблизости его идет та неширокая протока, которая соединяет главное русло Амура с озером Кизи, расположенным не дальше версты от селения, получившего его имя. Озеро это, говорят, мелко и удобно для прохода только мелких судов, но, подвергнутое влиянию воды амурской, в некоторые годы и на некоторое время оно наполняется до значительной глубины. Окруженное отчасти горами, отрогами внутреннего хребта (Геонга?), отчасти низменностями, озеро это, широкое и длинное, важно в том отношении, что сокращает путь от Амура до гавани Де-Кастри, находящейся уже в Восточном океане. От селения Кизи до поста нашего в этой гавани давно уже существует

сообщение (наполовину в лодке по озеру и на другую половину по просеке); сообщение это нельзя назвать правильным, но и нельзя сказать, чтобы оно было особенно часто; просеку, проложенную к гавани, также нельзя считать удобным путем и окончательною дорогою; и то и другое ждет еще будущего; настоящее и тускло, и печально, и малонадежно. Озеро Кизи, несмотря на неудобства, представляемые его мелководьем во все лето, должно, однако, останавливать на себе административное и стратегическое внимание. Амур как будто хотел на этом месте сократить свое долгое течение и повернуть прямо к морю. Но спутные каменные твердыни гор позволили ему только заполнить водою подгорную котловину, вылиться в озеро, но не идти дальше ни речкой, даже ни ручейком. С другой стороны низменные, степные приволья левого берега достаточно соблазняли и обеспечивали возможность прорыва, и река, как будто надломившись об кизинскую, спутную скалу, взяла влево и тотчас у ближайшей скалы повернула вместо юго-востока прямо на северо-восток, разлившись на бесчисленное множество мелких протоков и засыпавшись значительным числом крупных и небольших островов. И действительно, Амур в этом месте замечательно широк и глубок. В весеннюю воду он, говорят, разливается на неоглядное пространство по низовьям левого берега и даже заливают весь тот низменный, болотистый перешеек, который отделяет селение Кизи от Мариинска и находится в связи с низменностями побережий озера. Из низменностей перешейка этого по отлогим прикрутостям разбросалось и то селение, которое носило название города Мариинска<sup>20</sup>. Мариинск замечательно больше и населеннее не только соседнего Кизи, но и многих других, лежащих по Амуру. Некоторое сходство имеет он с Хабаровкой, представляя, в свою очередь, тот же вид военного лагеря, остановившегося на долгую и продолжительную стоянку. Батальонный командир выстроил для себя на лучшем, выгодном и возвышенном месте бревенчатый

дом с крылечком и выставил подле последнего неизбежный денежный ящик на колесах, выкрашенный зеленой краской, и приставил к нему часового. Кое-кто из офицеров и даже из солдат — многие успели также обзавестись домами собственными, может быть, по скорости и непрочно сделанными, холодными и тесными, но во всяком случае также бревенчатыми. Построили госпиталь, баню, сарай для казенных складов и цейхгауз. Изворотливый, ловкий и падкий на барыши купец, откуда ни взявшись, поспешил пристроить к господам военным людям и свой домишко. В домишке этом, в одной из комнат его, он понаделал полки и разложил на них кое-какие попавшиеся под руку товары: красные и не-красные; комнату эту разгородил надвое прилавком; на прилавок чернильницу поставил, счета положил и стал маклачить, торговать на мелкоту, но преимущественно вином и водкой. Когда немного оправились дела его, он над дверями приколол вывеску, во многих местах починил свою хату, еще больше накупил в Николаевске товаров и опять на следующий год повел торговлю, и опять преимущественно вином и водкой.

Мариинск от Хабаровки отличается, может быть, тем только, что в нем замечательно больше вольных поселенцев и целая улица наполнилась домами частных собственников; но и здесь, так же как и там, преобладающее население военное. Нет в Мариинске церкви, нет даже и часовни; жители его ходят молиться за две версты, в Кизи. На том месте, где теперь поместились эти два русских селения, существовала деревня гольдов Кизи, оставившая после себя только одно название, перешедшее по наследству к новому русскому селению. На скале Мариинской, по обыкновению, существовал гольдский храм, также в свою очередь теперь оставленный ими и позабытый даже с бурханами.

От Мариинска вниз по Амуру живет уже другое инородческое племя — *гиляки*, совершенно отличное от мирного гольдского племени. Крайняя скуластость, свидетельствующая об необлыжном монгольском

происхождении гиляцкого племени; крупные и суровые черты лица; самый взгляд, в котором много зверства и дерзости, — все это заметно и для простого глаза — отличает суровых гиляков от кротких и мирных гольдов. Гиляцкое племя искало и нашло более суровые страны; оно потянулось к морю, как будто отыскивая опасности, и разбрелось по всем тем местам, которые негостеприимны и по климату, и по качеству почвы, каковы устья Амура, северные побережья Охотского моря и северные берега острова Сахалина. Много рассказывают об их зверских наклонностях, об их жажде к крови, негостеприимных и грубых приемах, оказанных новым пришельцам на их старые пепелища, об отправлении мирных религиозных празднеств с участием в долгой и свирепой борьбе с нарочно откармливаемым целый год медведем. Говорят об их изумительной ловкости на воде при самых опасных промыслах, каковы, напр., промыслы белуг и тюленей; но положительно все согласны отличать и признавать гиляков отдельным, самостоятельным племенем от гольдского, хотя бы они и сходились в одинаковости производства промыслов, домашнего быта, в подробностях одежды, хотя бы носили те же косы и так же бы беспрестанно курили ганзы и мужчины, и женщины, и дети. Если признавать гольдов одичавшим племенем маньчжур, то гиляки, по всему вероятно, осколок монгольского племени и, может быть, разновидность племени тунгусов (их ближайших соседей), с тою только разницею, что тунгусы гораздо миролюбивее амурских и приморских гиляков. Этими гиляками населены все те места низовьев Амура, которые нанесены даже и на почтовую карту: все эти Тыр, Кабачь, Кальго, Табах, Мяго, Сабах, Проньга и проч.

В среде этого народа и среди его давних поселений расселены первые поселенцы из крестьян Иркутской губернии и Забайкальской области. Селения этих крестьян (носящие в большей части случаев имена праздников, отправляемых крестьянами на местах их родины) в числе пяти помещены ниже Мариин-

ска. Это — Иркутское, Богородское, Михайловское, Ново-Михайловское и Воскресенское. Основание этих сел — одновременно с водворением первых казаков и основанием первых амурских станиц в верховьях реки. В каждом из этих крестьянских селений предложено выстроить церковь, но церкви существуют пока только в двух селениях: Богородском и Михайловском. Это последнее люднее и обстроено лучше других. Если судить по замечательному количеству домов, по внешнему виду села, разбросанного по горе и разделенного оврагом на две половины, — крестьяне поселились лучше. Обеспеченные гарантирующими их льготами, они скоро успели выстроить хорошие, теплые дома с надворными строениями, имеющими законченный вид; много расчистили лесу, завели пашни, раскопали огороды и второй год уже успевают продавать в Николаевске картофель и другие овощи, хотя расстояние до города и заметно большое (около полутора верст). Выгода новых мест жительства, по сравнению с оставленными прежними местами родины, остается, конечно, на стороне последних, но крестьяне довольны отчасти и остановились на заманчивых преимуществах от рекрутчины и всяких податей. В Михайловском выстроен даже дом для сельской школы; сооружена большая и вместительная церковь; крестьяне живут в довольстве; едят сыто и сладко. Все другие крестьянские селения малы и только как будто зачатки будущих больших сел (таковы в особенности Ново-Михайловское, Воскресенское и Иркутское). Все они расположены один от другого в замечательно равном расстоянии (в сорок верст). Амур в этих низовых частях своих между Мариинском и Николаевском (на пространстве с лишком в триста верст) как бы совершенно утрачивает свои речные свойства. Сохраняя только пресный вкус воды, он носит крупные морские волны, которые долго потом (по прекращении ветра) не укладываются. Обставляясь в большую часть года густыми туманами, Амур почти всегда находится в состоянии той же погоды, какая существует на то же

время по лиману и на море. Влияние последнего ощутительно до такой степени, что подле Тыра и самого Мариинска (а нередко и выше его) ходят огромные стада крупного морского зверя белухи (*balaena sphineter*). Рыба в огромном количестве и крупного вида замечательно густо наполняет амурские воды, и рыба эта всегда морская, какова *кета* (семга Охотского моря), горбуша (род лососины), огромные сомы и проч. Огибая высокую скалу *Тыр* (также освященную пребыванием гиляцкого божества и существованием храма), Амур мчится мимо этой скалы с поразительной быстротой и прорывает в этом месте глубину в сорок сажен... Устойчивые, продолжительные и холодные ветры дуют здесь большую половину года по нескольким суткам кряду, не переставая. С трудом осиливают их казенные пароходы, каковы, напр., «Аргунь» и «Лена», и всегда почти прибываются к берегу большие и малые лодки: почтовые, пассажирские и купеческие. Замечательно тише шел и частный пароход «Адмирал Казакевич», снабженный высокой, в виде сахарной головы, рубкой, — пароход, замечательный своей устойчивостью и аккуратным ходом.

Пароход этот американской постройки и конструкции, столько употребительной на реках северных и южных штатов, но для русского глаза невиданный и странный. Устройство его хотя и просто, но оригинально. На барке, или днище, утверждено необыкновенно высокое здание в два этажа, с окнами; нижний этаж назначен для кладов, кухни и паровой прислуги; верхний — для пассажиров, могущих приобрести право на каюты и удобное помещение. В носовой части под навесом помещаются те пассажиры, которые лишены возможности платить за удобное помещение. Колесо утверждено назади, за кормой, и прикрыто огромным зонтиком. Над пассажирской рубкой, издали имеющей решительное подобие какой-то фабрики, укреплена еще вторая рубка, вся в стеклах, как фонарик. Все это, взятое вместе, делает пароход чрезвычайно оригинальным. Он очень

скор на ходу, несмотря на сильную парусность двух рубок и надколесного зонтика. Редкому из пассажиров не приходит на ум, при сильном боковом ветре, предположение возможности лечь пароходу на бок: так высока и длинна его рубка! Впрочем, подобного рода несчастий с ним не случалось (пароход ходил уже второе лето); в быстроте хода соперничает с ним из всех амурских пароходов только казенный «Амур».

Мелкосидящий американский пароход *«Казакевич»* ходит далеко по Шилке — до Стретенска, а в нынешнем году, благодаря смелости и решительности своего опытного и трудолюбивого капитана, он, как говорят, входил даже в мелкую реку Перчу (воспользовавшись прибылой водой) и грузился у гостиного двора города Нерчинска. Событие знаменательное, небывалое по риску и случайностям и, по всему вероятию, немало поразившее обитателей этого мирного сибирского городка. Замечательно также и то, что пароход *«Казакевич»* никогда почти не становится на мель, чем не может похвалиться ни один из казенных пароходов. Удобств в помещении этот частный пароход особенных не представляет: огромная зала его со столом посередине и с койками по сторонам, в два ряда, отчасти папоминает семейную баню, невысокую, с полками и вдобавок еще на летнее время чрезвычайно жаркую. Отдельных кают для дам только две, но и те замечательно узки и тесны. Если принять в расчет много пустых, незамещенных мест между колесом и рубкою, всегда свободную носовую часть (употребляемую для товарных складов), неудобство помещений, то пароход *«Казакевич»* нельзя принять ни в каком случае за образец пароходов, необходимых для Амурского края; он — не более как оригинальная случайность и не ничтожное пособие при передвижениях и при совершающихся работах по заселению вновь приобретенного края. Ко всему этому надо прибавить и то серьезное и важное обстоятельство, что цена за проезд на этом пароходе замечательно велика, даже приняв в соображение

вообще высокие цены, существующие на Амуре на все необходимые жизненные припасы<sup>21</sup>. «Пассажиры, желающие иметь собственный стол, на пароход не принимаются», — говорит объявление. Но почему же? Для того ли, чтобы лишить их возможности есть всухомятку в видах заботы о здравии русского желудка, или, наконец, для того, чтобы обязать пассажиров непременно есть те припасы, которыми запасается пароход в большом количестве? Последнее обстоятельство может иметь основание в том только случае, когда пассажиры обеспечены возможностью получать всегда свежую провизию, как-то: печеный хлеб и мясо. Амур в нынешнем году оказался не так бездолен, как был он в прошлом и в прежние годы. Если не всегда и не везде можно было доставать свежее мясо, то повсюду почти была свежая огородная зелень и свежий печеный хлеб; а на пароходе в течение трех суток моего пребывания на столе были одни только сухари и солонина. Правда, подавались свежие яйца к утреннему чаю и какая-нибудь жареная рыба к ужину. Но рыба на Амуре такая недиковинка, которая в неделю успевает, что называется, набить оскомину; и относительно этих двух пунктов (последних) можно сказать разве только то, что хозяева парохода исполняют все свои обещания, высказанные в объявлении, и что за означенную плату пассажиры имеют общий стол, который действительно накрывается три раза в день, но — и только! Замечательно также и то, что все семейные люди, все чиновники, едущие на службу или в отпуск, стараются выждать и выпросить у начальства право попасть на какой-нибудь из казенных пароходов. Дороговизна цен за проезд, по всему вероятию, играет тут одну из главных ролей. Те же лица готовы заплатить охотно половину прогонных денег за проезд и умеренную плату за стол особо, по их личному желанию. О семейных пассажирах во всяком случае хозяева парохода «Казакевич» обязаны серьезно подумать и позаботиться, или же в противном случае не могут претендовать на то, когда этим лицам обязательное

начальство из Амурского края отведет теплое, удобное и дешевое место на одном из казенных пароходов<sup>22</sup>. Наконец, ко всему вышесказанному в заключение должно присовокупить и то, что пароход ходит в неопределенные сроки, к которым население, конечно, в настоящее время и примениться не может.

День пятого июня задался какой-то туманный и тяжелый; облака, свинцовою стеной нависшие над Амуром, темнили воду. Вода, на тот раз поднимаемая низовым ветром, бросала крепкие и сердитые волны; целое утро лежал по берегам туман, и только к полудню при сильном ветре его разнесло по падям. Сумрачно глядел правый берег, гористый и высокий, весь затянутый в мертвенно-мрачную полярную зелень елей и сосен. На середину реки вышел длинный, бесконечно длинный остров, оказавшийся Константиновским; из-за негоглянула на нас батарея того же названия и, наконец, сам Николаевск. Видно, как вырублена была для него просека в дремучем лесу, обступившем его и теперь непроглядной стеной с трех сторон; видны дикого цвета дома, покрашенные зеленой краской и приглядного вида; видим несколько морских судов крупного ранга на рейде: два корвета («Боярин» и «Гридень»), шкуна, транспорт, два клипера, три-четыре парохода, какое-то большое купеческое судно (брик); суда подняли вымпелы; один только клипер стоит на боку, обставленный кругом его обвитыми сваями. Рейд Николаевский — богатый и оживленный; в порту слышно стуканье, звон; над зданиями порта несется дым и пар, на воде пыхтит и шумит паровой баркас, пробираясь зачем-то к судам от портовой пристани. Город вытянулся на большое пространство и обстроился широко и плотно. Вид на него с реки чрезвычайно картинен и оригинален: свежие недавние дома бесконечно разнообразных фасадов; церковь с выкрашенными главами и еще необшитыми стенами; направо по низменности, далеко вытянувшейся в реку, здания порта, все деревянные и, конечно, в фасадах своих не менее оригинальные: два эллинга,

здание, где шьются паруса, здание, где помещен паровой молот, крошечный домишко (один из первых в Николаевске), вмещающий в себе контору над портом. Видно, что повсюду много сделано, но не все еще сделано; во всяком случае, Николаевск глядит решительным городом, больше, чем даже Чита какая-нибудь, а тем паче Благовещенск.

#### 4. ЗАСЕЛЕНИЕ РЕКИ АМУРА

Заселение Амура произведено было, как известно, тремя путями: посредством казаков Забайкальского войска; посредством переселения государственных крестьян, вызванных из российских губерний, и солдат внутренних гарнизонных батальонов, также присланных из России. На этот раз мы останавливаемся на операциях переселения государственных крестьян из России как на обстоятельстве ближайшем нам по роду наших работ. Мы будем следить за ними в этой статье по официальным данным и по личным наблюдениям нашим, сделанным на самом месте водворения и на пути следования этих крестьян. Вот что говорят нам официальные материалы:

«Одно уже развитие наших военных морских сил на устьях Амура, помимо всех других соображений, требует настоятельно быстрого заселения приамурского края. Современная доставка продовольствия для сухопутных и морских команд, снабжение флота всеми необходимыми сырыми материалами будут вполне обеспечены только тогда, когда разовьется местная производительность края, чего без усиления народонаселения достигнуть невозможно».

Вот что писал 20 сентября 1858 года генерал-губернатор Восточной Сибири Е. И. В. генерал-адмиралу. Гр. Муравьев полагал произвести переселение в большом размере через дозволение его лицам всех свободных состояний, по желанию, на собственном иж-

дивении и без правительственных расходов. При этом предполагалось освободить переселенцев от разных формальностей, затрудняющих переход, какова, напр., рекрутская очередь, от которой ради Амура освобождаются женатые и семейные. Эта мера, по мнению гр. Муравьева, представляет ручательства к скорейшему заселению края собственно потому, что уничтожает многие стеснительные условия для перехода. Она не простирается на Забайкальскую область, которая, по мнению проекта, может тогда ослабеть народонаселением и уменьшить свои производительные силы. Переселенцы не подают просьб по инстанциям (от волостного к окружному начальству и от окружного в палату госуд. имущ.), ибо «происхождение всех этих инстанций влечет за собою потерю времени, а темные расходы охлаждают в простом народе охоту к переселению». От правительства не требуется никаких пожертвований, но для выходцев из отдаленных мест Европейской России настоят надобность в расходах для приобретения земледельческих орудий и скота. Переселенцы в Чите или Иркутске, — городах, ближайших к Амуру, — будут иметь, таким образом, возможность получать ссуды деньгами в необходимом количестве с возвратом впоследствии. Ссуды производятся из хозяйственного капитала Восточной Сибири, который восходит до 300 тысяч руб. сер. и в который поступает ежегодно до 17 тысяч. Независимо от денежных ссуд предполагается (для обеспечения на первое время продовольствия переселенцев) учредить на некоторых пунктах Амура запасные магазины на счет того же капитала. Отсюда прибывшие на Амур получают за деньги или заимобразно потребное количество семян для обсева полей и муки для пропитания на первое время, пока не будет ими снят хлеб с засеянных полей. Все же переселение предполагалось произвести возможно скорее.

На последнее заключение министерство госуд. имущ. делает замечание, что «во всяком деле, а в особенности

в подобном настоящему, нужны система и последовательность; без этого не может быть порядка и самая цель заселения — развитие промышленности — не будет достигнута». Для истинного достижения цели министерство полагает употребить тот же способ переселения, который предпринят был относительно заселения Камчатки, т. е. пригласить к этому заселению старожилов Западной и Восточной Сибири и затем усилить переселение из внутренних губерний в сибирские<sup>23</sup>. При ограниченности же способов переселение будет совершаться в незначительном размере и приискание желающих не будет затруднительно; незачем, стало быть, прибегать к мерам чрезвычайным, могущим развить бродяжничество. Министр, между прочим, полагает достаточным вызвать на Амур желающих из губерний северных и восточных. § 3 говорит: «Если бы в областях (приамурских) оказались люди обоого пола, без всяких видов, то местное начальство, не высылая их из области, оставляет на местах жительства свободно». Это правило не относится только до каторжных и ссыльных. Против этого § возражения не последовало, но принято в расчет, что такое продолжительное и трудное переселение требует предварительного обеспечения переселенцев в пути (чего, как известно, не желал ген.-губ. Вост. Сибири) и что с 1839 по 1852 г. в распоряжение мин. гос. им. отпускалось ежегодно на расходы по переселению малоземельных крестьян по 142 857 руб. Относительно освобождения от рекрутской повинности принято министерством в соображение, что повинность эта все-таки должна обременительно лечь на семейства, оставшиеся на месте. Во всяком случае, к переселению на Амур имелось в виду назначить те семейства государственных крестьян, на которых приходится менее 5 десятин на душу. При этом министерство желало бы, чтобы в один год шло на Амур не более 500 семей или 3500 душ обоого пола, «ибо по приблизительному расчету содержание каждого семейства обойдется во 150 р.: сумма значительная и обремени-

тельная для правительства!» На продовольствие в пути выдается по  $3\frac{1}{2}$  коп. на каждую наличную душу обоего пола и на платеж прогонных денег по  $\frac{1}{2}$  к. на версту на каждую подводу. Относительно предполагаемой возможности некоторым переселенцам достигнуть до верховьев Амура с семьями — министерство госуд. имущ. высказывает сомнение, чтобы в числе переселяющихся нашлось много таких, и предполагает в деле столь важном необходимость пожертвований со стороны правительства. Несогласно также министерство на произвольное занятие мест водворения прибывшими в Амур переселенцами: «Такой порядок, по его мнению, может возбудить в переселенцах превратное понятие о правах их на занятую землю». Ген.-губ. Восточной Сибири предполагал на предмет заселения Амура употребить 50 тысяч р. из хозяйственного капитала и притом на выдаваемые из этой суммы ссуды взыскивать в предупреждение убыли капитала по 3%.

«Сибирский комитет, рассмотрев и обсудив подробно все вообще обстоятельства настоящего дела, нашел, что вопрос о заселении приамурского края есть вопрос первостепенной важности. Усиление там населения существенно необходимо для развития огромных материальных сил края. Без этого вновь присоединенный богатый край не принесет той пользы, которую от него вправе и ожидать и требовать Россия». Относительно усиления на Амуре русского населения комитет вполне соглашается, но признает также полезным «допустить к населению там и некоторых иностранных переселенцев, преимущественно немцев, известных своим трудолюбием, посредством коих отчасти заселились у нас огромные новороссийские степи». Для привлечения поселенцев комитет находит главным и существенным условием — твердое обеспечение поземельного за переселенцами владения: «Было бы справедливо (сказано в отношении к министру госуд. им.) постановить условием, что всякий переселенец, отправляющийся в приамурский край на свой собственный счет, имеет право

на приобретение там участка земли в собственность и что лица, переселяемые туда на счет правительства, получают участки земли только в пользование». При исполнении таких мер комитет надеется, что на Амур пойдут даже из таких сословий, «переселение коих туда особенно было бы желательно, напр., из мелкопоместных или беспоместных дворян, отставных солдат и т. п.». С предложением относительно ассигнования вспомогательной суммы ста тысяч руб. сер. комитет и министр финансов согласились. Сумму предположено отпускать из государственного казначейства ежегодно и притом исключительно на заселение приамурского края. Отпуск этот решено начать с 1859 года. Употребление 50 тысяч из хозяйственного капитала также разрешено, как дозволено с 1859 года переселение государственных крестьян внутренних губерний под руководством министра государственных имуществ. Дозволено генерал-губернатору давать разрешения на переселение лицам свободного состояния, живущим в Восточной Сибири, а также и не живущим в ней, «если только лица сии для переселения туда соблюдут законения, установленные вообще для переселения свободного состояния лиц из места их жительства». На эти мнения комитета, в 8-й день декабря 1858 г., воспоследовало высочайшее соизволение.

Министерство госуд. имущ. предположило переселить на Амур в 1859 году: 300 семей из Вятской губ., 200 из Пермской, 50 из Тамбовской и 50 из Воронежской; всего 600 семей. На водворение и путевое следование этих переселенцев Сибирский комитет назначил 100 тысяч руб. Сверх того 200 семейств из Пермской губ. и 200 из Вятской, предназначенные министерством к переселению в Енисейскую губ., направлены по высочайшему повелению от 25 декабря 1859 г. в Амурский край. Переселение это обуславливалось следующими правилами: 1) желающие переселиться избавляются от увольнительных от обществ приговоров, если на них не числится мирских недоимок или других не ис-

полненных в отношении обществ обязательств; 2) переселение может быть разрешаемо крестьянам и тех селений, при коих состоит земли более 5 десятин на душу, если переселение из этих селений по другим уважениям будет признано полезным; 3) прошения могут быть подаваемы на простой бумаге; 4) независимо от установленных пособий на путевые расходы и на устройство домообзаведения переселенцам будет предоставлена льгота от податей и повинностей на 16 лет и от рекрутской повинности в продолжение шести наборов и 5) по прибытии на место нового водворения переселенцам будет отведено такое количество земли, которое каждый домохозяин в состоянии будет обработать. Палатам госуд. имущ. предписано объявлять эти условия в тех только местностях, где «по сведениям палат, могут быть желающие переселиться». Предписано наблюдать, чтобы семейства переселенцев были в состоянии перенести трудности пути, и не допускать к переселению одиноких, неженатых («если эти неженатые не принадлежат ни к какому семейству»), а равно семейств, обремененных значительным числом малолетних или пожилых, и держаться правила, чтобы в каждом семействе было не менее двух работников». В предупреждение растраты денег предписано снабдить переселенцев пособием на путевые расходы до ближайшего губернского города; отправление партий начать с наступлением ранней весны; маршрут составить для каждой переселенческой партии до Тобольской губ., направив партии на город Тюмень, «так как дальнейшие распоряжения в отношении следования партий, попечение о содержании переселенцев в пути, размещение их на зимовку и вообще наблюдение за сим делом будет зависеть от главного сибирскаго начальства». В то же время начальникам тех губерний, из которых должны следовать на Амур переселенцы, министерство между прочим предложило иметь в виду, чтобы переселение приведено было в исполнение без

излишней огласки в крае, «дабы не возбудить превратных толков о цели сего переселения, а в народе вредного движения и тревоги».

Охотников на Амур нашлось много во всех тех губерниях, которые назначены были министерством. Дейтельнее других в этом отношении оказалась губерния Воронежская, доставившая большое количество просьб желающих из уездов Землянского, Острогожского, Валуйского и Павловского. Затем следовали Вятская, Тамбовская и Пермская<sup>24</sup>. Переселенцы разделены были на партии, как напр., воронежские на три: в одной 174 души, во второй 168 душ и в третьей — 170.

Причины, заставлявшие крестьян оставить прежние места их жительства, заключались главным образом в недостатке земель, годных для хлебопашества, или, как выразились в своем прошении землянские крестьяне, «крайнее и даже раззорительное стеснение в земляных угодьях». Крестьяне Павловского уезда писали в своем прошении, между прочим, следующее: «С давнего времени мы с товарищами своими, по причине малоземели и неудобности оной к хлебопашеству, ибо большая часть состоит из мела, претерпеваем большую бедность в пропитании себя с семействами и под селом не имеем средства продовольствовать самый необходимый рабочий скот. В настоящее же время дошли до того, что не в силах уже уплачивать казенных податей, а тем более отбывать натуральные повинности, потому что чрез неудобные земли большая часть из товарищей наших в летнее время по паспортам отправляется в разные места на заработки собственно для уплаты казенных податей, а в зимнее время пропитываем свои семейства чрез избыток самого необходимого скота за самую несходную цену и лишаемся последних средств к одеянию себя». Почти такого же смысла были прошения крестьян остальных губерний, отправивших представителей своих на Амур. Определенного желанья идти на Амур крестьяне не объявляли в большей части случаев: землянские готовы были переселиться в Томскую

губернию или на Амур; острогожские изъявили желание в Енисейскую губ. в числе 287 семей, но на Амур из того числа нашлось только 24 семьи. Землянские желали «вперед послать работников в этом 1859 г. и притом, если угодно правительству, то переселиться желают на собственный счет», и притом для них все равно: в этом ли 1859 году начнется их переселение или в 1860 году.

«Губернии Тамбовская и Воронежская привлечены к участию в переселении с целью испытать влияние этой меры на внутренние губернии», — писал министр к ген.-губ. Восточной Сибири.

Переселенцев на новых местах ожидали уже новые положения, составленные ген.-губ. Восточной Сибири, который по местным обстоятельствам нашелся вынужденным изменить и пополнить некоторые правила, указанные Сибирским комитетом. Губернаторам Амурской и Приморской областей поставлено в обязанность: «1) при занятии мест для жительства не упускать из виду условия, чтобы удобных земель приводилось никак не менее 21 десятины на каждую мужского пола душу, дабы с умножением впоследствии населения не было недостатка у них в земле и значительнаго скопления в одном пункте; 2) не позволять селиться в тех местах, которые назначаются для казачьих станиц и где в настоящее время находятся селения маньчжуров и других туземцев». В городах и селениях места под усадебное устройство, вдоль реки Амура и других, отводить для каждого отдельно живущего семейства не более 50 сажен, дабы таким образом не лишить и имеющих прибыть впоследствии поселенцев возможности пользоваться выгодною близостью реки. В глубь же страны переселенцы могут занимать столько земли, сколько будут в состоянии обработать.

В начале весны 1859 года переселенцы на Амур вышли с мест своей родины. Движение их сопровождалось неблагоприятными обстоятельствами. 13 июля 1859 г. получено было управляющим министерством

госуд. имущ. извещение от главного управления Западной Сибири, по которому видно, что переселенцы пришли в Сибирь несчастливо. «Из числа прибывших в г. Тюмень переселенцев Вятской губ. некоторые крестьяне обратились к местному начальству с просьбою о выдаче им прогонных денег (хотя-де они и прибыли на собственных лошадях). При этом они присовокупили, что подножного корма слишком недостаточно для сохранения крепости и силы в лошадях при предстоящем им пути в такой отдаленный край и что на покупку фуража для лошадей они не имеют никаких средств. При этом дознано, что местное начальство некоторым из крестьян дозволило продавать лошадей; другим же таковая продажа воспрещена». В Томской губернии к амурским переселенцам присоединилась еще партия из семи семейств, самовольно зашедших в эту губернию из Орловской. У пришедших в Енисейскую губернию не хватило на предстоявшее зимнее время теплой одежды, которая и была роздана из заготовленной для арестантов или приобретенной у торговцев хозяйственным образом. В этой же губернии, по случаю возвысившейся цены на хлеб от неурожаев, оказались недостаточными кормовые деньги в размере  $3\frac{1}{2}$  коп. в сутки (на каждого). Потребовалось выдавать сверх того еще по  $2\frac{1}{2}$  коп. Из назначенных к переселению на Амур 250 семейств пришло в Иркутск только 230; три семейства оставлены для водворения в Иркутской губернии и Забайкальской области за смертью и болезнью главных членов семейств; остальные 17 семейств зимовали в пределах Западной Сибири и на Амур не отправлены, а размещены в Иркутском округе. Многие из пришедших в Иркутск семейств от долгого пути износили свою одежду. Все это потребовало новых расходов сверх ассигнованных правительством 100 тысяч. Все эти расходы — по сознанию ген.-губ. Восточной Сибири — при исчислении издержек в виду не были<sup>25</sup>. Для покрытия их предположено было назначить примерно до 70 тыс. рублей. На отпуск этот разрешение последовало в том

предположении, чтобы расходы эти отнесены были в счет тех 100 тыс., которые должны быть ассигнованы в следующем, т. е. 1861 году. Таким образом, в распоряжение ген.-губ. Восточной Сибири отпущено было к 1861 году 14-го февраля из государственного казначейства 10 587 р. 36<sup>3</sup>/<sub>4</sub> коп.; остальные деньги, 59 412 р. 63<sup>1</sup>/<sub>4</sub>, коп. приняло на себя министерство госуд. имущ. и отнесло их в счет хозяйственного капитала министерства. Необходимость этих расходов оправдывали тем, что путь переселенцев подвергается различным случайностям, что «близ Читы крестьянам должно рубить лес, строить баржи и паромы для сплава (вызывающие значительные местные расходы); сверх того пришедшим крестьянам нужно выдавать хлеб на продовольствие и снабдить скотом».

В то же время, когда таким образом, вследствие вызовов, накопилась желаемая начальством Восточной Сибири цифра тысячи семейств для Амура и приступлено было к передвижению народа из внутренних губерний, ген.-губ. Вост. Сибири нашел, что ста тысяч недостаточно для 500 семей: «Их может достать разве на 300 семей; из этого же следует, что 400 семейств вятских и пермских крестьян, имеющих быть переселенными в Енисейскую губернию, не могут быть обращены на переселение в приамурский край». Министр госуд. имущ. предложил, вследствие этого представления, отправить на Амур вместо 500 только 250 семей; остальных же по личному вызову ген.-губ. Западной Сибири, решено было водворить в Западной Сибири<sup>26</sup>.

Между тем значение переселения на Амур в глазах правительства изменяется. Сибирский комитет говорит: «Свободное переселение на Амур может заключаться в крестьянах, которые не имеют достаточно земель для обработки в настоящих местах их жительства, и в предприимчивых людях всех других сословий, которые большею частью желают приобрести земли в полную собственность». В то же время, не встречая никакой понудительной причины желать особенно

поспешного населения Амурского края, «который должен, так сказать, составлять поземельный запас для России в будущем, правительство не имеет надобности и дарить принадлежащие земли в собственность частным лицам или даже продавать их за бесценок, когда, без малейшего сомнения, страны, прилегающие к Амуру, будут с каждым годом приобретать и большее значение, и большую ценность по мере развития европейской и американской промышленности и торговли на Восточном океане».

Вследствие подобного рода соображений и изданы были правила для желающих переселяться на Амур во всеобщее известие. Принято было при этом в соображение, что цена (10 руб.) за десятину, назначенная генерал-губернатором Восточной Сибири, несколько высока, судя по ценам на земли в многоземельных губерниях Европейской России, однако министерство государственных имуществ, предполагая, что такое предположение основано на местных соображениях, решило, что может быть допущено в виде опыта<sup>27</sup>. При введении общих правил в употребление принято полезным сколь возможно сократить в этом деле бюрократические формы. Переселение государственных крестьян на казенный счет прекращено. Ассигнованная на этот предмет сумма должна идти в распоряжение главного управления Восточной Сибири для оказания пособий переселенцам на Амур заимообразно и для составления с этою целью особенного капитала (запасного). Далее, по предположению генерал-губернатора Восточной Сибири, «из денег, которые будут получаемы за продажу земель в течение первых 20 лет, половина должна быть обращена в государственное казначейство на возмещение издержек, сделанных на первоначальное заселение берегов Амура казаками, а другая половина должна поступать на различные полезные устройства в новом крае и преимущественно путей сообщения (как водяных, так и сухопутных) и телеграфических линий».

Относительно иностранных колонистов предполагалось неизбежным правилом, чтобы они вступали в русское подданство, были поселены лишь внутри приамурских областей; все же стратегические пункты должны быть заняты исключительно русскими поселенцами и славянами (?).

Просьбы государственных крестьян на Амур все-таки не прекратились. Из одной Вятской губ. нашлось охотников в 1861 году 337 семейств; из них разрешено переселение 57 семействам, которые и отданы в распоряжение ген.-губ. Западной Сибири. Затем, в мае 1862 года, о том же переселении на Амур подали просьбу 108 душ из Павловского уезда Воронежской губ. и крестьяне Уржумского уезда Вятской губ. Всем им объявлено, что они переселяться могут за собственный счет, но не иначе, как с дозволения местного начальства. В мае (24 числа) 1862 года из Вятской губ. (уездов: Котельничского, Орловского, Слоботского и Глазовского) отправились в Сибирь 33 семьи (в количестве 146 душ мужского пола, а наличных обоего пола 315 душ)<sup>28</sup>.

Но возвратимся к переселенцам 1860 года. Все они по распоряжению начальства Восточной Сибири назначены для водворения в Приморской области, по обоим берегам Амура, от Усури до Софийска. Нам привелось видеть это водворение на месте, и потому далее мы будем следовать уже нашим личным наблюдениям и воспоминаниям.

---

На берегах Шилки, на обширной равнине образовался временный городок, табор или *лагери* — как называло его местное военное начальство. Из лагерей этих доносился оживленный громкий гул; затевались песни, мурлыкала гармоника и тринкала балалайка: великорусский люд перенес свои затеи на чужую землю, где народ вообще мало поет и редко пляшет. Все это, вместе

взятое, глядело в лагерях беззаботною жизнью; обещало как будто довольство настоящим и верущий взгляд на будущее. Вечером зажигались огни, и бесконечно долгое время продолжался тот же оживленный базарный говор; огни картинно отражались в Шилке; красиво глядели расположившиеся около огней этих группы народа; к довершению картины видны были телеги, и скот, и белые палатки; виделось, одним словом, все то, что так хорошо на картинках и до чего такие великие охотники наши пейзажисты. Но, привыкши несколько раз разуверяться в истинном изяществе внешних блесков, мы и на этот раз не дали полной веры своим первым впечатлениям. Не находя ничего поэтического в этих лохмотьях, которые виднелись и на отцах и на детях, мы относились с расспросами к этим людям, которые — как выше сказано — в последних числах апреля собрались табором на берегах реки Шилки. Нам отвечали:

— Сам Господь про то ведает, что вперед будет, а пока хорошего мало. Сколько тысяч верст прошли, да еще чуть ли не столько обещают. Когда еще до места доберемся, а вот уж год целый истратили. И тоскуется крепко...

— Об родине?

— Родину бы Господь с ней: мы ведь ее оставили за тем, что тесновато жить стало, земли было мало, а народ мы бедный. Нахвалили нам Амур этот — одолел соблазн. А когда еще мы до него доберемся?!

— Теперь уж до него недалеко.

— А кто про то знает? Сказывают вон, слышь, что еще тысяч пять будет. Мы ведь, надо правду говорить, за ним-то и не стояли, как вот в Сибирь эту пришли. Барабой там какой-то шли, места нам те приглянулись; просили оставить — отказало начальство. До Иркутска не доходя — опять места ладные были: и на тех не оставили. Вот и за Байкалом-то просились: так нельзя, вишь, оставить; на Амур-де назначение вам вышло: туда ступайте! Пойдем: делать нечего.

— Так об чем же тоскуется?

— Нужды много терпим; да опять же и не сказали нам, сколь далеко это место. «Не больно же далеко» — слышь. Сказать бы раньше надо, так мы бы по-другому и думали; а то, вишь, и начальство-то наше, надо быть, само этого не знало толком-то: так надо полагать.

— Здорово ли шли вы?

— Да со всячинкой: кое-кого прихватывало. Вятских вон крепко схватывало; у них, сказывают, много же народу погибло. Лихоманки все больше одолевали.

— Чего же вам хочется получить на Амуре?

— А что дадут, то и ладно: Господь тоже знает, что на нем есть такое. Мы, признаться, в этот год шли все да шли — устали, всякое уж хотенье-то и попрizaбыли. Дал бы Бог до места-то только добраться. А там ...

— Голод подберется?

— Твори Господь волю свою.

— Заживете богато!..

— И на то власть Господня.

— Забудете про родных и родину...

— И то в воле Божьей.

— Песни запоете...

— Какой уж тут тебе, черт, песни: до песен ли!

Эти ответы мы получали от умеренных (а таких большая часть); но были и нетерпеливые, нашлись и озлобленные. Удалось нам попасть и на таких, и слышали мы от них совсем другое:

— Мы вот становищем-то своим на цыган больно похожи. Те в наших местах насчет воровства ловки. Нам бы милостыню надо было просить пойти: да куда? Поглядим-поглядим мы, так и здешнему народу подать нечего: бедно живут. А заведется у кого добро какое, так он за него и зубами и руками. Спросишь чего у них, так такую цену с тебя сдерет, что ходишь потом сутки с трое да почесываешься.

— Молока ребятам пошла промыслить — серебряной двугривенник отдала.

— Щец потрепать блажь пришла по дурацкой-то рассейской повадке, так и язык обожег; гривенник спрашивали. Едим — как вон в наших местах вотяки едят: болтушку.

— Скота нам дали одрань такую, что не глядел бы.

— Скат колес мы из дому-то своего (из Тамбовской губ.) привезли: пригодится, мол, на чужой стороне; и ядреные такие колеса, дубовые; не велит начальство брать: тесно-де будет на паромах.

— Беспокоят больно: скорей, слышь, все, скорей собирайся. Нам-де некогда с вами тут проклажаться. Само начальство чуть вон не само и паромы-то отпихивало от берегу. Тягостно это, обидно!..

— Не знаем, что будет; не знаем, как поплывём теперь: место не ближнее, надо полагать. А сколько верст будет? Словно слепые какие — не знаем. И как поплывём — надо опять сказывать — как и поплывём: не знаем.

А как поплывут переселенцы — предсказать было нетрудно на этот раз. Мало обещали успеха с одной стороны — торопливость и неизбежная с нею беспорядочность; с другой — заметно мало практичности, мало умения взяться за дело по простой причине: дело это для большей части приставников (если не для всех поголовно) — дело новое, да и к тому же еще обязательное, служебное. Если раз уж мы привыкли видеть только один конец дела, оттененный еще вдобавок привлекательным розовым оттенком, — для нас, во всяком случае, неприметна та обстановка и те подробности, на которые заявляет свои требования самое течение дела. Мы знаем об этих требованиях инстинктивно, гадательно, но вообразить их себе целостно, предусмотреть и предугадать подробности мы не желаем, а может быть, и не в силах опять-таки по весьма простой причине — мы этого дела не знаем: оно для нас дело новое, да и к тому же еще требовательно-спешное дело. Требования человеколюбия и сострадания — такие отвлеченные вопросы, к разрешению которых мы не пригото-

ны самым воспитанием, да и не имеем силы совладать с этим: мужики — это такие терпеливые натуры, что грубость их поражает нас, и до того требовательные и недовольные всегда и во всех случаях, что не стоит труда преклонять уха к желаниям и пользам их. Было бы поскорее кончено дело, а там нам хоть трава не расти.

При таких принципах естественным образом далеко не уйдешь, хотя и доплывешь, может быть (относительно говоря), до назначенных граней. Но как доплывешь? Это другой вопрос. Амур на долгом своем течении подвержен многим случайностям: иначе и быть не может. Переселенцам приходилось плыть чуть ли не все три тысячи верст течения Амура. Путь приводился по воде, по течению, стало быть, не требовал особенного напряжения и усилий. Весна начинала сдавать теплом, Шилка очистилась от льда: стало быть, время для плавания самое благоприятное. Поплыли, но забыли: русский человек, сбираясь в дальнюю дорогу, без того не обходится, чтобы чего-нибудь не забыть, хотя бы и собирался раньше несколько суток. На этот раз забыли... забыли взять лоцманов. Но лоцманов — так бесспорно и всякому известно — нет на Амуре; есть какой-то десяток бывалых, раз или два уже ходивших туда, но они или были разобраны более предусмотрительными сплавщиками, или заговорены частными лицами — торгующим людом, или же, наконец, давно выселены на Амур куда-то далеко вперед. Во всяком случае, верно одно: что лоцманов для переселенческих барж и плотов не взяли. Но, с другой стороны, на такой громадный путь надобен же какой-нибудь проводник или руководитель; а в этом случае большое подспорье — как всякому известно — хорошая карта; ее не забыли ли? Карт Амура существует две: одна скороспелая, почтовая, но на ней Амур вытянулся в черную нитку, небрежно брошенную; кое-где нитка эта перегнулась, перепуталась; в другом месте как будто оборвалась; прописаны на ней кое-какие станицы (и то далеко не все); одним словом, карта эта и по внешнему

виду своему крайне подозрительна; довериться ей — на льду обломиться, да и нет причины: существует другая карта. Эта карта состоит из нескольких листов; на ней нанесены острова, обозначены кое-где мели; берега обозначены. Но, во-первых, до этой карты без протекции и больших денег достигнуть нельзя: ни у одного из частных плавателей по Амуру, даже у лиц Амурской компании, карты этой не было; а во-вторых, эта подробная карта (на тот год библиографическая редкость) замечательна многими неверностями. Мы пробовали плыть с ней, верили этой карте, и она нас обманывала. Остается, стало быть, одно: положиться на самое ненадежное средство — на собственный глаз и сметку. Сметка, как известно, развивается от привычки, а морской глаз — привилегия немногих — дело тоже нелегкое; изощряется он только при частых и долгих опытах. Мы готовы на этот раз примириться с огромным значением так называемого морского (а пожалуй, и речного) глаза, и — плывем дальше. Но плывем все-таки наугад, на-авось, наудачу; и плывем, во всяком случае, несчастливо: четырехугольные, тяжелые и некрашенные ящики, носящие название барж (но при этом — не забудьте, барж *ленских*), плохо слушаются руля и валят к берегу с энергией и без удержу при всяком крутом порыве бокового ветра: на шестах не удержишься. Может быть, хороши эти недоделанные срубы, сусеки (все, что хотите, только не речные суда), хороши они на р. Лене — месте своего происхождения, но из рук вон плохи здесь, на широком Амуре, на торжественно-спокойном его течении. Сядет эта уродливая баржа на мель — с ней возня, уму непостижимая: все 15—20 человек должны лезть в воду и с неистовыми криками и огромными усилиями должны ее сталкивать с мели. Возьтятся эти люди иногда целые сутки, баржу снимают; но иной раз снимают ее для того, чтобы опять посадить на новую мель тотчас же; мель эта ни на карту не нанесена, ни в мечтаниях не предвиделась. Гарнизонные солдаты-сплавщики от этих операций бегут в лес, а потом, если не в Россию, то

в тюрьму во всяком случае. Переселенцам бежать некуда, да и не затем они доплелись до Амура. С плотами, по крайней мере, другое дело: плот — такая посудина, которую на какую воду ни спусти, будет плавать. Плот если и на мель сядет, снять его легче шестами: редко и в воду приходится слезать. Неудобен он потому только, что на нем никак не поместишь человека с необходимым, даже нетребовательным комфортом; плоты придуманы, как известно, для сплава тех бревен, из которых они сшиты, но на Амуре на одни из них пристраивают перила и становятся рогатый скот, на другие ставят те же перила кругом плота и устраивают самих переселенцев с детьми. Переселенец может на плотках распялить армяк свой или полушубок — и вот ему и от ветра затула, и от дождевой воды сверху, а положит он на пазы плота доски — ему и от речной воды снизу защита. Русский человек закаленный на всяческих невзгодах, и житейских, и климатических, простуды не боится, комфорта не требует: великое счастье для неопытных, непредусмотрительных и недалёковидных приставников его... На этот раз на неудобных, безбожных амурских плотках плывут переселенцы по Амуру наугад; в станицах они ничего не находят; привычного варева не имеют, ибо не имеют столько денег, чтобы оплатить варёво, изготовляемое амурскими казачками изредка про себя; дождей переселенцы не боятся, речной мокроты тоже — все это для них дело привычное: Бог вымочит их, Бог и высушит; к тому же весеннее солнышко во всей своей яркости в верховьях реки; на проходе по среднему течению — солнышко разыгралось во всю свою летнюю, боевую силу; а на осень, к сентябрю, переселенцы были уже на назначенных им местах.

Но что же такое нашли там для себя переселенцы? Нашли они там не много, если судить относительно тех обещаний, которые были сделаны им. Главным образом нашли они на берегах Амура не те места, которым самую природою назначено быть лучшими и именно такими, какие нужны для пришедших переселенцев.

Амур на своем длинном, в три тысячи верст, протяжении представляет — как мы выше сказали — три видоизменения. Верховья этой реки носят одинаковый характер с берегами Шилки и именно той ее части, которая ближе к Амуру. Здесь разветвился Большой Хинган своими отрогами и собственно мало представляет мест, удобных для поселения большими и частыми деревнями. Горы в большей части случаев выходят на самый берег или идут параллельно с ними, но в недалеком от него расстоянии. Изредка, таким образом, у реки остаются низменности; но очень часто низменности эти замечательно коротки и узки. Горный характер этой местности не теряется и в отдалении от амурского берега, и реки, впадающие в Амур, — горные реки. На нижнем течении Шилки, во всем схожем с верхними берегами Амура, которые положительно составляют продолжение берегов этого амурского притока, — во все время долгого существования этих берегов в русском владении сделано было немного: селения очень редки и малы, а на последних 217 верстах (от деревни Горбицы до Усть-Стрелочного караула при слиянии Шилки с Аргунью) селений нет вовсе, да и быть не могут. Горы, покрытые густыми хвойными лесами, круто оступаются в реку и выпускают вперед себя на берег узенькие, ничтожные низменности. Амур точно таким же образом на всем протяжении от Усть-Стрелочного караула до Кумары дает мало мест, удобных для заселения. Более благоприятными из них можно полагать только те, которые уже и заняты настоящими станицами. Таковы: Покровская, Албазин, Бейтоновка, Толбузина и Кумара — на всем этом протяжении в 700 верст с лишком. На Шилке подобные географические условия послужили причиною к тому, что промысел пушного зверя (*зверованье*, по-туземному) послужил в ущерб развитию сельского хозяйства — хлебопашества. Если же примем в основание то обстоятельство, что поселенные в верховьях Амура казаки все взяты по большей части с Шилки и Аргуни (находящейся в тех же гео-

графических условиях), то приблизительно можем судить о направлении будущих хозяйственных занятий казаков. Они, казаки эти, еще далеко до того времени, когда присоединен был Амур к России (по Айгунскому трактату), по старому дедовскому преданию и обыкновению — ходили в эту часть Амура за пушным зверем (в Албазин за лучшим соболем и в другие места за хорошей белкой) и с кочующими туземцами затеяли торги и сходки в условных местах (больчжары, по-туземному). Неудивительно, если до сих пор в верховьях Амура не завели хлебопашества и казаки тамошние охотнее уходят в хребты за соболями или ловят рыбу, чем поднимают плугом веками залежалую лесную землю и не производят работы, для них трудной и постылой. Казаки будут ходить за соболем и продавать его на горячие деньги тем торговцам из Забайкалья, которые десятками и сотнями будут являться сюда, благо опыты сделаны уже в больших размерах. Хлеб и мясо казаки купят; хлеба и мяса казакам привезут ближайшие соседи, которым судила судьба занять дальнейшие места Амура.

Амур за станицею Бибикова вступает в степную полосу; течет решительно степью, со всеми ее признаками: высокою травой, обеспечивающею существование скотоводства в больших размерах, богатым и сочным черноземом, образовавшимся от накопления во многие века старой степной травы, никем не кошенной, ничем не вытравленной. Для того чтоб дать возможность молодой траве заявить свою силу, казаки принуждены уже пускать на старую траву (так называемую *ветошь*) палы, т. е. жечь ее в начале каждой весны. Амур, таким образом, течет степью на пространстве с лишком 820 верст до впадения в него реки Уссури<sup>29</sup>. На этом пространстве горы редки; большею частию они синеют в отдалении и только незначительной высоты холмами выходят на берег. Зато пласт чернозема в большей части мест залегает на  $1\frac{1}{2}$ —2 аршина и даже на сажень глубиною; впадающие в Амур реки широки и многоводны и замечательно часты, чаще, чем в верховьях реки.

Нет на этом пространстве лесов, сменившихся чахлым и малополезным тальником да изредка березой; но зато Малый Хинган вышел весь усаженный дубом (хотя и мелким), орешником и черной березой. За Малым Хинганом Амур идет голою степью, и здесь между устьями двух огромных притоков Амура — рек Сунгари и Уссури, — залегли лучшие, благословенные места всего Приамурья. Тут дико растет (хотя и не созревает) и хваленый виноград, и сладкие яблоки; тут на то время, когда в верховьях Амура тает раскиданный по берегам речной лед и просвечивают в падах большие снежные глыбы, — цветет черемуха и благоухает весна в оживленной и очаровательной прелести. На этом огромном пространстве между устьями амурских притоков Зеи и Сунгари маньчжуры сгруппировали людное и часто насаженное население и с давних времен образуют колонии из ссыльных китайцев, часто уроженцев самых отдаленных мест Небесной империи. Если эти прибрежья дальнего Амура служат для Китая местом ссылки, то во всяком случае для России они богатое приобретение для будущих колоний, если только колонии эти будут устраиваться рукою опытною. Но еще благоприятнее, еще счастливее этих мест для русских колоний, без всякого сомнения, те места, которые пошли к югу от Хабаровки по правому берегу реки Уссури, оставленному за Россией до последнему Тяньцзинскому трактату. Все благоприятствует там возможности существования на будущее время больших и цветущих селений: и большая судоходная рыбная река с глубокими протоками, и девственные, богатые пушным зверем леса со многими разновидностями древесных пород, и обширные степные нетронутые пространства, залежшие между прибрежными хребтами и лесами. Так, по крайней мере, на всем протяжении реки Уссури от устья до впадения в нее Сунгари, вытекающей, как известно, от озера Ханкая. Между озером этим и корейским берегом устроены китайским правительством большие плантации известного целебного корня жень шеня (по-

маньчжурски — оро-хото); в одном из прибрежных уссурийских озер водятся речные черепахи; приречные леса дают много прихотливых южных пород плодовых деревьев: в обилии яблоки, груши, кедровые орехи дикий виноград успевают иногда созревать. Все, одним словом, обещает много блестящих надежд в будущем от этого приобретения: во всяком случае, побережья реки Уссури — лучшие места во всем приамурском крае, перед которыми бледнеют все другие; и на них-то по преимуществу — по нашему крайнему разумению — должны сосредоточиваться виды и надежды местных колонизаторов.

Далеко не те картины рисуют пред нами низовья Амура. На первой сотне верст река утрачивает свой степной характер и вступает в лесные пространства. Круто поворачивая к северу и идя далее в северо-восточном направлении, она разбивается на острова и протоки: острова песчаны и бедны растительностью, протоки обставлены густыми первозданными и почти исключительно хвойными лесами. Климат чувствительно суровее, большие болота и широкие озера в большом числе залегают по берегам. С половины этого тысячеверстного течения Амура, от устья Уссури до моря, местность принимает тот тайговой бесприветный характер, который носят побережья Лены, Оби, Печоры. Разительным контрастом является эта местность по отношению ко всем другим местностям Амура; далеко нет той мягкости колорита, которая очаровывает в срединном течении реки; самые краски крупнее и грубее, чем даже в верховьях Амура. Сильно напоминает эта местность северные пространства России, родные и милые, но тем не менее бесприветные и безнадежные. Здесь в начале июня лежали еще по горам нерастаявшие громадные массы снега; стояли холодные ветры, и Амур сдавал волнами крутыми и устойчивыми, какковы бывают одни только морские волны. И чем ближе к устью (почти от самого впадения реки Хунгари), тем природа становилась суровее: быстро изменялись и

грубели черты ее; быстро подлаживалась к ее мрачному северному колориту и вся обстановка. Мягкие черты кротких гольдов сменились скуластыми, сумрачными и даже немножко свирепыми лицами гиляков; на место домовитых и прочных юрт маньчжуров встали скороспелые временные юрты гиляков, оборванных и почти полуголых, голодных и почти ничего не готовящих в запас на будущее время...

Поселения в этих местах требуют усиленных работ и сосредоточенного внимания. Готовых мест для селений — самое ничтожное количество; большая часть требует расчистки от вековых сосен и елей. Почва не обещает хорошего плодородия, а разбросанность удобных мест одного от другого почти не дает никаких гарантий для возможности существования плотного и обеспеченного населения. Все оно, по всему вероятно, должно устремиться по направлению к югу от устья Уссури, если, конечно, не встретит сильных противодействий со стороны колонизаторов. Селения, образованные из переселенцев, назначенных в Камчатку, и расположенные на пространстве между Мариинском и Николаевском, представляют печальный результат оживления этой бесприветной местности; переселенцы при всех усилиях в пять лет успели только обстроиться, кое-как сделать росчисти и завести хозяйства, которые найдены были нами в весьма печальном состоянии.

На этой-то именно местности приамурского края и поселены те переселенцы из пяти великорусских губерний, за судьбою которых мы следили в начале этой статьи по официальным данным. Проследим далее за ними по нашим личным наблюдениям и соображениям.

В конце августа и в начале сентября все эти переселенцы были уже, как известно, на местах своего водворения.

Наступила суровая осень, хотя и стоял август месяц далеко еще не в последних своих числах. Дожди и туманы вступали в свои права и мрачили перед нами окрестность. Бог весть какими безутешными и беспри-

ветными являлись они всем нам на ту пору. Мы поднимались вверх и в обратный путь на легком и небольшом казенном пароходе, у которого на этот раз было название «Онон».

Пароход бросил якорь. Мы вышли на берег. Толпа крестьян и ребятишек окружила нас. Оказались переселенцы. Из какой губернии? Из Тамбовской.

Мы видим на берегу целую поленницу белых мешков и спрашиваем. Оказался провиант, выданный переселенцам; в мешках — мука. Хороша ли?

— Шибко подмочена: солоделая.

— Квас, стало быть, хорошо варить! — заметил какой-то остряк.

— Хорошо и квас, — отвечал один из толпы, — а хорошо и так ее бросить; никуда эта мука не годящая. Мы эдакой на родине-то своей и телятам не месили.

— Дожди теперь идут; а она у вас загнила вся; черви завелись. Отчего мешки у вас ничем не покрыты?

— Нам и себя-то покрыть нечем, а об мешках с мукой нам и думать не приводится.

Осмотрелись мы: слова мужичка были справедливы.

— По четыре недели рубах не снимаем — обносились.

— Нехорошие места на вашу долю выпали...

— Такие нехорошие, что кабы знали, так и не снимались совсем; на родине не в пример было лучше. Есть же и на Амуре-то этом места хорошие. Просились мы под городом Благовещенским, сюда поближе: не вышло разрешения. Сюда, сказали, разрешение вам.

— Пытали просить у начальства.

— Вон там по Усуре-реке важные места, сказывают.

— Ну да вон и повыше-то места маленько получше же этих.

— Нет, знать, хорошие-то места не про нас пасли; много, братцы, хороших местов на свете, да не наши места-то эти.

И заговорили. Заговорили переселенцы все вдруг, как любит говорить русский человек, когда затронет все сердца один общий интерес и накипит на этих сердцах невзгода и недовольство и когда нет русскому человеку никакого другого исхода, кроме этих торопливых и недовольных разговоров. «Хоть в разговорах-то и жалобах этих, — думает он, — разведу я свое горе и уложу расходившееся сердце, благо наскочил на меня живой человек, который меня слушает, а может быть, и сочувствует мне, а может быть, и поможет мне».

— Места нам выпали такие, что, кажись, хуже их и нет на Амуре: все болота либо глина.

— Просились бы на другие! — вырвалось замечание у всех нас в одно слово, тем более что все мы видели, что крестьян действительно высадили на болото. Мы брели по грязи, по болотной мокроте и кочкам. Эти болотные кочки шли дальше, шли под гору, шли вдоль реки. Нам сделалось грустно за переселенцев; мы видели насущное горе их и были не в силах помочь им. Переселенцы говорили нам:

— Решено, слышь, так, чтобы нас-де уж не снимать с этого места: такая-де судьба наша. Для того тут, слышь, и столб поставлен, а столб-де этот не мы ставили. Просили мы: «Позвольте, мол, хоть на пригорочек вон этот выселиться!» — «Это-де можно!»

— Да и на горе-то этой, братцы, все глина; ходил я утрясь, да чуть сапогов там не оставил.

— Горе наше великое, а жалобу принести некому. Всякой сказывает: «Не мое дело». Не похлопочет ли как ваша милость. Сделайте, господа, великую Божескую милость!

Но мы тогда могли только сочувствовать этому горю; можем теперь занести этот факт на эту страницу нашего скромного рассказа и сказать *имеющему уши слышати*, что безнадежное место водворения тамбовских переселенцев называлось тогда — *шестой станок*.

Заходили мы потом и во все другие станки; и все эти переселенческие становища-лагери, словно сговорясь,

вели один и тот же мотив с незначительными только вариациями. Общий характер — недовольство и безнадежность; в частности — со стороны одних желание совершенно переменить место, хотя бы даже вдалеке от настоящего, и со стороны других стремления более ограниченные: именно отыскать место посуше, но зато и поближе. Нам хвалили два места как лучшие и более удобные, но одно из них (Горинское) оказалось только возвышенным, но мокрым как на первый проезд наш, так и на второй обратный. Второе место, так называемый первый станок, имело преимущество пред другими только в том отношении, что было ближе к более или менее срединному пункту, какова, напр., Хабаровка, стоящая при слиянии Уссури с Амуром.

Вообще же в деле размещения переселенцев нас поразили следующие крайности и случайности. Зачем было вести переселенцев именно на эти места, в верховья Амура? Если до сих пор места эти не были заняты и нужно было стянуть срединное население Амура с низовым, то во всяком случае крестьяне не сделают больше, чем сделали бы то же самое казаки. Стратегическая линия нужна была, может быть, на первые годы; теперь она анахронизм. Воинственное некогда (дет двести тому назад) маньчжурское племя, покорившее с середине XVII века Китай, теперь находится в той кроткой апатии и неге, какую испытывает счастливый победитель, довольный нынешним днем и не имеющий нужды заботиться о завтрашнем. Китайцы уже давно рассказывают притчу о жирном нищем маньчжуре, который пришел просить работы и защиты у сухощавого, но богатого китайца. Гиляки и гольды — безопасны, как бродячие, зависимые от маньчжур, племена у которых забота об нынешнем дне выше всякой другой. Нет нужды, по нашему крайнему разумению, селить казаков именно только в тех пунктах, которым могут угрожать маньчжурские нападения. К тому же не много надо жить с казаком, чтобы разувериться в их воинственности и знать, что, если лягут перед казаком

соблазном лес и поле, он скорее возьмется за ружье, чем за соху; а это сделать ему было бы так же легко и в низовьях Амура, как делал он это на Аргуни, делал на Шилке, делает теперь в верховьях Амура. У амурского казака вот уже четвертый год хозяйство плохо ведется и до сих пор не завелось ничего. Не затем же, чтобы ничего не делать, шел сюда великорусский переселенец почти десять тысяч верст и просился на Барабе, просился на Братской степи, приговаривался к местам по Шилке и вымаливал себе места на Амуре между р. Уссури и Зеей. Он долгими путевыми страданиями, начатыми разлукой с родиной и родными, выслужил себе право на лучшую участь, чем та, какую он несет теперь. Расселенные между казаками конного полка и казаками пеших батальонов (уссурийского и амурского), великорусские переселенцы внесли бы живую силу, которой отчасти недостает казакам забайкальским. Сопоставленные о бок в одни и те же условия, они бы не затруднились во многом: казак нашел бы работника, крестьянин — друга, у которого встретил бы если не помощь, то совет. Что же теперь найдет ничего не имущий крестьянин у соседа гольда или гиляка, когда этот самый гольд и гиляк умрут с голоду, если маньчжуры не подвезут им (за их отступничество) хлеба и если в Амур придет мало рыбы, напуганной и разогнанной казенными и частными пароходами, которые, говорят, увеличиваются в количестве? Каким образом установит крестьянин свои отношения и чем скрепит свою дружбу с соседом гиляком (несмотря на всю дешевизну приобретения этой дружбы), когда он сам получил только казенный паек в обреш, не имеет своего поля и даже не успел засеять огорода табаком? Друг от друга крестьяне отдалены на большие расстояния, из которых самое меньшее 35 верст и самое большое 100 с лишком. Да и некогда им теперь устанавливать сношения и заводить заветную хлеб-соль с соседями: все около себя они обязаны обряжать личным усиленным и тяжелым трудом. Казна дала им немного, почти ниче-

го. Заготовленные для переселенцев дома крайне плохи и притом в таком небольшом количестве, что в них принуждены были поместиться на предстоявшую зиму пять-шесть семей. Дома эти, или, лучше, деревянные срубы, строены были линейными солдатами, по казенному наряду, на срок и к спеху, стало быть, вышли дурны, неблагонадежды. Углы этих изб приложены на глаз и на авось: пазы вышли неровные и законопачены были ветошью (прошлогодней травой), которая летом высохнет на солнце и превратится в пыль; пыль эту выдуют и унесут в лес крепкие ветры или вымочат в грязь осенние дожди. На многих домах успели настлать один только потолок, и то кое-как; на редком из них были сделаны крыши; в редком сложены печи, вставлены рамы; в немногих из рам врезаны стекла — дорогой, редкий продукт бесстекольной Сибири. Равным образом переселенцы получили очень мало железа, да и то, которое было им выдано, оказалось дурного качества. Приготовленное на казенном Петровском заводе, оно было плохо прокатано; топоры и заступы очень скоро расплющивались и становились негодными, редкие сошники годились на какое-нибудь употребление; жалобы на полученное железо и просьбы о замене его новым были повсеместны. Переселенцы готовы были купить железо, но купить было негде. Восточная Сибирь, несмотря на существование двух больших казенных заводов и на избыток и изобилие железных руд, до сих пор так же нуждается крепко в железе, как и в стекле, и во всех мануфактурных изделиях. Положение переселенцев и в этих отношениях также безнадежно.

Безнадежно это положение особенно еще в том важном отношении, что начальство упустило из виду следующее главное обстоятельство. Россия дала для Амура переселенцев из двух совершенно различных и диаметрально противоположных местностей: жителей степных пространств с одной стороны (каковы: тамбовские, орловские и воронежские крестьяне) и жителей лесной полосы России (каковы крестьяне Вятской

губернии). Все они без предусмотрительности и без различия поселены были — как мы уже выше сказали — в лесной тайговой полосе местности Приамурья. Степняк, редко имеющий дело с топором и получающий все деревянные изделия (каковы, напр., ведра, кадки и даже оконные рамы) из ближайших северных губерний (какова, напр., Владимирская), затруднится, растеряется и ничего не сделает без примера и указания в лесных местах хотя бы даже и этого Амура. Гигантские работы расчистки лесов и приготовления новой — для него дело непривычное и больше чем несподручное. Он уже и теперь сидит у реки и ждет погоды; ждет и обдумывает, может быть, в крайнем случае бросится на сподручный промысел: на зиму в извоз (благо есть лошади), на лето на промысел лесного зверя или на мелкое торгашество около гольдов ради соболей и белки. И не вправду мы пенять на переселенцев впоследствии, если они от хлебопашества перейдут к какому-нибудь городскому промыслу и размельчатся в кулачестве до того, что забудут о земле и плуге, родных и привычных для них сыздетства. Всякая насильственная мера ведет за собою неизбежную путаницу, никогда не достигает успешных результатов не только вначале, но и далеко впоследствии. Пример — тот же Амур, да и сотни других самых новых и самых свежих и притом в самой России. Мы не будем распространяться об них ради крайней известности фактов, совершающихся у нас ежедневно перед глазами. Степняк едва ли останется в амурских лесных местах тем же, чем он был на родине, т. е. хлебопашцем, и, по всему вероятно, ударится в мелкий торговый промысел, тем более что и в местах родины он получил к тому большую повадку. Несомненно полезный и находчивый там, где залегли по Амуру степные пространства, на которые его не выселили, степняк в этом отношении составляет решительный контраст с переселенцами из Вятской губернии. Вятский, как известно, с раннего детства и до гробовой доски имеет дело с топором и лесом. Значительно развивающееся

население в этой одной из многолюдных и населенных губерний России беспрестанно раздробляется на выселки. Для этих выселков вырезает он в тамошних первозданных лесах большие площади, жжет их, вырубает корни с изумительной скоростью, постоянством и сноровкою. Дело это столько же сподручное и легкое для него, сколько для степняка уменье обращаться с косой и плугом. Где же тут сходство? Где же тут право на совместное водворение и тех и других? А между тем на Амуре при водворении переселенцев великорусских губерний произведена была следующая странная, непонятная операция. Переселенцы вятские — мастера строить дома и охотники рубить нови — поселены в готовых домах экс-города Мариинска, откуда, как известно, выведен был линейный батальон в Николаевск. Мариинские дома, выстроенные теми же солдатами для себя, были обстроены необходимыми службами и обставлены кое-какими огородами, на приготовление которых также потрачено было немало усилий и трудов. Солдаты с стесненным сердцем, жены их с горькими слезами оставили за бесценок свою собственность, доставшуюся потом далеко не в те руки, в какие бы следовало. Между тем переселенцы из степных губерний заняли кое-как и наскоро слаженные дома, готовые только на меньшую половину, переселенцы, которые на родине привыкли жить исключительно только в землянках и хатах. И вот Амур — по поговорке «кому мать, кому мачеха» — не умел удовлетворить ни тем ни другим из переселенцев Великой России.

Теперь, при соображении весьма многих важных обстоятельств, почти не подлежит никакому сомнению, что значение устья Амура, существование при нем весьма удачного Николаевского порта, а затем, следовательно, и значение всех низовьев Амура, начиная от устья реки Уссури, должно со временем ослабеть. Все движение, вероятно, устремится, как мы уже сказали, по направлению реки Уссури. Река эта, как известно, идет и близко подходит своими притоками к тем

местам, где залегли отличные во всех отношениях и сравнительно гавани и бухты Восточного океана, каковы: порт Мей, залив Ольга, гавань Посьета. С одной стороны: излишне большой и мелкий Амурский лиман, в котором редкое из судов не садится на мель, несмотря на существование створных знаков и бакенов, и на проход которым ни одна из европейских компаний не берет на себя страхований по причине многих несчастных случаев<sup>30</sup>; сверх того, негостеприимство северных частей Восточного океана, вечно обставленных густыми, непроглядными туманами; бесполезное соседство Николаевского порта с безлюдными местностями прибрежий Охотского моря: с Камчаткой, островом Сахалином, Удским и Аянским краями, и, наконец, суровость климата, недоброкачественность почвы и редко насаженное население. Зато с другой стороны: по реке Уссури огромные и богатые рощи корабельных лесов; они чем ближе к морским берегам, тем целостнее и богаче разнообразиями древесных пород; залив Ольга и порт Мей обсажены сплошь дубовыми вековыми лесами; берега гавани Посьета прорезаны толстыми пластами отличного каменного угля; эта и другие вместе взятые гавани представляют обширные, глубокие и отлично защищенные рейды для стоянки морских судов, командироваемых для плаванья в Восточном океане; и сверх того близость Японии и Кореи, в довершение всего, обеспечивают существование и возможное развитие морской торговли именно здесь, вблизи Кореи, а не там, где существует в настоящее время город Николаевск. Если за ним остается исключительное право производить с южными портами Китая в больших размерах лесную торговлю и отчасти служить складочным местом продовольственных припасов, заготовленных для прибрежного населения Охотского моря, то во всяком случае мы можем смело предположить, что всякая другая возможная торговля устремится по направлению реки Уссури к южным портам Восточного океана, которые по последнему Тяньцзинскому трактату, как известно,

оставлены китайским правительством за Россией. Кроме того, гавань Ольги обеспечивает возможность существования большого населения, в развитии которому не отказывают и места, залегающие между этою гаванью и истоками реки Уссури. Это нам доказывают и последние правительственные распоряжения, сосредоточенные пока на проведении по этим местам линии телеграфа и на приглашении переселенцев именно сюда, хотя в то же время побережья Уссури еще могут с избытком уделить такие пространства, которые удобны к заселению и до сих еще пор лежат впусте<sup>31</sup>.

Но возвращаемся снова к нашим личным воспоминаниям.

Стоя на высокой горе, по которой разбросано селение Хабаровка, и видя перед собою по ту сторону Амура бесконечную равнину, богатую травною степь, лежащую во всей своей неприкосновенности, мы снова вспомнили о несчастных русских степняках, недавно нами оставленных, и снова пожалели об их участи еще с большим участием и сожалением. Ради чего (думалось нам) положили роскошные места амурских степей? Ради чего так пунктуально держались бог весть когда составленного назначения и, имея в виду одну малозначительную сторону, опустили из виду другую, весьма важную? Сколько бы скота развели на этих неоглядных равнинах умелые и досужие малороссы! Сколько бы любви и старания приложили они здесь на знакомой почве, которая только тем отличается от родной и покинутой ими, что эта — новая, девственная почва, благодарная и обеспечивающая таким легким и таким близким успехом! Приладили бы они здесь такие же землянки и жили бы тут так же счастливо и домовито, как не удалось им жить на родине и как хотелось бы им пожить на чужбине. Насилованные в своих пожеланиях, они, может быть, круто обращенные на иную, вовсе незнакомую житейскую обстановку, расстреляются и изноют в нужде, как уже и случались подобные несчастья в той же Восточной Сибири (напр.,

на так называемом Аянском тракте). Грустно, безысходно грустно стало нам за несчастных переселенцев, и воображение наше рисовало иные подробности, не менее безутешные, не менее обидные.

Едет (думалось нам) чиновник по казенному наряду осматривать и назначать места, удобные для станций. Едет этот чиновник и думает: «Пространство дали большое; я один: всего не сделаешь, всего не осмотришь; да и кто может знать, какие места тут лучше, какие хуже. С гольдами говорить не умею, стало быть, и спросить некого. Стану назначать для станций места там, где живут эти гольды, лишь бы только по приблизительному расчету около тридцати верст вышло». И ставил этот чиновник столб: быть делу так. Пусть же строят тут избу: станок будет. Для станка особенных условий не требуется. И вот через год за этим чиновником едет другой чиновник и тоже по казенному наряду, но с более важным поручением. Ему приказано отыскать и назначить места, удобные для заселения и селений. Видит этот чиновник станки, видит гольдские деревни, из которых одни — большие, другие — маленькие; видит он все это и думает: «Гольдская деревня велика, стало быть, место хорошее; иначе бы не селились тут гольды большой массой». И ставит тут подле деревни этой этот чиновник свой столб. Маленькие деревушки гольдов проезжает он мимо и думает: «Тут не стоит, тут и гольд неохотно селится, да и будущему русскому населению около небольшого числа гольдов меньше гарантий чем-нибудь поживиться на несчастный случай голодовки, чем, напр., под боком у большой гольдской деревни». Думает этот чиновник таким образом и ставит восьмой, ставит и девятый столб. Ставит этот чиновник этот девятый столб, глубоко врывает его в землю и глубоко верует, что вернее врыть там столб, где уже прежний чиновник поставил станок, и мимо станка этого уже не один раз проезжало начальство. «Будет ответственность, не будет ее — по крайней мере, сошлюсь на первого: пополам ответ». И врывает чиновник новый столб,

но забывает (а может быть, на этот раз и не знает), что на вкус и требования гольда плохая надежда. Гольд ищет места для жилища своего такого, которое, приходясь под горой, защищало бы его самого от ветра и метелей, а его юрту — от осеннего погрому. Места ему нужно столько, чтобы построить зимник на горке и летник ближе к воде, чтоб под руками были и невода и рыба. Хлеба гольды не сеют, сена не косят: ни лугов, ни полей им, стало быть, не надо; хлеб привезут к ним маньчжуры, а из домашней скотины они, кроме собак, никакой не держат. Как бы то ни было, но близость гольдской деревни не всегда ручательство за хорошую почву поблизости. Служа двум господам, не угодишь ни тому ни другому. И третий чиновник приедет посмотреть — так ли сделал второй — и ничего не увидит, ничего не узнает: места, наугад назначенные, так и останутся за переселенцами, и сядут на эти места эти переселенцы и начнут с тоски да с горя кулаки грызть. Дело их, во всяком случае, дело проигранное, труднопоправимое и почти безвозвратное. Рассердится крестьянин, да и напишет в Россию к родным и знакомым такую грамоту: «Пришли мы на Амур благополучно; а здесь нам худо; а собирается кто из наших соседских, сказывайте им: не ходили бы. В Сибири хорошо, а дома не в пример лучше. А мы живем и неведомо как жить доведется: ничего у нас нету, а видно, на все власть Божья, а мы тому, видно, не причинны, что блажь такая напала и ушли мы из деревни. От хворости пока Бог бережет, а по сие число остаемся живы и здоровы; а впредь уповаем на Бога».

— Взять бы нам мужиков-то своих перед уходом сюда всех, да хорошенько выпороть, чтобы дури экой на себя не пускали: право, так! — говорили мне бабы, пришедшие с мужьями из Воронежской губернии.

Мужья, стоявшие тут же, промолчали, крепко только почесывая сначала затылки, а потом — по сочувствию уже — и спины свои.

Как бы то ни было, но во всяком случае водворение государственных крестьян великороссийских губерний

на этих амурских бережьях — по нашему крайнему разумению — произведено безрасчетно, неудачно и к тому же несчастливо. Не приняты были в расчет и соображение опыта старых годов, не выполнены самые главные требования всех подобного рода операций. Самый существенный недостаток, обусловивший естественным образом неудачу, состоял в том, что крестьянам отказано было в праве заблаговременно и предварительно отправить на места депутатов, которые, будучи выбраны обществом и знакомые с его требованиями, отвечали бы за выбор мест водворения. Высшее правительство никогда и никому из переселенцев в этом не отказывало.

В заключение остается нам теперь еще один вопрос: кто же теперь придет на Амур из России?

В журнале министерства государственных имуществ, в мартовской книжке нынешнего года, на 127-й странице «Смеси», мы встречаем следующие замечательные и правдивые строки. «В настоящую минуту мы отметим следующий факт, показывающий очень ясно, что новое положение переселенцев если не лучше, то никак не хуже прежнего. Факт этот: большая готовность крестьян переселяться и притом всего охотнее туда, куда уже переселились их односельцы, или соседи, или вообще земляки. Что крестьяне переселяются охотно, это подтверждается, напр., объявлением от ставропольской палаты государственных имуществ<sup>32</sup>. То же доказывают и нередкие дела “о крестьянах, самовольно перешедших из одной губернии в другую”, вызвавшие в прошлом году особый циркуляр<sup>33</sup>. Что крестьяне охотно стремятся именно туда, куда уже переселились их земляки, то в подтверждение этого, помимо множества других доказательств, приводим следующий свежий факт: в прошлом 1860 году из Полтавской губернии по вызову правительства переселилось в Крым 246 семей; в последнее же время из той же губернии и почти из тех же уездов изъявилось желание переселиться до 850 семейств, т. е. много больше, чем в прошлом году и

чем предполагалось». Автор этой статьи говорит далее: «Крестьяне прежде подачи просьб о переселении обыкновенно посылают от себя выборных, чтобы осмотреть места предполагаемого переселения и навести нод рукою нужные справки. Ввиду такой готовности переселяться о *понудительном переселении*, говоря вообще, не может быть и речи. Местным властям приходится не понуждать, а разве регулировать эту ревность к переселению, сообразуясь с размером сумм, отпускаемых ежегодно на переселения». В конце статьи своей автор задает вопрос: «Действительно ли русский крестьянин так крепко привязан к своему пепелищу, — к месту, где покоится прах его отцов и дедов, как в этом уверяют нас многие? Привязанность простого русского человека к своей семье не подлежит сомнению, но привязанность к месту — дело спорное. Если взглянуть поглубже, то, может быть, окажется, что не только крестьяне, но и все русские причастны слабости или добродетели — переключиваться при удобном случае из одного места в другое. Мы с малолетства прислушались к пословице: “Рыба ищет где глубже, а человек где лучше”. У малоросса есть и другая поговорка: “Хошь гирше, абы иньше”». Вообще журнал мин. государ. имущ. остановился на той мысли, что мы не умеем ценить достойно русского человека как колониста. «Впрочем, еще недавно, — говорит он, — один из известнейших наших политико-экономов уже сказал: “Русский крестьянин — колонист по преимуществу”».

Во всяком случае, в настоящее время, когда опустелые местности Закавказья и Крыма зовут настоятельно и ждут нетерпеливо новых хозяев из переселенцев России, кредит расхваленного Амура, к сожалению, должен упасть, и мы можем пока остановиться только на одном предположении, что из множества желающих переселения найдется часть и туда, хотя уже, конечно, и значительно меньшая.

Высказанная журналом мин. госуд. имущ. мысль о всегдашней готовности русского народа к переселениям

найдет себе значительную долю оправдания в разработке вопроса о так называемом бродяжестве. Вопрос этот один из главных и существенных вопросов во всей русской истории.

Расстаемся с Амуром ради соседнего с ним океана и с тем, однако ж, чтобы снова вернуться на тот же Амур.

## 5. НА УСТЬЕ АМУРА

В последнее время (и именно только в последнее время), заговорит ли кто о системах заселения Амура или о способах постройки городов, все обращаются к примеру Соединенных Штатов Америки. Ищут ли в них образцов и примеров для руководства во всех подобного рода предприятиях, сказать мы не можем утвердительно. Распоряжения на Амуре слишком ярки и определительны для того, чтобы не видеть в них ничего общего с подобными распоряжениями в Северной Америке. Аналогия, существующая между тем и другим делом, поразительна, но подробности и образ практического применения их диаметрально противоположны. Чтобы не ходить далеко в подтверждение нашей мысли, остановливаемся на устройстве городов по Амуру. Для этого берем в пример американский город (если уже только Северную Америку серьезно хотят принимать в образец и поучение) и в этом случае, опираясь на свидетельство позднейшего из русских путешественников<sup>34</sup>, следим за американским городом с самого зародыша до конечного времени процветания. Особенно знаменателен для нас город Чикаго. В 1830 году это был сборный пункт американцев для торговли с индейцами; через десять лет в Чикаго было 5 тысяч жителей; еще через десять — 30 тысяч; а в конце 50-х годов, меньше чем через 30 лет, народонаселение этого города достигло до 160 тысяч и, говорят, ежегодно увеличивается от 15 до 20 тысяч человек. И между тем начало его так не-

сложно, как несложно начало всех других городов Северной Америки.

Исхудалый, бледный, с усталым лицом, после двухнедельного плавания через океан, европейский переселенец высаживается на берегах Америки, хотя бы, напр., в Нью-Йорке. Заплативши в emigrant-depot два доллара из небольшого капиталца, скопленного на родине при долгих усилиях, переселенец этот с надеждой на труд на первых же шагах по чужой почве попадает в руки американца, который желает делать (и делает) из этого человека аферу и тем убеждает пришельца, что деньги, привезенные им из Европы, надобно издержать все до копейки, чтобы сызнова начать трудиться и работать. Для этого европеец (немец ли он или ирландец) поступает в работу к фермеру, копит жалованье; затем сам делается хозяином-фермером, покупает несколько акров земли, возделывает их, продает с барышом другому, если сам надумал искать себе счастья в заманчивом, соблазнительном Дальнем Западе, еще нетронутым и с баснословными сокровищами. Там он приобретает участок где-нибудь на судоходной реке, близ города, около железной дороги и приглашает в компанию других. Построят они общими силами домики, заборы, срубят часть леса, засеют девственную почву, где она поудобнее, заложат городок, расхвалят в газетах его местоположение, выгоды для переселенцев «и затем будут ждать, пока правительство Соединенных Штатов вздумает продать эти участки с публичного торга, начиная с доллара с четвертью за акр и допуская к торгам на одних с другими основаниях и тех, кто уже владеет участками». Так поступают те, которые ушли из Нью-Йорка. Город их еще не вылился в определенную форму, он только зачинается, но в нем уж обозначаются широкие улицы: «будущий город разбрасывается на огромном, почти безмерном пространстве; рассчитывают на последующие миллионы жителей; никакому кварталу, никакой улице не дается

предпочтение перед другою, все одинаковой ширины и длины; все пересекаются под прямыми углами. Сам народ впоследствии определит, какая улица удобнее, и, конечно, ведущая к пристани, к порту, на биржу первая покроется большими зданиями; а на другой улице, не представляющей тех же удобств, долго еще останутся деревянные избы, наскоро сколоченные первыми переселенцами. «Мне всегда кажется, — говорит г. Лакиер, — что и города в Америке носят на себе печать общего американского равенства: рождение не предоставляет никаких преимуществ ни улице, ни классу людей, ни отдельному человеку, а между тем, так как абсолютное равенство нигде на земном шаре невозможно и невообразимо, непременно образуются различия, явятся любимые, многолюдные, хорошо обстроенные улицы, как образуются богатые, почетные семейства, знатные люди, и путь к этому желанному исходу открыт для каждого, ничто не полагает препятствий и помех, и можно быть уверена, что когда-нибудь дойдет очередь и до тех, кто прежде оставался в тени». Таким образом, новое местечко обстраивается само, управляется также само собою, пришлое население начинает само управлять своими общественными делами, иметь свои суды, свои школы, устраивает их по своему благоусмотрению, так что правительство обращает на новый город внимание свое тогда только, когда город сам даст знать о своем процветании.

Поразительная быстрота, с какою создаются американские города, естественным образом и более всего доказывается тою свободою действий, которая сопровождает всякое дело американца. «Мы здесь счастливы (говорил г. Лакиеру немец из Швабии); мы не боимся полиции. Если человек честен и трудолюбив, нигде нельзя быть довольнее судьбою; над нами нет власти, мы сами хлопочем и заботимся о себе, идем куда и когда хотим, занимаемся чем желаем, сами облагаем себя сборами». Справедливо главным образом то, что выбор земли предоставлен частному лицу, которое, руковод-

ствуясь своими индивидуальными наклонностями, потребностями и вкусом, может отдать предпочтение или избилующей лесом или производящей пшеницу. Конечно, он предпочтет море, озеро, реку, которые могли бы переносить его грузы леса для постройки судов, и проч. Грязный вначале, без мостовых, наскоро застроенный американцами, город успел уже образовать дружную и согласную общину. Один помогает другому строить дом; третий взял на себя обязанность учителя детей. Переселенцы кое-как построили школу, потом церковь. Успехи эти привлекли многих американцев из восточных штатов, город завел лавки, завел библиотеку, начал издавать газету, к нему пристроили линию железной дороги: процветанию его положено начало, и новый город не замедлит сделаться и известным и многолюдным.

Сколько поразительно быстрое достижение результата во всяком деле, за какое ни возьмется легкая и счастливая рука американца, столько же невозможно и слишком смело сопоставление американца с какою-нибудь другою нациею, а тем более с другим государством. Немцы, при всем их прилежании, при всех добрых качествах, бережливости, идут вслед за американцем; а где американец, там немец должен ступить и уступает ему место. «Можно говорить о числовом превосходстве немцев, но не первенстве их! Если немецких переселенцев можно упрекнуть в недостатке практического смысла, — ирландцы отличаются ленью или, лучше, беспечною насчет завтрашнего дня, пока на радости не променяют нажитого доллара на джин и виски. Если у немца нет смелости броситься в предприятие, которое может его разорить и обогатить, — у ирландца нет терпения, нет усидчивости, нет изумительного постоянства американцев идти к цели, пока не дойдешь до нее»<sup>35</sup>. Американец всюду; своеобразный американский элемент дает жизнь и направление всякой деятельности на новом континенте; европеец должен стать американцем для того, чтобы не

звучать фальшивым звоном в этой цепи достоинства, труда и деятельности.

Ничего подобного мы не встречаем на нашей, новой и девственной, почве Амура; а потому и самое сопоставление не может иметь места при всем насильственном и рьяном желании желающих. У нас другие причины основания городов, иные средства. Для чего же мы будем искать руководящего примера в Америке, когда должны находить только поучающие образы, и никак не далее и не более? Чтобы не ходить далеко, мы возвращаемся опять к тому же Николаевску-на-Амуре. В Америке для него есть образец, весьма близкий по сходству, весьма определенный по подробностям.

В верхней Канаде существует город Байтоун. «Не прошло еще четверти столетия, — говорит г. Лакиер, — с тех пор, как начали здесь расчищать лес, а уж титул town не удовлетворяет города, который умел сосредоточить в себе более десяти тысяч жителей, провел широкие, еще, впрочем, не мощенные улицы, раскинулся на огромном пространстве, освещен газом, имеет хорошие гостиницы». Причина такого быстрого процветания — лесная торговля.

Где она в Николаевске, который изжил уже первый десяток лет? Где в нем предприимчивые люди, вышедшие из родной русской почвы с верою и любовью к родине, с надеждою на ее будущее процветание, хотя бы только в здешнем отдаленном и поставленном в новые условия крае?

Обстоятельства благоприятствовали в отдаленности от центров и централизации, благоприятствовали в исключительности положения, во многом другом; воспользовались ли всем этим новые пришельцы в новый город близ устья Амура и вод того океана, около которого процветают Калифорния, Япония, английские колонии и проч.? Нет! — скажем мы утвердительно; нет! — потому что у нас другие требования от города, другие люди для города и другие элементы, из которых сплачиваются и люди, и их быт вещественный и нравствен-

ный. Об Америке мы на этот раз должны забыть и к ней не возвращаться. Наша русская самобытность дает нам на то право, обязывает нас быть, в свою очередь, исключительными для того, чтобы не искать подобия там, где его нет, и не увлекаться чужими примерами и образцами, когда они к нашим делам не прилаживаются ни одною из своих сторон. Николаевск — город, построенный на русской почве вблизи китайской, и притом построенный русскими людьми, у которых в истинном значении слова только три-четыре города, скорее иностранных, чем русских, каковы Петербург, Рига, Одесса и, может быть, Архангельск. Несколько сотен городов лежат у нас на карте, но надо выделить в них только дома управлений, дома казенные, чтобы дальше уже не находить никакого сходства с городом в истинном значении этого слова. У нас нет городского общества, мы за долгое существование не выработали удобства и комфорта городской жизни, которые в истинных городах, в городах Европы, доведены до щепетильности, до миниатюра; у нас нет ничего из всего того, чем заявляет и характеризует себя всякий город на Западе. Многие из наших городов два-три столетия силились стать на линию европейского города и все-таки до сих пор представляют совокупность нескольких отдельных сел, деревень, плохо сплоченных вместе и не живущих общими интересами. Самый большой город — смесь и совокупность маленьких общин, живущих отдельною жизнью, даже без заявления на сближение в одну общую городскую общину. Если уже и готовы инстинкты (хотя и неясные и неопределенные) для того, чтобы можно предположить скорую возможность сплочения разрозненных сил и совокупность стремлений к одной цели, все-таки ни Москва, ни Ростов, ни Казань, ни Киев — не города в том смысле, в каком порождены они средневековыми событиями в Западной Европе.

Возвращаемся к Николаевску, оставляя доказательства высказанных нами положений до благоприятного времени и места.

Правительству нашему необходим был на первых порах в устье Амура и в возможно скором времени порт. И вот выбрано было первое попавшееся под руку место, в первозданном лесу. Сделаны рощисты, образовалась площадка, которая впоследствии оказалась открытою и подверженною неблагоприятному влиянию северных ветров; но тем не менее приступлено было к городским работам. Наскоро сплочены казармы для матросов, дома для начальства, заложена церковь: все вдруг, все вместе, усиленными чрезмерными работами первых русских, случайно попавшихся в это место. Еще не успели вырвать пни от деревьев — проложены, намечены были улицы; еще не успели довести до креста церковь — дома уже были готовы, сквозили в стены ветром, обливали с потолков и обрешетившихся крыш дождем. И вот через пять лет мы находим контору над портом в какой-то бане, лачуге; провиантские магазины в лодках, приплавивших с верховий Амура хлеб и вытащенных и оставленных на берегу в том же некрасивом и неудобном виде, в каком эти баржи, эти лодки были на воде и в воде реки Амура. Правда, что на то время были уже ряды маленьких домиков, кое-как выстроенных семейными чиновниками, матросами из женатых. Американцы, верные своей национальной непоседливости и своему стремлению все далее на запад, переплыли и сюда на Амур, очутившись таким образом на крайнем Востоке. Американцы эти пристроили свои дома к домам русской постройки; дома американцев сохранили и здесь ту оригинальность, какую щеголяют они если не в Соединенных Штатах, то по крайней мере в Калифорнии. Дом уютен и практичен; большие окна с частым переплетом делают их светлыми; дом разделен на две половины: в одной помещается полутеплый магазин с товарами, в другой — жилище самого купца; дома американцев не столько высоки, сколько длинны, не столько красивы, сколько удобны и оригинальны с виду для непривычного русского глаза. Вслед за американцами сделали наезд на Николаевск и нем-

цы: одни, говорят, прямо из Гамбурга, другие — прямо из Сан-Франциско, где в последнее время немцу так счастливится, как, напр., хоть бы в той же России. Гамбургские немцы также поспешили выстроить дома, но с своеобразным оттенком; их дома узкие и высокие, потому что выстроены в два этажа; в верхнем хозяйская квартира, немецкий язык и пиво; в нижнем — магазин с кое-какими мелочами в едва приметном количестве и с огромным запасом водки и рому, между которыми — сладкая вишневка американского приготовления, известная под заманчивым названием *Cherry Cordiale*. Водка эта или, лучше, наливка готовилась для любителей в южных портах Китая из туземцев и для того обклеивалась по бутылкам этикетом с китайскою надписью, где хвастливо рекомендуются ее доблести, но попала на Амур. Попала она сюда недаром. Матросик, посаженный на новую девственную почву, встретил здесь чужую, трудную и непривычную работу плотничью, но в то же время получил он и удвоенную против прежнего копейку. Вот почему матросик, когда весь вышел казенный спирт, охотно покупал сладкую *cherry*, а потом шампанское, а когда при его пособии и с помощью его скучающего начальства порешились в лавках и те и другие напитки, он, матросик, покупал одеколон, покупал духи и пил вместо водки то и другое, редко даже разбавляя водою. Представляя в этом отношении поразительное сходство с американским ирландцем, наш матрос может быть так же беспечен, если бы не был вызван на постоянную работу по казенному наряду<sup>36</sup>.

Насильно мил не будешь — по пословице. Овощи и зелень Николаевск покупает у крестьян, поселенных в низовьях Амура. Мясо ест только тогда, когда приплавит казна, и притом вялое, сухое, невкусное мясо. Целый год николаевские хозяйки изощрались в изобретениях и придумках в приготовлении рыбы, имеющей свойство скоро приесться и надоедать. Выдумали рыбные котлеты, какие-то соусы, но мяса не ели.

Поваженные к чаю, пили его без сахара тоже в течение нескольких месяцев и вдруг очутились при избытке варенья, которое у всех оказалось вдобавок ананасным, сваренным в Америке.

Принявши раз таким образом казенное значение, Николаевск явился городом правительственным, не вызванным нуждами и требованиями народными. Он утвердился на искусственной почве, а потому и на первых порах своего существования не мог иметь ничего своеобразного и самостоятельного. Хозяйства в нем нет никакого; он ждет подвозу предметов первой необходимости сверху каждым летом и предметов комфорта и роскоши на кораблях из-за моря с каждой весною. Те и другие удовлетворяют его желаниям, но, по крайней случайности, далеко не вполне и далеко не так, как надо. Вместо сахара везут ананасное варенье; вместо холста и полотна — кринолины и шляпки; вместо ржи и пшеницы — американские сухари и презервы; вместо колониальных товаров — один только ром и шерри. Купец отчасти прав, хотя и дешев в своих коммерческих соображениях, если на временном и вынужденном (климатом и другими обстоятельствами) затребовании крепких напитков исключительно основывает приготовление своего корабельного груза. Последователен и логичен и потребитель, если за неимением правильных данных не простирает своих требований дальше того, что продают, и пока не ушел от крепких напитков и предметов утонченной роскоши. В Николаевске нет книг и мало чтения — стало быть, заботы об насущном делают из того занятия пока еще одну роскошь. В Николаевске нет семейных кружков, хотя и существует тоска одиночества, однообразие интересов: уменье играть в карты, уменье танцевать — все, одним словом, то, на чем остановилось до сих пор наше провинциальное общество и не пошло дальше. Был порыв замкнуться в клубе, образовать его, и клуб был устроен, но плохо привился, вероятно от той же причины, что порыв был неискренний, скорее искусственный, как искусственно и

самое сопоставление случайных обитателей в этом месте, как, наконец, искусственно и самое построение города. Николаевск в этом отношении нисколько не ушел от других, не менее искусственных городов, каковы большая половина уездных, где нет дворянства и где город образовался указом императрицы Екатерины II из села. Николаевск начинает походить и теперь, в первые свои годы, на те города, которые мы назовем казенными и военными, каковы, напр., в той же Сибири Омск, в России — Оренбург, Екатеринбург и прочие «бурги». Едва ли амурский город пойдет дальше, если будет продолжать идти тем же путем, каким начал. Иерархические различия и бюрократические тенденции не уведут его дальше составления кружков по «Табели о рангах; кружки эти будут замкнуты и враждебны друг другу: псевдоаристократический будет смотреть свысока на другой, псевдодемократический; этот, в свою очередь, будет смеяться и презирать соперника. Начало уже положено, хотя и не выказалось вполне и определительно, но за углами идут уже глумления, сдержанный шепот; слышатся насмешки, пересуды, начались сплетни. Видится во всем этом зачаток разложения, серьезного разъединения. Недостает, может быть, только слез зависти о том, что такая-то надела посвежее платье, такая-то счастливее поклонниками, а эта умеет танцевать польки, не ограничиваясь знанием кадрили и вывезенного из Камчатки туземного танца осьмерки, основателями которого туземные остряки полагают пьяных китобоев. Николаевское общество в этом отношении аналогично, если принять в соображение, что Петропавловский порт с его жителями и ржавыми пушками лег в основание нового амурского города. Многие умеют говорить по-якутски; многие плохо говорят по-русски, шепелявя, как чухонцы в Питере, не ладя с буквою с, превращаемую почти во всех случаях в шипящую букву ш.

Мало вообще своеобразного в городе, много завезенного — как и быть следует — из других городов. Едва

ли не всякий вносит свое и настаивает на том, чтобы это внесенное получило право гражданства. В маленьком обществе все это выдается резко, приходится каким-то углом, бросается в глаза и, в общем, не возбуждает сочувствия. Искусственные меры и искусственные препоны опять-таки тут ничего не делают и не сделают. Общий стол в гостиницах не устоялся; библиотека и сходки в ней ради чтения фальшиво звучали вначале и сосредоточились потом в двух-трех лицах из искренних любителей. Все делалось насильно, искусственно и, стало быть, не имело вожделенного успеха. Напрасно доморощенный оркестр из губастых и грудастых матросов зовет всех к сближению в кадрили и другие танцы; танцы могут состояться, но едва ли надолго. На бал явится (и не один) так называемый скандалист и расстроит общество. Злые языки говорят, что ни в одном из портовых городов не бывает танцев без скандала, может быть, потому-то один из бывалых моряков, войдя в залу николаевского собрания, изумился господствовавшей тишине. Если бы муха пролетела — слышно было, до того этот момент был невозмутим и полон поразительной тишины. Моряк не удержался и спросил все собрание:

— Что это, господа, очень тихо? Уж не перед скандалом ли?

Предсказание его сбылось; сомнению его дали полную веру и подтвердили фактически в конце этого вечера, который был в ряду скандальных не последним и далеко не первым.

Вводя таким образом в быт нового города то, что добыто в праздности и безделье извращенных кружков, новые пришельцы в новом городе вдвойне разъединяют общество: оказывая ему злоумышленное презрение, они запирают себе двери в семейные дома и, с другой стороны, отбивают охоту у других бывать в тех углах, где они сами принуждены будут сосредоточиться ради изгнания скуки и одиночества. Николаевск в последнем отношении дальше рому и cherry ничего не дает... Мало

дает он разнообразия и во всех других отношениях: работы в порту еще так неопределенны и неинтересны, что приохотить и привязать к себе не могут; семейные кружки ведут уже рутинный круговой разговор почти все об одном и том же, почта ходит 5—6 раз в год, корабли приходят из Америки и привозят чужие, непитательные новости. Николаевский американец, получивши товар и газеты, выпьет лишнюю бутылку виски на радости; николаевский русский, не получивший ни того ни другого, все-таки выпьет лишнюю бутылку двойного портера; в одиночестве и вдали от родины он в своих стремлениях может быть не только однообразен, но даже эксцентричен. Все это в порядке вещей. Не удивляемся мы, если некоторые находят главное свое удовольствие в езде на собаках с утра до вечера и достигают в этом занятии каюра завидных результатов и виртуозности. Мы готовы извинить им это, зная, что они к книгам не приучены сызмалетства, что в Николаевске улицы по зимам заносит до того глубоким снегом, что только одни собаки и могут спасти охотника до визитов, до служебных обязанностей и проч. Мы равнодушно смотрим, если два не менее почтенных господина также с утра до вечера ездят верхом на маленьких лошадках по весьма неинтересному городу, в котором нового ничего не увидишь, а старое успело уже до боли натрудить глаза. Привыкли мы — и при всей страсти к сплетням не придаем никакого особенного значения всему тому, что рассказывают и показывают.

Но, боясь тех же сплетен, на которые такие мастера наши маленькие города, а тем более вновь образующиеся, мы спешим покончить с Николаевском, чтобы, боясь греха, уйти из него вон, хотя бы на этот раз в лиман и дальше, в Восточный океан. На прощанье бросаем с палубы парохода наш взгляд на этот город, которым мы, пожалуй, готовы на этот раз даже любоваться. Раньше сказали мы в подобающем месте и при случае, что «вид на Николаевск с реки чрезвычайно картинен и оригинален», что он «глядит решительным городом

больше, чем даже Чита какая-нибудь, а тем паче Благовещенск», — мы и теперь не берем этих слов назад, а идем дальше, тем более что город сделался нам несколько знакомым. Вон влево пакгаузы и дома Амурской компании, в которых завелось много крыс, но еще очень мало необходимых товаров; вон груда вывороченных и навороченных на одно место древесных корней там, где предполагается против церкви городская площадь, на которой поставят, может быть, памятник кому-нибудь и уж непременно разведут бульвар. Таковой и существует около скандального клуба и того места, где успел образоваться маленький рынок, тот же клуб, но только народный. На рынке этом сумели уже собрать всякий разнокалиберный хлам и лом и привлечь любопытного матросика, для которого есть уже тут всяческий соблазн: говорливая, бойкая щебетунья баба-вдова, свихнувшаяся с пути правды девка; есть крепчайший до тошноты маньчжурский и нерчинский табак сам-краше, есть погребок, есть и кусок жареного на лотке и проч. Правее мы видим овраг и знаем, что дальше в овраге этом построена матросская баня; за ней по горе потянулся новый порядок домов и между ними казарма для каторжных. Здесь, говорят, устроился клуб другого рода и вида: идет азартная игра, столь присущая людям сильных страстей и преимущественно тех, которых вовлекли эти страсти в преступления. Еще видим мы несколько домов, которые поднимают в нашей памяти много иных воспоминаний, но пароход поднял якорь для того, чтобы уйти и унести нас от Николаевска.

Туманная и потом дождливая погода мешает нам видеть многое, хотя в то же время, собственно говоря, и видеть нечего. На берегах сараи: один для льду, которым предполагает торговать с Китаем Амурская компания; на другом берегу — ряд казарм: новое каторжное и самое дальнее место — Чипиррах; еще дальше несколько гиляцких юрт, целое селение гиляков — Проньга — и повсюду лес, глухой, первозданный, непроходный лес,

пока только пригодный для притона беглых каторжных. Виды непривлекательны; впечатления тяжелы; погода гармонирует с тем и другим. Мы с трудом различаем бакены и створные знаки и потому только не садимся на частые мели лимана, что ведет нас опытный штурман.

Путь идет нам дальше; смотреть по сторонам нечего; берега скоро отходят так далеко, что мы их теряем из виду; вода становится соленою. Пользуясь этим случаем, мы возвращаемся назад, предпуская на всякий случай — к сведению — краткий исторический очерк Амурского лимана.

В 1783 году французское правительство отправило в Тихий океан ученую экспедицию под начальством Лаперуза. Лаперуз, следуя вдоль Татарского берега, открыл залив, удобный для стоянки кораблей, и назвал его заливом Де-Кастри, в честь бывшего тогда во Франции морского министра. На основании показаний туземцев Лаперуз предположил, что Сахалин соединяется с материком отмелью и что в устье Амура лежат обширные мели; но на том не остановился, а, не теряя надежды пройти лиманом в Охотское море, отправился к северу. Через несколько миль глубина с 15 сажен пала до 9; Лаперуз отправил шлюпки для промера, а сам встал на якорь. Шлюпки нашли глубину в 6 саж. и возвратились обратно. Постепенное уменьшение глубины убедило Лаперуза согласиться с показаниями туземцев; он предположил существование перешейка или канала, весьма, впрочем, узкого, с глубиною не более нескольких фут. Через десять лет в Татарском заливе на небольшом бриге явился английский капитан Бретон. Сидя в воде 9 фут, Бретон надеялся пройти в Охотское море из Де-Кастри. Пройдя миль 8 дальше Лаперуза, он встретил глубину 2 сажен и послал промер. Помощник его Чепмен объявил, что хотя между мелями и встречаются глубины, но они, постепенно уменьшаясь, приводили его к сахалинскому берегу или к сплошным отмелям. Оба берега как бы сливались; пролив между

ними не был виден; берега повсюду окружены были песчаными отмелями; не было ни малейших признаков прохода. Бретон заключил, что Сахалин соединяется с материком, и это мнение с той поры прошло в позднейшие поколения. В 1803 г. наше правительство отправило Крузенштерна для описи Сахалина (северо-восточной и северной его части). Крузенштерн (в 1805 г.), описывая восточную часть острова, около 52°, на пространстве около 10 миль к NO, встретил признаки отмели и буруны. Обогнув Сахалин с севера и направляясь к югу, он увидел пролив в 5 миль шириною, который и принял за канал, ведущий в Амур. Направляясь в него, Крузенштерн дошел до глубины 6 саж. и дальше не пошел, отправив для промера шлюпки. Лейтенант Ромберг встретил сильное течение и не видал глубины больше 4 сажен, которая по местам уменьшалась даже до 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Вода, привезенная им, была пресная. Крузенштерн писал впоследствии: «Сильное течение, встреченное мною в этих местах, и опасение, чтобы дальнейшими исследованиями не навлечь подозрения китайского правительства и тем повредить кяхтинской торговле (в чем предостерегали его на Камчатке), и, наконец, опасение, чтобы не столкнуться с китайскою эскадрою, наблюдающею за устьем Амура, заставили возвратиться в Петропавловск». И Крузенштерн, таким образом, поспешил заключить, что Сахалин — полуостров, что доступ в Амур если и существует, то разве только с севера, и по причине сильных течений он должен быть весьма затруднителен и опасен; что отмель, встречаемая на восточной стороне Сахалина, дальше представляет бар какой-либо большой реки, а может быть, даже и рукава Амура и проч. и проч. В 1807 г. поручена была подобная же опись В. М. Головнину; но он, как известно, попал в плен к японцам, и опись не состоялась. В 1826 году из Кронштадта отправлена ученая экспедиция капитана Ф. П. Литке, но он, занятый учеными исследованиями, не был в Охотском море, и предписания, данные ему относительно Сахалина, остались без исполнения<sup>37</sup>.

Впоследствии проект ген.-губ. Восточной Сибири Лавинского — как известно — также не был приведен в исполнение по настоянию министра финансов. Между тем несчастное положение Камчатки, возможность и сила конкуренции англичан в нашей торговле с Китаем и многие другие обстоятельства побудили наше правительство снова обратить серьезное внимание на устье Амура, значение которого видел еще прозорливый Петр Великий и оценила Екатерина II, сказавшая, «что если бы Амур мог нам только служить как путь, чрез который легко можно продовольствовать Камчатку, то и тогда обладание им имеет уже значение».

В 1846 году по приглашению правительства и на казенный счет главный правитель северо-американских колоний Тебеньков отправил из Новоархангельска к устью Амура бриг «*Константин*» под командою штурманского поручика Гаврилова. Борясь с течениями и противными ветрами, он весьма медленно поднимался в реку и прошел против течения до 12 миль, делая промеры. Гаврилов пришел к такому заключению: «К северной части лимана реки Амура могут, но с большим трудом подходить парусные суда, сидящие в воде не более 16 футов; дальнейшее же плавание по лиману для парусных судов невозможно (!). Что же касается до входа в самую реку, то только при средствах, какие употребляются для промера в шхерах Финского залива, можно надеяться найти проход в реку, но только для пароходов, сидящих в воде не более 5 футов, и можно надеяться также найти от устья реки к северу в Охотское море узкий извилистый проток, но по протoku этому, по узкости и извилинам, ни в каком случае невозможно проходить судам, даже и мелководным».

Показания эти имели некоторую долю вероятия; по ним правительство остановилось на том положении, что «напрасно хлопотать об Амуре, когда дознано, что в него входят могут только одни шлюпки». Велено было держаться за Аянский порт, уже существующий, чем отыскивать место для другого порта в устье Амура.

Так стояло дело до той поры, пока транспорт «Байкал» в 1849 г. и амурская экспедиция (с июня 1850 по июль 1855 г.) не пришли к заключениям: Сахалин — остров, а не полуостров; пролив, отделяющий его от материка на юге, имеет глубину, достаточную для входа в лиман из Татарского залива судов всех рангов (?); вход в Амурский лиман с севера из Охотского моря доступен для судов довольно значительных рангов, равно как из лимана в реку Амур, т. е. что устье реки с севера и юга открыто, а не заперто для плавания; на побережьях страны имеются гавани и рейды. Следствием этих открытий и занятия главных пунктов края 1854 г., дана была помощь или, лучше сказать, найдены были средства спасения для Петропавловска, равно и для японской экспедиции в 1854 и 1855 гг. от преследования сильнейшего неприятеля. Здесь же нашли себе приют суда, защищавшие Петропавловский порт.

#### ГЛАВА IV В ВОСТОЧНОМ ОКЕАНАЕ

##### 1. НА БЕРЕГАХ ОКЕАНА

И мы бороздили и бурлили воду Амурского лимана вслед за многими другими, пароходом-корветом «Америка», и вслед за другими испытывали всю тяжесть положения, внушаемую обыкновенно тоскливыми, нехарактерными окрестностями, скверной погодой и еще несложившейся, не принявшей определенных форм кают-компанией. На палубе было так же нехорошо и не менее скучно. Лотовые бросали лот, постепенно и убийственно однообразным голосом твердили одно и то же: «Пронесло!» Иногда заменялось это слово определенным обозначением в цифре футов, и тогда все на пароходе приходило в движение. Не думаю, чтобы так было везде, но меня поражала всегда при этом какая-то бестолковая суетливость, усиленная брань, ожесточенные

и даже озлобленные крики. Как будто мы на реке вбиваем сваи и, по обычаю русского человека, не можем в то же время мимоходом ради скуки не поругаться стороной, хотя бы даже и со встречным, не принадлежащим к делу, к касте или артели нашей. В таких случаях я обыкновенно объяснял все эти сердитые порывы возможною близостью неприятной опасности сесть на мель при первой оплошности рулевого и, инстинктивно боясь ссоры, спешил спуститься вниз в каюту. Шумливая палуба, всегда для меня неприятная, на этот раз казалась, впрочем, логичною и последовательною в своих неистовых криках и неистовых стуканьях матросскими сапогами прямо над головою. Мы только что успели пройти мимо того места, где недавно разбилось вдребезги судно «Орос», адресованное с грузом пароходов в Амурскую компанию. Приметный с нашей палубы разбитый остов этого судна, по всему вероятно, вдохновил моих соседей, хотя вдохновение это и разрешалось усиленною бранью и криками и усиленным топаньем за неимением лучшего исхода.

Все-таки первый шаг к наблюдениям не был удачен и привлекателен, и затем сумма общих впечатлений приняла какой-то тоскливый оттенок. Судя по сердитым лицам моих товарищей, и они были под влиянием того же тяжелого и сумрачного гнета впечатлений. У всех было одно на уме и на языке: «Поскорее бы выбраться из Амурского лимана на большой простор настоящего моря». Мы уже двое суток истратили на него, становясь на ночь на якорь, боясь опасности, боясь отмелей, подводных камней. Желание у всех сделалось общим, и самая радость, когда стали приближаться и как будто надвигаться на высокие мрачные горы северной части острова Сахалина, — самая радость сделалась общею; все ее зачем-то старались скрыть или замаскировать, но не удержались в порыве, когда наконец мы изменили курс, пошли на юг и когда снова очутились между двумя берегами — одним ближним материковым, сплошь гранитным, и другим — сахалинским, дальним,

неопределенным. Последний берег раз подошел к нам очень близко, но мы уже держались ближе к правому и держались до входа в первый залив по русскому берегу Восточного океана — в залив Де-Кастри.

Вот что писалось тогда в дневнике, насколько позволяла нам это делать до невозможности узенькая каютка и крышка умывального ящика, служившая вместо стола:

«Залив Де-Кастри — гавань по очертанию на карте, но плохая бухта для стоянки: и широка она, и поместительна, да что в ней толку? Четыре небольшие острова сторожат вход, но не защищают от морских волнений воды в заливе. Два острова приглубы и, стало быть, пригодны для двух (много для трех) судов, хотя бы первого ранга. Острова по виду составляют осколки столько же океанского берега, сколько имеют поразительное сходство с островами амурскими. Один из островов зовется Базальтовым и, говорят, базальтового строения; другой называется Обсерватория, хотя и не будет на нем никакой обсерватории, но зато есть и долго не переведутся старички — забавная птичка (ростом немного побольше рябчика). Старички эти перед закатом солнца стаями спускаются на воду в громадном количестве, словно мухи обсыпают воду, плавают по ней и ныряют, поднимая писк, как будто ведут разговор, и строятся в треугольники. Ко времени заката солнца верхний (передний) угол треугольника начинает медленно подтягиваться к берегу; в сумерки старички уже на берегу, в своих норах, откуда матросы таскают их руками и не надивятся глупости птицы, без смеху не могут о ней вспомнить и с удовольствием едят, на безрыбье, мясо забавной птички, хотя мясо это грубовато и отшибает рыбой. При фонарях, ночью, ловля этих старичков представляет некоторый интерес, по словам многих из наших бывалых. Мы сбились и — не собрались.

Третий остров залива Де-Кастри называется Устричным и вполне оправдывает свое название. Устрицы (крупные, жирные, каких положительно не

ест Петербург) прилипали к скалам и камням острова в огромном и неистощимом количестве. На берегу залива пять-шесть домов, которым присвоено на картах и в казенных бумагах название Александровского поста. При нем живет морской офицер, матросы и солдаты, но тем и другим беспредельно скучно; скука могла бы истощить у них весь запас нравственных сил и терпения, если бы не шли сюда вести прямо из Мариинска, не заходя в Николаевск».

Амур подошел сюда близко; ради близости его сделана тропа и предполагается в лесу просека по хребтам, к озеру Кизи. В Мариинск туземцы Де-Кастри ездят в гости, чтобы проветриться, и оттуда же получают почту, чтобы освежиться и окончательно не одуреть от тоски. А тоска кругом: и в лесу густом, хвойном, полярном, и на берегу пустынном, сумрачном. На нас тоска эта повлияла еще плотнее после того, как мы видели на мысу (у Клостер-кампа) печальные остатки; не менее печальна о пароходе Амурской компании «Св. Иннокентий», разбившегося раньше упомянутого нами «Ороса». И еще одно полезное начинание для Амура разбилось вдребезги! Спасли немного: сняли ржавое железо, прогнивший и почти бесполезный такелаж; остатки разбитого и обобранного судна на морском волнении перед нашими глазами то обнаруживали свои ребра на поверхности, то прятали их под воду, как бы истый утопленник, недавно живой человек. Дивишься одному: как попало именно на это место судно, когда ему не было и дороги сюда, хотя в то же время не дивишься уже — по привычке — судьбе сторожа, приставленного к спасенному такелажу, сторожа, который оказался сосланным на Амур из самой северной части Финляндии за смертоубийство.

На противоположном мысу залива Де-Кастри скалы так оригинально оступились в воду, что образовали подводную арку, которую успели уже прозвать аркой Лаперуза. Подле нее образовалась пещера, как будто также готовая скоро превратиться в арку. Около этой

пещеры над аркой Лаперуза молодой американец, выселившийся на Амур из Калифорнии, просил позволения выстроить дом.

— Кто же вам мешает? — спросили его.

— На этом месте предположен дебаркадер железной дороги.

— До этого времени пять домов успеете тут выстроить и сгноить! — был ответ наивному и романтическому американцу, который так ярко выказал свое немецкое происхождение, вовсе, может быть, не желая того.

Заходили мы в амбары, выстроенные для хлебных и других припасов, и слышали:

— Крыс такая ужась, что трава шумит, когда пойдут они пить воду на речку; и такие большие, такие сильные и злые: застигнешь ее врасплох, в углу, в амбаре, зубы оскалит и мечется на человека кусаться. Кусали носы, уши у людей грызли. На хлеб крысы гибель кладут: забираются в мешки с мукой, в самую середину, и отваливают целый бок, целую половину прямо на пол, чтобы сподручнее было поживляться. Расплодились кошки — крыс стало меньше... Убытков в хлебе казна в счет не ставит...

Но в то же время казна убытки эти ничем не обеспечивает; не снабжает излишком, на случай рассыпки и увеев; не запасает и не дает пилюль с фосфором, признанных действительным средством против опасного к плодовиного животного; не покупает кошек и не прилагает заботы о разведении их. А между тем эта статья на Амуре и по побережьям океана требует внимания и содействия<sup>38</sup>.

Возвратились мы к воспоминаниям о гавани Де-Кастри для того, чтобы расстаться с нею, и расстаемся с ней, не вынося приятных и живительных впечатлений. Вяло и неопределенно устраивается ее настоящее, и так мало надежд на будущее, которое все-таки, конечно, в судьбах истории. Не думаем, чтобы судьбы эти сложились для нее благоприятно сколько ради ее неудобств как гавани, столько же и по причине ее не-

благоприятного географического положения. Что-нибудь одно из двух: или Николаевск должен процветать в ущерб населению Александровского поста, или пост этот, благодаря близости к Амуру и озеру Кизи, должен ослабить будущую лесную торговлю, которая обеспечивается богатством пород древесных в низовьях Амура и побережьях океана и безлесьем южных берегов Китая и южных русских портов океана. Два конкурента вблизи, почти рядом, жить не могут без ущерба один для другого и тем более при начале предприятий одинакового вида и характера. И опять повторяем: мы оставили гавань Де-Кастри с тяжелыми, неприятными впечатлениями. Последние усилились еще более, когда море встретило нас густым туманом, когда постоянно бившая рында наводила на нас еще большую тоску и однообразие. Мы не видали берегов; мы не могли видеть солнца, чтобы определить себе его высоту и по ней уяснить свое место. Берега тоже затянуты были туманом; да и они так неопределенны и так еще неверно нанесены на карту, что мы все-таки выигрывали мало. Наши  $6\frac{1}{2}$  и 7 узлов ходу при помощи паров и поставленных парусов неопределенно вели нас вперед; туман казался вдвое досадным и обидным тем, что он был густ и устойчив и в то время, когда мы считали 28 июня — самую срединную пору лета.

Так или иначе, но мы все-таки приближались к Императорской гавани. После полудня начинаем распознавать берег.

Крутая, словно обрезанная, скала, почти на двухверстном протяжении предшествует низменности со множеством углублений, так называемых падей. Кончается эта низменность — идут снова крутые и высокие скалы, завершенные мысом; открывается широкий, определенный, ясный вход в залив Императора Николая. Направо — одна бухта; за нею на высокой скале — деревянный знак, который указывает нам, что за ним, несколько влево, та искомая бухта, где мы должны бросить якорь. Без этого нам трудно было бы найти

истинную бухту: ей предшествует много фальшивых; впереди выплывает много мысов, обещающих за собою новые бухты. Все это путало нас; мы шли почти наугад, пока не обнаружилась на скале руководящая дощатая пирамида.

Войдя в гавань, мы очутились в решительном коридоре: направо, налево, впереди и назад обступили нас высокие береговые горы, обставленные густыми хвойными лесами. Гавань превосходно защищена, и крутое морское волнение, сопровождавшее нас от самой Де-Кастри, при входе в Императорскую гавань, разбилось на мелкие волны, которые дальше только рябили и наконец совсем улеглись в спокойную зеркальную поверхность, обступившую наше судно. Позади себя мы видели бесконечный коридор, образованный береговыми горами и глубокою бухтою, и знали, что гавань эта хваленая — одна из лучших в свете, поместительная и удобная по всей замечательной длине своей. Устанавливай в ней суда сколько угодно: всем будет место. Одним словом, первые впечатления наши слишком свежи и определены для того, чтобы расположиться в пользу того места, в которое привела нас на этот раз судьба. Искренняя веселость, готовность съехать на берег не один раз, поехать с матросами на рубку дров, поехать с офицерами покататься не оставляла нас в течение всего первого дня стоянки в Императорской гавани. Но — странное дело! — второй и третий день были уже тяжелы, не давали ни свежих впечатлений, ни освещали первые из них — старые, вчерашние. Однообразие берегов притупило зрение, хвойные леса надоели, определенность очертания мысов и островов наскучили. Мы старались поверить себя на стороне: оказалось то же. Скучали наши товарищи; невесело глядела команда; один матросик высказался даже вслух всех:

— Хуже места стоять я не знаю.

— Отчего так?

— Тоскливое, неладное какое-то.

— Тепло очень, словно в бане! — поддакнул ему какой-то остряк.

Замечание его было также справедливо. До входа в гавань, во время плавания, мы едва согрелись в меховой одежде; стали входить — на нас повеяло той теплотой, легкой, разнеживающей, какая встречается только в тех местах, где человек успел обжечь и выжать сырость непочатого и нетронутого места. Ничего этого не могло еще быть в нашей гавани, но между тем мы принуждены были тотчас снять теплое и надеть летнее платье. Но и в летнем платье нам было жарко, по временам душно: воздух казался мертвым, как бы в бане. От жары мы нигде не находили места. К вечеру делалось сыро — выпадала густая роса; снасти становились мокры; выплывал месяц, но какой-то маленький, тусклый, словно фонарь на мачте нашего судна: и мало светит, и нет в этом свете заманчивой яркости.

«Не это ли, — думалось мне, — все, взятое вместе, с тяжелыми впечатлениями околностей повлияло на наших матросов». Известно, что чем нетронутее, первобытнее и естественнее натура человека, тем влияние природы на него сильнее и непосредственнее. Искусственности, подкупу, фальшивости в восприимчивости влияний природы тут не может быть места. Я все-таки не отставал от матроса, и убеждал его:

— Смотри, какая просторная гавань, сколько кораблей уставить можно.

— Экипажей пять установится! — поддакнул мне мой матрос.

— Так чем же она тебе не понравилась? За что ты на нее рассердился?

— А вон — кресты! — коротко и глухо отвечал мне матрос и указал при этом на большую группу крестов, видневшихся между деревьями, вблизи от нашего поста, на мысу.

— Что же, товарищей тут схоронил?

— Нету, тут дианские (с Дианы); от цинги померли. Много народу тогда положили; как мухи, сказывают, мерли.

И вздохнул, окончательно указывая на причину грусти своей, а может быть, и всех товарищей. Мне пришла мысль найти сходство Императорской гавани с кладбищем, тем более что крестов над могилами матросов и одного офицера было много и сосновая роща была тут кстати; кстати и вся тоскливая неопределенность всего окольного. Мыслью своей я поделился со всеми и во всех нашел подтверждение и сочувствие. Не отказался от того же и мой сучающий матросик. Он показался мне окончательно правым в том, что выносил те же впечатления, как и все мы; и особенно вспомнил я его в то время, когда мы вышли на берег к зданиям нашего поста. Угрюмо глядели эти здания — жилища казарма и две других, вновь застроенных, но еще нежилых. Шесть человек матросов, соблюдающих и обороняющих пост, обрадовались нашему приходу, словно дню Христову. Одного из них эта цинга облокотила на костыли; он вскочил с места и, веселый такой, побрел было к нам навстречу, но, не выдержавши порыва, оступился и присел на нары. Матросы с первых слов попросились в Николаевск: «Умирать-де, так уж там умирать, а здесь тоска такая подступает, что по ночам сна не находишь». Человеколюбивое решение исполнить их просьбу, а присмотр за зданиями поручить соседним гилякам было больше чем справедливо. Матросам этим выдали спирту; они вечером на радости пляску сочинят: спирту они не видали с год и около году не встречали ни одной живой души русской, кроме соседей-гиляков, которые живут селением, верстах в пяти от поста, и промышляют рыбу в море и соболей в прибрежных хребтах<sup>39</sup>. По дороге в эту деревню, ближе к нашему посту, мы видели следы батарей, выстроенных гр. Путятиным против англичан. Следы эти были свежи, свежи и следы строений, сожженных англичанами; все это начинает затягиваться (и отчасти уже затянуло) всегда готовым на этот раз к услугам малинником, густым и с трудом уже теперь проходимым.

— Знаете ли вы, на каком месте бросили мы якорь? — спрашивал меня один из наших офицеров.

— Стоим мы, может быть, на том самом месте, где затоплен фрегат «Паллада». Пустить водолаза (если бы был такой), он нащупал бы остов этого судна.

Слова эти слышал я от того самого офицера, который мучительным зимним путем, по хребтам и рекам, прямо из Кизи выехал сюда на собаках и в 1855 году затопил «Палладу», о странствиях которой Иван Александрович Гончаров дал такую увлекательную и интересную повесть. Мы видели могилу фрегата и вспомнили, что память о нем оставлена потомству в живых и всем памятных строках таланта.

Но возвращаемся снова к Императорской гавани, чтобы сказать, что она только четыре месяца в году свободна ото льдов, и для того, чтобы ее снова оставить ради южных портов Восточного океана.

Лишь только мы вышли в море, как опять нас встретили туманы. Правда, что суровость северного климата начала сменяться мягкостью теплой погоды уже недалеких для нас южных стран. Правда, что и самая сырость туманов не имела той жгучести озноба, какими, напр., сопровождаются туманы петербургские и даже те же николаевские. Правда, что на то время было уже глухое лето, все же палуба для нас сделалась если не приятною, то довольно сносною. Чую веяние теплого ветра, мы все-таки имели право досадовать на густоту досадного тумана, на его устойчивость. Мы задавали вопрос бывалым товарищам нашим:

— Когда же здесь не бывает туманов?

— Летом обыкновенно не бывает их.

— Но теперь начало июля?..

— В августе туманы прекращаются.

— А в сентябре?

— В сентябре и ранней весной и по морскому уставу туманы полагаются и должны быть.

— Но мы шли в июне, и шли в туманах, вот и теперь...

— Подождите: *может быть*, и прекратятся скоро.

Но мы ждали и — не дождались. Август вопреки указаниям простоял также туманным; про сентябрь месяц и говорить нечего. Если Восточному океану придали не совсем оправданный и приличный эпитет — *Тихого*, то нам кажется, что эпитет *туманного* будет тут больше вероподобен и приличен, хотя, может быть, и не исключителен. Природа вообще не осчастливила Россию морями: все они какие-то негостеприимные и все они сплошь и вечно туманные, каковы на этот раз два океана и два моря: Белое и Балтийское, из которых последнее имеет еще другие непривлекательные слабости, вообще не располагающие в его пользу.

Туман на пароходе нашем из гавани Императорской еще более досаден и тем, что натворил много бед. Мы не могли определить своего места (не видали солнца); мы не могли выяснить себе берегов и, предполагая войти в гавань Ольги, вошли в бухту Владимира и должны были изменить наш курс на обратный. Пост во Владимире снят и гавань упразднена, тем более что Ольга находится близко.<sup>40</sup>

В бухту Ольги вошли мы — и не ошиблись; ждали в ней новых впечатлений — и не обманулись. Вот что ложилось под перо через день по приходе: «Ольга очень хороша как потому, что образует действительный ковщ, обставленный высокими горами, говорят, футов до 200 вышиною; так и потому, что глядит успокоительно и весело. Горы не теснятся стеной и не оступаются в воду крутыми навислыми скалами; они идут отлого от воды и вырастают крутизнами там, где-то далеко. Нет этой все мертвящей, докучливой хвои; ее сменили широкие и невысокие дубы с обновляющейся живой зеленью. Нет над нами шатра, нет по сторонам нас высоких стен коридора, как в Императорской гавани. Светло над нами и кругом нас; мы не испытываем давящей духоты и от уподобления общности вида гавани ковшу готовы отказаться и искать его в подобии жертвенной чаши с откидистыми краями (если уже только дело идет на

сравнение). Гавань, во всяком случае, защищена от морских ветров окончательно: волнение иногда заходит сюда, но очень редко и притом достаточно слабое для того, чтобы не придавать ему никакого значения. Бухта приглуба у всех берегов; якорь бросают подле самого берега и — хоть сходни клади. Губа на короткий срок месяца замерзает, но лед, говорят, не стоит на одном месте в сплошной массе, который не позволяет скрепляться в избытке растущая в гавани густая морская трава. Выносятся лед очень скоро: входный залив открыт морским ветрам; в него впала большая речка, прозванная русскими Аввакумихой. И река эта, и окрестные высокие, отлогие, конической формы горы обросли сплошными дубовыми лесами. В одной горе (при входе) сверкает сплошная белая мраморная скала. Подле скалы река наметала бар, но коротенький, ничтожный, не мешающий общему приятному впечатлению, которое дает гавань Ольги. Все за нее и в пользу ее: красивым разрезом оттеняются вершины гор в совокупности на чисто-бирюзовом тропическом небе; легкость воздуха поражает нас и увлекает. Хороша гавань, если смотреть на нее с корвета; не теряет она цены и прелестей, если сойдешь на берег и станешь скептически всматриваться во все ее подробности, думая: не декорация ли все это; но и с берега уходишь побежденным и подкупленным удобствами и красотами Ольги.

Густая, сочная, до колен, трава путает наши ноги и мешает идти. В траве мы встречаем дикорастущими те цветы, которые в нашей России тщательно хранятся и воспитываются. Цветы эти здесь обыкновенны и даже докучливы; в них приметно и поразительно разнообразие. Мы видим дикую спаржу, всевозможные виды роз и других ароматных растений. Скот, который успел развести трудолюбивой и умелый хозяин поста, — рогатый скот гладок, сытен, весело смотрит. Шкура на нем лоснится, нет ни морщинки, и любая коровка годится для фотографии, на картинку. Наш пароходный бык, которому промочили ноги еще на амурском сплаве

и вытрясла остаток жиру долгая и крутая морская качка, в три дня отходился на берегу до того, что мы его не узнали, а матросы острили:

— В купцы, видно, записался: гладкий такой стал!

— Мы тобой брезговать не станем: позволит начальство — съедим.

— А хорошее, братцы, здешнее место: умирать не надо. Вот и в бане сподобил Господь в кои времена выпариться и рубахи помыть.

— Мылом! — добавил четвертый.

Матросы наши были справедливы, хотя, может быть, и не заметили, а может быть, и не хотели придать особенного значения тому весьма важному обстоятельству, что и баня, и сараи, и казармы для матросов, и дом командира сделаны сплошь из целого дуба: других деревьев не нашли под рукою, да и искать не думали за крайним избытком дубовых лесов. Жаль было видеть дубы в стенах, на полу, на потолке; но не жалели сами строители, поскучавши только тем, что трудно было превращать эти бревна в доски за неимением пил; на топорах много-де времени уходило; работа же шла вяло и тихо...»

Не особенно пожалели потом и мы об этих дубах, когда привелось нам выйти за казенные здания на гору, потом под гору в лощину, где протекала вторая речка с пресной водой и раскинулась перед нами огромная равнина, обросшая густой, непочатой, в рост человека, травой на одну половину и заставленная на другую, по окраинам, тем же густым, непроглядным дубовым лесом.

И думалось нам на ту пору: вырубят тот лес, выстроят тут город. Город будет приморский, со всеми правами и надеждами на процветание, особенно если сумеют стянуть его с населением Уссури, которое удалено отсюда, говорят, только на триста верст. Тогда Николаевск проиграет непременно. От Ольги недалек один из маньчжурских больших городов; от нее 240 морских миль (420 в.) гавань Посьета и затем независимая, но богатая Корея. Между Уссури и Ольгой залегли

те богатые растительностью и климатом пространства Маньчжурии, которыми она дорожит и в которых растет прихотливое растение жень шень, обладающее, говорят, разнообразною целебною силою<sup>41</sup>. Умелые люди сделают со временем из Ольги такое цветущее место, которому позавидуют многие счастливые места, хотя бы, напр., на том же Черном море. В гавани Ольги будет город, и город огромный, цветущий, торговый...

Поток наших мечтаний был прерван неприятным сказом, что на той тропе, которую мы видим и которая ведет к озеру Ханкаю, тигр успел уже разорвать одного русского матросика. Шли они вдвоем, отправленные командиром из Ольги именно на реку Уссури за почтой; одному довелось приотстать, замешкаться. Товарищ ждал — не дождался, кричал — не доаукался; пошел искать — нашел только рваное платье, клочки желтой шерсти и следы какого-то невиданного зверя. Зверь этот оставлял следы по зимам на снегу и летом на песку; съел казенную лошадь; у соседнего инородца соседней с Ольгой деревушки оторвал руку. Не будет этот зверь класть следов своих вблизи селений и рвать чужие людские руки, когда вырубятся эти привольные ему леса, и обстроятся жильем пустыри, и населятся жилья большим количеством людей. Всего этого тигр боится и не любит, и от всего этого зверь уходит в безлюдные, глухие места, где со временем может попадаться на горячую и верную пулю. Места около Ольги до сих пор глухие (дома китайцев попадаются редко) и малообработанные, дикие (здешние манзы и тазы — плохие хозяева); но гавани этой можно сулить блестящую будущность...

Но, не давая места преждевременным наивным мечтаниям, на которые такая сильная мода на Амуре и вообще в Восточной Сибири, мы спешим возвратиться к воспоминаниям о том, что видели своими глазами.

Видели мы: во-первых, реку Аввакумиху, которая широка только около своего устья и на третьей—пятой версте с трудом делается удобною для прохода даже и

такого мелкого судна, каков был наш пароходный катер. Мы, пройдя верст 10, принуждены были остановиться. Во-вторых, мы встретили на берегу ту же высокую траву, доходившую до высоты человеческого роста, как будто полынь; трава в некоторых местах до того была густа, что нам становилось душно: мы были как будто в бане. Силы наши истоцились; мы с трудом шевелили ногами; до китайских домиков нам оставалось от реки версты 3—4. На дороге мы видели опустелые юрты; встретили китайцев, распахивавших поля с тем уменьем и стараньем, с каким распахивают маньчжуры те же поля на Амуре под Айгуном, отсюда за 5, за 6 тысяч верст. Ласково взглянули на нас пахари; ласково приняли нас в самых юртах, в которых было все то же: те же нары кругом, печь посередине, те же комельки с угольями для раскуривания трубок. Живут китайцы отшельниками: они, по всему вероятно, или беглые из внутренних провинций государства — манзы (что подтверждают и айгунские чиновники-маньчжуры), или тазы (племя оседлых тунгусов). Те и другие пылают сильною ненавистью к маньчжурам, покорителям Китая, наводнившим всю страну корыстолюбивыми и жестокими чиновниками из своего ленивого племени. Те и другие живут в юртах, по-видимому, отдельными хозяйствами, что называется — по углу в избе: по две нары в каждом углу, и перед каждой нарой особый камелек с угольями. Живут, по-видимому, очень бедно и в деле хозяйства как будто новички, и новички неумелые: огород в худом состоянии, полей распаханно очень мало. Мы готовы были принять их за ссыльных китайцев, зная, что места эти — места ссылки; но, с другой стороны, зная, что ссылка китайская обрекает непременно и неизбежно на безбрачную жизнь, мы не делаем этого заключения, потому что в юрте манзов мы нашли женщину. Женщина эта оказалась старухой — некрасивая, обрюзглая, с медным кольцом, продетым в правую ноздрю ради кокетства. Все это не располагало нас в ее пользу, хотя она, видимо, и старалась угодить: была нам

рада, оказалась страшною хлопотуньей. За несколько бутылок она продала нам трех кур; бегала за ними, суе-тилась, визгливо кричала и на кур, и на старика с седой реденькой наполеоновской бородкой и открытой честной физиономией. Он показался нам на ту пору истинным мудрецом Конфуцием: по крайней мере, сходство нашего старика с этим реформатором буддизма не особенно быдо подозрительно на этот раз. Сам Конфуций был недалеко: изречения его, по обычаю, были написаны на дверях юрты, на домике вроде часовни, стоявшем при выходе из деревушки, на белом полотенце, которое заменяло в дощатой часовне бурханов и было повешено в середине над возвышением, уставленным курильницами и разноцветными свечками. Внутри юрты, на стене, висела картина, раскрашенная разными яркими красками, — решительное подобие наших суздальских изображений. То же толкование в лицах, по всему вероятно, какой-нибудь мистической мысли. Вьется змейкой река, может быть, река жизни; в реке плывут люди, на этот раз китайцы, а по приличным местам те же надписания гвоздеобразною китайскою надписью. Вот что мы вынесли из китайских юрт за неумением вынести что-нибудь другое и более определенное. Причина простая: мы не знали языка. Небольшой запас слов, переданный нам одним из наших офицеров, прожившим в Ольге целую зиму, был больше чем беден и недостаточен. Несколько десятков раз потом мы заходили в юрты туземцев и дальше однажды сложившегося разговора не шли. Рады были мы и тому, что хотя четыре-пять наших слов понимают китайцы и нам отвечают. Разговор этот приносил, впрочем, иногда и существенную пользу, потому что знакомые нам слова имели практическое значение.

— Тита ю? — спрашивали мы, входя в юрту.

— Ю, — отвечали нам туземцы, если были у них продажные, излишние куры; и: — Ми-ю (нет!), — если действительно таковых не было.

— Тиа ю? — спрашивали мы, если хотели купить яиц и уносили их столько, сколько угодно будет дать хозяйке на бутылку, на лоскуток сукна или дабы, что и случилось с нами у сказанной некрасивой старухи. Унесли мы из ее юрты еще то убеждение, что старуха эта по правам китайского коммунизма принадлежит единоправно всем тем манзам, которых мы видели на полях и в юртах, но едва ли в этом заключении были справедливы. Здесь и при знании языка мы ничего не могли узнать. Легче сказать слово *нюа* и для большего вразумления приставить к голове обе руки вместо рог и промычать, чтобы дать манзам знать, что мы хотим купить быка. Нас и тут не понимали. Быка мы ни одного не купили. На все наши разговоры и замысловатые телодвижения отвечали одно неизменное «путунда» (т. е. «не понимаю»), и слышали мы «тунда» (т. е. «понимаю»), когда, наприм., желая купить зелени, мы вели хозяев на огород, вырывали эту зелень, клали ее в карман, за пазуху и для большего вразумления тотчас же показывали из другого кармана вещи промена. Роскошь нашего знания языка и расспросов не простиралась дальше вопроса:

— Ламаза ю?

Хотя, собственно, и спрашивать было нечего: существование тигров в этих местах не подлежало сомнению и подтверждалось рассказами наших русских на родном и понятном нам языке.

Самые рьяные и словоохотливые из наших шли дальше и спрашивали у туземцев:

— Манчжу шангавде? (Маньчжуры хорошие люди?)

— Пу-шангавде — нехорошие! — отвечали нам в одно слово всегда и все и головой крутили при этом манзы, хотя и здесь мы давались сомнению: во множестве лиц сухих, худощавых — китайских — даже и при той наглядности, которую мы имели, немудрено было отличить толстые, сонные, круглые и ленивые лица маньчжуров и, конечно, страшилиц — чиновников. Один из них даже не выдержал и явился в казенной шапке

с беленьким шариком на верхушке. Другие из них не умели даже прятать на правом рукаве пришитый узелок из тесемки, за который обыкновенно продевается ружейный фитиль, и тем эти наивные и недогадливые господа обнаруживали в себе солдата, и именно солдата из маньчжур-оберегателей, вообще недружелюбных к русским пришельцам.

Мы вернулись в Ольгу, но и в ней нашли пятно, без которого, говорят, не живет и солнышко. В гавани этой ощущается недостаток пресной воды; пробовали рыть колодезь, но получили плохую воду; вода двух речек далеко от поста, да и притом во время прилива она делается негодною к употреблению в питье; а приливы здешние очень высоки. Они отравляют воду, по обыкновению, горькой соленостью. Но зато из соленой воды бухты мы таскали крабсов, шримсов, варили и ели; ели также жирных и вкусных сельдей; последние годами приходят сюда в огромном количестве.

Но вообще мы должны сказать и признаться, что там, где нет живой души, где нет правильно и знакомо сложившейся жизни, принявшей округлые и законченные формы, — для наблюдений и впечатлений прожива плохая. К незнакомому мудреному китайцу мы не можем подойти слишком близко за незнанием его языка, за недостатком доверия с его стороны, — доверия, которое мы еще не успели и не умели возбудить и вызвать. Мы можем судить обо всем только гадательно и потому скорее ошибочно, чем вероятно. В китайце много хитрости, много умения прятать то, что он показать не хочет. Чужеземца он ненавидит и презирает; в гавани Посьета мы встретили такие недружелюбные, сердитые лица, что готовы были тотчас их оставить, чтобы потом никогда уже больше к ним не являться. Да и не одно только это: наши русские семьи, насильно поселенные, искусственно водворенные, далеко не успели выработать что-нибудь самобытное, на чем можно было бы остановиться и остановить внимание других желающих. Безлюдье и дикость — плохие материалы

для бесед, и да простит нас читатель, если мы охотно вносим то, что попадаетеся нам на глаза и под руку; и да простит нас читатель за то, что мы вносим следующие строки в том виде, в каком они улеглись под перо на месте, под веянием самых первых и, стало быть, самых свежих и искренних ощущений. Мы не решаемся идти дальше того, что давала нам природа и вся наша обстановка, хотя последняя на этот раз, может быть, мало живительная и мало веселая.

«От Ольги до Посьета, по вычислениям нашего старшего штурмана, 240 морских миль<sup>42</sup>. Вход в залив Посьета чрезвычайно приметен и определителен: налево идет длинная и узкая песчаная лента полуострова, который на дальнем конце круто вбегают и разделяется на четыре высокие скалы. За скалами между ущельями видятся домики или юрты туземцев, целая деревенька. Между правым входным берегом и этими левыми скалами обрывистый голый камень, от которого пошла сплошная гряда других камней; камни набросаны в замечательном множестве и около обоих берегов. Между ними остается проход, который отыскать и распознать может только крайне умелый и бывалый штурман. Вправо за входом открывается одна бухта, которую недавно называли Новгородской. Прямо и потом за множеством мысов и полуостровов — бухта Экспедиции, наполовину по направлению к китайской стороне, отмелая и неспособная для стоянки даже мелких судов. Правая — Новгородская — требует также большого знания и опыта за неимением пока совершенно верных карт».

Первым делом нашего корвета было перенести незадолго до нашего прихода поставленный первый русский пост в этом заливе с берега Новгородской гавани на правый берег бухты Экспедиции, ближе к каменноугольной копи, которая, собственно, и составляет главную выгоду приобретения Россией этого места. Со второго же дня начались работы эти; со второго же дня потянулись для нас тоскливые и однообразные часы и дни, без дела, без отрадных впечатлений.

Ловили мы шримсов и крабсов руками и палочками; бродили по берегу, лазили по горам; слушали, как ошущью и плохо сыгрывались наши музыканты, для пущего великолепия взятые из Николаевска. Ничто не помогало — тоска нас снедала. Мало разнообразия принес нам взрыв соседней горы, произведенный нашими от безделья больше, чем ради пользы. Так же бесследно прошли другие затеи. Несколько оживила нас затеянная нами экспедиция на китайскую сторону, туда, где виделись юрты, виделся лес (берега Посъета совершенно голы и безлесны; внутренние богатства угля словно поглотили, втянули в себя возможные лесные богатства по побережьям). Экспедиция эта прикрыта целью рубки лесу, но собственно для удостоверения в том, откуда и кто производит выстрелы, слышные нам каждый день и довольно явственно. Мы встретили войска, видели конных солдат с ружьями и фитилями и пришли к тому заключению, что маньчжуры оберегают свой берег. Может быть, это войско охраняет границу, в то время еще неопределенную, непризнанную, гадательную; может быть, оно прикрывает добычу жень шеня, корни которого — исключительная собственность богдыхана. Может, наконец, быть, что эти войска и оберегают границу свою, но не против непризнанных русских, а против признанных, но независимых корейцев, до которых (говорят наши новые знакомые манзы) всего только два дня ходьбы (верст около 80 приблизительно).

И снова неопределенные данные и слухи, и снова тоска неизвестности, а с нею и снова горькие строки у нас в дневнике:

«Обе бухты тоскливы до невыносимого. Кругом нас голые горы каменистого, с мелким щебнем, строения. Одиннадцать суток докучливо глядел на нас с самой верхней точки ближней горы флаг на длинном шесте, с коренастым матросиком подле. На отлогости горы, по покато́й террасе рассыпались скороспелые палатки линейных солдат и застроена подле нашими матросами новая казарма. Тут же, неподалеку, и почти подле —

два балагана матросов и флотского офицера, которые останутся для заготовления каменного угля и для нужных при этом работ. Уныло глядели черные отверстия, три ямы, прорытые для каменноугольных копей, подле которых наворочена большая куча свежего угля. Уголь этот, говорят, хуже сахалинского, но лучше японского (хакодатского). Открыт этот уголь в прошлом (1859) году по указанию одного из туземных китайцев, хотя, впрочем, и был уже давно известен всюду поспевающим англичанам, которые на своих картах называли один из мысов залива Посьета — *Угольным*. В заливе нет пресной воды, нет лесу. Вода и лес верстах в 8, но и то на китайской стороне, где нас встретили недружелюбно. Между тем китайцы ежедневно приезжают к нам, наполовину ради из любопытства, наполовину торговли с нами. Лодки, словно мухи, летают вокруг нашей «Америки», и дивят нас эти манзы своим умением держаться на веслах и управлять лодкой, словно собственными руками и ногами. Видно, что для них это дело крайне привычное; видно, что они все рыбаки, но не постоянные, а временные жители окрестностей залива Посьета, если судить по целости ушей и носов (стало быть, они не ссыльные), и по тому, что они живут без женщин и, может быть, по вольному найму для ловли морских трав, морских слизней, устриц. Все эти продукты любит китайская кухня, особенно богатых людей (напр., в нашем Маймачине), а тем паче любит избалованный и натруженный всяческими удовольствиями и пресыщениями желудок и весь организм недавно умершего богдыхана. Бедность бивуака, временного жилища, встретила нас во всех портах и еще более утверждала в той мысли, что многие из наших гостей в лодках — не аборигены, а также пришельцы, как и мы сами. Внешний вид каждого чрезвычайно своеобразен: нет ни одного лица, хотя бы и близко подходящего к другому, что сплошь и рядом встречается в других племенах: маньчжурском, гольдском, гиляцком, монгольском и других. Каждый глядит насмешливо и недружелюбно (что и

доказали); из всех мы могли выбрать и полюбить одного только сухого, бородатого, костлявого старика, которого почему-то все прозвали Фомкой, и все остались довольны этим прозвищем. Кажется, доволен был и сам он и привык к этому имени. Чаще других являлся он к нам с зеленью и огородными овощами, рыбой и вкусными жирными устрицами. Мы одного его пускали на палубу и в каюту, в предпочтение пред другими за его доброту и приятельские отношения к нам. Фомка наш сначала не решался спуститься в каюту и позвал для компании земляка и товарища, а может быть, и родственника. Но на другой же день он уже был как дома: лазил, незванный, в каюты и в матросскую палубу; спускался и щелкал языком от изумления в машинном отделении; и хлопал руками и неистово кричал что-то своим на лодках и по-своему, когда привели мы его на кожуховую рубку и поставили на самые кожухи. Добрый человек этот Фомка, но удивительное дитя, несмотря на свою клинообразную седую бородку, которую, как известно, китаец имеет право отпустить только тогда, когда достигнет сорокалетнего возраста<sup>43</sup>. Трепещется Фомка на высоте кожухов, как трепещется годовой ребенок при виде знакомой, яркого цвета, вещи; и читаем мы на лице пятидесятилетнего ребенка искреннюю, несдержанную радость и довольство. Он, видимо, доволен нами и за доказательствами благодарности к нам далеко не ходит: на другой же день привозит снова зелень, устриц, рыбу. Мы подарили на его полуголое тело кусок дабы и сукна; Фомка выбежал к борту, закричал что-то товарищам, поперхнулся на радости и чуть язык проглотил от восторга. Всматриваемся мы в лица соплеменников нашего Фомки и находим, что большая часть из них болеет глазами: многие подслеповаты; не малая часть совершенно слепые; другие — кривые (одношкивные, по выражению нашего остряка). Не ушли глаза и нашего добродушного и довольного собою друга от того же порока подслеповатости. Замечаем мы во всех манзах страсть к торговле, к вымену, может быть,

поваженной и вызванной самими же нами, а может быть, и присущей и немножко дикой, немножко своеобразной и многонезависимой природе.

Торговля наша идет успешно и начинает видоизменяться в требованиях и формах. Толпу продавцов, сгруппировавшихся около обоих бортов нашей «Америки» в легоньких маленьких лодках, брандспойтом не пробьешь (как неловко предлагал один из наших решительных остряков).

Сначала шли у нас бутылки (лодку зелени — за две), требования на которые вдруг поднялись и бутылки в два дня взыграли в цене, но на третий упали. Кризис этот произошел вследствие появления на рынке, у борта, двух жестянок из-под консервов (за одну такую жестянку наш кок ловко сторговал пол-лодки с устрицами). Требования на жестянки усилились: мы с трудом могли удовлетворять ими потребителей; цена бутылок упала, и только временно стояла высокая цена на стеклянные банки. Но последних в привозе было мало, и торговля наша начала ослабевать, подвергаясь неожиданному и для нас невидимым пружинам. Два дня мы не видали наших манзов, на третий приехали немногие, и все без товаров. Мы подозревали во всем этом не англичан, но маньчжур, которых русские совсем не боятся. Толсторожий чиновник успел обезлюдить наш рынок и приостановить течение торговли. Так мы думали и мало ошиблись. На четвертый день явился к нам Фомка, но сердитый такой, словно вчера только оттрепали его по старым пятам свежим бамбуком. Он хотел говорить что-то и говорил многое, но мы его понять не могли, будучи в состоянии оценить только его готовность быть нам еще в чем-то полезным. Он обещал нам быков, посулил нам хрю-хрю (свинью) привести; теперь махал руками, кричал, показывал на пустую свою лодку; мы поняли, что он извиняется перед нами. Часто упоминал он потом слово «манчжу» и еще какие-то слова, нам незнакомые; наконец, ставил кулак к макушке своей всегда обнаженной и лысой головы; мы поняли, что чи-

новник, у которого шарик на макушке шляпы, не позволял ему исполнить обещания.

Наши матросы на берегу были счастливее и находчивее нас: на бак манзы приносили и тихонько продавали рисовую водку (араки) чуть ли даже не за битое стекло и никак не дальше матросской одежной рвани. С берега же и те же матросы приносили нам кое-какие политические новости. Мой Ершов рассказал мне вечером в каюте:

— Ихной начальник — болтают наши ребята — войной на нас собирается.

— Чей начальник собирается?

— А вот этих-то...

— Кого же этих?

— А черт их знает, свиней, как их обзывать-то. Какими, что ли?!.

— Какой же войной собираются?

Ершов начал говорить тише, чуть не шепотом:

— Ему, вишь, не любо, что мы ихние места отняли и солдатов тут-о-тк поставили: обижаются. Так вот войной и порешили идти и нас-де с этого места прогонят. Придут они на сорока лодках и прогонят-де.

— А тебя, Ершов, с баку не прогнали вчера?

— Нету, ваше благородье, тепереча всячески в каюте почиваем. Так и нынче поступать будем!.. — и засмеялся.

Я рад был за Ершова; вдвое рад был за наших матросов, которые между тяжелым делом нашли себе развлечение в доморощенной, хотя и гадательной, неверной политике. Рад был, что наших матросов тронули и заинтересовали хоть эти манзы, когда в то же время прошли для них незамеченными прежние туземцы, из их же пород и родов. Но вдвое и втрое рад я был, когда мы наконец подняли якорь и решились оставить тоскливую, всем страшно наскучившую бухту Экспедиции. Нам предстоял еще путь в 65 миль назад (к северу), в порт Мей, но мы были рады и тому, лишь бы только не видать нам больше этих голых берегов, этих

полуголых манзов. Жаль было только одного Фомку. Он приходил к нам в последний раз, но оставался при расставании замечательно равнодушным. И в последний раз поспешил поторговаться. Мне за золотую часовую цепочку давал свою медную ганзу (трубку); за часы, стук которых ему крепко понравился, уступал свою браслетку, простое медное кольцо топорной работы. Навязывал было нам свои ганзы, которых он навез много, новенькие, неокуренные, с каменными прозрачными мундштуками, но имел успех только между матросами. Рынок наш был закрыт; лексикон наш вместе с нашим терпением истощился. Терпения нашего хватило только для того, чтобы навестить еще порт Мей.

Утром мы снялись с якоря, на другой день были в Мее. По пути туда мне удалось еще сделать поездку на катере по так называемой бухте Славянской, но не привелось получить особенно резких впечатлений. Видели мы небольшой водопад: бойкий ручей пробил наверху плотную гранитную скалу и журчал и воевал вдоль ее, распуская у подножия на морской воде пену и бросая крупные брызги. Встретили мы две юрты туземцев — купили у них кур; но свиной и быков нам не продали. Около одной юрты видели, как манзы сушили рыбу, каракатиц, морских пауков и крабов (раков), раскладывая и развешивая их на солнышке. Вся эта снедь пойдет на стол лакомки ближайшего маньчжурского города, а может быть, увезут и в самый Мугден, где живет богдыхан по летам.

«Трое суток стоим мы в заливе Мей, — писал я в конце дневника. — Порт этот можно считать лучшим из всех. Он многим напоминает Ольгу, но только меньше ее, уютнее, но теплее и веселее. Впрочем, те же дубы кругом, те же картинные горы. В низменностях речки журчат; в берегах много ключей бьет. На днях поставленный пост наш своими белыми палатками хорошо глядит в группе еще невырубленных и еще только расчищенных дубовых деревьев.

— Авраам с семейством своим поселился в кущах, — заметил один из наших остряков, но не совсем справедливо. Линейный офицер напоминал Авраама мало. Но самый порт много напоминал нам Ольгу. Та же теплота кругом; то же чистое небо; та же невозмутимая поверхность воды и, наконец, те же самые манзы. Но здешние глядят дружелюбнее и приветливее и даже самым обликом отделяются от тех, которых мы оставили в Посъете. Верстах в 8 от нашего поста они живут большой деревней; там же впала в эту морскую глубину большая река Суйфун, о которой идут споры с китайцами и которая должна стянуть наше приморское население с населением реки Уссури. Верховья Суйфуна от верховья Уссури, как говорят, отделяются невысоким хребтом, с длинными паделями. Не решаясь говорить по одним только слухам, будем ждать объявления результатов той разыскной партии, которая пойдет и опишет эти места определеннее<sup>44</sup>. Пусть эта партия выяснит, насколько справедливы слухи о густоте маньчжурского населения по реке Суйфуну и о легкости провести водораздельным хребтом хорошую тележную и наметить будущую, смело мечтательную железную дорогу, — но...

Мы идем уже 23 милю от порта Мей; направо от нас остров Маячный, налево пять скал (*пять пальцев*). На одном из островов видим большой ряд изб; на правом берегу правого острова — много деревень больших и людных. По воде снует много лодок; слышатся крики, обнаруживающие жизнь и суетливую деятельность. Справедливо показание английских карт, которые заподозрили здесь существование густого населения и сгруппировали несколько селений пунктиром. Вероятно, все это рыбаки, и уже исключительно одни рыбаки...»

Утомили нас гавани с их безлюдьем и однообразием; утомил с лишком целый месяц какого-то неопределенного и бесцельного плавания. Смотрели мы многое, но видели немного. Нам все начинало надоедать, начали

заметно и мы сами надоедать друг другу: боялись апатии, опасались за вспышки, ссоры, которые по временам уже и затевались, хотя и несерьезные. Все жаждали, все ждали новых, свежих и резких впечатлений, которые заставили бы нас забыть все старые, дали бы нам возможность *освежиться* вслед за пароходною командою, говоря метким и правдивым морским термином. Ради последнего обстоятельства мы полагали полную надежду на японский город Хакодате, куда наш пароход и держал свой прямой курс.

## 2. В КАЮТ-КОМПАНИИ

Я был свидетелем любопытного и в то же время чрезвычайно оригинального спора. С какого повода начался этот разговор — я не знаю; помню, что один говорил, между прочим, следующее:

— У нас различные точки отправления: вы приказываете признавать себя за практика; мне не хочется видеть в себе одного только теоретика. Вот почему у нас больше крику и меньше дела, вот почему, желая сойтись в примирении, мы только расходимся все дальше и больше и никогда между собою не сойдемся. Я это знаю по долгому опыту. Но позвольте спросить вас: принимая этого серенького человека в куртке на свое попечение ради обучения, вы думали ли вот о чем: за что я буду на него сердиться, за что я буду считать его несравненно хуже себя, ведь я и сам не белый? Его серым сделала природа, меня белым не сделали обстоятельства. У меня для того, чтобы из него, серого, сделать белого, нет никаких иных химических препаратов, кроме простого способа загрузки. А загрузку мне даже и готовить не нужно — она вместе с серой курткой и медными пуговицами отпускается от казны. Я и буду загрузить — думаете вы — и делаете. Вот на этом-то я вас и хочу поймать. Теперь-то вот я и спрошу вас: знаете ли вы, что темные цвета — самые крепкие и упорные

для того, чтобы изменяться всецело? Вы это знаете, но забыли. Я вам напомним. 18, 20, 25 и даже очень часто 35 и больше лет накапливается на нашем сером человеке тот цвет и все цветовые оттенки, с какими вы его приняли в науку. Смыть их свежей речной и морской водой или застоявшейся и заплесневелой водой вашей науки нельзя. Вы это знаете, но не догадываетесь вовремя. И что же вы начинаете делать? Мыть; но не отмывается; вы начинаете скоблить — отскабливается лучше, но серые процветы все еще остаются. Так ведь и должно быть: краска прочная, на нее взята привилегия; даже немцы признали и поняли эту привилегию. У нас, очевидно, дело не клеится и потому, что вы малоумелый и знающий, и потому, что субъект ваш слишком самобытен и оригинален; вы оба — люди противоположных полюсов. И что же выходит: вы начинаете сердиться не на себя, как бы следовало, я на него, на своего пациента. И как сердиться!!! Как малый ребенок, который, не умея починить им же изломанную игрушку, начинает ее хлестать круто смотанной веревкой, колотить чем попало, чтобы потом бросить ее в галюн, говоря привычным мне морским термином.

— Но позвольте! — перебил другой споривший. — Вы забываете, что у людей разные характеры: иные вспыльчивые, горячие, злые.

— На таких людей существует намордник, который называется просвещением, образованностью.

— Но ваш серенький человек дается мне таким неумелым, таким робким и тупым, что я готов положительно считать его дураком, и таким, на котором я должен начинать науку свою снова, с аза.

— Думая так — ошибетесь. Ваш новобранец, или, как вы называете его, рекрутик, кажется вам и тупым и дураком потому только, что он оробел, испугался, а вы запугали его еще больше. Пеняйте на себя! В многолюдное незнакомое общество, да еще притом такое, где только предубеждены против вас, вы смело и храбро не войдете: в этом я поручусь за вас. Растеряетесь вы, глаза

у вас разбегутся; вы не соберетесь ни с физическими, ни с нравственными своими силами, не найдете куда спрятать руки, не сумеете владеть ногами, не отыщете слов настоящих, приличных. И понятно: вы — новобранец, вы первый раз в этом обществе. Ведь не бьют же вас, не колотят, а вежливо стараются привести в чувство: заметивши вашу застенчивость, всеми силами и средствами рассеивают ее. Будьте же справедливы: не бейте и других за то, что вам самим прощают, за что вас самих ласкают.

— Но у нас велят эту застенчивость уничтожить возможно скорее: она нам не годится.

— Понимаю. Вам не дано других средств, кроме палки, говорю «не дано», зная, что вы ленивы, ибо сами до сих пор об иных средствах не думали, других способов обращения не изобрели, не прилагали. Правы ли вы?

— Прав, потому что это общая европейская система.

— На это могу сказать одно только, что или вас самих много секли — и вы мстите, как мстит своим воспитанникам директор, инспектор, вышедшие из тех русских заведений, где неистово порют; или вас мало секли, что вы не вошли во вкус и не знаете, какая это невыносимая пытка. В том и другом случае вы неправы.

— Но вы резко выражаетесь...

— Спор дело такое; щепетильную щеголеватость слов и мыслей оставим спичам и надгробным речам. Дальше придется говорить, может быть, еще резче. Заранее предупреждаю об этом вас и прошу извинения. Пора же нам говорить, не стесняясь друг перед другом, не боясь друг друга. Постараюсь, впрочем, быть деликатным в вашем смысле этого слова, извините, если промахнусь иной раз против собственной воли. Попробую сделать так, защищаясь от вашего замечания такою формулою. Я должен делать не так, как со мной самим делали; не поступать таким образом, как не поступят со мной и как поступать никто не имел бы права. Говоря эти избитые истины, я думаю (и досадую): неужели мы

еще должны обращаться к азбуке и, зная, что звук «а» называется «аз», сомневаться в этом? Скептицизм дело хорошее, но не в такой размельченности и дробности, в деле воспитания еще больше. Примеры и факты — и те и другие — давайте практические, по возможности исторические.

— В английском флоте существует телесное наказание.

— Вот мы и добрались наконец до той великой истины, с которой нам и начать бы следовало. С грустной истиной этой все носятся; все ее, как бревно под ноги, бросают всякому, позволяющему себе усумниться в ее нравственном достоинстве. Я из последних. И скажу: англичане — англичане, но ведь мы — мы русские.

— Я вас не понимаю.

— Сожалею об этом и отвечу вам пока таким же голым, отдельно взятым фактом: капитаны китобойных судов в каждый карман кладут по револьверу, а карманов у всякого китобоя столько же, сколько линьков на морских судах. Без револьверов этих китобойкапитаны из каюты своей не выходят, да и вообще примечательно — редко являются они на палубе. Их бьют или просто убьют. Китобой — кабацкая сволочь: люди злые и озлобленные; да и капитанов судов этих, несмотря на всю их опытность в морской практике, правительственные суда английские не берут к себе, не нанимают. Капитаны сами шли из кабака и добились этого звания потому только, что долго ходили в море, много линьков на своем веку измочалили. От таких господ хорошего не дождешься. Чтоб не ходить далеко, перейдем прямо к нашим...

— Но переход слишком крут: громадная разница...

— Спор — не расстановка хрий по риторике Кощанского, а предметы, по-видимому, огромного различия при сравнении оказываются в сильной аналогии и сродстве. Это и по логике Рождественского справедливо. Будем же спорить не о словах, а о деле, останавливаться не на фразах, а на их сущности. Установим

равные права между собою и пойдём дальше. Ведь вы приравнивали же к линькам русского матросика, взятого, как известно, из мирного податного сословия, к английским матросам, схваченным наполовину из кабаков и из того разряда людей, которые на сухом пути потеряли все, даже чувствительность кожи, и в то же время сами потерялись безразлично и всецело. Позвольте вести мне мои доказательства категорически. В деле нашего спора я вижу начало и конец, а потому смею рассказать то и другое. Беру на себя начало, т. е. объяснение основных причин, лежащих в характере русского крестьянина, накануне того дня, когда из него вытешут матроса; и конец, т. е. печальные результаты, которые из этого происходят. Средину, т. е. процесс такового перерождения, я оставляю вам, моряку, оппоненту, мужу практики. Я сам тоже из бывалых, не из кабинетных. Начинаю — извините — вопросом: какие местности разнообразной России дают своих представителей во флот наш в качестве матросов?

— По большей части это жители северных губерний: Архангельской, Вологодской, Олонецкой, почти все приволжские обитатели; много татар, значительная часть финнов, или, лучше, чухонцев. Остальные виды бесследно пропадают в общей массе.

— Смотрите же, что выходит из слов ваших: во флот поступают лучшие люди из всего податного сословия России. Северные губернии, скрытые за темными лесами и непроходимыми болотами от всякого соблазна и всяческой порчи, как некогда Новгород от татарских погромов, населены таким народом, который крепко придерживается старины и до сих ещё пор и искренно простосердечен, и неподкупно прямодушен. Обусловившись говорить проще, мы и дальше не будем прибегать к диалектическим уловкам и хитростям. На этом — все наше право. В северных губерниях нет фабрик и, стало быть, этого растлевающего, заразительного разврата, каким полны, напр., подмосковные и замосковные, тульские, владимирские уезды; фабричный

плут и ловчак здесь немислимы и неизвестны, потому что нет под боком столиц с их трактирами, площадями и всяким соблазном, на который так падок неискусившийся человек. Надзор держит здесь, на Севере, не полицейский приставник, не фабричный хозяин, не заводский приказчик, для которых равно непонятна истинная нравственность, — но старый обычай и старая вера, которая вся за семью и за общину, благосостояние и счастье той и другой. Не разбивает этого строя, наложенного обычаем и поддерживаемого общиной (пожалуй, даже раскольничьей), и то многопечальное учреждение, которое зовется откупом, и то многострадальное заведение, которое обзывается кабаком. Редкий гость в этих губерниях дедновец, который, как язва, с своей водкой и своей темной сноровкой уселся везде, где существуют фабрики и бойкое базарное меото. Северные губернии не держат солдатского постоя и избавлены от того, чем дарит кормильца развращенный вскормленник; нет воровства, нет наглого подкапывания под целомудрие чужой жены или дочери. Если в этих губерниях последняя роль перешла на чиновника, то сумма случаев, при малочисленности помянутого класса, ничтожна и для нас не идет в соображение. Я хочу этим сказать только то, что и самые преступления там несравненно реже. Официальные сведения, собранные мною недавно, приводят меня к тому заключению, что большая часть преступлений на Руси сопряжена с захватом чужой собственности, а на захват этот увлекает преступников нужда, доведенная до крайности. И только самая незначительная часть преступлений совершена под влиянием страстей. На это укажут вам и официальные донесения, и красноречивые цифры. Я намерен дать об этом предмете подробный трактат; а потому позволюте теперь возвратиться к тем же северным губерниям, где, как известно, недавно только начали употреблять ключи и замки, и — простите мне — я верю факту, рассказываемому в тех местах зачастую, что потерявший вещь приходил на базар, на площадь, в церковь, и

объявлял о пропаже, и наводил был на след или получал пропавшее или покраденное. Времена, правда, изменяются, изменяются и люди, но цифра всегда красноречива. Я вас не утомлю, но не могу отказать себе в удовольствии на этот раз опереться на эту цифру. 1854 год дал Сибири из Арханг. губ. 16; 1855 — 67; 1856 — 37; 1857 — 38 преступников всякого рода. Олонецкая г. в 1854 — 2; в 1855 — 5; в 1856 — 13; 1857 — 7. Вологодская губерния в 1854 — 12; в 1855 — 12; в 1856 — 46; в 1857 — 21. Года беру на выдержку и сопоставляю этим губерниям те, напр., в которых и фабрики, и заводы, и столицы. Из них:

Петерб.	в 1854 г. дала	510;	в 1855	171;	в 1856	139;	в 1857	65
Моск.	"-	198;	"-	377;	"-	311;	"-	230
Пермск.	"-	579;	"-	381;	"-	489;	"-	468
Оренб.	"-	277;	"-	189;	"-	163;	"-	205

То же самое скажут нам и другие цифры по другим губерниям, если мы сопоставим две однородных: одну, дающую большое количество матросов, напр. Костромскую, и другую, не дающую матросов, но ближайшую к Костромской по относительному числу жителей, напр. хоть Киевскую. Всех преступников из Костр. губ. ушло в Сибирь в те же годы следующее количество:

из Костромской	в 1854 —	86;	в 1855 —	121;	в 1856 —	46;	в 1857 —	108
"-Киевской	"-	627;	"-	536;	"-	301;	"-	308

Цифр, кажется, довольно; выводов, за краткостью времени, делать не будем, оставляя их про себя на всякий случай. Довольно будет с нас, если мы за жителями северных и приволжских губерний оставим заслуженное право отличаться меньшим количеством преступлений перед всеми другими и поздравим флот с завидною привилегиею принимать в число команд жителей тех губерний, в которых мирное занятие земледелием обратилось в главный и существенный промысел. А ни

один промысел так не умягчает нравов, как этот. С этим согласились все — уступите.

— Но вы даете только общие положения: не даете выводов.

— Я их и не обещал вам. Не забудьте, что мы пишем не картину, а кладем только узор. Не забудьте, что в нашем распоряжении только канва: шерсть куплена, но не подобрана по цветам; а иглы нет, шить нечем.

— Вы забыли про татар...

— Не забыл я их, когда говорил о приволжских губерниях; а теперь скажу, что татары уличаются в двух весьма страшных и подозрительных преступлениях: они идут в ссылку за кражу лошадей и пристанодержательство почти исключительно. Матросами из татар моряки не нахвалятся. В них видят даровитость, понятливость, честность. Это я слышал, да и сам на себе испытал. Про чухон говорят то же. Иностранцам вообще в России посчастливилось — старая истина. Но об этом будет на первый случай. Вернемся несколько назад. Помните, что в матросы идут люди, сейчас только взятые от сохи и бороны, прямо с поля, из избы, с отдыха, а не из кабака и с фабричной гульбы. С меня будет и этого довольно. Дитя доброе, послушное, кроткое, им не нахвалятся те, кто его ближе знает. Кротость в его глазах, кротость в его песнях, мир и любовь в его обычаях и житейских отношениях. Прислушайтесь к нему внимательнее — вы его заслушаетесь; присмотритесь к нему прямо, непредубежденными глазами — не налюбуетесь; а главное, подходите к нему не царапаясь, не с кулаком и крутым словом — он не обездолит, не обидит вас недоверием. Таких диких педагогов дети не любят, от них бегают. Убегут да и смотрят потом исподлобья, спрятавшись. И пряник покажите — не пойдут. «А зол-де ты, так и я мстителен; другого чувства, кроме мщенья, я и найти не могу в своем неопытном сердце, в своем неразвитом уме». Подходите же с верой и любовью, приласкайте этого умного, но только неученого ребенка — он к вам бросится на шею. Смею вас в этом

уверить; смею не развивать больше этих простых истин, ясных, как день Божий; смею замолчать, зная, что вы сами знаете это, да... да забыли (скажу, чтобы успокоить вас и свою совесть).

— Позвольте и мне сказать несколько слов.

— Говорите тысячу, но таких, которые бы опровергали прямо и безотносительно мои положения.

— Вы ничего не говорите о самой системе нашего воспитания.

— Не говорю, потому что я ее знаю только отчасти, видел только стороной и притом один уголок при тщательно скрытой картине, с опущенной завесой. Я уважаю вашу систему как исторический факт, но не знаю ее, потому что никто не говорил о ней откровенно и простосердечно.

— Но вы не сказали еще, какие именно из крестьян поступают в морскую службу: прилежные или ленивые, способные или неспособные.

— В крестьянском сословии нет Табели о рангах, там, как известно, все равны и все одинаковы. Во флот идут реже богатые, чаще бедные, меньше взятые из семейств, больше так называемые бобыли, т. е. одинокие, круглые сироты. Помещичьего права в северных губерниях не существовало, стало быть, не было и произвола; вся *некрутчина* определяется мировыми сходками, огулом. Татары — тоже все крестьяне государственные; чухны — также. Нужно знать положение общественное и житейскую обстановку бобылей, чтобы в этом разряде людей не видеть людей испорченных и безнравственных. Это — люди, обездоленные сиротством и безвыходным положением. Им далеко до так называемых наймитов, которые продают свою волю за деньги, и водку, пьют и буянят на счет своего наемщика только до рекрутского присутствия. Лишь только накинут на их плечи казенный полушубок, они примирают, как баба-кликуша. Что в характере крестьян наших нет самостоятельности и устойчивости в убеждениях — это отчасти верно, но это уже другой вопрос.

Но не забывайте, что у них есть в то же время упорство и неуступчивость, которые в детях называются упрямством. Попробуйте прямее действовать, и у вас не будет в итоге недоверия со стороны ученика, сумеете только, в свою очередь, сделать себя кротким, незлобным, и у вас самих не будет розог, недоверие ученика не перейдет в замкнутость, и вы уже не встретите в нем настоящего упрямства со всеми его дурными последствиями.

— Вы упомянули о розгах. К розгам крестьянин привык еще дома, с ними он сроднился до того, что отучать его от них для нас трудно. Не будет розог в крестьянстве — не будет их и во флоте у нас.

— Отвечу на это сравнением. Мальчик, набалованный бестолковой маменькой, привык под ее крылом сладкое есть. С этой слабостью и повадкой он поступил в школу. Здесь не отучать его стали, а забаловывать, продолжать кормить сладким. Педагоги не сообразили или даже забыли, что баловство это задерживает рост ребенка, задерживает развитие его умственных способностей, — мальчик и без того от рождения золотушный. Вина родителей: их прежняя беспутная жизнь, помешавшая родительским организмам сохранить в теле достаточное количество питательных соков; не уделили они таковых и детям, а воспитатели, в свою очередь, дали возможность развиться этим болезням и в детях. Лекарей, как известно, в деревнях нет и не полагается; подлекаря, люди темные, сами недоученные и неумелые. Их выучили одному только средству «кормить больных березовой кашей», они ею и пичкают. Ребенок к каше привыкает, но привыкает ли в такой мере, чтобы лишиться возможности бросить и забыть ее тотчас же, как дадут ему другую пищу, другое блюдо, приготовленное из новых, питательных и здоровых веществ? Отрицательного ответа вы мне дать не смеете, иначе я назову вас нравственно развращенным. Черт с ней, с этой кашей: она только засоряет желудок, а от несварения последнего происходят многие недуги, между прочим и задержка умственного развития. Ребенок на

возрасте становится каким-то пришибленным, забытым, лишенным нравственной инициативы; боязлив он, недоверчив. Если всегда будут няньки и опекуны у вашего ребенка, он вечно будет ходить на помочах и, придя в возраст, все-таки останется калекой и недоделанным — без дядьки он не ступит, без опекуна слова сказать не найдет. Послушайте, педагог! Я дал вам ребенка смышленного и только неопытного; вы держали его у себя в науке 15, 20, 25 лет, все учили; пришло время, вы отдаете его мне назад, ваше дело кончено. Приходит ребенок ко мне. Я смотрю на него пристально, с ног до головы, поворачиваю его, оглядываю, спрашиваю — и не узнаю. По внешности он как будто мой; по разговору, по убеждениям — совсем чужой. Мне это больно и горько. Плакал бы, так уже и слезы у меня не текут: все выплакал; к соседям пойти горевать, так уж надоело и мне, и соседям этим. Приласкал бы я ребенка — немил он стал, насильованные ласки не утешают меня. С каждым днем постылеет мне мое родное дитя, постылеет еще больше потому, что и само оно в лес глядит от меня, ни за что взяться не умеет. Что с ним делать? Само оно себе в тягость и мне совсем лишнее. Изуродовали его, искалечили. И пойду я ходить из угла в угол, и стану делать так не один день, а недели целые, и, как император Август, твердить одну и ту же фразу: «*Varre! Varre! reddi mihi legiones!*»

---

Разговор моих собеседников, к несчастью, на этом прекратился. Мне сильно хотелось подстрекнуть их, чтобы вновь их слушать. Много было недоговоренного, много как будто неопределенно высказанного, мало подкрепленного примерами и фактами.

«Неужели, — думал я, — и всегда у нас так, и все у нас так. Говорят — не договаривают. Примутся спорить, шумят только и расходятся, довольные не друг другом, а сами собой; всякий остался при своем мнении и ду-

мает: черт ли мне в том, что мы хотели сойтись в одном пункте и — не сошлись. Завтра опять можно поспорить, времени свободного много: на работу не зовут. Дело не волк, в лес не бежит, — уверяют нас. Что ж делать? Поверим на слово: станем и сами так думать». А вот что, между прочим, заметил я говорливому оппоненту:

— Любопытно было бы знать, к каким выводам привели вас наблюдения над нашим матросом.

— Я вел дневник, — отвечал мне собеседник. — Я прочту вам из него выдержки в том беспорядке, в каком они ложились в тетрадь. Возьмите их и делайте с ними что хотите и что можете сделать, — печатайте! Предупреждаю об одном. Матрос меня занимал только в своем законченном виде, накануне отставки, которая уведет его опять в ту семью, откуда он вышел новобранцем. Сожалея о том, что мне не случилось быть у новобранца этого на крестинах, не удалось пожить с ним в школе, скажу вам, что я навестил его только на праздниках — пробыл подле него только два месяца. Поближе других я узнал только одного, но этот один был старый матрос, марсовый, кругосветный. Все мои воспоминания будут больше группироваться около него. Предупреждаю вас об этом и прошу снисхождения.

Принявши этот дневник в свое распоряжение, я с своей стороны оставляю за собой одно только право — сделать его печатно гласным. Изменяю порядок и план, не смея делать отступлений и сокращений.

«Сегодня поступил в мое распоряжение матрос первой статьи, Филипп Ершов, человек бывалый. Он взят был в плен во время последней войны нашей с англо-французами, на одном из судов в Восточном океане. Передавая из рук в руки, с судна на судно, его наконец высадили в Бресте. Здесь он долго жил до размена, — отправлен в Черное море. Из Николаева ушел в Кронштадт, а из Кронштадта на кругосветном судне — опять в те же моря, на водах которых он начал свою службу. Службе его 25 лет: стало быть, человек этот много испытал, кое-что видел, бывал марсовым;

теперь, обремененный годами, оканчивает последние месяцы службы в работах на баке. Для меня он интересен тем, что два раза ходил кругом света, многое и разнообразное видел, стало быть, многое порасскажет.

Вот передо мной эта плотная, коренастая фигура. Работы в трюме (в начале службы) и на марсах (потом) развили в нем природную деревенскую силу до того, что чемодан мой, в 9 пудов весом, не дальше как вчера он таскал и бросал, как бы легонькую суму. Бывало, не выдержат отводы и где-нибудь на раскатах опрокинет-ся моя тяжелая повозка, он только плечом подхватит ее — и готово: мы опять едем дальше.

— Ершов! — говорил я ему, собираясь из Иркутска в дальнюю дорогу на Амур. — По дороге варнаков (беглых), говорят, много ходит, не взять ли нам с собой кинжал или пистолет на всякий случай?

— Зачем? — глухо спросил он меня.

— Защищаться, чужак ты этакий!

Ершов показал мне свою руку, молча усмехнулся и ничего не сказал. Я посмотрел на его кулачище, на его плечи и успокоился и спал потом за ним все ночи крепко. На дорожные *шалости* действительно мне не пришлось натолкнуться.

Раз разбушевался он пьяный и доказал, что в хмелю он человек мало того что беспокойный, но еще и буйный, переломал все, перекорезил. Хозяйка пришла жаловаться, говорит:

— Черт-человек матрос ваш, диавол.

— Убытки, что ли, причинил?

— Господь с ними, с убытками. Убытки я в счет ему не ставлю. Дверь изломал, сосновая дверь, новая; надо новые петли заказывать.

— Закажите; мы заплатим.

— Я не прошу этого, Христос с ним!

— Так что же вам нужно?

— Черт-человек-от он. Я этаких отродясь не видывала. Соседи не надивуются. В медведе вон, сказывают, сто сил человеческих, а в нем больше, ей-богу, больше.

— За убытки мы, хозяйка, заплатим вам...

— Не надо, я и пришла не затем, а сказать только! Дикой он, человек-от дикой; как этаких-то земля родит и носит; страсти Господнии!

Вот осязательные, видимые доблести моего матроса, другие пока предполагаемые, гадательные.

«Кругосветный матрос, — думал я, — порасскажет многое; недаром мелькали мимо него разные страны и разные люди».

— Жил ты, Ершов, во Франции: каковы, на твои глаза, французы эти?

— Жидкий народ, а тоже свою сноровку имеет, к нему с простым кулаком не подходит. Француза надо бить в бок.

— Ну а англичане?

— Эти — сильные. С ними, если на кулаках идешь, не зевай. Англичанина бей прямо в лоб.

— Как то есть в лоб?

— В переносицу.

— Ну а другие народы?

— Других народов нету.

— А немцы?

— Об этих и говорить не стоит. С этими мы на мысе Доброй Надежды подрались — руки только раззудили: и работать нечего было.

Я раз двадцать потом приступал к Ершову и всякий раз слышал одно и то же. Для него весь мир развалился на три главных народа: французов, англичан и русских. Немцы были что-то среднее, межеумок, как бы переход к другим народам, которых, однако, Ершов не признавал за людей.

— Это не люди, — говорил он мне. — Это — *канаки*.

Слово «канаки», пойманное им на Сандвичевых островах, применялось потом ко всем: к туркам, китайцам, индейцам. Плохо сознанное, слово это прилаживалось потом Ершовым ко всему, что не русское: маньчжурский табак он называл канацкий; голых солдат в бане называл канаками.

— А как тебе нравятся эти голенькие японцы? — спрашивал я Ершова в японском городе Хакодате.

— Канаки! — однозвучно и резко отвечал он мне.

Хотел ли он этим словом охарактеризовать всех тропических жителей или просто ругать всех людей нерусской веры, радуясь, что слово «канаки» близко к слову «каналы», — я не мог добиться. Понятия его об этом были смутны и спутаны. Иногда он попадал верно.

— Какие же тебе женщины больше понравились?

— Каначки уж очень ласковы; неопрятны только, что свиньи. Француженки на этот счет всех лучше.

На мои глаза, Ершов все-таки скорее материалист, чем идеалист; он скорее за житейские удобства, чем за природу и поэзию.

— Какое море лучше? — спрашивал я его.

— Все равны.

— А красивее?

— Все красивы. Море — известно море; море оно и есть.

— Ну да врешь, брат, канацкое море лучше французского.

— Канацкое — хуже. У них вот насчет фруктов действительно что очень хорошо. Стояли мы на острове Таите: сады у них порассажены. Ступай — ешь сколько влезет, только с собой брать не велят: не моги!

«Если, — думал я, — тебя не пробрала природа островов Таити и вынес ты оттуда только то впечатление, что таитские женщины, как все, даже еще и немोक хуже, — то я к тебе, Ершов, с этими вопросами и обращаться больше не буду».

Пробовали за меня делать это другие, мои приятели, — и тоже ничего не добились.

Зато Ершов неистощим бывал, когда расспрашивали его о предметах, любезных его сердцу. Особенно разговорчив он был, когда предварительно удавалось ему хватить амурского спирту, маньчжурской араки или японской sake. В то время он был навязчив. Сам придет бывало и рассказывает:

— Вот я теперь с вами говорить могу долго. Спрашивайте!

И спрашиваешь его, бывало, о предметах сподручных, приличных торжественному случаю, и слышишь обыкновенно все одно и то же. На Ершова находило вдохновение; в моменты крайнего экстаза он крутил плечами, приседал, понижал голос, прищуривался и вел бесконечной разговор о Бресте. Город этот был его любимый, и воспоминания о нем самые подробные.

— Там все мамзели торгуют; они и вино продают. Вино у французов разное, трех сортов: первое — ром, так и у них, как у нас, зовется! Второе: браудер (brandis) и людвин (l'eau de vie); все крепче нашего. Сейчас придешь к мамзеле, сейчас начнешь говорить... сейчас наливает...

Ершов при этих словах обыкновенно умягчал голос, ежился, щурил левый глаз, которой у него особенно был эффектен в этих случаях. Мало того: он шаркал ногой и изгибался туловищем, желая, вероятно, передать те ловкие манеры, какие требовались и с какими он подходил к французским мамзелям. В этих живых, неопределенных движениях он был решительно вдохновлен.

«Вот где, Филипп Степанович, твоя истинная, неподдельная, неподкупная поэзия!» — думал я и спрашивал:

— Как же ты с мамзелями объяснялся?

— На перстах они хорошо понимают.

— Ну а слова?

— И языком ихним занялся: забыл теперь. А то и так: спросит бывало: сколько вам надо водки? Сейчас прикинешь на пальце и покажешь ей: столь, мол, надо! Француженки насчет деликатного обхождения хороши очень и понятливы; ей-богу, понятливы!..

Французский словарь Ершова был небогат, но что особенно важным показалось мне, так это его философский, аналитический взгляд на язык.

— Дивлюсь я, ваше благородие, — говорил он мне однажды, — отчего француз совсем нашему языку не выучится. Много он слов наших знает; у наших выучился.

— Как так?

— Да вот насчет бы платья, к примеру. Жилет — так и у них жилет, сюртук опять — так же точно. Шляпу только шапкой (шапа) называют; наши штаны, а у них все равно панталоны.

Это, впрочем, единственный случай, где Ершов позволял себе философствовать. Во всем остальном он опирался только на грубые факты, не разбирая их и относясь к ним с уважением потому только, что они добыты были им, именно им самим, Филиппом Ершовым. Но и здесь повсюду он был глубокий материалист и так как любил придерживаться чарки (мочить бороду — по его выражению), то и все наблюдения его по преимуществу группировались около этого продукта. Англичан он, напр., сильно не любил и бранил их.

— За что? — допытывался я.

— У них матросу житье плохое.

— Бьют, что ли, больно?

— Бьют-то и у нас хорошо. На кораблях без этого нельзя. Матроса не бить — нельзя...

— Отчего же? — перебил я его.

— А для чего и начальство на кораблях состоит? Слушаться — *значит* ему и повиноваться.

— Ничего это *не значит*, а все-таки я тебя не понимаю: за что ты не любишь англичан и бранишь их?

— Нельзя не бранить, — французы их лучше: у них коли воду пить дают, так в ведро-то бутылку рому выливают.

Стремление объяснять достоинство людей по степени и уменью употреблять крепкие напитки натуре Ершова было сильно присуще и для меня уже не новость. Он возненавидел маньчжур за то, что они пьют свои араки из маленьких чашечек.

— Разве этак люди делают, — спрашивал он меня, — из наперстков пьют водку? У амбаня (в Айгуне) подавали мне, когда вы обедали: я в стакан налить попросил, обругал, прибить еще хотел.

И действительно, хотел прибить и если не привел желанья своего в исполнение, то все-таки наделал скандал, по морскому обыкновению, как о том жаловались мне амбаневы нойоны (чиновники).

Пьянство не порывами, не нагулами, а систематическое, постоянное пьянство было отличительною чертою Ершова. Он во всякое время дня и ночи готов был пить и отставал от водки, *отваливался* (как он сам выражался на своем типическом языке) тогда только, когда была суха посуда, вмещавшая обожаемую им влагу. Он не разбирает: своя она, чужая — ему было все равно. Чужой собственности от своей он не отличал в этом случае. Поразительно честный и верный по отношению к другим моим вещам, деньгам и проч. (он рваные тряпки, напр., вез с собой и тщательно хранил их ии прятал), водку Ершов воровал и выпивал всю. Не соображал он и того, что почасту водка принадлежала тем добрым людям, которые меня с ним пригревали; он напивался и потом сам просил запереть ее. Ни советы, ни просьбы, ни внушения, ни мольбы мои — ничто не могло остановить его. Ершов давал честное слово не пить месяц, держался неделю и снова прорывался и закучивал.

— Ступай ты от меня прочь; мне тебя не надо!

— Три недели не буду пить — провалился я совсем!

Прошло три дня — он опять нахлестался.

— Чему обрадовался? — спрашивал я его.

— Вы меня огорчили: от себя прогнать хотели.

И в лице его рисовалось поразительное добродушие, поразительная вера в святость слов своих и помыслов.

Через несколько дней он снова был пьян; приходил ко мне сам, по личному желанию, валился в ноги, плакал — горько плакал и говорил:

— Простите!.. не могу стерпеть... стар стал: не в силах... привык.

«Неужели, — думал я тогда, — только на этих двух убийственных характеристиках сосредоточивается все внешнее и внутреннее достоинство всякого матроса? Что они, как гоголевский Жевакин, мало понимают и мало видят дальше своего корабля — для меня понятно. У них не возбуждено это желание за неграмотностью и не поддерживается, не направляется приставниками, может быть, за недосугом, может быть, за ленью, за нежеланием. То, и другое, и третье скверно и неутешительно, потому что существует; с этим, думаю, никто спорить не станет. Но вот что худо: матросы пьянствуют, и пьянствуют притом неистово; неужели все? Не может быть!» Делаю свои наблюдения, веду их дальше и — вот что вижу.

На палубе, около грот-люка, раздают водку, крикают и пьют, пьют и утираются наши матросы. Многие из них, едва ли даже не все, выпивши чарку, задерживая дыхание (вследствие чего лица их наливаются кровью), бегут опрометью на бак к обеду; Ершова тут я не вижу; вижу вечером того дня в каюте, вижу и спрашиваю:

— Что это вы, Филипп Степанович, водку-то не счастливите своим вниманием: ведь большой вы до нее охотник и любитель?

— Я на заслуге.

Слово это было уже для меня понятно. Он копил чарки, чтобы потом получить за них деньги. Дело хорошее; но совсем ли это так? — спрашивал я себя и видел, что раз, когда матросы получили вечернюю чарку и мой Ершов вслед за другими утирает усы и, задерживая дыхание, бежит на бак, отмахиваясь от моих расспросов рукой.

— Прорвало, Ершов, не вытерпел, пошутил только.

— Да ведь эта чарка в заслугу не идет. Эта подарочная. Ребята дрова таскали, за то им приказали выдать.

— А сколько у тебя заслуги?

— Десять чарок.

То есть десять дней соблазна и 30 коп. сер. в приобретении. Табаку, думал я, купить ему есть теперь на что; а поговееет еще две недели — приобретет благородный

целковый, который, как известно, на улице не валяется. Смотрю: не тут-то было. Ершов раз и утром подошел к медному жбану с водкой, но подошел не один, подвел товарища-матросика и просит вахтера отдать ему две заслуги. Это было сначала для меня непонятно. Ершов сам объяснил:

— Земляка нашел на «Гридне», вместе на «Боярине» шли кругом света; угостить желаю.

— Зачем же сам-то пьешь?

— Нельзя, обидится он.

От этого дня и заслуга пропала; вахтер так его и не записывал больше.

— Деньги-то ведь лучше, а ты их водкой забрал.

— Возни, ваше благородие, много; жди, пока счет сведут господ офицеры к концу кампании: тогда получишь. Лучше выпить.

Так же точно рассуждали, так же точно делали и все другие матросы. При встрече судов с земляками они то и дело угощали друг друга своими *заслугами*. Ездил и мой Ершов на «Гридня». Вахтер жаловался на то, что матросы его путают, сбивают в расчетах, а офицеры свидетельствовали, что отними у матроса право копить заслугу — лишишь его годовых светлых праздников; то и другое справедливо: с одной стороны, не затертою, не искалеченною национальною слабостью гостеприимства матрос желает почтить земляка, с другой, сберегая ежедневно трехкопеечники, он обманывает себя этим незримым ему накоплением запасного капитала в 90 коп. сер. на целый месяц.

Вахтер жаловался, что матросы сало крадут, и крадут его с единственною целью намазать на голову. Посмотрел я нарочно в шапку Ершова (которая и воронам на гнездо не годится) и имел полное право заключить, что по этой статье и он не безгрешен.

— Половину ткнешь в волоса, половину на сапоги, так как ковыряешь по скорости, чтоб не видали. Бить за это нашего брата не велят, — объяснял мне потом сам Ершов.

Не заботясь решительно ни о чем, Ершов кокетлив был относительно волос на голове и на усах. Последним придавал он особенную важность, разглаживал их, фабрил, расчесывал концами кверху. Желая походить на Людовика Наполеона, он, правда, был похож скорее на таракана; но в усах полагал всю свою красоту, хотя уже и было в усах этих много седины и лежало на плечах и ребрах его 50 лет жизни да около 25 лет службы. Зато к остальному костюму он был небрежен, особенно же запустил он эту статью, когда получил отставку и поехал со мной обратно. От костюма он требовал одного только: чтобы был он возможно форменный, с светлыми пуговицами. Исключение (и то в редких случаях) делал он только полушубку; положит, бывало, обе руки в карман, наденет набекрень теплую шапку с собачьим околышем, с зеленой бархатной выпушкой и шелковой кисточкой и едет-себе да чванится: «Теперь-де я вольный человек, а матрос таки сам по себе».

Сначала я думал, что он просто малодушествует, как ребенок, наслаждаясь мнимой игрушечной волей, но потом убедился фактами, что он таки был и горд и надменен. Еще в Благовещенске приходили ко мне жаловаться на него солдаты, с которыми он жил в одной лачуге и которых он ругал и даже колотил за то только, что они линейные, а не матросы.

— Сволочь они! — оправдывался он передо мною.

— А ты бы на себя самого посмотрел.

— Флот всегда первой. Когда большие смотры бывают, матросы первые стоят; потом уж гвардия, пехота, кавалерия, артиллерия. А этих дураков и на линию не пускают.

— Да ты, Ершов, с которого конца считать-то начал?

Ершов не поддался и на это замечание, и сколько потом ни старался я разбить его предубеждения — успеха не имел. Раз напился он до беспамьятства: солдаты его отливали, за ним ухаживали; он и тут упорно стоял на своем мнении и не согласился не только себя, но и

матросов вообще признать за худшего из нижних военных чинов.

«Вот что, между прочим, унесешь ты на родину в среду твоих сродников и соседей-крестьян; и будешь ты там лягаться, бросаться в глаза этим чванством; сначала поглядят на тебя с недоверием, посторонятся, потом будут над тобой смеяться, а наконец — отойдут от тебя, назовут тебя тяжелым, неуживчивым человеком. И ступай ты в сторожа в церковь, в лакеи в гимназию, в служители присутственных мест. Для деревни ты не годишься. Ты сам это знаешь и деревни уже не любишь, как черт ладану. А все-таки ведь ты погибший человек, и гибель свою ты получил на службе; оттуда ты вынес себя таким неукладистым, таким нехорошим. Что же еще ты несешь в деревню со службы? Чемоданчик, шитый досужим портным, матросиком из казенной парусины; вижу это по синей нитке в одном полотнище. Что же у тебя в чемоданчике этом?»

Заглянул я туда и удивился. Американцы так консервы не прессуют, как уложил и смял Ершов там всякую дрянь и все тряпки. Почетными гостями тут были разные металлические вещи, всякий медный и железный лом: папук табаку, шелк. Ковырять шилом и иглой Ершов на баке выучился, слава богу!.. Но большинство вещей принадлежит веревкам: веревки от перьев, веревочки от сахарной головы, обрывки снастей и проч. Страсть к веревкам — одна из самых сильных в Ершове. Веревки у него всюду: в сапогах, во всех карманах, за пазухой. Ни малейшего случая он не упустит без того, чтобы не завязать даже и того, что и вязать вовсе не следует; чемодан мой он раз до десяти в разных направлениях обматывал краденными на корабле веревками. Вязать — была страсть Ершова, хотя он и называл этот процесс не иначе как найтовленьем.

— Надо, — говорил он, — кибитку занайтовить.

И найтовил кибитку, не щадя мертвых узлов, на полном просторе и свободе, не боясь строгого и зоркого взгляда боцмана (который за мертвые узлы на спину

лазил). Кибитка ехала станцию — к концу все опять валилась набок.

— Сделай так, чтобы не переделывать.

— Слушаю-с!

И опять валилась кибитка набок на первом же перегоне, давая новый случай и полное, несомненное наслаждение Ершову совершать свой любимый процесс — класть найтовы. Отделался я от неприятности напоминать и упрасивать тогда только, когда поручил сделать дело на моих глазах. Ершов крутил и перекидывал веревки так прихотливо, смело и мастерски, что я залюбовался; и мертвые узлы его действительно делались мертвы. Мы ехали 700 верст и не поправлялись. Ершов в этом отношении оказался великим мастером: вязал превосходно, искусно, веревкой владеть умел.

«Вот еще, — думал я, — какое искусство и знание унесешь ты с собой в деревню!.. А еще что? Беспечность, приправленную примечательной наивностью».

Наступила для него пора свободы, полной отставки. При отставке он получил деньги, получил долги, собрал всего рублей до 50 сер. «Вот, — думал я, — купит он себе избенку плохенькую сначала, дешевенькую; вспомнит давнее старое время, обзаведется хозяйством небольшим, но таким, какого на его век хватит. С такими мыслями, — думал я, — он и в деревню едет». Но узнаю, что он деньги все промотал, ничего не оставил.

— Чем же жить думаешь?

— Меня одна нянька в Иркутске любила, она денежная, живет при месте. Там ее любят.

— А отошла от места — сама без денег.

— Не отпустят.

— А умерла, прошло больше года.

— Не умрет; здоровая такая.

— Разлюбила...

— Смеет ли она это сделать?!!

И вот в пятидесятилетнем солдате наивность семнадцатилетнего юноши! И между тем это не личное, ему одному присущее убеждение, я замечал то же самое и

на других солдатах; общего много: например, не приученные собирать и ценить личную собственность — они просто и равнодушно относятся и к чужой. У Ершова очутился лишний медный котелок в его чемоданчике.

— Где ты это взял?

— На пароходе поп забыл; не пропадать же. Не я — другой его взял бы.

— Да ведь за это бьют вашего брата.

— Я и сам сдачи дам.

На одной станции я слышал шум, крик на улице подле моего экипажа. Крикливый, грубый голос Ершова и ожесточенные жесты вызвали меня на крыльцо. Там долетали до меня последние слова одного из ямщиков, более других рассерженного и, по-видимому, более других обиженного:

— Ты думаешь, что из тебя *немца* сделали, так ты и лучше нас и смеешь драться?

Слова относились к Ершову.

— Уймите его, ваше высокородие: озорничает.

Эти слова уже обращены были ко мне.

— Как ты смеешь, кто тебе дал это право? — спрашивал я своего солдата.

— Лошадей долго не впрягают; колокольца не привязали.

— До всего этого тебе нет никакого дела, и всего этого мало для того, чтобы дать рукам своим волю.

— Мужики — они скоты, дела своего не знают. Не знают, что солдат их завсегда лучше. Я вот их еще ужо разнесу опять, чтоб они меня немцем-то не обзывали. Мужики!

Долгого труда стоило мне потом его успокоить! Он был озлоблен, рассержен до того, что всю дорогу твердил одно; всю дорогу и прежде, и после доказывал полное презрение к крестьянам. С солдатами, даже линейными, он шутил, смеялся, играл в карты; с отставными матросами, непременно напивался до-зела и пьянствовал потом долго. С хозяевами квартир наших из мещан и крестьян он даже и разговоров не заводил

никаких. В таких случаях он прибегал обыкновенно ко сну и в нем одном искал удовольствия и развлечения взамен всяческих бесед. Только с одним из таковых он позволил себе сойтись и подружиться, и то потому только, что человек этот пришелся ему по вкусу — тоже любил чарку до запоя, до страсти.

«С такими убеждениями ты, Ершов, не наживешь и не уживешься в деревне. Примеров тысячи — и ты не из первых, но и не из последних. Жаль тебя! В тебе еще много осталось добрых качеств, у тебя в основе мягкое сердце; видимая жестокость и крутость его только внешняя, накинутая, благоприобретенная. Ты просто-сердечен и доверчив, хотя в то же время и беззаботен, как вообще беззаботны люди, долго жившие чужим умом, под влиянием посторонней опеки. Ты, как китаец или японец, думаешь только о сегодняшнем дне, завтрашний тебя не увлечет, и если он не пугает тебя, то и не занимает. Со смышленостью, находчивостью твоей ты не сделался плутом, мазуриком потому, может быть, что тебя не испортила казарма, помещаемая между множеством соблазнов. На тебе держали узду баковые порядки и отдельная, поставленная одинаково среди моря корабельная артель. В ней ты уберег от крестьянства только три-четыре доблести, и между ними главные — гостеприимство, веселость нрава, смышленость и добродушие; а приобрел новые оттенки в характере, но иного вида и свойства. Ты стал запивать безнадежно, словно переломила тебя жизнь так, что осталась одна только, и то безнародная дорога к одному кабаку. Ты нахватался гордости и чванства, иногда похвальных, но в твоём положении тягостных, плохо понятых; вдобавок ты еще их и прилагать не умеешь; кулаком доказываешь то, что не доказать тебе словами. В этом ты от канаков недалеко ушел. Похвалил бы я в тебе твою усердную преданность моим интересам, зная, что она вышла из того же источника — из твоего обязательства служить так же верно и преданно, как тебя учили, но не похвалю в тебе способ применения: он так похож на

лакейское угодничество, выслуживание, что невольно думаешь (и жалеешь) о твоей доле. Мало она сулит хорошего впереди, потому что мало и назади тебя отрадного. Невесело прошла твоя морская жизнь; вынес ты из нее не много полезного для себя в будущем. Но это уже не твоя вина. Учили тебя и забыли, что ты не затем только создан, чтобы быть на корабле, что тебя ждет отставка, за которой последует новая жизнь. А жизнь эта требует подготовки. И если не могут этого сделать на корабле, то пусть не убивали бы в тебе те инстинкты и знания, которые ты приобрел дома до бритого лба и серой куртки. А их-то в тебе и убили — бедный Ершов! Все-таки спасибо тебе за верную службу, за ласково-незлобивое расположение и отношение ко мне; спасибо тебе — за тебя. Посылаю тебе мой дальний привет и крепко обнимаю тебя! Еще раз прощай, добрый человек, умный человек, но испорченный, искалеченный!»

Это были последние слова в дневнике, отданном в полное мое распоряжение.

## ГЛАВА V В ЯПОНИИ

### 1

Мы стоим на якоре перед Хакодате; стоим всего несколько часов после того, как звякнула якорная цепь и японские лоцмана, вовсе не нужные и бесполезные, но — по обычаю и по путятинскому трактату — вводившие нас на рейд, съехали с парохода. Испытывая всю неловкость нового положения в виду большого, оживленного и оригинального города — особенно после однообразно-тоскливых стоянок в портах Восточного океана, — мы находимся под обаянием сильного нетерпения поскорее увидеть город, побольше и поподробнее познакомиться с ним. Нетерпение наше возрастает и

становится едва победимым после того, как получаем заявление нашего флагамена, что для осмотра города мы можем иметь в распоряжении всего только четверо суток. Между тем мы не можем тотчас же съехать на берег; не можем и за невыдачею нам шлюпки, и по той причине, что на пароходе ожидают обычного появления японских таможенных чиновников с поздравлением (вероятнее с подозрением: нет ли с нами вооруженного войска, лишнего количества пушек, людей и проч.). До чиновников мы в силах распорядиться только наблюдениями издали и делаем это с большою охотою и потому, что действительно перед нами на склоне высокой прибрежной горы раскинулся диковинный город. Внешний вид его не имеет ничего общего со всем тем, что мы знали и видели до сих пор. Нет ничего, что бы могли напомнить нам родные города наши (даже и европейские). Расстояние, отделяющее нас, настолько незначительно, что мы могли бы видеть и разобрать многое; но видим только один дом европейской архитектуры, командующий над всем городом, поставленный выше всех, красивее и удобнее всех, дом нашего консула; ниже его положительно ничего различить не в силах: груды, масса чего-то странного и своеобразного рябит в глазах, ступшевывается в нечто загадочное, где и понять ничего нельзя и выделить мы не в силах, даже и вооруженным глазом. Дом консула подсказывает нам знакомые виды: мы ищем тех высоких, возносящих главы и шпицы зданий, которыми преукрашены все города и европейские, и азиатские, — без них нам ни один город на свете казался немыслим, и мы радуемся за нового знакомца, которому судила судьба стать вне рутинных порядков. Ни минаретов, ни церквей, ни крикливого и роскошного богача-домины мы не видим. Не можем и судить о новом городе по заведомым и привычным приемам; теряем нить и все те признаки, по которым прежде клали себе путевые тропы и устраивали выходы. Глядим на неведомый город и думаем: где ты, наш заветный и неизбежный собор, самая большая, на

большую часть самая древняя церковь изо всех церквей города, с огромным колоколом борисовичем, телепень которого раскачивают два человека и в реве которого все звонкие колокола приходских церквей пропадают бесследно, как в голосе протодьякона того же собора изнывают все, самые крикливые и басистые голоса приходских дьяконов? Где вы, наши отечественные купеческие дома, неизменно двухэтажные, с длинным забором, утыканным гвоздями, с парадным верхним этажом, всегда пустынным, с этажом нижним, освещенным одинокой лампадой в то время, когда хозяева ваши, все сбитые в одну-две комнаты, окнами на двор, храпят и бродят и видят всегда пророческие и большею частью зловещие сны не к добру? Не видим мы и тех крикунов — домов барских, которые любят обставлять свои входы и выходы свирепыми и немилостивыми зверями в виде диких львов и неумолимых собак и которые кичились в былую пору внешним блеском хорошего рода стекол и бронзы, отличной природы драпри и портьер перед соседями из купеческой породы, прикрывающими невымытым коленкором свои выгоревшие от времени и солнышка стекла, не любящими чистить домашнюю накипь и ржавчину? Нет вас здесь, наши милые, добрые, старые знакомые, — и нам не по себе: мы положительно скучаем без вас и теряемся; мы начинаем изведывать неловкое, мало того — непривычное, незнакомое и — что греха таить! — какое-то странное и небывалое состояние духа. Мы положительно растерялись, когда отвели глаза с горы и города на бухту, всю вплотную усыпанную какими-то диковинными судами; их так много, что по ним, как по мосту, можно, кажется, не замочивши ног, пройти с нашей «Америки» в город. Форма судов этих до того странной формы, что мы такой и во сне не видывали. Смутно вспоминаются нам какие-то рисунки к какому-то кругосветному путешествию, и по ним кое-как мы добираемся до сознания, что это те пресловутые джонки, которые имеются в Китае; по крайней мере, основная форма их с

резными украшениями по бортам, по корме и на носу одна и та же и здесь, в Японии. Много потрачено времени на резьбу и щеголевато-мелочную отделку всех этих несуществующих птиц, фантастических животных, каковыми украшены джонки; много надо умения и проворства на то, чтобы уметь ладить с такими парусами, которые, как роскошные драпри богатого дома, все на сборках (кулисах), многосложно, но красиво спустивших парус. Станным кажется нам пребывание этого красивого драпри на судах, назначенных в море и обязанного служить многотрудную службу: быть готовым распуститься в тот роковой момент, когда простота и немногосложность могут сделать гораздо больше. К чему эта ненужная роскошь резьбы; эти красивые паруса, с которыми, по всему вероятно, и управляться очень трудно и которые не дадут такого положительного ответа в роковой момент, какой дают паруса европейские? Мы готовы произнести японским джонкам осуждение, но удерживаемся, не смеем, не в силах сделать это по той причине, что воспоминание о дальней и милой родине и здесь задерживает наше воображение и рисует нам тождественные, похожие картины. Давно ли в великом множестве кишели по Волге и притокам ее расшивы, мокшаны, коноводки и вся судовая благодать, расписанная, разрисованная, мечущаяся в глаза своей пестротой и замысловатостью резных фигур по корме, на носу, даже на верхней рубке, с особым тщанием отделанных на тех щеголях-судах, какие назначались для стоянки в Оке на время Нижегородской ярмарки? Да и теперь смотрите с ярмарочного моста направо, где собрались суда со всей Волги и на многих из них не только кормы писаные, но целые картины висят без нужды на мачтах, и нет флага, который бы глядел просто, без штучек, без тех же рисунков, каким позавидует не только японский, но и китайский живописец. Сколько соревнования, сколько хлопот и стараний потрачено на это дело, и сколько времени бесполезно съело оно, это дело, все устремленное, всецело озабоченное

одним внешним лоском и блеском, ради которого потерпели ущерб внутренние достоинства, главная суть; черепашьим ходом шли эти пестрые суда на лямках разбитой ногами и несчастной во всех отношениях бурлачины; привезли они товары, заказанные на низу и закупленные прожженным плутом приказчиком еще зимою не прошлого, а третьего года; повезут другие обратно на темный риск, который в настоящем году казался таким зловещим и тяжелым кризисом не только для хлебной, но и для всякой другой торговли, вверяющей свои продукты этим допотопным поставщикам и способникам. Многие из них еще и до сих пор тянутся вперед на коротеньком конце завозного якоря и по целым суткам мозолят глаза (своей неуклюжей коноводкой) жителей тех городов, которые лежат на крутых горах. Стоит этот внешний лоск за себя, и не имеет на Русн соперников нигде и ни на каких реках, кроме матушки-Волги, и столкнулся с соперниками только здесь, в такой дальней дали далекого Японского моря, но — победы не одержал. Мимо нас, почти борт о борт, прошла одна из джонок и поразила всех необыкновенной уютностью и чистотой до кокетливости, с какими отделана жилая каюта хозяина судна и его семейства. Далеко до нее нашим православным казенкам! Мы и сравнений дальше делать не в силах; нить воспоминаний наших обрывается. Резкие, дикие звуки доносятся к нам с берега; по временам они смолкают, по временам затеваются с новою яростью. Прислушиваемся — и не понимаем: не понимаем до тех самых пор, пока из-за одной джонки не показалась лодка на веслах, а на ней толпа гребцов, в подспорье работе затянувших не волжскую разносистую песню, а безалаберную смесь из однообразных, урывчатых звуков, у которых были только два тона, и оба тона шли без вариаций в бесконечность. «Иоссо! ёссо! ёссо!» — выкрикали японские лодочники, и вся их песня и весь ее смысл был тут, без остатка. Лодка эта привезла к нам японских чиновников.

Смелою поступью, придерживая рукой одну из двух сабель за рукоятку, входили к нам по парадному трапу три маленьких ростом, худощавых и необыкновенно опрятных человечка. Двое оказались чиновными, и потому, войдя в кают-компанию, они незастенчиво-охотно поспешили поместиться на диван, в то время когда их третий товарищ, внешним видом и костюмом не отличавшийся от них, устоял на ногах, несмотря на самые усердные и убедительные просьбы наши садиться. Он исполнял при чиновниках обязанность переводчика, и знал сверчок свой шесток, по русской пословице и по японскому обычаю: при всяком обращении своего чиновника к нему круто изгибал спину, подобострастно втягивал в себя воздух, как будто желая втянуть глубоко в сердце и пустые речи, но выпускаемые из уст людей высшего ранга. Слова их, несмотря на всю пустоту свою и дешевизну, были для нас простыми, обыденными, рутинными вопросами, несмотря на то, что переводчик придавал им такое священное значение. Мы знали, что дешевые же и немудреные ответы наши будут донесены по начальству, разумеется, переделанными с придачей своих японских заметок и объяснений — и в уши сёгуна (по-нынешнему — тайкуна) попадут уже совершенно в новом ввде, где основной смысл без следа утратится. Все это мы знали по прежним рассказам и жалели переводчика; удивлялись мы и чиновникам, которые во все время сумели сохранять торжественно-важный, сосредоточенный тон. Тон этот очаровал нас своею необыкновенною закругленностью и оконченностью: ни одного угловатого жеста, ни одного лишнего слова. Сами чиновники, словно вырезанные ловким японским резцом, были и приличны необыкновенно, и замечательно кокетливы. По виду ни одному из них нельзя было дать больше двадцати лет. Самый вид их до того был привлекателен, что двух из них мы положительно, по своим русским приметам, назвали красавцами: румяные такие, свежие, с живыми глазами, с сытым и довольным выражением, как бы и аристокра-

ты богатой породы. Гладко-нагладко выбриты были их губы, подбородок и щеки, до последнего волоска вычищено в ушах и ноздрях; и голова, бритая на переднюю половину, с задней венчалась пучком волос, пышно взбитых и завязанных узлом там же, на затылке, ближе к темени; от него вперед и на лоб кокетливо (в японском смысле) легла коротенькая коса, щедро просаленная на лбу, перегнутая, возвращенная назад, к затылку, и там снова и в последний раз завязанная тесемкой; в целом японская коса имела вид селедки (но не оселедца), по прозванию и приговору всех наших.

Угощали мы этих петушков не столько разговорами, сколько разнообразными сладостями, стараясь угодить им, подладиться к их вкусу, который выше сладкого не признает, как давно известно, ничего, и в американских пряниках, и шанхайском померанцевом варенье наши гости получали величайшее наслаждение. Мы видели это и по губам, которые громко и усердно чмокали, и по маленьким ручонкам, чистеньким и правильным, как бы и у прославленных русских красавиц, ручонкам, которые то и дело появлялись из-под стола, чтобы снять с тарелки именно самые вкусные и самые сладкие крендельки, булочки, конфетки.

И какая громадная разница, какая чудовищная пропасть легла между этими посетителями из японского города и теми манзами (китайцами), которые докучливо лезли к нам на пароход в заливе Посьета! Перегорелым чесночным запахом преисполнялась на тот раз вся атмосфера: в каюте дышать было противно, когда, бывало, заберется в нее два, только два таких молодца, рослых, топорной работы, неуклюже и тяжело ступавших, которые все хватали в руки, все усердно обглядывали тупым, безучастным взором, ко всем относились грубо и, без сомнения, бранились бы с нами, если бы знакомы были с богатым бранным лексиконом мудреного языка нашего. Если бы сказали нам на первый момент свидания нашего с японцами, что они происходят от китайцев, мы не имели бы никакого права поверить, — мы не

в силах были бы найти хотя единую йоту не ближайшего сходства, а даже и отдаленного подобия. Те рублены топором, и притом тупым и грубой работы; по этим прошелся резец замысловатого дела, и притом руководимый мастерской и ловкой рукой. Тех одобрили бы в Москве на полицейской службе при стечении народной толпы; эти не ударили бы лицом в грязь в самых тонких и притязательно-изысканных салонах. Как медведи, ломают те везде и всюду; как ловкие сайги, ни за что не задевая, почти ни до чего не касаясь, проскользают эти и мимо мебели, тесно расставленной в нашей кают-компании, и мимо наших очередных вопросов, которые неопытных и скрытных могли бы поставить в тупик.

Все мы очарованы были нашими посетителями, сумевшими на первых порах расположить нас в личную пользу и так ловко осветивших первые шаги наши к знакомству с неведомой, но заманчивой страной. Очарование наше было до того могущественно и сильно, что мы забыли на тот раз глубочайшее оскорбление, нанесенное нашему патриотическому чувству японскими чиновниками, и вспоминаем об этом оскорблении теперь, через три года, когда дело, вызвавшее это оскорбление, по доходящим до нас слухам, стоит в старом виде и образе. В *Хакодате* — городе, в котором четыре года до нас жили постоянно русские люди целой колонией, где не одну зиму стояли военные суда, имеет пребывание наш консул, отличный знаток языка, — *мы должны были с таможенными чиновниками говорить по-английски!!*. При этом толмач изъяснялся на английском языке едва ли не бойчее, чем на своем природном, тогда как известно, что английский консул и английский купец поселились в городе двумя и едва ли не тремя годами позднее наших!.. Нам будет время объяснять впоследствии это многосложное и замысловатое явление; быстро проходим мимо него теперь, увлекаемые все тем же японским городом, перед которым мы оставили читателя, — стоим и сами.

Поедем туда.

На веслах, управляемых крепкими руками коренастых и здоровых сибиряков, составляющих большую половину нашей команды, идет наша шлюпка к берегу, лавируя между сотнями диковинных джонок. Направо и налево стоят они расписанными, оригинальными, нос и корма сильно приподняты; какие-то тряпки, какие-то решетки; толстая до безобразия мачта; в носу какая-то выемка — род распорки. Общая форма может напоминать допотопный Ноев ковчег, но не кажется ничего мореходного, ничего, к чему успел уже привыкнуть наш глаз на военных судах. На джонках как будто все стремится к тому, чтобы как-нибудь сделать судно неуклюжее и неудобнее. Но зато в отверстия сбоку мы видим внутри красивые циновки, полированное дерево, везде, даже и на таких вещах, которые этого не требуют; видим яркие краски, чисто и опрятно выглаженных, выбритых японцев и в то же время поражены гнилым, одуряющим запахом, бьющим нам в нос, от нас справа и слева, спереди и сзади. Вот она, Азия, в своих передовых, любимых проявлениях и, кажется, неизменная, та же самая, что лежит позади нас далеко теперь, но ту сторону Восточного океана. И — странное дело! — она здесь та же, но как будто измененная, поставленная вверх ногами, вместо того чтобы казаться, по азиатскому закону и обычаям, снаружи чистенькою и красивою, а внутри скверною и безобразною. Она здесь, в Японии, на японских джонках, является снаружи безобразною, внутри — расписанною, полированной. Неужели Япония задалась новой мировой задачей и к, крайнему нашему сожалению, не покажет нам тех подобий и сходства, которых мы ищем? Смотрим мы больше и дольше и действительно убеждаемся на первых порах, что здесь все не так, не по привычному и заведомому, все вверх ногами. Навстречу нам плывет от берега лодка. На ней, как и на той, которая привозила к нам таможенных чиновников, гребцы гребут веслами от себя, не по-нашему; весла большие, неудобные, гребцам тяжело, лодка двигается медленным черепашьим ходом,

как громко-усердно и ни выкрикивают японцы: «Ёссо, ёссо», — и так в бесконечность. Не дорого, видно, народу этому дорогое время, которое англичане называли капиталом; видно, рассчитывают они поспеть на свой век сделать то, к чему другие лихорадочно спешат и чего крепко домогаются, да, знать, и не такие важные дела у японцев, чтобы подходить к ним с особенною охотою и нетерпеливым желанием. Лодка хоть и медленно везет, да зато непременно вывезет: когда? Высмотреть это — нам нет времени: мы приехали в Японию только на четыре дня, и спасибо нашей шлюпке и сибирякам — они скоро доставили нас на берег.

Но и здесь все такое диковинное. Мы слышим странные, глухие звуки, как будто бьют в бубен. Что такое?

— Полдень японский, — подсказывают нам.

Смотрим на часы: на наших, проверенных секстаном, показывается уже  $\frac{1}{2}$  2-го. Что за причина?

— Японское правительство надувает рабочих (целыми сотнями кишащих и здесь, на берегу хакодатском). Желая получить большую выгоду, оно часом с четвертью лишних пользуется силами рабочих в полдень; да столько же требует от них к ночи.

Что из этого происходит — нам не видно: видим мы только голых, на большую половину совершенно голых рабочих, с широкими спинами, крепкими мышцами, которые так и кричат за себя из-под кожи, являя в японском рабочем такого красавца, до каких сильно лакомы присяжные посетительницы столичных цирков. Здесь они не в почете, а в бедности и на таких работах, которые укрепляют их мышцы, но поражают нас и непрактичностью, и громадной задачей исполнения. Они кладут, напр., теперь, на наших глазах, каменные горы по берегу, и без того обладающему хорошим и прочным грунтом, не имеющем нужды ни в молах, ни в набережных, и для того, чтобы соорудить в одном месте простую, удобную пристань, японцы громоздят по всему берегу широкие и высокие стены. Говорят, сооружениями этими они в то же время надеются за-

щитить себя от европейских Армстронговых пушек и отстояться от ловких солдат европейской выучки. Говорят, в сооружениях этих японцы не знают границ и меры и, не останавливаясь ни перед какими естественными и другими препятствиями, доводят их до таких форм, пред которыми европейцы останавливаются в изумлении. Понадобилось русскому консулу место для дома и состоялся приказ сёгуна не пускать пришельцев селиться в среде города, не отводить им мест удобных и в центрах населения, — хакодатское начальство не задумалось. Была у них на горе, за городом, великолепная кипарисная роща. Место это отлично согласовалось со смыслом предписания из Иеддо и видами высшего правительства, но представляло большие неудобства и трудности в том отношении, что гора была слишком отлога, слишком глубока для того, чтобы можно было прилепить к ней русское здание, задуманное, по нашему обыкновению, в широких размерах. Как быть? Хакодатский губернатор согнал огромные массы рабочих; в короткое время немногих месяцев муравьи эти, не знающие устали, вырезали из горы громадный кусок (в несколько десятков сажень длины и ширины), как раз достаточный для того, чтобы иметь вид огромного плаца и поместить консульский дом со всеми службами, даже с церковью и домами секретаря и доктора. Заявил то же требование английский консул — и другой раз вырезали из горы массивную трапецию, новую малую гору, из остатков которой японцы соорудили, потом и подле, крутые и высокие террасы, сумевшие придать и тому и другому дому изящный вид и картинную форму. На наших глазах массы рабочих вырывали иную гору и зарывали глубокий овраг перед нею, чтобы дать честь и место третьему, громадному, дому японского князя, за какие-то добродетели ссылаемого сюда на житье, в этот бедный, самый худший из городов японских, город Хакодате. Когда город этот, вопреки правительственным видам и в силу назначения его портом, открытым для торговли и сношений с европейцами, стал быстро

подниматься, вырастать и, притягивая народные массы из окрестностей (даже из соседнего большого и хорошего города Матсмая), обстраиваться, река, снабжавшая Хакодате водой, осталась в стороне, не удовлетворяла нуждам всего города. Японское правительство не задумалось решиться, при помощи тех же масс дешевых и послушных рабочих, указать реке новое направление и, прорывши искусственное русло вдоль всего города, провести ее в море в ином месте, расстоянием в несколько верст от старого. Наш консул уверял нас, что стоит ему устроить один фонтан, чтобы не дальше как через один, много через два месяца увидеть на губернаторском дворе и в губернаторском доме таких же фонтанов не один десяток. Таковы факты, свидетельствующие, с одной стороны, о том, насколько сильна переимчивость и торопливость подражания хоть и чужим, но хорошим образцам в японском народе, и с другой — доказывающие то, как далеко и неудержимо идет восточная фантазия в своих проявлениях, основанная на досужестве народа, и до чего она может дойти, подкрепляемая дешевизной труда и заработной платы, а эта, применительно к нашему пониманию, превосходит всякую меру вероятия (но об этом в своем месте).

Мы идем дальше при звуках колокола, который своим раскатистым звоном напоминает нам родной благовест и окончательно уподобляется ему в нашем понимании, когда мы узнаем, что этот колокол точно так же сзывает и здесь на молитву. Мы вдосталь поддались и всецело подчинились знакомым впечатлениям, когда прошли одну улицу, другую и третью; улицы грязные, узенькие, неудобные для проезда, едва пригодные для прохода двух-трех человек рядом, точь-в-точь как некоторые дальние улицы Москвы Белокаменной, которая еще до сих пор усердно сберегает характер азиатской старины и крепко держится за ее немудреные порядки. Сходство, впрочем, на этом и кончается, — дальше опять диковинки.

Мы видим улицу, длинную-предлинную и узенькую до того, что она пригодна только для пешеходов и положительно не имела в виду ездовых в экипажах (разве только верхом, и то при известных уступках). Видим мы эту улицу и — странное дело — не видим домов, не смеем принять за дома темную оригинальную массу каких-то строений, обступивших с обеих сторон этот коридор, прикрытый сверху небесным сводом, необычайно голубым, бирюзовым. После долгих усилий мы выделяем как будто крыши, сурово надвинувшиеся над чернетью строений и далеко выдвинувшие края свои, за которые так легко задевать и стучаться лбом, нетрудно оставить на них даже глаз пригвожденным — так низко опускаются эти навесы, так бессмысленно безобразят они улицы, и без того безобразные и от грязи, и от постоянных заворотов, изгибов, углов. И только на углах этих рельефнее выдаются строения, и можно различать в них отверстия (высотой от крыши до земли), долженствующие изображать двери, с правого боку которых идут по две, по три также высоких, но вдвое больших шириною рам, обтянутых тонкой, промасленной бумагой. Рамы эти — рамы оконные; бумага заменяет стекло; а при отсутствии простенков японские дома ни малейшей йотой не напоминают домов привычного, знакомого вида и формы. Для довершения несходства почти во всех домах главной улицы рамы отодвинуты, и дом, очутившись таким образом без передней стены, стоит перед нами весь наголо, со всей своей внутренней, домашней, закулисной сутью и подноготною. Мы усердно заглядываем в один, в другой, всматриваемся во внутренность третьего и четвертого и видим в пятом и шестом, что за бумажными рамами скрываются лавки, что почти во всех домах главной хакодатской улицы торгуют. Торгуют по преимуществу разными материями; редкий из торговцев сидит сложа руки; все заняты делом, ни в одной лавке мы не видали купца без трех-четырёх помощников, но и эти все суетятся, о чем-то

хлопочут. Меньше дивит нас обилие торгующего народа в общей своей совокупности (по крайней мере — по главной улице) после того, как видели мы растянутые верстах на двух по берегу непрерывные массы рабочего народа. Не останавливаемся мы теперь на торговцах, имея намерение заглянуть в лавки и познакомиться с купцами после, да и потому, во-вторых, что перед глазами нашими происходит новая, диковинная, невиданная сцена.

Мы видим японца, который отличается от всех остальных на улице тем, что одет, и одет прилично, одет так, как одеты таможенные чиновники. Легонькое и коротенькое пальто с широкими рукавами накинуто на плечи; при бедре две сабли: одна длинная, другая покороче. На голове нет ничего, кроме неизменного хохолка из собственных волос, круто напوماженного и заменяющего в теплой Японии поголовно для всех головную покрывку. Мы видели, как этот чиновник (баниос) шел вдоль улицы, нам навстречу, очень скромно, и — вдруг! — ни с того ни с сего он присел на корточки и наклонил голову. Не успели мы прийти в себя от этой неожиданности — смотрим: перед ним уже сидит другой такой же, так же склонивший голову и так же бережно поддерживающий рукой на боку самую большую свою саблю. Что это такое? Игра вроде петушьего боя, когда этим чиновникам остается только или начать стукаться лбами до тех пор, пока чей-нибудь не расколется, или станут они улучать и высматривать удобную минуту, чтобы схватить друг друга за плечи, под микитки, за шею, как-нибудь по-японски и потом или сильному или ловкому побороть соперника? Или, может быть, задумали они какую-нибудь игру в карты, в кости и, расположившись тут без церемонии на улице и на корточках (в Японии так все своеобразно), метнуть раз-два, да и разойтись? Однако мы смотрим добрых пять минут, но видим все одно и то же: то один, то другой присядет, и оба вместе усердно тянут в себя воздух и фыркают; лица их достаточно налились кро-

вью, щеки изрядно надулись, и самое пальто у одного из них встало копной, как бы для пущего подобия этой смешной сцены с интересным боем английских петухов. В чем же тут дело, о чем эти господа хлопчут? Мы стоим еще пять минут, но видим все то же: чиновники не расходятся. Пробовал приподняться один из них, чтобы сделать движение в ту сторону, куда ему идти было надо, но присел снова, снова ухватился обеими руками за собственные колени и опять засопел и захихикал. Другой повторил то же движение, но снова присел и проделал в свою очередь такую же штуку, видя товарища, неподвижно сидевшего на корточках. Мы все-таки ничего не понимаем. Что это: игра ради потехи проходящей публики, дешевое и обычное представление каких-нибудь чудаков, дурачков? Смотрим в сторону: видим проходящих, с тупым равнодушием относящихся к этой сцене и не дающих ей внимания даже настолько, чтобы можно было видеть, что они ее замечают. Сцена для них привычная; для нас все-таки загадочная. Что же, наконец, это такое?

— Сцена встречи двух чиновников, — объясняют нам. — А так долго топчутся они на месте в силу того желания, чтобы скорым окончанием докучного процесса не показать друг перед другом невежливости, крайнего непочтения. Чем одинаковее чины и привилегии — тем приседанье это продолжительнее, оно длится иногда по получасу времени, дешевого в Японии вообще и между японскими чиновниками в особенности. Посмотрите, как петушится один, и будьте уверены, что это самый фешенебельный. Другой не отстает от него и чаще его приседает по несомненной причине, что он хоть и равного чина, но позднего производства. Я иногда с особенным любопытством смотрю на эти чиновничьи проделки и по ним дохожу почти безошибочно до понятия о том, кто из них крупнее чином, даже влиятельнее по должности, моложе годами, подлее характером. Конечно, если при встрече двух чиновников оба присели да один вскочил на ноги прежде и быстрее

другого — нет сомнения, что он присел только из приличия, а быстро поднялся оттого непременно, что он старший чином. Для равных эта точка препинания мудрена тем, что и приподниматься надо именно на столько линий (и никак не меньше), на сколько приподнялся другой, и подвигаться назад и вперед, чтобы разойтись и развязаться, именно в той силе, чтобы сделать это обоим разом, в один и тот же момент! Как крайняя точка нелепости, самого отчаянного абсурда, до которого может дойти страсть ко внешним знакам чиновочитания, этот примерный петушиный бой может служить великолепным образцом и примером. В другом месте дорожные, уличные встречи чиновника с чиновником могли бы почесться несчастьем, показались бы пыткой и мучением; здесь они считаются наслаждением, потому что съедают много времени, которое мучит японца и ненавистно ему в своем докучном течении. Наслаждение этими приседаниями и впиваньями того воздуха, которым дышит товарищ по службе, этого запаха, которым отшибает его форменное платье, с особенною яркостью смакуется японскими чиновниками старого закала. Слой их, надо сказать правду, гуще, чем тот, который стоит за сближение с европейцами и который в благодарность за то европейцы прозвали прогрессивным. Мы, пожившие здесь и присмотревшиеся к делам туземным, называем их проще — людьми молодыми, свежими и, что для нас несколько странно, находим их самыми практическими. У японцев все в избытке, всего очень много и все дешево — стало быть, с ними торговля дело выгодное и приятное. Это пока поняли только американцы да недавно стали домекать англичане (их консул в то же время и купец на собственный капитал); понимают это и русские, да почему-то не торгуют. Первые и последние покупщики из русских здесь пока офицеры и матросы военных судов. Но на этих, конечно, надежда плохая (хотя Хакодате и стал, говорят, поправляться на русских деньгах). Матросы облюбили дешевую рисовую водку *sake*, да домекнулись до по-

лушелковой материи на штаны. Офицеры берут здесь шелковые материи, тоже необычайно дешевые, да лаковые вещицы в виде шкатулок и ящичков. Правильная и все смекающая коммерция найдет здесь и иные предметы для выгодного приобретения (их очень много) и, конечно, получит их, потому что народ очень рад новым знакомцам. Не рады им, из собственных видов, только лица правительственные. Сколько мы слышали и сколько мы сами понимать можем, дело это состоит в таком виде.

Государственное устройство Японии представляет Россию времен уделов. Государство раздроблено на множество отдельных княжеств. Сёгун — светский император, живущий в Иеддо, — самый богатый из князей, но в такой, однако ж, мере, что несколько князей, взятых вместе, богаче и сильнее его; оттого феодальный союз всегда способен держать волю сёгуна в подчинении и приметной зависимости. Зависимость эта, ограниченная известною мерою и законами, слаба по отношению к делам внутренней политики, но велика по отношению к делам внешним и в особенности к таким, которые представляют новый, важный, неожиданный и не предусмотренный законами и обычаями вопрос, каков, напр., вопрос о сближении с иностранцами. Здесь сёгун не самопроизволен, и хотя бы он и желал этого сближения, видел в нем пользу для народа — как видит ее настоящий сёгун, — он ничего не в силах сделать, когда не желают этого князья, и не все, а даже некоторые. Двое из них замечены в особенной ненависти к пришельцам, и только интригам этих двух обязана Япония тем, что иностранцы не могут стать твердой ногой на японскую почву и терпят повсюду стеснения. Когда по проискам дипломатии, подкупам баниосов и по доброй воле сёгуна сделались доступными и открытыми пять портов для судов европейских, интриги двух враждебных европейцам князей указали на такие города, большая половина которых представляла мало удобств для торговли, — были города самые бедные,

меньше других населенные и неторговые; между ними первый открытый по времени — наш Хакодате — положительно самый худший из городов японских; во втором, открытом через год, интрига князей сумела отвести для европейских жилищ самое нездоровое и неудобное место, вне города, на маленьком морском острове, и проч.<sup>45</sup>. Затем, когда один из князей, рьяный фанатик своей идеи, подкупил убийц для того, чтобы убить английских купцов в Канагаве и нашего мичмана с матросами в Нагасаки, сёгун мог наказать его арестом (и то после многократных и настоятельных требований европейцев), — арестом в его же собственном дворце, и все-таки не помешал ему снарядить из-под ареста новую шайку убийц, присланных им в Хакодате для убийства тамошнего английского консула. В последнее время объявился европейцам новый враг, неожиданный, не так давно и всеми считавшийся безопасным, — это сластена, потерявший всю силу фактического влияния, живший только в особенное удовольствие и сильный единственно преданием, — духовный император, микадо (даири) — обитатель великолепного дворца в Миако. До сих пор знали, что предки микадо, ослабленные каким-то из весьма давних сёгунов и отстраненные им от дел государственных, заперты были во дворце; наделенные всевозможными благами жизни, получили несколько десятков жен в утешение; окружены были всевозможною роскошью, не позволявшею им, напр., надевать одно и то же платье два раза; а так как в силу этого обыкновения понадобилось несметное множество шелковых материй, как для него, так и для всего множества жен его, то вследствие того в Миако развились и сосредоточились фабрики шелковых изделий. Рядом к ним пристроились другие затребованные роскошью и ею порожденные всевозможные заведения, а между ними и фабрики лаковой мебели, какую справедливо гордится Япония. Ко дворцу прильнули литература, и музыка, и все изящные искусства — и микадо стали покровителями и блюстителями всего умственного

движения японского народа, вразрез сёгунам, которые стали, таким образом, руководителями административной и политической жизни его. Недалеко увели они свой народ в нравственном развитии; а что не способны они вести его никуда, об этом домыслился сам народ, ни разу не оскорбивший европейцев, ни разу не показавший им явно своего недоброхотства; народ японский, как прежде, так и теперь, дружелюбно улыбается новым пришельцам и охотно уступает им дорогу и сторонится, чтобы пропустить их к себе даже и в то время, когда миссионеры беззубого буддизма стали разжигать его мертвенный религиозный фанатизм и когда во главе его хочет встать сам невидимый, неумирающий, божественный микадо. До сих пор японцы были безразличны и к вере своей, да едва ли она и способна возбуждать и действовать на живые струны народа; они, кажется, все не за веру, а за тот практический жизненный смысл, который пособил японцам выработать необыкновенную даровитость (замечательную восприимчивость и таланты подражания). Механики их не много раз побывали на невиданной ими дотоле голландской шкуне и через год, без руководства и указаний, по собственным наблюдениям и чертежам, построили точно такое же судно и переплыли на нем с острова Нипона на остров Иезо. Случаев таких рассказать можно много; но важно одно, что буддизм, в котором не без справедливости многие находят признаки и проявление холодного и безразличного атеизма, не мешал развитию японского народа, хотя и одностороннему, не тормозил тех поступательных движений, которым во многих других государствах противостояла правительственная церковь, католическая, напр. Здесь врага народного должно искать в другом правительственном двойнике — в сёгуне с его баниосами — привилегированном сословии чиновников. Эта бесчисленная, лишившая народ права носить оружие и в то же время самая трусливая и непроизводительная масса, щедро рассыпанная по всему лицу государства и сидящая на

народе голодным паразитом, при видимом уважении пользуется глубоким презрением народа.

Систему стеснения народа повсюду, где встречается случай, чиновничество довело до крайних и возмутительных пределов. Мы запомнили себе в поучение один случай, происшедший у нас перед глазами, и в других уже мало нуждались. Между хакодатскими купцами нам в особенности понравился один славный парень, добрый человек, самый ласковый и доброжелательный японец. Множество услуг оказал он нам, правда пустых и малозначущих, но оказал он их готовно и всегда при первом призыве. Надобилась нам шелковая материя — он назначал ей с первого слова такую цену, на которую соглашались другие купцы, только крепко и настойчиво поторговавшись. Хотели мы иметь товар, какого не было у него в лавке, он посылал за ним к соседу и, покупая у него на себя, всегда передавал его в наши руки за такую цену, какой нам, чужеземцам, личными усилиями никогда бы не добиться, и проч. и проч. Вот за эти-то одолжения мы хотели угостить его, по нашему русскому обычаю, у нас на корвете, где имелось и столь любимое японцами шампанское с игрой и сладостью (хотя и североамериканского изготовления). Мы предложили ему эту поездку. Ризо Рюгони (наш приятель) охотно согласился и, видимо, был крайне доволен и счастлив, но оговорился: надо — говорит — спросить позволения у чиновников в таможне. Рассчитывая видеть в этом желании его простую вежливость, только легкую уступку заведенным формальностям, — мы пошли за ним в таможню; видели, как он пал ниц перед каким-то чиновником и разговаривал с ним, едва поднимая от полу голову, едва шевеля губами. После такого унижения и таких подобострастных, унижительных заискиваний успех его просьбы казался нам несомненным. Можете себе представить нашу отчаянную досаду и едва выносимую обиду после того, когда возвратившийся Рюгони объявил нам (да и объявил-то не в здании таможни, а далеко за углом, в самом укромном и, вероятно, по его понятию,

безопасном месте), объявил с простодушием и хладнокровием наивного ребенка, что чиновник ехать ему к нам в гости не позволил. На другой же день Рюгони объявил, что сегодня утром он принужден был заплатить немалую толику денег тому же чиновнику за то только, что он смел вчера сложить в голове такую возмутительно либеральную просьбу и мог уложить там такую дерзкую, оскорбительную для чести всего японского народа надежду. Но Рюгони был скрытен и, несомненно, боязлив по дешевому чувству самосохранения. Скрытным ему нельзя было не быть, когда в лавку его, чаще других посещаемую русскими, приставлен был самый опытный и злой шпион в виде рябоватого и сытого японца. Рюгони вообще про чиновников говорил нам мало, но охотно сделал нас свидетелями следующей сцены.

В лавку его, когда мы отбирали в ней какие-то шелковые материи, вслед за другими японцами, праздно и из простого любопытства глазевшими на нас, явился японец с бритой головой, на что, как известно, имеют право только доктора да бонзы (духовенство). Впрочем, еще до этого мы слышали на улице какой-то непонятный, дикий рев и только за неумением спросить не могли узнать причины. Теперь, когда появился перед нами бритый японец, оказавшийся на этот раз бонзой (что легко можно было заподозреть и по его оригинальному наплечнику из материи вроде нашего газета, с двумя длинными концами, висевшими на груди). Рюгони предложил нам сказать этому бонзе какое-то длинное слово. Слово это мы с трудом вымолвили и услышали тот же дикий рев, теперь над самым ухом. Рев этот вызвал легкую улыбку на лицах всех обступивших нас японцев, а от нас запрос:

— Что же такое значит?

— Бонза молится за тебя и твоих родных и славит богов наших, — отвечал нам ломаным языком наш Рюгони в таком смысле. — Дай ему две железных монеты — он еще запоет.

Бонза действительно заревел еще усерднее и безобразнее, до того, что нам уже стало невыносимо. Мы просили у Рюгони заветного слова и были несказанно счастливы, когда, выговоривши это слово, не видали уже бонзы в лавке и перед собою.

— Теперь бонза счастлив на целый день. Вы ему дали столько, чего не собрать ему у десятка купцов, из которых не все охотники его слушать, и никто не заказывает, разве для потехи или когда он сам навяжется и запоет, — объяснял нам Рюгони.

— А что же сделает он с нашими деньгами?

— Половину спрячет, на другую половину sake купит: станет пить ее. Им в монастыре скучно жить. Идет туда тот, кто работать ленив. Но будет вам моих разговоров: идите сами и смотрите. Здесь много диковинок почти на каждом шагу, — подсказал наш словоохотливый чичероне. — Вот вам первая, — продолжал он на пути нашем к консульскому дому.

Из-за угла выскочила огромная желтая собака и, увидевши нас, быстро схватилась с места, порывисто уркнула и опрорхотью бросилась назад, словно ошпаренная кипятком или ошеломленная палкой. И, спрятавшись далеко за углом, она все-таки с великого перепугу не лаяла.

— Где вы в другом государстве, а особенно в нашем Российском, встретите таких диковинных собак, которые боялись бы проходящих, бегали от них и не лаяли? Видно, и мы с вами в свою очередь диковинка.

— Отгадайте: кто продает эти груши: мужчина или женщина?

Отгадать невозможно: лица одинаково грубоватые, одинаково некрасивые. Даже костюм один и тот же: широкий халат, обвернутый кругом стана до того плотно, что делает ноги мало свободными и шаги японцев коротенькими, поступь медленную.

С первого раза отличить мужчин от женщин мы не можем и простосердечно нуждаемся в ключе к пониманию разницы.

Ответ немудреный. Женщины только и завертываются в эти халаты, при которых полагается широчайший из черной материи пояс: другого платья не носят. У мужчин, у купцов, например, этот же халат идет в основание костюмов взамен всякого другого исподнего платья. Сверх его полагается коротенькое пальто с широчайшими рукавами, на манер рукавов наших священников и с тою разницею, что нижняя часть рукава до половины плотно зашивается. Это единственные (два) японские кармана, куда они кладут свою мягкую бумагу (вроде чайной китайский); на ней он и пишет, что нужно для памяти, в нее и нос сморкает, о нее и руки вытирает за обедом; она, стало быть, и носовой платок, и салфетка, и записная памятная книжка. У мужчины сбоку неизменен кисетик с табаком и маленькой трубочкой (ганзой) и медная чернильница с кистью и разведенною тушью (японцы все грамотны); на голове у мужчин непременно пучок в форме селедки, и половина головы спереди бритая. У женщин целая кипа на голове, и бритва не смеет касаться их ветреных голов: в этом их главное отличие от мужчин, и вычерненные зубы — принадлежность замужней; белые же — неиспорченные, по-нашему — единственное отличие девушки. У купца бывает иногда за поясом одна сабля, коротенькая, и то если он право на нее купит из тщеславия, причем заплатит очень большие деньги, как платят их за медаль купцы наши; у чиновника непременно две сабли: одна, как наша шашка, длинная, другая, как кинжал или поварской нож, коротенькая. Первой саблей палач рубит чиновникам головы, второй, маленькой, он вскрывает сам себе брюхо, когда выйдет на это повеление, отдаваемое обыкновенно как милость самым верным и ревностным за прегрешение, которое кладет голову нечиновного на плаху под позорную руку презренного палача<sup>46</sup>. Но важнее и резче других бросающееся в глаза отличие чиновника от простых и глубоко презираемых им смертных состоит в праве носить штаны. Штаны эти, составляя единственное

исподнее платье, заменяющее купеческий халат, могут носить исключительно одни только чиновники, да носят их еще дети этих чиновников — от рождения привилегированное сословие. В штанах у японцев великая сила, зато они и шьются таким оригинальным, неловким, не нашим покроем, с дощечкой назади.

А вот и еще одно обстоятельство, кажется, исключительно японское и тоже диковинное.

Проводник наш, отворив дверь в один из спопутных домов и пригласив нас туда, сам пошел впереди решительным шагом, смело-уверенною поступью.

Мы очутились в бане. Баня отличалась от наших низменных, облюбованных всем всероссийским народом только тем, что не была так беспредельно жарко натоплена, а содержала температуру, равную уличной, нагретой жарким июльским солнцем, да притом и в Японии. Мужчины и женщины мылись вместе, как некогда делали это и в Древней Руси, как делают это и до сих пор в торговых банях очень многих дальних и бесхитростных городов наших<sup>47</sup>. В древней России даже чернецы и черницы мылись и парились вместе, в одной общей бане. Появление нас, диковинных людей в костюме, и по костюму встречено было мывшимися японцами с тем же хладнокровным равнодушием, с каким смотрели на нас японцы и в других, менее рискованных и более безопасных экскурсиях.

К числу последних мы относим посещение нами первого попавшегося нам на пути буддийского храма. В этот день в храме был праздник. От входных ворот через двор до дверей храма сидели в два ряда торговцы и торговки с разною диковинною съестною благодатью, разных форм и цветов, преимущественно со сладостями. Тут же на месте некоторые из торговцев по заказу желающих делали из сладкого теста разные фигуры; из них иные можно было потом показывать только из-под полы, для веселых любителей. Видели мы и походную картинную лавочку, продававшую печатные красками изображения необычайного толстяка даже без штанов

и халата, но с каким-то огромным поясом. Это непомерной и карикатурной толщины чудовище долженствовало изображать того бога, в честь которого совершалось празднество и ради которого весь двор храма и улица, ведущая к нему, увешаны были разноцветными и разнокалиберными фонарями на столбах и на веревках.

Фонари зажгут вечером, и японцы всем городом начнут, как тени, бродить вдоль города. Запоют они свои горловые гортанные песни задвленным голосом и защелкают соломенными башмаками, которые, между прочим будь сказано, сохраняют их чулки в такой чистоте, что ни единая капля грязи к ним не прикасается. Так ловко ходить и так кокетливо-опрятно сохранять свои чулки и башмаки могут только одни замысловатые японцы. А между тем хакодатская грязь смело может поспорить с любой из русских уездных и с осеннею и зимнею петербургскою грязью.

Но мы вошли в храм и были при самом входе поражены необыкновенною чистотою и красивым узором особого дела японских циновок, разостланных по полу. Деревянные галоши молельщиков оставлялись при входе, как и в мусульманских мечетях. И как там некогда, так и здесь теперь нас пригласили вытереть ноги и не помешали пройти далеко в самую внутренность храма, чтобы видеть, как, поджавши под себя ноги, на чистых циновках сидели только женщины, одни только женщины, но и те в приметно ограниченном количестве. Храм был почти пуст, но и молельщицы в халатах и с огромными головами тотчас, как взошли мы, обернулись к нам, смотрели на нас пристально и настойчиво провожали нас глазами, когда мы пошли за колонны. И там они не спускали с нас черных глаз своих, хотя в это время с возвышенного амвона лицом к народу говорил бритый бонза крикливую проповедь. В чем состоял отрывок застигнутый нами проповеди, мы могли понять из перевода, сделанного нам проводником, по счастью, отлично понимавшим по-японски.

«Вот, сегодня, — говорил бонза, — празднуем мы день строгого, строптивного бога, который любит на земле тишину и мир. Но знаю вас, что не молитвой вы станете прославлять его строгость, а начнете пить sake и напьетесь допьяна.» — И при словах этих бритый бонза ловко раскинул в правой руке очень красивенький веер и, кокетливо-лукаво улыбаясь, грациозно помахал им на лицо и говорил дальше: — «В пьянстве, нехорошие вы люди, в пьянстве, скажу я вам, много пороков, и главный из них — это блуд».

И опять лукавая улыбка и снова ловко свернутый одной рукой и одним взмахом веер опять с легоньким приятным шумом развернулся и освежал бритую и мокрую от невыносимой жары и учености голову японского мудреца. Мудрец уходил далеко, поднимал голос до выкриков, перечисляя пороки от пьянства до бесконечных и фантастических подробностей; говорил с увлечением, нараспев, тем речитативом и с той интонацией, подобие которой незачем искать только в Японии или в единомверном ей Китае.

Мы не могли много слушать проповедника, сколько и потому, что говорил он больше общими местами, хотя и логично-последовательно, но говорил языком, для нас, непривычных и непосвященных, неблагозвучным, гортанным; к тому же нам хотелось осмотреть внутренность храма. Она показалась нам проста до невозможности и до того же общего места, каковым поразила нас сейчас мельком прослушанная проповедь. В середине — главный храм, по задней стене которого расставлены были бурханы, размалеванные красками, не имеющие человеческого подобия, уродливые, но для нас, пришельцев, не страшные. Впереди бурханов возвышенное место кафедры, пустой теперь, вероятно, потому, что с нее имеет право говорить только самый чиновный, самый старший бонза; еще впереди та вторая кафедра, перед которой сидит наш знакомец, вероятно, менее чиновный бонза, все еще кокетливо улыбающийся-

ся и мастерски свертывающий и распускающий свой бумажный веер. Направо и налево от главного храма два придела. Мы вошли в правый, сходили в левый, и тут и там нашли около задних стен на полочках одно и то же — бесчисленное множество маленьких дощечек с надписями. Надписи обозначали имена умерших, по объяснению знатока Японии. Перед дощечками стоял в чашечках рис, сахарный песок, лежали пряники, сладкие и сдобные булочки. Это — приношение в честь умерших на их поминовение, как объяснил нам тот же знаток Японии и ее замысловатых обычаев. Перед дощечками и перед бурханами в главном храме горели толстые, размалеванные разными яркими красками свечи, такие, впрочем, каких в обыденном употреблении у частных лиц по домам встретить невозможно.

Дальше в храме смотреть нам было нечего.

Мы вышли на двор и в левом углу, на особенном возвышении, увидели огромный колокол и подле него большую деревянную колотушку.

— Хотите — звоните, — объяснял нам проводник наш, — запрещения на то не полагается. Японцы даже будут рады и примут вашу любезность за настоящую монету. Люди они простые и во всех своих добродетелях крепко уверенные.

Мы позвонили; звон — приятный и несется далеко, едва ли не через весь город. Наполнявшие двор японцы на нас не кинулись, нас не разорвали; ближние действительно приятно и умильно ослаблялись. Одиндаже погладил нас по спине, когда мы проходили мимо него прямо в кельи, принадлежавшие монахам этого монастыря.

Там мы нашли сравнительно убогое, бедное помещение, но ту же педантическую чистоту, как и повсюду в жилищах японских: циновки красивых узоров и глянцевого плетенья на полу; выкрашенные самыми яркими японскими цветами и лакированные<sup>48</sup> шкапки, этажерки по углам; одна комната выходила в другую высокою и широкою дверью, которая задвигалась

такими же рамами с прочной бумагой, какие мы видели и в лавках главной хакодатской улицы. В одной из комнат нашли мы бонзу, который почему-то пошел в храм, но, увидев у нас в руках веер, пристал к вам, знаками просил себе в подарок, усердно и низко кланялся всей спиной и, хватаясь руками за колени, хахакал и таки выклянчил себе веер. И чтобы показать свое удовольствие и пущую благодарность, он тут же, скроив серьезную мину, заревел во все горло и раскинул веер с неменьшею ловкостью и удалством, как и тот бонза, которого видели мы в храме.

— Так вот он будет кокетничать перед дамами завтра, когда наступит его очередь, — объяснял нам проводник, — и ваш веер удостоится неожиданной чести и самого приличного употребления, как подсказывает мне для сообщения вам и сам бонза, немножко подкутнувший теперь. Уже, к слову сказать, он совсем будет пьян, без языка и без движения. Здесь ни один праздник меньше трех дней не бывает, и не знаю я другого государства, кроме Рима и Испании, где бы больше было праздников, где бы так беззаботен был народ и так бы весело прогуливал свою жизнь, здесь подчиненную воле чужого произвола и власти чиновников, у которых для каждой головы и для каждого брюха по две сабли, как вам уже теперь доподлинно стало ведомо.

Идем дальше! Вот стучат в бубны: это просят милостыни нищие; добра этого здесь несравненно больше, чем даже и в католических Риме и Неаполе. Нет только воровства и ночных грабежей, потому что по здешним законам, если и несколько копеек украл — голову рубят. Народа здесь не жалеют; добра этого также много. Прежде не проходило здесь дня без казней. И меньше стали рубить головы на плахах и сжигать на кострах живыми в настоящее время потому, что японское правительство догадалось наконец дать живым людям приличное назначение, т. е., смягчив суровость закона, оно за преступления, обрекающие на плаху, стало посылать в ссылку на Сахалин. Остров этот японское

правительство недавно только признало японским и скоро населит его своими преступниками весь, до самой вершины. Айны, южные жители, потянулись к северу и в середину острова, вытиснутые пришельцами с южных островов: Иезо, Нипона, Киу-Сиу и Санкока. На островах этих в течение множества лет (которым японцы даже не знают верного счета) скопилось до того густое и тесное население, что государство вырабатало преступный взгляд и возмутительное убеждение, по которым народ для него дешевле пареной репы. Репу эту оно снисходительно употребляет для личного своего пользования, если она ядреная и здоровая, и охотно мнет ее, режет и бросает прочь, если ее, хоть на крупицу, хоть на ничтожную дозу, хватила гниль и порча. Больных мест здесь не лечат терапевтическими средствами, а пользуются единственным известным им способом лечения — посредством ножа или сабли (что одно и то же); потом и отрезанную часть, и целое обыкновенно сжигают. Здесь, впрочем, жгут всех, даже и тех, которые воспользовались завидным счастьем умереть собственной смертью. Японцы рассудили так, что, если на таких пространствах, какие имеются на трех островах, закапывать всю умирающую и умерщвляемую массу народа, кладбище одно будет иметь вид отдельного и целого государства; гниющие тела заражали бы воздух, скопляли гнилые и вредные миазмы, которые были бы губительны для живого населения, несмотря на то, что Японию хорошо продувает и отлично выветривает. «Пепел, то ли дело!» — думают японцы и умершего обыкновенно сажают на корточки в бочку и жгут: пепел от тела и обуглившиеся кости складывают в небольшой сосуд, долженствующий занять крошечное место в земле, которою крепко дорожит японское правительство. Сосуд этот и ставят в эту дорогую и ценную землю, предварительно три дня продержавши в храме, вероятно в виде — говоря по-нашему — отпеванья. Хоронят, впрочем, с торжеством и на общем

кладбище ставят также тщеславно-кичливые и кричащие памятники. За этим и здесь не стоят!

Для того чтобы судить о равнодушии японцев к жизни, тупом равнодушии этом, воспитанном в народе самим правительством, которое установило немилостивые законы и породило обилие смертных казней, вовсе не нужно быть свидетелями закулисных домашних сцен у тех чиновников, по милости сёгуна вскрывающих себе брюхо, надрезая его по известным приемам и раз установившимся образцам. Сходите за город, на обширную площадь, где не сегодня, так завтра непременно будет где-нибудь и какая-нибудь смертная казнь. В стенах тюремных рубят головы почти каждый день, но без свидетелей: из шести палачей один самый ловкий и лучший обязан отхватить голову одним взмахом по команде остальных пяти товарищей, которые откашливают одно слово: «Ххха». Если он не отрубит головы с одного взмаха, ему велют вспороть собственное брюхо. С этой-то вот стороны японцы и кажутся нам таким зверским, жестоким народом, и по этой-то выработанной привычке считать собственную жизнь ни во что они равнодушно относятся и к чужой жизни. Отсюда понятно нам легкое и дешевое приобретение наемных убийц во всякое время и на всяком месте, удобное не только для сильных и влиятельных князей, но и для простых людей, не жалеющих одного или двух золотых кобанов<sup>49</sup>. Мы полагаем на этом основании, что жизнь европейцев, дешевая для народа по сознанию и досадная правительству по принципу, всегда в опасности и всегда будет подчиняться острому японским саблям, булат которых, как давно известно европейцам, не имеет на всем свете соперников. И прежние и недавние факты этого рода не позволяют нам сомневаться в том<sup>50</sup>. Мы не сомневаемся и в том замечании, что народ не только равнодушен к чужой крови (а тем паче крови иноземцев), но даже доволен и счастлив, когда приглашают его быть свидетелем загородных казней. Все людное население Хакодате бросилось за город, когда

назначена была казнь преступника, покусившегося поджечь здешнее адмиралтейство. Бежали, впрочем, за город одни только мужчины; женщины прятались в задних покоях, и те из них, которые были застигнуты на улице в то время, как вели по ней преступника, опрометью бросались в закрытые места, за углы, с глаз долой, чтобы он не осквернил их брошенным на них взглядом. В этот час закрыты и заперты были все лавки по пути, чтобы таким образом зловещий и нечистый взгляд преступника не опоганил бы товаров, не обездолил бы торговли, не затормозил бы барышей. Мы ходили также, ходили как будто затем, чтобы убедиться, до какого равнодушия, даже отупелого хладнокровия и беспредельного безучастия может дойти народ, присмотревшийся к казням, развращенный ими. Сам преступник шел к костру так смело и храбро, с таким безжизненным и тупым выражением в лице, что мы испугались и вознегодовали в нем за человека вообще, сколько ненавидели в то же время закон, допускающий и оправдывающий подобные зрелища. Мы примирились с преступником только тогда, как он, стоя на костре и ожидая огня, заговорил что-то, попросил — по объяснению ближе стоявших к нему — попросил ускорить казнь. До того времени, и привязанный, он смотрел безучастно и хладнокровно на толпу, кишевшую под его ногами в примечательном многолюдстве и в поразительном однообразии. В толпе этой ходили разносчики, носили на коромыслах горячий и заветный японский зеленый чай туземного произрастания; продавали пряники, груши, вареный рис; разносчики выкрикивали так же, как бы и на улице; толпа жевала, чавкала и гудела говором, разговаривала с тем же хладнокровием, с каким привыкла говорить дома, в лавках, на рынке. Оживленный говор и густой гул не переставали даже и на то время, когда преступника охватило дымом (но не пламенем), и он, по всему вероятно, скоро задохся в этом дыме; по крайней мере, его, почернелого, задымленного но в полном составе (несгоревшего), еще три дня держали

на месте казни, приглашая сюда тех, кто не попал в главный день. Охотников находили; кучи зрителей собирались бы и на четвертый день, если бы палачи не убрали казненного и не сожгли его в пепел. Тем же тупым, безжизненно-оскорбительным хладнокровием (по свидетельству очевидцев) встречено было японским народом в Иеддо зрелище казни убийцы, покусившегося на жизнь брата сёгуна (регента престола): его живого варили в котле.

— И чтобы сказать вам все, — заключил свою речь наш проводник, — все, что привелось к слову и пришло нам на память в этот раз, скажу еще, что насколько дешевле взгляд японца на жизнь вообще, и столько же дешевле в Японии и средства к этой самой жизни. Чтобы не сказать бессмысленного каламбура, попрошу вас завтра убедиться в том лично. Сегодня и походов и рассказов довольно. В заключение посмотрите на город отсюда (от консульского дома вниз): что это такое? А ведь не город, а тоже диковина. Это еще моя штучка, хорошая штучка, но последняя — как приговаривают русские раешники.

Действительно, остановившись на террасе консульского дома, у подножия которого должен бы лежать город Хакодате, — города в привычном смысле и приличном виде мы опять-таки не видим. Видим черную, безразличную массу, но не строений, а каких-то досок, пустыри между ними, обозначающие улицы, и на первом плане и впереди всего — груды огромных камней, иногда наваленных в симметрии, дорожками, иногда сваленных в груды и высокие кучи. Как будто оторвалась от соседней к нам горы каменная скала, и, разорванная в мелкий щебень и крупные глыбы, разбросалась по всему пространству, занятому городом, и бесследно погребла его под собою. Мертвый вид этот напомнил нам пустынные гранитные берега Белого моря, где такие явления не в редкость, но подозревать большой японский город под грудю этого щебня и этих камней было невозможно. Все чисто азиатские и

преимущественно мусульманские города имеют форму беспорядочно и безразлично нагроможденных камней; но там и дома, даже в бедных аулах, все и непременно строятся из камня. Здесь же, на крайнем азиатском Востоке, в этом Хакодате, как в Маньчжурии и Китае, дома непременно дощатые и деревянные; вид на город сверху превзошел всякое вероятие: был крайне диковинный и неожиданный. Таких мы уже и не встречали больше ни прежде, ни после. И вот по той причине, что японские дома деревянные и дощатые, наскоро и непрочно строенные, на крышах их навалены огромные камни во множестве на случай тех свирепых ураганов, какие господствуют только в Японии и с отчаянною свирепостью налетают из соседнего ущелья между двумя горами, крепче и чаще всего на этот несчастный город Хакодате. Мы пойдем и камни эти, и другие прессы, и контрфорсы, когда припомним, что Японские острова, а в числе их и Езо, поместила природа на самом деятельном и жизненном вулканическом кратере. Не так давно еще дохнула соседняя городу конусообразная гора дымом и пламенем и пролила такую лаву, которая в то же время и в течение долгих недель не могла остыть, да и теперь, через два года, лава эта находится еще в полуразжиженном состоянии<sup>51</sup>.

Только на дальних краях, на правом и левом крыле своем, японский город похож если не на город, то на жилое и населенное место; там мы видим украшенные киосками на китайский образец храмы, отличающиеся чешуйчатými крышами и башенками, видим огромные сады, в которых потонули дома губернатора и дворец князя, и высокую прямую кипарисную рощу, потянувшуюся в гору, немного отойдя от русского консульского дома, выстроенного целиком и сплошь из кипарисного дерева. И когда отвели мы глаза от города и смотрели прямо, перед нами сверкала бирюза очаровательного южного моря, зажил весь наголо оживленный множеством судов залив Хакодатский — вначале с нашей «Америкой» и голландским корветом немного поодаль,

а дальше очаровательная синь и бирюза (в одном месте обрамленная крутым гористым берегом) пропала, слившись с горизонтом и с взбурленную и пенившуюся крутыми и сердитыми волнами поверхностью обширного и свободного океана. Картина действительно была и оригинальна, и очаровательна!

2

Еще шесть дней пробыли мы в Хакодате. Назначенный вначале срок не выстоял перед соблазном живых и новых впечатлений, которыми дарили нас день за день японский город и японский народ. На берегу так было хорошо, что на пароход свой мы ездили только за крайней нуждой и раз для того, чтобы быть свидетелями визита, который оплачивал нашему флагману хакодатский губернатор. Визит этот, впрочем, не представлял ничего особенно интересного. Резче прочего бросился нам в глаза ловкий манер японских лодочников, шестью лодками буксировавших огромное судно с обширной каютой, — маневр, с каким они подвалили к парадному трапу это неповоротливое и неуклюжее судно. Маленький губернатор со своим помощником и несколькими баниосами ловко, привычным шагом поднялся по трапу и безучастно-холодно осмотрел все диковинки, какие могла показать ему наша «Америка»: необыкновенно чисто содержимую машину, малоопрятные бак и жилую палубу, до тесноты набитую матросами, между которыми шли с нами и портовые музыканты, и гребцы главного командира; видел он наши пушки, недавно усердно салютовавшие вразмен с любезными голландцами, возвращавшимися в отечество из Иеддо (где они выдержали свою долголетнюю и тоскливую стоянку); ходил он по шканцам и по корме, борты которой вчера только тронуты были свежей краской, и, сидя потом в нашей довольно тесной и мало удобной

кают-компания, губернатор услаждался всякою сластью, какая нашлась под руками. С большою любовью относился и губернатор, и его товарищи к шампанскому американского приготовления, похожему вкусом на подслащенный березовый сок, с тою же горечью и осадком, и продававшемуся даже в беспредельно дорогом Николаевске по 2 руб. сер. за бутылку. Сладковато-горькой, но шипучей и вышибающей пробку дряни этой губернатор выпил чрезвычайно много и, как впившийся пьяница, не изменил себе ни в одном глазе. Необычайно много съел он при этом мороженого, потребленное количество которого в другом месте (напр., в нашем возмутительно нездоровом Петербурге) не прошло бы для него без жестоких холерных припадков. Видимо, японец ел эту бальную и кондитерскую сласть в первый раз в жизни, потому что, прихваливши ее, он пожелал в то же время узнать, из чего и как она готовится. В видах общего благополучия, во избежание римского обеденного скандала и памятуя, что буддизм строго воспрещает употребление молока, мы ему не сказали, отыгравшись тем ответом, что приготовление вкусного мороженого — секрет повара. С этим губернатор от нас и уехал на голландский корвет, где, вероятно, так же усердно пил, если не шампанское, то портер, и когда, вернувшись оттуда, он попался нам на берегу сошедшим с лодки, мы нашли, что ноги его были тверды и достоинства своего он не ронял перед японцами, повергавшимися ниц перед его мощью и силой, а на этот раз и перед его непредставительной, маленькой фигуркой.

На берегу мы исходили все места и все закоулки, где только было можно или казалось нам безопасным (а безопасно во всем Хакодате); отмечаем же только то, что сознательнее и памятнее осталось в нашем представлении.

Впереди всех впечатлений и яснее других рисуются нам японские лавки, чаще других нами посещаемые. Как гуси, один за другим вереницей в поднебесье, или овцы, гуськом одна за другой по сырой земле, — так и

мы по примеру и совету бывалых потянулись со всем наличным и припасенным на Амуре количеством серебряных рублей, потянулись друг за дружкой с хакондской пристани в таможду. Там в одно из огромных окон кургузые чиновники брали наше круглое серебро с лигатурой, клали его на одну чашку весов особого мудреного устройства и потом грузили на другую свое четырехугольное серебро, чистое, без лигатуры. Когда стрелка остановилась на самой точке, мы получили горстями японское серебро; причем собравшиеся гурьбой чиновники со скрытою завистью и с нескрываемым изумлением смотрели на нас и, вероятно, пожелали нам прогуляться с этим серебром, небрежно рассованным нами по всем карманам, ночью и в глухом месте. Но мы пошли в самое бойкое, понесли серебро в лавку к Рюгони, рекомендованному нам за человека честного и не затруднявшегося (по японскому словарю Гашкевича) объясняться по-русски.

Рюгони раскинул перед нами множество материй, и все поразительной дешевизны: целые куски (аршин в 20—25) материй вроде фуляров, окрашенных самыми яркими красками, которые способны только вырабатываться в странах тропических, стоили  $7\frac{1}{2}$ —8 ицэбу, т. е. от 3 р. 22 к. до 3 р. 44 коп. Самая лучшая, прочная и дорогая белая материя, обладавшая похвальным свойством становиться плотней при всякой новой стирке, стоила, куском в 25 аршин, всего только 22 ицэбу, т. е. 9 руб. 46 к. Материя эта, сделанная из шелка-сырца, имела вид накрахмаленной, как бы изящно сделанной, нитка к нитке, волосяной материи. За лучший атлас (5 аршин) мы платили 1 р. 72 к. на наши деньги и проч. и проч. При этом материи светлых цветов и в особенности окрашенные модным и любимым зеленым цветом стоили дороже, чем материи темных цветов. Темные цвета и в Японии траурные. Желтый, императорский цвет, дорогой в Китае, здесь, в Японии, был нипочем.

А где дешевизна, там и неудерживаемый соблазн, и где любимые покинутые люди, там и приготовление по-

дарков для них — вот два рычага, на которые попала вся наша кают-компания и долго не могла сорваться. Мирно дремала она до сих пор под однообразие впечатления скудного похода по пустынным портам океана; быстро поднялась и разбежалась она потом, когда развернул свои соблазны дешевый город. Первым поживился от нас Рюгони; вторым и третьим — два купца, торговавшие лакированными и другими безделушками. Японского вкуса чернильницы в ящичках, рабочие ящики, на внутреннее многосложное устройство которых может быть способно только японское уменье, и терпенье; все эти произведения миакских фабрик изящно оттиснутыми на крышке рельефами петухов с позолоченными гребешками, целой горой Фудзи, до половины снеговой, высокочтимой японцами и почитаемой ими за священную, — все это громоздило наши тесные, узенькие и неудобные каюты. Все это нас всех поголовно (нечего греха таить!) сильно занимало и радовало. Дешевле купленная и счастливо выбранная безделушка возбуждала зависть; курьезная вещица подмывала на поиски ей подобной, и с нетерпением ожидалось новое утро, чтобы разменять в таможене резервное серебро и снова наделать глупостей, в которых вечером приходилось каяться и разочаровываться. У нас начались мелкие ссоры, затеялась меновая торговля, и, будь мы двумя-тремя ступенями ниже в нравственном развитии и убеждениях, кто знает — может быть, пустилась бы и на худшее художество. Оживление было всеобщее, страсти неожиданно разгорелись, и, вопреки ожиданий, на таком пустом поводе, вызванном приобретением японских изделий, в каждом из нас начали обнаруживаться мелочные черты характера. Всякий успел обнаруживать кое-что из того, что до сих пор усердно и ловко припрятывал. Один, накупивший всех больше и имевший в запасе множество серебра, не хотел менять его на ассигнации тем, кто безрасчетно потратил все серебро свое до последнего гривенника. Другой, имевший возможность легчайшего и более удобного

для него размена, подвел такую интригу, что доступ в разменную кассу стал невозможен. Третий готовно, по необъятно доброй душе своей, предлагал имевшееся у него золото, но золота японцы не любят и за наш полуимпериал давали только три рубля с какими-то копейками<sup>52</sup>. Даже в покупках, на вещах объяснился определеннее характер многих: наш деловой старший штурманский офицер, который все время похода или писал шканечный журнал, или делать папиросы (употребляемые им в огромном количестве), только раз съехал на берег, купил себе табаку да тем и покончил. Другой наш товарищ, обладавший высоким ростом, в выборе вещей придержался таких, которые были и велики и громоздки; напротив, третий наш товарищ, молоденький, красивенький, выбрал миниатюрные, более изящные. Священник консульства, возвращавшийся в Россию, вывозил с собою исключительно только один японский атлас во множестве кусков да намерен был закупить по портам океана и на Амуре соболей: и то и другое, по его словам, он вез в подарок архиереям и его отцам-благодетелям. Двое семейных купили больше материй женам на платье, один приобрел даже дешевого и необычайно вкусного рису, который только и можно приобретать в Японии; купил овса, купил пряников. На баке повторялось то же явление: писарь, вахтер и унтер-офицеры с боцманом закупили шелковых материй, щеголь-фельдшер приобрел фиксатуары и стальное зеркало; а матрос Ершов, съехавший вместе с другими на берег *освежиться* и получивший от нас два ищебу на прогул, пряников не купил, а вернулся пьяным и был семь вечеров сряду в крепком подгуде, пока целы были две огромных плетушки с японской водкой sake, провезенные контрабандой на офицерской шлюпке и спрятанные под нашей койкой в каюте.

Все остались при своем, и у всех были *нэцке* — эти уже настоящие японские безделушки в виде различных фигур из кости и дерева, необычайно изящно выточенные и привешиваемые японцами к кисетикам с табаком

в должности старинных европейских брелоков. Теперь все это очень смешно; тогда было не до шуток. Выведенные из своего покойного и нормального положения в какое-то новое и искусственное, но тем не менее сильно возбужденное и беспокойное состояние духа, мы и в этих безделушках завидовали друг другу и негодовали на нашего американца, механика Нортон, который, как истинный янки, умел все купить несравненно дешевле нас и купил притом такие вещи, какие нам и на глаза не попадались, словно вырывал он их из земли. И, покупая вещи дешево, он в то же время успел обратить на себя любовь и внимание всех торгующих японцев, даже пользовался там популярностью. Меньше нас зная язык, упорнее и упрямее стоя за свой родной (три года проживши в России, он ни слова не говорил по-русски), американец сталкивался мимикой и теледвижениями и таскал из лавок такие вещи, какие приходились ему по вкусу и казались стоящими его внимания. Купцы при первом приближении его ему улыбались, при выборе вещей усердно прислуживались, хотя он и платил меньшие против нас деньги, и когда уходил — ему кивали головой и посылали самые дружелюбные, самые кроткие и ласковые улыбки. Нортон торжествовал; мы все ему завидовали; он рассказывал — мы все его слушали; он знал, сколько получает рабочий, что стоит труд, чем можно успешно торговать с Японией; мы поверяли его сведения и убеждались, что он ни в чем не ошибался, и удивлялись одному: из каких источников, не зная языка, он и другие американцы могли приобретать эти сведения? В прошлом году они предсказали, что на будущий все в Японии вздорожает, и предсказания их сбылись; мы за все платили дороже, чем те из русских, которые были в прошлом году. Американцы говорили, что на многие товары падет запрещение, и не ошиблись: японцы в год нашего посещения не продавали рису, не продавали рогатого скота. Америка, вся погруженная в чтение отечественных саженных газет, с большим любопытством останавливается на

тех местах, где говорится про Японию, и по газетным сведениям добирается до того знания и до тех предре-чений, которые понятны только в американце. Мы при-нуждены были блуждать впотьмах, несмотря на то, что не первый год живет в Хакодате целая колония наша (в количестве девяти человек), по собственным словам, сильно заинтересованная интересной страной и пони-мающая необходимость знакомства с нею непосвящен-ных, но... до сих пор, мало сказавшая<sup>53</sup>.

Из газет американских слышали мы, что японский рабочий получает в сутки десять железок (каши), т. е. меньше нашей копейки, а в консульском доме узнали мы, что слуга-японец, усердно и беспрекословно ис-полняющий всякую службу по дому, получает немного больше рубля серебром на наши деньги в месяц и за-тем живет на всем на своем: свое ест, сам себя одевает, и одевается при этом прилично. Американцы уверяли нас, что дурное поведение женщин до замужества и черных зубов — народная добродетель, обеспеченная обычаями и освященная законом, и в консульском доме нравственность женщин не хвалят<sup>54</sup>. От иностранцев узнали мы, что японская кухня — вся из различных рыбных блюд, приготовляемых с зеленью на манер французских паштетов, самая вкусная изо всех неев-ропейских, и в консульском доме мы снова доходим до конечного убеждения в непогрешимости выводов и за-меток, какие приводилось нам слышать от европейцев, но не от наших русских. За неимением их указаний мы по-прежнему блуждаем впотьмах и, наталкиваясь на диковинки, в большей части случаев не знаем, какой смысл приписать им, как понимать то или другое яв-ление. И, шатаясь впотьмах, мы, естественно, спотыка-емся, думаем не так, говорим не то, а потому, полагаясь на слова комментаторов и доверяя своему глазу на дру-гую половину, станем говорить только о том, что видели сами, и объясним это так, как нам самим объяснили это люди, долее нас жившие в Японии и лучше знающие

эту страну, во многом поставленную к европейским обычаям вверх ногами.

Вот еще пример.

Мы шатались по городу, догулялись до вечера, когда сумерки покрыли японские улицы. По приглашению пошли мы в одну улицу, зашли в другую и третью, видели одно: толпы народа, постукивая своими деревянными галошами, снуют по этим улицам, и все мужчины — одни в масках, другие без масок. С какую целью?

— Смотрите направо, смотрите налево, в окна домов! — подсказывают нам.

Смотрим в окна, видим большую комнату; на середину ее выдвинут стол, за столом, поджавши под себя ноги по-восточному, сидят разряженные, разукрашенные цветами, с веерами в руках, но белозубые японские красавицы.

— Считайте их! — приглашают нас.

Насчитываем семь в одном доме, десять в другом, пять в третьем.

— Берите среднюю цифру — шесть девушек; в каждой улице таких домов средним счетом двадцать; таких улиц пять (minimum). По-моему, выходит шестьсот девиц, выставляемых каждый день на охотников; и не придавайте этому никакого дурного смысла, смело печатайте об этом, — девушки эти утром учатся. Учат их чтению, письму, танцам, музыке, рукодельям — даром. Впрочем, они на выставке, и выставка пособляет им выплачивать хозяйке за выучку. Пройдет четыре года, они выходят из пансиона; ни один японец не сочтет позором для себя взять эту девушку замуж; он даже и сговорится с ней об этом еще во время ее обучения. Но, выйдя замуж, она непреклонно целомудренна (поверьте моему опыту); она потому и зубы чернит краской раз навоегда, до гробовой доски — виноват, до костра — несмываемой. Затем, становясь женой, женщина в Япония не делается рабыней: она приглашается в лавку как помощница, она торгует и от себя самостоятельно. Смелый взгляд, свободные движения, открытое лицо, дородное тело и

здоровый румяный цвет лица — все это мешает оценивать общественное положение женщины по общим азиатским образцам. В Японии женщина свободнее, чем где-либо в других странах деспотической Азии.

Возвращаюсь назад. Если выставка молоденьких девушек на охотника и помещение их в такие дома на воспитание не входит в коренные, народные убеждения и не основываются они на общих верованиях, зачем же тогда такое множество девушек ежедневно?

— Да ведь они и переменяются. На место старых поступают новые; за этим я слежу лично вот уже целый год. Прибавлю еще: здесь скандальные картины продаются в лавках открыто; таковые же нэцке (брелоки) носят на кисетах; а помните пирожников и тесто и фигуры, из него приготовляемые, на дворе храма?

Здесь существуют монастыри, в которых монахи живут с женами. В Японии — что храм, то новая вера; сект великое множество. Есть монахи, которые не едят зелени и табаку не курят; есть и такие, которые не едят и мяса, но на табак не кладут запрещения. Говорить — всего не перескажешь.

На другой день мы гуляли в кипарисной роще, слушали цикад, смотрели, как громоздили неустанные рабочие княжеский дворец над оврагом, для которого они не пожалели срубить и такжм образом уменьшить кипарисную рощу. Воздух в ней был великолепный (да и вообще в Японии хорошо дышится и об эпидемических и повальных болезнях не думается, по свидетельству наших). Прогулка наша могла быть бесконечною; но мы услышали новые звуки дикого бубна (стук по Хакодате и звон на улицах не прекращаются во весь день, раздаются даже и ночью, — веселый народ!). Мы думали, что это опять или приглашение на молитву, или снова ватага нищих идет собирать подаяния.

— Нет! — отвечают нам.

Пойдем и посмотрим.

К кипарисной роще примыкает высокий забор, по забору мы доходим до ворот; ворота вводят нас на боль-

шой двор губернаторского дома. С этого двора мы входим на второй, куда глядит своим фасадом самое жилище хакодатского начальника. Против дома беседка с навесом. Под ним на табуретах сидят: знакомый уже нам сумрачной губернатор<sup>55</sup>, его помощник (который при нашем приближении встал с своего места и предложил его нам), двое бритых, из которых один оказался бонзой, другой, с выбритой также наголо головой, был губернаторский домашний врач<sup>56</sup>. Перед ними происходила замысловатая сцена, не имевшая, впрочем, для нас особенного значения. Несколько японцев на маленьких рысачках ловили на всем скаку белые и красные мячики, поднимая их с земли в мешочки, привязанные к коротеньким палкам. Схвативши мячик (что сделать довольно трудно, потому что остальные стараются его вышибить), ловчак летит назад к барьеру и оттуда бросает мячик в цель. Попав в нее, мальчики весело и усердно колотят в бубен. Но в бубен колотили редко, хотя возни, гику и крику было много. Губернатор флегматически покуривал трубку, но, по-видимому, принимал в играх и скачке живое участие. Нам они надоели. Мы поблагодарили и раскланялись.

— Надо родиться японцем, — толковали нам дорогой, — чтобы понимать, например, их пляску, это мучительно длинное коверканье на разные лады, приседанье, прыганье, особенно когда гудит их однообразная, имеющая только три тона музыка.

Мы слышали и музыку эту, налаживаемую чернозубыми женщинами на инструменте вроде бандуры с тремя металлическими струнами, и вполне согласились со словами нашего чичероне.

— Песня их так же небогата тонами и вся сидит в горле без вариаций, без жизни, как песни татар, калмыков, монголов и других степных азиатов. Поют в нос, на манер наших старообрядских духовных песен.

И это было поразительно справедливо.

Замысловаты у японцев туманные картины, на которых они фигурам придают такие позы и делают с ними

такие превращения, до каких европейцы еще не додумались. Нельзя не пожалеть, что их не всякому и не на всяком месте можно показывать. И туманные картины эти, и женские пляски начинаются как будто и прилично, а в конце концов впадают в ту же нескромность по-нашему, до какой так жадна вся Япония и какую она вовсе не почитает нескромностью.

На баке нашей «Америки» мне привелось убедиться в замечательной правде и этих замечаний, когда визжал от восторга весь наш бак, всей своей массой, из среды которой, застывшей на корточках, самые впечатлительные и восприимчивые выскакивали даже и ржали не на шутку по-лошадиному.

Но будет!

Рассказов об Японии хватило бы надолго. Многие досказали нам позднее; многое можно припомнить и из личных наблюдений, если бы подольше постоять на одном месте и сосредоточить около него наши воспоминания. Не делаем этого теперь из расчета. Не скроем мы этого расчета и потаенной, преднамеренной цели нашей, когда в силу предвзятого плана мы встретимся на берегах Амура с маньчжурами, на берегу Кяхты с китайским Маймачином.

## ГЛАВА VI

### В МАНЬЧЖУРИИ

#### 1. МАНЬЧЖУРЫ

В то время, когда наша православная Русь обрелась в непроглядном мраке суеверия, невежества и в ожидании тяжелой руки Петра решила напоследях вопрос о преимуществе старого перед новым и даже в доказательство истины успела не один раз поколоться (пиками), порубиться (бердышами) и постреляться (из пицалей), — языческий Китай находился наверху

своей славы и в положении государства, цивилизация которого дошла до своих крайних пределов и на то время стоила дороже европейской. Все, что было нужно азиатскому государству, в Китае имелось даже с европейским избытком: в двух столицах (Нанкине и Пекине) помещалось его правительство с главным представительством самого сына неба, с коренною опорой на войско, умевшее уже стрелять из ружей порохом, и на громадную массу чиновников, которые сидели на народе чужаеядным паразитом и, как пиявки, высасывали из него самые лучшие силы, самые жизненные и питательные соки. Народ — основа китайского государства — в поте лица своего снискивал хлеб и по временам сыто наедался, по временам вымирал, как мухи, от необычайно частых и жестоких голодов, в то время когда мандаринская кухня не умела ограничиваться количеством, меньшим тридцати блюд ежедневных. Но у народа имелись книги, с незапамятных ему времен печатавшиеся тем же способом подвижных букв, каким Гутенберг далеко позднее изумил и расшевелил Европу; в книги эти мудрецы китайские вносили все, что доставалось их разумению и добывалось ими на домашнем близоруком досужестве; рассказывали в них и историю государства, которую — чтобы быть вполне народными — наполняли, по общечеловеческому обычаю и китайскому способу, всяким непроглядным фантастическим вымыслом, невероятными побасенками и небывалыми сказками. Народ верил им на слово — и все-таки, не зная ни своей истории, ни своего политического значения, под рукой создал Конфуция и разбил свою буддийскую веру на множество противоборствующих и противоречащих сект. Воздавая божественные почести и питая рабское уважение к своему сыну неба, народ китайский замышлял под рукой заговоры против его чиновников, затевал бунты и поднимал оружие и, побеждаемый силою и хитростью, покорно ложился на каленые сковороды, чтобы быть изжаренным, съедал

икры из собственных своих ног и просовывал головы в тяжелые рамы и колодки, чтобы носить их на шее и плечах до счастливой минуты смертного часа<sup>57</sup>. Но зато китаец безнаказанно пил чай, и курил табак, и ел всякую скверну и нечисть из животного и растительного в то время, когда на Западе, в Европе, резали за это носы и губы, вырезали глаза и уши и так же хладнокровно клали на костер или сажали на цепи в сырые, затхлые и темные подземелья. В Европе на то время едва помирились с Лютером; Россия успела забыть о татарских погромах, но еще с трудом оправлялась от внутренних смут междоусобицы; на московском престоле сидел молодой царь Алексей; в Китае в это время, когда господствовала династия, уже изнеженная и расслабленная роскошью и бездействием (невидными для народа, приметными со стороны — для ближних и зорких соседей), случился громадный, но неожиданный переворот. Китай был покорен маньчжурами — сильным и воинственным народом из того же монгольского племени, которое сбило себе под ноги и православную Русь и держало в долговременном и паническом страхе всю начинавшую тогда цивилизоваться Европу.

И если и тогда, как и теперь, китайская история затемнялась вымыслами историков и представлялась в форме легенд, басен и сказок, в которых, как и в первоначальной европейской истории, трудно добираться до настоящего и истинного смысла, — все-таки несомненно одно, что Китай во второй половине XVII столетия нашей эры утратил свою самостоятельность и независимость и подчинился маньчжурам. Племя это кочевало под боком, вблизи китайских границ, и на обширных и благодатных равнинах, омываемых крупнейшею рекою Сунгари с ее бесчисленными притоками, скопило великую мощь и силу, достаточные для того, чтобы при помощи одного смелого и решительного собирателя земли своей и под его руководством всей своей массой прокинуться на соседа и задавить его.

В Китае начались новые порядки. Народу приказано было думать, что по воле самих небес старый, прежний сын неба за прегрешения и преступления отозван на небо и вместо него прислан оттуда новый преемник, за которым народ будет жить в том же неизменном положении. Народ в массе своей остался при этом наказе и приказу поверил, хоть в самой сущности не знал, что прежнего богдыхана отправили на небо обыкновенным человеческим способом, на всех пространствах земного шара однообразным, многократно испытанным и схожим в мельчайших подробностях. За богдыханом поспешили искоренить вконец и весь его род и племя<sup>58</sup>; перерезали и перевешали всех его друзей и приближенных; заколотили навек в колодки всю массу чиновников из китайцев и отправили их на житье в самые отдаленные и пустынные страны государства, каковыми на этот раз для Китая были берега Амура и северные страны Маньчжурии, прилегающие к реке этой и ее притокам. И после того как и новый богдыхан из маньчжуров засел за пятой стеной, в неприступном и недостижимом за множеством неподкупных стражей дворце своем, и новая неисчислимая ватага нойонов — чиновников из маньчжур — расплодилось по самым дальним окраинам государства и по самым мелким городам и селениям, навалившись на них тем же чужеродным паразитом и пьяницей, — и после того отдаленные страны Маньчжурии, соседние Амуру, не потеряли своего политического значения, приданного им новыми повелителями. До сих пор они имеют для маньчжурского правительства значение ссыльного места, куда присылается в наказание за прегрешения нойон и преступники против государственных законов, китайцы, избавленные случайностями от огня и сабли. На берегах Уссури и на побережьях Амура и океана селит строгий и жестокий Китай своих преступников, осужденных за мелкие преступления. Сюда же (и именно на берега Уссури) прислали из Пекина обратно, но с колодкой на плечах и того старика

айгунского амбана, который пустил русских в устье Амура и подговорил левый берег реки в пользу России. Здесь же, т. е. на берегах океана, Уссури и Амура, мы собственными глазами нередко видали изуродованных людей с вырезанными ноздрями, с проколотыми глазами, с переломанными руками и ногами, присланных сюда также из самого Пекина, а под городом Айгуном и до сих пор существует огромная деревня, известная под названием *Никан-ула* (китайская деревня), указывающим на корень и причину ее появления в среде коренного маньчжурского населения.

Таким образом, Амур оставался пустынным в верховьях, оживляемых прикочевками *манегир* из дальних внутренних провинций Китая на летнее время, и *орочонами*, приходившими из ближнего соседства. Был он редко населен в низовом течении своим *гольдами* — этими мирными и кроткими рыбаками, которые за то, что не ходили вместе с маньчжурами для завоевания Китая, остались до сих пор в полукочевом состоянии, — и *гиляками*, которые, кажется, до сих пор не признают ничьей власти. И скопил Амур густое население из маньчжур на всем том прибрежном пространстве, какое залегло между устьями двух больших его притоков: Сунгари и Зеи. Множество деревень с оседлым населением, при прочном хозяйстве и домоводстве, с городом Айгуном (по-маньчжурски: Сахалян-ула-хотон) в самом центре своем тянулись в непрерывном ряде, цепляясь одна за другую садами и соединяясь кладбищами на всем этом степном пространстве Амура. Особенно сильно облюдело оно и обильно застроилось постоянными жилищами оседлых маньчжур, когда после изгнания русских из Албазина и с берегов Амура выстроилась в Айгуне крепость и сосредоточилось в ней местное военное управление — назад тому почти двести лет.

В таком виде нашла Россия Амур и маньчжуров на нем после заключения Айгунского трактата и в наши дни, когда начались вдоль всей трехтысячеверстной

линии реки поселения забайкальских казаков. Гуще и чаще потребовались и русские селения там, где усиленное скопилось маньчжурское население: и то, которое подчинено дзян-дзюню (генерал-губернатору) в Гирине и теснится к реке Сунгари, и то, которое находится в ведении другого дзян-дзюня, живущего в Цицикаре и управляющего второю областью. Эта область граничит на севере с рекою Амуром и ведомством военного города Айгуна, подчиненного амбаню на правах русского военного губернатора. Все остальное — коренное — маньчжурское население теснится к южному морю и занимает одни из роскошнейших и великолепных равнин в свете. Оно группируется по берегам реки Сунгари и в середине страны около главного своего города Мукдена, предоставляя северную и восточную окраины нынешней Маньчжурии по-прежнему ссыльным поселенцам, по-старому: полуоседлым, голодным и негражданственным племенам дикарей, каковы манзы и тазы (рыбаки-маньчжуры)<sup>59</sup> по берегам океана, тазы и гольды по реке Уссури и гольды, самогиры, манегиры и другие мелкие племена по побережьям Амура. Все племена эти, как пограничные и значительно удаленные от административного центра, находились к Китаю в том полузависимом положении, какое на этот раз обеспечивалось, с одной стороны, выгодою географического положения, с другой — неудобством применения к ним законов подчинения как к племенам неоседлым. Гольды — летом рыбаки — на большую половину года уходят во внутренние, самые дальние хребты гор, богатых пушным зверем (и преимущественно соболем), и, платя шкурками зверей принудительный ясак, другого подчинения не знали и иметь его не могли. Айгун, слишком занятый сосредоточенным и зорким наблюдением за русскими казаками (торговавшими с ороочонами, манегирами и тунгусами на верховых берегах Амура) и плохо защищенный сам, плохо обеспеченный, был бессилен к тому, чтобы, наложив тяжелую руку,

держат ее в неизменном положении. К тому же сами гольды из жизненных и экономических условий быта вышли тем кротко-податливым и беспрекословно-уступчивым народом, который готов уделять свой избыток, лишь бы только не выводили его из положения, мирно настроенного и раз навсегда им облюбленного. К ним, как к манегирам и орочонам, раз в году наезжал из внутренних городов Китая маньчжурский чиновник, собирал шкурки для правительства, собирал для себя и, крепко нагревая при этом руки всеми неправдами и притеснениями, уезжал живым и здоровым, чтобы опять через год явиться сюда, и опять без стражи и без оружия. Так было с теми гольдами, которые жили поблизости к Айгуну и к Гирину; но жившие на Уссури и тазы, сосредоточившиеся на реках, текущих в океан, находились еще в меньшей зависимости. Между ними ближайšie к морю известные под общим именем татху-су — бродяги независимые — издавна находились вне всякого покровительства китайских законов и управлялись своим выборным начальством, как некогда наши русские казаки. И может быть, только потому они не сложились в подобное казачеству учреждение, что не было подле злого соседа с неожиданным и беспощадным набегом и что, живя в соседстве с океаном, они сумели на личных занятиях выработать кроткий дух и довольство насущным.

В этой независимости приокеанских жителей, в этой малой подчиненности приамурских гольдов и положительной самостоятельности гиляков (о существовании которых едва известно Китаю и в настоящее время) заключается одна из причин такой скорой и легкой уступки Китаю Амура, а с ним вместе и такого огромного косяка земли, какой залег между океаном, Уссури и Амуром. Недружелюбно, даже злобно смотря на приобретение Россией правого берега Уссури, маньчжурское правительство нерешительно, с немалою долею равнодушия относилось к землям гиляков и тунгусов

и к тем местам, которые прилегают к океану от устья Амура до независимой Кореи. И насколько слабо было маньчжурское влияние и на реке Уссури, да и на тех берегах Амура, где живут гольды, можно судить по светливым хлопотам гиринаского дзянь-дзюня. Не строгим и решительным приказом отнесся он к жителям всех мест этих, как полноправный хозяин, а льстиво-угодливыми, лживо-заискивающими подметными письмами выпрашивал он у них сочувствия к себе и ненависти к новым пришельцам, как человек бессильный и потерявший уважение, у которого только и осталось одно это малонадежное и последнее средство<sup>60</sup>. Ненадежными оказались и все запрещения, употребленные в ущерб русскому населению айгунским начальством, когда соседние Благовещенску маньчжуры (вопреки приказанию своего амбана и настояниям нойонов его), крадучись, ночью, привозили в город овес и буду (крупы). Бессильными остались и попытки русского начальства воспретить казакам покупать и пить маньчжурскую водку из риса, так называемую араки, восполнявшую крайний недостаток в отечественном спирте и в одинаковой степени умевшую временно поддерживать жизненные силы, растрачиваемые на усиленных работах и в сырых скороспелых земляных жилищах. В то время, когда два соперника таким образом относились друг к другу недружелюбно, в среде старого и нового населения устанавливалось взаимное сочувствие, а с ним завязывалась и та народная связь, перед которою оказались бессильными все несогласия обоих начальств. С большою быстротой и легкостью устроилось это великое дело между казаками и гольдами и велось со всем непосредственным простосердечием, открыто и громко; с некоторым упорством и осмотрительностью устанавливалось оно у казаков с маньчжурами. Но добрая связь соседей вязалась втихомолку и тайно, хотя в том и другом случае замечательно прочно. Гольды безбоязненно рассказывали казакам нашим о маньчжурских

чиновниках как о своих притеснителях, дневных грабителях, умеющих, по неизвестному им, дикарям, праву, отнимать все их лучшее, все для них необходимое. Маньчжуры, озираясь и полусшепотом, говорили то же самое и, надевая на плечи русские полушубки (по недостатку живых мест, способных держать заплата), годные только для помойной ямы, красноречиво доказывали всю выгоду сношений с пришельцами и невыгоду подчинения старой отечественной власти. Пришельцы в три года успели одеть все рваные и полуголые племена амурских аборигенов и, заводя меновой торг со взаимным договором, сами в то же время были сыты, за недостатком забайкальского, маньчжурским хлебом и имели на черную думу и про недобрый час хотя и плохую, но недорогую араки — водку. В этом инстинктивном предчувствии дружеского соседства, подкрепленного вероятием обмена избытков с обеих сторон, легла и вторая причина укрепления русской ноги на берегах Амура — именно в этой середине течения его, густонаселенной, защищенной крепостью, кое-каким войском и большой флотилией речных джонок. Надежное, испытанное средство основывать международные сношения на мирных началах торговых сношений не изменило себе и здесь, в этих местах приамурских, казавшихся более опасными и менее прочными для русского водворения.

Наши два раза сожгли кумирню, выстроенную маньчжурами на самом священном для них месте, но на берегу, уступленном России, маньчжуры выстроили новую кумирню, и когда некоторые русские разбросали и эту, маньчжуры кумирни не строили в третий раз, но амбань запретил продажу крупы, и овса, и всякого жита: войны не объявлял. Когда с нашей стороны воследовали намеки на возможность такого недоброго дела, тот же айгунский амбань шуточками и остроюю отвечал на вызов, прося известить о нападении за несколько дней, чтобы предварительно выслать из Айгуна овса для го-

лодных казачьих лошадей. Не поднялись маньчжуры и на этот раз, когда на запрещение амбана впускать русских в город Айгун наши отвечали построением против самого города поста, или, лучше, избы, сооруженной в одну ночь и получившей название *Неожиданной*. Маньчжуры и на этот случай не шелохнулись. Добрые отношения соседей не нарушились, хотя в избу Неожиданную и посажены были сорок казаков со штуцерами.

Таковы были дела в среднем течении Амура. Низовья реки стояли во всей своей дикой непривлекательности, лесистые, невозделанные, пустынные, на всем тысячеверстном протяжении своем имевшие только пять русских поселений и один город — все вблизи самого устья. На них маньчжуры не обращали внимания и, не считая своими и не заселяя своими, твердо убеждены были в том, что Амур исчез при слиянии с рекой Сунгари и река эта, сделавшись таким образом главной в соединении с рекой Уссури и Амуром, пошла в неизвестную даль и там где-то исчезла, впадала, может быть, в другую реку, а может быть, и в самое море. При равнодушии к низовьям (оказавшимся выгодными для России) маньчжуры с тем же чувством безразличия относились и к лесным чащам, и пустыням в верховьях реки, соседних России. Раз в году на пограничных местах, в назначенных местах, по международному договору съезжались наши и китайские чиновники для проверки границ, в собственном смысле для обмена приветствий, привозили подарки, привозили вино, ели, пили, оставались друг другом довольны и разъезжались, границ не проверив. Смутно рисовался предел их на притоке Амура, речке Горбице, но стоял русский караул усть-стреленский на несколько сотен верст выше при слиянии Шилки с Аргунью; и сдерживалось казачье население далеко ниже караула, в двухстах верстах от Амура. И в то время, когда правительство искало средств и путей к приобретению этой некогда русской реки и лица, командируемые иркутским начальством,

подбирались туда под тайным прикрытием и с сильною осторожностью, казаки границ не признавали и амурских соболей считали своими. По старой памяти, восходящей до времен Албазина, и по нисходящему живому преданию от прадедов, шилкинские и аргунские казаки клали по берегам Амура охотничьи тропы, устраивали с амурскими орочами, далеко внутри течения реки этой, так называемые больчжоры<sup>61</sup> и бывали в самом Айгуне, забирались в реку Уссури, а старообрядец Гурий Васильев жил на Амуре скитом три раза и проплыл рекою до самого устья<sup>62</sup>.

По этим намеченным и заведомым путям и при таком положении дел маньчжурских могла пройти из Шилки вдоль всего течения до самого устья Амура и та небольшая флотилия, которая вышла под видом доставления провианта нашим морским судам, а возвратились назад, успев устроить приобретение всего левого амурского берега. Заселение, начатое вскоре затем, уже не встречало противодействия и препятствий и, осевшись там, ко времени нашего перебивания там глядело довольно прочным по отношению к туземцам и непрочным, может быть, только по смыслу собственного положения: без хозяйства, без руководства, без знания, без семян для посева, без соли для рыбы, со скотом, который валился после дурной дороги, от неблагоприятных влияний нового места. Я встретил там русское население в том настроении, когда оно недружелюбно относилось к существовавшим порядкам, сердито отзывалось о прошлом и не имело никакой веры, не питалось надеждами на будущее. Старые времена — но тяжелые времена! Тогда думали, что как легко было приобрести Амур, то так же легко можно произвести на нем и поселения; что если маньчжуры скоро подались на уступку, то так же быстро они могут взять свое слово назад: иначе ничем нельзя объяснить ту поспешность, с какой делалось вначале дело проведения этой вытянутой на двух с половиной тысячах верст оплотной линии, на

которой помещены кое-как селения забайкальских казаков. Маньчжуры, как мы сказали, и ухом не вели, и только когда явилась против Айгуна Неожданная, и принес один маньчжур, возвратившийся из бегов, недобрый слух о том, что он собственными глазами видел, на Шилке, в Горбицах большое русское войско, маньчжуры подтянули к Айгуну свои войска, начали ежедневно производить артиллерийское учение и перестали допускать русских в свой город. И далеко уж потом, когда казачьи станицы с берегов Амура и в селения Хабаровки повернули на правый берег Уссури, маньчжурские власти опомнились, засуетились, стали высказывать всякому встречному свое неудовольствие и смело уверяли, что они русских с нового места прогонят. Река Уссури сделалась спорною, обещала быть встречным пунктом для стычек и конечного неудовольствия, передовому посту нашему на озере Ханка угрожала даже серьезная опасность: оба офицера, и наш и маньчжурский, крепко поссорились, грозили друг другу оружием. Близ другого поста нашего в гавани Посыета поставлены были маньчжурские караулы; соседние жители прекратили с нашими торговые сношения; дела не клеились. Но Пекинский трактат прекратил все недоразумения, и прекратил их в то время, когда на берегу Уссури существовали десятка полтора русских казачьих селений, красовавшихся на обширных и роскошных низменностях.

Мы помним эти низменности, покрытые богатой растительностью и сочной травой и на которые приводилось нам любоваться в течение двух недель, бывших у нас в распоряжении. Одни низменности упирались в каменистые подножия высокого хребта Хехцира, большая часть других уходила в конечную даль, где сквозь матовую синеву дали уже тускло прорезались вершины гор, далеко ушедших к морю. Долина Уссури была бы сплошною, если бы раза три не выпускал на ее берег отдаленный хребет свои невысокие отроги, как бы для

того, чтобы придать берегам большее разнообразие, — и делал свое дело. Амур в самых лучших, красивейших своих местах не выдерживает сравнения с улыбающейся приуссурийской местностью, на всем ее протяжении, доступном для судоходства, на всех этих почти трех сотнях русских верст, какие легли между устьем р. Сунгачи, вытекающей из озера Ханка, и устьем самой Уссури, при впадении круто поворачивающей Амур на северо-восток. Здесь сама природа поспешила указать направление для поселений, и, будь они свободными (без той безрасчетной опеки, с какую велись все дела на Амуре), пришельцы предпочли бы суровым и негостеприимным низовьям Амура долину реки Уссури. Там мертвая хвоя, мшистые тайговые болота, хорошо родится ячмень и удержится рожь; здесь корабельные леса в представительстве клена, дуба, орешника, роскошные травы в полях, годами созревает виноград, дико растут яблоки, в одном из озер водятся речные черепашки, а у китайца Викула родится сам-250 кукуруза, сам-350 буда. Там господствуют северные ветры и Амур спит еще подо льдом в то время, когда на берегах Уссури наливается почка и луга улыбаются зеленыю при господстве ветров юго-западных. Амур идет в Охотское море — никогда, при всех усилиях, не допуская прочного населения и не поддерживавшее ни одного морского порта; Уссури притоком своим, Сунгачей, и озером Ханкаем через невысокий водораздельный хребет и реку Суйфун, впадающую в море, всегда будет в связи с тою частью океана, которая принадлежит самым лучшим из русских гаваней, каковы: Мей, Ольга, Экспедиция и Новгородская. Целые полдня колеса нашего маленького парохода, поднимавшегося вверх по реке в августе месяце, били громадное руно рыбы, и она в количестве трех десятков, испуганная шумом, бившись о борт случайностью всплесков, накидалась в лодку, шедшую за нами на буксире. Множество деревенок, в числе вдвое большем количества казачьих станиц, село

на обоих берегах судоходной реки этой и огромное население гольдов умеет ограничивать свои нужды тут же на месте, мало нуждаясь в дальних хребтах, меньше тяготясь маньчжурским ясаком. И несмотря на то что и здесь, по крайней непредусмотрительности, сели те казаки, которые занимались на Аргуни не хлебопашеством, а контрабандой, не скотоводством, а питьем по несколько раз в день дешевого карымского (кирпичного) чаю, — мы меньше слышали жалоб на бездолье и не слышали их на трудную обработку почвы. На Уссури не захватывали казаки китайских земель для сенокосов и хотя целых полгода жили без соли, но ели хорошую рыбу и удержали скот, в большем количестве против амурских, свободным от падежей, сытым от отличного корма. В то время, когда так называемые сынки (из штрафованных гарнизонных солдат, присланных из России) блудили воровством и развратом на Амуре, здесь они спарились потрое — почетверо и могли начать хозяйство. Домовитый и денежный казак из шилкинских в одну осень сумел поторговать в Николаевске рублей на пятьсот серебром одними орехами; а другой из таких же установил правильный торг пушным зверем, обещавший со временем большую для него и значительную операцию. Обилие диких пчел по соседним лесам послужило причиной тому обстоятельству, что редкий казак не угощал нас ароматными сочными сотами, редкий из них не услаждал ими и собственную житейскую горечь, порожденную несвоевременным и неаккуратным получением казенных хлебных сплавов, которые — к довершению пущего горя — уссурийские казаки должны были тащить на лямках вверх по течению. Течение реки, к счастью дела, не быстрое, не быстрое потому, что идет Уссури по плоской равнине и истоки ее скрыты в весьма далеких горах, составляющих раздел вод, текущих в Амур, и других, которые направляются уже прямо в океан. Горы эти, обросшие кленом и дубом, снабжены теми долинами, какие

служат месторождением тигров и барсов (успевших уже съесть одного матросика, отправленного на Уссури с почтой); в то же время роскошные долины эти привлекают сюда из внутреннего Китая и из самого Пекина десятки отрядов, назначенных отказывать чудодейственный корень — *жень шень*<sup>63</sup>.

Вот что узнали мы об этом деле.

Корень этот любил покойный богдыхан и вместе с двором своим потреблял его огромное количество во всех видах, допускаемых и европейскою фармацією (т. е. и в декоктах, и в порошках, и в настое, и проч.). Пресыщенный чувственными удовольствиями, не знавший в них меры, он нуждался в чудодейственной силе корня и верил ей, а приписывая ему божественное происхождение в знак особенной милости Будды, дарованной только его родине, он считал все долины Маньчжурии, в которых растет жень шень, собственностью двора. Все месторождения корня были заповедными плантациями его, поручались особому, бдительному надзору начальников областей и охранялись нарочно назначаемою лесною военною стражею; но рыть драгоценный корень имел право всякий, получивший билет от губернаторов. При этом ограничивалось число искателей и определялось количество работников, а также назначались те места, в которых они имели право производить поиски. В Тянь-дзине служили для этой цели все горы, идущие на восток к морю (около озера Ханка), и число билетов ограничивалось цифрою 1,752 — самую большую из всех, выпадающих на долю остальных пяти мест, изобилующих жень шенем<sup>64</sup>. По всем горам рассыпалось ежегодно около 19 тысяч искателей; правитель округа, раздавший все билеты, удостоивался от двора награды. Промышленники отводимы были в горы под военным надзором, — целое войско сопровождало искателей в Тянь-дзине; а в небольших хребтах (в Уле, Нингуте, Хунь-чуне и Сань-сине) расставлялись отдельные военные отряды, обязанные наблюдать, чтобы жень шень

не сеяли и не добывали тайно. В горы пускали по особым билетам; каждый работник, едущий водой, имел право на лодку и на 6 четвериков рису и проса, а отправляющийся сухим путем мог иметь одного верблюда. Признаки корня распознавались по внешнему виду растения, имевшего стебель вышиною в аршин, с 5 или 6 ветками, расположенными одна против другой наподобие чаши, с красными семенами и цветами, с пятью листьями на каждой ветке<sup>65</sup>. По возвращении с гор рабочих осматривали на заставах и надписывали на билетах количество добытого корня, прозвание, имя и облик каждого промышленника; при этом назначалось время для обратного следования, определялись станции, предписывалось явиться в контору. Если открывалось, что кто-либо ходил не в назначенные места, или продавал билеты другим, или самовольно пробирался в заповедные горы, или, взяв большее против положения количество хлеба, провел в горах зиму, или, наконец, брал с собою ружья, сети, — всех тех предавали строгому, немилостивому суду. Всякий возвратившийся из гор искатель платил оброк, за уплатою которого ему дозволялось продавать купцам, но только в конторе<sup>66</sup>. Весь оброчный жень шень поступал в дворцовое правление, которое за каждый лан корня выдавало по 5 лан серебра, как бы в вознаграждение за путевые издержки. Поступивши в контору, корень подвергался самому строгому осмотру. Ежели попадался сеяный, то наводились справки и виновному спуску не давали. Ежели по сдаче корня в правление оказывались свинцовые-дробинки и сор, прибавленные для весу, отвечали своей шеей сами члены правления. Затем корень сортировался на пять разрядов: крупные корешки первых четырех сортов оставлялись во дворце, а корешки пятого разряда, раздробленные и вымоченные, снова делились на 3  $\frac{1}{2}$  разряда и поступали в продажу<sup>67</sup>.

В этой многознаменательной силе дорогого корня, имевшего счастье понравиться и оказывать пользу

недавно умершему богдыхану, заключается отчасти причина той хлопотливости, которою сказались все маньчжурские чиновники при известии о занятии реки Уссури русскими, и объясняется отчасти множество военных отрядов, встречавших русских везде: и на Уссури, и на берегах океана. Не всегда с целью охранения границ группировались войска в известных пунктах, — очень часто охраняли они те добычи, которые удовлетворяли прихотливому и набалованному вкусу повелителя Китая. Вблизи Кореи добывались морские растения, устрицы и другие слизни, любимые китайскою кухнею; против острова Формозы, на крутых и отвесных скалах китайского берега, получались драгоценные птичьи гнезда (приготавливаемые особою породою морских ласточек). Но так как все эти приобретения сопряжены были с большими лишениями на океане и с крайнею опасностью жизни против Формозы, то, находя подрядчиков, промыслы эти не нашли бы охотников, если бы китайское правительство само не придумало средств пособляющих.

Откупщики всякого подобного рода статей получали в помощь себе от двора нужное им количество преступников, для которых в свою очередь назначалось известное число войска для порядка и надзора. И из ста человек девяносто валились в море на скользком поприще добычи ласточкиных гнезд; а из нескольких тысяч других, назначенных для ловли трав и океанских устриц, образовались огромные и частые селения и в заливе Посьета, и Ольге, и в бухте Находка, где и встречают их кругосветные военные суда наши и суда амурского отряда. Ради этих промышленников — по всему вероятно — собраны были около бухты Экспедиции и те войска маньчжурские, встречу с которыми мы описали уже в одной из прежних статей наших. Не оселось население ссыльных около мест добычи жень шеня, и то потому, что копают его руками наемными и притом людьми, приводимыми сюда из внутреннего Китая, и только

на озере Ханкае видали наши людей с отрубленными ушами и рваными ноздрями. При них-то, вероятно, и состоял караул, офицер которого гнал наш пост с этого озера. Только об этом месте, как о крайней границе плантаций жень шеня, усиленно хлопотали маньчжуры и, выговорив его в Пекинском трактате, не стояли за Уссури, полагая жителей ее в сомнительном и шатком подданстве. Впрочем, так было и на самом деле.

Живущие на Уссури китайцы с большим озлоблением, чем где-либо в других местах, отзывались о маньчжурах, и чиновники из племени этого раз в году являлись сюда из Гирина, приезжали собственно для одних только гольдов. Впрочем, и из гольдов были плательщиками ясака — не уссурийские, а те, которые приходили сюда по старой привычке с низовьев Амура, через хребты, напрямиком и с добычей, состоящею большею частью из соболей посредственного достоинства<sup>68</sup>. Но стоило казакам нашим дать и этим людям — детям природы, одаренным простосердечием и наивностью понятий, — дешевый совет неповиновения, чтобы и эти гольды на второй год пребывания русских на Уссури, возвращались назад не по рекам и на глазах маньчжуров а новым путем — по хребтам и за глазами. На следующий год они уже вовсе не приносили податей и на Уссури явились тайком, чтобы распродать казакам добытых зверей. Маньчжуры, впрочем, и не заявляли о том никаких видимых знаков своего неудовольствия, а к жителям притоков реки Уссури (каковы, напр., Бикин, Еман и Пор) они положительно оставались безразличными. С тем же равнодушием отнеслось и русское начальство ко всем местам этим и только потому, что, раз наладивши ходить прямой дорогой, оно не обратило никакого внимания (да едва ли и придает какое-либо значение) всем местам, лежащим в стороне от Уссури и от Амура. Из амурских притоков только на Зею обращено некоторое внимание, и то благодаря досужеству вольных поселенцев из молокан Таврической губернии;

а про уссурийские притоки ходили только неопределенные вести и слухи, обязанные тому обстоятельству, что некоторые из торговых казаков в видах барышей и корысти проникли туда. Между тем по рекам этим — самая роскошная растительность, самые густые и лучшие леса со всем разнообразием древесных пород и в то же время богатые соболем<sup>69</sup>. Река Еман (впадающая в Уссури в 400 верстах от Амура) до того быстра, что не замерзает во всю зиму и потому привлекает к себе на это время несметное количество гусей и уток, и до того богата растительностью, что берега ее почти вплотную оплетены виноградными лозами; а по Бикину и Пору кедровые леса стоят непроглядной стеной и с трудом проходимы. На весьма редких и небольших проталинках (луговинках) стоят одинокие юрты орочей — небольшого племени, язык которого непонятен маньчжурам и с трудом понимается гольдами. Редко имея сношения и с теми и с другими, орочи сумели сохранить до такой степени одичалую простоту нравов, что при одном виде русских и при появлении их в юрте они бежали вон, прятались за деревьями.

«Ревешь-ревешь потом, да так и не докличешься», — рассказывали казаки и прибавляли, что, когда пронесся слух о воинственном движении маньчжур в эту сторону, орочи (вскоре спознавшиеся с нашими) сказывали, что они убегут в леса и оттуда уже никогда и ни к кому не выйдут, а сделать им это легко, потому что племя их небольшое и почти все знают друг друга. Однако от тигров, которые ходят здесь всегда в сопровождении одного или двух барсов, имеющих обыкновение поживляться остатками добычи<sup>70</sup> от тигров, орочи не бегут и мест, как и гольды, не переменяют. Составляя, таким образом, также полусоседное племя, они отличаются от гольдов большею кротостью и робостью и, так же как и те, отличаются всеми доблестями первобытных народов: они не воры, необыкновенно целомудренны и непосредственно нравственны. Когда двое гольдов убили в

азарте женщину, они пришли просить русского суда за неимением своих законов, не успевших предусмотреть такой неожиданный случай. Казаки прибавляли к этому в пояснение:

— У них и медведь, как и сами они, до того смирен, что бежит прочь, когда попадетя навстречу. Один казак провалился к нему в берлогу и не успел креста положить: медведь выскочил прежде него и пятки показал, да еще — на смех — всего казака обрызгал со страху.

Медвежьи берлоги в замечательном множестве попадаются в лесах, идущих к приморским хребтам по правому берегу Амура. Немало их и в лесах уссурийских. Орочи и гольды поднимают семейных медведиц на копыя, а медвежат отбирают и воспитывают с целью продать их потом гилякам. Гиляки почитают этих зверей священными и покупают их за большие деньги к каждому празднику, на котором медведю принадлежит главная роль. С ним борются, перед ним пляшут и потом съедают всем множеством семей, являющихся на этот праздник.

Но не медведи и тигры, не гуси и утки и не фазаны (также прилетающие на Уссури) — краса и гордость всех лесов и хребтов приуссурийских и приамурских, не они и не жень шень — главная приманка и пуций соблазн для маньчжуров прежде, для русских теперь. Это — самый злой из всех, лукавый, проворный и хищный зверек, наружным видом и внутренними качествами похожий на кошку; это — давний путеводитель к открытию новых стран, гроза всех своих лесных соседей: белок, горностаев, хорьков, тетеревей и рябчиков; житель нор в древесных дуплах или под деревом, где он нежится на постели из травы, моху и перьев, — это соболь, который живет всегда домовито, строит несколько гнезд и дальше пяти верст (приблизительно) из своего околотка не заходит, разве на случай выбора подруги, и тогда обыкновенно ночует в ее гнезде в виде

исключения. Сделавшись отцом, он в тоже время не перестает быть злодеем, самоедом, и самка, зная его кровавые наклонности, родит обыкновенно где-нибудь в горе под плитой (двух и трех, а иногда 6, 7 и даже 9) скрытно от самца, который щенят своих пожирет; но и сам он, в свою очередь, пожирается пробегающим товарищем, если настороженный промышленником лук убьет его стрелой и помещенный тут же снаряд (очеп) не поднимет его на воздух, оставив валяться на земле. Такой снаряд, устанавливаемый на след соболя, более других употребителен по зимам, когда глубокие снега не могут удерживать собачьей ноги. Собака во все другие времена года ловит соболя только на открытом месте и служит охотнику в лесу тем, что загоняет зверька на дерево, но и там находит его стрела или пуля, только такие, которые пускает крепко привесившая рука, управляемая зорким и привычным глазом. Хотя намеченными и привычными путями, соболю любит по преимуществу отроги Яблонового или Станового хребта (включая сюда и оба Хингана) и селится в дремучих лесах по рекам: лучшие в вершинах Олекмы, на Альдоне и Уде, средние — на Колыме и худшие — на Вилюе, а затем и по Амуру, и по Уссури; причем только албазинские стоят еще в высокой цене и в большом почете<sup>71</sup>.

Некогда соболю увлек сюда на Амур Хабаров с товарищами; он же и в наши дни не теряет магнетической силы своей для большинства русского люда (когда золото составляет еще запутанную и трудноразрешимую, а для частных людей и недоступную на Амуре загадку). Не только сюда, но и на Уссури пришли за соболями и сибирские купцы, для которых это дело первого сорта и бывалое, явились с Сунгари комиссионеры китайских купцов и маньчжуры с Амура с русским серебром. Серебро зазвенело и засверкало и здесь в таком множестве, о каковом и не снилось орочам и гольдам, привыкшим отдавать соболей за дабу, за железные и медные

вещи. А затем появился соболь и на шапках айгунских нойонов, которым служил прежде дешевый мех мелко-го барашка-мерлушки.

К ним-то, к этим нойонам, и переходим мы теперь, чтобы с их разрешения и по их указаниям проникнуть в глубь города Айгуна и рассказать о том, что мы видели и слышали в короткое и торопливое время знакомства и свиданий.

## 2. ГОРОД АЙГУН

На первый проезд мой по Амуру вход русским в Айгун был строго запрещен по поводу ссоры, возникшей после запрещения маньчжурам продажи их водки (аракки). Прежде наши свободно разгуливали по деревням и по городу; тут и там заводили торговые дела; застигла их ночь — ночевали; днем свободно и не встречая обид бродили повсюду. Но раз благовещенские дамы, возвращаясь из Айгуна, в одной деревне были встречены неистовым криком мальчишек; в сани было брошено несколько камней, один кирпич успел даже больно зашибить кого-то. В самый город в день моего приезда не пустили любопытную молодежь-моряков даже и после того, когда они сошли на берег и вступили в одну из городских улиц.

Чтобы получить дозволение на осмотр города, мы должны были обратиться к посредству одного из нойонов, случайно прибывшего в Благовещенск и на обязанности которого лежали все дела по сношению с русскими. Это был славный старик, любимый всеми своими и всеми нашими (за последнее он не один раз поплатился)<sup>72</sup> и действительно более склонный к делам миролюбивого и кроткого порядка, чем к таким, которые вызывали на ссору, сеяли неудовольствия. Старик Оргинга, с синим прозрачным шариком на шляпе, скоро устроил нам это дело: амбань дал разрешение с

назначением утра одного дня, в который нам надо было плыть мимо Айгуна вниз по Амуру. Утром мы попасть не успели; приехали вечером на солнечном закате, думая переночевать и на другой день пуститься в город. Так мы рассчитывали; вышло иначе.

Лишь только остановилась наша лодка, и пяти минут не прошло, на берегу собралась толпа густая, говорливая, разнообразная: тут были и мальчишки, и старики, и взрослые, не было только женщин, но и их любопытные лица можно было различать в окнах домов на берегу. Любопытство было возбуждено сильно: некоторые побросали работу, привязывали лошадей, выскакивали из лодки. Толпа прибывала. Явились полицейские. Мальчишки толкали друг друга в Амур, брызгались водой, шумели, толкались; особых беспорядков не дедали, но двое полицейских все-таки с палками в руках бросались в толпу, валили ее назад, лупили палкой направо и налево, увеличивая таким образом шум, производя безурядицу. Толпа все-таки шумела и напирала; мальчишки не переставали резвиться; полицейские били их палкой по спинам, по плечам, бежали за самыми неугомонными в гору, усиливая и учащая удары. Сильнее других доставалось передним. Словом — первая картина была крепко знакомая! Один из взрослых, спину которого урезал-таки полицейский, крепко снялся с ним спорить и браниться, полицейский возражал, но слабо, заикаясь, не отыскивая слов, и долго потом не мешался в толпу и не колотил народ палкой. Мы не могли дать себе отчета в том, зачем вся эта толпа? Ведь не диковина же для нее русская лодка и сами русские, после того как пять лет сидим обок друг с другом?

Последствия объяснили причину. Вскоре на нашу лодку явился молоденький нойон с шариком в сопровождении другого, но не слуги, а неизменного шпиона и соглядатая, называемого общим именем божко, обязанного по-китайскому положению доносить обо всем, что увидит и услышит<sup>73</sup>. Пришедший чиновник передавал,

что теперь уже пробита заря и в город по положению пройти нам невозможно, что амбань ложится спать, что он нарочно целый день сегодня ждал нас и по этой причине не ездил за город на маневры, но что он завтра рад нас видеть и сейчас приказал прийти к нам коменданту, лишь бы мы подождали часа полтора.

Очутившись, таким образом, в положении людей, неожиданно-негаданно сделавшихся без вины виноватыми, но над которыми замышлено мщение и на первых порах налагается запрещение, ранний час называется поздним, объявляют, что амбань ложится спать, когда, по всему вероятно, жена его еще и детей не укладывает, — я и двое моих товарищей решили покориться своей участи и ждать коменданта.

Прошло полтора часа, он не является. Прибежал другой чиновник со своим неизменным прихвостнем; просил еще час льготы и тогда уже обещал показать коменданта. Но комендант все-таки не пришел; чиновник стащил у нас несколько папиросок и сахару; божко украл у нашей прислуги платок: тем и начали оба первое знакомство наше с Маньчжурией. Впоследствии нам окончательно привелось убедиться в том, что воровство чужого добра глубоко и прочно лежит в убеждениях маньчжурских чиновников; но тогда мы были изумлены и разочарованы. Я и мои товарищи ждали от маньчжур чего-нибудь национального, хорошего, маньчжурского, ожидали диковинок, особенностей. Но нашли их уже на другой день.

«Крепко спалось нам на воде (записал я в дневнике своем). Проснувшись, мы услышали, что амбань присылал уже за нами два раза, и зовет теперь в третий, и просит, чтобы мы не пили чаю дома, а пришли бы пить его, настоящий китайский чай. Мы все-таки решили по рутине предварительно напиться своим и сделали дурно, для себя крайне невыгодно. Чиновники то и дело вбегали в нашу каюту, чтобы узнать — скоро ли мы соберемся. Послы эти до тошноты надоели нам».

Мы пошли берегом. Впереди шествовал нойон с палкой, зыкая и толкая мальчишек, которые совалясь к нам навстречу и под ноги. При входе в улицу нас встретил другой чиновник, при входе в крепость еще двое; из соглядатаев — тех и других чиновников — сзади нас образовалась целая свита; шествие представляло вид торжественный, но в то же время и забавный. Толпа наша обратила на себя общее внимание, и когда мы шли по длинной и — по-видимому — главной улице, купцы выскакивали из лавок смотреть на нас. Толпа мальчишек на рысях трусом бежала по бокам. Мы или послы иноземные, встречи которых с такою любовью описывали московские летописцы времен Иоаннов и позднейшие европейские кругосветные плаватели, или пленные, и все-таки иноземцы, от глаза которых заслоняют живой и движущейся стеной всю туземную суть, для того чтобы они потом не болтали много своим. Последнего предположения мы испугались и торопливо спешили глядеть по сторонам, укорачивали шаги, по временам останавливались. Но болтать приводится немногое. Мы видели мало. Улица напомнила нам Москву; переулки, все кривые и узкие до невозможности, перенесли нас туда целиком. Направо и налево лавки, лавки сплошь, в изумительном множестве: одни с москательными, другие с красными, третьи с бакалейными товарами; тут и съестные, в которых жарят, пекут и воняют на всю улицу. Чем не харчевни и чем не Зарядье этот айгунский Невский проспект, московский Кузнецкий мост! К довершению сходства и здесь в лавках с красными товарами толкуются дамы с подбритым надлбом и черной косой, с воткнутыми в нее длинными спицами и волосами, зачесанными, уже без подлога и обмана, положительно *à la chinois*. Но дамы здесь еще стыдливые, застенчивые, дикие; завидев нас, они потуплялись, некоторые просто бежали за угол и там прятались. Не видали мы красавиц, но встретили милых; смотрели вторым делом и на ноги, с желанием

встретить известные всему миру знаменитые китайские ножки, но видели обыкновенные русские, простые женские ноги<sup>74</sup>.

Москва продолжала преследовать нас своими воспоминаниями, особенно резкими и определенными, когда мы подошли к крепости, правда, на этот раз деревянной, сложенной из бревен, а не из частокола наподобие наших острогов, но с такими же глубокими воротами, прикрытыми башней с бойницами. Такая же башня, старая и почерневшая от времени и так же крепко подержанная, как и все стены, виднелась с противоположного конца крепости; китайского на ней были только неизменные краски и пестрая разрисовка. Крепость представляла собою настоящий, собственно, город; здесь направо и налево, внутри ее казенные дома: тюрьма с железными решетками, и в дверях преступник с деревянной рамой на плечах, и двое других с кольцом на шее, от которого к рукам и ногам шла тяжелая и толстая железная цепь; тюрьма, по обыкновению, грязная, с деревянными нарами, с изломанной решеткой и плохо прилаженной на петлях дверью; направо от тюрьмы — судилище; прямо — казначейство, храм один и другой, а рядом с судилищем и дом амбана, главного коменданта крепости, айгунского военного губернатора — конец и цель нашего церемониального шествия.

Мы повернули направо на первый двор, наполненный множеством статных, красивых и оседланных лошадей. Здесь нас встретили двое чиновников. Мы взяли потом еще направо — еще двор и еще чиновники. Пришли на третий: перед нами какие-то диковинные ворота с китайскими арабесками и намалеванными страстями в виде неизменных драконов и других фантастических чудовищ; нам показалось смешно, но не страшно. Одиноко стоящие ворота с загнутыми сверху по-китайски крышами заперты; мы хотели обойти их, чтобы попасть на четвертый двор, но ворота быстро отвернутся и нас приглашают идти в них смело и прямо.

Но входим мы одни; провожатые обошли кругом, подобострастно остановились мертвой стеной и потупились. Мы думали, что перед самым амбанем, оказалось, что только перед его домом, куда и вошли мы по приглашению.

Со входом туда мы попали в передел китайских церемоний, очутились в том самом центре и близ того лица, от которого они исходят и к которому идут. Но мы еще с утра решились выдерживать их до конца со всем упорством и стойкостью, пока не лопнет последнее терпенье (а терпенья на то время у нас было много).

Битых четыре часа длилась вся процедура свидания. Ему — против нашей воли — суждено было предшествовать тому делу, ради которого мы забрались в Айгун. Мы дорожили временем; маньчжуры — за избытком своего — нашего не пожалели; нас самих не поняли и давали нам не то, что мы хотели, а то, что они сами сочли за благо. Весь план вышел не тот, какой мы себе рисовали, и, не привыкши ходить в чужой монастырь со своим уставом, шли, как слепые, вперед, цепляясь за проводника из маньчжур и, к несчастью, натолкнулись по пути и на то, что, собственно, должно было для нас лежать далеко в стороне. Так, напр., мы должны были выдержать церемонию торжественного приема, а как, по пословице, из песни слова не выкинешь, то и считаем своею обязанностью рассказать про нее.

Нас ввели в одну комнату, наполненную нойонами, и, не дав усесться, подняли снова и повели во вторую. Здесь стоял высокий стол, покрытый красным сукном; на возвышении — старинные русские часы; другие часы щелкали на стене (амбань — как оказалось впоследствии — поддался страсти приобретения этого товара, во множестве привезенного на Амур Амурской компанией). Нойоны пришли вслед за нами и разместились при входе; амбань не приходил, заставляя нас дожидаться и, видимо, желая этим последним маневром отплатить нам за то, что мы и вчера приехали поздно,

и сегодня пришли не по первому вызову. От безделья мы занялись созерцанием чиновников. Между ними видели и своего знакомого старика Оргингу, который на этот раз был не в засаленной курме и, имея праздничный вид, был одет в шелковую курму фиолетового цвета; она, как греческий саккос, была коротка и на груди и на спине украшена большими квадратами, по которым вышиты шелками какие-то хищные звери, кажется тигры, как знак достоинства и отличие военных чиновников<sup>75</sup>. На шее у Оргинги и у некоторых других висели длинные четки или бусы из камней. По спине шла тесемка, на самой пояснице кончавшаяся — у одних аметистом, сердоликом, оправленным в серебро и служившим — по объяснению чиновников — амулетом. Амулет этот обязан был предохранять военного на поле битвы от напрасной смерти. Все в шапках с приподнятыми кверху краями, с шариками, утвержденными на макушке медными шпенечками. У самых низших чином (*хорунжих* — по объяснению нашего казака переводчика Перебоева, бывалого, любимого всеми маньчжурами и известного у них под именем *Перебо*) шарики были белые, стеклянные, матовые; у нойонов чином постарше — белые, прозрачные; еще постарше — синие, тусклые; у *войсковых старшин* — синие, прозрачные, и т. д.<sup>76</sup> Оргинга оказался майорского чина; старик с длинными седыми усами — не пришедший к нам на лодку комендант — был в полковничьем ранге, с зеленым прозрачным шариком на шляпе. Молодые чиновники были без усов; другие только с усами и третьи с усами и бородой, у всех козлиной формы вроде эспаньолки (широкие русские бороды лопатой у маньчжур и китайцев никогда и нигде не вырастают)<sup>77</sup>.

Пока занимались мы этими наблюдениями, прошла добрая четверть часа. Но вот — толпа чиновников зашевелилась; сидевшие вскочили с мест; задние засуетились и расступились; передние почтительно вытянулись, обдернули курмы и оправили бусы: в дверях

показался сам амбань, маньчжурский генерал — весь красный, в суконной, но не шелковой ярко-красной куртке, с маленькими металлическими пуговками, в шапке, украшенной по краям не мерлушкой, а пушистым соболем; на макушке ее красовался матовый розовый генеральский шарик<sup>78</sup>. С изогнутой спиной, осторожно ступая, вышел он из толпы нойонов; с вопросительным торопливым видом обратился он к нашему переводчику и сейчас же, наведя на физиономию свою ласково-приветливую, весело глядящую улыбку, он подошел ко мне прямо, радостно пожимал в обеих своих мою руку, осторожно взявши за плечи, посадил меня на возвышение и, похватавши руки двух моих товарищей, поместился на том же возвышении рядом со мной. Приветливая улыбка расположилась на устах его и не сходила с них почти во все время нашей беседы.

Начал он ее тем, что, пересадивши моих товарищей на табуреты (причем штабс-капитана поместил ближе к себе, а мичмана у меня в ногах), он велел Оргинге передать что-то Перебоеву. Перебоев, аргунский казак, как и все тамошние, ловко наострившийся говорить по-монгольски, принял монгольскую речь Оргинги (полученную им от амбаня на маньчжурском) и передал ее нам на кое-каком русском:

— Амбань очень рад вас видеть.

— И мы также.

— Вчера ждал целый день; нарочно на ученье к войскам не ездил: вы не приехали.

— Извинил бы: задержали свои в Благовещенске. Не хотелось скоро расставаться с ними.

И пошла писать:

— Сколько нам лет от роду? Как нас зовут? (А сами спрос о годах почитают крайней невежливостью; вопрос об имени при чине полагают также излишним и неделикатным.)

— Какой на нас чин? (Привыкшие по чинам определять степень уважения, придавали вопросу этому

огромное значение, как такому, на котором крепко зиждется и китайская неподвижность, и вся суть многочисленных церемоний.)

— Как называется город, в каком мы родились? (Вопрос для маньчжура также первостепенной важности.)

Предупрежденные в видах приличия обращать и свои вопросы в том же смысле, мы узнали, что амбань родился в деревне под Цицикаром, что в городе этом в звании нойона он дослужился до того уважения и доверия, на основании которых его призвали быть секретарем при переговорах генерала Муравьева с генералами маньчжурскими об Амуре. И когда семидесятилетнего старика амбаня заковали в колодки и сослали на Уссури, он, Аджентай, занял его место и строго держит теперь в своем подчинении всех своих прежних товарищей. Они его боятся, но не любят и, к сожалению, вспоминают о старом амбане, безусловно добром и прекрасном человеке<sup>79</sup>.

И — что у кого болит, тот о том и говорит — амбань Аджентай круто повернул свою речь и заговорил другими вопросами:

— Где теперь Муравье-фу? Когда он на Амур придет, через сколько *ночей*?

— Русские нас обижают: кумирню сожгли (и глаза амбаня загорелись мгновенно).

— Мы хотели жить дружно, а у нас Уссури отнимают. Мы желаем вести торговлю, а нам запрещают артки вывозить.

Амбань уже вспыхнул и вскочил даже с места, но мгновенно спохватился, и хотя глаза его все еще горели неестественным огнем и взгляд его был дик и неприятен, он сел опять на место. И, говоря потом сдержанным голосом, он все-таки с трудом собирал взволнованный дух, по временам отдувался, шевелился на месте. Он казался мне барсом, на которого случайно накинута человеческая личина и укреплены путы бесчисленного

множества китайских церемоний. Они его выполировали снаружи, но личины не соскребли изнутри.

Аджентай говорил нам:

— Мы желали жить в дружбе, а на нас в Цицикар хотят войной идти. Нечего делать: мы сами собрали войска — и вот они размещены теперь под городом на сорока верстах (и врет, по маньчжурскому обычаю). А мы хотели торговать.

— Но ваши купцы дорого берут, а теперь начали продавать еще дороже.

— Оттого и дороже, что войска к нам пришли, все стало дорого и у нас самих. Войскам надо много мяса, буды им надо.

— Но дороги у купцов ваших и такие товары, в каких войска ваши не нуждаются.

— В этом уже не я виноват и тут ничего не могу сделать. Это зависит от самих купцов; они у нас независимы. Мы их в этом не стесняем. Они делают как хотят.

И опять амбань врет и не краснеет, и врет снова, садясь на своего любимого конька, который — признаться — начинал надоедать нам:

— С русскими мы желаем жить дружно и торговать всем. У нас закон есть такой, чтобы со всеми народами ссориться — с русскими жить дружно. Больше двух сотен лет положен у нас закон этот. О нем давно хлопотал ваш Гегелин<sup>80</sup>.

А вот и еще больное место, которое на это время не шутя ныло и сильно болело:

— Пришли инзели (т. е. англичане) в Печели?

— Давно пришли и с франками (французами).

— А есть у них войско, которое может и на берегу сражаться?

— Есть и такое; они и мосты готовые привезли с собой, и дома готовые приплавляли; хотят выходить с моря на берег.

Смотрим: у амбаня и у всех нойонов ушки на макушке — так и зашевелились все.

— А сколько у них этого войска?

— Сто тысяч! — сказали мы, желая подделаться к маньчжурскому счету и посмотреть, какое впечатление произведут слова эти. Как ни скрытничали, как ни сдерживали себя — патриотизм и здесь, в нескольких тысячах верст от Пекина, в бедном и голодном городишке, вспыхнул, как порох. Нойоны замерли на одном месте и не шелохнулись, амбань привскочил даже на месте. Он мог ответить только:

— Мы их не пустим.

И уверенно при этом покругил головой.

— Они пройдут сами: они храбрые и хитрые.

— В прошлом году наши их не пустили, всех разбили. Нам это верные люди сказывали.

— Тогда у них не было такого войска, которое могло бы на земле драться, а теперь привезли его.

— А мы их не пустим — всех переколотим. Это нельзя, нельзя, никак нельзя!

И амбань ожесточенно крутил головой. Смотрим, крутят головой и все нойоны до последнего и на лицах всех обнаружилось самодовольство и самоуверенность. Амбань в другой раз к вопросу этому охотно возвратился, но вел его в другом тоне.

— Ваш советовал нам бояться, чтобы инзели не прошли в Айгун с моря по Амуру. У них, он сказывал, есть мелкие суда.

— Но мы затем и Амур заняли, чтобы никого уже не пускать сюда. Затем и Николаевск выстроен на устье и на нездоровом месте.

— А далеко Николаевск отсюда! — заговорили нойоны старшие.

— Очень-очень далеко; у-у! — поддакивали младшие.

— А сколько ночей — десять? — спрашивал амбань.

— Больше — мы думаем двадцать проехать, — отвечал я. — Не бойтесь англичан; они к вам не придут: мы не пустим.

Последние слова мои произвели восторг неописанный. Маньчжуры радовались, как дети; амбань учащенно потчевал; нойоны переглядывались, переговаривались; подсказывали прислуге попотчевать меня, и божко-прислужник, бог весть для чего, переменял у меня нетронутое блюдо и ставил на место его другое и с тем же. Восторг маньчжур превзошел всякую меру, когда мы, путаясь в вопросах, добрались опять до начала, заговорили об араки — этом камне преткновеня, этой крошке, которая засела в горле и производит перхоту.

— Я оттого запретил продавать русским хлеб, что нам не позволяют вывозить в Благовещенск араки, за то только, что там один солдат опился и умер.

— Кто много пьет, тот и у нас в России сгорает от нашей русской доморощенной водки.

Амбань вскочил с места и вдохновенным тоном продолжал нашу мысль в таком дешевом смысле, но которому почему-то он приписывал много ума, судя по довольству на лице его и по изумленным лицам нойонов его. Аджентай говорил:

— Пить немного водки здорово и всякому необходимо. Кто опивается — тот глупый и неосторожный человек. Тот сам один в беде своей виноват. Никто за него отвечать не должен.

Пророческий тон, взвешиванье каждого слова и видимое нежелание бросать слова по-пустому — все это заставило нойонов потупитья и впивать с почтением умные речи самого чиновного мудреца, несмотря на всю их истасканную, обыденную и дешевую форму. И стоило нам (чтобы сказать что-нибудь) без особенно-го намерения подтвердить слова эти, чтобы видеть, как амбань не мог уже сдержаться и рассыпался в благодарностях и ласке: пожимал нам руки, трепал по плечу, опять схватывал руки, и необыкновенно мягко смотрел нам в глаза своими (которые так еще недавно горели звериным огнем), и смеялся кроткою, наивною, детскою улыбкой. На этот раз он был совсем другой, совсем не

тот, каким мы его видели в разговоре про англичан и наших. Неподражаем, хотя несколько и докучлив, он был во время второго разговора нашего на угощениях, начатых с первого слова и в промежутках оживлявших нашу странную и неожиданную беседу. На угощения амбань был так же охотлив и искренен, так же изворотлив, ловок, предусмотрителен. Мы дивились и на этот раз; видно, наука церемоний не прошла для него даром, и айгунский амбань казался нам таким человеком, который не пропал бы и на самых скользких паркетах, в самых изысканных и капризных салонах. Находчивый на ответах, изобретательный на словах, он был ловок в движениях. Умные глаза его так и бегали повсюду, отыскивая, чем угодить, чем прислужиться, чем почествовать гостей, — дорогих и священных и по маньчжурскому обычаю, как и по всякому другому из азиатских.

Угощение амбань начал с того, что, покуривши поданную ему нойоном (с матовым беленьким шариком) трубку, коротенькую ганзу, готовую и закуренную, он передал ее мне. Покуривши немного, я возвратил назад. Амбань опять покурил и передал одному нашему товарищу. Покуривши от него, он отдал курить ее третьему, и когда ганза снова очутилась в руках амбаня, на лице его уже сияла беспредельно довольная улыбка счастья, что первая тройка церемоний благополучно проехала и тяжесть с души свалилась. Вторая тройка завязла на нюхательном табаке, заключенном в стеклянном пузырьке, откуда костяной ложечкой достал амбань порошок себе, потом по очереди и по чинам предложил нам.

Нюхательный табак серо-пепельного цвета оказался с замечательным и оригинальным ароматом. Столько же приятен и ароматен был и курительный табак. Чтобы не отстать от амбаня и помня благовещенские наставления, каждый из нас предложил амбаню по папироске; амбань, улыбаясь, щелкал губами, прикладывая

папиросы ко лбу и к сердцу и, несомненно, был очень доволен нашей находчивостью.

Явился чай: желтый, ароматный, общеупотребительный в Китае (как зеленый в Японии). С чаем поставили на стол: пряники, прянички, финики, бессмертный в Азии кишмиш, обсахаренный рис, вкусом похожий на наши маковники, сухие плоды, какие-то диковинные орехи и недиковинные фисташки. Одним словом, обед, вопреки нашим приемам и обычаям, стоял вверх ногами — начался с конца, со сладкого. Сладости снимали; приносили новые; подсыпали свежих, хотя свежими в истинном смысле назвать их нельзя: все залежалось, слежалось, высохло и покрылось плесенью во время трудной и медленной доставки из дальних городов южной Маньчжурии. Когда мы, голодные с Благовещенска и от прогулки с берега, вооружались щепотками и напали на сласти охотливо, амбань был еще довольнее; еще чаще стал чмокать, самодовольно мычать. Собственными руками брал он с тарелочек леденец и щедро валил нам в чашку, замечал сор — торопливо старался вынимать; потребовал ложечку — подали серебряную, грубо сделанную, из нашего же серебра; ложечка, к довершению беды, не влезала в чашку. Амбань крутил головой, сердился, дзыкал на прислугу. Заметив, что нам больше всего понравились сушеные фрукты, он усердно подваливал их щепотями; навалил таким образом целую грудку, приказывал принести еще. Выпьем чашку — является другая, третья, пятая. Нам стало невмочь, но хозяин давно уж подметил это, и перед нами стоял нойон с подносом и лил по рюмочкам в наперсток из медного чайника тепловатую араки — предмет международного спора. Водка эта — желтоватая, мутная жидкость, приготовленная из рису домашним способом, без предварительной очистки от сивушного масла, — дурно пахла, была и подогретою неприятна: горьковата на вкус, царапала в горле. Скрыть этого мы не умели, амбань спохватился, дзыкнул нойону, сказал

что-то. Явилась другая водка, тоже подогретая, но уже довольно вкусная и приятная, с характерным запахом розового цвета, не любимым нашими русскими пьяницами, но боготворимым во всем Китае. Мы прихвалили.

— Это — *никан-араки* (т. е. китайская араки), — общал нам амбань. — То была манчжу-араки. Мы ее не очищаем, а никаны, т. е. китайцы, свою перегоняют через сушеные цветы роз.

И так как эту араки наливали в бокалы русского дела и изрядного объема, то амбаню привелось нас упрашивать, поднимать свой бокал — чокаться с нами. Мы вспомнили свой обычай и вопреки китайскому пригласили амбаня выпить с нами за здоровье жены его и детей. Амбань снизошел на просьбу, извинился перед нойонами своими, но, видимо, остался доволен, снова дзыкнул и сказал что-то прислужникам.

Не прошло минуты, один из них нес на руках ребенка, некрасивого, чумазого. То была девочка, дочка амбаня. Отец приласкал ее, хотел передать нам: девочка заревела и была вынесена. Принесли лет четырех мальчика, кругленького, красивенького. Мы его прихвалили.

— Ая, ая! (хорош, хорош!) — подпевала нам вся толпа нойонов; они брали его на руки, трепали по спине, передавали с рук на руки, заласкали его до того, что и мальчик заревел и был также вынесен. Амбань был совершенно доволен от полноты родительского чувства, недоволен остался, быть может, тем, что мы нарушили порядок церемоний, столь старательно налаживаемых им вначале и при всех усилиях его не установившихся потом. Мы были голодны и, неудовлетворенные сладким, хотели есть что-нибудь поблагонадежнее, без тошноты и оскомины.

Появилось и съестное, удобоваримое. В несколько смен поставлены были на стол вяленая говядина, разрезанная на кусочки, копченая рыба, вяленая рыба, яичница на сковороде, кругленькие из свиного мяса

фрикадельки (любимое китайское блюдо), кусочки свиного сала в соусе приятного вкуса, яичница на молоке, соленые овощи, мастерски (не по-русски), приготовленные; огурцы длинные, редька, морковь, капуста маньчжурская и сдобные пирожки, разрезанные на четыре части, с луком внутри (кушанье невкусное, но амбань почему-то хотел придать этим пирожкам особое значение, хотя они никакого не заслуживали). Все эти блюда были спутаны, смешаны, в беспорядке, но все они нам были памятны, всех блюд мы отведали, и на то время кухня амбаня, несмотря на то что неизмеримо далеко отстала от изысканного стола маймачинских купцов, показалась роскошною и вкусною. Роскошною показалась она и потому, может быть, что в Благовещенске и на всем голодном Амуре ни у кого нет и десятой доли того, что выставил нам амбань на хвостовство и на угощение. Угощение шло усердно. Заручившись оправданием, что в дорогу надо есть больше, что дорога хлеб любит, амбань валился на нас со всеусердными просьбами даже и после того, когда мы уже довольно напотчевались: щипнули того, расположились к другому, осчастливили вниманием третье кушанье, помещенные на маленьких тарелочках, в небольшом количестве. Амбань не унимался и без разбора валил в кучу все: соленое со сладким, холодное с жирным; после бокала араки дал нам, каждому по очереди и не нарушая степени важности, с какою достоинство каждого из нас сложилось в его голове и сердце, — по ложечке уксусу. Уксус оказалса особенным, но такого приятного вкуса, с каким европейская кухня положительно не употребляет. Этим же уксусом Аджентай не затруднился попотчевать и после того, как, кончивши обед, мы снова принялись за желтенький чай; и снова вместе с чаем явились на столе прежние, неизменные сласти и сам чай был теплый и приторно-сладкий.

— Очень жаль, что мы должны говорить через переводчика, а не прямо, — заметил амбань.

— Мы тоже сожалеем об этом, потому что, зная ваш язык, мы могли бы говорить много; могли бы легче узнать друг друга.

— А учатся у вас, в Петербурге, по-маньчжурски?

— Учатся...

— А сколько человек?

— Двести, — соврал я... невестке на отместку, увлеченный маньчжурским примером.

— А наши уже начали учиться по-русски и многие хорошо умеют, — заметил амбань и на этот раз говорил сущую правду.

И опять потчевал, и опять стоял на своем, оставался себе верен, даже и после того, как показал рукой, что у него от араки голова зашумела; и, вставая с нами прощаться, был нетверд на ногах; даже и тогда — в довершение хлебосольства — он не забыл отправить с нами на дорогу всех тех блюд (и именно всех и таких, которых мы больше ели и которые, стало быть, — по его замечанию — нам сильнее понравились). Нам стоило прихватить действительно мастерские соленья — и соленья эти были с нами; мы простую жареную говядину предпочли сложной и подозрительной смеси всяких других блюд — и она лежала в узелке в большом обилии.

Уходя от амбаня, мы выносили убеждение, что если русское хлебосольство достохвально и препрославлено, то маньчжурское его перещеголяло и не может идти в сравнение ни с каким другим из азиатских, т. е., напр., с тем же русским, с персидским, татарским и проч. Не забыть нам его, не забыть и той особенности, без которой не обходится ни одно из азиатских угощений. В маньчжурском оно шло как неизменный придаток, как обязательная приправа. Сытые и довольные гости должны были благодарить хозяев икотой, но мы упустили это из виду, хотя и были предуведомлены. Амбань не выдержал и зарыгал сам, как будто мгновенно воспалилась его грудобрюшная преграда и как будто отечественная кухня непременно должна возбуждать икоту.

Конец обеда, с самой середины его, амбань приправлял одной икотой и притом такой, которая положительно была своеобразна и нами не слыханная. Я едва держался от смеха и крепко побаивался за двоих товарищей: один из них не вытерпел-таки и порскнул от смеха, когда из горла амбаня выскочил самый крепкий голубок и рассыпался в мелкую дробь, как бы на барабане. Три раза амбань изумил нас такой мастерской игрой на своем доморощенном инструменте. Нойоны всякий раз после этих звуков смиренно потуплялись, как будто проникались даже благоговейною дрожью по всему телу, считая, вероятно, в горле своего высоко-вельможного начальника особые хрящи, нарастающие только при высоком чине и дающие этому чину возможность показать твердое знание правил хорошего тонкополитического умения вести себя между людьми низших рангов. Все чины эти и сам амбань вышли нас провожать; мы благодарим за хлеб-соль:

— Извините: ничего нет у нас (а слишком тридцать блюд в нашем доморощенном чемодане).

— Желаем амбаню быть дружным со всеми нашими.

— Я вам желаю счастливого пути! Когда будете назад, приходите ко мне, я рад буду. Смотреть в городе можете все: вот вам чиновник в провожатые, он, кстати, хорошо понимает и умеет столкнуться с вашим переводчиком.

Возник вопрос о лошадях, которые понадобились одному из наших товарищей с переводчиком. Мы просили об этом самого амбаня. Товарищ обещал заплатить деньги.

— Мне денег не надо! — обидевшись, ответил амбань.

— Но я плачу прогоны. Я на это дело казенные деньги получаю и трачу их на то, на что они мне выданы.

Но амбань не понял его и вывернулся по-своему:

— Если я приеду в Благовещенск, разве возьмут с меня деньги, когда и мне там понадобятся лошади?!

И лошади были готовы, когда мы вернулись с прогулки.

— У нас лошадей ужасно много! — прихвастнули при этом маньчжуры.

Город не дал нам никаких особенно интересных и занимательных впечатлений. Неуменье говорить, а стало быть, невозможность расспрашивать обо всем, что интересовало нас и казалось нам оригинальным, прежде всего помешали делу. Разговор через переводчика — дело поучительное и притом малонадежное. Маньчжуры нарочно и усердно скрывали все самое интересное и необлыжно национальное; ввали они переводчику, переводчик в свою очередь перевирал выслушанное, частью без намерения, иногда с намерением помирволить маньчжурам, не желая обидеть раскрытием тайн там, где те полагали щекотливое и секретное место. Два раза потом мы ездили в Айгун и в оба не могли узнать ничего определенного и законченного: много неясного, много противоречивого, непонятного: чепуха какая-то. А свой глаз — свой алмаз, привыкший видеть свое и родное с подсказом заранее выработанных представлений и понятий, — в этих новых и диковинных местах блуждал, видел не то, на каждом шагу обманывался. Мы были счастливы, если удавалось нам ограничиться дешевыми видами и разуместь только их.

В конце концов, без языка в новой стране ничего не поймешь, кроме наружных подробностей, и, чтобы уразуметь и понять Маньчжурию, русскому племени надо пожить с маньчжурами подольше, подружнее и поближе: съесть не один пуд соли, по русской примете. До сих пор они на нас смотрят как на врагов, от которых почитают необходимостью сторониться и все с глаз припрятывать. Дружба должна помочь сближению, а за ним и знакомству; авось тогда разуверят маньчжур и в зловещих слухах, что русские привезли с собой на Амур голодные годы и зимы холодные (прихвативши, кстати, и тараканов, до того времени маньчжурам

неведомых). Недоброе время помешало отчасти и нашему пуцему сближению с мачжурами, а бесконечно церемониальное угощение у амбаня, истомившее нас, истомило и Оргингу, все время стоявшего на ногах. Он с трудом ходил за нами, хотя и отдохнул в лавках; едва шевелил ногами, когда мы хотели еще походить, еще посмотреть. Нам было жаль его, а потому мы и видели немного: видели храм, лавки, училище.

На площади в крепости какие-то кучки народу с колчанами в руках, со стрелами, но без особенных отличий в costume: это солдаты. Амбань велел их удерживать на площади после ученья, чтобы похвалиться и попугать нас про всякой случай. А войско все рваное, вялое и невоинственное.

Перед нашим нойоном пешие солдаты кланяются, круто сгибая спину и слегка приседая; верховые соскакивают с лошадей и вытягиваются в струнку. Оргинга со всеми приветлив.

Перед каким-то строением какой-то старик встречает нас и перед нашим нойоном падает на правое колено, быстро вскакивает и отпирает три двери. Двери ведут нас в храм, заставленный по нишам бурханами в рост человека, деревянными, крашеными. Два с птичьими ногами и носами один против другого; еще два с белыми человеческими лицами, задернутые занавеской с медными подвесками и бубенчиками. На алтарях: железные подсвечники, жировые розовые свечи, ящики с пеплом и с какими-то куреньями. В храм вбежали ребяташки — шумят, резвятся; нойон ходит в шапке и не останавливает и замечать не хочет, что наш товарищ закурил папироску. Особого благоговения мы не замечаем; нойон трогает все своими руками, указывает все:

— Вот *поигро*.

Сейчас к храму примыкает балкон, огороженный перилами и снабженный боковыми пристройками: это театр, — у буддистов, как неизбежный атрибут, как непременная принадлежность религии, в видах и в

смысле которой представляются на этих подмостках на открытом воздухе и бесплатно духовные мистерии в образах и лицах. Как олицетворенное изображение какой-нибудь нравственно-религиозной сентенции, театр употребителен на время празднеств, когда служит продолжением храмовому обряду и дополняет собою то, что не успевают высказать молитвы и проповедь бонзы. Вот почему так близко и бок о бок к храму становится театр, и вот почему только на большие народные праздники сюда приезжают из деревень актеры — этот самый несчастный, презренный класс китайского народа (в то же время бонзы пользуются приметным уважением у китайцев больше, чем у японцев). В представлениях театральных нет никакого движения, одни только диалоги, длинные, рассказываемые нараспев и притом на таком древнем языке, который теперь уже совсем не понимают.

— Ничего в театре нет у них хорошего, — рассказывал нам переводчик. — Выбежит один разодетый, покричит, поковеркается, убежит; заколотят в бубны, зазвонят, на музыке поиграют. Другой выбежит и то же делает; а то двое снимутся разговаривать. Опять музыка заколотит. Ничего в маньчжурском театре нет хорошего.

Я видел потом театр в Маймачине и принужден подтвердить слова Перебоева.

— Не бойкой же народ эти маньчжуры, — говорил он нам, — не больно же умный!

— Но сметливый, веселый! Вон, слышишь, кругом хохочут, значит, весело жить.

— Живут точно весело, но жить не весело. Очень уж народ — от эти нойоны изобижают, грабят очень, и не столько большие, сколько мелкенькие. Чиновники все богаты, но скряги преужасные: деньги спрячет, а сам в засаленной курме ходит, словно нищий. Не дай бог деревням, чтобы мимо них куда-нибудь поехал амбань. С ним большая свита ездит. Где он ни остановится —

езде они, как саранча, все поедают, все воруют. У нашего губернатора бокалы украли, стаканы; у правителя канцелярии — ложечки серебряные. Либо гони их в шею следом за амбанем, либо они все остатки и со стеклом, и со столовым бельем поедят. Если с нашими так, что же со своими-то? И не любит же народ своих чиновников, не приведи господи!

— А нравственны они, целомудренны?

— Нет, однако ни одна маньчжурка за русского идти не хочет, как ни стараются наши казаки по приказанию начальства. Оно тому казаку, который сумеет жениться, сто рублей посулило, да не идут маньчжурки за наших замуж.

Мы идем дальше. Пред Оргингой падает на колени еще один маньчжур и опять отпирает ворота. Мы входим во двор; на дворе две огромные, лохматые, злые собаки, налево старый, полуразрушенный дом — школа. В дверях встречает нас тоже развалина: сухой маньчжур в огромных круглых очках, чахоточный, пергаментный, тип германского ученого, каких любит рисовать Dorfbarbieg и не любил Гейне. Он нам рад: усаживает, потчует ганзой, суетится приготовить чаю. Кругом комнаты с земляным полом, построены широкие нары; на них поставлены маленькие столики; за столиками, поджавши под себя ноги, сидят мальчики и пишут (те, которые читать учатся, по словам учителя, ушли уже домой). У всех в руках кисти и разведенная на плитках тушь; у всех на мягкую бумагу положены железные кольца; внутри колец этих мальчики учатся врисовывать мудреные каракульки маньчжурской азбуки, одна к другой, сверху вниз. Мальчики пишут бойко.

— Учатся они по-никански? — спрашивал я.

— Здесь не учатся: на то есть другая школа.

— Ты, учитель, из никан?

— Нет, манчжу. Прислан сюда издалека.

— А умеешь читать по-никански?

И, чтобы доказать это, учитель запел гнусливо, громко, видимо старался и видимо пел охотно, но вышло все-

таки скверно; точь-в-точь как поют актеры китайские на театральных подмостках. Мы чуть не покатались со смеха, выслушивая эти неблагозвучные трели.

Нам захотелось, чтобы мальчик прочитал по-маньчжурски. Учитель обратился к нему: мальчик замотал головой. Мы повторили просьбу, он не послушался.

— Не хочет! — снисходительно и кротко пояснил нам учитель и не послал в шею ученика — по русскому недавнему способу и обычаю — внушительной затрепщины. Вообще в обращении учителя с учениками видно много мягкости, ласковое, дружеское обращение. Он — не пугало, как в былую пору у нас; он не страшилище и не начальство, а просто учитель, наставник. Мальчики весело смотрят, охотливо заняты делом, которое — по всему вероятию — оттого у них и спорится. Маньчжуры все грамотны и письменны; все знают арифметику, т. е. выкладку на счетах (счеты у китайцев особого рода и вида, с перегородкой, отделяющей две косточки наверху и десятки внизу; счет у китайцев десятичный, необыкновенно скорый, легкий).

Мы вышли из училища, выходили из крепости. У ворот сидит старик, рваный, с уродливой губой, оголившей всю верхнюю челюсть и зубы. Говорят, что ему 80 лет, что это маньчжурский *несчастный*, присланный сюда за грабежи.

— Отчего же у него губа такая?

— Наказан: губу ему рвали щипцами и ноги ломали для того, чтобы навек помнил и все люди знали, что он был некогда плутом, злым и вредным человеком.

Он просил милостыни; подать ее нам разрешили.

По дороге мы зашли в лавки, где все неприступно дорого и не все нам решались продавать; маньчжурские валянные из шерсти шапки мы могли приобрести только с разрешения нойона. Всюду преследовало нас угощение ганзами и чаем; усерднее нас всех угощался Оргинга, не отказавшийся ни от одной трубки, ни от одной чашки; а перебивали мы в десяти лавках.

Когда надоели нам эти лавки и эти товары, которые и покупать не стоит, и продают дорого, мы пошли вон из города. По улицам бесцеремонно расхаживали совсем голые ребятишки; такие же голыши прыгали по берегу Амура. Мальчишки из рук вон некрасивы, и некрасивы большие подростки-маньчжуры. И бедность кругом, вопиющая, рваная, голая бедность!

С богатыми, или, лучше, достаточными, людьми нам привелось встретиться позднее, по возвращении из Николаевска и в Благовещенске, на так называемой Маньчжурской ярмарке. При вторичном посещении амбана в домах самых богатых купцов нам отводили помещение для ночлега, и там встречали мы отличный сытый стол, теплые комнаты; но богатые купцы были никаны, т. е. китайцы. Торгующих маньчжур очень мало. Племя это, сделавшись победителями и хозяевами и перенявши у китайцев все, даже до костюма, обленилось и опустилось; стало искать и занимать только правительственные должности. Вся торговля, все промыслы и ремесла, все художества, искусства и, наконец, науки остались в руках китайцев; а затем и вся материальная и умственная сила страны сосредоточилась в ее аборигенах. Победители воспользовались только наружными, поверхностными заимствованиями и упираются теперь — как мы уже раз и оказали — единственно на войске и на чиновничестве.

### 3. БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ЯРМАРКА

Айгун, как искусственно созданный город на правах пограничной крепости и притом значительно удаленный не только от главных центров (Пекина и Мукдена), но даже и от Цицикара, главного города провинции, малопроизводителен. Промыслов не мог породить, торговлю в состоянии был развить только по отношению к городской потребности, а потому и дорог, и скуден сред-

ствами для широкой и обеспеченной жизни. Не обладая другим излишком, кроме произведений земли, и другими предметами, кроме тех, которые потребны чиновникам, солдатам и ссыльным голышам, он плохой сосед, малонадежный, маловыгодный для другого голыша, выстроившего в сорока верстах от него свои холодные, наскоро сложенные дома. Насколько не сильна торговля, можно судить уже из того, что начальство может класть на нее запрещение; достаточно одного этого запрещения, чтобы серьезно ослабить ее, хотя бы даже и существовали заугольные сделки тайком и по ночам. С другой стороны, сам покупая все втридорога по причине отвратительных дорог и трудностей сообщения по высоким горам и на вьюках, Айгун не может продавать товары по доступной цене даже и богатым, легким на сделку русским. Самый чай айгунский, при существовании тогда на всей линии Амура *porto-franco*, стоил тех же цен, за какие уступал Маймачин свой чай, оплаченный высокою таможенною пошлиной. При этом в необлыжное доказательство того, насколько ничтожно требование Айгуном выписных товаров, этот же чай, приносимый маньчжурами в Благовещенск горсточками, фунтиками, может служить образцом и руководством для сообщений. Незачем далеко ходить — посмотрим на Благовещенскую ярмарку.

В начале каждого месяца, как только засмотрят в Айгуне новую луну, в Благовещенске наполняются маньчжурами все те десятки наживо сколоченных из шестов лавчонок, которые стоят на одном из концов города, на берегу Амура. В то же время крепким чесночным запахом преисполняются все городские квартиры. Это маньчжуры явились сказать «мендо!» (здравствуй), подать шероховатую руку, сесть на стул, подхвативши под себя одну ногу, закурить ганзу, заплевать пол, вытащить из-за пазухи какую-нибудь дрянь, обыкновенно веер со скандальными картинками, редко кусок залежалого, жиденького фуляра, который они облыжно,

без совести, называют канфой, т. е. атласом. Собственно маньчжуры заходят всякий раз и к каждому для того, чтобы позвать к себе в лавку.

Значит, ярмарка началась. Но надо много смелости и решимости для того, чтобы действительно назвать не только ярмаркой, но даже торжком это двухнедельное тасканье маньчжур по домам без дела, без цели, на общую досаду, которой желают противопоставить желание поддерживать русскую связь с соседним государством. В терпении и снисходительности к маньчжурской докучливости наши находят первые две добродетели, первые два звена в этой обязательной цепи. В обонянии тяжелого перегорелого чеснока и потом в выкуривании его из домов благовещенских видят первые перлы и первые прелести этих добрых отношений. На самом деле, выдерживать посещение трех-четырёх маньчжур за один раз — геройство и подвиг, приправляемый обыкновенною и неизбежною головою болью от запаха чеснока и от крепкого угара, производимого вонючим маньчжурским табаком туземного произрастания. Новое удовольствие свидания с знакомцами (которые не бывают в Благовещенске только две недели в месяц) состоит еще в том, что они обессиливают всех всегдашними, неизменными вопросами о времени приезда графа Муравьева ежедневно, ежечасно. Вечером, на закате солнца, они отправляются ночевать в соседнюю деревню по ту сторону Амура, прямо против Благовещенска (на русской земле им этого не дозволяется под страхом жестокого наказания), на другой день опять каждый из них перебывает по несколько раз (забежит утром, в полдень, вечером), забежит в знакомый дом, в незнакомый — все равно; забежит затем, чтобы сказать заветное «мендо» и докучливое «шолоро». Последнее слово, приправленное жестами, означает приглашение в лавку. Пойдите и посмотрите.

Что это за торговля, что это за ярмарка?

Висят маньчжурские валяные шляпы, способные держаться единственно на макушке, а по зимам греть

полувыбритые головы и самих маньчжур только при условии меховых ушей, в которые, как в мешок, с трудом и при выработанном умении вправляются уши. Висят картины, размалеванные яркими, правда, красками, но такого художества, что и на вкусе русского лакея они не выдерживают большой цены. Показывают стеклянные бутылочки с воткнутой костяной ложечкой, прикрепленной к цветной стеклянной пуговке — крышке. Ганзы лежат с маленькой медной трубочкой, куда входит столько табаку, сколько нужно для маньчжуров, но не для русского. Предлагаются сушеные прогнившие сласти; конфеты продаются в аляповато сколоченных деревянных ящиках — конфеты, к которым можно приступить с крайней голодухи, но на какие наши институтки и глядет не станут. Курмы имеются готовые, засаленные, всегда подержанные; брезгливый человек и в руки их взять побоится. Для курьезу, пожалуй, продадут щеты: валяные, обшитые кожей и ловко и терпеливо простроченные башмаки, какие могут взлезть на редкую русскую ногу (даже и дам благовещенских). Предлагают, пожалуй, и порядочные шелковые материи, да просят такие невероятные цены (и в самом деле дешевле отдать не могут), что материи эти обыкновенно только рассматривают и если покупает кто, то также исключительно для курьезу.

— Что же остается для покупок?

— Да есть, например, меховые лисьи курмы вроде русских полушубков, по цене подходящие к мехам сибирским (руб. 15 штука); так покрой неладен; перешивать надо. Привозят веревки и тесемки, шнурки тонкие и толстые, но и почти только.

— Для чего же ярмарка?

— Для маньчжур как вакация, как рассеяние после однообразного сидения в запертом городе, в спертom воздухе, вдобавок угарном от очагов, трубок и жареного (на берегу Амура все-таки продувает). Для русских ярмарка вначале тоже маленькое разнообразие после

докучного одиночества; к тому же можно и потешиться над забавными сценами, сравить, напр., двух ребят-приказчиков: одного маньчжура, другого китайца. Они засверкают глазами, поругаются между собою, потом подерутся: по-русски кулаками и по-китайски за косу; причем сухопарый китаец непременно одержит верх над толсторожим, сытым и румяным маньчжуром (маньчжур непременно толстощекий и сытый, точь-в-точь, черта в черту, как наши батюшкины сынки, купеческие баловни).

— Для чего же ярмарка? Маньчжуры все куда-то ходят, все что-то носят в клетушках, схватывая по пути и пощипывая проходящих баб и солдаток, которых зовут они «бабусяки» (лишенные возможности выговаривать две согласных буквы рядом и неспособные одолевать букву «р», выговариваемую ими всегда картаво, как «л»).

— Для кого же ярмарка, для чего же приезжают волокиты маньчжуры, сладострастные китайцы? — спрашивали мы всех, сами ходили каждый день разузнавать и высматривать — и пришли к конечному, несомненному для нас заключению.

Вот, что подсказывали общие, обычные и обыденные сцены на ярмарке.

У прилавка солдат, вдвоем с товарищем, в *измызганной* на плотничьих работах шинелинке, в обшлепанных чарках на ногах. Солдат вытащил из сапога трешник (3 коп.), брякнул его на прилавок, примолвил:

— Шолора<sup>81</sup>.

Маньчжур понял, спрятался под прилавок, вытащил плетушку. Солдат держит уже у него перед носом два мозолистых перста, другой рукой показывает на товарища. Маньчжур и замотал головой. Солдат пустился в объяснения.

— Слушай, апда (друг)! Ты слушай, шельма, давай — *шолоро* — две. Одна лаканча (худо); два ая (хорошо).

Маньчжур мотает головой.

— Другой анда походи буду, — говорил солдат, — тот дает, а ты лаконча, свинья и т. д.

Солдат хлопотал о водке, покупал араки, которую маньчжуры продавали тихонько даже и в то время, когда она в Благовещенске была строго запрещена. Сняли запрещение — ярмарка необычайно оживилась. Солдаты наводнили ее. Водкой торговали и те, которые приезжали со сладостями, и те, которые маклачили не идущей с рук пустяковиной. Солдат после тяжелых работ и поселенец из сырых землянок выносили выработанное и справедливо заслуженное право на водку при недостатке казенного спирта и пили скверную араки, не разбирая, что она продается в холодном виде, но пьется подогретою. Те и другие охотно и много пили маньчжурскую водку и побрякивали и приговаривали: «Ая араки!» — хотя в сущности и без всякого сомнения эта была *лаканча*, лаканчее всяких подонков в винокуренных русских заводах.

В водке главная суть, смак и поддержка утлой, искусственной Благовещенской ярмарки. Покупают еще овсеца по малости для своих лошадок, у кого они есть, чиновники, да забирали буду для солдатского приварка и каши при недостатке запасов казенной крупы. Кое-когда брали зелень, солености и по малости иногда маньчжуры привозили замороженное мясо и чрезвычайно редко фазанов (этой и вообще всякой птицы в степных местах Амура очень много, да и не установился правильный лов и на них, как и на рыбу, которою кишит благодатный Амур). Но все привозное стояло в высокой цене; все нужно было покупать на серебро: серебро составляло редкость (присылали его понемногу, хотя и постановлено было выдавать чиновникам половину жалованья серебряной монетой). Маньчжуры на уступку брали и бумажки, но с таким расчетом, что за вещь, стоившую, по их соображению, два селебла (два серебряных рубля), просили три бумасеки (3 руб.).

Брали они и медную монету, предпочитая в ней старинные пятаки, рассчитывая получить сибирского чекана с сибирским гербом и с избытком серебра, отделять которое от меди тогда не умели. Но потом и на пятаки отошла честь, когда распознали маньчжуры, что они уже не те, и слухи, полученные из Кяхты и дошедшие к ним через весь Китай, неверны и запоздали.

Но вот начали маньчжуры учащеннее заглядывать в дома и вместо «мендо» говорить прямо:

— Бумасеки есть купи, бумасеки купи нету? — т. е. хочешь менять бумажки на серебро с четвертаком на рубль лажу — давай; не хочешь — я к другому зайду; и он меня разругает и прогонит; я к третьему и добыюсь-таки своего и найду человечка, который усмотрит выгоду и барышом не погнушается (завелись в Благовещенске и такие).

А забегали маньчжуры — значит, близко новолуние: ярмарке скоро конец и — слава богу! — она не столько полезна, сколько докучлива; не столько снабжает необходимым, сколько ненужными пустяками. И только маньчжуры остались в барышах и на этот раз вывезли малую толику русского серебра к себе безвозвратно, да заполучили мелкий барыш променщики, да солдаты по казармам раза три во время ярмарки были пьяны.

На этом замыкаются почти все наши взаимные отношения: других, по крайней мере, нам не указывали и сами мы не заметили. В Благовещенске даже язык международный плохо устанавливается, несмотря на обоюдную способность обоих народов к этому делу и несмотря на то, что в Маймачине он давно существует и помог там творить большие и крупные торговые операции (но об этом в следующей статье).

Скажем последнее наше слово.

Дорого и неудобно было жить на Амуре! Дай Бог счастья и терпенья тем, кто попал туда! Нет на свете

такого рая, где бы валились в рот голушки сами, без труда; но на Амуре труд этот требует большого внимания и усидчивости. Помощи ждать неоткуда: маньчжуры охотно продают и могут продавать одну только водку да в урожайные годы хлеба немного. Американцы с николаевской стороны идут тем же маньчжурским путем, и на Амур явились только искатели приключений из Калифорнии и тоже продают почти одну водку. Амурская компания скупает исключительно соболей для себя да привозит из Гамбурга дешево приобретенные, но малопригодные для амурцев товары. Поселившийся на реке житель, или аргунский казак, который всю жизнь якшался с монголами и занимался вместе с ними чайной и золотой контрабандой, или шилкинский казак, выбранный жеребьем, явившийся сюда наймитом, больше бобыль и зверовщик, чем хлебопашец, или, наконец, гарнизонный штрафованный солдатик из России, пролетарий насквозь да и плут и лентяй к тому же. Была надежда на вольных поселенцев из черноземных губерний России; да они поселены дурно, попались на плохие места, а молокане, известные на Руси своим отличным хозяйством, пришли с деньжонками, поселены были к городу (Благовещенску), а потому стали охотнее маклачить подгородным мещанским промыслом и на землю надежд не кладут. Стали класть надежды на чехов из Америки (на них пока и замыкаются амурские виды и желания); других мастеров и работников в наше время на Амуре не было. Плохо ладилась дела тамошние; лениво принимались за работу переселенцы; казаки, состоя на казенном содержании, на казну и работали, имея мало досуга про себя; присяжные руководители всех амурских начинаний имели мало средств, мало присмотрелись, плохо привесились к делу. Машина была пущена в ход, вертела колесами, но только буравила воду, а по временам давала даже ход назад, едва не стопорилась, хотя в то

же время пускала свисток, возвещала о себе смело и громко. Лучше бы сделала она, если б молчала и втихомолку творила свой честный труд шествия вперед: он и без хвастовства оказал бы себя.

В заключение приходится сказать и на этот раз словами практической русской поговорки: «Тугой поля не изъездишь — нудой моря не переплывешь».

## ГЛАВА VII У КИТАЙЦЕВ

### 1. КИТАЙЦЫ В МАЙМАЧИНЕ

— Здравствуй, приятель!

— Здоластуй, какой поживу?

— Маленьки.

— Како тибиди нозову?

— Так-то.

— Который годофа?

— Столько-то.

— Какой фатибил?

— Фамилия такая-то.

— Когда пришла?

— Недавны.

— Какой своя город?

— Такой-то.

— Поторговай еси?

— Нет, я не купец и не торговать пришел, а посмотреть на тебя и с тобой познакомиться после того, как ты опросил меня обо всем, что для тебя интересно и что в твоих китайских привычках и обычаях.

Разговор твой, когда прислушаешься и применишься к твоей картавой речи, становится немножко понятен, и хоть язык этот (который ты в простоте сердца считаешь за русский) совсем не родной мне, а какая-

то незаконнорожденная помесь слов твоего мудреного языка с не менее замысловатыми и трудными словами из наречия твоих соседей — моих земляков, я и тому рад. На Амуре, у маньчжур, если на хлеб да на рот свой пальцами не покажешь — с голоду умрешь. Там безо времени и на безвременье инструмент этот еще настроить не успели и ладов не подобрали: переговариваются кто как сможет и кто как хочет. Но здесь инструменты уже налажены и ноты подобраны так, что музыка очень давно идет с блестящим успехом, дает крупные выгоды обоим хорам исполнителей; теперь у китайцев денег столько, что лопатой не прогребешь, а у русских чаю столько, что самый горький бедняк из наших не умеет без него обходиться. И небогат язык, да широко приспособление; и картав китаец, и у русских зуб не без свищей — да друг друга не обижают и условным своим языком хорошо владеют и оба дуэтом этим очень довольны. Не останутся довольны им Греч и Востоков, но ведь и они не без греха в поползновениях своих на уродование прирожденной русской речи; и они не без упрека в насильственной навязчивости языку русскому таких форм и правил, какие взяты в иностранных землях и каким они лет сорок учат и еще мало кого во все это время на Руси святой выучили. Стало быть, много требовать и сильно негодовать на кяхтинский язык мы не в силах да и не вправе, зная, что начало ему клали наши древние, просто плетенные казаки; сказывали слова, какие они сами помнили и забыть на чужбине не успели, шатаясь по Сибири в новой обстановке, среди иных картин природы и в другой жизни; а сговариваясь с китайцами, отдавали слова с тем же выговором, какому их самых выучили китайцы, принимая слова на свой упругий язык, делали с ними что могли и хотели; отламывали кусочек с конца или с начала (где для них было способнее), приставляли свой слог китайский (такой, какой был для них полегче и познакомее). Любя придзекнуть, они из *годиться* сделали *годиза*; вместо

*брат* стали выговаривать *братиза*; *банкрот* превратился в *банкроза*, и равно родной и возлюбленный и китайским и русским, и всем поголовно азиатским бочкам и плечам *халат* стал на Кяхте *халадза* и пошел у китайцев за русскую шубу, и за немецкое пальто, и за английский фрак, и за французские панталоны, жилеты, пиджаки — все стало халадза; где тут разбирать? китайцы этим товаром не торгуют и его не покупают ни враздробь, ни оптом. Сказали им обветшалое и полузабытое слово *ярый* в смысле смелого, полюбилось оно им и пошло во всяком смысле. «Моя ярова купецки», — скажет китаец, если, как петербургский немец, захочет похвастаться своей честностью, если имеет намерение объявить, что он человек решительный и любит в торговле рискнуть иногда. Не умея выговаривать русские слова с твердым окончанием (и всеми силами души ненавидя букву «р», всегда превращаемую в «л»), китайцы сделали из *Бог* — *Боха*, *как* — *како*, из *вам* — *вама*; а *зауряд* и из *хочешь* — вышло у них *хычи*; из *пить* — *пиху*, из *есть* — *еси*, вместо *есть* — *кушать* — *кушаху*, а слово *буду* приглянулось так, что пошло в приставок ко всякому глаголу и всякая речь уснащается им как прикрасой, как таким словом, за которым прячется всякая недомолвка, всякий язычный недостаток и к которому прибегают всегда, когда необходимо станет затыкать дыры, неизбежные в языке, плохо составленном и никем и никогда не исправляемом. Его как сложили из слов, исключительно нужных только для оборота в торговых делах, да так и увезли за Великую стену. Там, в большом и торговом городе Калгане, устроили училище русского языка и постановили коренным государственным законом, чтобы купец получал право торговать тогда только, когда он выучится говорить и писать по-русски. «Подобная мера (говорит секретная пекинская инструкция) необходима для отвращения необходимости русским изучать язык китайский, владея которым они могут проникнуть в тайны нашей торговли и

политики нашего государства». А потому на Кяхте мы не встретили ни одного русского, который умел бы говорить по-китайски и — ни один китаец до тех пор, пока не выдолбит на память все кряду и вразбивку слова из длинного лексикона, вывезенного с границы России, пока не выучится чертить их китайскими каракулями и пока не выдержит в обеих этих искусствах строгого экзамена, — до тех пор он не получит паспорта и за пределы Великой стены его не выпустят<sup>82</sup>.

Зато во всем Маймачине нет уже ни одного китаец, который не коверкал бы русского языка, и нет ни одного русского торговца, который усердно не подлаживался бы к этой исковерканной речи, слывущей под именем кяхтинского торгового языка. Приспособленный к специальной цели своей и выгодно, с блестящим успехом служа ей, язык этот к другим приспособлениям уже неспособен, для иных расспросов, помимо торговых, не годится. Понадобилось одному любознательному, изумленному великим множеством бурханов, поставленных в храме, узнать о числе богов буддийской мифологии, и как ни бился он, какие ни подбирал синонимы для облегчения своего вопроса, собственными силами до ответа добраться не мог.

— Сколько у вашего старшего бога товарищей? — спрашивал он.

Китаец хлопал глазами.

— Сколько у вашего бога *помощников*?

Китаец вопросительно озирался и переступал с ноги на ногу.

— Сколько у него приятелей?

Китаец усердно крутил головой и все-таки не понимал ничего и ответа бы не дал, несмотря ни на какие усилия. Выручил находчивый кяхтинец, которому надоело взаимное томленье:

— Слушай, приятель! Сколько вамо у боха *приказчиков*?

— Стольки-то! — радостно и охотливо ответил китаец, к слову сказать, плохо интересующийся, как и все буддисты, своей верой, близкой к самому крайнему атеизму и спутанной и измененной множеством сект и толков до безразличия и безобразия.

И насколько мало пригоден и удобен китайско-русский язык на Кяхте ко всем другим разговорам, помимо торговых, настолько полон и определителен он для коммерческих условий и сделок.

— Какой товар еси? — спрашивает китаец у русского, пришедшего покупать чай на Москву и Россию.

— Всяка товар, — отвечает русский не по-русски и высчитывает товары свои: — Еси сиански, барха, мизеридски сукно<sup>83</sup>. Посоветую буду за моя своя: полутор, цветоки, сансински полутор, красненьки — всяка манер буду<sup>84</sup>.

— Какой цена постави еси?

— Моя ярова! Один слово — без перебивай: мянзи не надо.

— Моя тоша (тоже) ярова купецки!

— Тута (такую-то) цена хычи?

— Ну конча.

— Конча.

И добрые приятели, живущие всегда в ладу и на взаимных угощениях и чествованиях, сойтись в цене и договориться на товары не задумаются.

— Хычи серебро, хычи аршан<sup>85</sup> товара! — Китаец все берет.

— Тута сорта! — говорит он и товар с собой носит, из-за пазухи во всякой час готов вытащить пакет с чаем и на пробу дать.

— Тибси слова была за мерлушку?

И на мерлушку китаец чай променяет какой угодно.

— Хычи цветоки своя (т. е. цветочный своей фирмы); хычи цветоки сансински (т. е. цветочный фуз города Сансина — центрального пункта всех арендаторов фучанских чайных плантаций).

Но всякий китаец серебро предпочитает другому товару и особенно в тех случаях, когда на руках у него остается мало чаю, и притом такого, который сильнее требуется в Россию. Без прижимок и обманов и здесь не обходится: дело торговое!

Известно, что Россия сбывает в Китай московского дела плис и сукна, кинешемской работы дабу и ивановские бумажные материи, сибирской добычи мягкую рухлядь и серебро и — почти только (порох, огнестрельное оружие, сырые кожи и русские деньги не дозволены). Китайцы привозят на Кяхту байховый и кирпичный чай, сахар-леденец да малую толику необычайно дорогих шелковых материй (канчу, канфу, гранетур, чемучу, янчу, лязну и проч.). Материи эти очень плотны и добротны, но привозят их так мало, что в торговом движении Кяхты они не имеют никакого значения. Вся роль принадлежит главным и исключительным образом чаю — этой благодетельной, здоровой и целебной травке. Она давно крепко шевелила московскую торговлю; она не так давно держала в полной зависимости все торговое движение самой большой из всех всемирных ярмарок — Нижегородской; она благодетельствовала Сибири, делала и другие дела хорошие, но так как не о них теперь речь наша, то и перейдем к тому, с чего начали.

— Хао, хао! — говорит наш приятель-китаец и, хвативши российской цивилизации, после китайского приветствия подает нам по европейскому обычаю руку.

Ухватимся мы за нее и пойдем за ним всюду, куда бы ни повел он нас.

Узенькая улица, низенькие дома напоминают нам Айгун. Деревянная стена кругом Маймачина и ворота, ведущие в нее и заставленные с той и другой стороны ничего не защищающими и ни к чему не служащими ширмами, переносят наше воображение на двор нашего приятеля амбаня Аджентая. Тот также заставился ширмами и тоже намерен пугать намалеванными на

них чудовищами. Символический зверь Китая, длиннохвостый дракон, и здесь кажет нам свою огненную пасть во всех видах — и резным, и рисованным, на домах, на углах, на воротах. На воротах и дверях с большею охотливостью изощрается китайская пугливая фантазия; но в Айгуне она сдержанная; здесь, в Маймачине, она в широких размерах. Там — рваная, босая бедность в заплатах, с продыравленными плечами живет в задымленных деревянных домах сиротливого вида и утлой постройки; там и купец-китаец ходит в бумажных курме и халате и носит валяную шерстяную шапку. Здесь купец тоже китаец, но ходит весь в шелку, начиная с шапки и кончая курмой и халатом, и живет в необычайно опрятных, светлых и просторных покоях, где завелись у него и кое-какие предметы роскоши русского дела. У одного купца мы видели русские картины; другой снял с себя и развесил фотографические портреты. У Сиофаюна и камин завелся, и часы при них под стекляннм колпаком и бронзовые. Ко-ху-син (кажется?) начал строить даже каменный дом и, чтобы заслепить глаза всем маймачинцам, вывел его в два этажа, в величайшую редкость и в единственную диковину целого города, чуть ли не целого Китая. В то время, когда в Айгуне купцы жмутся в двух-трех комнатах, здесь три комнаты только для гостей полагаются, а на втором дворе хозяйские, особые, для приказчиков иные. Хороший костюм, опрятный наряд в Айгуне только у нойонов; в Маймачине редкий приказчик не выряжен в шелковую курму и такую же шапку, какие имеют право носить там только чиновники. Впрочем, взглядысь дальше, мы все-таки несомненно видим, что если верх крыт иначе и богаче, то, с другой стороны, подкладка все та же.

Вот для примера перед глазами у нас наш приятель. Осмотрите его.

На боку болтается подержанный, но неразлучный друг и спутник всякого китайца — кисетик с табаком, плотно слаженный из непрочной, но шелковой мате-

рии. Из-за пазухи торчит неизменная ганза, но с той разницей, что она здесь побольше, чубучок подлиннее и мундштук белесоватый, сердоликовый. Грудь у китаецца маймачинского высокая, но не потому, чтобы не успел он ее испить на опиуме, а потому, что и пазуха, и весь он по случаю холодного зимнего времени простеган кругом ватой и курточку (курму), накинутую сверху, носит меховую, деланную на большую часть из ровненьких и мелких мерлушек. Маймачинский китаец красивее китаецца айгунского и, кажется, поопрятнее.

— Повернись-ко.

По спине лежит неизменная длинная коса, и, к полному нашему разочарованию, она после себя оставила такой же грязной, сальной след на этот раз и по шелковой курме маймачинца, как видали мы и на бумажной айгунца. У того и у другого коса на половину искусственная, шелковая, но так плотно приделана и ловко подделана, что, и взглядевшись, ее примешь за настоящую и позабывши, что и здесь ее рвет и треплет попечительное начальство (в видах поучения и ради наказания) — ее мы готовы почесть за природную. И незаплетенная комом, как у дьячков и горничных наших, китайская коса в Маймачиене отбивает не коровьим, а каким-то душистым маслом. Пахнет им и весь здешний китаец; но заговоришь с ним, и он отшибает маньчжуром: от перегорелого чесночного запаху не продохнешь. На ногах тот же род туфель и хоть с плюсовым, а не валянным из шерсти передком, но с такой же, чрезвычайно-толстой, подошвой. Ухватки и приемы сложились точь-в-точь такие же, как будто и маньчжур и китаец лажены на одну колодку. В Ангуне китаец и сухой и испитой по той причине, что на счет его там маньчжур сытый, румяный и толсторожий; в Маймачине и китаец с таким же одутлым лицом, румяными щеками и заплывшими глазами от жиру, с ленивой походкой вперевалку с медленными движениями, как бы тот же московский купец, иногородний купеческий

сынок. Зато здесь и маньчжуров один только дзаргучей с помощником и десятком чиновников, составляющих штат городского (административного и полицейского) управления. Хотя и сюда дзаргучей (как и в Айгун амбань) приезжает весь общипанный и оборванный до последней чохи, на каковые в Китае покупаются все хлебные и сытые места, маймачинских купцов на него станет. Пусть живет дзаргучей первый год нищим: на второй и следующий заживет он достаточным человеком, с приметным комфортом. На последний год перед выездом в отечество, становясь очень богатым, дзаргучей опять, по примеру первого года, начнет жить как нищий (чтобы, по китайскому обычаю, смиренством этим прикрыть свое богатство от хищного глаза высших властей), тем не менее ему никто в Маймачине в том не верит. Сколько ни дери он со всякого виновного, как ни хитри в прижимках и денежных вымогательствах с самых богатых — тамошнего купца больно не укусишь и самого небойкого из них вовсе не обездолишь. Бери, да знай меру; бери, да делай послабления где попросят; китайцы взятку считают делом национальным и священным; шесть лет тому назад самого отъявленного, но умелого хапуна дзаргучея весь Маймачин провожал далеко за город и теперь вспоминает о нем с удовольствием.

— Собрал он много денег, но для нас, — говорил мне приятель-китаец, — сделал больше, больше всех прежде бывших дзаргучеев.

— Что же вам, китайцы, нужно, чтобы подкуп дзаргучея вашего сделал вас счастливыми? Нужно —

#### ВО-ПЕРВЫХ:

Как торговый человек и притом богатый, как китаец вообще и притом такой, который приехал сюда из большого города (каков, напр., Сан-син), здешний купец привык ко многим запретным сладостям. Ему, набало-

ванному повадкой, многие из них обратились в неодолимую привычку, и, на беду, именно те, которые строго запрещены законом и влекут за собою тяжелые и унижительные наказания. Курение опиума — первый и давний соблазн, да первая и близкая петля. Из-за него загорелась война на юге; ради него, между прочим, и здесь, на крайнем севере монгольской степи, существует наблюдательная, полицейская власть дзаргучея. Она снабжена и бамбуками для пят, и тяжелыми рамами, пуда в три, для плеч; она может ковать по рукам и по ногам грузными цепями времен допетровских; может пожаловаться в Пекин, отправить в Пекин: власть дзаргучея много может. При доме его и судилище пристроено, и тюрьма глядит кривым боком и черным окном со ржавой решеткой тут же неподалеку, точь-в-точь такая же, как и в Айгуне, и везде, где есть наказующая власть и наказуемое человечество. Между тем это человечество, на склоне дней успешнее затворить свое порывистое, кипучее южным огнем и слабое сердце для многих соблазнов, оставляет его отворенным для наслаждений чувственных. Китаец же чувственник насквозь (и это общее мнение); он и кухней обзавелся такой, которая скоро питает, но за этим тотчас же горячит кровь и сильно возбуждает: начнет сладким и жаркими, а потом и пойдет подливать ко всякому куску пряный уксус, всякий кусок заливать аракой — водкой, процеженной сквозь розовые листья, и выведет в конце опять-таки к желтому, самому пряному чаю и к двум сортам орешков (каких в Европе не водится — с гладкой желтой скорлупой и шероховатой коричневой), со внутренней мякотью, не имеющей особенно приятного вкуса, но обладающей конфертативными свойствами. Каждый пряничек, всякая конфетка снабжена какими-нибудь корешками, обладающими теми же свойствами. Скандалезные картины продают открыто и за сравнительно дешевые цены; в измышлениях на них напрягают свою фантазию до крайней степени

смелости, неверия и неожиданностей. Как будто одряхлел организм здешнего человека до невозможности естественных возбуждений и полагает последние и единственные надежды на искусственные; как будто в них только и все спасенье. И идя этим путем до позволения на 45 году жизни отрастить бороду, и дойдя до того времени, когда бороду эту прошибет сединой, у китайца уже ничего не остается и он не находит в себе иных сил, кроме тех, какие можно найти в курьезных орешках, в конфертативных пряничках, в замысловатом янтарном корне жень шеня. Не выручит из беды последний (которому китайская фармакопея приписывает вероятие «восстанавливать потерянные силы, ободрять стариков и возвращать крепость тела, утраченную в любовных наслаждениях») — китаец озлобленно закурит опиум и, впивая его в громадных размерах с раннего утра и до позднего вечера, добьется до того, что из груди сделает доску, из кожи пергамент, из всего тела сухой скелет с ленивыми, вялыми движениями, с сонливыми глазами, далеко провалившимися под лоб<sup>86</sup>. Результатов этих любят добиваться и в Маймачине; а курят опиум и здесь весьма многие, едва ли не все капитальные и пожилые, но курят так, что никто не видит и не ведает, но дзаргучей знает и всегда сторожит ловко налаженным глазом перед тем, как ему самому захочется серебра, и закрывает этот глаз после того, как отсыпят ему этого серебра русского дела в его глубокие и широкие маньчжурские карманы. Добра этого у торгующих на Кяхте китайцев необычайно много<sup>87</sup>.

#### ВО-ВТОРЫХ:

Всякая торговля любит и требует свободы, а китайская, стесненная правительственной опекой и ежегодно сдерживаемая разными секретными инструкциями, присылаемыми из Пекина, требует еще большей свободы. Полной им не дают и не дадут, но маленькие льготы,

из которых умелый может выкроить большие барыши, можно получать от дзаргучея во всякий час дня и ночи. Многомогущий, хотя всего только с беленьким шариком (значит, мичман), дзаргучей и живет попросту, помичмански, чуть ли не с одним денщиком (по крайней мере, угощая нас, он нам сам же и прислуживал при помощи своего товарища и еще двух каких-то чиновных молодцов); попасть к нему не только на открытый двор, но и в его дом, состоящий всего только из двух комнат, весьма нетрудно — нет ни швейцаров, ни цепных собак, ни *jour fixes*; дзаргучей всегда готов (это мы на себе самих испытали). Желаемая пышность и видимая торжественность, на какую натолкнулись мы в Айгуне, здесь в сношениях с дзаргучеем сменена простотой и готовностью. Что в Айгуне объявляли нам запретным, то здесь, в Маймачине, показывалось во всей наготе и подробности, да так, что все это как будто давно уже так устроено и прилажено. Если в Айгуне, для того чтобы ночевать у купца, надо было просить разрешения у амбана и он мог давать его, то здесь спросить об этом у дзаргучея и не подумают. Там, чтобы купить принадлежности национального костюма, мы должны были просить разрешения у чиновника, на которое он сам уполномочен был амбанем; здесь, в Маймачине, мы могли брать все, что имелось в лавках; мало того, все, что нам было нужно, приносили в Кяхту на дом, принесли бы и в Троицкосавск, если бы пропустили на нашей таможенной заставе. В Айгуне купец торгует и оглядывается, чтобы лишний раз не попало в спину или шею (за что? — он и сам не знает), здесь купец ни первой не сторонит, ни за вторую не боится. Он делает так, как ему вздумается и как он захочет, и делает это потому, что ходил к дзаргучею с подарком, потому что самого дзаргучея обязывает на прием поднесенного и народный обычай, и народная вера. На второй день «белого месяца» (китайский Новый год) к дзаргучею и его помощнику приносят подарки, говорят, в таком

громадном количестве, какому озлобленно позавидовал бы блаженной памяти любой наш городничий в Ростове ли то, в Рыбинске, в Ельце или Моршанске. В китайском Моршанске — Маймачине — живется и торгуется, таким образом, свободнее, чем в соседнем городе и, может быть, потому только, что купленный и подкупной дзургачей не свободен и не позволяет ему совесть кривить в третий раз, подчиняясь внушительным, но стеснительным приказаниям из Пекина. Сам Пекин, в свою очередь, иначе отношений к пограничным соседям не понимает, как таким только образом, какому выучили его старые предания и прежние примеры. По предписанию пекинского двора два раза в год дзургучей от имени богдыхана дарит нашим чиновникам по несколько кусков лучшей шелковой материи и по несколько ящиков самого редкого душистого чая, и притом только тем из них, которые находятся в непосредственных и близких отношениях к пограничному торгу и могут принести зависящую от них пользу подданным Небесной империи, великого Цинского государства<sup>88</sup>.

### В-ТРЕТЬИХ:

Для того чтобы быть маймачинскому китайцу счастливым, ему необходима неприкосновенность всех начал и правил, на каких устраиваются все так называемые фузы — все те торговые компании, мимо которых редкий китаец торгует и вне которых существование его предприятия невозможно. Глубоко храня в секрете все основные положения и самому искреннему другу из русских не доверяя их, маймачинские китайцы не поделились этим знанием в пример и поучение нашим. Полтора ста лет прожили те и другие о бок друг с другом, и в то время, когда богатела одна сторона, стоящая привычной ногой на прочном и твердом фундаменте, — другая сторона колебалась между жизнью и смертью, старалась поставить ногу, но попадала в бо-

лото и, едва удерживаясь, попадала в самую трясиину и в ней погрязала. В то время, когда китайцы торговали людными и сильными компаниями и все компании по секретной инструкции действовали за единый дух, наши торговали в одиночку, с ненадежными капиталами, с ничтожными ручательствами, всегда в ущерб друг другу, очень часто в ущерб самим себе. Когда маймачинские дзаргучей попивали чаек душистый да помалчивали, из Иркутска в Кяхту наезжали чиновники, усердно делали обыски, конфисковали товары купцов, изумляли всех своею находчивостью и деятельностью. Маймачинский купец тем временем рядился в шелковую курму, и завертывался от холода в соболей, и ел с чем-то двадцать блюд ежедневно, обогатил одного дзаргучея, обогащал другого; между тем на Кяхте двенадцать купцов обанкротились, а многие умерли нищими. У русских стеснительные меры задержали торговлю, и непрактические правила сводили ее на окольный путь, и вели по трущобам и рытвинам; у китайцев она с первого раза попала на настоящий путь и пошла под руководством мудрых правил так бойко и сильно, что, говорят, сансинские монополисты и деньги считать перестали. А всему виной особого дела и склада компании, эти фузы китайские с огромными титулами сохраняющихся добродетелями поколений — ши-ты-чуан; чистого нефрита справедливости — мы-ю-кон; возвысившихся от великого согласия — ко-ху-син; всегда счастливых в предприятиях — сию-фа-юн; источника обновляющихся справедливости — син-и-юа; доброты чистого нефрита — мы-ю-ты и проч.<sup>89</sup> Про фузы эти на Кяхте очень мало известно. Знают, напр., что это род европейских торговых домов и даже вот с такими же коротенькими и хвастливыми фирмами; знают, напр., что некоторые фузы, с разными отделениями и под другими видами и именами, владеют торговлею всего Китая, и сансинская фуза на Кяхте имеет отделение свое в Пекине, в маньчжурской столице Мукдене,

поместила приказчиков в Айгуне, для ведения торговли с англичанами в Кантони и опять с русскими на южных границах западной Сибири: в Кульдже и Чучучаке. Видят наши кяхтинцы, что все эти толпы приказчиков, наполняющих входные, передние комнаты богатых купцов, исполняют обязанности прислуги (кстати сказать, свободно и чисто), исполняют недолго и притом не как рабы, а как товарищи. Знают кяхтинцы, что здесь всякий приказчик при поступлении на службу заполучает пай, который, при счастливых оборотах торговли, возрастает в солидную сумму. На нее через каких-нибудь десять-двенадцать лет в одно прекрасное утро тот же толсторожий и краснощекий сытый молодец, который вчера закуривал гостю ганзу и разогревал в медных чайниках на угольках тепловатую араки и горячий чай, сегодня объявляется хозяином, делается сам ответственным или главным участником, компаньоном благодетельшей ему фузы. А затем круговая порука эта идет в бесконечность; одряхлевшие старики, не смея складывать на чужеземной почве свои никанские кости, везут их в сырую землю своей сансинской родины.<sup>90</sup> На их место выдвигается новое поколение из прежних приказчиков — теперешних хозяев, которые также в свою очередь вытискиваются богатеющим и подрастающим сначала до усов, а потом и до бороды поколением новых деятелей, но с теми же старыми и окаменелыми приемами и убеждениями. Из числа последних самым главным держит купец на уме то, что он должен вместе с другими действовать во вред русской торговле. И действует, насколько хватает сил и умения, не стыдясь прибегнуть ко лжи, нагло прикрыться обманом. За эти добродетели его выручает компания, фуза, и поддерживает все торгующее на Кяхте сансинское товарищество — Маймачин, весь торговый городок.

И достигает китайца счастье и удачи и с этого боку, и хорошо ему торговать на Кяхте потому,

## В-ЧЕТВЕРТЫХ,

что русского сколько хочешь дави — у него на Кяхте сила небольшая (она вся в Москве, а здесь только оборыши, остатки). Компании собираются на Плотине<sup>91</sup> только для картишек да для выпивок, а таких, как в Китае, ладить не умеют ни для торговли, ни ради ремесла и промысла. И в-пятых,

## НАКОНЕЦ,

китаец — не русский, а совсем другой человек.

Мы, впрочем, другого о том убеждения. Пришли в Маймачин, чтобы поискать черт, схожих и родственных с нами, и не находим их на первых порах потому только, что собственно китайские черты слишком крупны и соблазнительны для исследования. Но, отделяя их, мы все-таки вынесли то убеждение, что человек видоизменяется в коренных основаниях очень мало: он только верхнюю шкуру иногда надевает другую, силится видоизмениться, иногда как будто достигает цели, превращается. Станешь скоблить да докапываться, смотришь: наш брат — воочию.

Впрочем, говорим мы все это по поводу предмета, который нас в настоящую минуту занимает; а боясь утомить читателя подробностями этого большого дела, мы подберем теперь только черты крупные, собственно китайские. С нас и их будет довольно на первый раз.

Купец-китаец — как мы сказали — прежде всего чувственник, а потом сибарит. Сибарит он насквозь. Для этого у него много досуга. Горячее время чайной торговли кипит только в течение двух-трех месяцев; в остальные месяцы долгого года течет тихо и ровно, без порывов и напряжения<sup>92</sup>; некоторые месяцы задаются даже и такие, что купцу стоит сесть, развалиться и задремать: никто и ничего ему в этом не помешает. Оно действительно и бывает так. Приспособив так называемые вольтеровские кресла русского дела, он ради

безделья сидит в них и дремлет, как кот, жмуря глаза, заплывшие жиром, лениво шевеля нежной и мягкой рукой по привычке; в руке этой у всякого китайца имеются шарики. Игрой и перебрасыванием шариков этих во всякий час и во всех случаях китаец старается заполнить пустоту досужего и досадного времени. Почти всякий из китайцев от частого употребления доводит это занятие до фокуса и виртуозности, а самые шарики вытирает до того, что они не имеют уже ни образа, ни подобия. Дремлет и шевелит в руке этими шариками хозяин-купец во всякое время, даже и тогда, когда русские приятели угощаются у него заказным китайским обедом. Раскрывает он глаза для того, чтобы поправить свою шапку (таковую китаец снимает только на ночь и, может быть, спал бы в ней, если б это было удобно и возможно) или с тем, чтобы приказать подлить араки, попотчевать чаем. Проводивши гостей и наговоривши им кучу комплиментов, он опять садится и дремлет, дремлет и засыпает, если сумеет и сможет. В противном случае у сибарита-китайца и на этот предмет найдутся средства и приспособления. Не берет его сон и не смежаются очи, он устремляет их на птичек, порхающих привязанными за ножки по комнате; следит за их порывистыми, но сдержанными движениями, внимательно прислушивается к их веселому чириканью. Не поможет это — у него на столе стоит много органчиков, в комнате приспособлены колокольчики; мало того, он может лечь на нары, подогреваемые снизу и способные нагреть ему один бок до истомы (если не поленится перевернуться на другой). А если догадается — приложит к уху знаменитый стеклянный ящичек с заключенным внутри его жучком, сверчком, кобылкой; насекомые эти шуршат по стеклу ножками, шуршат в бесконечность, силясь удержаться на скользкой поверхности и установиться на ней, — и китаец в конце концов достигает своей цели. Сон возьмет его, и возьмет с тем радушием и готовностью, с какими он любит принимать в свои

объятия людей сытых, беззаботных, мало думающих о завтрашнем дне, крепко довольных сегодняшним.

В этом отношении китайский купец в Маймачине похож на маньчжурского чиновника, т. е. так же вял и ленив в движениях, с безжизненным взглядом, с ненавистью к умственным упражнениям; не читает книг, даже и романов, каковыми преизбыточествует китайская литература. Он и чайные дела ведет потому хорошо, что идут они намеченным и заведомым путем и подталкиваются молодыми и крепкими руками поразительного множества приказчиков<sup>93</sup>. Он и из дому редко куда выходит, не имея в том большой нужды, и посещение таким большим человеком русского купца считается у наших праздником, великою почестью, и особенно по тому смыслу, что китайцы до визитов озорные и неудержимые охотники, доводящие притязательность до смешных и крайних размеров. Комиссиями торговыми занимаются у больших купцов их старшие приказчики, и только маленькие ведут это дело сами. И не столько за делом, сколько ради того же безделья с раннего утра до позднего вечера русская Кяхта преисполнена посетителями из Маймачина.

Сколько десятков раз ни приводилось мне бывать в торговой слободе русской, я приходил в изумление от бесчисленного множества китайцев, бродивших толпами и кучками; я благоговел перед терпением, с каким относились к этим шатунам-посетителям наши кяхтинцы. И нет дела — китаец лезет в дом и от безделья; и хозяйева уехали в Троицко-Савск — ему и до этого нет дела. Зачем же приходит он? Ответ дешевый: промотать в чужих людях добрую долю докучного времени; выждать, не разохотится ли сам хозяин на разговор, не подвернется ли человек свежий или словоохотливый. Тогда он часы посмотреть попросит, осмотревши их на своем веку целые сотни; пуговицы потрогает, очки выпросить примерить; ганзой попотчует, папироску выпросит; пригласит к себе в гости из вежливости и по

принятому обычаю; не придете к нему — он и не вспомнит. И это — все-таки дело; всего этого в Маймачине он проделать не может. В Кяхте китайцу все терпеливо прощают; ко всему этому там очень привыкли. Для китайцев имеют отворенным парадное крыльцо, затем оставляют переднюю и залу и отдают эти комнаты в полное распоряжение, но непременно с тем, чтобы двери в другие комнаты были заперты. Китаец назойлив: если приотворена дверь — то он и в кабинет влезет; если захочет большего, то не затруднится и в спальную пройти. Притворены двери — он и залой остается доволен. При этом в зале, кроме мебели, ничего оставить нельзя; забыто что — китаец непременно украдет и след припрячет. Вообще нечистые на руку, не один десяток раз воровавшие иконы в серебряных ризах, медные лампадки, даже вербу и фарфоровые яички, китайцы прикрывают порок этот народным поверьем и в течение всего «белого месяца» воруют все поголовно, от самого богатого и до самого бедного, в видах за-получения счастья в торговом и других общественных предприятиях. Чтобы помирволить этой национальной слабости, наши купцы обязали себя такой штукой (приготавливаемой обыкновенно для приятелей): где-нибудь в углу, под комодом, за шкапом бросают дешевенький бумажный платок, с нежно любимыми русским и китайским людом городочками, с изображением истории Дмитрия Самозванца, Наполеона, Петра Первого; иногда платок этот привязывают к ножке стула: пришедший китаец подарок слизнет непременно. Веря в простоте сердца (или стараясь обмануть себя) в то, что подложенная нарочно вещь попалась нечаянно, в похищении ее китаец полагает для себя великое счастье и беспредельную радость: целый год ему будет удача во всяких предприятиях, «ван-сун-чо» (по-китайски)!

Обычай этот, восходя источником своим до того древнего времени, когда установливались первые сношения наши с Китаем и положение русских на Кяхте было

шатко и ненадежно, когда правительство и начальство настоятельно требовало от русских купцов постоянных и всяческих уступок, твердило о кротости взаимных отношений, о необходимости угодничества, не теряет обязательной силы и в наши дни, когда все это стало не нужно. Не нужна и терпеливость, которая сложилась в привычку, не нужны и платочки, подкладыванье которых обратилось в непрменный обычай, забаловавший китайцев до того, что они не задумались злоупотребить терпением, не постыдились зарекомендовать самый обычай, несмотря на то, что он у соседей почитается пороком, называется преступлением. И кто усомнится в том, что и теперь, хотя налаженным и наповаженным путем, китайцы бродят по кяхтинским домам для чего? Чтобы нагрязнить, наследить, наплевать, насорить табачным пеплом, посидеть на чужом стуле, подхвативши под себя ногу (о которую — кстати сказать — прямо на пол выколачивается трубка), поглядеть в чужое окно и при случае надоесть чужому человеку, а очень часто попросту намолчаться мрачно, нагрубить резко; что-нибудь наобещать и обмануть непременно; что-нибудь стянуть, если попадетсЯ под руку. Не воруют только короткие приятели, но входить в дом, по старым приказам и обычаям, имеет право всякий китаец; даже монгол из Гобийской степи может класть свои широкие следы на крашенных полах кяхтинских мучеников.

Мне один раз посчастливилось: нашелся китаец, который вызвался принести показать и продать мне так сильно расхваленные искусственные цветы китайского дела и не обманул на этот раз (потому, главным образом, что китаец, как еврей, поторговать любит чем бы то ни было). Цветы были сделаны действительно очень замысловато и искусно, в особенности те из них, которые были приготовлены из так называемой рисовой бумаги<sup>94</sup>. Я был изумлен, подкуплен замысловатым мастерством и ловкой подделкой под природу и не мог скрыть этого изумления.

— Никански люди — мудрены люди! — выговорилось у меня на первый раз и говорилось потом вообще о способности народа этого ко всему тому, что требует усидчивой работы, тонкости в деле и нечеловеческого терпения в отделках. Китаец внимательно слушал меня молча, с трудом понимая русский язык, и вдруг схватил меня отчаянно за руку, потащил к себе и к двери, указывая на которую, говорил он мне:

— Пожала ходи!

— Куда? Зачем в твою юрту?

— Моя ва тиби хорошанки цай почивай буду. — Между тем глаза горят неестественным диким огнем и на тот раз показались мне страшны и неприятны. А я все-таки слышу дальше:

— Закуски всяка манер за нама еси.

— За что такая милость?

— Уруски люди — хорошанки люди! — твердил китаец и усердно продолжал тащить меня в дверь, увлек на двор и только на нейтральной земле отпустил мою руку, наболевшую от пожатий и приглашений. И идя потом впереди, не переставал он оглядываться, как бы не доверяя мне; и приведя к себе в дом, запотчевал меня так, как бы самого выгодного и богатого кяхтинского приятеля.

— Уруски люди — хорошанки люди! — продолжал твердить он и после того, как удалось ему разбудить своих вечно дремлющих компаньонов и привести ко мне, чтобы познакомить.

— Таки слово поговори было: никански люди — мудрены люди! — объяснял он товарищам и при этом, показывая на меня рукой, обнаружил детское непритворное удовольствие.

Только теперь стал мне понятен этот порыв его, эти мгновенно и ярко загоревшиеся глаза, оттого что мне (нечаянно и без намерения) удалось попасть в самую нежную жилу китаецца, ударить по самой чувствительной струне его простого, безыскусственного сердца. Па-

триотизмом называется эта струна и эта жила, патриотизм зажег глаза у моего приятеля; он же разбудил и его товарищей в самую сладкую послеобеденную пору, когда половина Маймачина любит понежиться.

Затем, при дальнейших столкновениях моих на этом пункте, струна патриотизма давала звук, хотя и всегда однообразный, но всегда по первому возбуждению и за-  
требованью.

На что бы ни посмотрел китаец, на часы, например, у него всегда готов равнодушный, далекий от изумления взгляд, всегдашний неизбывный ответ:

— Печински лучши (т. е. хороша твоя вещь, а в Пекине делают лучше, хотя, может быть, и не такие)!

Мы имели случай показать замысловатую французскую детскую игрушку; но китаец и на этот раз отвечал досадным равнодушием и хладнокровным ответом:

— Печински лучши!

Показывали внутреннее устройство фортепиан; сложную систему шпенечков на валу органа; уверенно рассчитывая этим растрогать и добиться эффекта.

— Печунски лучши! — картавил досадный китаец. Но в хладнокровии своем действительно был и логичен, и нелжив. В самом деле, стоит войти в подробность и короче познакомиться со всеми теми диковинками, какие производит Китай, чтобы окончательно утратить способность изумляться европейским замысловатым безделушкам.

— Я, когда смотрю на китайца, — говорил мне один из кяхтинских старожил, — мне всегда приходит на память и хочется сказать каждому из маймачинских: действительно, вы мудреные люди. Шутка ли, в самом деле, когда они и жемчуг выдумали делать искусственно из простой раковины, которая водится в пресных водах<sup>95</sup>.

И хотя человек этот был не лишен увлечений и находился под сильным обаянием хорошо известной ему китайской цивилизации и ее видимых внешних проявлений, тем не менее он не был ни первым, ни последним.

Сколько крупных примеров у нас в России тому обстоятельству, что долго прожившие в Китае и возвратившиеся в отечество наши вывозили благоговейный, простодушно-детский восторг от всего того, что клало на них влияние и металось у них перед глазами в течение каких-нибудь шести лет, проведенных в стенах миссии. Если, с одной стороны, наша податливая, уступчивая народность давно ищет чужих образцов в европейских национальностях, то, с другой, чем же другим, как не своей силой и законченностью влияет на русскую восприимчивую натуру китайская цивилизация. Теперь, когда прошло время невежественных насмешек над всем, что не носит европейского оттенка, пошиба, когда глумления эти становятся смешными и когда приблизилось вероятно более короткого и пристального знакомства с Китаем, люди эти перестают быть чужаками, смешными эксцентриками. Жаль только об одном, что из боязни насмешек они не рассказывают о своих увлечениях. В них, несомненно, нашлось бы много такого, над чем европейцам привелось бы остановиться и призадуматься. Кто знает: может быть, даже привелось бы сказать, что вот рядами войн за веру, Крестовыми походами, изобретениями, успехами наук, революциями и реформациями европейские народы вперед, видимо, ушли далеко, оторвались от первоначальной азиатской почвы своей; выработывались в новый народ с новыми правлениями, законоположениями и обычаями — и между тем неподвижный, замкнутый Китай то тут, то там покажет такие стороны и обнаружит такие виды, которые уже несколько столетий Европа считает прирожденными себе, своими кровными детищами. Что же это такое? Европа ли, идя прогрессивным путем, незримо и неожиданно во многих местах и явлениях шла путем ретроградным и дошла наконец до начала своего, крайний корень которого все-таки и несомненно для нее укреплен был здесь, в азиатских горах и равнинах. И если Европа отошла неизмеримо далеко и на самую

огромную половину своих начинаний от деспотического, эгоистического, полудикого Китая, то во многом он все-таки может найти себе оправдание здесь, и, во всяком случае, в уроках этого громадного государства найдет много больных уколов для себя не в бровь одну, а прямо в глаз. Мы этому, конечно, можем окончательно поверить только тогда, как представится более легкая возможность сопоставлений и сравнений на очных ставках, когда откроется широкий путь в самую глубь и в самую суть китайской премудрости, любопытной, обширной, не лишенной глубочайшего общечеловеческого значения. Несомненно то, что в Китае все задумано в широких размерах, решительных и смелых, но все в то же время как будто недорешено, но по бездарности и бесталанности народа, а также по каким-то другим отдаленным и временным причинам, едва ли не одинаковым с не менее самоуверенною и едва ли не более хвастливою Европой.

Что всего резче бросается в глаза: это недостаток прочности во всех делах рук китайских. Китайцы думают о будущих годах менее, чем о настоящем лете, и в то время, когда для настоящего у них много, для будущего мало. С них довольно, чтобы жить со дня на день: они привыкли даже тяжелую жизнь считать счастьем. Соображение европейца простирается на отдаленное будущее, и ему дик и странен китаец собственно потому, что он не предусмотрителен и беззаботен в такой мере, что осужден на вечную тяжелую работу и на бедность, кажущуюся ему невыносимой.

Живет он в домах, построенных из сырого кирпича, глины и плетня, набитого землей, под потолком из тростника, привязанного к перекладинам; перегородки делает из бумаги, которая больше года не держится. Таковы же у него посуда и мебель, приготовляемые большею частью не из металла, а из того же дерева. Им желается приобретение более дешевое, а зато и получают они его менее прочным. Большие пространства

земли (преимущественно болотистой) лежат нетронутыми, необработанными именно потому, что на это дело потребовалось бы несколько лет; надо прорыть канавы, ждать, пока они высушат место; необходимо потом предоставить еще сушиться солнцем и пока болото станет давать жатву, а для того надо долго хлопотать, между тем как рис — хлеб очень плодородный: дает возможность жатвы два раза в год (в июне и октябре), и китаец приучил себя к уменью ограничиваться в начале восьмимесячного периода, разделяющего время обеих жатв, чтобы не нуждаться в конце его. И все-таки ни в одном государстве не бывает таких жестоких и частых голодовок, как некогда в России и теперь в том же Китае, о котором, собственно, и речь наша.

«В тех вещах, где вознаграждение следует за трудом скоро, где работы таковы, что немедленно дают результаты, китайцы совершили изумительные успехи. Благодаря теплomu климату, естественному плодородию почвы, приобретению жителями знания того, какие земледельческие продукты дают выгодный урожай, китайцы почти изо всякого клочка земли умеют очень быстро извлекать тот продукт, которым, по их мнению, с избытком вознаграждается труд ее обработки. Они собирают в год обыкновенно две, иногда три жатвы. Почти каждая местность, которую можно обрабатывать без большого труда, находится под посевом. Китайцы взбираются на холмы, даже на горы, и обращают их в террасы. Вода, главное условие плодородия в их земле, проводится на каждый кусок нивы канавами или поднимается очень удобными и простыми машинами, которые с незапамятных времен употребляются этим народом. Дело это облегчается для них тем, что почва даже по горам очень глубока и покрыта толстым слоем растительных остатков. Но еще замечательнее охота, с какою они обращают в пригодные для них вещи материалы, негодные для обработки, если опять-таки труд скоро может принести результат, для которого со-

вершается. Свидетельством тому служат часто встречающиеся на их озерах и реках постройки, подобные плавучим садам перуанцев: это плоты, покрытые растительной землей и служащие нивами. Европейские путешественники изумляются, видя маленькие плавучие фермы подле болот, которые для превращения в нивы стоило бы только осушить; им странно кажется, что китайцы употребляют свой труд не на материк, где его результаты были бы долговечны, а на сооружение того, что портится и в несколько лет пропадает». «Горизонт китайцев не имеет европейской обширности», заключает шотландец Ре, один из первых обративший на Китай внимание как политико-эконом, с точки зрения своей науки.

В последовательном порядке нам оогаается рассказать о том, как смотрела на Китай Россия и в каких отношениях, вследствие выработанного ею взгляда, она находилась к этому соседнему государству. Знакомству русских с Китаем скоро минет два столетия. Мы стояли с ним в более близких связях, чем все другие европейские государства. Народ заводил торговые дела, правительство входило с ним в политические обязательства.

## 2. РУССКИЕ В КЯХТЕ

Когда во время царя Грозного, после покорения двух татарских царств, московскому государству открылась возможность к приобретению новых земель и новых народов, ослабленных падением Казани и Астрахани, двух крепких и сильных центров востока России, — в русском народе уже готовы были все формы, благоприятные новым замыслам московских царей и способные отвечать стремлениям их к завоеваниям и приобретениям. Казачество, бродя вооруженными толпами на южных и восточных окраинах Великороссии, не только воевало, но при благоприятных обстоятельствах, по

примеру Ермака Тимофеевича, завоевывало значительные пространства земли, до тех пор заселенные кочевниками. Сами полукочевники, русские люди, следуя давним отцовским обычаям и примерам, брели врозь, с мест насиженных на неведомые, с утесненных — на малонаселенные и свободные. Разбитые и разрозненные сыны Новгорода Великого шли, под видом торговых людей и в видах распространения торгога и промысла, не стесняясь негостеприимством северных стран и северных инородцев, налаживали торговые тропы по тундрам, вели коммерческие пути через горы и, попадая на казачьи дороги, завязывали прочные связи там, где бездомовые удальцы успевали класть первые основы подчинения. Вскоре после того, как вооруженная рука, счастливая удачей и ею же набалованная, спешила убивать князьков и владетелей, лучших людей из племени отсылать в Москву заложниками, с остальных собирать первый ясак и назначать количество и места для складов нового — торговые люди являлись с караванами, заводили мену, мирным путем своего дела упрочивали казачьи приобретения. Москва получила Пермь, приобрела Сибирь. Подвигаясь вперед очертя голову, не разбирая средств, не оглядываясь назад и не спрашивая дозволений, сибирские казаки преимущественнее других обнаружили в этих предприятиях изумительную деятельность, поразительное умение и навык. В силу их Москва, при отправлении на новые земли своих воевод, стала уже заручать их неизбывным и неременным наказом — «расспрашивать и промышлять неоплошно новые землицы и приводить иноземцев под государеву царскую высокую руку и ясак с них иметь на государя с великим раденьем». Наказы эти, принявшие у первых преемников Грозного форму общего места, нашли уже русских на трех великих сибирских реках, из которых на дальней великой реке Лене сидели смелые и предприимчивые удальцы. Здесь собрались и организовались те промышленные артели,

каким обязана Россия приобретением Амура — из всех отдаленных рек сибирских самой дальней и самой соблазнительной. В то время, когда выходец из Великого Устюга, Хабаров, сидел в укрепленном городке Албазине на самом берегу Амура и товарищи его пробирались в реку Сунгари, — новгородские торговые люди с другой стороны были уже за морем Байкалом и там наскоро ладили торговые связи с туземцами.

Таким образом в двух местах безрасчетно и неожиданно Московское государство очутилось в близком соседстве и в непосредственных соотношениях с огромным, богатым, накрепко зачурованным и неподвижным Китаем. На нем остановились смелые казачьи попытки — и не пошли дальше; здесь же оборвались новгородские торговые тропы и, повисши над пропастью, повернули назад; бороздили Сибирь, пробрались в Камчатку, перекинулись в Америку, прилаживались в Японию, на островах Сандвичевых оставили русские следы<sup>96</sup>, едва не забрались на острова Ликейские (Лю-су), рассчитывали на острова Филиппинские<sup>97</sup>, но на Китае остановились, и дальше границ Небесной империи новгородская, смелая и привычная, нога не ходила.

Дела амурские известны. Только около сорока лет сидели русские на Амуре владельчески, завоевательно, и, как полноправные хозяева, на всех занятых местах строились домами, заводили хозяйство, и, снятые с обогретых мест Нерчинским трактатом 1689 года, не прерывали связей с амурскими обитателями даже до наших дней. Амур был всегда самым живым вожделем. Петр Великий на устье этой реке смутно предполагал и гадательно рассчитывал основать столицу; Екатерина II старалась фактически выпросить у китайцев право свободного плавания, чтобы по реке этой снабжать Камчатку хлебом; Александр Благословенный в инструкции Головкину повелевал, между прочим, «в

случае согласия китайцев на распространение торговли с Россией, исходатайствовать право содержать ей своих торговых агентов на устье Амура» и «разведать о степени судоходности реки и вытребовать у китайцев позволение ходить по Амуру хотя несколькими судам ежегодно, для снабжения Камчатки и русской Америки необходимыми припасами»<sup>98</sup>. «Признавая Амур за Китаем (объясняет инструкция в другом месте), доказать ему, таким образом, что Россия ищет этого плаванья не из видов честолюбия, а единственно из сродолюбия к своим отдаленным подданным и тем оказывает Китаю свое доверие, потому что повергает судьбу этих областей в руки китайцев, которые, возбранив ход по Амуру, могут наказать Россию в случае какого-либо с ее стороны проступка. Если эта попытка не удастся, надобно будет внушить китайцам, что Россия вынуждена искать приобретения на островах Индийского океана и окончить негоциацию по этому предмету с одною державою, не называя с какой».

И все-таки с лишком пятьдесят лет прошло с тех пор до того времени, когда Амур Пекинским договором, 2 ноября 1860 года, окончательно укреплен за Россией в тех пределах, в каких она того желала (т. е. с правым берегом реки Уссури и океана).

Таковы были отношения о этой стороне по поводу амурского вопроса, самого трудного и запутанного.

Иную картину представляет другая сторона, более прочная и не менее важная, это — сношения русских с китайцами в других пограничных пунктах, вне-амурских.

В первом случае удачам нашим мешала неуступчивость и надменность Китая, счастливого многими победами и завоеваниями: в середине и конце прошлого столетия Китаем покорены были Тибет и Малая Бухара, или Восточный Туркестан. Враждебное Маньчжурской династии племя или тайное общество «Белой водяной лилии», хранящее в среде своей потомство природной

китайской династии Мин, было еще малочисленно; теперь члены общества разбросаны повсюду (есть даже у трона богдыхана), и хотя возмущения ее адептов были часты, но они были до того часты (и ничтожны), что пекинский двор перестал даже обращать на них внимание. Опираясь на воинственный дух солонов (коренное маньчжурское племя) и на монголов — обязательных защитников империи, Маньчжурская династия не боялась ни морских разбойников Китайского моря, ни острова Формозы — вечных и заклятых врагов Китая — и, отступившись и признавши независимость Кореи и горского народа мяо-дзы (китайских шапсугов и черкес), она в то время не имела никаких оснований к опасениям со стороны инсургентов, теперь и грозных и счастливых завоеваниями, и со стороны Англии, которая уже поставила теперь свою ногу в самом Пекине.

Но в то время, когда русские очутились на границах Китая и входили в сношение с монголами, сам Китай утратил свою независимость, покорившись маньчжурам, и сами маньчжуры, вступая в свои владельческие и завоевательные права, на первых порах стояли в необходимости искать сочувствия пограничных вассальных земель, принуждены были мирволить всем их видам и пожеланиям. Мало путались они в сношения русских с китайскими соседями, позволяя ходить купеческим караванам не только внутрь Монголии, но и внутрь Маньчжурии (во владения, как называли наши казаки, князя Шамшакана), и только когда торговые караваны стало снаряжать само правительство и маньчжурское сошло таким образом лицом к лицу с нашим, побежденным им в Нерчинске, — начались придирки и притеснения. Посольства русские, одно за другим (в количестве четырех кряду), не имели успеха по ничтожным причинам несоблюдения церемоний (какими оправдывались послы петербургские), в сущности по тому обстоятельству, что русские и Россия пользовались малым уважением в глазах пекинского

правительства. Оно допустило сношения в виде исключения для себя, в видах особой милости для России, но России не знали, и могли узнать ее только в представительстве нашей миссии, и судили о русских по тем лицам, которые составляли миссию.

Не входя в разбирательство того, что хорошие люди нужны были в отечестве, что выбор членов миссии производился людьми, незнакомыми с требованиями дальней страны и неведомого народа — часто наугад, часто по одному произволу и по частному капризу, — пекинский двор мог видеть и хотел видеть только то, что ему показывали. Показывали же ему безрасчетно и безразлично даже и то почасту, что и в России привыкли прятать, чем и в России тяготились. Как будто желая сбить с рук тяжелую ношу, за неимением иного выхода сваливали ее в Китай. Начальниками и членами миссии нашей в Пекине явились люди нетрезвого поведения, плохой нравственности. Пекин как бы служил в этих случаях последним ссыльным местом — предшественником расстрижения; миссия как будто полагалась исправительным заведением, но в особенном смысле (при благоприятных условиях замкнутости в четырех стенах подворья и крайнего бездействия и безвыходности положения) — она являлась в плохих условиях, усугубляющих пущую распущенность, увеличивающих вящую порчу людей. Люди эти, мало обученные жизнью, не выработавшие характера, плохо осваивались со своим общественным и политическим положением<sup>99</sup>. Еще в 1817 году (в апреле) вновь прибывший в Маймачин дзаргучей спрашивал директора кяхтинской таможни Голяховского:

— Для чего люди без поведения посылаются в Пекин?

Голяховский отвечал ему:

— Правительство всегда выбирает людей с поведением, но, видно, отдаленность от своего начальства и

малозанятная жизнь доводит их до такой слабости, которой прежде не примечено было в них.

И хотя дзаргучей заметил на это, что он не сомневается в том, что русские во всех отношениях хороши и что жаль только, что выбор духовного начальника неудачен, тем не менее еще в 1814 году из Пекина возвращены были в Россию «за слабость поведения двое — ученик Лев Самойлов и церковник Пальмовский».

Да еще и задолго прежде состав пекинской миссии был не блестящий. Только два первых начальника составляли некоторое исключение. Простой полуграмотный священник, Максим Леонтьевич, отведенный в плен из Албазина (в 1685 году) вместе с 25 русскими<sup>100</sup>, вел себя кротко и трудолюбиво; некоторых из китайцев успел обратить в христианство, у пекинского правительства пользовался уважением. Уважение это перешло и на преемника его, архимандрита Иллариона, и обнаружилось на этом тем, что богдыхан наградил нашего монаха достоинством мандарина 5-го класса, а иеромонаха и иеродиакона, бывших при миссии, произвел в чин 7-го класса. Тем, однако ж, благоволение пекинского двора к русской миссии и кончилось. Следующий духовный начальник, прибывший в Пекин в 1719 году, архимандрит Антоний, за дурные поступки, был выслан из Пекина под присмотром. Преемники его (исключая Гервасия и Амвросия) возвращались в Россию с невыгодными отзывами о себе и в самой сущности дела и в большей части случаев были, сверх того, необразованны и вовсе не готовы к такому важному посту, каковым оказался наш русский о бок с миссионерами католическими. Эти, пользуясь благоприятным случаем, делали все, что могли. По их внушениям и влиянию пекинский двор и правительство прекратили всякое сношение с нашей миссией; многие албазинцы успели впасть в буддизм, частью перешли в католичество. Вместо того чтобы хорошей организацией своей заменить всякое нарочное посольство, миссия, к тому же

скудно обеспеченная в денежных средствах, бесплодна была даже для торгующих в Кяхте: не вела справочных цен, не замечала торговых нужд и требований китайцев; наконец, долгое время содержащаяся на счет китайского правительства, не пользовалась сочувствием самой паствы, изъявлявшей желание, чтобы миссия в церковном своем служении следовала грамоте, данной в 1695 году от тобольского архиепископа Игнатия находившемуся тогда в Пекине священнику, где он велел приложить ектению о китайском императоре, чтобы молить Бога об умножении лет и живота его и о прочем.

«Миссия, существуя с давних лет в столице Китая, не доставляла России никакой пользы» — говорит инструкция, выданная Головкину, и предписывает затем послу хлопоты о том, чтобы снабдить архимандрита ее нужными наставлениями, исходатайствовать ему позволение присылать донесения в министерство иностранных дел по крайней мере четыре раза в год и сноситься с своим правительством по делам купцов.

Несмотря на то что миссия прожила в Пекине с лишком столетие, в начале девятнадцатого Россия все-таки не знала многого о Китае, не знала ничего положительного политического и при назначении нового посла рассчитывала только через посредство его разведать о том, что уже давно ей надлежало ведать. Головкин должен был собрать сведения о политических видах пекинского двора, о его связях или вражде с сопредельными владельцами и народами; обязан был узнать, каких склонностей сам богдыхан и его министры: миролюбивых или завоевательных, и если в них есть расположение к завоеваниям, то в какую сторону более клонится их стремление распространить свои границы. Кроме того, посол обязан был собрать точнейшие и подробнейшие сведения о силах, средствах и состоянии Китая, об отношениях китайцев к маньчжурам и монголам; о поведении пекинского двора с далай-ламой Кутухтой и

узнать, до какой степени влияние их на народ опасно этому двору. Все это без дальних затруднений, без нарочных посольств могла бы разузнать миссия в больших подробностях. Незачем бы тогда употреблять на чрезвычайные посольские надобности двадцать пудов серебра в слитках, с предоставлением, сверх того, права не стеснять себя издержками, требовать новых денег в присылку («а между тем расходовать свои»). В то же время инструкция эта в самом начале своем должна была прибегнуть к такой оговорке, «что по неизвестности страны, нравов и нужд народа и личных качеств правителей, невозможно определить заранее послу образ поведения в Китае». Во всяком случае посол обязан был поддержать свой сан и достоинство России, условливаясь с китайцами предварительно об образе приема и отпуска и этикете, «но не жертвуя, впрочем, в случае упорства китайцев, существенными выгодами обряду».

Причиной отправления посольства полагала инструкция желание государя распространить торг с Китаем к выгоде русских купцов и промышленников, утвердив его на прочном основании. Предлогом посольства назначались: поздравление богдыхана со вступлением на престол и извещение его о восшествии на престол государя императора. Время отправления Головкина было самое неблагоприятное, и ожидаемый успех от его посольства был весьма необходим и чрезвычайно важен для России. Границы двух империй были неясно определены; русские слабо защищены, пограничные сношения часто порождали враждебные столкновения; а потому при разборе распрей всегда теряли русские — выигрывали подданные Китая. Русский чиновник в виде пристава, сопровождавший калмыков в Тибет на богомолье к далай-ламе, всегда встречал от китайских властей сильные препятствия и большие неудовольствия. Всякие требования от сибирских начальств были напрасны, отнятое никогда

не возвращалось, виновные не наказывались и продолжали хищничества<sup>101</sup>. Случалась обида со стороны русских — в самом скором времени вымогалось удовлетворение. Пекин оскорблял грубыми и унижительными бумагами. В самой столице миссия наша получала от богдыхана весьма скудное содержание: на погребение членов ее определено было отпускать пять лан серебра, т. е. ровно столько же, сколько полагает богдыханская казна на похороны любого китайского нищего, умершего на улице. Издавая в народное употребление и поучение карту своего государства, китайские географы уверенно приделывали громадную Россию в виде ничтожного клочка земли. Получая подарки от государей наших, китайские чиновники хвастливо уверяли народ в том, что это — дань обязательная от покоренной страны и вассального правителя<sup>102</sup>. Редкое коммерческое условие, редкий договор, заключенный русскими в Пекине, китайские купцы считали обязательными для себя к исполнению; миссия накопляла множество тяжёбных дел; из них ни одного крупного не выиграла; по поводу многих получала даже сверх всего тяжёлые оскорбления<sup>103</sup>. Между тем существование ее в Пекине обеспечено было международным договором, формальным дозволением императорского правительства в то время, когда католическая миссия держалась в китайской столице исключительно одним присущим народу религиозным индифферентизмом и, основавшись в Пекине по своей доброй воле, без всяких прав и гарантий, пользовалась при дворе уважением, была даже в некоторых случаях сильно влиятельною. Еще в 1685 году, при вторичной осаде Албазина, решившей судьбу русских на Амуре, всеми осадными работами маньчжур руководили два иезуита — Жербильон и Пирепель, и войска китайские находились под их непосредственным начальством. Марко Поло семнадцать лет был любимцем богдыхана; ему даже было вверено управление провинцией. В самых глухих внутренних

областях Китая европейские миссионеры сеяли семена христианства. Жертвуя почасту собственную жизнь, испытывая тяжелые оскорбления, встречая бесчисленные препятствия, иезуиты сумели в конце концов религиозной пропаганде придать смысл и значение политической. Не без основания думают в Европе, что сильные средствами и счастливые успехами китайские инсургенты исповедуют христианскую веру, завещанную иезуитами, но не нашей миссией. Европейцы, не гарантированные договорами, ненавидимые правительством, клали в Китае основной фундамент для будущих сближений с необыкновенной энергией, без усталости, не стесняясь инструкциями, охотно жертвуя теми из своих, которые вершили головой на ненадежной почве надменного, неуступчивого государства. Не льстя чувству народной гордости, не потворствуя личным слабостям правителей, не унижаясь там, где нужно было показать настойчивость и самостоятельность, европейцы прежде русских успели и сумели захватить все те права, на которые Россия клала только смутные и гадательные надежды. Маньчжурам стоило только в 1839 г. повесить в виду английских факторий китайца, уличенного в торговле опиумом, как Англия не задумалась объявить войну и по Нанкинскому трактату 1844 г. получила пять портов для свободной торговли не только для своих, но и для всех европейцев. В 1856 году экипаж одного китайского судна разграбил кантонскую деревню, но, спасаясь от вооруженных джонок, поднял английский флаг и все-таки был захвачен кантонской полицией. Английский консул потребовал освобождения пленных, обещаясь передать их в руки китайских властей, если найдет тех виновными, и, получивши отказ, подал повод к новой войне. В 1861 году она кончилась Пекинским трактатом, по которому Англия и Франция получили право содержать в самом Пекине постоянные посольства, производить свободную торговлю в шестом порте, с наспортами ездить по империи, безнаказанно и

безбоязненно исповедовать христианскую веру и проч. Европа, таким образом, далеко ушла, идя шагами решительными и смелыми. Китайцы почувствовали уважение тогда только, когда увидели иноземцев в самой столице и встретились лицом к лицу с неуступчивым в свою очередь и настойчивым лордом Эльгином.

Каким образом подходила к Китаю Россия, можно судить по инструкции, руководившей Головкиным и долженствовавшей представлять результат из всех прежних сношений и итоги, заимствованные из наблюдений прежних посольств. Инструкцией строго предписывалось «избегать всех причин к неприятностям, какие могли возникнуть между посольством и китайцами; предотвращать всякие недоразумения и притязания ласковым объяснением и, в случае крайности, благородным снисхождением». Приказывалось «строго смотреть за подчиненными, от которых требовалось самых ласковых отношений к китайцам, внутреннего порядка и дисциплины. Виновных, состоящих в восьмом классе и выше», предписывалось «высылать обратно в Россию, а с седьмого класса и ниже — наказывать арестом»; «с нижними чинами поступать на основании военного устава». Посол обязан был изыскать для китайцев какие-либо выгоды со стороны России взамен уступок с их стороны и разведать на границе, нет ли каких злоупотреблений при производстве торговли, и если найдутся, то донести в Петербург и принять меры к их искоренению. «Если китайцы вздумают требовать нового разграничения с Россией, определеннее существующего, отозваться, что на это не уполномочен, но, подав надежду на всякую со стороны России податливость, отклонить самое дело до другого времени, не столь неблагоприятного, как нынешнее, по смутным обстоятельствам, существующим в Европе».

Посольство Головкина, не достигнув всех предполагаемых выгод по отношению к международным сношениям, положило, главным образом, основание к более

точным сведениям о положении дел в самом Китае и на границах его с Россией. Россия ничего не могла достигнуть по предмету видов ее на заведение торговли с Индией через Тибет, на сношения с владельцем Кабула, на торговлю с самим Китаем в Кантони и посредством караванов внутри самой империи, на учреждение постоянного посольства русского в Пекине и проч.; выиграла она значительно только с другой стороны: узнала о положении дел на Амуре и знание о нем поставила на такую почву, что на ней уже легко было основать самую главную часть дела приобретения, совершенного так скоро и счастливо гр. Муравьевым. До тех пор китайское правительство не желало и не допускало иных сношений с Россией, так только торговых, и притом по трактату 1768 года (тогда окончательно запрещен пропуск наших караванов, до тех пор свободно ходивших по Монголии и Маньчжурии) — только в двух торговых пунктах: Цурухайте и Кяхте, на границах Восточной Сибири (за Байкалом), а с 1855 г. еще в двух: Кульдже и Чугучаке, за границами Западной Сибири. В сущности же вся торговля сосредоточилась в одной Кяхте и после множества кризисов и колебаний утвердилась там на прочных началах, на широкой ноге. Но кроме торговых, Кяхта других сношений уже не имела, иной пользы России не приносила, знаний Китая от столетнего существования этих сношений на Кяхте не прибавилось; наши русские там не выучились даже говорить по-китайски и, заручившись условным торговым языком, могли приспособить его только к одним торговым переговорах. Сведения о Китае были смутны и сбивчивы там всегда; и в наши дни они не уведут далеко желающего через кяхтинцев и в Кяхте знакомиться с интересным, богатым и неведомым соседом. Но — обо всем этом потом; теперь расскажем о самой Кяхте, а по зависимости от нее поведем краткую речь о торговых сношениях — единственном предмете, на котором сходились две огромные империи.

В половине XVII века начались первые торговые сношения подданных России с подданными Китая (в Урге — с монголами, в Науне или Цицикаре — с маньчжурами). Начались дружелюбно и удачно, в двух пунктах, с двумя народами монгольской расы на обоюдных выгодах и взаимных договорах; русские успели побывать на реке Сунгари, водились с монголами под самой Великой стеной и с самими китайцами в Пекине. Все предвещало добрый успех. Но вмешалось сибирское начальство, хотело гарантировать торговлю договором; отправлено было по этому поводу первое посольство — и не имело успеха. Между тем русские потеряли Амур, и хотя китайские послы присягою утвердили, что те места, где был построен Албазин и другие русские селения, китайцы не будут занимать никакими городами и селениями, позволят себе содержать тут только караулы, — торговые связи наши обрывались, уступкою левого берега Амура полагалось прочное препятствие для сношений. К счастью, тот же Головкин, который подписал Нерчинский трактат в 1689 году, успел склонить пекинский двор на позволение пропускать наши караваны и положил таким образом основание обеспеченной свободной торговле между частными людьми. В последующие 14 лет было отправлено таким образом восемь караванов, из которых уже первые воспользовались хорошим барышом; торговля с Китаем начала представлять столь большие выгоды, что Петр Великий (в 1692 г.) решился отправить в Пекин голландца Избранда-Иве с поручением хлопотать о подобном же праве торговли для казны. Голландец успел доставить казенным караванам свободу торговли. Они стали ходить уже прямо в Пекин и оставляли за собой это исключительное право в то время, когда частные negociанты (преимущественно москвичи) производили одну мену (и не только в Монголии, но и в Пекине), устанавливая с китайцами род ежегодных ярмарок и проживая

на них до окончательного сбыта всех своих товаров. Но русские товары променивались беспошлинно; казенные караваны, со дня вступления в пределы Небесной империи, содержались на счет правительства, без всякого вознаграждения со стороны русского. Китайцы стали тяготиться; мало того, начали делать прижимки, притеснения, перестали удовлетворять жалобам, а когда возникли между русскими кое-какие беспорядки, богдыхан Кам-хи грозился формальным образом изгнать русских из своих владений и запретить им торговлю даже в Монголии. В 1717 году прибывшему из России каравану запрещено было продавать товары; караван следующего года был просто-напросто выслан из Пекина. Петр Великий, чтоб предупредить разрыв, в 1719 году отправил новое посольство с Л. В. Измайловым. Измайлов кончил распрю на время, но нового разрыва не предупредил. Богдыхан придумал иной предлог и, недовольный переходами монголов за русскую границу под покровительство и защиту русского правительства, потребовал их возвращения.

Русские на это не согласились и окончательно были изгнаны из пределов Китая в 1722 г. Шесть лет продолжался этот разрыв, до тех пор, пока Савва Владиславич Рагузинский, после пятидесятивосьми мучительных конференций, в 1728 году заключил новый трактат (Буринской). Караванам ходить было дозволено, но тогда уже сами русские не могли упрочить этой торговли. Полковник Кропотов, прибывший в Пекин в 1763 году по воле Екатерины, с казенными мехами, не продал их и умер на китайской границе, говорят, изнемогши от мучительно-унизительных церемоний. Он успел, однако ж, заключить новый трактат (18 октября 1768 г.), по которому окончательно запрещен был пропуск наших караванов, а для торговых сношений пограничных жителей избраны были только два пункта: Цурухайт и Кяхта. С 1755 года в Пекин казенные караваны уже не

ходили; в 1759 г. вовсе кончились были сношения между обоими государствами и возобновились впоследствии только тогда, когда императрица Екатерина (в 1762 г.) уничтожила монополию казны в торговле мехами. С этих пор начала возрастать кяхтинская торговля: в 32 года (с 1768 по 1800 год — издания нового тарифа для сбора пошлин и нового руководства для торговли) вымен товаров возрос от 230 тысяч руб. до 4 милл. в год, несмотря на то, что никто не думал давать Кяхте какие-либо льготы, а Иркутск постоянно налагал на торговлю ее свои цепи. После нашествия на Москву французов, в особенности в 30-х годах настоящего столетия, дела на Кяхте пошли с изумительной быстротой вперед, когда в России возросло требование на чай, а в Китае русские товары пошли в честь и перебили английские. С этих пор исчезла вся мелкая меновая торговля и из Китая стали требовать одни только чай; из России — одни только изделия московских мануфактур, потом золото и серебро. Монополия московских купцов ослабела; в число торговцев поступила большая часть сибиряков. К монополистам с китайской стороны (к сансинским капиталистам) стали примыкать новые компании других торговцев. В последние четырнадцать лет торговля на Кяхте начала принимать другой вид и приняла бы весьма широкий, если бы дозволение к вывозу кантонских чаев не подрезало ей крылья. Теперь уже ей не лететь высоко и далеко: время падения близится, и первые признаки его, несомненные и осязательные, ясно обнаружались на прошлой Нижегородской ярмарке. Кяхта должна будет принять новый вид. Но мы еще один раз возвратимся к старому и на том покончим.

Больше ста лет назад тому, в 1743 году, первым указом Сената велено: «Для распространения купечества поселять на Кяхте людей, отводить им на строение домов, заводов и огородов, так и на скотский выпуск, отвести потребное число земли за городом близ кяхтинского форпоста и селиться особливою слободою».

В 1745 г. вторым указом поселено при форпосте на первый случай до ста семей. *Особливая слобода* образовала собственно так называемую Кяхту — торговую купеческую слободу, а семьи, поселенные на форпосте, послужили приращением к населению будущего города Троицко-Савска<sup>104</sup>.

От города этого, служащего вместилищем всего казенного управления и всех чиновников, до слободы *Плотины*, населенной исключительно торгующим с Китаем купечеством и комиссионерами русских купцов, полагают расстояние в четыре версты, и затем уже только 120 сажен (так наз. *нейтральной земли*) отделяют нашу торговую слободу от китайского (торгового городка) Маймачина.

Чтобы попасть в слободу Кяхту, нужно дожидаться, когда поднимут шлагбаум; чтобы выехать из нее — необходимо подвергнуться таможенному осмотру, который повторялся в наше время еще один раз за Троицко-Савском для едущих в Иркутск и далее<sup>105</sup>.

Русская слобода с богатым собором, с довольным количеством деревянных, крепко поддержанных домов, принадлежащих кяхтинским купцам и иногородным комиссионерам, внешним видом своим не представляет никаких особенностей. Слава богу — имеется клуб на общих российских положениях, редко посещаемый и притом исключительно для карточной игры, но выписывающий журналы и газеты, и держится, как и все наши клубы, кое-как и на непрочном основании; здесь в особенности потому, что ему противодействует домовитость купцов наших. Кяхтинцы любят жить келейно и семьями на общих русских положениях, плохо доверяя и не без основания устраняя себя от клубных заведений, инициатива которых всегда идет от чиновников, доказавших сотни раз свою неспособность заводить клубы, всегда является подражательной, как бы какое казенное обязательство, как бы новый вид служебных

обязанностей. Кяхтинцы также не любят этого и, запираясь в своих теплых и просторных домах, всеми помышлениями устремлены на то дело, ради которого тут пристроились, всеми деяниями сосредоточились на том пункте, из которого исходит свет и материальные выгоды. Чай — со стороны Китая, мануфактурные изделия и серебро — со стороны России: вот три коренных звена, закрепляющих цепь взаимных связей между представителями двух громадных империй. Теперь звенья цепи этой начинают ослаблять руками тех, которые торгуют чаями чрез Кантон.

Что произойдет из того — скажет нам Москва и время, да те из русских, которые пробираются теперь в самую глубь Китая караванами. Что знаем мы сами — об этом поведаем дальше.

### 3. «БЕЛЫЙ МЕСЯЦ»

В конце декабря, в январе, а иногда и в начале февраля месяца Кяхтинский тракт раз в году делается приметно оживленным. На станциях почасти и подолгу задерживают проезжающих, на долю зрителей выпадает несколько бессонных ночей; в большом количестве расходуются ими чернила и сальные свечи; с большою твердостью и готовностью подкладывают они под руку горяченького проезжего жалобные книги (которые, как известно, не имеют особого значения и, кроме переводов зрителей на другие места, других улучшений не вызывают).

Бойкие на ногу сибирские лошади, между которыми в Забайкалье лучшими почитаются степные сартольские, в середине зимы на Кяхтинском тракте начинают возить вяло, очень медленно: в конце станции едва шевелят ногами; свежие выводятся с заднего двора лохматыми, закуржавевшими от инея; многие из них кашляют; всех подергивает по телу жестокая дрожь.

Новый ямщик, подтягивая супонь, сердито смотрит и громко говорит:

— Подойдет это окаянное время, словно их из пушки кто выпалит: и днем и ночью едут. Чаю напиться не успеваешь.

А без кирпичного чаю, как известно, сибиряк, простой человек, и лба не крестит; а без того чтобы не надергать лошадям ноздри и таким образом не заставить их чихнуть (в предупреждение сапа) — сибирский ямщик их и в стойла не поставит. Долго проводит он их потом, чтобы не запалились, и уже наверно на это время одна лошадь хромает, а другая, насквозь простуженная, учащенно дышит и отдает паром.

— Я сегодня в третьи; ты в которые? — переговариваются ямщики.

— В пятые. Прибежал на станок: лошадей нету, в разгоне. Стал упрашивать смотритель, чтобы прогоны взять и «на водку» моя — чужой станок обработал.

— Как, парень, кони выдерживают?!.

— Дивуюсь, друг!

Перестали дивиться этому обычному явлению на всех трактах Восточной Сибири, ведущих в Петербург и на Амур, и дивуются ямщики усиленному разгону лошадей только на Кяхтинском тракте (более других свободном); и только во время двух вышеупомянутых зимних месяцев дивуются ямщики и переговариваются:

— И все, друг, из Иркутска.

— Все чиновники.

— Все с семействами: на двух, а то и на трех тройках!

— Все на китайский праздник гоношат.

Это верно. Если за несколько дней до этого времени прислушаться к общественным разговорам во всех кружках разбитого на два лагеря иркутского общества, в числе многих пустопорожных городских новостей на первом месте неизбежно встретишь известие о том, что

вот этот едет в Кяхту, что вот тот собрался со всем семейством и проч. Затем в том же Иркутске во весь год потом за вопросом: «Удалось ли вам побывать в Кяхте?» — непременно попотчуют вторым: «Случилось ли вам попасть туда на “белый месяц”?»

Пишущему эти строки на «белый месяц» попасть довелось, а что случилось ему там узнать и увидеть тогда, — о том он намерен рассказать теперь. Маленькое, круглый год скучающее общество пограничного городка Троицко-Савска нашел он приметно оживленным: туда наехали гости из иркутских чиновников, для которых китайский праздник служит развлечением, некоторого рода вакацией и вместе с тем наградой за годичные труды и однообразные занятия. В четырех верстах от Троицко-Савска, в скромных общественных кружках торговой слободы Кяхты, также явились новые лица и также большею частью из Иркутска, про каковой и привозятся самые свежие вести, три года тому назад имевшие для Восточной Сибири большой интерес.

Вести и новости эти для нас не имеют большого интереса, но китайский праздник «белого месяца» — явление любопытное.

Ему предшествует обыкновенно исчезновение всех китайцев до единого из домов всех кяхтинских купцов и комиссионеров. Китайцы один день из Маймачина не выходят и туда никого из русских не пускают. Этот день полагается первым днем, началом праздника, он же и первый день весеннего месяца и нового года. В то время, когда и мусульмане-азиаты, привыкшие распределять свои годы по лунным изменениям, высматривают новый месяц, чтобы кончить пост, начать есть сладкие явства, — и будисты-азиаты, маймачинские китайцы, приступают к своему заветному празднеству, основанному на том же появлении первой весенней луны.

С полуночи люди всех состояний ставят в главной комнате на столе свечи, курения и вещи, назначаемые

в жертву богам — большею частью из съедомого. Сначала они поклоняются, стоя на коленях, лицом к отворенным дверям: это — жертва духу неба и духу земли. Потом, обратясь внутрь покоя и к столу, уставленному жертвенными вещами, совершают поклонение в честь домашних духов и предков. За этим поклонением немедленно производится третье и последнее поклонение родителям и хозяевам: старшим кланяются в ноги, равные рассчитываются между собою поясными поклонениями. Наконец, ставят на стол различные кушанья, между которыми в этот день пельмени почитаются почетным и праздничным блюдом, — и угощаются. На другой день родственники и друзья посещают друг друга и в течение следующих пяти дней стараются окончить эту операцию, потому что позднейшие визиты вменяются ни во что, в счет не идут, а даже заполучаются как маленькое намеренное оскорбление, легкое поношение чести. В эти пять дней в Китае приостанавливаются все дела, нет присутствия, нет казней, все пируют и отдыхают; строго воспрещенная азартная игра в карты и кости (сильно распространенная в Маймачине и других торговых городах преимущественно между купцами) открыто дозволяется; курение опиума также не возбуждает в эти дни в чиновниках негодования и не преследуется. К первому дню первой луны все начальники областей представляют в Пекин оброчную сумму и остатки расходов. В первый день первой луны сам богдыхан обязывается тяжелым обрядом. Он, по древнему обычаю, в этот день зажигает нарочно приготовленную для этого случая ароматическую свечу и, держа ее в руке, с нею принимает поклонение и поздравление от нескольких сотен мандаринов высших степеней и затем остаток свечи, как эмблему, полагает на главный алтарь в вечное хранение<sup>106</sup>. Мандарины тогда же обдариваются избытками от стола и милостей своего сына неба.

Маймачинские китайцы по окончании взаимных поздравлений являются к своим кяхтинским знакомым и друзьям, откладывая свои посещения и поздравления с собственным праздником до того дня, который по их верованиям полагается счастливым. Не получить подарка от наших — для китайцев огорчение; не своровать какой-либо плохо положенной или нарочно подложенной хорошим приятелем вещи — для них несчастье, которое обуславливает в течение года другие невзгоды и огорчения. В этот счастливый день обыкновенно вся Кяхта наводняется посетителями до того, что становится тесно и тошно. Такого громадного наплыва китайцев в другие дни года не бывает. Такого огромного расхода на ивановские ситцы, на мезеридское сукно и московские платочки без промена на чай, а в видах подарков — тоже никогда в другое время в Кяхте не случается. Китаец любит честь, чувствует дружбу, но без подарка ни той ни другой не принимает и не понимает. И еще последний долг и обязательство: всякий русский купец непременно должен навестить всех тех маймачинских китайцев, с которыми имеет или желает иметь дело. Днем этих многотрудных и многочисленных визитов полагается обыкновенно пятнадцатый день «белого месяца», самый веселый и самый интересный. Это — по-китайски шань-юан, по-русски — смотр фонарей, большое гулянье по улицам, повсеместная иллюминация.

Бродили и мы в этот день по Маймачину в товариществе наших кяхтинских знакомых; видели и мы разные китайские виды, а потому считаем себя вправе и в обязательстве рассказать всю суть шань-юаня<sup>107</sup>.

Когда уже достаточно смерклось, отправились мы в Маймачин с тем убеждением, что тотчас по закате солнца в городе должны быть зажжены фонари и начнется обычное, самое веселое и людное гулянье. В этом мы не ошиблись.

Улицы Маймачина, идущие параллельно по направлению от кяхтинских ворот в Гобийскую степь и в сторону Урги и Пекина, были увешаны фонарями и набиты народом до невозможности. Гулянье было в начале, но уже не в полном разгаре своем. Фонари разнообразных цветов, но большею частию однообразной формы, известные и в Европе под именем китайских, развешены были в замечательном множестве и в замысловато-прихотливых порядках. Дома богатых купцов, известных в России по московским чайным публикациям, отличались фонарями большими, флеровыми, с изображениями различных фигур и видов, какими украшаются продажные ящики цветочных, зеленых и желтых чаев, какими испещряют китайцы свои мудреные костяные безделушки: веера, вазочки, ящики и проч. и проч. В подобных изделиях китайцы не имеют себе соперников в целом свете, и если с особенным мастерством отделяются эти вещи и продаются на европейские суда в южных гаванях Небесной империи, то и здесь, на севере, и в Маймачине, для этих изделий и для приготовления красивых и оригинальных фонарей имеются особые и остроумные мастера. Нельзя утаить, что между фонарными украшениями попадаются и такие, которые способны оскорбить целомудренный вкус русских посетительниц, но без этого запевка, как известно, редкая песня поется в Китае; в Кяхте про это хорошо знают и рассказывают там про маймачинских китайцев и еще многое, о чем ради скромности мы говорить не имеем права. Возвращаемся к фонарям и заключим, что дома бедных украшаются фонарями меньших величин и притом такими, которые сделаны из простой, обыкновенной, полупрозрачной бумаги, какою оклеиваются оконные рамы вместо стекол и каковая имеет поразительную крепость (свежую, незалежалую бумагу разорвать можно только крепкими мускулистыми руками, хотя и она, в свою очередь,

приготавливается, как и всякая другая, из хлопчатника). Если бы продолжить и сосредоточить свои наблюдения, нам кажется, можно бы прийти к тем выводам, чтобы по форме, по количеству фонарей и по разнообразию рисунков на них объяснить себе степень достатка каждого из купцов маймачинских. Восходя от самых богатых, через более распространенный ряд средних капиталов можно дойти до тех бедняков, которые маклачат чаем по малости и торгуют главным образом теми мелкими галантерейными товарами, какие помещаются в одной комнате, в двух-трех шкапиках и держатся только для специалистов-охотников из китайцев и русских: немножко ароматического красенького нюхательного табаку, связка круглых курительных трубок, десяток стеклянных и каменных табакерок в виде бутылочки, несколько скандальных картинок, ящик с искусственными цветами, три-четыре курьезных детских игрушки — вот и все почти. Торговцы эти живут обыкновенно в самых дальних и глухих улицах, и, как крайние бедняки, говорят, живут главным образом шпионством и поэтому чаще других бродят по Кяхте. Нет сомнения, что фонари их мерцают слабее, хотя также верно, что ни один китаец не откажет себе в удовольствии изукраситься фонарями на заветный «белый месяц» и силится потратить на это даже и заветную чоу.

Во всяком случае, маймачинская иллюминация в полном цвету. Фонари, большею частью розовые, развешены по наружной стороне домов и лавок в несколько рядов, один над другим, гирляндами. Мало того, они болтаются над головами гуляющих, привязанные к веревкам, перекинутым с крыши одного дома до крыши соседнего, чему способствуют узенькие, как коридоры, маймачинские улицы, не имеющие соперников себе ни в Москве и Хакодате, ни в Тифлисе и Тегеране. Даже пресловутый московский Газетный переулок и петербургская Галерная улица гораздо шире узеньких маймачинских коридоров, хотя в приемах освещения

подвешенными посередине и сверху улицы фонарями эти две русские имеют некоторое сходство с улицами маймачинскими. По крайней мере, нам на то время они пришли на память, и воспоминания эти преследовали нас во все время, пока шли мы вдоль первой попавшей нам улицы. С трудом пробираясь сквозь плотную густую толпу, с терпением выдерживая толчки, мы ничего не разумели среди этой крикливой массы людей в странных, невиданных костюмах, с гортанно-картавою и ненотной речью. В видах особого одолжения долетает иногда до слуха озорная ругань нашего брата русака, изливающего свой гнев за пинок и толчок; да по временам, слышится взвизг из женского горла (тоже несомненно, русского дела, потому что в Кяхте женского духу не позволяет пекинское правительство под страхом смертной казни). Понятен этот визг наших женщин в толпе этих полудиких людей, которых по четыре — по пяти лет выдерживают строгими холостяками и монахами и держат притом на такой пище, которая на большую половину свою состоит из возбуждающих снадобий и пряностей. Неудивительна и крутая ругань русского выдела, потому что в этот вечер маймачинские улицы решительно захлебнулись народом. Надо битых полчаса работать плечами и боками, чтобы кое-как дотащиться до первого дома купца-благоприятеля наших обязательных спутников. Китайская улица в буквальном смысле представляла поразительную

Смесь одежд и лиц,  
Племен, наречий, состояний.

Разберем их.

Вот в полумраке фонарного света глядит на нас узенькими, бойкими, воровскими глазами скуластая, смуглая, квадратная физиономия монгола из Гобийской степи. Он пришел в Маймачин в проводниках каравана верблюдов, которые несут на своих боках от самой

Великой стены и города Калгана до города Урги, через степь Гоби (или Шамо), т. е. ровно девятьсот верст, громадкие и веские тюки с чаем (по два и по три ящика с каждого боку). Одетый в овчинную шубу крашеного желтого цвета, с вышитыми на груди квадратами из черной материи, — гобийский монгол этим нарядом отличается от всех других, составляющих праздничную и говорливую толпу зрителей маймачинского «белого месяца». Лицом своим он мало имеет разницы с русским бурятом, который также явился сюда поглазеть и потолкаться, и от своего соплеменника и единове́рца отличается только шапкой, по тулье которой от макушки распласталась неизменная, любимая нашими братскими шелковая кисть, приготовляемая и покупаемая обыкновенно у китайцев. Оба они, и гобийский монгол, и братский бурят, попали сюда по заветному праву, оба они празднику рады, потому что оба буддийской веры и для обоих китайский «белый месяц» — тоже «белый месяц»; оба пьяны, оба ведут оживленный разговор на языке, для них понятном и общем. Один — подданный Китая, потому что платит в Угре дань пекинскому правительству, но давно наклонен к русскому подчинению и не подчинился ему потому только, что в Нерчинском трактате китайцы положили запрещение переходить монголам (по-местному — мунгалам) на русскую сторону и в русские руки. Другой — уже давно подданный русский, потому что еще прапрадеды его перешли на забайкальские степи и стали русскими (по-местному — братскими) и теперь правят сибирскими работами, привыкают к русским городам, занятиям, обычаям, и большая половина начинает, между прочим, руководиться и языком русским.

Вот и коренные русские в той же толпе, потрясающей криком, бестолковым и диким гамом маймачинские улицы.

Это прежде всего люди, заинтересованные тем же делом, ради которого созданся и выстроился самый

Маймачин, люди, живущие чайной торговлей и также, в свою очередь, основывающие собственное существование на ее операциях. Главных руководителей и двигателей на улицах не видать — они по улицам не бродят, и можно встретить их только разве переходящими из одной фузы в другую. Все купцы и комиссионеры кяхтинские сидят обыкновенно за столами благоприятелей маймачинских и угощаются китайскими оригинальными яствами. На улицах и на крепком сибирском морозе толкуются только те из русских, которые пользуются крохами, остатками от обильного и сытого брашна кяхтинской торговли. Это большею частию мещане города Троицко-Савска да чернорабочая прислуга слободы Кяхты. Первые являются в представительстве двух главных типов: шировщиков, занятых в таможене обшивкой (шировкой) чайных цибики в кожу, и тех ловких молодцов, которые занимаются контрабандой цветочных чаев, — кяхтинских контрабандистов.

Опытный, приглядевшийся глаз немедля отличит первого из них по бледному, мертвенному лицу чахоточного вида, по впалой груди, по каковым и на Москве сразу узнают давнего фабричного. По сытому лицу, по смело-плутоватому взгляду, по бойким и юрким движениям распознается затем всякий мещанин троицко-савский, не занятый шировкой, не запертый на большую половину года в таможенном амбаре, преисполненном зловония от намоченных и гниющих кож, не надламывающий свою грудь и плечи над сидячей спешной и неловкой работой (прошивкой толстой кожи не тонкими бечевками). Когда этот в особо организованной и многолюдно составляемой артели, ищет заработка на таможенном дворе и не может найти его в других занятиях, обездоленный своим мещанским положением (и с ботойским выгоном, да без земли, удобной для хлебопашества), — другой сосед его, такой же мещанин, состоящий в тех же общественных условиях при пограничном городе Троицко-Савске, — и здоровее его,

и обеспечение материальное ищет в более выгодных предприятиях. Мы назвали бы их вполне вознаграждающими труд, если бы в риске контрабанды не заключалось ежечасной опасности и дело это, отправляемое лучшими по всей Сибири наездниками при помощи степных скакунов, которые на горных дорогах умнее человека, не наскакивало почасту на обрывы и пропасти. Правда, что пропасть эта не бог весть какая опасная: казачью пику держит в Сибири рука неумелая и мало привесившаяся к ее заветному употреблению, а из ружья контрабандист всегда стреляет вернее и лучше. Это давно известно, как известно, между прочим, и то, что в то время, когда казачья лошадь покупается за два, за три десятка рублей, — троицко-савские мещане продают своих за несколько сотен, да имеют и таких, каких и за счетну тысячу не уступят. Вот почему и твердо знают в городе заведомого вора как главного воротилу контрабандного дела, да лет десять его ловят и никто еще не поймал; вот почему прохожие и проезжие из города в слободу весьма нередко в двух верстах от жилого места (сейчас за кладбищем) видят, как казак стоит над местом, сброшенным контрабандистом на землю, стоит и кричит, прося о помощи, и сделать ничего не может: в руках у него только нагайка. Между тем контрабандист ловким ударом и одной рукой сбросил его с лошади, другой нахлестал и угнал его дешевого рысака; сам спрятался за горой, чтобы не показать своего лица и выждать там товарища. Вместе с ним он потом непременно отобьет свою контрабанду от казака, который редко ходит с товарищем, и за это те же контрабандисты постараются врезать ему в спину сколько влезет.

На маймачинских улицах в «белый месяц» мешаются и эти молодцы, у которых, по несчастию, не пишется на лице род его рискованных и молодецких занятий, с теми немолодцами из пресловутых сибирских казаков,

по лицам которых на большую часть можно видеть, что они карымы. Правильный русский нос, пропорциональный разрез рта, иногда русские глаза, но — либо реденькая ключьями бороденка, либо верхняя или нижняя челюсть выдаются крупным углом, и непременно черные как смоль волоса необлужно показывают в этих карымах новое племя, среднее звено, помесь двух соседних племен — кавказского (старосибирского казачьего) с монгольским (бурятским и тунгусским). Карымы эти, в виде особого племени живущие в большинстве по Аргуни<sup>108</sup>, населяют и соседние Кяхте пограничные селения, приходят и в Троицко-Савск на казачью службу и на заработки; явились и сюда вместе с другими на шумный и людный китайский праздник.

Кажется, весь город, и несомненно почти вся слобода в представительстве всех сословий, от старого до малаго, от женщин до девчонок, собрались в Маймачин и теснят его улицы зауряд и о бок с монголами и бурятами. Настоящие китайцы, истинные хозяева места и города, в этот вечер на улицах не бывают. Они все дома, от самого толстого и сонливого хозяина до самого молодого, сытого и румяного приказчика; у них у всех в этот день мало свободного времени; все они серьезно и важно заняты делом угощения, прежде всего благоприятелей, а потом званого и незваного, знакомого и незнакомого. В маймачинских фузах — пир горой.

Войдем — и посмотрим.

Навстречу нам валит толпа, угостившаяся и насыщенная; сзади нас уже напирает вторая ватага, второе людное семейство, также чающее насыщения. Приманок много: китайский стол, араки — разлитое море, даровое угощение; китаец не смотрит в лицо — знаком ли ты; не спрашивает — зачем пришел. Приехал в Кяхту гость издалека: пойдём к китайцам обедать. Китаец всякого принимает:

— Милости просим.

Подвигает скамейку, усаживает за стол, сует в руки свою ганзу, велит подавать скорее водки.

— Ца пиху хычи?

Чай подадут.

— Табаки хычи?

Свеженькую ганзу наложат хорошим вкусным табаком и закурят несуетливые, но услужливо-предупредительные приказчики.

— Араки пиху хычи?

И водку в стеклянных, с наперсток, синеньких чашечках предложат разогретою, тепловатою.

— Кушаху! — попросит хозяин и не отстанет с навязчивыми и докучливыми приглашениями до тех пор, пока не отведаете десятков двух блюд всякой китайской дряни, от которой у непривычного надолго расстраивается желудок; у привычных идут в смак и сласть: и каракатицы — в виде пьавок, и червячки в уксусе, желтенькие, тоненкие, и червячки коричневые, толстенькие, пельмени с мышинным мясом; супы с какими-то диковинными травами и проч. и проч.<sup>109</sup> Свиное сало, разваренное и размягченное до состояния и вида сметаны, поросенок, прожаренный до того, что верхняя кожица его трещит под ножом и на зубах, маленькие кругленькие пирожки *кушо* и бараньи фрикадельки — верх торжества китайской кухни, заткнувшей в этом случае за пояс всякую другую: все это к услугам посетителей не только у самых богатых, но и у купцов среднего и небольшого состояния. Кучи сластей (прянички, сушеные и обсахаренные фрукты, орешки) у тех и других постоянно и охотно сменяются новыми кучами. Хозяева и приспешники с особенным вниманием следят за движениями гостей и предупреждают малейшее желание их всегда очень ловко и всегда очень верно, особенно в тех покоях, где угощаются более почетные и нужные гости. Китайцы (и богатые и бедные) пируют обыкновенно на две половины: в одной при хозяевах и при всем сонме приказчиков чествуются

знакомые; в другом отделении, в других комнатах, где-нибудь на дворе, стоят столы с вином и закуской для всякого желающего, будет ли то кучер, линейный или этапный солдат, почтальон, почтовый ящик, кухарка или горничная. Лезут все любители дарового угощения, и для всех находится у китайцев и приветливая улыбка, и крепкая водка, и жирные холодные кушанья, хотя и в меньшем количестве, но также с обильным возлиянием отличного цветочного и желтого чаю, с закусками разнообразных и характерных сладостей, каковых в продаже не найдешь и которые берегутся только на парадные случаи.<sup>110</sup> Между ними «белый месяц» — самый парадный. Трудно представить себе все то множество вина, сладостей и съестного, что пожирается в этот день у китайцев! Невозможно вообразить себе всю степень выносливости желудков, какими наградила природа троицко-савских едоков. Из них некоторые, не довольствуясь самоличным угощением, хватают горстями со стола все, что ухватится и не выскользнет из пальцев, все, что может улечься в карманы и не просочится сквозь них. Словно круглый год голодавшие, пришли сюда эти озорные гости с бездонным желудком, с бесстыжими глазами. С раннего утра до позднего вечера таскается это ополчение, составленное из многочисленных ватаг, с бабами и ребятами; словно обозлилось оно на китайскую снедь, как саранча на поля забайкальские, словно вступили они победительно в покинутый и завоеванный город после долгого и голодного стоянья около него.

Мы заходили в несколько домов, и в редком нам не лезла навстречу одна компания; в редком — за теснотою — мы находили свободное место от нескольких других. В то время, когда одна ватага угощалась в полу-обеде, другая, кончивши обед, снималась с места и уходила с тем, чтобы свое место уступить четвертой, которая также усядется за обед. Откуда набиралось

столько народу из двух сравнительно небольших городов — мы в то время не могли допроситься, не можем сообразить и теперь. Откуда набиралось столько досужества и терпения у самих китайцев? Где находили они столько всегда готовых приветов и улыбок даже и в те часы, когда гости окончательно сбили их с ног и упарили? — мы можем объяснить только теми силами, которые заключены в прирожденном всем азиатам чувстве хлебосольства, готовности и уменье обрадоваться гостю, почествовать пришельца. Китайцы в этом отношении представляют поразительное явление.

Где у них соперники, да и имеются ли таковые?

Как тогда, так и теперь встает в представлении нашем наша родная деревушка с ее незамысловатой подробностью, немудреной житейской обстановкой. В деревушке годовой праздник, каковой, по обыкновению, пал на летнее время и, по старому завету и обычаю, совпал со днем чествования церковью одной из чудотворных икон Богоматери. Утро этого дня началось молебном в полусгнившей, полуразвалившейся, редко починяемой деревянной часовне. К полудню попы успели обойти все дома со славой, крестом и св. водой, обобрали нарочно приготовляемые для них житники, которыми нагрузили не один мешок и не одну телегу (оттого поповы телята и свиньи — самые породистые и сытые). После полудня в деревушку нагрянули гости из соседних деревень; первыми пришли из ближнего города мещане, из ближней усадьбы — лакеи. И когда попов увезли на мирских подводах в село — в деревушке пришлые гости развели песни. К вечеру полна деревушка пьяных и гул от веселья далеко несется по окольным полям, ходит говорливой и невнятной волной по всем избам. В избах пиргорой, дым коромыслом. Гости бродят, как тени, полупьяные, нетвердые на ногах, и все больше ватагами, целыми семьями. Посидят они, поедят в одном доме — плетутся в другой; а там, смотришь, в третьем они загорланили песню; немного

погода в четвертом застонал и загудел пол от веселого пляса все той же ватаги. В редком доме не бывают они, в редком доме не отведают водки, не откушают хлеба-соли в разного вида и рода стряпне: в пирогах и пряженцах, в блинах и жареных поросятах. С большою скромностью, с большим озорством и бесцеремонностью угощается свой брат — сосед-мужичок; и с лютостью голодных волков вскидываются на угощенья другие соседи, и между ними господская дворян и городские мещане старательно доказывают, что у них, как и у самых первых гостей, брюхо — по народной поговорке — также из семи овчин шито. С равным терпением, с одинаковою готовностью и с тем же мягким и охотливым приветом и просьбой обращаются и к этим гостям хлебосольные хозяйки, хотя и твердо уверены они в том, что от обоих пролетариев не получают оплаты. У мещан годовых праздников не бывает, и им справлять эти праздники не на что: испокон веку и заводу в том нет; а барские лакеи только тем и веселье правят, что весь век чужой хлеб едят, даровой кус считают сытым и лакомым. Хозяйки и хозяева этого не разбирают: ешь дружки, набивай брюшки по самые ушки, точно камушки! И, угощая званых и незваных с одинаковым старанием, доходящим у тароватых до докучливости, самые хлебосольные хозяева выходят на улицу, завидя дорогого гостя, просят, кланяются — не остудить пира, зайти в избу, хоть рюмочку пропустить, хоть кусочек пирожка отведать. Настойчивые уговоры, добродушно-усердные просьбы всегда сильны настолько, что едва ли бывают на Руси такие удалыцы, которым удалось устоять против этих просьб и зазывов.

Вот в чем наше русское хлебосольство перещеголяло и перехвастало китайское, которое любит угощать только пришедших, встречает гостя в дверях; на улицу не выходит и если иногда позволяет себе заблаговременный зазыв (на каковой таровато и наше отечественное хлебосольство), то оно же на домашнем угощении

и кончает все дело. Русское преследует часто гостя и дальше: отпускает с ним бурачок домашней бражки, кончик сладкого пирога в тряпице. И если китайцы празднуют в году две недели, — наши русские только три дня (и то в таком случае, когда праздник не совпадает с горячей и спешной рабочей порой), зато у наших не один такой праздник в году; по зимам выпадают и не такие коротенькие и торопливые. В общей сложности праздничных дней у русских несравненно больше, чем у китайцев; с нами могут посоперничать в этом одни только японцы — другие буддисты, да католики-испанцы. Нельзя не согласиться и с тем, что китайцы вообще равнодушны к вере, и давно променяли догмат на обряд, и, облюбовавши последний, не усердствуют первому. Мы были в храме в этот день поутру; видели разукрашенных цветами и лентами баранов, видели грузы съедомых вещей, принесенных в дар алтарю; слышали, что все это пролежит и простоит все время праздников и потом поступит в желудки лам и бонз, но ни бонз, ни молельщиков мы в храме не видели. Для того чтоб попасть туда, нам надо было отправиться за ключом к начальнику города, к дзаргучею. В Айгуне нас поразило равнодушное, небрежное отношение маньчжур к духовному святилищу, здесь, в Маймачине, мы встретили то же: ходят в шапках, курят трубки, громко разговаривают; мальчишки и здесь резвятся и бегают; трогают руками пузатого бурхана, шевелят другого, самого красного, рогатого и страшного бога — огня и войны<sup>111</sup>. И не пускают их за перила, к главному алтарю, потому только, что там сгруппированы все жертвенные вещи, из которых многие возбуждают аппетит и могут натолкнуть ребятишек на грех святотатства.

Вообще китайский «белый месяц» с особыми храмовыми празднествами не соединяется, нарочных церемоний не имеет и все вокруг кажется так, как будто бы у народа и нет никакой веры и как бы самый праздник вытекает не из религиозного принципа. На самом деле

это не так; вер и в ламайском Маймачине не одна, а такое же множество, как и во всем Китае: живут и последователи ламаизма, и содержащие учение Лау-дзи, и учение Кумфу-дзи (Конфуция), и те, которые держатся религии Фо, и такие, которые веруют по началам религии Будды, без очистки и изменений ее двумя главными реформаторами. И сюда, в Маймачин, точно так же привезли китайцы индифферентизм к делам веры, который здесь, вдалеке от религиозных центров и в среде сосредоточенно-деловой жизни, едва ли не стал еще сильнее и определеннее. На большой густо-населенный город имеется один только храм; в среде крепко богатого и замечательно капитального купечества храм этот далеко не так великолепен и роскошен, как можно было бы того ожидать, восходя от образца русского, усердного к благолепию храмов купечества. Нет сомнения, что и здесь служители религии не пользуются никаким уважением и, находясь в состоянии крайнего нищества, играют в городе, как и во всем государстве, самую жалкую роль. Их и здесь охотно и зло осмеивают в драмах, которые разыгрываются на публичных театрах, несмотря даже на то, что театральные подмостки всегда находятся в связи с помостом церковным и самые зрелища тесно соединены и непосредственно зависят от религиозных обрядов, служа им дополнением и разным объяснением.

Таковые представления даются и в Маймачине, где они получили полурусское, изуродованное название *поигро*, охотно усвоенное самими китайцами. В течение нескольких дней, с самого полудня и до глубокой ночи, *поигро* это существует подле городского храма во время «белого месяца». С айгунским, о котором мы имели случай говорить прежде, маймачинское *поигро* не имеет никакой разницы. Точно в таком же народном презрении находится и здесь класс актеров, точно так же и здесь женские роли (как и по всему Китаю) исполняются мужчинами; и если там актеры живут рассеянно

по окольным деревням, то здесь они находятся в городе безвыездно, готовые на свое дело во всякое время. Самым приличным и удобным полагается этот праздник «белого месяца».

Китайская драматическая литература, стоя на почве старинных европейских духовных мистерий, дает сценические пьесы всегда с таким смыслом, в основании которого лежит былое историческое событие, а в заключение какое-нибудь нравоучение. Говорят при этом, что драмы эти остановились в своем развитии с тех самых пор, когда после покорения Китая маньчжурами остановилась вся его цивилизация: упали искусства, ослабели технические производства, народная изобретательность сделалась вялою и слабою до того, что приостановила всякое поступательное движение страны и сделала даже несколько шагов назад<sup>112</sup>. Говорят также, что самый язык сценических пьес устарел до того, что сделался непонятным большинству слушателей, и что сцена стала говорить со зрителями одной мимикой и внешними знаками, и что слова остались только лишним, ненужным прибавком, тяжелым и обременительным даже для самих актеров. Сцену и театр стали понимать так, как кто хочет и может, а уже не так, как бы они того желали.

Мы были в числе зрителей маймачинского поигро и свидетелями того, с каким равнодушием и неподвижностью стояла пред подмостками толпа бурят и монголов (представление бесплатное, всякий, кто хочет, может подойти и остановиться: нет ни заборов, ни заборов, ни касс, ни капельдинеров). Актер, изображавший женщину, пискливо визжал неприятным голосом, исходившим из крепко простуженного и сильно натруженного горла. Актер, изображавший мужа, кривлялся усердно, становился на колени, голосил что-то задавленным голосом и в тоне безобразной декламации, длинным речитативом. Кончал он — начинал визжать актер, изо-

бражавший женщину: подобный же крикливый речитатив. Тот и другой усердно размахивали руками, может быть, и по требованиям искусства, а может быть, и по требованиям мороза, который на то время был зол не на шутку. Выходил третий актер, бритый (вероятно, бонза), начинал опять какие-то непонятные кривлянья, подавал супругам какой-то сосуд, из которого актеры поочередно что-то пили. Вставши на ноги, они снова гнули что-то и, сделавши еще несколько прыжков и поворотов, уходили со сцены. Одна драма кончилась. После непродолжительного антракта новые актеры начинали другую. Надо было много терпения для того, чтобы выслушать и эту до конца и не вынести другого заключения, кроме того, что на китайской сцене — мало движения; у ней нет связи с зрителями; на актерах богатые, дорогие костюмы, но в драмах нет того, что могло бы и должно было шевелить народ. Постояли пред сценой монголы, переступая с ноги на ногу; потолкались буряты, тупо и бессмысленно глядя на сцену; втискались наши русские; и те, и другие, и третьи ушли тотчас же, как представилась к тому возможность, безучастными, недовольными. А между тем перед поигро стояла плотная стена и нарастала от новых пришельцев; одни сменялись другими; виделось желание зрелища, и не соскользнули с лиц каждого недовольство и разочарование. Кажется, при этой мертвенности и при таком однообразии сценических кривляний, голосованья и визгов возбужденные в зрителях смех и слезы на этот раз показались бы одинаково смешными и непонятными: до того китайский театр не был похож на тот, до которого доработалась Европа! Раз, и только один раз, разразилась смехом молчаливая публика, и то потому, что актер (по ходу ли пьесы или от себя) опрокинулся навзничь, поднял ноги кверху и отколол еще какую-то штуку. Смешного тут ничего нет, но монгольская публика умела-таки снизойти до уровня и уподобиться

на этот раз вкусами и инстинктами той, которую воспитал в Петербурге Александринский театр. И эта полудикая, стоя на морозе, жаждала только смеху, того же способствующего пищеварению смеха, за которым усердно ходит и до которого терпеливо высиживает другая публика, привыкшая смеяться в тепле и не под открытым небом. В этом их осязательное сходство. Но в Маймачине смеху не дают; в Петербурге на охотника смеху этого сколько хочешь, и именно такого, какой требуется и который способен смешить только смешливых и нетребовательных, — вот и разница. В казармах гвардейских солдат на время святочных вечеров и в образе царя Максимилиана, — разыгрываемого кжета перед даровыми и неприятзательными зрителями, — мы увидели столько черт, похожих на спектакль маймачинский, что остались пораженными, недоумевающими: те же мертвые приемы, то же стремление заменить жизнь и движение ходульным, до смешного декламаторским тоном и та же мораль, избитая, рутинная, прописная. Как тут, так и там ищут только игры и удовлетворяются фокусами, эксцентричностями, неожиданностями. Если поставить китайский театр перед русскими зрителями из соответствующих классов народа — театр достигнет совершенно той же цели; если, в свою очередь, перенести и наш театр с его водевилями и мелодрамами на китайскую почву — он встречен будет с тою же охотою и любопытством, с тем же смехом и удовольствием (что раз уже и доказали маймачинский дзаргучей со своим помощником)<sup>113</sup>.

В то время, когда этот дзаргучей — молодой рябоватый парень в опрятной курме — разгуливал со своими гостями по городу после официального обеда, продолжавшагося битых три часа, наша компания успела обойти десять домов купеческих, побывали в поигро, несколько раз потолкались по улицам. При этом провозжатый наш показал замечательную способность в разыскании тех домов, которые ему были нужны для

визита, что необычайно трудно при том однообразии построек, где ворота подведены под одну меру, когда самые дома, азиатским обычаем, выходят на улицу слепым (безоконным) боком. Раз мы ошиблись, попали к незнакомому; но здесь встречены были еще с большим радушием и приветливостью; к нам, незванным и неожиданным, отнеслись, как к своим родным и кровным. Товарищ наш — великий мастер сходитья с людьми и возбуждать к себе большое сочувствие, в то же время замечательный знаток всякой китайщины — умел оставить наши визиты такими подробностями, что самое шатанье из дома в дом приняло вид интересного путешествия. В одной фузе он показал нам укромный уголок, где два китайца, пользуясь тремя льготными днями праздника, торопливо и азартно обыгрывали друг друга во всесветную «направо-налево»<sup>114</sup>. Их обступила молчаливо-сосредоточенная толпа; над их головами висели головы зрителей из китайцев, точно так же старавшихся в безучастном созерцании переживать тревогу от капризов и колебаний темной игры и переносить на себя удачи и неудачи людей, несомненно им чуждых. Непосредственнее, откровеннее высказывали они свое участие, обнаруживали снедающий их внутренний огонь сочувствия тому или другому из играющих; и эти, в свою очередь, не умели сдерживать себя с тем хладнокровием, какое поразительно в европейских азартных игроках: может быть, потому, что натурой своей они ближе к природе, может быть, потому, что короткий срок правительственного дозволения торопил их пить чашу наслаждения залпами, без остановок. Три дня и три ночи напролет китайские игроки пользуются запретным во всякое другое время года наслаждением, а таких охотников — говорят — на каждую маймачинскую фузу приходится по два. Несравненно меньшее число любителей обретается здесь на другой запретный плод — опиум, который любят курить только старики и притом самые богатые. У молодежи,

таким образом, остаются только карты, да араки, да обязательство угодить старшему, чтобы при помощи его и времени в свою очередь сделаться потом старшим и почетным. Нигде — как известно — все существо человека не направляется к наживанию денег, как в Китае, где даже дети, едва начинающие лепетать, уже пускаются в спекуляции, ни в каком народе не развито до такой степени почтение к старине и старшим, как в этой стране, преклоняющейся перед делами предков и бессильной отступить от их образцов и примеров ради новых, своих и самобытных. Оттого Китай и неподвижен; оттого, создавши большие дела, он, не изобретая новых, весь ушел в мелкую, дробную разработку готового, в щепетильную отделку подробностей уже созданного. Он не пишет широкой и смелой кистью картин, а лепит сотни фигур на таком клочке, на котором европейский художник затруднится написать свое полное имя. Он не создает пластических красот из мрамора и гранита, а нарубает на камнях такие дробные виды, что только европейского изобретения микроскопом можно разглядеть их и понять всю безобразную терпеливость этого южного народа, с горячей кровью, с тропической жгучестью страстей, по природному нраву. Не знаешь, чему дивиться тут — необъятной дешевизне времени у этого живого народа; бесполезной жизни его, которая оценивается таким дешевым, ненужным, ни к чему не пригодным трудом, или тому избытку населения в государстве, для сил которого оно в состоянии позволять такие кривые, непроизводительные выходы.

Между тем ни одно захолустье в мире не представляет таких возмутительных картин народного несчастья и страданий. Влияние маньчжурской системы управления для края ужасно. Коренные законы доколониали китайцев: они лживы до того, что ни одному из них нельзя доверять в клятве; купцы хвастаются обманом и надувательством, как подвигом и добродетелью. Они трусливы — и вместе с тем выработали презрение

к смерти и выносливость в самых тяжких наказаниях и злополучиях. Они рабски послушны властям — и нигде нельзя встретить такой ожесточенной дикости при случае. Они крепко привержены к семье — и только на мусульманском Востоке женщина находится в большем рабстве и презрении, и нигде уже в других азиатских странах отец семейства не пользуется такой широкой и безграничной властью, как у китайцев. Всякое свободное и самобытное стремление души человеческой к благородству и подвигу убито в народе. Страстный до обрядов, привыкший внешне предпочитать внутреннему, народ этот весь ушел в форму и формальность, которые раздробились здесь до таких мелочей и подробностей, о каких и не снилось другим народам и государствам. Нигде домашняя жизнь не стеснена таким множеством обрядов, нигде общественная жизнь не спутана такими приемами, обязательными церемониями, число которых для простого человека выходит свыше тысячи.

Остались еще — физическая сила, воспитываемая на благодатном климате, острый ум при замечательной способности извлекать с дешевыми и простыми орудиями большую пользу там, где другие не увидят и малой, окрепшее и сознательное патриотическое чувство, замечательная народная гордость, перед которой блекнет англосаксонская; сумели заставить народ отыскать в себе самих то, чему другие народы учатся взаимно друг у друга. Шелководство и шелковые фабрики (долгое время исключительная принадлежность Китая) до сих пор не имеют соперников и соперниц даже в Европе; фарфор уступает европейскому только в изяществе; земледелие, шедшее давно самостоятельным и всегда оригинальным путем, находится теперь в том состоянии, когда подражание ему почти невозможно; система ирригации уже успела прожить в руках китайцев тысячи лет, а гидравлические сооружения, доведенные во всей Азии до изумительно смелых и поразительных

размеров и подробностей, у китайцев опередили и персидские и египетские работы подобного рода.

Мы бы долго не могли кончить, если бы статья наша имела другое назначение.

Кончаем ее на том, с чего начали...

Русские часы показывали полночь; но фонари на маймачинских улицах горели так же приветливо, освещающая толпы народа, бродившие в полумраке и вполпьяна. Уходились приказчики, уселись сами хозяева за ужин, но на улицах все еще хлопались ракеты, щелкали под ногами шутихи, раздавались выстрелы из фитильных ружей китайского дела. Сверкали по временам потешные огни в темных закоулках маймачинских коридоров, накрытых голубым сводом неба, по которому гуляла виновница торжества, февральская (по-нашему), весенняя (по китайскому смыслу) луна после первой своей четверти, в фазисе полнолуния. Хороших картин она не видала; добрых рассказов не слышали и мы, тотчас вернувшись с праздника и сидя в радушной семье кяхтинского знакомца. Большая ватага монголов подралась с толпою русских гуляк и побила гостей. Наши пришли судиться и жаловаться; меньше всех досталось мещанам, больше всех пострадали кучера; они же оказались и пьянее других, по русскому обычаю и от китайского угощения. Один кучер хватался за бока со стоном, со вскриками; у другого — завалило крупной опухолью один глаз и начинал синеть красноречивый фонарь под другим глазом; у третьего (и нашего) — вместо носа оказалась невероятного безобразия и безразличия кровавая нашлепка.

Все, стало быть, обстояло благополучно, по-нашему и по-обычному. Завтра городская кучумка, одна из сибирок, будет преисполнена многоразличных стонов, и оханий, и не сетований на пьянство и личное безобразие, а хвастливой похвальбой на собственное досужество, что удалось-таки посчитаться с пьяными нехристями

черной кости, обросшей диким мясом. Да вот, вдобавок к удальству и похождениям, в части ночевали.

Не будут ночевать в части маймачинские только потому, что там взамен этого исправительного заведения существуют бамбуки. Не будут щелкать по пятам и эти бамбуки<sup>115</sup>, опять-таки потому только, что у маймачинских — заветное право: у них большой, самый важный и торжественный праздник. Раз накануне его умер богдыхан<sup>116</sup>, и мандарины не имели права держать народ пекинский от заветного празднества в течение двух дней. Только на третий оставлены были потехи, заперты были лавки, запрещены потешные огни и комедии, весь Китай на целый год покрылся трауром, т. е. утратил право брить свои головы.

Затем, ради «белого месяца» и Нового года, уже и не существует больше никаких других запрещений. Даже роскошь и пышность, ненавидимая вообще бережливыми и всегда умеренными во всем китайцами, не только дозволена и допускается на эти дни, но даже еще и подтверждена законами.

Но...

О «белом месяце» в Маймачине мы сказали все, что знали и видели.

#### 4. ЧАЙНАЯ ТОРГОВЛЯ

Во времена Грозного царя, когда, после покорения двух татарских царств с легкой руки Ермака Тимофеевича покорена дальняя Сибирь, сделана была первая попытка к сношениям России с Китаем. В 1567 г. два казачьих атамана, Иван Петров и Бурнин-Ялычев, посланные разузнать о неизвестных странах, проникли в Пекин. Побывавши в местах между Байкалом и Кореей и в Монголии и составивши им описание, атаманы эти в Пекине, однако, ничего не сделали. За неимением подарков их не приняли и не слушали, и попытка

осталась, таким образом, без успеха. Счастливей действовали новые пришельцы из России, когда покорение Сибири значительно расширилось и упрочилось и предстояла географическая возможность сближений с маньчжурами и монголами. Начались они дешевым путем обмена подарками наших пограничных властей с китайскими и меновой торговлей наших пограничных жителей с монголами. Все это делалось независимо от правительственного участия в течение двадцати лет, именно до 1608 года, когда в защиту частных интересов понадобилось покровительство китайских начальств. Тогда сибирские воеводы по первоначальному примеру томского стали отправлять караваны от имени правительства. Первый караван и с ним вместе первое посольство, отправленное из Томска, возвратились без успеха. Через восемь лет с вторым посольством в 1616 году произошла та же неудача. Следующие годы, в промежуток времени около двадцати лет (с 1631 по 1649), были роковыми для китайской самостоятельности. Китай после крупных политических переворотов покорился соседнему полуоседлому и полудикому народу, маньчжурам. Богдыханом стал маньчжур Чун-джи; правителями Китая до мелкого чиновника — маньчжур. Обстоятельства переменились, но для русских сделались еще неблагоприятнее. Сношения восстановились, но посольства одно за другим были неудачны. Неудачи преследовали и Байкова (в 1654 г.), ездившего в Пекин со свитой, грамотою и подарками, но не умевшего, как говорят, соблюсти китайских церемоний, и Перфильева (в 1658 г.), и бухарца Албина (в 1668 г.), и грека Спафарии (в 1675 г.), отправленного с исключительною целью установить торговый договор. И в то время, когда, таким образом, казне не удавалось установить собственную торговлю, частные лица делали свое дело: они несколько раз успевали побывать в Урге с мягкой рухлядью, проникали в глубь Монголии и, уступая товары дешевле казенной цены, казенным караванам наноси-

ли ненамеренный ущерб. Чтобы пресечь вредную для казны конкуренцию, правительство, опираясь на безобразное поведение купцов наших в Монголии, сначала запретило им продавать пушнину (в 1727 г.), а потом (через три года) ездить в Монголию. В 1755 г. отправлен был последний купеческий караван.

Вследствие этого-то запрещения купцы решились сосредоточиться в Кяхте.

В 1792 году купцы из архангельских, вологодских, московских, тульских, казанских, тобольских и иркутских уроженцев образовали в среде своей пять компаний. Каждая компания избирала одного уполномоченного — старосту. Старосты, или *компаньоны*, полагали норму ценности всем товарам (китайским и русским) и определяли, сколько должно отдавать известного количества русского товара за известное количество китайского. Кяхтинская торговля с этих пор начала производиться по ежедневному *положению*, устанавливаемому компаньонами. И так как эти положения основаны были только на взаимном соглашении купцов и, не считаясь обязательными для каждого, не соблюдались всеми купцами, то правительство и сочло необходимою своею вмешаться в это дело снова, чтобы собственными мерами гарантировать купеческие положения.

В 1800 году, 15 марта, правительство издало для кяхтинского торгова правила, которые с немногими изменениями существовали даже до 1854 года. Главная сущность их заключается в следующем:

- 1) Торговля должна быть меновая и без кредита.
- 2) Вывоз золотой и серебряной монеты воспрещается.

3) Все, дозволенное к отпуску за китайскую границу, должна свидетельствовать таможня и хранить до размена в гостинином дворе, устроенном в Торговой слободе (т. е. в Кяхте).

4) Ежегодно перед расторжкой в общем собрании торгующих производить компаньонам расценку товаров по представленным образцам, т. е. русским товарам назначать такие цены, ниже которых они не могут быть променены.

Когда при таких неблагоприятных обстоятельствах начиналась кяхтинская торговля вследствие непонимания ее условий в отечестве, со стороны китайцев давно уже выточен был против нее нож, не менее острый и почти одинакового вида и формы. Далеко прежде всем китайским купцам ставили в неперемное обязательство к исполнению след. правила, передаваемые под величайшею тайною и до сих пор известные не всем торгующим на Кяхте<sup>117</sup>:

1) Все письма, полученные кем бы то ни было, должны быть вскрыты в общем собрании, чтобы каждый из торгующих действовал во вред иностранцам сообща и вместе с другими. Старшина собрания решает, какое количество товара можно покупать и за какую цену, и также кладет запрещение на другие товары.

2) Китайских товаров всегда должно быть меньше, чем русских; не продавши старых, не должно сбывать вновь привезенных.

3) Вывоз предметов роскоши, вина, спирта и проч. строго запрещается и проч. и проч.

«Старайтесь убедить, — говорит предписание 8-м параграфом своим, — что Китай излишка шелковых и хлопчатобумажных товаров не производит»; и 6-м: «Если какого-нибудь ценного товара привезено русскими немного, то скушайте все количество, разделив поровну между купцами, а русских старайтесь уверить, что на этот товар явилась большая потребность. Следствием будет то, что в следующем году они доставят в Кяхту значительное количество этого товара, а вы, объявив им тогда, что требование уменьшилось, будете иметь над ними преимущества и выгоды. Когда русские

подымут цену на какой-нибудь товар, которого запас у них невелик, то в течение месяца никто не должен у них покупать его. Если же они об этом снесутся с нами, мы ответим, что торговля должна быть остановлена».

Эта игра втемную, это взаимное поползновение к обманам, обоюдное стремление скрыть количество привезенного и желание показать, что каждый вовсе не нуждается в товарах соседа, имели печальное следствие для слабой силами русской купеческой корпорации. Кяхтинский рынок очутился совершенно в руках китайцев. Сансинцы, мастерски организованные в большие и сильные компании, работали скопом и сообщами, а русские должны были торговать каждый отдельно, вследствие чего действовали во вред друг другу. Китайцы все это обращали в свою пользу и постоянно держали высокую цену на свои товары, между тем как в товарах этих в то время мало населенная, грубая, дикая, младенческая Сибирь крепко нуждалась. Кяхтинская торговля висела на волоске, тем более что и самая мена дальше пушных товаров, предметов роскоши, дабы и отчасти золота и серебра не шла, да и на все время трудного для Сибири XVIII столетия идти не могла: она могла или пасть вовсе, или прицепиться на правах временной случайности к снисходительной терпеливости и охотливости китайцев. Но время и обстоятельства судили иначе. В конце XVIII ст., когда русское образованное общество носило не только иноземной вид снаружи, но и думало по-иноземному и даже выработало новые вкусы взамен тех, которые прежде почитали многое запретным и греховным из того, что потом вменили себе в сласть и удовольствие; проклятое зелие табака не считалось уже бытием, а дымилось как сласть в видах развлечения и в трубках, сохло и в золотых табакерках, и в покупных берестяных тавлинках. В это время и «китайская стрелка, которая в Россию взошла и в чувствительные сердца — сгубила всех до

конца», тогда и чай не полагался уже былием проклятым, а зауряд с другими шел как лакомый, здоровый и крепкий напиток. И чем больше успевала входить Русь во вкус напитка, и чем определеннее сказывался он как ловкая и удачная замена всесокрушающей и погибельной водки, тем значительно усиливалось и потребление ароматной и вкусной травки. В конце восемнадцатого столетия понятия эти уже сложились так определенно, что в начале девятнадцатого потребление чаю быстро усилилось и требования на него обрушились со всею неожиданностью и порывистостью, на какие способны только молодые, еще невыбродившиеся и не сложившиеся в окончательный рост народы и общества. В кяхтинской торговле произошел крупный переворот. С этого времени она начинает свою правильную и определенную историю с тем главным изменением, что вся торговля сосредоточилась теперь в руках московских капиталистов.

Требования на чай усилились до того, что сибиряки не могли ограничиваться одной пушшиной, по ведомству ее принуждены были прибегнуть к иностранным мануфактурным изделиям и удовлетворять ими. Москве легко это было делать, когда после 12 года начала быстро возрастать ее торговля и когда возникла строгая охранительная система. Москва вследствие того обстроилась собственными фабриками, заручилась собственными изделиями, перестала требовать из Китая шелковые и бумажные товары и начала посылать вместо иностранных свои сукна и плисы. Мало-помалу товары эти стали входить во вкус китайцев и в конце концов совершенно вытеснили с кяхтинского рынка все изделия английских и французских фабрик. Чай сделался почти единственным предметом вымена в течение двадцати с лишком лет. В эти года, в особенности в тридцатых, начала развиваться золотопромышленность, и Сибирь, привлекая новые капиталы, поспешила сама, в благодарность за извозную и дру-

гие работы, задаваемые Кяхтой, пособить ее торговле. Продукт, вымываемый из сырых и бесплодных тайговых болот северной Сибири, усилив фабричное производство в Москве и России, наводнил Кяхту мануфактурами, появился и сам во всем блеске и всемогуществе своей силы. Число участников в торговле увеличилось: к московским примкнули во множестве купцы других городов; количество сибиряков оказалось вдвое большим против того же количества торгующих<sup>118</sup>; к числу предметов вымена присоединилось и золото. Правила кяхтинского торгога по своему монопольному характеру не могли уже держаться на прежних основаниях; начав стеснять торговлю, они подавали повод к непрерывным нарушениям закона. Запрещенные товары (опиум и сибирское золото) провозились за границу тайно. Контрабанда народилась и, находя силу в самой себе и случайных обстоятельствах, год от году укрепилась, в особенности с тех пор, когда Нанкинский трактат 42 года открыл европейцам четыре южных китайских порта и привлек к ним громадные английские капиталы. Мена на Кяхте перестала уже обходиться без серебра и золота; причем и то и другое стояло в понятиях китайцев в высокой цене — полуимпериал принимали они за 8 и 9 руб., серебряный рубль за 180 серебряных копеек. Привычка к драгоценным металлам вскоре до того усилилась, что маймачинские купцы без них часто не соглашались брать никаких товаров. Боясь, чтобы товар не залеживался, каждый спешил променивать его возможно дешевле, затыкая дыры прорвы контрабандным золотом и породив таким образом то странное и до той поры не разгаданное явление, в силу которого в самых дальних провинциях Китая наши русские сукна продавались одиннадцатью-десятью рублями дешевле цен московских, фабричных. Торопливость и дальнорукость кяхтинцев надорвали их силы: опасная игра в соперничество не устоялась; многие капиталы

лопнули, многие капиталисты пали и падением своим увлекли за собою других. Выход из кризиса объяснился указом 1854 года, когда разрешен был вывоз золота и серебра в изделиях, а в 1855 году установлен торг «по вольным ценам, без всякого ограничения какими-либо общественными постановлениями и дозволен отпуск через Кяхту золотой монеты с тем, чтобы она вывозима была не иначе, как совокупно с товарами и чтобы ценность ее вместе с ценой золотых и серебряных изделий составляла каждый раз для торговца не более  $\frac{1}{3}$  ценности мануфактурных и  $\frac{1}{2}$  пушных товаров». Купцам 2-й гильдии дозволено производить «заграничную на Кяхте торговлю суммою на 90 тыс. руб. ежегодно, по общей сложности цены отпускных и привозных товаров». Расторжка, определенная во время двух зимних месяцев (феврале и марте), заменена ежедневной торговлей. Вследствие этих постановлений обмен товаров облегчился, торговые обороты усилились, капиталы стали возвращаться скорее, ход торговли сделался более свободным и более правильным. Но что главней всего, вымен чаем производился теперь за несравненно дешевые цены, хотя в Москве и поднялись в то же время сильные жалобы фабрикантов, работавших на Кяхту.

К текущему шестому десятку лет девятнадцатого столетия торговля на Кяхте обрелась в вождеденном благосостоянии. Несмотря на уклонения от правильного хода торговли, она привлекала большие барыши и выгоды и на Москву, и на Сибирь, и на самую Кяхту. И скопля капиталы, и дорого продавая чай, она неожиданно для нее самой оказалась монополией и в то время, когда те же привозимые к ней чаи из Фучана, но покупаемые в Шанхае англичанами, приобретались несравненно дешевле, обещали выгоду потребителям. Так называемый кантонский чай грозился стать сильным конкурентом и всполошил всех торгующих на Кяхте: перестал он быть зеркалом в гадании, пугливым, но неясным призраком, когда правительство ре-

шилось приостановить впуск кругосветного чая только на время, и для того, чтобы исключительно дать возможность кяхтинской торговле перейти из настоящего неестественного положения к нормальному и по той причине, чтобы дать нашим фабрикантам время сообразить и соразмерить свое производство с иными требованиями, которые могут возникнуть от изменения правил кяхтинской торговли. И теперь, когда началось урочное время и ввоз чая с запада дозволен, когда Россия, приучившаяся (но не выучившаяся) пить чай, не выработав (исключая Москвы, Казани и Сибири) вкуса к хорошему, охотно ухватилась за более дешевый и стала пить кантонский, в ту же сласть и меру, кяхтинская торговля очутилась на краю гибели. Телерь Нижегородская ярмарка ясно определила это явление, подсказавши в свою очередь, что если пойдут дела таким путем, то через два года Кяхта падет окончательно и вместо 200 тыс. ящиков на Россию будет вывозить чаев не более 20 тыс., и те только для Сибири. Сумма до двух миллионов руб., платимая за провоз чаев и расходившаяся в народе, должна уменьшиться до приметного ничтожества. До какой цифры? Что будет с нашей мануфактурой?.. Но возвращаемся снова к чаю, ради которого мы и речь нашу начали, и пойдем вместе с ним в места безопасные, теплые и благодатные, на его родину, в самую глубь темного Китая.

Родина чая, как известно, Фучандская область, именно Фучан (или, правильнее, Фудсян). Там родится цветочный чай, и зеленый, и желтый, и байховый; последний в особенности распространен в торговле. Байховым, правильнее бай-хао, назван он сансинскими купцами, торгующими с Россией, в видах употребления пепельных цветков его, цвета перьев птицы аиста — посланницы небес, по китайским понятиям. На месте чай этот называется у-и-ча — по горе, находящейся в двух милях от города — Дзуньгань-хань, вблизи которой растет этот чай на почве белесоватой, легкой и

песчаной и собирается с деревцов, насаждаемых подобно виноградным лозам. При этом деревцам чайным не дают подниматься свыше сажени и разрастаться, а через 4 или 5 лет их пересаживают в тех видах, чтобы лист не сделался грубым, жестким и острого вкуса. Оставленные на произвол деревья дорастают до 12 футов, становятся красивы, но для чаю не годятся. Цветок их должен походить на цветок розы белого или бледно-розового цвета.

Первый листок, показавшийся на коре, но не развернувшийся, покрыт тончайшим белым пухом, как бы волокнами белого шелка, и имеет вид иголки, а потому и называется нинь-дзинь (серебряная иголка). Это — первый сорт чая. Собранный из первых листков со вновь посаженных деревцов, из самых первых почек мо-уча — величайшая редкость, которую посылают только богдыхану и мандаринам первых степеней и небольшое количество уделяют друзьям в подарок. В продаже этого сорта нет: такой сбор сильно вредит плантациям. Впрочем, дожди действуют на молодое растение благотворно, снова появляются листья; через 2—3 недели опять зазеленели ветки листьями, готовыми к новому сбору, самому важному в течение всего года.

Лист чая, постепенно развертываясь и вырастая, принимает вид цвета созревшей вишни на исподней стороне, а на внешней — удерживает тот же тончайший пушок серебристого вида. По этим признакам знатоки чая определяют его достоинство и полагают, что пушок заключает в себе аромат, а темно-вишневая исподка листа содержит сок, или настой, чая. В подобие божества, выражающего долголетие и изображаемого в виде сгорбленного старца с высоким наростом на лысой голове, с реденькой седой бородой и длинными, седыми же и насупленными бровями, китайцы этому второму сорту чая придали имя этого бога шеу-мей (шеу — брови), хотя в торговле этот сорт известен более под на-

званием ароматного лян-сина (т. е. цветка сердца). Европейцы называют его цветочным и зауряд с ним, в том разряде, ставят псилча (кожаный чай), собираемый из цветков, растущих на коре (коже) дерева. Растущий на горных покатосях, обращенных к югу, почитается лучшим, высокого сорта; и по той причине, что плантации его законтрактовываются сансинскими купцами, он в торговле носит название фамильного. Наоборот, чай, созревающий на северных горных склонах, собирается бедными китайцами и продается низкой ценой, а смешанный с другими сортами (черными, как наз. в Москве), поджаренный и подкрашенный идет в Шанхай к англичанам за настоящий и лучший<sup>119</sup>.

Третий сорт чая, самый дешевый, готовится из созревших уже листьев; отборные из них образуют лучший сорт, красненький чай, названный так (хунмей) в честь *красных бровей* божества огня.

Чай начинают собирать с первого месяца весны (он же первый месяц года) и собирают его в течение всех следующих за тем трех месяцев: в первый — высокий сорт; во второй, когда лист будет крупнее, потеряет нежный аромат, но за то станет содержать больше соку (настоя), — хорошие сорта; и в третьем месяце — так называемые сансинские, по дешевизне своей весьма выгодные в покупке. Эти чаи обыкновенно смешиваются с чаями высших сортов, причем операция эта, с одной стороны, облегчала начет дорого купленных чаев, а с другой — вообще представляла для покупателя в цене товара весьма выгодный расчет. Чаи эти для Кяхты продавались в Калгане, а в самой Кяхте разбивались вновь на многие сорта: высший, первый, второй и т. д. Из них первые два — в рассортировке весьма близки к фамильным, почему и продавались в Москве и других городах несколько дешевле фамильных чаев<sup>120</sup>.

По окончании сбора, благоприятным временем для которого полагается постоянно ясная погода (при сырой

и пасмурной листья быстро растут, теряя пушок, а с ними и аромат), приготовленный чай из гор фучанских выносится на бамбуковых коромыслах, по одному месту на каждом конце. Путь этот к пристани по одной из незначительных речек совершают носильщики в три дня. По речке этой чай идет на джонках, по довольно значительной реке Ян-цзы-цзян, впадающей в море при многолюдном и богатом торговом городе Шанхай. Здесь закупают чай европейцы; отсюда же шел он тремя путями<sup>121</sup> и на Кяхту, испытывая множество мытарств, подвергаясь многим случайностям, неоднократно оплачиваемый пошлинами: в первый раз в таможене города Тунчжеу, во второй в городе Калгане, до которого шел сухопутно на верблюдах и в котором он выпускался за ворота великой стены, за границу ее и Небесной империи. Самый путь на верблюдах по малонаселенным местам, по безбрежным пустыням степи Гоби (или Шамо), мимо кочевьев монголов на пространстве полутора тысяч верст, считая от Кяхты до Пекина, в течение двух с половиною месяцев, значительно увеличивал ценность чаев. В то время, когда издержки для провоза чая из Фучана в Шанхай равнялись 1 р. 32 к., провоз его из Фучана в Кяхту стоил 10 руб. с пуда, не считая пошлины и других мелких расходов, и когда фрахт в Англию обходится в 30—40 коп. с пуда, пуд провезенного в Москву продукта обходился от 5 до 6 руб. и даже более. По расчету Тернгоборского, количество чаев, потребляемых ныне в России, обошлось бы десятью миллионами дешевле, если б был допущен ввоз кантонского. Желания его сбылись — чай стал дешевле. Стал ли он лучше? Это вопрос второстепенный для большей части России, которая, как мы сказали, чай пить любит, но вкуса в чаю не знает и знать не желает. Стоял на Кяхте важный вопрос о сбавке пошлины на торговые чаи и байховые, об уничтожении ее на кирпичные чаи и об уменьшении на цветочные, оплачиваемые обыкновенно чрезвычайно высокою пошлиной, — но вопрос этот, как

известно, обошли и прямо приступили к разрешению кантонского чая. Ему посчастливит: это верно! Но...

Заговорившись снова, мы опять ушли далеко от предмета. Возвращаемся к нему, чтобы вновь начать сначала.

Милости просим вместе с нами в Маймачин (в переводе с монгольского — торговый городок), который от Торговой слободы нашей, на официальном языке известной под именем Кяхты, а на языке русских туземцев под названием Плотины, отстоит всего на несколько сажен.

Пограничный комиссар дает билет, таможенный солдат, неизменно стоящий с саблей в воротах, пропускает. Мы не то в огороде, не то в поле; кругом нас деревянный забор, дурно пахнет... пойдём дальше!

Вот перед нами какая-то ширма из досок, ярко размалеванная, торчит без всякого дела; за нею скрываются ворота, вделанные в стену и ведущие непосредственно в город. Эти-то ворота и заменяет эта ширма, по китайскому образцу и обычаю.

Объедем ее и поспешим просунуться в ворота; если мы встретимся в них с другим экипажем, нам не выцарапаться: мы непременно завязнем и, сколько ни ругайся наш кучер (по русскому обычаю), простоим долго. Для нас это крайне невыгодно: дни зимние — крепко морозные да к тому же еще и коротенькие, январские.

Прямо из ворот по привычке мы рассчитывали попасть в улицу, но наткнулись на дом; должны были повернуть направо или налево, чтобы увидеть один угол, другой угол, а в середине перспективу какого-то узенького коридора, который нам велят принимать за улицу. Признает ее таковою и наш ямщик, круто повернувший вдоль по ее направлению. Дома направо, дома налево, но стоят они в таком близком расстоянии, что отводы саней едва не задевают за углы и за ворота, и если бы кучер наш захотел закурить трубку в правом окне, то сплюнуть ему привелось бы непосредственно в левое.

Мы боимся встретиться с другим экипажем и не встречаемся с ним потому только, что кяхтинцы ходят сюда пешком, а троицко-савским Маймачин надоел, да им до него и нет никакого дела.

Проехали мы вдоль всей улицы, всматривались во всякий дом, обернулись назад, снова сообразили: что-то необычайно диковинное, игрушка какая-то, а не часть города, не жилое место. Наляпано, нагромождено, настроено; из-за каждого угла, из-за всякого косяка торчат какие-то нашлапки ни к селу ни к городу. Вся перспектива улицы, представляя невиданную форму, путает представления. Восходя от сравнения с Петербургом да с Москвой, ни к чему не придешь. Вообразить себе замысловатую игрушку китайской работы из слоновой кости, где кропотливость резца превосходит всякую меру вероятия в смелости замысла, в усидчивости работы, — представление маймачинской улицы начинает выясняться резче и определительнее. Да — это игрушка, но такая, над которой потрудился умелый и терпеливый мастер; в особенности это ясно, когда станешь оглядывать каждый дом в отдельности. Особенно замысловаты украшения на воротах; не так пестры эти и многочисленны они на самых домах, воротах должны заманивать и принять прежде всего гостя, а дом и в Китае красится не углами, а пирогами. Дома все в один этаж (только один китаец изменял народному обыкновению и нанес на старый дом второй этаж; так за то он и прежде всех других снял с себя портрет фотографический). У кого не пришлись ворота, тот истощил весь запас фантазии на разные украшения дверей и косяков; и можно дать голову про заклад, что тот, у кого карман пошире, и здесь, в Китае, пустил пестроты больше, налепил резьбы не скупясь и безграмотно.<sup>122</sup> Ясно, что и здесь пестрота — красота, а лепная работа говорит за чванство хозяина, который, таким образом, не ушел далеко от наших купцов с их резбой и позолотой, и покраской букетами по мелкой земле яркими

цветами, какие влезут маляру в голову и каких не бывает в природе. Разница та, что у китайцев существуют аллегорические животные, освященные религией и знакомые народному пониманию, основанному на крайнем суеверии. За всем этим им от всех нареканий и насмешек крепкая защита. Одна беда: в маймачинские улицы редко глядит солнышко и их не освещает, как и быть следует в Китае, но зато и хозяева не глядят на улицы, а живут окнами на двор. По этой причине и двор размалеван и разукрашен так, как можно видеть только в Петербурге, в доме Монферрана. И за то, что размалеван двор и содержится в необыкновенной чистоте, улицы Маймачина грязны, а летом — говорят — в них не продохнешь от зловонного смрада. Выброшена кошка, приспел собачий смертный час на улице — городских по китайскому положению не имеется и на крюки маньчжурская казна подряду не делает.

А что город этот необлыжно азиатский, свидетельствуют самые неуклюжие в мире животные — верблюды, которых, как известно, в Европу не пускают и держат их как диковину только в царских зверинцах. Здесь же верблюд черную работу правит: идет за вола и за лошадь, а в безводной Гоби и за себя самого. Вот их целая вереница, один за другим, привязанные хвостами к поводьям задних товарищей, шествуют из степи в городские ворота тем медленно-торжественным и знакомым шагом, каким умеют ходить только певцы итальянской оперы. Не те только звуки, когда провожатый дернул переднего за поводья и поставил его на колени: точно бык с простуженным и наболевшим горлом, да притом еще с неожиданного перепуга звякнул что было силы. Самым неприятным, отвратительным ревом отвечали верблюды, становясь на колени и подставляя бока, к которым с обеих сторон прилажены по два огромных тюка... с чем?

— Разумеется, с чаем.

— К кому пришел он?

— К Сиофаюну, к Мыюкону, к Кохусину, к Юясиюну — не все ли равно? Все чай будут в русских руках — у Б., у П — ой, у Ю — ва, у кого-нибудь из кяхтинских. Комиссионеры московских торговцев пошлют приказчиков; кяхтинские сходят сами, переговоят, столкуются...

Переговоры обыкновенно ведутся на условном языке, который китайцы называют русским; мы сами можем признать его только за уродливую смесь слов из того и другого языка; причем китайские слова пошли целиком без переделу, русские взъерошены и растрепаны так, что во многих из них ни образа, ни подобия. И для того, чтобы принимать из уст китайца эту изломанную помесь слов, понятных только при выучке, надо обладать еще вторым даром или привычкой отделять одно слово от другого. Китаец обыкновенно цепляет одно за другое и тянет, как верблюдов, вереницей, привязывая передних к задним. И если прибавить к этому китайскую неспособность ладить с буквою «р» и плохое умение осиливать две поставленные рядом согласные без того, чтобы не вдвинуть между ними такую гласную, какая ему будет угодна, то китайский разговор по-русски окажется всего меньше русским. Этот калейдоскоп всяческих слов, этот сплошь шепелявый речитатив можно уподобить разве ему самому; других сравнений подыскать трудно. Между тем без этой изуродованной китайщины, без знания этой неблагозвучной мусикии, которой в Китае дают название русского разговора, ни один китаец за границу не выпускается. Желаящий торговать на Кяхте прежде всего живет и учится в Калгане, где, говорят, имеется для выучки русская академия и учителя из бедняков, живших при милостях на Кяхте. Только тогда, когда ученик выдержит теоретический экзамен, он получит билет (пехьо), дающий ему право на выезд за ворота Великой стены. Но и по приезде в Маймачин он по закону не имеет пра-

ва в течение года заниматься торговыми делами хозяина, а во все это время обязан практически и в досталь изучать псевдорусский язык. На это имеется в секретной инструкции, выданной торговцам пекинским правительством, между прочими (выше поименованными), и такие статьи: 1-я. Позволение торговать будет дано купцу тогда только, когда он выучится говорить и писать по-русски. Подобная мера обязательна для устранения необходимости русским изучать язык китайский, владея которым, они могут проникнуть в тайны нашей торговли<sup>123</sup>; и 2-я. Купец по прибытии в Кяхту в продолжение года должен познакомиться с тайнами торговли, чтобы избегать впоследствии ошибок.

Вот образчики этого таинственного и обязательного языка кяхтинского, который, мы надеемся, окажется больше понятным изображенный письменами на бумаге, чем в том виде, каким исходит он в звуках из уст картавых маймачинских китайцев.

— Хао! хао! — говорит всякий раз и всякий китаец слово это в приветствие, не придавая ему иного значения помимо нашего неизменного «здравствуй!».

Отвечайте ему этим же «хао», если желаете быть его гостем. Тогда китаец не затруднится сказать:

— Милости полосим! — и покажет на дом свой, а приведя в чистенькую комнату и посадивши на нары, покрытые<sup>124</sup> опрятной циновкой красивого рисунка, не задумывается спросить первым словом:

— Ца пиху хычи?

И угостит отличным, настоящим китайским чаем (который из Москвы обыкновенно не выходит немешаным). Давайте только положительный ответ, что *чай пить вы хотите*, — он не замедлит положить щедрую щепоть в черненький чайник, поставить чаишник на уголья, всегда готовые на очаге, вделанном в нары. Не успеете глазом мигнуть, он сунет вам под нос закуренную и самим испробованную маленькую медную

трубочку на коротеньком чубуке с неизменным холодным сердоликовым мундштуком (называемым ганзою везде, даже в Японии).

И наливая потом чай в маленькие отличного китайского фарфора чашечки (с сахаром только по желанию и предупреждению вашему), китаец прихвастнет:

— Моя за тебе хорошанки цай почивай буду, — и не совет он, охотник во всех других случаях приврать и прихвастнуть даже и там, где это вовсе не нужно. Чай в Маймачине оказывается чаще желтый, любимый и распространенный употреблением по всему Китаю и нередко самый букетный фамильный своей фузы (т. е. своего хозяина и своей фирмы).

Посидите, полакомитесь чаем, покажите вид, что вам у него гостится охотно и сидеть приятно, — хозяин не задумается сделать и такое приглашение:

— Закуски всяка манер за нами еси...

И будьте уверены что, когда бы ни пришли вы — утром, в полдень, вечером, — у хлебосольных и домовитых китайцев маймачинских всегда найдется блюд десять запасных. Их все и подадут вам на маленьких блюдечках, с неизбывными палочками вместо вилок и с неизменным чесноком и вкуснейшим уксусом в виде приправы. Ко всему этому непременно попадает с угольев разогретая в медном чайнике араки, подаваемая в стеклянных чашечках немного побольше и покрупнее наперстка. Араки эта важна собственно в том смысле, что она вкусная и приятная водка, а главным образом по той причине, что без нее русский желудок не сварит китайского обеда. Тут попадаются и каракатицы (в виде пивок), и мышинное мясо (в пельменях), и какие-то диковинные растения, рачки, червячки да вдобавок и поросенок, любезный русскому сердцу, но с такой вкусной жареной верхней кожицей, что его не узнаешь. Тут и простое свиное сало, сваренное так, что оно кажется вкусом густейших сливок и, как ароматное масло, име-

ющее способность быстро таять во рту, исчезает с языка во мгновение ока. Здесь и супы с морскими травами и беспредельно дорогим птичьм гнездом, и бульоны с тонкими ломтиками всяких мясов диких и домашних птиц, с необыкновенно вкусными фрикадельками и с какими-то длинными-предлинными трубочками вроде вермишели, но, кажется, необлыжного растительного происхождения. Найдете и кругленькие пирожки — кушо, единственное мучное блюдо в товариществе с пельменями, которые так вкусно только и могут готовить китайцы. Недаром кухня их держится в величайшем секрете и дорогоприобретаемый повар не решается открывать его даже самому хозяину. А сколько блюд в китайской кухне, этого и счесть почти невозможно. На самом плохом мы получаем 42, а маймачинский дзаргучей на официальном празднике «белого месяца» кормит троико-савских чиновников ровно четыре часа кряду. Если вы боитесь этого многоблюдства и неаппетитных сокровенностей, не соглашайтесь на угощение; если же вы немножко решительны и любознательны — садитесь: смело ручаюсь, замысловатая китайская кухня вам очень понравится, несмотря на то, что она начинает обед вверх ногами, прямо со сладкого, а супы помещаются в конце. И — нечего греха таить — она и приедается, а при частом повторении расстраивает желудок, потому что положительно-таки китайский стол очень жирен и требует приспособлений, любит привычный к нему китайский, а не привозной русский желудок.

Угощения свои китаец обыкновенно приправляет разговором, и разговор этот начинается от общего места — увы! — точно такими же словами, с какими встречает и у нас на Руси всякий туземец всякого проезжего гостя:

— Тибн за наша Маймачн погули еси?

Если вы действительно погулять пришли, посмотреть город, — ступайте, хозяин проводит вас до ворот и отпустит с напутствием и пожеланием:

— Тута за нама юр (юрта, дом): пожала ходи! Моя тиби подожди буду.

То есть:

— Вот мой дом: напредки просим жаловать.

Таков обиходный разговор китайцев с гостем, а вот и деловой, с чайным покупателем для примера:

— За один месица (т. е. место) полутор (т. е. чаю) сколько аршан барха Морозофа давай буду?

— Восмидесяти аршан.

— Како можно такой цена! Если тиби хычи: без перебивай<sup>125</sup> поговори.

— Моя верна поговори: восмидесяти аршин.

— Какой тиби верна?! Чево напрасно? Тута цену кому давай буду<sup>126</sup>?

— Вамо люди давай буду.

— Как жа! не погневайся!

— Если тиби хычи, моя два аршан прибави буду.

— Напрасно слово такой не буду.

— Како хычи!

— Тиби цена здесь нашел не буду.

— Здеси нашел не буду: Печински (в Пекин) ходи буду: там нашел буду.

— Ходи, ходи! Намо болза (пользы) нету. Ходи буду: сама узнаши — какой там цена. Вамо подумай — намо люди бараша побольшам бери. Не погневайся: бараша мала — убытки еще еси.

— Моя вера тиби нету. Вам Калгански цай дешево покупи.

— Вамо русски люди вери нету<sup>127</sup>. Моя обмани не буду, еще Бога еси! Что моя обмани напрасно! Хычи: само пощитай Калгански, осень-пора (осенью), красненьки цай купи было 18 лан каждо мисяцо (место, цибик), провоза два лан: за все двадцать лан<sup>128</sup> стоит.

— Вами все поговори, убытки много, бараша совсем нету, покупочки дорого!

— Како тиби не вери?! Убытки наша очень многа. Ей Боха. Если все бараша бери: наша бы кругла (все) люди

купецки стала. Намо еще многа лавки банкротоза (банкроты) стала: Тысын-ши, Фу-чен-лун, Юн-ху-хо: его (их) все убытка было, банкротоза стала.

— Чаво напрасна тута слова пустяки поговори. Если хычи барха: конча 82 аршана.

— Не хычи. Последня слова како буду?

— 82 аршана.

— Какой тиби мянзя<sup>129</sup>: лучши ярова (скорей) реши. Хычи не хычи 95 аршан?

— Не хычи.

— Само вола<sup>130</sup>! Посли тиби непременно жали буду!

— Чего перебивай много: слово далеки. Прощай лущше, китаец.

— Эка шельма! Такой слово не надо купецки люди!

И разошлись, поругавшись слегка.

Сходясь на разговорах, наши русские поневоле принуждены были переменить все родные слова, подражая китайским тонам и смыслу: например, *халадза* назвали все от халата до шубы, пальто и до последней части немецкого костюма, в который давно уже вырядились все кяхтинские торговцы (и даже весьма многие из них щеголяют по-московски, козырем). Слово *женушка* равно стали приспособлять и к общему понятию о всякой женщине, и к частному к жене, сестре и родственнице. *Вода* пошла вместо река, *лошка* вместо лошадь, *шибки* вм. очень, *цветочки* вм. цветочного чаю, *кушаху* вм. есть, кушать, *братиза* вм. брат, *ярово* вм. хороший, и горячий, и честный, и проч. и проч. По всему вероятно, надавали слова эти первые заводчики русской торговли на этом месте, сами в дальней Сибири и между инородцами успевшие достаточно призабыть и видоизменить речь родины, а китайская национальность, успевшая поглотить все соседние (и даже такую большую, как маньчжурская), перестроила эти слова на свой лад, когда дока на доку нашел и русские слова совсем проглотить и вовсе перековеркать стало китайцам невмочь и крепко не под силу.

Как бы то ни было, но и на этом дешевом ломаном языке шли дорогие торговые дела, и шли притом в громадных размерах. Круглым счетом ежегодно затрачивалась на чай сумма на 50 миллионов рублей! Ежегодно вывозились через кяхтинскую таможню оплаченными пошлиной четыреста тысяч пудов чаю: байхового и кирпичного; кирпичный почти исключительно расходился в Сибири Западной (Восточная почти вся довольствуется контрабандным) и в восточной полосе России. Прочие сорта чаю идут все в Россию. В свою очередь, Кяхта передала китайцам до 1 500 000 арш. сукна<sup>131</sup>, до 120 тыс. арш. драдедама, до 3 500 000 арш. бумажного бархату (плису), до 600 тыс. арш. нанки<sup>132</sup>, до 270 тыс. арш. разных льняных и пеньковых изделий, до 500 тыс. штук юфтевых, сафьянных и других кож, до 20 тыс. мелких зеркал. Двести разных фабрик и заводов в России исключительно существовали от Кяхты и для Кяхты. Американская компания, счастливая всевозможными льготами и привилегиями, отправила в Китай самые ценные и лучшие пушные товары; на долю остальной Сибири выпала в общем итоге самая малая, сравнительно ничтожная часть<sup>133</sup>.

Но торговля со стороны Китая производилась почти исключительно одними чаями; неоднократные попытки кяхтинских купцов к вымену других китайских предметов торговли помимо чаю, напр., шелку, индиго, других красильных веществ и проч., не имели успеха. Сансинские монополисты, арендовавшие на несколько десятков лет все фучанские чайные плантации, старались в своих видах высокими ценами отбить охоту к повторению подобных попыток. Привозили кое-когда и по мелочи сахар-леденец, китайку, дабу, селенские ярких цветов бумажные изделия и кое-какие шелковые материи, как-то: канфу, канчу, чемучу, янчу, лензу, гранетур, и проч. Но все это стояло в таких высоких ценах, что приобреталось любителями как редкость; к тому же китайские шелковые материи не приспособлены

выделкой к европейскому и русскому вкусам, несмотря на то, что необычайно добротны и прочны (особенно те, которые похожи на атлас). Во всяком случае, к вывозу большими партиями шелковые материи неудобны, и сколько ни хлопотала Кяхта около других предметов вывоза, она всегда принуждена была возвращаться к чаю.

Возвращаемся к ним и мы, чтобы сказать о предмете этом последние, остаточные выводы наши.

Четыреста тысяч ящиков шло из Китая на потребление России, где в настоящее время даже староверы примирились с ним и где в одном московском трактире истребляется этой травы целый ящик в одни сутки (365 ящиков в год!) И когда в одной Москве редкий не пьет чаю три раза в день, когда и этот город, и все другие торговые города захлебнулись от торговых заведений с намалеванными на вывесках чайниками, с десятками столов, предназначенных преимущественно для чаепития, — способны ли при этих условиях 400 тыс. кяхтинских ящиков удовлетворить Россию, если бы даже глубокая недобросовестность торговцев и пускала в пособие высушенные на медленном жару чайные остатки, так называемые опивки? Может ли устоять эта цифра при тех условиях, когда сверх того мы должны будем исключить еще значительное количество кирпичных чаев, потребляемых исключительно по ту сторону Уральского хребта? Где набраться столько чаю при повсеместном употреблении его по два раза в день? Где тому подспорье? Кипрей-чай или капорский, известный более под названием *иван-чай*<sup>134</sup>, перестал играть роль подмеси к плохому чаю из настоящих: его распознал сам народ и решительно от него отшатнулся, когда последовало на то формальное запрещение. Другими травами надувать также не так легко, как кажется с первого раза; даже в самом Китае, даже для англичан — самых плохих знатоков чаю (любителей только крепкого, но не ароматного) — подмеси эти весьма

ничтожны, несмотря на сильное желание заменить чайные листья листьями других растений<sup>135</sup>.

Спросим опять: в чем же было подспорье и замена недостаточного количества чаев, прежде привозимых из Кяхты, и в чем найдется оно и теперь, при вывозе китайского чая морем? На вопрос этот давно уже ответили повсеместные наблюдения и всевозможные расчеты и вычисления; замена недостающего —

### В КОНТРАБАНДЕ!

Контрабанда тормозила дело и являлась злым врагом для Кяхты; доставляя ровно столько же тысяч ящиков, сколько и этот город, она, напояженная успехами и давно уже сложившаяся в правильно организованное целое на западных русских границах, уже приладилась и теперь решительно действует со всех концов. За Байкалом, по Аргуни, монголы передают нашим землякам большие партии кирпичного чаю, сильно распространенного по Сибири, на хищническое золото, также сильно распространенное по Сибири. У кяхтинских мещан с давних времен ведутся удалые лошади, мастерски приспособленные к горным дорогам, и на них давно уже вывозят они чрез Хамар-Дабан цибики чаев, преимущественно ценных, т. е. цветочных. В Семипалатинской области, чаще всего около Бийска, жителям Западной Сибири несколько раз в году приводится подражаться, погоняться и пострелять по ловко утекающим через Чую на бойких степных лошадях контрабандистам из киргиз и ташкентцев. Пишущему эти строки в одной из деревень Закавказья привелось пить чай, крепко отшибавший посторонними запахами и провезенный, как уверяли, через Персию и через ленкоранскую границу России. В городе Кеми, на Белом море, автор статьи этой покупал за 1 рубль сер. фунт седого (но не ароматного)

цветочного чаю, а в одном из подгородных петербургских ресторанов ему подавали чай, дававший в стакане осадок вроде плавающего масла, а в чашке — отстой краски, которою китайцы имеют обыкновение подкрашивать чай *Гизон*, любимый англичанами в Гонконге за его крепкий и крутой настой<sup>136</sup>. Если мы пойдем в польские губ. и по Малороссии, то неизбежно наткнемся на так называемую *herbaty*, которую чаем называть едва ли кто решится из знающих, что запах лошадиного пота и отстоя краски вовсе не благодетель и никогда не составляли особенности чаев собственно китайских, даже и в том извращенном и измененном виде, в каком выпускает чай свои Москва из своих чайных заводов. Какими бы замысловатыми, широковещательными и заманчивыми названиями ни прикрывала она сорта приготовляемых ею чаев, — настоящих, цельных, без подмесей китайских чаев (кроме желтого и зеленого) она почти не продает. А петербургские торговцы давно остановились на том, что бездушные терпкого и вяжущего вкуса чаи котрабандные кладут они в основание всех сортов чая, сочинения того города, где, как известно, бедный класс народа удобно заменяет дурной чай довольно сносным кофе. Получаются контрабандные чаи в Петербурге и Москве через прусскую границу и Царство Польское или через Финляндию, а в Малороссии и Новороссийском крае — с юго-западной австрийской границы, в особенности через Дунай.

В заключение мы попросим сообразить следующие два обстоятельства. В Кяхте при чайной торговле существует особый вид торговли сырыми кожами, производимый нашими инородцами и сибиряками, а также и китайскими монголами. Кожи эти употребляются (шерстью вниз, мездрой наружу) для упаковки чайных ящичков, так называемых *цибиков*. При таможене с этою целью образовалась особая артель рабочих, занятых исключительно широккой чайных мест в виде

кубов, вмещающих в себе от 2 до 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> пудов. В сараях, преисполненных вредным зловонием (на усидчивой, спешной работе получая тяжелые, трудноизлечимые болезни, между прочим — и чахотку), артель эта ширит (сшивает) толстыми бечевками все места чайные. Употребляя для этого сырые намоченные кожи, они так плотно стягивают их швами, что в высохшем виде весь ящик представляет такую массу, которая как будто облита кожаным составом. Кажется, никакая капля, ни единая струя сырого воздуха не способна проникнуть внутрь и попортить чай, известный своею восприимчивостью ко всякого рода крепким и дурным запахам. Кяхтинский чай, доставленный сухопутьем, всегда сохранял свой букет, а тот же чай, провезенный морем, не портился от неизбежной сырости в трюмах, хотя был заширован точно таким же путем (как доказала Американская компания). Но отчего же кантонский чай не имеет букета и отчего сильно распространено мнение в русском обществе, возводится поклеп на морской путь, что будто он портит чай? Портит чай не морской путь, портит его контрабандный путь. В то время, когда на Кяхте с таким тщанием упаковывают чай, с западных границ империи везут его скрытно, часто рядом с сильно пахучими веществами, в простых ящиках, большею частью в коробках, а на южных границах империи (за Кавказом) просто в холщовых мешках, которые, сверх того, кладутся на потные бока лошади по способу всяческих вьюков.

По счислении всех этих обстоятельств и данных за нами остается еще один вопрос, последний: справедливо ли убеждение, что в России понимают толк в чае, любят только хорошие и пьют только настоящие?

Пить настоящие чаи в России не могут, потому что мешают, не позволяют делать этого наши торговцы, которые дали ход только чаям мешаным и приучили вкус потребителей почитать эту смесь чаями цветочными. В Петербурге и в России пьют их понемножку в форме

подслащенного декокта, проваренного и пропаренного на трубе самовара, причем и последний остаток ароматного масла улетает, а самый чай, с прибавлением крепких кислот (лимонной, клюквенной, молочной и проч.), превращается в совершенно другое, новое вещество. Употребляемый с солеными, сдобными и сладкими булками, вкуснейший в мире настой цветочного чаю низводится таким грубым употреблением на степень и значение кирпичного; так пьют калмыки, киргизы и буряты этот чай в замену супа, щей и другого горячего. В Москве и городах по пути к Сибири цветочному чаю воздают большой почет, редко прибавляя посторонние примеси, и любят употреблять напиток в виде настоя и пьют несладким, приготовленным на хорошо вскипевшей (но не прокипевшей) воде. Чай, как неизбежный напиток после ночного сна утром и по окончании послеобеденного сна вечером, во всех местах этих, во всякое другое время дня понимается как самое лакомое и вкусное угощение и предлагается гостю как здоровый напиток, с крепким и отчасти справедливым убеждением, что «зимой чай согревает, летом прохлаждает».

Если прибавим ко всему нами сказанному еще наблюдение, что чайная торговля руководит с своей стороны общественными вкусами, оставляя в Сибири лучшие черные, втискивая в Москву в большинстве чаи цветочные и лянсинные и снабжая Петербург по преимуществу красненькими, то мы имеем в руках еще новое и осязательное доказательство тому, что Россия толку в чаях знает мало. Положение это можем формулировать таким образом, что Сибирь пьет чай, какие растут в Фучане и непорченными везутся через Кяхту; Москва потребляет те, какие для нее и в ней сделают, а Петербург и вся Россия обходятся теми, которые привезут и за неимением других навязнут.

Из того же положения выходим мы и к тому заключению, какого доискались и по которому нам кажется

ясным, что при неразборчивости вкуса, при невыработанности толку в чаях и худшим шанхайским, привезенным морем, должна предстоять равная участь удачи и успеха, какими пользовались до сих пор чайкяхтинские. Не будем мы оттого пить хороших, но выиграем в денежном отношении на худших и дешевых. И дай Бог, чтобы удешевленный чай, надежный суррогат вина, еще больше ослабил пьянство, столь сильно распространившееся теперь, при дешевке и идя об руку с пивом и подарил наш трудовой рабочий народ хотя отчасти теми же добрыми качествами, каких безрасчетно и ретиво ищет он до сих пор в вине!..

# МЕРЗЛАЯ ПУСТЫНЯ, ИЛИ ПОВЕСТЬ О ДИКИХ НАРОДАХ, КОЧУЮЩИХ С ПОЛУНОЧНОЙ СТОРОНЫ РОССИИ

## МЕРЗЛАЯ ПУСТЫНЯ

Край крещеного света: дальше  
небо досками заколочено и  
колокольчик не звонит.

*Туземная прибаутка*

Там, где сплошь хвойные леса нашей северной холодной России начинают редеть, мельчать, часто сменяясь громадными мокрыми болотами, и наконец кончаются и не растут дальше, — там начинается та мертвая, страшная северная пустыня, которая у нас, в России, называется тундрой. Это огромное ледяное царство. Над ним солнце раз в году (21 июня) забывает спрятаться и делает летом двухмесячный день; другой раз (21 декабря) оно вовсе не восходит и производит такую же продолжительную ночь. С исхода марта до конца августа не потухает заря, в половине декабря только на полчаса времени можно потушить огонь. Солнце только приближается к горизонту и в полдень освещает свинцовое небо как бы вечерней зарей и расстиляет над самой тундрой белесоватые сумерки: привычный глаз может разбирать мелкую печать. Если бы не серебряный блеск луны, яркий до того, что можно на значительном расстоянии различать очертания скал, шалаш дикаря и рога оленей; если бы не светящаяся белизна снегов и не северные сияния (там весьма часто играющие на темном небе и называемые «сполохами»), — заезжий человек мог бы сойти с ума в тоске и отчаянии от этих докучных и досадных ночей.

В октябре начинается зима. Всякая жизнь прекращается: небо чисто, облаков не бывает; воздух так чист и редок, что можно расслышать малейший, сдержанный шепот — можно говорить со встречным за целую

версту. Все жидкое превратилось в лед; вся земля засыпана снегом. Всюду царствует мертвая, могильная тишина. Собственное дыхание, биение своего сердца — вот все, что может слышать человек в этом затишье, которое непривычного пугает и подавляет. Видны лишь звезды, луна, снег и лед.

Но вот солнце начинает почаще заглядывать, подалее застаиваться; дни начинают расти, воздух начинает согреваться. В начале мая вскрывается лед на реках и изнывает снег на земле. Лето наступает быстро. Природа, словно невольник после заточения, спешит наиграться, натешиться и скоро (в несколько дней) одевается зеленью. Из теплых стран с юга прилетают стада лебедей, гусей, уток; бойко одни за другими всходят и зреют растения, появляются цветы и плоды. Солнце, бросая лучи свои непрерывно, творит те чудеса превращений, которым неверующий глаз, не видя, не поверит.

Но и в это живое, благодатное время, когда говорит жизнь на земной поверхности тундры, вечная, немилостивая и неумолимая смерть уж тут, вблизи, под боком и наготове. На пол-аршина, на аршин вниз и вглубь лежит лед, ледяной пласт земли, от веков мертвый и не тающий. В то время, когда эти вечно ледяные пласты мертвят всякий корень, который к ним прикоснется, убивают всякую растительность, — верхние слои, подвергнутые животворным лучам солнца, представляют не что иное, как мокрую и бедную пустыню. Глаз ничего не видит, кроме белой пелены густорастущего оленьего моха, или ягеля, там, где больше влаги, и кажется красноватым ржавым болотом везде, где на более сухих местах растет так называемый кукушкин лен. Лишь изредка показываются скудные кусты приземистой ивы. Здесь не хотят жить даже камни, рассыпаясь от жестоких морозов в дресву и выветриваясь на сильных ветрах в песок. Самая страна — по поверью самоедов — не создана Богом, а могла появиться лишь после потопа. Ей отмежевано на земле столько места, что целая часть

света, какова наша Европа, меньше тундры; другая страшная пустыня — жаркая и песчаная африканская Сахара, также уступает величиною своею нашей северной ледяной тундре. Тундру кончается земля, тундра лежит на берегах того океана, по которому бродят вечные льды и который делает всю нашу родину такою холодною, каковы только Швеция с Норвегией, Англия с Шотландией и некоторые датские и американские острова и владения. Тундра сделала даже самое имя нашей Сибири — страшным в целом Божьем мире.

Мы намерены говорить только о той тундре, которая принадлежит России, а принадлежит нам ее самая большая половина. Начинаясь в Норвегии на берегах Северного моря, она идет на восток, придерживаясь океанских гранитных берегов. За рекой Торнео, текущей с севера в Балтийское море, тундра вступает в русские владения, стелется по Мурманскому берегу океана выстилает весь тот огромный клин, который упирается в Белое море и называется Лапландией, спускается к югу, придерживаясь берегов Кандалажской губы Белого моря. Начинаясь по ту сторону этого холодного моря, тундра стелется опять с большею силою и постоянством дальше к востоку и прорезывается на пути своем двумя огромными реками — Мезенью и Печорой. В промежутке между реками она называется Малой Землей или Тиманской тундрой, которая огромным косяком земли врезывается внутрь Ледовитого океана под именем полуострова или тундры Канинской. По ту сторону Печоры северная русская пустыня широко и привольно тянется по направлению к Уральским горам под именем Большеземельской тундры; выстилает своей серой, мокрой и бесплодной землей гранитную подошву этих гор, отделяющих Россию от Сибири, Европу от Азии. По Азии тундра протянулась во всю длину ее и занимает третью часть всей Сибири; местами она одолевает на юге лесную область и далеко уходит в нее; местами уступает лесам и побеждается

ими, то есть начинает придерживаться облюбленных ею мест, ближайших к океану. В океан она продолжает вдаваться большими клиньями и раз врезалась так далеко и глубоко, что выродила самую страшную и никем не обитаемую пустыню, известную в Сибири под именем Таймурской Земли, между устьями двух громадных сибирских рек Енисея и Лены. Реки эти, вместе с третьей огромною Обью и меньшими (но также большими) Хатангой, Анабаром, Оленеком, Яной, Индигиркой, Колымой и многими другими, прорезая разрыхленную мокрую тундру, так широки в берегах своих вблизи устьев, что кажутся огромными озерами. Так, например, Лена, величайшая река Сибири, при впадении в океан разливается верст на двести. До Лены тундра представляет гладкую равнину, как море, и только за этой рекой она становится возвышенною над океаном, а за рекой Колымой изрезана такими же мертвыми, голыми, как сама она, горами. Высокие горы эти составляют продолжение Станового или Яблонового хребта, разрезающего собою всю Восточную Сибирь на две части.

Громадный клин тундры кончает Сибирь на востоке, залегая между Северным океаном и частью Восточного, или Охотским морем, ниспускается в заброшенную теперь Камчатку. Обрываясь на берегу Берингова пролива, соединяющего два названные нами океана, тундра на том берегу стелется в третьей части света — Америке — по кочевьям наших алеутов и не наших дикарей, эскимосов.

Не довольствуясь материком, тундра залегла на всем своем дальнем (в 15—20 тысяч верст) протяжении, по всем тем островам, которые плавают вблизи и вдали от твердой (материковой) земли в морях и океане. Тундра обездолила и Шпицберген, и Колгуев, и Новую Землю, и Новую Сибирь — каменные острова крупные и бесчисленное множество других мелких. Тундра же выстилает и подошвы всех гор, которые врезались в нее.

С лишком восемь месяцев покрытая снегом и почти четыре только месяца красующаяся скудным растительным покровом из моха, лишаяев и кукушкиной травы, тундра во все долгое время, когда существует известный нам мир Божий, не стала удобным местом для оседлых людей и неподвижных жилищ. И сколь ни неприветна она, сколь ни мертва к ни страшна для народов, привыкших жить оседлою жизнью, тундра (в то время, когда боятся ее и бегут от нее оседлые народы) приспособила и приохотила к себе других народов с другим родом жизни, называемых народами *бродячими*.

Природа разостлала по земле тундру и посеяла на ней лишай и мох не с тем, чтобы вконец обездолить эту огромную часть нашей земли, но в то же время она, как прозорливая и заботливая мать, поспешила приурочить к такой скудной растительности целый отдел живых существ. С ними кажущаяся пустота тундры перестает быть таковою на самом деле. Мох, в обилии выстилающий тундру, полюбился оленям и стал для них единственною и лакомою пищею. Зимой, когда мох на тундре покрыт толстым пластом снега и им, и под ним спасен от губительной силы морозов, олень не умирает с голода и жажды. Жажду утоляет он теми же хлопьями пушистого снега, а голод тем же мохом, для добычи которого природа наградила оленя чутьем и копытом. Нанюхивая через толстый пласт снега те места, где много народилось моху, олень передними копытцами разбивает наст и, разрывая снег, никогда в расчетах не ошибается: сыт во всю зиму. Летом, когда тундра обильно покрыта множеством крупных и сочных ягод, каковы: морошка, вороница, клюква и брусника, прилетают из теплых стран стаи птиц с вкусным мясом, как гуси и утки, и невкусным, как гагара, чайки и гага. Те и другие кладут в здешних местах яйца и линяют. Моря кишат сальным зверем, реки и озера — рыбой, и звери и рыба находят себе пищу в растениях, растущих на

дне морей и рек и называемых водорослями. И олени, и птица, и рыба — вот все то, что привлекает к себе и царя всей вселенной — человека. Рогатые и пушистые жители тундры, чешуйчатые обитатели вод и пернатые жильцы воздуха успокаивают и обеспечивают все главные потребности человека: утоляют голод, одевают тело и даже удовлетворяют жажде корысти. И человек с оленем для рыбы, птицы и зверей (морских и земных) вышел на тундру и оживил ее своим присутствием. Зимую и летом он не покидает ее и здесь такой же усидчивый жилец, как и в других более счастливых местах. И если кочевник северных пустынь не сумел победить и покорить себе природу (что делают другие люди во всех других местах), зато он также любит ее (едва ли даже не больше других народов) и неохотно покидает тундру, считая ее дорогой и милой родиной. Пусть она дает ему мало радостей, пусть живут на свете хорошие страны: он их не изведal и об них не слышал. Об иных радостях, кроме тех, которые дает ему жизнь на тундре, он и не воображает, а потому и не думает, и не желает их. У дикаря есть олень и тундра, воздух, пища и кровь в жилах — вот и все.

Но не было бы оленя, не водилась бы рыба и птица, — само собою, дикари не жили бы здесь и тундра была бы в самом деле необитаемой пустыней и страшной землей. Верно и очевидно, однако ж, то, что человек — властелин и царь земли повсюду здесь, на тундре, влачит свою жизнь, подчиняя ее диким оленям, и справедливо называется пасынком природы. Таковы все обитатели тундр: лопари или лапландцы, самоеды, остяки, юкагиры, коряки, чукчи, эскимосы и алеуты. Большая часть этих народов финского племени. Платят подать русскому дарю и все языческой веры, — все верят шаманам. Наше дело теперь рассказать об них по очереди, начиная с западных — русских — и кончая восточными и самыми дальними — сибирскими.

## ЛОПАРИ

Лопь — сыродцы

*Старинное прозвище*

Чудь — белоглазая.

*Нынешнее присловье*

Приземистый, смуглый, долгорукий лопарь одевается всегда в мешок с рукавами и рукавицами, сшитый из оленьей шкуры, который зовется *печок* и носится шерстью наверх.

Толстая голова лопаря, посаженная на короткую шею и обросшая копной черных жестких волос, от холоду прикрывается колпаком из той же оленьей шкуры и тоже шерстью кверху (богатые надевают шапку с длинными ушами из шкуры росомахи). Под печоком у него еще такая же шкура вместо рубахи, но шерстью обращенная к телу. Из шкуры и оленьих ног, или камуса, сделаны его сапоги, или яры, пришитые к меховой рубахе. Как русский без креста, самоед без трубки, так лопарь без ножа никуда не ходит: привешивает он его к ременной подпояске, к которой привык с примера русских. Лопарь в одежде хлопчет только о тепле на зиму — и не замерзает в ней в сильнейшие морозы. Он настолько ловок в своем неуклюжем мешке, что привычка его дивит и возбуждает зависть в непривычных. Лопарки, как и все женщины белого света, заботятся еще о щегольстве: пришивают на печок там, где глаз и рука укажет, разноцветные суконные лоскутки и любят щегольнуть крестом, который выпускают поверх одежды на цепочках (нередко серебряных). И в то время, когда мужчины своим печоком соблазнили русских и передали его на плечи тех из поморов, которые поселились между ними, — лопарские бабы потянулись за русскими: носят летом сарафаны, на головах сороки из кумача с подзатыльниками, пронизанными бисером.

Бисером же они унижают и свои яры (обувь). У девок на шее красные из бисера бусы в таком же ходу, как очень большие и тяжелые серьги, перстни и кольца на толстых мозолистых пальцах. Когда другой родич лопаря, самоед, сшивши себе оленью одежду, круглый год ее не снимает, — лопарь на два месяца летом меняет печок на длинную, до пят, юпу, шитую из серого сукна, и надевает на голову валяный колпак двуличный: красный с одной стороны для праздничных дней и темного цвета с другой для будней. Лениво глядят из-под этого колпака узенькие красноватые глаза дикаря, и скуластое лицо, едва оттененное коротенькой бородой темно-русого цвета, сказывает в нем чужой, нерусский род-племя.

Изо всех обитателей тундры лопари охотливее других народов чудского племени поддаются на русский обычай и одни только они не верят шаманам. Скоро исполнятся триста лет, как лопари приняли христианство от преподобного Трифона Печенского во времена царя Ивана Грозного. Крещены были сначала те, которые жили около Колы, а потом и терские лопари, живущие на севере терского берега Белого моря. В старину, бывало, они хаживали в Соловецкий монастырь и постригались в монахи и нынче строго соблюдают посты. Живя не рассеянно, а кучками в селениях своих или погостах, строят часовни и охотливо ходят на молитву, особенно когда два раза в год навещают их русские священники. Но все еще само собою лопари — христиане плохие. Заботясь об обрядах, они не понимают самой сущности веры Христовой, а терские и самые обряды исполняют не с такою строгостью, как кольские лопари: когда на тундре появляется несметное множество белых куропаток, лопари едят их во весь Великий пост и оправдываются тем, что куропатки — летучая рыба. Извиняют им это и строгие блюстители обрядов, как-вы поморские староверы, лучше других знающие, что лопарю важная забота и трудное дело — добыть себе

пищу. Оленя он колет только старого, молодой ему служит для езды: без него он и кочевать не может, а с ним и на нем он может выселиться на берег океана, где весной и летом кишат береговые губы треской и палтусиной, а устья рек к осени семгой. На олене лопарь откочевывает на зиму в глубь тундры, прочь от сердитых ветров и крутых вьюг на море, и ради тех же куропаток и пушных зверей, бегающих по снежным сугробам лопарской тундры. Прилаживая из жердей и досок свои зимние вежи где-нибудь за пригорком, в затуле от паллящего зимнего морозного ветра, лопарь для крепости и пушного тепла обкладывает свое уютное жилище хвостом и дерном. Вежа его, засыпанная снегом, ночью похожа на стог сена, днем — на огнедышащую сопку, потому что из отверстия на самой верхушке вежи клубится дымок от огня, разводимого среди шалаша. Кругом жилища грязно, но едва ли не грязнее в нем самом. Здесь, лежа на оленьих шкурах и поворачивая к огню нахолодевшую половину тела для угрева, валяется семья лопаря — полутолая, рваная, в куче с собачонками и в грудях рыбьих потрохов и сушеной рыбы, которые щедро наполняют вежу невыносимым гнилым запахом. Непривычному человеку лопарской зимней вежи не вынести; сами лопари житье в зимней веже считают роскошью и блаженством, особенно когда запасы в достатке. Наколотивши желудок полусгнившей пищей, не заботясь о завтрашнем дне, долго, очень долго спит лопарская семья под шум ветра в дерновой веже зимой. Спит лопарь и в берестяной летней веже так же долго и крепко: его не беспокоят даже и мухи, не будят комары и оводы, обсыпающие тундру на все летнее время в неистовом множестве. Изредка зимой он выходит из вежи поглядеть, не съели ли волки или собаки его запасов, и иногда выезжает на берег океана посмотреть, не расхищено ли становище поморских промышленников, вверенное его надзору.

Вся жизнь лопаря состоит в том, чтобы промыслить себе пищу, когда ее нет в запасе, и спать и ничего не делать в то время, когда пища эта добыта. И если удалось приготовить запасы, лопарь становится еще ленивее и беззаботнее. Таковая жизнь отличает лопаря от русских соседей и, делая его дикарем, низводит до сходства с неразумными существами, которые также думают только о том, чтоб быть сытыми сегодня.

Искание пищи привело летние вежи кольских лопарей на берега тундровых озер, рек и океана, а вежи лопарей терских или терскую лопь — на берега Белого моря и того же Ледовитого океана. Здесь и сами по себе, и в сообществе с русскими промышленниками они добывают рыбу на насущное пропитание и про зимний запас и никогда не едят никакой пищи, ни единого куса сырым, не сваривши его прежде в воде и на огне. У лопаря сладкий кус — вареный; у самоеда — парное сырое и еще дымящееся сердце или печень оленя.

На треску и палтуса — вкусную, сытную и любимую во всем северном крае рыбу — лопарь, как и все русские промышленники (приходящие на Мурманский берег океана), вооружается особым снарядом, который зовется ярусом. Этот ярус состоит из толстых бечевки, которые плавают на воде и держатся на ее поверхности с помощью деревянных поплавков. От толстых бечевки идут ко дну, при помощи свинцовых грузил или камней, тоненькие бечевки с крючьями, наживленными червями, а чаще всего кусочками той же трески. В то время, когда прожорливая рыба виснет на крючьях установленного яруса, лопарь, живущий больше всего в рабочих, беззаботно спит на берегу. Раз и (если не поленился) два раза в день выезжает он на карбасе осмотреть снасть. Обобравши рыбу, он опять ставит ярус при пособии товарищей и затем снова целую ночь спит до утра при помощи и в сообществе тех же товарищей. Так проходит для него все лето, в такой однообразной сонливой жизни, которую он не умеет даже веселить табаком по примеру других дикарей. Так же сонливо

выжидает он и семгу в особую сеть с длинным мешком, которая настораживается при входе в реку. Широким отверстием сеть обращена в сторону моря, задний конец ее, или кут, укрепляется на палке в стороне реки, чтобы не путался с передними крыльями сети. Семга, привыкшая ходить против течения и притом в бурную погоду, осенью обыкновенно идет в реки искать теплых вод для метанья икры. И опять в то время, когда семга, заходя в мешок сети и не умея повернуться, ждет своего победителя, уткнувшись носом в угол мешка, лопарь спит беззаботным сном праведника до тех пор, пока не выпится, и валяется на оленьей постели, пока не захочет поесть свежей рыбы. В то время, когда идет рыбы очень много (в ветреную осеннюю погоду), лопарь вырезает из нее только самые жирные и вкусные куски (остальное бросает); но и зимой, когда подойдут, уменьшатся запасы, он и сгнившую и протухлую малосолку ест с одинаковым наслаждением и охотой.

Лопарь малым доволен: однообразная жизнь ему по сердцу. Он почитает те в году праздники, когда привозят русские водку, до которой он с легкой руки их стал большим охотником. Он полагает для себя то наслаждение сильным и несравненным, когда пьян до бесчувствия. В пьяном виде лопари поддаются всяким обманам корыстных людей, покупающих у них пушного зверя; в трезвом они сами всегда готовы на обман, хотя и кажутся простодушными на вид. Все имевшие с ними дело в одно слово говорят об их непомерном упрямстве, но хвалят в них смиренность, доходящее до рабской покорности. Выведенные из себя и озлобленные постоянными притеснениями и несправедливостями, лопари стали мстительны. Под влиянием и обаянием этого чувства они, как звери, находят единственное утешение в том, чтобы убить обидчика. И если случаи этих убийств весьма нечасты и по малочисленности русских в соседстве, и по малолюдству самих лопарей (терских, например, насчитывают не больше 200 душ), тем не менее в убийствах этих лопари обнаружили другой

крупный недостаток свой. Они сребролюбивы: страсть к деньгам ради водки, с которыми познакомились они с легкой руки наших поморов, доводила некоторых до воровства и даже до убийства.

Старик и богач пользуются у лопарей одинаковым почетом. Лопарка, не рожавшая детей, наказывается презрением. Умерших почитают, сопровождая погребение их особыми почетными обрядами; могилу их отличают насыпным курганом, прикрытым кережкой, или санями, опрокинутыми вверх копыльями.

Поживее идет жизнь лопаря, когда река или море дает обильную добычу рыбы, когда семгой кишат реки и сельдями наполняются заветренные морские заливы до того, что вода превращается в живую рыбную кашу. Зимнюю спячку свою разнообразит дикарь иногда тем, что на узких и длинных лыжах, обтянутых оленью шерстью снаружи, и с жердью в руках бегаёт он за лисицей, волками, горностаем и на медведя в те места тундры, где вяжется кое-какой ивняк и растет приземистая, коренговатая березка-стланка. С изумительной ловкостью всходит он на этих лыжах на высокие горы и с поразительной быстротой сбегает вниз в долины. В этом искусстве у лопаря нет соперников; но зато других искусств он никаких не знает и ничем похвалиться не может. Меткостью взгляда при стрельбе в зверя он уступает самоеду, на медведей в одиночку не ходит, а ловок в ловле дикого оленя — по привычке и наметке, да к тому же лопарь, еще не убивший дикого оленя, и жениться не имеет права.

Свадьбу лопарь справляет забавно и невесту у родителей покупает. Вместе со своей родней идет жених в вежу невесты: его не пускают; он с молитвой: «Господи Иисусе!» — начинает стучать. В полуоткрытую дверь просовывается изнутри придверник и, щуря глаза, грубым и сердитым голосом спрашивает: «Не вижу, что за люди пришли?» Ему подают полтинник; он трет им один глаз и щурит другой. На этот глаз тоже поступает пол-

тинник. Лопарь все-таки гостей не пускает: «Горло болит»; ему дают платок. «Озяб», — говорит; водкой поят. С этим он прячется и высылает другого придверника. С этим та же история. Этому проводники жениха говорят, что идут от заморского купца, у которого улетела золотая птица и спряталась тут. «Войдите и посмотрите». Входят гости в избу, ухватясь руками за плечи друга друга и гусем. Жених впереди что есть в нем силы топает ногами. Его осаживают, как оленя, криком: «Тпру!» Невесты нет, но сидит родня ее, и отец, понуриив голову, притворяется спящим. Его бьют коготками в голову и дарят, когда он попросит на починку головы, шеи, глаз и всего, чего захочет. Когда жених одарит всех, выводят невесту: «Не это ли золотая птица»? Но сваха не открывает лица и просит подарка. Откроет: «Она!» Тогда сват берет руку жениха под мышку, а кисть руки, повернув вверх ладонью, кладет на свою. То же делает сваха с невестой. Чуть дотронутся руками и отхватят; поднесут и отдернут: и так до трех раз. Жених один уезжает домой, а остальные лопари начинают пьянство. На другой день бывает свадьба уже без всяких обрядов. Лопарь молодой год работает на тестя; потом ладит свою вежу и лето рыбачит; зиму живет летней добычей по примеру всех родичей.

Рыбак-лопарь живет грязно: за то имя его стало бранным словом у русских соседей, хотя он и крепко тянет в русскую сторону. Лопари наши начали кое-где строить бревенчатые избы; охотно нанимаются жить в работниках у русских хозяев; полюбили русский ржаной хлеб и без него не обходятся, если временем при скудости запасов и мешают его с сосновой корой. Почти все лопари хорошо говорят по-русски. К тому же они крещены в православную веру и знакомы теперь со многими русскими свычаями и обычаями. Все это добрые знаки к тому, что и они могут скоро обрусеть и сольются со своими сильными соседями, как сделали это многие некогда кочевавшие финские народы: весь, меря, мурома и другие.

Упорнее стоят за себя те лопари, которые живут вдали от моря и кочуют с оленями (под именем финманов) на землях Шведского королевства. Нужда не заставила их сделаться рыбаками и небрежно заниматься оленями (как случилось это с нашими лопарями); у них еще водятся богачи, которые держат до тысячи оленей, и имеющего сто голов считают бедняком. Между лесными лопарями есть такие, которые по временам умываются, и женщины их заплетают косы на две прядки — знак, что они начинают жить по-чужому, что и для них, вероятно, недалеко то время, когда они перестанут жить как особый народ и останутся только в памяти людей да в книгах.

Всех лопарей, кочующих в обоих государствах, России и Швеции, насчитывают не более девяти тысяч. Так ничтожен теперь этот остаток народа. Но как велик и силен должен был этот народ быть в то незапамятное время, когда прадедам нынешних лопарей привелось совершать долгий и тяжелый путь переселения в несколько тысяч верст с места его родины.

Родина всех чудских или финских племен лежит в полуденной части нашей Сибири или во внутренней Азии, изрытой высокими горами Алтая. Оттуда вышли родоначальники всех тех народов, которые населяют теперь тундры и леса нашей России и Сибири, и вышли оттого, что были вытеснены другими сильнейшими племенами, каковы племена монгольские. Финские народы, оказавшиеся слабыми и бессильными, уступили народам монгольского племени и свою родину, и соседние с нею лучшие, более теплые и богатые земли. Сами же, сойдя с гор и теснимые новыми пришельцами, принуждены были устремиться в противоположную полуденную сторону и здесь искали и нашли безопасные и свободные земли. До них на землях этих жили скифы, которые, в свою очередь, бросились на юг и там погибли в войнах, оставив свои земли охотникам. Когда появилась на земле Русь, из которой возникло потом Русское царство, финские племена заведомо жили на всех тех

местах, где мы их находим и в наше время. Старинным русским людям они известны были под общим прозвищем белоглазой чуди, хотя и стали известны потом под своими племенными названиями: *ижора*, или нынешние чухны; *корела*, или корелы нынешние; *лопь*, т. е. *лапландцы*, или лопари; *самоядь*, переименованные потом ни за что — ни про что в самоедов, смиренный и кроткий народ, никогда не бывавший людоедами. В лесах северной России жили *воть*, или вотяки, *пермь*, или зыряне, *югры*, или вогулы, *черемиса*, *мордва* и в Сибири та же *самоядь*, *остяки*, *тунгусы* и многие другие.

Из народов этих больше всего чукчей и остяков; но просторнее других разбрелись и шире живут самоеды, занимая большую половину всей северной тундры. Прикочевывая по зимам к Архангельску, самоеды в то же время бродят около Туруханска. На Енисее и по реке Тазе живут они под названием юраков. А вблизи их родины на Алтае, за Саянскими горами, во владениях китайского богдыхана, еще до сих пор кочуют их родичи, отставшие от своих и затерявшиеся до того, что говорят уже теперь другим языком. Это — сойоты, или те же самоеды, счастливые уже тем, что настоящая родина их ничем не отличается от прежней и им не предстояло такой жестокой борьбы с жизнью и природою, какая досталась на долю самоедов.

## САМОЕДЫ

И в самоедах не без людей.

*Русская пословица*

Самоеды, в незапамятные времена оставляя свою родину, теряли с нею житье в умеренном климате, где быстро вырастало и крепло их племя; покидали сочные травы и тучные пажити, на которых также обильно

плодились и быстро нарастали стада овец и табуны лошадей. Вступив в холодную страну, загнанные на пустынную, мокрую тундру, они нашли на ней такую скудную растительность, которая не в состоянии пропитывать ни овец, ни лошадей. Сами люди могли погибнуть с голоду и холоду. Новая родина обещала им одну смерть. Только сильное и здоровое племя с помощью того сокровища, которым Бог наградил человека и которое человек называет разумом, могло спастись от конечной гибели.

Природа засеяла тундру мохом и населила оленями. Олени приняли мох за пищу и, не нуждаясь ни в какой другой, не потеряли с тем вместе и своей живучести. Невзирая на холод, они плодятся еще с большею быстротой, чем другие животные в теплых странах. Оленей нашли самоеды и их соплеменники в диком состоянии; они боялись людей и с быстротой молнии бежали от них. Но люди принесли с родины уменье диких животных превращать в домашних, и тот же аркан, который ловил в горах Алтая диких и сердитых лошадей и баранов, с меньшим трудом накинута был на рога диких же и бойких оленей. И тот же лук, и те же стрелы, владеть которыми выучила старая родина, пригодились на новой в помощь аркану. Когда тучи комаров и оводов обсыпают тундру летом и животные, отыскивая спасение в воде, табунами сбегаются на берегах моря, истощенные и обессиленные, — ловля их для пришельцев облегчилась. И самоеды, и лопари, и остяки, и чукчи сделались владельцами и хозяевами оленьих домашних стад, до сего дня не переставая ловить на аркан и на лук и стрелы оленей диких.

Найдя и покорив себе оленей, самоеды сделали для себя великое дело: они могли остаться на тундре и не погибнуть на ней ни с холоду, ни с голоду. С оленями они заведомо живут вторую тысячу лет и все на тех же местах, где помнил их преподобный Нестор, писавший «Русскую летопись».

Из шкур молоденьких оленей, или пыжиков, самоедка, большая рукодельница, шьет мужу шапку; из шкуры взрослого оленя, или неблюя, делает нераспашные мешки с рукавами и прорезом для головы, из которых один, называемый малицей, надевает самоед вместо рубашки, прямо шерстью на голое тело, а другой мешок, или совик, — в мороз, зимой, поверх малицы. Из того же неблюя шьются чулки, или липты, на ноги и сверх их род сапогов, или пимы, узорчато-красиво изукрашенные кусочками сукна и белыми с коричневыми лоскутками камусины, или шкуры с ног оленя. Вместо ниток сшивают шкурки жилами тех же оленей. В таком бесконечно теплом, хотя тяжелом и неудобном наряде, не страшны самоеду морозы тундры; в них он смело пускается в дальний путь по необозримым снегам своей родины. Шкуры со старого оленя или быка он подстилает и на санки, и для спанья, называя их постелями. Ими же обкладывает и обвешивает внутри и снаружи жерди своего подвижного и складного жилища, которое называется чумом. Свежее мясо оленя служит салодам пищею летом; вяленое на солнышке идет в зимние запасы. Вареные языки и губы вравятся самым избалованным лакомкам из русских, а наросты молодых рогов (рога олень сбрасывает ежегодно), студенистые, хрящеватые наросты, вырезанные из-под кожи, китайцы покупают на вес золота. Сами самоеды считают великим лакомством теплую кровь убитого оленя и находят великое блаженство в том, чтобы съесть с гостями и друзьями еще парное сердце, еще дымящиеся и сейчас вынутые из груди легкие и печень.

Можно видеть теперь, насколько дорог для самоеда олень, дающий и от голода спасенье, и от холода защиту, и в кочевьях дорогой и незаменимый товарищ. Заложив в санки на высоких копыльях четырех оленей, самоед сажает на них свою семью; к этим саням привязываются вторые санки, с четырьмя же оленями. На

них кладутся жерди, служащие остовом, или скрепою, чума. На третьих санках помещаются постели или те олени шкуры, которыми обкладываются жерди чума снаружи и обвешиваются внутри. Сюда же бросает самоед хохлатую, маленькую, некрасивую собачонку — другого своего заветного и нужного друга. И поезд, или аргиш, готов. Самоеды перекочевывают на другое место оттого, что на этом съеден весь мох и изрыт весь снег так, что белая тундра превратилась в серую.

Олени бегут без дороги по сугробам снега, через подснежные кочки, ловко выхватывая свои быстрые и легкие на ходу ноги из мягких сугробов и не скользя и не оступаясь на льду наснежного наста. Пустив на длинной и единственной вожже слева переднего толкового и приученного оленя (который потому и продается вдвое дороже), самоед верит ему больше себя самого и повинуется. Изредка ткнет шестом ленивых оленей и поправит вожжу передового только тогда, когда звезды на небе или полосы, намеченные ветром на снегу, покажут самоеду, что олень, отыскивая мох, забывает о хозяине и везет его совсем вдаль и в сторону от русских, у которых водится пьяная водка. Устали олени, самоед собирает всю вожжу в свою руку и быстро повертывает передового оленя, а с ним и привязанных к нему трех других в левую сторону и — останавливается. Стоит как вкопанный и весь аргиш: олени, пробежавшие за один дух верст 20, тяжело дышат и хватают пух свежего снега. Надышавшись и напившись, через четверть часа они опять готовы в дорогу. И опять бегут, положивши свои ветвистые рога на спину и помахивая своим коротеньким хвостиком до нового доху через 15—20 верст или до полной остановки там, где мох не съеден и, стало быть, можно остановиться чумом. В несколько часов чум готов и кажется издали копной сена. Иньки или самоедские женщины уколотили его постелями в два ряда и вывели дверь по направлению к югу, завесив

ее подъемной шкурой. Пока мужчины распутывают оленей и пускают их на волю бродить по тундре, среди чума иньки развели огонек, который пускает дым в оставленное наверху чума отверстие. Дунет ветер сверху — чум наполняется дымом до того, что непривычному человеку ни дышать, ни глядеть невозможно. От этого дыма и от сверкающей белизны снегов у всех бродячих дикарей болят глаза и по зимам постоянно гноятся.

Постукивая передними копытцами (попеременно то правым, то левым), олень пробивает ледяную кору, или наст, разрывает снег и докапывается до моха. Съест его в одном месте, идет на другое. Если слишком крепок наст, у оленей разболятся копыта. Если слишком много мошки летом, они болеют нарывами, мечутся, мучатся, иногда умирают в изнеможении, если не удастся спасти их в воде ближайшей реки, озера или океана. Хозяева тоскуют об этом, но средств никаких не придумали и не употребляют: лет двадцать пять назад, в 1831 и 1833 годах, забралась в тундру чума и опустошила всю тундру: олени мерли как мухи. Архангельские самоеды до сих пор не могут оправиться, и большая часть из них, бывши хозяевами, стали пастухами чужих стад, принадлежащих зырянам.

В то время, когда иньки шьют нюки (или покрывки для чумов), обшивают семью и готовят пищу, мужчины обыкновенно более спят и просыпаются, чтобы есть. Едят что ни попало, без разбора: не гнушаются они и жестким вонючим мясом песцов; в голодное время и собакой не брезгуют. Пастух-самоед смотрит только за тем, чтобы оленям была пища, и если тундра вокруг его чума начинает чернеть, выбитая оленями, он начинает думать о перекочевке. Когда же узнает и увидит, что олени отошли далеко и чум его очутился не на середине стойбища, а далеко на краю, самоед решается переменить место. Дальних оленей могут резать волки,

которых много бегают по тундре, а потому, поймавши ближних оленей, самоед впрягает их в санки и едет сгонять остальных оленей в кучу. Не столько он сам со своей палкой хореем и своею веревкой с петлей, сколько работает тут его собачонка. Бегает она взад и вперед с громким пронзительным лаем, который привыкли понимать олени. И как бы ни задумался олень, уткнув рыло в снег, собака разбудила его звонким лаем прямо над ухом. Олень схватится с шеста и побежит туда же, куда бегут все его товарищи и где хозяин ловко вскинет ему на рога меткую и крепкую петлю; затем впряжет и опять погонит по снежной пустыне на свежее моховое болото. Тундра не межевана и нераздельно принадлежит всему самоедскому народу.

Так и идет жизнь самоедская рядом с оленьей, в полной зависимости и в непрерывной подчиненности: без оленя самоед не живет. Даже те, которые пошли на едому, то есть пробиваются людским подаванием по соседству русских селений, не бродят без оленей. И опять-таки не самоед выбирает себе место, но олень указывает ему одно и с тем, чтобы через неделю, через две, вести его на новое. Жалка эта жизнь и недостойна она человека, но у самоедов нет другой: они другой не желают, да, спознавшись с ней, ни полюбить, ни даже привыкнуть не могут. Привычкой, и притом сильной привычкой, живут эти обтерпевшиеся, коренастые, низенькие ростом, неладно кроенные, но крепко шитые люди. Прищуриив свои узенькие глаза и сморщив свое плоское скуластое лицо с приплюснутым от природы носом, самоеды не прячут его на самой сильной морозной тяге, когда русский туземец давно уже зарыл свой нос в теплый мех малицы и, вытащив из рукавов руки, спрятал их под мышки. Если застигнет самоеда в дороге пурга, которая слепит глаза оленям, останавливает самый бег их и захватывает дыхание, самоед, опрокинув санки вверх копыльями, по целым суткам вылеживает под ними и

переживает бурю весь, и с санями, засыпанный курганом снега. Когда доводится самоедским старшинам с прислугою жить в русских селениях и казенных избах, они неохотно топят печи, а спят всегда на повите, разбросавшись на сене в то время, когда русские храпят и стонут в невыносимой духоте и жаре на печах и полатях. Только против морозов самоед кутается в шубу, а холод почитает для себя тем же, чем рыба воду. Жары он не выносит и в теплой избе не сидит долго. Летняя жара ему — наказание; зимний холод для него — удовольствие, лишь бы только хивуса и замятели не спутывали неба с землей, не застилали Божьего света.

Так изменился этот дикарь на своей новой родине. Против кое-каких невзгод ее он давно уже придумал и отыскал оборону, если и не хитрую, то потому, что и сам он весь не хитер. Летом, когда из каждой мшины родятся на свет целыми облаками комары и оводы, самоед жжет кору и гнилушки и в дымокуре этом, который ест глаза и гонит слезу, избавляется на день от докучливой мошки (а на ночь она и сама погибает). От постоянной мокроты, сонливой и неподвижной жизни, от дурной и гнилой пищи без соли портится кровь и привязывается мучительная костоломная болезнь — цинга, при которой пухнут десны, появляется невыносимо гнилой запах во рту, усыпается все тело багровыми пятнами и близится смерть. От цинги самоед пьет теплую оленью кровь в большом количестве и ест морошку, которая тут же под руками растет по тундровым кочкам. Если прибавим к этому выносливость самоедской природы, его терпение и привычку, то не станем дивиться, что самоед ест до отвалу и с жадностью волка, когда много запасов, а нет пищи — он способен голодать и выносить даже самое мучительное изо всех чувств — жажду. Надо много жестокости и настойчивости, чтобы вывести его из терпения. Его обидеть трудно, но рассерженный он бывает дик и неукротим, как лесной зверь.

Против тоски скучной жизни он придумал кое-какие развлечения. Если он песен не поет и ни на чем не играет, зато свадьбу справляет не скучнее других, хотя и по-своему.

Когда он сговорил невесту и заплатил ее отцу сколько заговорено оленей, молодой без особых обрядов берет иньку к себе и затевает пир, или, лучше сказать, пьянство. Пиршество начинается с угощения свежим оленем: гости берут по ломтю парного мяса и, подняв лицо кверху, жуют мясо, ловко отрезывая кусочки ножом подле самого рта. Что остается в руках, они снова обмакивают в теплую кровь, которая течет и по реденьким бородам, и по коротеньким шеям, и по широким, крепким грудям гостей. Кончается пиршество поголовным пьянством, причем пьют и иньки, пьют и маленькие ребятишки, и завершается пир непременно дракой. Сначала начнет один, ни за что ни про что ударив другого. За каждого заступаются другие, кому за кого вздумается, и начинается общая свалка. Драка становится заразительною: начинают драться иньки. Куда ни взглянешь — везде дерутся. Самоеды, ухватив друг друга за щетинистые волосы, охотливо переменяют таску на кулачки. Драка начинается без всякого повода; стоит двум встретиться — и полетели клочья: большой бьет маленького; инька треплет бороду взрослого самоеда, забывая то, что она обязана ему рабской покорностью и в трезвом виде ей такой дерзости и во сне не привидится. Дерутся самоеды так, спуста, в какой-то заразе: они совсем не драчливы и вовсе не злы (доброта самоедов известна и в дальней Сибири). Но такова сила вина, со страстью к которому самоеды не могут сладить. На вино они пропили половину своей тундры плутовым и ловким соседям; за вино пропьют и остальную часть, если не остановят плутов и ловчаков. И еще с этими врагами тундры не могут сладить самоеды и наполовину подчинились им. Для архангельских самоедов

Тиманской тундры таковыми врагами являются зыряне, живущие по реке Ижме, впадающей в Печору.

С бочкой вина выезжают зыряне в тундру и в те места, где самоеды ставят капканы и снасти (кулемки) на волков и на других лесных зверей, бегających в пустыне, каковы: горностаи, лисицы, песцы. Подпаивая добродушных простяков самоедов, зыряне выманивают на полуштофы (по тамошнему — кубки) скверной водки хорошие шкурки зверьков и у пьяных дикарей берут их столько, на сколько не дрогнет рука, не позазрит совесть. Ограбивши один чум, зырянин с походным кабаком едет грабить и все соседние. Умея приласкать и зная всякие подходы, хорошо знакомые с характером соседей, зыряне в два десятка лет завладели всей тундрой. Они при помощи водки не только всех зверовщиков-самоедов сделали своими батраками и данщиками, но и у хозяев оленьих стад переманили к себе всех оленей. Прежде зыряне нанимались в пастухи к богачам-самоедам, теперь те же богачи живут в пастухах у ижемских зырян. Селения зырян изукрашились большими, светлыми и просторными избами в два этажа, а села — большими каменными церквями, в которых иконостасы горят серебром и золотом, а колокольни украшены большими и звонкими колоколами, каких мало и в губернском городе Архангельске.

Кроме всех этих невзгод, на самоедское племя напали приносные смертельные недуги, в которых гниет это племя и заметно начинает вымирать и уменьшаться. Оспа, оленья чума, корь, цинга, горячки застарелых и гнилых свойств должны со временем истребить это племя. Оно упорно держится за старые обычаи и не хочет по примеру лопарей сближаться и сливаться с русским племенем.

Русские лет уже около пятидесяти крестят самоедов, строят им церкви — постоянные там, где попрочнее сидят самоеды (как на устьях Печоры и на острове

Колгуеве) и вывозят в тундру походные церкви; но самоеды упорно стоят за язычество. На шее носят крест, чтобы показывать начальству, а за пазухой для себя деревянные чурочки богов, грубо сделанных наподобие человека. Таких же божков они ставят у снастей, настороженных на пушного зверя, и при счастливом ловле тычут им в рот кусочки оленьего мяса; при неудаче — бьют и секут прутьями. Этого бога бросают; вместо него режут нового. На острове Вайгаче имеется каменный чурбан, который всем самоедским народом почитается за великого и главного бога. Насколько мрачна природа тундры, а с нею и от нее и жизнь самоеда, настолько же мрачен дух этого народа и столько же мрачна его вера. Самоед еще глубже лопаря погружен в невежество и еще до сих пор верит шаманам, которые толкуют ему, что самоедский бог Нум постоянно гневен на людей своих и требует жертв, что они, шаманы или тадебей, одни могут его умилоствовать; что Нума послал на землю духов и что все эти духи (тадебции) злы и творят людям охотно всякое зло. Они насылают волков на оленей, медведей на людей и еще никому и никогда не сделали добра без подарков. Этих-то тадебциев, или злых духов, и вытесывают самоеды из дерева. Эти же духи поселяются и в серых волках, и в белых медведях. Потому-то самоед, если захочет обмануть, никогда не поклянется над головою белого медведя.

С темною верою в злую силу умирает самоед равнодушно, не сожалея о прошлой жизни, не скучая о том, что не удастся еще помаячить. Иньки одевают покойника в лучшую одежду и выносят не в дверь, а через нарочно прорванное отверстие из чума. Кладут его в яму (ухватясь за голову и за ноги) вместе с вещами, которые прежде испортят: нож иступят, харей, которым покойный погонял оленей, разломают на части, чашку, из которой он любил пить водку, разобьют. Все это засыпают землей и на кургане убивают оленя, которого

любил умерший и на котором привезли его тело в могилу. Рады все самоеды, когда убьют оленя сразу, считая это добрым предзнаменованием.

Жизнь самоедки еще печальнее. На ней лежат все тяжелые работы: она и за стряпуху, и за швеца. Целый день она нянчится с ребятенками и, выходя за сбором подаиия, за пазухой и на спине таскает их с собою, как вьючная лошадь. Пьяный муж ее больно колотит и всегда охотно обмеряет чаркой. Женщина у самоедов почитается существом нечистым: в чуме она не смеет шагать через постель и одежду мужа, в дороге — через лежащую вещь. Беременную иньку все племя почитает поганю: богатый муж на все время девяти месяцев выгоняет ее в особый чум, но и бедняк отгораживает ей особый угол, который и зовется ся-май-мядыко, то есть поганый чум. Муж даже может совсем бросить жену и взять другую, возвратив только старому тестю то количество оленей, которых взял в приданое. Вот, может быть, почему самоедка любит принарядиться и распашную паницу свою украшает пестро и нарядно. По всем швам она обшивает ее разноцветными суконными лоскутками и на покупку их тратит самые заветные свои вещи. Подол паницы оторачивается песцовым и беличьим мехом и разноцветными суконными кусками. Даже на шапке и на пимах торчат разноцветные суконные лоскуточки.

Рассказавши про жизнь самоедов, мы рассказали и про сибирских юраков, которые, живя по соседству рек Тазы и Енисея, пропитываются летом ловлею рыбы, а зимою бегают на лыжах по тундре за пушными зверями. Сибирских самоедов разделяет Обская губа на две половины: Каменную и Низовую. Каменная самоедь, или карачеи, через проходы в Уральских горах находятся в сношении с печорскими самоедами. Низовая самоедь живет от губы к востоку и устраивает сношения с юракскими самоедами, или юраками.

## ОСТЯКИ

Река Обь — остяцкий бог,  
который им дороже всех богов.

*Туземное понятие*

Остяк — ляга: «А, ляга —  
бачка, поманеньку бей!»

*Народное присловье*

С виду остяк некрасив и на первый взгляд похож на самоеда: также на маленьком теле посажена большая голова; лоб сужен, но зато выдались скулы, губы толсты; глаза также узенькие и черные и нос приплюснут, в щетинистые волоса черны и жестки. Кожа смугла и грязновата. Борода плохо растет и если выходит щетиной, то волоса эти выдергивают; на голове они плохо ведутся, оттого что остяк весьма неопрятен; женщины еще грязнее мужчин.

От самоедов остяки главным образом отличаются тем, что туловище их посажено на худых, тонких ногах и весь остяк кажется слабосильным, изнуренным. Таков он и на самом деле: робок, простодушен; в рабочее время неутомим, но когда сыт и обеспечен — так же ленив, как и все дикари. У остяков в особенности ленивы мужчины. Остяки не знают замков: между ними нет воров, и в городе Березове по этому случаю не выстроено даже острога. Охотливо помогая друг другу в беде, они живут между собою как братья, верят друг другу во всем. Этим остяки отличаются от всех своих родичей финского племени, хотя во всем другом очень похожи. Холода и морозы на родной тундре выучили их одеваться точно так же, как кутаются их ближние соседи — самоеды, в ту же малицу, которая остяками называется *паркой* и в тот же совик, который зовется *гусем*. Отмена только в летней одежде: остяк летом ходит в суконном гусе с цветными пуговицами и в пестром разноцветном малахае.

Пока по грамоте царя Михаила тобольские воеводы не высылали в Березов вина для утощения остяцких и самоедских старшин, чтобы приучить их к подати, или ясаку, остяки клонили больше в сторону сибирских татар, своих прежних властителей. Житье под татарской властью для остяков не прошло даром. Они выучились у них строить избы с сенями, служащие зимними юртами. Это — небольшие, очень низенькие землянки с битым из глины очагом, открытым, без трубы, как делают татары и называют *чувалом*. Чувал этот устраивается в углу около двери, и в нем всегда горит огонек. Крутом юрты (по-татарски же) пристроены нары с особым местом для каждого, прикрытыми тагарами, или рогожами, искусно сплетенными из травы по примеру тех же татар. На все это в юрте глядит единственное окно, со стеклом у богатых, с пузырьем или просто кусочком льду у бедняков. Если вообразим себе, что таких юрт сбито в кучке до десятка и что вблизи каждой из них для сохранения запасов построены амбары на высоких столбах (от домашних собак и захожих волков и росомах) — то к картине остяцкого селения и прибавлять нечего.

Таковы зимники. Их уже не перенесешь на другое место, а потому они всегда строятся прочно, в лесах, вблизи реки Оби на возвышенном месте. В зимняках остяк живет плотно. Целые дни сидит он, поджавши ноги, глядит на огонек чувала и жует или курит табак: ни до чего ему нет дела; работа и здесь, как и у самоедов, на руках женщин. Для разнообразия остяк напьется и подерется да разве съездит в Обдорск на зимнюю (в декабре) ярмарку. Там, спрятав под полой упрямую шкурку пушного зверя, крадется остяк к своему старому приятелю и не смеет отнести к другому, хотя бы тот и дал ему навверное подороже. Старый приятель — русский купец — ссудил его в долг мукой (без муки и остяк не живет), одолжил табаком, горшками, медными пуговицами, ножом; жену его иголками, бусами и всем нужным. Обходить такого человека ему не приводится; дикарь

запутался в долгах, как рыба муксун в сетях, и сколько бы ни носил он пушного товара в свою яму (которую простодушием своим сам себе вырыл), ему не прикрыть ее и не заполнить. Недаром русские выстроились подле них в глухой и негостеприимной стране целым городом и ловко умеют спаивать, несмотря на закон, остяка одуряющей водкой за непомерную цену.

В феврале все остяки опять в своих зимниках: одни стерегут оленей и промышляют свежих зверей; другие, запасливые, ждут с весной новых радостей; у иных горе — покойник в юрте: надо лицо себе поцарапать до крови, выдергивать волосы и бросать их на труп, чтобы радовалась душа его, которая — по поверью — придет через шесть недель посмотреть: тоскуют ли. Жена покойного делает из полена куклу и, одевши ее в мужнину одежду, ставит на насиженное мужем место на нарах, потчует кушаньем, кладет спать с собою и целует. Только через год вдова покидает куклу, зарывая ее в землю.

Подледная рыбная ловля про себя или в самой Оби, или по ее притокам, где сидят остяки, — последние зимние занятия их, а последние удовольствия — это еда струганины или стружек сырой и мороженой рыбы — лакомства не чуждого всем сибирякам и из русского племени.

В конце мая Обь начинает трогаться и сполняться; вода лезет на низменные и рыхлые берега тундры, еще мерзлые и обледенелые. Остяки все еще держатся в зимниках. Но вот, если лед не сперся в устьях и вода не залила тундры на неоглядные пространства (выгнав остяков из зимников в лес на более возвышенные места), рабочее время близко. Прошел лед: остяк покидает зимник; сплачивает две длинные и глубокие лодки свои по две, настиляет на них доски с вываренной древесной корой для юрты и плывет рекой Обью или большим ее притоком. Где-нибудь в удобном по приметам месте остяк ладит летнюю юрту, не круглую, как самоедский чум, а четырехугольную. Стены выводит низенькие, но крышу из ивовых стволов нахлобучивает высокую и

обшивает древесной корой при помощи древесных гибких кореньев. На крыше остается отверстие для выхода дыма из очага, обложенного камнями; по соседству выстраивается новый сарай на столбах для добычи. Добыча эта — осетр и лососина — на уплату долгов и про русских; мелкая рыба, щука, окунь и другая — про себя в запасы на зиму. Купец сам солил рыбу; остяк только ловит ее незамысловатыми снастями. Купец — с барышом, остяк — опять с накладом и все еще с бесконечным долгом, но зато с мукой и другими припасами: ест салык — мучную похлебку, заправленную рыбьим жиром, лакомится пресными лепешками, испеченными в золе. И счастлив тем, что имеет свежую варку или рыбы брюшки и кишки, догуста уваренные в жиру, да может грызть позелы — хребты муксунов, вяленные на солнышке. Это — лучшая пища остяков-рыбаков. Оленные остяки уходят за рыбой к самому океану.

Но когда разверзнутся хляби небесные и польются из них дождевые реки (о которых имеют понятие только тобольские остяки и самоеды), все рыбаки и оленные, при неистовом свисте вьюг и ветров, тянутся к лесам и зимникам. Летний лов рыбы переменяют остяки на зимние охоты на лыжах за пушным зверем, рыскающим по тундрам.

Иной на безделье свадьбу затевает: обяжется отцу невесты калымом и, уплачивая его постепенно, ездит к невесте тайком. Другие уходят в леса на звериный промысел. Два пуда сухарей, полпуда круп и пуд ржаной муки — запас на весь Великий пост. Нарта или санки — место склада, собаки, умные, но безголосые — перевозчики. Устанут собаки — хозяева впрягаются сами. Придя на место, ладят юрту. Ловят в ловушку, стреляют из стрел с круглым наконечником, чтобы стукать в морду зверька, оглушать его и не портить шкурки. В медведя и волка бросают стрелы с треугольным железным набалдашником.

Оленные остяки на побережьях Ледовитого океана и по трясинам тундры в летнее время находят громадные

стаи всякой птицы: гусей, гагар, уток и лебедей. Один человек, не поленившись, способен добыть их до сотни в сутки. Для этого выбирают на реке мысок или залив, закрытый по берегу тальником. В тальнике делают для пролета птицы просеки в сажень шириной. На просеках устанавливают шесты и к верхним концам их на блоках и толстых бечевках привязывают сети. Сеть лежит на земле в то время, когда один из ловцов спугивает стаю птиц с воды. Птица видит светлое место прогалины, а за нею воду — летит туда в то время, когда приподнята сеть и попадает всей стаей в то мгновение, когда этого она всего меньше ожидает. Ловят рано утром или на заре вечером. Пух и перья продают остяки на Обдорской ярмарке, которая от всех других русских торгов отличается тем, что играет втемную, никому не видима, производится украдкой и понятна только простоватым остякам да плутоватым русским торговцам.

Вместе с купцами приезжают в Обдорск и чиновники для наблюдения, чтобы не спаивали дикарей водкой, и старшины остяцких родов для сбора ясака в пользу казны.

Остяцкие старшины в старину назывались князьями, но теперь князья по имени только. В самом деле они такие же простяки, так же бедны и закабалены русскими купцами и так же, наконец, существуют теми же рыбными и звериными промыслами и живут одинаково грязно. Князья — такие же добрые люди, гостеприимные до последней крайности, ласковые, насколько позволяет им быть таковыми их сумрачный, недоверчивый от постоянных обманов характер. Названы они так прежними владельцами (татарами), князьями же слывят они и при нынешних владельцах (русских). Теперь и татарский князь пособляет навоз наваливать, а остяцкий князь сам живет по колена в навозе. Зато и весь народ татары прозвали остяками (или, вернее, уштяками), то есть грязными и грубыми людьми. Екатерина II грамотами своими в 1768 году утвердила двух

князей. Теперь остался один, который в 1854 году приехал в Петербург и от императора Николая получил на шею золотую медаль на анненской ленте, богатую одежду и серебряный вызолоченный кубок. Зовут его Матвей Иванович Тайшин.

Остяцкие князья первыми приняли христианство еще при царе Федоре Ивановиче; но потом опять впали в язычество, и только дед и отец нынешнего князя записаны в книгах крещеными. Крещены также и многие из простых остяков, но христиане они только по имени, потому что в юртах держат идолов. Боготворят ручки, камни, горы; большие деревья и места подле них считают священными; никто не притронется к дереву, не напьется воды, не сорвет травки, боясь прогневить божество. Домашних идолов кормят (мажут им лица) рыбьим жиром; а оленные остяки вместе с обдорскими самоедами чтут еще морских духов и песчаную отмель на Ледовитом океане. Съезжаясь туда, они купаются в морской воде для общения с водяными богами; бросают в волны медь или деньги, топят оленей и притом делают это всегда ночью и под руководством шамана.

Остяки, как и самоеды и все инородцы северные, охотнее придерживаются шаманства и почитают и повинуются в делах веры особым людям, называемым *шаманами*.

## ШАМАНЫ

Бог один, да молельщики не одинаковы.  
Всяк по-своему Бога хвалит.

*Русские поговорки*

Если русскому духовенству не удастся до сих пор просветить Христовым учением бродячих дикарей наших, то не столько виноваты в том удаленность мест,

грубость нравов и другие природные препятствия, сколько мешают святому и великому делу шаманы. Эти люди, называвшиеся в старинной Руси кудесниками и волхвами, не только вооружали народ против проповедников и убивали их, но и теперь стараются уверить дикарей, что с новой верой придут новые порядки и обычаи. С ними наступит неминуемая гибель всем народам, верующим в шаманство: русские люди смеряют и отнимут всю тундру, уведут народ в Русь и там станут со стариков брать подати деньгами, вместо ясака звериными шкурами; а молодых начнут, как татар, брить в солдаты. И если до сих пор всего этого не случилось, то именно потому, что стоят за своих прадедовские боги, гнев которых умеют претворять на милость одни только они, шаманы. Шаманы — посредники между злыми духами и людьми; на языческих жрецов они не похожи, но с нашими деревенскими плутами колдунами одного корня и одинаковой веры.

В шаманы также подбирается из всех дикарей тот, кто похитрее других разумом, поплутоватее и посмышленее. Дурак ничего не поделает, но толковый сумеет перенять науки от старых и опытных шаманов. Наука нехитрая: уметь обмануть простодушного и суеверного дикаря и устроить свою судьбу так, чтобы дикари уважали. Уважение шаманы приобретают тем, что умеют кое-как лечить и охотливо дают советы во всех несчастьях и неудачах жизни. Но ни за лечение, ни за молитву шаманы без фокусов и заклинаний не принимаются. Дикари верят (и шаманы их в том утверждают), что если от чумы падает скот или оленя зарезал волк, то это сотворил злой дух: его надо умолить и укротить. Если напала на кого хворь, которой много ходит по сырой и нездоровой тундре, в того человека вселился злой дух: его надо выгнать. Русскому лекарю этого не сделать, один шаман только в силах победить шайтана. Шаман лечит немудреными снадобьями. Если ломит все тело

и стреляет во всех суставах и русский лекарь называет болезнь ревматизмом, шаман говорит, что шайтан, или злой дух, засел внутрь и беснуется, но лечит тою же фонтанелью, хотя и зовет ее едном: кладет на больное место кусок трута и зажигает его. Горячий кусок не снимается до тех пор, пока не потухнет. Сделается рана, появится гной; мокрое место поддерживают до тех пор, пока больному не станет лучше. Раны залечивают рыбьим жиром; для большей удачи и успеха примешивают к нему сосновую серу. От запора дают шаманы тот же жир; при рези в животе медвежью желчь; от цинги велят пить теплую оленью кровь. Если дикарь ознобил лицо, шаман делает примочку из вина с порошком, толченным из особого рода раковин, которые водятся и на Оби, и на Енисее, и на Лене. Но всегда и во всех случаях шаман творит кудес, сначала для того, чтоб умилистит бога, потом с целью выгнать его вон как непрошеного и докучливого гостя.

Кудес бьет шаман охотнее ночью, когда злые духи сходят на землю, а добрый дух (солнце) засыпает. Ночью же можно больше и вернее подействовать страхом на трусливых и суеверных дикарей. Для этой же цели он надевает особенное платье, сшитое из оленьей кожи, очищенной от шерсти: это непременно. Затем кто как хочет: у одних полы платья увешаны тоненькими ремешками, вдоль рукавов нашиты железные полоски; ими же унижена спина и грудь. У других все швы испрошиты лоскутками яркого цвета; красные суконовые лоскутья висят на плечах, на груди и по спине. Всякий желает пугать, а потому и наряжается так, как вздувается, но непременно каждый обвешается погремушками: стальными, медными, железными. Тунгусские шаманы надевают и на голову род каски с такими же бубенчиками и побрякушками; остяцкие — железный шишак, по которому вместо погремушек колотят сами. Самоедские шаманы, не надевая ничего, просто кладут

кусок красного сукна на голову так, чтобы закрыть глаза, и с тем, чтобы самим не видеть выхода злых духов. Но непременною принадлежность всякого шамана, на всех концах громадной тундры составляет неизменный бубен, род барабана: у иных круглый, у других наподобие сердца. Бубен также украшен бубенчиками и погремушками; на него натянута прозрачная оленья кожа и имеется колотушка: у одних заячья лапка, у других сабачья или оленья, у третьих просто палка, обшитая таинственной кожей росомахи. И опять у всех шаманов волосы должны быть распущены по плечам.

Самый кудес бьют почти всюду одинаково. Шаман обыкновенно ходит с помощником, чаще с родным сыном (шаманство почти всегда наследственно). Оба они или садятся, или ходят вокруг. Старший колотит в бубен сначала тихо, потом ускоряет удары и, когда заметит, что слушатели и зрители настроились, начинает дико кричать всегда непонятные для дикарей слова. Помощник ему вторит, и, если оба очень искусны в пении, наверное закричат и слушатели (самоеды в особенности чувствительны). Опытный шаман неожиданно и ловко спадает с диких звуков на мягкие и, начиная шептать, показывает тем, что духи близко и он с ними может разговаривать. Барабанит он в это время тихо и молча, как бы слушает слова богов. У дикарей на то время захватывает дыхание, и когда шаман заметил, что поймал толпу и вконец обманул ее, он опять быстро завертит и заколотит в барабан. При этом кричит с товарищем своим так, как могут кричать только дикие, голодные звери да сам шаман, дошедший до этой способности долгим навыком и наукой. Он кричит долго и много, кричит до изнеможения; изо рта выступает у него пена; глаза наливаются кровью и, стоя неподвижно, глядят страшно и дико. Цели своей он вполне достигает и от долгого крика и прыганья иногда падает в изнеможении; корчится, валяясь на земле, едва соби-

рает дыхание и тяжело и глубоко дышит, наводя страх не только на верующих дикарей, но и на неверующих русских. В это время, по понятиям всех бродячих народов, на земле появляются воочию невидимые духи, выходя из больного или сходя для того, чтобы слушать какую-нибудь просьбу от дикарей. Просьбы же у них немудреные: они или желают отыскать потерянного оленя, или молят о счастливой ловитве рыбы, морского или лесного зверя.

Некоторые шаманы в исступлении своем доходят до того, что бьют себя в мягкие части тела каким-нибудь оружием, например ножом. Бывали случаи, что малоопытные и молодые шаманы закалывали себя насмерть, но чрез то не теряли уважения. Опытные и старые шаманы поддерживают к себе в народе уважение знанием многих фокусов, за которые дикарь платит всем, что есть у него лучшего и заветного, и за которые в столицах и на больших ярмарках русские зеваки платят по грошу. Шаманы хватают голыми руками и лижут языком раскаленное железо, забивают себе в тело иглы, выворачивают себе суставы на руках и на ногах, как бы насквозь себя продевают моржовый ремень, оставляя в руках оба конца его. Другие, кроме того, эти концы велят привязать к оленю и тащатся за ним несколько сажен. Нет ничего удивительного, если дикари, не понимая и не умея различать фокусов, верят своему кривому глазу больше, чем разуму, который мог бы научить их, что всякий фокус есть только штука умелого. Ловкие руки, гибкое, приученное тело — вот почти все. В шаманы, впрочем, и не идут другие. С малых лет упражнениями они, как вольтижеры, приучают свое тело к ловким прыжкам и неожиданным скачкам. Для этого уходят в леса и там под руководством умелых учатся бить на барабане, учатся притворяться, делать фокусы, читать непонятные слова, кричать на все звериные голоса: подражать змеиному шипу, голосом изображать

медвежью походку по хворосту, беганье белки по ветвям и прочее. Если у дикаря какой-нибудь ребенок начинает искать одиночества, часто убегает из дома, шаманы это примечают и берут ребенка на свое попечение, кормят его только травами и учат, беспрестанно и больно бьют, чтобы вколотить в него науку. И мальчик и учитель одинаково веруют в свое дело и, обманывая других, обманывают и себя. Желая сделать ясновидца и духовидца, готовят только фокусника. Среди образованных людей он зарабатывал бы себе кусок хлеба на площадях, в балаганах: в чумах и юртах их почитают за людей особенных, хотя бы они и старались прятаться в толпе. Платье шаманов одинаково с платьем того народа, среди которого он живет. Шаманский наряд он надевает только по приглашению, когда бьет кудес. За битие кудеса он получает награждение: им и существует. В сущности, это такие же добрые и хлебосольные люди, как и все их единоплеменники. Заклинаниями и кривляньями они роняют свое ремесло знахарства, которое и без этих штук возбуждает уважение. Но дикие народы без штук, заклинаний и заговоров врачебную науку не умеют понимать и не хотят принимать. Такова судьба и не диких, а даже и самых образованных народов.

По шаманской вере болезнь зависит не от климата, не от собственной недоглядки, но от порчи злым духом или злым человеком. Вылечивая, шаманы верят, что выгнанная ими из тела болезнь переходит на того человека, который напустил ее глазом или по ветру наговором. Из остатков древнего шаманства составились у нас все замки, заговоры, заклинанья и отчитыванья.

Мы опять возвращаемся рассказом своим к шаманам для того, чтобы досказать, что ремеслом и наукой этой занимаются также и женщины и едва ли даже шаманки не пользуются большим успехом, чем сами шаманы. По учению шаманства можно умилоствлять богов всякими жертвами: животными, рухлядью, кровью, чере-

пами, волосами, рогами, вином и деньгами. Воды и горы любят, впрочем, больше пихту; но вода ничем не гнушается. Весной любят боги молодую травку, молодого оленя, или пыжика, молоко. Зимой боги требуют пушнины: одного остякского бога видали всего обвешанного малицами и прикрытого сверху кафтаном из красного сукна. Ненавидят боги только нечистых зверей и гадов и не требуют жертв свиньями, лягушками, насекомыми и червями. Добрых богов не много, все — злые; живут они всюду: в деревьях, в скалах, даже приходят на землю медведями, приползают змеями, прилетают совами. В буре — бог, в грозе — другой, в огне — третий и так далее. Они не заботятся о том, ленятся ли люди, работают ли; много ли пьют и упиваются; едят ли люди сырое или вареное: богам до этого нет дела. Но любят боги почтение к себе, любят правду, любят, когда люди пособляют друг другу, дают приют странным и заблудшим, равно для всех хлебосольны. Приятно богам, когда люди почитают старших и уважают родителей; делятся с бедными своим достатком, не обижают друг друга, не воруют.

Шаманское учение — одно из самых древних в языке; судя по этим остаткам, оно содержало много добрых и честных правил, но время исказило веру. Шаманство полузабылось, растерялось, когда разбрелись по тундрам в разные стороны его поклонники и целой веры не стало. Теперь это смесь всяких суеверий, где всякий шаман (всякий молодец) на свой образец, а потому, когда тунгусы шаманской веры считают за великий грех украсть что-нибудь, — якуты шаманской веры воруют напрапалую и так ловко, как никто из всех народов Сибири.

Рассказавши про шаманов и их веру, мы рассказали разом про веру всех бродячих по тундре народов. Верят шаманам и кореляки, и юкагиры, и чукчи, и алеуты, о которых наша речь на очереди.

## ТУНДРА ЮКАГИРОВ И КОРЯКОВ

Где два оленя прошло, там  
тунгусу большая дорога.

*Сибирская поговорка*

За рекою Енисеем, по правую сторону его, тундра прямо от устья этой реки начинает наклоняться к Ледовитому океану и глубоко врезывается в него громадным клином, которому туземцы дали название Таймурской Земли. По тундрам ее, ближайшим к Енисею, еще попадают одинокие чумы самоедов. Дальше Таймур уже окончательно необитаем, даже и в тех местах, где негостеприимная земля эта начинает подходить к устьям другой величайшей из рек целого света — реки Лены.

Страшна эта пустыня, в которой только два времени года: морозная зима в десять месяцев и в два месяца с солнечным светом холодное лето. Преисполненная всякими ужасами, Таймурская Земля не разохотила не только корыстолюбивых русских купцов, но даже и привычные ко всяким тундровым ужасам самоеды прикочевывают в полуденные места Таймура только на летние месяцы. Немец Миддендорф обессмертил свое имя, решившись на борьбу с ее ужасами. Лишь только вступил он в нее из Туруханска, как все его спутники заболели корью. Корь была повсеместно; ею болели все самоеды самых отдаленных чумов тундры. Путешественникам негде было приклонить головы; страшные труды доводили их силы до совершенного истощения. Зимой они несомненно погибли бы там, но и пустившись летом, они едва осмотрели половину и принуждены были спешить выбираться, потому что зима там быстрыми шагами поспешает за летом. В начале сентября все реки покрываются льдом при страшном затишьи, в безветрии. С середины июня ртуть в термометре не опускается ниже 0°; в середине августа появляются

первые ночные морозы, а через недели полторы и две наступают и дневные морозы; в середине сентября в воздухе уже 15° холода. Эта борьба с теплом и холодом в это время сопровождается такими бурями, которых не в состоянии представить себе не бывавший там, хотя бы даже и обладал тот человек самым живым воображением. Бурям в тундре нет препятствий — нет лесов для истребления, а скалам, голым и крепким, нипочем эти натиски: они упорно отстаиваются. В мае, когда тепло приходит на смену холодам, борьба между ними сказывается появлением ежедневных снежных туманов, которые наполняют до насыщения мутный воздух нездоровой тундры. Даже летом, когда солнечные лучи накаляют гранитные бережные скалы, туманы эти не исчезали, но превращались в паровые и падали на грязную землю дождевой пылью. Солнце проясняется днем только раза три в два летних месяца, во все остальное время оно затянуто дымкой. Вечером и ночью оно кажется свечкой, горящей в жаркой бане. Нередко лучи его, переломляясь, отражаются так, что показывают в одно время несколько кругов солнечных. Стоит солнышку спрятаться за облако, чтобы вызвать порывистый ветер: до того сильно постоянное движение воздуха в этой обширной пустыне.

Таймур представляет летом сухую возвышенность, покрытую лишаями и травой: но грязные изжелта-бурые лишай мало отличаются от желтой, быстро умирающей травы. Тем не менее и лето ее встречает всякого заезжего, не самоеда, знакомыми недугами: поносами и ревматизмами и своей собственной странной болезнью. У всех спутников Миддендорфа совершенно онемели последние суставы всех пальцев на руках и ногах, так что потеряли способность к осязанию. У одного из них болезнь пошла дальше: пальцы на ногах покрылись пузырями, как будто от обжога.

Таймур зимой засыпан снегом, который сбивается в плотную массу неистовыми ветрами, свободно

разгуливающими там по всей поднебесной. Люди тут не могли остановиться и удержаться даже на короткое время. Но лишь только вода начинает опять одолевать землю и океан врывается глубоко в тундру при помощи вод многоводной Лены — живые существа снова появляются и люди в отдельно разбросанных юртах начинают влачить свою тоскливую жизнь вместе с коренными жителями таких пустынь — северными оленями. По Лене бродят якуты, по трем Тунгускам (Верхней, Средней, или Подкаменной, и Нижней) — тунгусы. Но так как большую часть жизни и притом охотливее и издавна якуты и тунгусы проводят в лесах, то мы и не будем говорить об них теперь. Для описания быта лесных жителей мы приготовили отдельный рассказ для другой книжки.

На тундру приходят только те из якутов и тунгусов, к которым подобралась сильная нужда и когда за душой осталась одна только собака. Коренными жителями тундры опять-таки остаются олени и те народы, которые видят в этих животных свое спасение. На этот раз в тех местах ледяной тундры, где прорезают ее реки: Яра, Индигирка, Алазее и Колыма с притоком Анюем, — бродят юкагиры.

Народ этот составляет остаток некогда сильного народа омоков. Более ста лет тому назад часть омоков истреблена была оспой; другая, спасаясь от нее, удалилась — как рассказывают юкагиры — на острова Ледовитого океана против устьев Яны и Индигирки. Живут ли они там, или вымерли все до единого, или, переселясь на лучшие острова близ Америки, слились там с туземцами — неизвестно. Оставшаяся часть омоков под именем юкагиров в небольшом числе семей слабо оживляет своим присутствием эти самые суровые страны Сибири. Анюйские юкагиры, забывши свой язык, стараются жить по образцу русских, хотя до сих пор нравами, обычаями, языком еще мало отличаются от тунгусов, а наружным видом похожи на якутов.

Юкагиры питаются единственно дикими оленями, а продажа выделанных женами шкур животных (ровдуга) доставляет им сверх пищи все нужное. Чтобы пропитать семью и собак, юкагир должен добыть полтораста оленей. В этой добыче проходит вся жизнь юкагиров; ради ее они не замечают и красной лисицы (огневки), бегающей около самых жилищ. Юкагир беспредельно ленив, и у него жена идет за воровую лошадь: готовит пищу и выделяет кожу. Об юкагире, сверх жены, заботится еще сама мать-природа. Два раза в год снимает она его с места и впрягает в работу, для него не тяжелую, для нас любопытную.

Весной, или, проще, в ту часть холодного северного лета, когда на тундре появляются комары и всякая мошка, и осенью, или когда с бурями и холодом начнет шагать по следам лета зима, — два раза в год юкагиры всем племенем садятся на лодки и спускаются на реку Колыму в верхнем течении ее, около селения Плодбища. В этом месте несколько тысяч диких оленей стадами в двести-триста голов переплывают через реку два раза в год, вечно и неизменно, гонимые весной из лесов комарами и оводами на прохладные морские берега и на обширную ягелем тундру; осенью утекают они обратно в леса от морозов в облезлых, вылинявших на солнышке и тепле шкурах.

Каждое стадо ведет вожак — здоровый и крепкий олень; все другие плотно сбиваются в кучу. Остановясь на высоком месте, они высматривают на одном берегу реки сухое место, на другом — плоский песчаный мыс, удобный для выхода. Выбрав такое место, вожак несколько времени пробует переходы и когда всплывет на воде, все стадо пускается следом за ним. Вся река усыпается плывущими оленями. Юкагиры принимают это за знак к нападению и из-за подветренных камней и кустов с быстротой стрелы бросаются на своих легких лодках к стаду. Начинается смертельная битва: самцы олени бьют рогами, зубами, лягаются задними

ногами; самки передними стараются прыгнуть на края лодок в то время, когда юкагиры бьют слабосильных и стараются только ранить больших и сильных оленей. Здоровый охотник убивает в полчаса до сотни голов и, ловко владея своей валкой лодкой, не тонет и всех, им убитых, успевает привязать на ремень. Из остальных охотников кто что поймает, тот тем и владеет; но раненые олени, приплывшие к берегу, принадлежат не ловцам, а стрелкам. Убитых зверей опускают в воду, чтобы не испортились. Мясо их потом вялят, коптят или замораживают.

Но бывают несчастные годы, когда олени, при перемене ветра слышав чутким носом людей или заведя их зорким глазом, бросаются в другую сторону и ускользают от рук охотников. В 1821 году уже рога оленей казались жителям Лобазного селения (на Анюе) каким-то движущимся лесом, обещаая обильный лов, как вдруг испуганные животные взяли другое направление и скрылись за горами. Последствием был страшный голод для тамошних якутов, тунгусов и ламутов. К тому же в тот год вовсе не родилось ягод (брусники, морошки и голубики). Ягоды во все другие года служат благодетельным подспорьем для пищи вместе с мучнистыми корнями, которые искусно отыскиваются женщинами в норах, замысловато вырытых особою породою мышей (мышью-экономом).

С жениными запасами из растительного царства и с собственной добычей из животного царства юкагир может вволю лежать в своей наземной юрте, как ближний сосед его — песец в своей подземной норе. При доброй добыче у юкагира очутится и табак на усладу, и самоделка-скрипица веселее пиликает, и сам он охотнее таскается всю зиму по соседям.

Такую же полузвериную жизнь ведут и соседи юкагиров коряки — маленький народец, кочующий по реке Анадыру, текущей на юг в Великий океан. Чертами лица коряки похожи на алеутов (о которых речь наша

вперед), по роду жизни делятся на оседлых, живущих в низеньких хижинах и на кочевых, — живущих в юртах, сложенных из жердей и покрытых оленьими шкурами. Оседлые повыше ростом, но кротче нравом, кочевые — поглубже и победнее.

Вместе с коряками и юкагирами мы забрались в самый дальний угол Сибири, в такую страну, которая и в Сибири известна суровостью климата.

Вот как страну эту обыкновенно описывают.

Северо-восточные ветры дуют почти непрерывно и даже летом поднимают страшные метели. С 15 мая до 6 июня солнце не заходит, но стоит так низко, что только светит, но не греет: на него даже можно смотреть безнаказанно. В конце мая пробиваются листики на кустах тальника, но вся зелень быстро исчезает, как только подует с моря холодный ветер. В июне в воздухе тихо и сам он чист, но зато из неизмеримых трясин тундры поднимаются кровожадные мошки, от которых мало спасают и дымокуры, разводимые жителями около жилищ и стад своих, в кучах зажженного хвороста вместе с листвой и мохом. Олени бегут вон; люди с трудом спасаются. В тех местах этой пустыни, где горы служат защитой от холодных ветров, растут ягоды, богородская трава, полынь. Где есть лес — там водятся лоси, олени, медведи, лисицы, соболи и белки. По тундре в норах живут песцы белые и (ценные) голубые. В кустарниках бегают белые куропатки, и ведутся кулички в болотистых мшинах рек и речек. Но все это живет как-то торопливо и притом недолго. В первых числах сентября замерзает Колыма около Нижне-Колымска, но при устье лед является в середине августа; до начала июня он еще стелет мосты на всех реках. С ноября наступает суровая зима; с 22 числа этого месяца начинается ночь, которая продолжается тридцать восемь суток; 28 декабря низко на горизонте появляется первая заря, от которой даже в полдень не меркнут звезды. Холода с возвращением солнца, и особенно перед зарею,

становятся чувствительнее; в январе морозы достигают до 43°: человеку трудно дышать. Олень забирается в самую глухую чащу леса и стоит там неподвижно. Для разнообразия морской ветер иногда покрывает землю особенными холодными туманами, называемыми моромком.

С удивлением спрашиваешь себя: когда, зачем и какими судьбами зашел сюда человек и поселился в таких пустынях?

Между тем люди живут и еще дальше, в самом углу, в самой глуби этих стран. Люди эти — чукчи. Русские дальше утеса Баранова не ходят. Чукчи никогда не переходят через реку Баранова: все это пространство в 80 верст шириной почитается ничьим, тут еще никогда не ступала нога человека; а берег между устьем Колымы и мысом Шелагским никогда не был обитаем. Дальше идет страна, изрытая голыми горами, прорезанная мертвыми долинами, где растет один только мох и кое-где полусухой приземистый тальник. Там еще 20-го июля нет лета, а 20-го августа уже снова наступает зима. Не только на горах, но и в оврагах лежат вечные громады нетающего снега, от морозов трескаются скалы и разрушаются. Почва повсюду состоит из таких обломков.

Эта поистине ледяная, мерзлая страна служит отечеством чукчей, не признающих ничьей власти и почитающих страну свою независимую от России.

## ЧУКЧИ И ЕЗДА НА СОБАКАХ

Чукчи почитаются коренными обитателями (а не пришельцами) своей дикой страны, которая пособила им сохранить независимость, помогает и теперь гулять на полной свободе. Русский закон, разделивший всех сибирских инородцев на три разряда, чукчей не отнес ни к которому: освободил их от земских повинностей. Дань они платят как и сколько хотят: шкурами или

деньгами. Судятся своими обычаями и по своим обрядам: русский суд касается до них только тогда, когда чукчи совершили убийство или грабеж вне границ признанных за ними земель.

Впервые сделался этот народ известен русским больше двухсот лет тому назад. Первым набрел на них якутский казак Стадухин в 1644 году, когда в силу царских указов и посылок воевод сибирские казаки искали новых земель на царя и проводывали про диких народов. По казачьим следам и на их слова, как указывал обычай того времени, ходили промышленные люди или купцы. Они устанавливали с дикарями торговлю на обмен и мало-помалу сближались с ними ради своих выгод, тихо и незаметно покорили русскому царю всю Сибирь.

Так и на этот раз к чукчам отправились купцы и выменяли у них несколько моржовых зубов. Следующие выезды наших были неудачны: раз знаменитый казак Семен Дежнев встретил только двух чукчей с прорезанными губами и с продетыми в них кусками моржовых зубов. Другой раз русские промышленники подрались на берегу Охотского моря с чукчами и слышали, что народ этот живет во всегдашней вражде и вечной войне с соседями и кормится разбоями и грабежами. Первые набеги русских соединили все дикие племена воедино на общую защиту, и когда вторглись два якутские воеводы в 1755 г., чукчи шли впереди всех других соседних народов, им покоровившихся. Выдержав несколько стычек, чукчи были побеждены и бежали в недоступные горы и скалы своей несоблазнительной родины. Воеводы не шли дальше и удовольствовались пленными. Пленных крестили. Крестят чукчей и до наших дней, но народ этот крещение понимает по-своему. Крещеные чукчи одинаково держат по несколько жен, как и некрещеные; но женщины у них не такие невольницы и рабыни, как у всех других бродячих народов. И, имея по несколько жен, чукчи с ними живут ладно.

Главное отличие чукчей от остальных бродячих народов состоит в том, что они не ленивы так, как, напр., юкагиры и едва ли не больше всех других предприимчивы и склонны к торговле. Переезжая на кожаных байдарках через Берингов пролив в Америку, они у тамошних эскимосов выменивают моржовые клыки и пушной товар. Товар этот, воротясь домой, они складывают на санки и, запрягая оленей, едут за тысячу верст в течение 5—6 месяцев в Островное караваном человек в триста. Везут они обыкновенно чернобурых и черных лисиц, рысей, росомах, песцов, речных выдр, бобров и таких куниц, которые близко подходят к соболу и, кроме земли чукчей, нигде в Сибири не попадаются. Все это укладывают они в чемоданы из тюленьих шкур, искусно ими приготовляемые. Везут также на ярмарку моржовые клыки и ремни, медвежьи шкуры и сшитую одежду из оленей. Приехав на место, чукчи раскладывают свои юрты из тонких жердей, покрытых дублеными оленьими кожами, и, повесив котлы, ждут начала ярмарки.

Русские начинают тем, что идут в церковь к обедне, после которой на башенке острога поднимается флаг. Тогда чукчи, вооруженные стрелами и луками, начинают подвозить свои сани с товаром и становятся полукругом перед крепостью прямо против русских торговцев. Ударят в колокол: ярмарка начинается. Русские прыгают друг через друга, сшибают товарищей с ног, валятся сами для того, чтобы быть у саней чукотских первыми. Как торговки толкучего рынка, купцы расхваливают свои товары: табак, медные и железные изделия, в особенности ножи и котлы. И в то время, когда русские суетятся и торопятся, чукчи торгуют с непоколебимым хладнокровием и изумительным спокойствием. Но и торгуя без весов, чукча чует рукой, если недостает в пуде табаку хоть четверти фунта. Разговаривают таким образом торговцы на языке, смешанном из русского, чукотского и якутского, три дня. Купленный

у эскимосов пушной товар за полпуда листового табака чукча продает русскому за два пуда такового же горлодера.

По окончании ярмарки чукчи опять едут для той же торговли в Америку, таская про запас санки с мохом для оленей по тем местам своей родины, где идут крутые, бесплодные и голые скалы.

Там, на своих местах, чукчи разделяются на два вида: оленных и оседлых, живущих небольшими деревеньками по берегу в юртах из китовых ребер, обтянутых оленьими шкурами, с выгнутой стороной на полуночную морозную сторону. В этой выпуклой части делается вторая четырехугольная низенькая палатка из двойных шкур, в которой в холодное время устраивается очаг и где непривычному человеку не только жить, но и сидеть невозможно от дыма и смрада. Береговые покупают у оленных промышленников все, что надо, а потому те и другие живут во взаимном согласии и дружбе; но береговые находятся у оленных в полной зависимости. Береговые сетями, оплетенными из ремней и растянутыми подо льдом, ловят тюленей (которые запутываются в ловушках головой и лапами) и хитро промышленляют волков на китовые кольца. Китовый ус, с обоих концов заостренный, чукчи связывают веревкой и поливают водой так, что кольцо покрывается льдиной, которая намазывается жиром. Веревку снимают прочь: волк проглатывает кольцо, растаявший ус распрямляется и раздирает зверю внутренности.

Но главный и любимый промысел чукчей — на огромного сального зверя моржа, когда он выходит на берег полежать, помычать и почесаться о камни. Загораживая зверю путь в воду, чукчи убивают его своими дротиками. Как без оленя тундровым бродягам, без лошади кочевнику, без верблюда степняку, так без моржа чукче жизнь не в жизнь. Из толстой кожи его дикарь делает упряжь на оленей и подошвы на обувь, из внутренностей шьет себе легкую непромокаемую одежду

против дождей. Сало его едят в охотку и считают за лакомство такую невкусную пищу, каково мясо белого медведя, какова кожа кита, и все это без соли, которую не любят и не очень ценят. Рыбу едят только по нужде.

Береговые чукчи вместо оленей ездят на собаках.

Не только чукчи, а еще больше их жители огромного полуострова Камчатки (камчадалы) и большая часть бродячих народов прибегают к езде на собаках как к самому удобному способу езды в тех местах, где лошади плохо ведутся и не в состоянии выдержать всех неудобств и лишений, какими преисполнен этот пустынный и негостеприимный угол Сибири.

Не будь этого способа к переездам, мало бы нашлось охотников побывать в тех местах и мы не могли бы рассказать о всех этих народах даже и так коротко, как рассказали теперь. Езда на собаках многих любознательных людей выручала из бед и пособила им узнать про те страны, которые были до того неизвестны, и про те народы, с которыми теперь русские завели торговлю.

Для езды на собаках употребляют или санки, или нарты. Ездок и охотник ездит на санках; кто желает покойной езды и не хлопочет об удалстве, тот садится в нарту, как в кузов, и защищается от ветра под волчком, или кибиткой. Нарты укрепляются на длинных полозьях с отлогими загибами и этим похожи на наши салазки с той разницей, что копылья не вколачиваются, а привязываются к полозьям. При нарте полагается каюр, или ямщик, который сидит на доске, как бы на козлах. На санках каюра осмеют: там нужно самому править. На нартах возят тяжести и проехали все те, от которых мы эти рассказы слышим.

Ездовые собаки (лучшие камчатские) похожи на дворняжек и бывают покрыты густой и длинной шерстью изжелта-белого цвета. Животное смиренное: на людей не бросается, редкие кусаются; однако ненавидят и рвут домашнюю птицу и свиней; зато без лаю, как

телята, идут послушно на свою работу. На суках ездят только от нужды; щенят приучают к службе с самых малых лет, разъезжая на них неподалеку за водой, за дровами. Летом и осенью, когда езды на них не требуется, они ходят по воле и сами ловят себе рыбу в реках; при этом, когда рыбы много, собака ест только голову. Когда рыба исчезнет, собаки, едва шевеля ногами от жира, тащатся к куртам хозяев, но пищи от них не получают. Питаясь всякой дрянью, перебиваясь с крохи на кроху мелкотой, больше воровским промыслом, собаки в это время спадают в теле. Недели за две до первого снега им воровство и кровопролитные драки за выброшенную кость воспрещаются: хозяева привязывают собак сворами попарно и кормят только раз в три или два дня. Собака худеет, становится легка на ногу, в дороге не загорится и не испортится. Выморив собак, ездук запрягает их в нарту, смотря по клади, от девяти до пятнадцати; чиновников уважают и двумя десятками. Тогда и езда бывает шибче и показистее. Один охотский начальник ездил, впрочем, не иначе как на пятидесяти. В санки же впрягают не больше десяти, но и не меньше пяти (смотря по дороге). Семь хороших собак везут 10, а иногда и 12 пудов. Впрягают попарно; вперед пускают приученную, которая стоит 15 рублей. Передовая собака должна знать, что слова: ках-ках! значат — направо; хуга-хога! — налево; тцы-а! а-а! — стой; кес-кес! — пошел.

Временной упряжи бегут собаки по таким глубоким снегам, где тяжелая лошадь завязла бы по брюхо, и с одинаковой легкостью по тонкому льду, который и человека с трудом сдерживает. В самую сильную пургу, когда нельзя открыть глаз, собаки не сбиваются с дороги; а когда ветер у них начнет захватывать дыхание и нет возможности продолжать путь, собаки, ложась рядом с каюром, согревают его. Они даже предупреждают хозяина: когда роют в снегу ямы и ложатся в них, значит, надо сидеть дома — метель будет.

Без длинной деревянной кочерги, или оштола, ни один каюр в дорогу не пускается. Приделывая на конце крюка побрякушку или колокольчики и потряхивая палкой, ездок без слов дает знать собакам, что он работой их недоволен и велит везти себя шибче. Этот же оштол он бросит в ленивую, и, подхватив на лету, втыкает низким концом впереди нарты, и, бороня землю, останавливается на всем бегу. Оштолом же каюр обороняет санки от деревьев на узеньких собачьих дорогах или же поддерживается в раскатах и на косогорах.

Вообще езда на собаках дело нелегкое и требует большой привычки и крепкой сноровки не только на лесных дорогах, но и на ровной тундре. За собаками водятся дурные привычки: не только при виде зверя, но и на следу его они оставляют намеченный путь и сворачивают в сторону. Ни сильные руки, ни оштол, к которому собаки во всякое другое время оказывают большое почтение, не спасают ездоков, когда собаки вздумают свернуть в сторону или остановиться на месте, найдя по пути мертвую птицу, мерзлую рыбу. В этом случае собаки начинают драку, путают упряжь: и алаки, или лямки, на шее и потяги, или постромки с кольцами, — час пробьешься, не распутаешь. Очень нередко собаки, немного отбежав от дому, вдруг ни с того ни с сего поворачивают назад и показывают такое упрямство, что каюр принужден бывает повиноваться, чтобы дома вздуть им бока и начинать путь свой снова. Вообще при частой путанице упряжи езда на собаках для непривычного ездока может показаться не хуже каторги. Для этого надо быть таким же терпеливым и привычным, как камчадалы: надо почти родиться таким же дикарем, как чукчи.

После одного перегона измученных собак обыкновенно заменяют новыми: усталых кормят юколой (сушеной или вяленой рыбой) и оставляют всегда на открытом воздухе. Собака належит ямку в снегу и спит до того крепко, что не замечает и вьюги. Ее всю заметет

снегом — она не поворотится. Когда дышать станет нечем, собака проснется, отряхнется и снова ляжет спать поверх свежего сугроба.

Для хороших собак у бедных из дикарей ведется обычай выгаживать, или сердцевать, собак, то есть попросту прикармливать и выманивать. В обычае этом дикари не находят ничего преступного, как не находят и образованные люди проступка в зачитывании книг и во многом другом прочем. Ездовая собака к хозяину не привязчива: она его боится и не любит. Кто больше ласкает, тот любезнее; кто больше кормит, к тому чаще ходит и загищается до того, что уже нейдет к старому своему каюру: это далеко не пудель!

\* \* \*

Но собаки вывезли нас на берега другого русского океана — Восточного. Остановимся и здесь на короткое время. По ту сторону (в Америке) лежат владения, принадлежащие частной русской компании, называемой Российско-Американскую, которая образовалась с торговою целью насчет пушного зверя. Компания эта наживала огромные деньги руками нового для вас инородческого племени — алеутов. Племя это начинает исчезать с лица земли: поспешим рассказать об них.

## АЛЕУТЫ С СОСЕДЯМИ

Алеуты — морские казаки.

*Местное название*

Та часть Восточного океана, которая называется Беринговым морем, омывает с западной стороны Камчатку, с восточной берега Америки и посредством пролива (Берингова) соединяется с Северным Ледовитым

океаном. Пролив этот отделяет Старый Свет (Европу, Азию и Африку) от Нового — Америки, и притом так, что, если не мешает туман, высокие горы Азии видны бывают с низменности американского берега.

Американский берег так же пустынен, безлесист и горист, как и недавно покинутые нами земли сибирской тундры. Бесплодная тундра ниспускается по всему побережью даже до тех мест, где оно огромным клином, под именем полуострова Аляски, глубоко врезывается в холодные воды Восточного океана. Тундра выстилает всю северную половину полуострова; она же залегает на всех тех островах, которые далеко отошли от берега и от Аляски к северу, ближе к мертвой земле чукчей. Острова Прибылова (Св. Георгия, Св. Павла и Бобровый) и остров Св. Лаврентия, ближайший к земле чукчей и Азии, покрыты тундрой и совершенно безлесны. Остров Св. Лаврентия покрывается такими густыми и частыми туманами, что мореходцы долгое время не знали его и проходили мимо, не замечая. Южнее его верст на триста на необитаемом острове Св. Матфея пробовали сделать поселение, но всех уморили с голоду, кроме трех, которые прокормились глиною. На островах Прибылова поселенцев встречали подобные же неудачи. Люди охотно держатся только в южной половине полуострова Аляска и на тех островах, которые как бы составляют ее продолжение и тянутся к юго-западу под общим именем Алеутских. Между ними замечательные Лисьи, населенные алеутами собственно, хотя этим именем называют и все другие племена на окрестных островах: и канаков, живущих в противной стороне на большом острове Кадьяке (к востоку от Аляски), и чугачей, давно переселившихся с этого острова на берег Чугацкого залива, и ахтинцев, живущих на Андреяновских островах, и береговых жителей, как кенайцы (обитающие по берегам Кенайского залива), и других прочих. Но несмотря на всю разницу этих небольших племен по природе (а их насчитывают больше

15), их соединяет и делает похожими одинаковый род жизни и занятий. Все они поселились здесь для одного и того же дела; все держатся и существуют на местах этих одинаковым промыслом: больше всего ловлею морских зверей. Алеуты между соседями только ловчее других и деятельнее.

Все дно этого угла Восточного океана (на юге которого лежат Алеутские острова) усажено огромными лесами подводных растений, служащими пищей неисчислимым стадам больших и малых морских зверей. Высоко выбрасывая крепкие струи воды, плавают великаны морей — киты, моржи и тюлени. Морские львы, или сивучи, ложатся на береговых камнях твердой земли и островов (преимущественно на острове Св. Георгия) и соблазняют алеута и шкурами, которыми обтягиваются легкие промысловые лодки (байдары), и мясом, которое дикари употребляют в пищу, и внутренностями, из которых шьют камлейки, широкие и длинные непромокаемые рубашки. Вблизи островов Прибылова (всего чаще близ острова Св. Павла) бродят громадные стада морских котиков, или тюленей, с мягкой и теплою шерстью темно-серого цвета, ростом иногда с двухгодовалого теленка. Меха их высоко ценятся в Китае и в большом уважении в России. Вблизи Кадьяка и Лисьей гряды, Алеутских островов и Андреяновских и около Камчатки, в грядах островов Курильских и Командорских плавают драгоценные морские бобры — главный предмет общего соблазна и самой усердной ловли. По всем островам Лисьей гряды бегают чернобурые и сиводушки лисицы; на полуострове Аляске — красные, известные своей мягкой и нежною шерстью. На острове Укамоке живут еврашки, дающие мех на туземные наряды (или парки). Кроме того, бесчисленные стада птиц в то же время покрывают все богатые острова этого знаменитого и достославного в целом мире угла Восточного океана.

Все эти морские богатства издавна привлекали сюда промышленных людей из России и послужили причиной к образованию в 1779 году большой компании под названием Российско-Американская. Прежние свободные промышленники морских зверей, туземные племена диких народов, сделавшись подвластными России, отданы были в полное распоряжение компании. Алеуты освобождены правительством от ясака и всяких повинностей, но обязаны зато служить компании для ловли морских зверей. Компания может истребовать на службу целую половину всего наличного количества островитян мужского пола (их всего теперь с небольшим тысяча человек) не старше 50 и не моложе 18 лет. Не находящиеся на службе занимаются на берегу рыбною ловлею и промыслом пушных зверей: все добытое принадлежит им, но продать пушной товар они могут только компании по установленной таксе.

Эта барщина распределяется компанией между всеми алеутами по очереди. Алеуты снабжаются всем нужным для исправления лодок, орудиями и пищей: сюда входит юкола и по фунту на брата листового табаку.

Если есть что покурить и выпить, лежат под боком топор и ружье, алеут считает себя счастливым и богатым. Остальное всегда при нем; и эта удивительная ловкость его и неустрашимость, хотя между ними начинают исчезать те ловкачи, которые некогда изумляли своими фокусами. Опрокинуться в воду на одну сторону и вынырнуть с другой, сидя на байдарке, подгрести в сильный бурун к утесу, выскочить на него и оттолкнуть байдарку ногой: были подвиги, которые прежде делались из одной славы, но на которые теперь никто не решится. Тем не менее кривоногий, сутулый алеут, как утка переваливающийся с ноги на ногу и неуклюжий на земле, до сих пор незаменим на море. По

самым крупным волнам бурливого океана он ходит на своей валкой байдарке, как родичи его по береговому снегу на лыжах.

Байдарку ладит алеут из тонких жердей, прикрепленных к обручам китовыми усами и обтянутых нерпичьими кожами. Кожи так плотно сшиваются, что никогда ни одна капля воды не просочится внутрь. Управляются они легкими веслами и не только легки на ходу, но и безопасны при самом крепком волнении. Алеуты на байдарке переплывают спокойно по тысяче верст; в хорошую погоду ходят верст по 70 без отдыха. Байдарка на каждой волне сгибается и разгибается без ущерба для себя и без дурных последствий для седоков. Когда буря разыграется, алеуты сплываются несколькими байдарками вместе и всегда отстаиваются.

Посмотрим, как алеуты ловят бобров.

В море выезжает множество байдарок, и как скоро одна подъедет к бобру, алеут бросает в зверя стрелу и поднимает весло. По этому знаку все остальные становятся кругом, и, когда зверь опять покажется, ближние к нему снова бросают стрелу и снова поднимают весло. Иногда бьются так с одним бобром по полусуткам, хотя зверь нырнул в первый раз на четверть часа, в остальные разы погружается все более и более на короткое время, пока наконец совсем не в силах спрятаться. В тихую погоду узнают место бобра по пузырям, которые он после себя оставляет; в бурную погоду бобры ныряют всегда против ветра. Главное право на добычу имеет тот, кто убил первым; если попало много стрел, стрела ближняя к голове почитается важнее. Узнают это по тем значкам, которыми намечаются стрелы. Иногда бобр путает расчеты алеутов, выдергивая стрелы лапами. Тогда (как и во всех спорных случаях) алеуты идут судиться к компанейским. За большого или старого бобра выдает компания 15 руб., за молодого (кошлока)

6 руб., за щенка (медведка) 1 руб. 20 коп. Кто добыл 5 или 6 бобров, тот уделяет часть тому, кто не получил ничего или очень мало. Этот впоследствии в долгу не остается и честно рассчитывается таким же образом.

На некоторых островах бобров ловят сетями осенью и в бурную погоду, когда бобры ищут укрытия между камнями. Иногда бьют бобров из ружей, когда зверь, выходя на берег и осмотревшись, свертывается в клубок и засыпает.

Сетями, сплетенными из жил и погружаемыми в воду, ловят алеуты нерпу или мелких тюленей и бьют всегда сонную. Иногда приманивают ее к берегу: надев на голову шапку и спрятавшись между камнями, подражают ее голосу и таким образом заставляют приплыть близко к берегу, на ружейный выстрел.

По окончании бобрового промысла алеуты получают наряд от компании для береговой ловли лисиц; ловят их иногда собаками, но чаще кляпцами — особым снаряжением; опытному дает компания до 25 штук этих орудий. За лучших чернобурых выплачивают от 4 до 6 руб.; за сиводушек от полутора до 2 руб.; за красных от полтинника до полутора рублей.

Коты-самцы приходят к Алеутским островам в половине апреля; самки или матки — в мае. Самка ложится на берег метать детенышей: носит по одному, редко по два. До июня молодые котики только ползают по камням, в июле уже плещутся они между камнями. Когда котенок подрастет, matka в зубах относит его от берега, бросает в воду и плавает вокруг, пока тот барахтается к берегу. Взрослые только ночью живут ка берегу, утром уходят в море и плавают там до полудня. Отдохнувши, опять часа на четыре идут в море. Тем временем, когда коты на берегу, пользуются промышленники для их ловли. Располагаясь цепью около берега, они не пускают лежбище (или стадо) в воду и гонят его в гору вплоть до селений, версты на две и на три;

затем бьют их там дрегалками или палками. Для этих котов компания сделала из алеутов поселение на Прибылых островах: на острове Св. Павла иногда разом загоняют котов от 3 до 4 тысяч, а на острове Св. Георгия от 500 до 2 тысяч. Шкуры убитых растягивают на пялах, или рамах, и кладут в сушильни, нагреваемые каменками. Пригоняя к селению, алеуты стараются отделить маток, которым дают путь к морю; но гонят только секачей, или старых самцов свыше 4 лет, и холостяков-котов двухгодовалых.

Вместе с котами приходят из тех же теплых, полуночных стран сивучи — те же тюлени, но огромного роста и не что иное, как уродливые массы жира и мяса, неловкие и неуклюжие. Препраждая им путь к морю, их также бьют алеуты палками.

Моржей стерегут алеуты на песчаных отмелях северной стороны Аляски со всею осторожностью, чтобы не быть раздавленными или не попасть на клык. Обойдя стадо со стороны моря, алеуты бросаются на зверей с криком и гонят на мель, где убивают копьями, норovia в те места на шее, где очень тонка кожа. Если одному моржу удалось прорвать цепь — все остальные уйдут за ним в море. Этот опасный промысел длится дней десять. В убитых вырубают только клыки, называемые бивнями.

Промысел китов производится с июня по август на тех же утлых и валких байдарках. Осторожно и сзади подплывая к великану морей, алеут идет рядом с этой плывущей горой до ее головы, где и вонзает в тело короткое копьё под передний ласт, быстро затем удаляясь. Раненый кит всплескивает огромными волнами и может послать к облакам или вонзить смельчака в самое дно океана. Но лишь бы только копьё проникло в мясо, кит не уйдет: через два дня он издохнет и будет выброшен волнами на берег. Но насколько опасен этот промысел, доказательством служит то, что

такие смельчаки и у алеутов пользуются особенным уважением. Кит — не шутка: это целая гора сала, и притом рот его выслан вместо зубов (которых у кита нет) громадными волокнистыми пластинами, из которых нарезаются так называемые в торговле китовые усы.

Рассказав о промыслах алеутов, мы рассказали почти все и о самом народе. Прибавлять остается немного. Алеуты — самый кроткий народ на земле: никогда не дерутся между собою, об убийствах и помыслить не смеют, воровства также не бывает. Терпеливы и равнодушны к жизни до изумления, и все так, как один: словно выкроены по одной и той же мерке. Если тяжелая жизнь иногда его радует, он и радость встречает с таким же хладнокровием, как и самое горе. Хвалят их нежную любовь к детям. Замечали, что они обидчивы на то, когда им покажут презрение. В первые времена существования компании число алеутов быстро уменьшилось. Прежде, в 1760, году на одних Андреяновских островах иасчитывали свыше 4 тысяч, теперь на всех с небольшим тысяча. Алеуты были лишены всего в то время, когда успели при помощи своих же хозяев привыкнуть ко многим незнакомым прежде сластям и соблазнам. Губила их водка, губили поселения на мертвых островах, губило многое. С презрением и досадою глядели на них их ближние соседи — до сих пор независимые колюжи.

Это сердитое племя живет на берегу Америки и на островах, южнее наших алеутов. До сих пор колюжи воспитываются сурово, ходят на войну и, прикрываясь личиной дружбы, под полой нередко носят нож. Лет пятьдесят тому назад колюжи, или колоши, не упускали случая убить русского; жгли наши первые поселения вблизи их жилищ; охотно убивали алеутов, покорившихся новым пришельцам. Давая обещание жить миролюбиво, всегда обманывали суда на них найти нель-

зя, потому что народ этот не составляет одного целого общества, но разделяется на разные племена. Племена эти живут или скитаются по своему произволу и друг от друга нимало не зависят; часто даже одно племя враждует против другого. Но колюжи — отважные и счастливые промышленники пушного зверя; женщины их прядут замечательные плащи или одеяла из пуха диких коз с прочными красками и весьма правильными фигурами; к тому же все любят табак и видят в руках русских нужные им товары: враждовать долго и упорно нельзя, надо сходиться для мены или торговли. Когда установились эти сношения, оказалось, что колюжи склонны к торговле, деятельны и смышлены и тем ушли дальше от простодушных своих соседей, алеутов. Правда, что первые купцы наши, отправляясь на лодках к колюжам, на носу ее становили парус и прятали в ней вооруженных людей. Но теперь все стало иначе. Не переменилось только то, что колюжи до сих пор носят цельные шкуры какого-либо зверя, расписывают лица черной и красной краской; мужчины в нос, а женщины в нижнюю губу продевают кольца с подвязками из бисера и других украшений. Любят петь грубым голосом песни и плясать под бубен, то есть топать ногами и прыгать с уродливыми кривляньями и телодвижениями, перенятыми людьми этими у диких зверей их гор и лесов. Племя колюжей сильно и живуще, тогда как алеуты стали исчезать. К счастью того края, зарождается новое племя креолов от русских отцов и матерей-алеуток. Люди эти красивы, проворны и очень способны. Компания для них устроила в Ново-Архангельске (на острове Ситхе) школу. Есть надежда, что в тамошнем умеренном климате возрастет и укрепится это новое племя, которому, может быть, суждено переродиться вконец в русское племя. Наверное, оно не без успеха будет служить тому же делу и промыслу, которому еще дослуживают алеуты и перестают мешать колюжи. Креолов еще в 1830 году насчитывали до тысячи человек.

С креолами из тундр и бесплодных моховых пустынь мы вступили в лесную полосу. Говоря об алеутах, забыли камчадалов, обитателей полуострова Камчатки. А так как и этот народ поселился в лесах и к ним приурочил свою жизнь, то рассказ об них мы откладываем до того, в котором постараемся проследить за лесными обитателями нашего огромного и разноплеменного отечества.

\* \* \*

Мерзлая пустыня, или тундра, осталась позади нас со всеми своими страхами и ужасами, со своею природою, которая целые тысячелетия остается неизменною, хотя и живут на ней с незапамятных времен люди. Но эти люди уже не цари земли, каковыми величают себя обитатели более счастливых стран, где в труде и трудом доказывают они свое действительное могущество. Ничтожное количество бродячих народов поглощено исполинской громадностью холодных моховых пустынь, окаймляющих Ледовитый океан и обездоливших Русскую землю на протяжении 20 тысяч верст (считая в длину прямым счетом). И на всем этом пространстве лепится там и сям ничтожными, одинокими кучками несчастное население круглым счетом каких-нибудь ста с половиною тысяч. Если собрать все эти народы и народцы в одно место и образовать из них город, то город этот не составил бы и третьей части такого большого города, как Петербург, не достиг бы числом жителей до половины Москвы и был бы только вдвое больше Казани или Киева.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> На каждый дом поселенца выдавалось: одна корова, топор двурубной, долото, два бурава, большой и малый скобель, нож, косарь, котел железный или чугунный в 10 фунтов. На каждую семью полагалось: лошадь, две овцы, две свиньи, конская упряжь с прибором, десять сажень веревок, пара сошников, топор плотничий, коса-литовка, два серпа, хлеба для посева: ржи или ярицы по 12 пудов, ячменю по 6 пудов, овса по 6 пудов, семени конопляного по одному пуду, и на продовольствие на восемнадцать месяцев каждому поселенцу муки ржаной по 36 пудов, и соли по одному фунту в месяц; и детям против всего половину. С 1807—1809 гг. поселения основывались; потом, в последующее десятилетие, устроились. Результаты были благоприятны: в Нерчинском округе число скота заметно увеличилось. Причину этому обстоятельству полагают в обильных и превосходных пастбищах.

<sup>2</sup> Ключ этот, давший свое название деревне, — кислый; открывается он на поверхности земли в июне по собственной прихоти, где вздувает.

<sup>3</sup> Талья называется здесь *бердо*; частые колья — *скамьи*. В отверстие в тальях также вставляются плетенные иа бережного тростника конусы — *мордочки* (по-архангельски — *вёрши*).

<sup>4</sup> В одном из домов новой амурской станицы — *Бейтоновской* — я видел еще один албазинский образ, принесенный поселенцами из Горбиц. Образ писан на холсте масляными красками, недурно, но небрежно держится; камня (настоящий аметист, гранатки и друг.) по местам отвалились; венчик изломан. Образ принадлежит казаку Исакову.

<sup>5</sup> «Теперь еще они ладно живут, — сказывали мне потом в станице Вагановской. — А то вот проезжали мимо их мы прошлой весной — всех до единого застали больными».

<sup>6</sup> Кстати о названии реки. По всему вероятно, имя *Амур* дано реке, образовавшейся из соединения Шилки с Аргунью, еще первыми казаками и, может быть, самим Хабаровым. Впервые слышится это имя в актах 1650 года. Местные обитатели, аборигены

прибрежьев Амура, называют его различно: верхняя часть, от Усть-Стрелки до впадения Сунгари, наз. Хе-Лун-Цзян — река черного дракона (у китайцев) и Сахалин-Ула — черная (и действительно, черная река, у маньчжуров). Нижняя часть до впадения в море — Хунь-Тхунь-Чзян (у китайцев) и Сунгари-Ула (у маньчжур). Монголы деления этого, как и русские, не признают, и всю реку зовут общим именем Хара-Мурень (т. е. черная река) равно как тунгусы — *Шилькар* (т. е. плес).

<sup>7</sup> Река Хара, вместе с Буреей, вышла из одного хребта — Станового. Течение их отделено друг от друга невысоким отдельным хребтом на расстоянии — как говорят — не больше 20 верст.

<sup>8</sup> Говорят, течение Амура по фарватеру имеет в Хингане пять узлов. Глубина его почти везде одинакова, равна от одного берега до другого. При входе и при выходе реки в Хингане залегли в двух местах весьма, впрочем, незначительные мели, которые лежат ближе к левому, русскому, берегу.

<sup>9</sup> Самоловы эти — довольно толстые веревки с крючьями, которые смазывают салом или сметаной; на них укрепляется поплавок из сосновой коры. Самоловы эти привязываются к толстой веревке. Веревка укрепляется на каменном якорю, утвержденном в деревянной распорке. На поверхность воды выпускается деревянная поплавок. Начало эту поплавок тянуть в воду — на крючья попала рыба: по большей части севрюжина, калужина (не превышавшая весу 20 пудов). Про стерлядей казаки не слышали, да — говорят — и нет их здесь.

<sup>10</sup> Реку эту казаки прозвали Быстрой за необыкновенно бойкое ее течение по камням, которыми так она и завалена вплотную. Из этой речки выходит и идет вверх полутолая скалистая сопка.

<sup>11</sup> Новый род повинности — делание кирпичей — лежит на обязанности казачек. В ст. Головиной каждая баба, начиная с девок и оканчивая старухами, обязана сделать в месяц по тысяче кирпичей для вновь строящегося сотенного дома. «Не знаем, — говорили мне бабы, — ребят ли кормить, огородцы полоть, скотину обрывать, за малолетками смотреть, около дому возиться али казенные кирпичи делать?» В ст. Вознесенской тот же урок и по той же тысяче на бабу. В прошлом году, сказывали они мне, по полтораста кирпичей делали для себя, а ныне вот на казенную работу посадили; а глина здесь с песком, плохая глина — половину сделаешь, другая так прахом на огне и рассыплется!

<sup>12</sup> Тут же, неподалеку от этой беседки, на самом возвышенном месте скалы, уцелел еще до сих пор маленький гольдской храм, род часовни, с чугунным колпаком у дверей, заменявшим для инородцев колокол. В храме этом сохранились еще два деревян-

ных подсвечника и даже уродливый бурхан — идол из дерева, может быть, и недавний, судя по свежести березы, может быть, вчера поставленный поклонниками. Все хабаровские гольды выселились несколько пониже, небольшая часть живет в Хабаровке в услужении.

<sup>13</sup> Ныне г. Хабаровск, окружной город Приморской области.

<sup>14</sup> Через буяны эти вода — как говорят казаки — *перекатывается*: оттого они всегда неприметны. Пять-шесть камней замечено нами на всем течении Амура. Малое количество их — гордость, счастливая особенность Амура!

<sup>15</sup> «От крыс», как уверяют гольды; обыкновение замечательное, которому нашим казакам и солдатам не мешало бы последовать. На одном только русском станке я видел клеть на столбах, но во всех слышал жалобы на бездолье, причиняемое крысами казенному провианту.

<sup>16</sup> Изумительно просто устройство этой лодки. В основание ее положена доска, несколько согнутая, приподнятая к носу и закругленная. На носу, отступя четверти на две от краев, в желобах утверждаются две четырехугольные доски под острым углом, образующие самый нос. К этим носовым доскам и к нижней основной прикрепляются две параллельные доски, которые на корме закрепляются снова одной (шестой) дощечкой, и лодка вроде ящика готова. Служит она обыкновенно года два-три. Весла очень легки (их два) и имеют форму закругленной лопатки. Кроме лодок подобного несложного устройства, между гольдами, орочами и маньчжурами употребительна также и так называемая омороча, или, лучше, корыто из береста. Бересто прибито к шпангоуту; шпангоут этот, или ребра, из узких и тоненьких дранок. По бортам — скрепы круглыми деревянными брусками с тремя, четырьмя и пятью распорками поперек. Садится один человек по ширине лодки, и борты ее уже подле самых боков седока. По длине оморочи могут располагаться, поджавши и даже вытянувши ноги, два и три человека на дне. Весло держится обеими руками и против груди, потому что у весла его две лопасти с противоположных краев. Гольд обыкновенно то опускает одну лопасть, поднимает другую, то загребает одной лопастью, смотря по тому, куда и как ему нужно приставать, и во всяком случае действует необыкновенно ловко. Омороча летает как птица, не отставая от легких амурских пароходов на полном ходу. Оморочу гольд обыкновенно по берегу переносит на плечах, так она легка. Легка и маньчжурка: ее обыкновенно носят два человека.

<sup>17</sup> Материковый берег казаками называется *становым*; *материком* же называется собственно стриж, фарватер. Отмелое место, мель без различия зовется и *лайдой*, и *кокой*.

<sup>18</sup> Сапоги, или так называемые *бродни*, стоят в продаже (хотя бы и в той же Хабаровке и на Усури) 1 руб. 50 коп. сер. и 1 руб. 70 коп. Кунгурские сапоги от 3 руб. 20 коп. до 8 руб. 50 коп.

<sup>19</sup> Ныне село Хабаровского округа Приморской области.

<sup>20</sup> Город этот переведен в Софийск, линейные солдаты батальона — в Николаевск. Дома, которыми успели уже они обзавестись за долгую стоянку, поступили в частные руки назначенных сюда поселенцев из Вятской губернии.

<sup>21</sup> Пароход «*Казакевич*» берет с пассажиров, едущих вверх по реке, от Николаевска до Кизи, 25 руб. (за 300 верст, от Николаевска до Хабаровки, — 75 руб., до Благовещенска — 125, до Усть-Стрелки — 175 и до Шилкинского завода 200 руб.; суммы значительные для едущих с семейством, хотя бы даже с детей и прислуги полагалась половинная плата, хотя бы всякий пассажир и имел право взять с собою бесплатно два пуда тяжести, а дети и прислуга — по одному и хотя бы, наконец, плата за провоз вниз по реке полагалась ниже и именно вдвое против означенной выше. За тяжелый груз назначается особенная плата, пунктуально обозначенная в таксе (цена довольно, впрочем, высокая), где груз подразделен даже на тяжелый, легкий и громоздкий и даже обозначены предметы, принадлежащие к той и другой категории грузов. Но отчего же купцы жалуются на самопроизвольное увеличение цен и предпочитают сплавливать товары на собственных лодках и отчего же на последний рейс нынешнего года за товары взята, говорят, изумительно высокая, произвольная сумма!

<sup>22</sup> Казенные пароходы обыкновенно берут 1 руб. 60 к. и 1 руб. 75 к. за проезд через всю реку Амур и за проезд от одного ближайшего места до другого — безразлично. Деньги эти поступают в суммы так называемого запасного капитала. Капитал этот предназначен, как говорят, для споспешествования вообще успехам заседания приамурского и приморского краев. Появившийся в нынешнем году пароход Амурской компании взял с пассажиров половинную против американского парохода цену; но, к несчастью, разбился при входе в реку Шилку и пассажиров и клади не довез. Четыре легких казенных пущены также для плаванья вниз и вверх по реке.

<sup>23</sup> Операции эти произведены были вследствие высочайших повелений, последовавших в 1850 и в 1852 гг. относительно водворения переселенцев на почтовом тракте между Якутском и Аяном. Вызваны были из сибирских губерний те, которые не состояли

под следствием или судом и которые не были обязаны частными сделками или условиями. Переселенцы освобождены от представления увольнительных от обществ приговоров. Предполагалось обеспечить их продовольствием в течение первых двух лет со дня выхода из Иркутска, снабдить необходимым пособием для постройки домов и для приобретения скота и земледельческих орудий и хлебными и овощными семенами. Переселенцы избавлены от платежа податей и от денежных и натуральных повинностей на 20 лет и от рекрутства навсегда. В течение 1852 и 1853 годов переселено в Камчатку 25 семей, но в последующие годы, по случаю военных обстоятельств (как сказано в рапорте ген-губерн. Восточной Сибири), дальнейшее переселение оказалось невозможным. Взамен следующих к переселению в Камчатку, отправлено 51 семейство к водворению около устья реки Амура. Переселенцам этим предоставлены были те же права и преимущества, какие обещало правительство и камчатским переселенцам. Для переселения же на места убылых из Сибири мин. гос. им. в 1857 г. предписало выпустить по 200 семей из губ. Пермской и Вятской на переселение в Восточную Сибирь.

<sup>24</sup> В таких числовых данных: из Воронежской губ. Острогского уезда 28 семей в количестве 294 душ обоего пола; Валуйского 7 семей (63 души), Павловского 7 семей (88 душ) и Землянского 8 семей (75 душ). Из Вятской губ. оказалось желающих 309 семей, но разрешено переселение только 132 в количестве 1174 душ. Из Тамбовской 450 душ обоего пола (в числе 34 семей) Тамб. уезда и 14 сем. Липецкого. Губ. Пермская дала только 40 семейств из уездов Чердынского и Оханского. При этом пермская палата госуд. им. объявляла, что «приискание желающих идти на Амур крайне затруднительно», несмотря на то, что палата вынуждена была сделать вызов по всей губернии. «Главная причина, — уверяет она, — заключается в неизвестности края, как объясняют крестьяне лично».

<sup>25</sup> Издержки эти соображались по следующим данным: «Казачи с семействами от сборных пунктов по р. Шилке и Аргуни до среднего течения Амура стоили казне до 163 руб. на семью из 5 душ, не включая в эту цифру расхода на покупку домашнего скота, который казаки обязаны иметь собственный».

<sup>26</sup> Для водворения там назначена Семипалатинская область с Заилийским краем. Переселенцы эти, в количестве 34 семейств (или 163 душ обоего пола), были зачислены в казаки Сибирского линейного войска в состав предназначенного к образованию Семипалатинского пешего казачьего полубатальона или отчасти и Заилийского. На тот же конец приняты и те 159 семейств,

которые предназначено было выпустить из Пермской губ. в 1860 году. На эту операцию государственное казначейство в 1859 году выдало 20 тысяч, в 1860 году — 10 тыс. и потом снова 2516 руб. 6 коп. и оренбургской палате госуд. имущ. 5581 руб. 34<sup>1</sup>/<sub>2</sub> коп. Нелишним считаем присовокупить при этом, что многие крестьяне не изъявили своего желания перейти в казаки и просили позволения вместе со своими семействами возвратиться на родину. Министерство госуд. имущ. не находило к тому препятствия, «если только эти крестьяне обяжутся подпиской пополнить в казну издержки, употребленные на путевое следование и водворение их».

<sup>27</sup> В правилах цена за десятину назначена 3 руб., но только на первые 20 лет: впоследствии она должна измениться. Вообще почти все правила писаны как временная, переходная мера.

<sup>28</sup> Считаю нелишним упомянуть в заключение, что некто Як. Ник. Бутковский, отправивший в 1859 и 1860 гг. три судна к берегам Восточной Сибири с грузами морского министерства и с несколькими пассажирами, предлагал свои услуги. Министерство государственных имуществ отвечало, что не нуждается в перевозке крестьян из внутренних губерний.

<sup>29</sup> В это число мы не включили 160 верст течения Амура, прорезанного Малым Хинганом. Места эти к поселению решительно неудобны. Хинган не дает ни одной замечательной низменности. Существующие тут станицы (6) — жалкие станицы. Место это может обеспечить существование нескольких станций, но ни для какого хозяйства неудобно. Ни скотоводства, ни хлебопашества разводить негде. Лесные промыслы также не обеспечивают возможности существования. Малый Хинган — место родины хищных зверей, барсов и тигров, но дает плохую белку и очень мало соболей. Дикая коза — небогатое подспорье для голодовок в случае недостатка мяса, да дают мех, который пригоден для дохи, но и только.

<sup>30</sup> Два судна Амурской компании («Св. Иннокентий» и «Орос») погибли со всею кладью: одно в начале Амурского лимана, другое в конце его, не доходя Николаевска.

<sup>31</sup> В *Правилах для поселения русских и иностранцев в областях Амурской и Приморской Восточной Сибири*, между прочим, сказано в § 7 (в): «На пространстве от вершин р. Усури и по ее течению к морю такие участки (пространством не более 100 десятин на каждое семейство) предоставляются в вечное и постоянное пользование всего общества, которое может, если пожелает, весь участок в полном его составе продать, только не иначе как другому обществу же, состоящему не менее как из 15 семейств; за пользование этою землею общество в течение 20 лет не платит

ничего в казну, но по истечении сего срока оно должно будет платить особую оброчную, именно за пользование землею, подать, в том размере, как это будет установлено впоследствии».

<sup>32</sup> Палата объявляла: «Многие из государственных крестьян и помещиков внутренних губерний обращаются с просьбами о дозволении им селиться на землях, оставшихся свободными за выходом в Турцию магометан, с перечислением на их земли» — и проч.

<sup>33</sup> В циркуляре сказано: «Из дел министерства видно, что государственные крестьяне совершали в весьма значительном количестве, по недостатку земли, самовольные переселения во многоземельные губернии».

<sup>34</sup> Г. Лакиера, по сочинению его, изд. в СПб. 1859 г. под заглавием: «Путешествие по Северо-Американским Штатам, Канаде и острову Кубе».

<sup>35</sup> Лакиер, т. 1. стр. 215—217.

<sup>36</sup> Положение матроса в этом городе вообще незавидно: табак он покупает по 50 коп., ржаную муку 1 р. 50 коп. пуд, пшеничную 3 р. пуд; мясо свежее 8 руб. 50 к. за пуд, за солонину платит 3 руб. — 3½ за пуд. «За бутылку рому, — рассказывали они мне, — на худой конец надо заплатить 1 р. 50 к., а кто Бога не боится, возьмет и 2 руб. за бутылку, и то ежели есть, а ежели нет, так не найдешь и за 5 руб. сер., а спирту и вовсе в продаже нет для нас, а только есть для г. офицеров, и то в малом количестве». Так матросы и домой, в Россию, об этом пишут и прибавляют: «Рубаха ситцевая стоит 1 р. 25 к. и 1 р. 50 к.; а отдаешь белье мыть, то прачка берет за рубаху 6 и 7 к.; за платок, чулки и полотенце 5 к. за каждую штуку. Одним словом, все так дорого, что бедному и жить никак нельзя».

«Жители, — толковал другой грамотный, — живут очень в бедном положении, ибо инородцам платят за одну рыбу 50 к.; а ежели купить осетра в три пуда, заплатишь за него не менее 5 руб.» — и проч.

<sup>37</sup> В инструкции, выданной г. Литке от адмиралтейского департамента, между прочим сказано было: «Возвращаясь от S, где предполагается вам провести зимние месяцы, имеете вы прорезать гряду Курильских островов, где найдете то удобным, а оттуда держать к северной оконечности полуострова Сахалина и оттуда начать опись берега между Сахалином и Удским острогом».

<sup>38</sup> Рассказывают, что какой-то догадливый купец вез на Амур целый транспорт кошек, но что кошки эти частью подошли, частью разбежались. Амурские жители продолжают прибегать к пособию маньчжуров и покупают кошек сравнительно по высокой цене (до 1 руб. сер. и выше за кошку).

<sup>39</sup> Гиляки эти почти все перебывали у нас на корвете, привозя с собою разного рода и вида рыбу. Между рыбами мы нашли крупную треску, кету (амурскую семгу), которая-де начинает уже подвигаться к северу: стало быть, приближается время, когда кета эта пойдет в Амур и восполнит тамошние недостатки в съестных припасах.

<sup>40</sup> Из Владимира в Ольгу существует тропа, по которой поспевают верхом в 4 часа и пешком в 8. Вблизи бывшего нашего поста расположена, говорят, большая деревня, дворов в 20, с отличным хозяйством, большими полями и огородами.

<sup>41</sup> Про жень шень см. дальше статью: «В Маньчжурии».

<sup>42</sup> Вот приблизительный расчет тех пространств, которые сделал пароход-корвет «Америка»: 130 морских миль от Николаевска до Де-Кастри (т. е. 229 верст); 150 миль (254 версты) от Императорской гавани до Де-Кастри; 380 миль (665 верст) до Ольги; 240 миль (420 верст) до залива Посьета и ровно 500 миль (875 верст) прямо из гавани Посьета до японского города Хакодате — самого крайнего и дальнего пункта нашего плавания.

<sup>43</sup> Усы китайцы отпускают с 35-летнего возраста, по закону и по обычаям.

<sup>44</sup> Нельзя заметить особенного старания в снаряжении подобного рода экспедиций. Для примера не пойдем далеко. Между Ольгой и Императорской гаванью впадает в океан река *Самальга*, широкое русло которой приметно за 14—15 миль от берега. Про нее рассказывают много диковинного: что берега ее густо населены китайцами и орочонами, что там в избытке водятся самые лучшие соболи, что бар этой реки имеет сажени две глубины и сама река удобна для входа больших судов. Идет она от моря по направлению к югу и близко подходит к Ольге. До сих пор ни одна русская нога не бывала там, ни один глаз не осматривал этой реки, хотя уже и исполнится скоро десять лет существования этой реки в представлениях и понятиях амурских русских.

<sup>45</sup> Вот название этих пяти японских портов, открытых европейским судам: Нагасаки (тоже Иеддо), Канагава, Иокагама, Симода и Хакодате.

<sup>46</sup> Япония выработала убеждение и оформила его законом и обычаями, что чем выше и старше власть, тем на случай прегрешения сугубее наказание.

<sup>47</sup> «И мужчины и женщины (свидетельствует Н. К. Костома-ров), входя и выходя из бани в одну общую дверь, встерчались друг с другом нагишом, закрывались вениками (японцы и японки шайками) и без особенного замешательства разговаривали между собою».

<sup>48</sup> Скажем раз навсегда: наведение лаку (который не боится горячей воды и замечателен прочностью и глянцевитостью) составляет секрет. Наш консул — страстный любитель энтомологии — задумал для своих насекомых сделать шкапы. Мастер-японец не иначе согласился лакировать, как в запертой комнате и притом совершенно без свидетелей. Ни за какие деньги он не решился открыть иностранцу секрета. Окончивши работу, советовал несколько дней держать окна отворенными; но консул по рассеянности притворил окно (однако дня через три по окончании работ лаковых), с полчаса покопался с бабочками и кончил тем, что упал на пол, отравленный еще свежими лаковыми испарениями, как бы угаром. Лак этот, как известно, готовят из особого лакового дерева, которое первоначально росло только на южных островах Японии, но теперь им засадили большую часть острова Иезо.

<sup>49</sup> Овальная, тоненькая, пластинчатая золотая монета, редкая в Японии и равняющаяся стоимости наших шести руб. сер. (с сколькими-то копейками). Серебряная четырехугольная монета, ицебу, стоит на наши деньги 43 коп. сер. Она дробится на  $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{4}$ ,<sup>7</sup> также четырехугольные; четырехугольную японцы золотят немного и приглашают иностранцев считать ее за пол-ицебу. Ицебу дробится, сверх того, еще на *семьсот каши*; а каши — круглая чугунная монета с четырехугольным отверстием в середине. В отверстие это продевается соломенный жгутик, на котором и носят эти монеты, как бы у нас в России баранки. Несмотря на такую поразительную дробность монетной величины, каждая каша имеет практически осязательное значение; так, напр., за одну эту кругленькую железку цирюльник насаживает хохол на голове и бреет все необходимые места на лице. А бритве это обязательно даже для крайнего бедняка.

<sup>50</sup> Нельзя не винить в этом деле и самих европейцев. Вот для примера хакодатские происшествия. Портерр, торгующий в этом городе (действительно портером и разною съестною благодатью, устроивший при этом род трактира для наших офицеров), имеет собаку. Мимо квартиры этого англичанина идет пьяный японский чиновник; собака хватает его за ноги и кусает до крови. Японец выхватывает саблю. Движение это замечает тоже пьяный Портерр, выскакивает с товарищами на улицу — бьет чиновника; связывает ему руки и ноги — опять колотит и тащит к своему консулу. Консул надевает колодки и арестует у себя. Губернатор требует — не дают. Вступился наш — чиновника выдают, но японца лишают обеих сабель, т. е. налагают такое наказание, которое едва выносимо для японского чиновника. Сам английский консул катается и, пьяный сам, давит пьяного, попавшего ему на дороге.

Другой раз он же бьет хлыстом чиновника, загородившего ему дорогу, и, когда тот выхватил саблю, он его вяжет и тащит к губернатору. Тот же Портерр, подстергши вора ночью и кинувшись за него, выстреливает все пули из револьвера; при осмотре тела не нашли в спине из шести только двух пуль. Но всех случаев не перечислишь. В Хакодате английского консула дразнят мальчишки. В Иеддо и Канагаве англичан режут.

<sup>51</sup> Ураган, свирепствовавший в Хакодате за несколько недель до нашего прихода, был до того силен, что порывами нес через город огромные бревна, даже камни. Деревянную церковь, выстроенную при нашем консульском доме, одним порывом стащило с места, другим поставило на новое, саженях в сорока от старого. При этом ничего не было изломано; даже свечи остались на своих местах нетронутыми.

<sup>52</sup> Консулу нашему не высылали серебра, но зато в избытке снабжали из Петербурга золотом, на размене которого таким образом приходилось терять ему и другим нашим чиновникам по два рубля сер. с каждого золотого.

<sup>53</sup> Говорили о Японии (в «Морском сборнике»): В. Н. Назимов; состоявший при церкви г. Махов, да супруга доктора Альбрехта подарила какую-то газету с весьма бойкой и интересной статьей.

<sup>54</sup> Две богатые и чиновные японки приезжают с визитом; посидевши, переглянулись и захихикали.

— Чему смеетесь?

— Да вот советую своей гувернантке пойти в любовницы к тому офицеру, который взял ее воспитанницу, чтоб той легче было, — наивно и охотливо отвечала японка.

<sup>55</sup> Для Хакодате, как и для всякого японского города, полагается два губернатора. В то время как один управляет городом, другой следит за его действиями, контролирует их в Иеддо. Через год этот едет сюда, а старый на год отправляется ко двору сёгуна, для той же цели контроля и доклада. И так далее, по очереди: один живет в Хакодате, другой в Иеддо.

<sup>56</sup> В Японии только духовные могут быть докторами (оба звания там равнозначащи, как и у бурят, отчасти у китайцев, у мусульман, да и у нас в старину, на Руси). Не бреют волос доктора и бонзы, не подбривают лбов остальные японцы только на случай траура. Когда умирает сёгун (один только микадо бессмертен), вся Япония целый год отращивает волоса на голове, на губах, на щеках и на подбородках.

<sup>57</sup> Особенно серьезно и важно то восстание китайцев против Маньчжурской династии (подготовленное в 1808 году), которое обнаружилось в 1813-м и продолжалось два года.

<sup>58</sup> Только один из представителей этой династии успел спастись от казни и бежал в горы внутреннего Китая. Там одно из горских племен — по способам, доступным только горцам, сохранившее свою независимость — приютило этого беглеца и берегло его в среде своей про всякий случай.

<sup>59</sup> Т. е. те, которые исключительно промышляют зверя и рыбу. Манзы — исключительно ссыльные китайцы.

<sup>60</sup> Подлинных возмутительных листов этих гиринский губернатор написал и распространил замечательно много. Некоторые случайно попали в русские руки. Вот содержание одного из них, известного в Благовещенске и полученного из Хабаровки: «Нам известно, что вы, живущие в Уссури, — беглые из Китая, что поселились там для того, чтобы разводить корень жень шень (по-маньчжурски: орохото) и продавать его нам. Известно также, что вы остаетесь независимыми и что у вас были четыре начальника, которые с вами дружно жили, но которых, поссорившись, вы прогнали. Знаем также, что вы управляетесь теперь одним старшиною, которому уже более двухсот лет от роду. Слышали мы теперь, что русские пришли к вам и вас притесняют, даже хотят подчинить всех вас своей власти; но вы им не отдадитесь. Лучше всего, не затевая войны, предоставьте их самим себе: они сами погибнут. Если вы будете продавать им один только рис и не станете уступать ни молока, ни мяса, то они, привыкшие к этой пище, без нее умрут сами собою, без насилия с вашей стороны. Мы спрашивали об этом высокое небо, и оно подтвердило наши слова. Оно же повелевает вам поступать так и просит вас» — и т. д. Вообще тон послания — мягкий и осторожный, в форме предложения, а не предписания. Подписи гиринский губернатор не сделал, а скрыл ее под замысловатым титулом «рассуждения многих людей, бывших на высокой горе». Чтобы придать посланию вид сказания мудрецов, дзянь-дзюнь во множестве снабдил текст пословицами, изречениями, метафорами, но усердно перемешал с ругательствами на главных руководителей амурского дела. Впрочем, послание это мир предпочитает войне: «Мы-де начинать не станем, пусть сами русские начнут первыми».

<sup>61</sup> Больчжоры — род ярмарок, назначаемых для обмена товаров, — существуют между казаками, тунгусами и орочами с незапамятных времен. Сходки эти назначались по предварительному соглашению обеих сторон в известном месте на берегах Амура и в известное время. В назначении времени руководились обыкновенно фазисами луны и устраивали больчжоры в начале какой-то луны, в 1-ю, во 2-ю четверть, в полнолуние. Самые людные и оживленные сходки падали обыкновенно на январь и март

месяцы. Казаки приезжали с хлебом, солью, водкой, дабой, ситцами; инородцы привозили пушных зверей: белок, лисиц, куниц и соболей.

<sup>62</sup> Гурий Васильев, старообрядец из Екатеринбургa, сослан был на поселение в 1808 году и водворен в Удинском округе. Весною 1815 г. он с двумя товарищами бежал на Амур и поселился скитом в пещере, близ Албазина, при устье р. Урсы, и провел тут целую зиму. Весной его схватили маньчжуры и привезли в Айгун. Здесь предлагали ему остричь бороду и принять подданство, как сделали это многие из беглых русских, проживающих в Китае. Васильев с товарищами не согласился и через Цицикар и Хайляр представлен был на русскую границу в Цурутухайте. Водворенный на старом месте жительства, он снова бежал на Амур искать уединения, и снова летом 1819 г. был пойман, и тем же путем, из того же города Айгуна, возвращен назад. Наказанный плетьюми и сосланный в Нерчинский завод, Васильев бежал на Амур в третий раз (1822 году) и в ту же пещеру при устье Урсы. Здесь, питался кореньями, дичью и рыбой, прожил он две зимы этого и следующего года. Весной в 1823 г., из боязни старой истории непроизвольного перемещения, он на маленькой берестяной лодке (ветке) стал спускаться вниз по реке, но, не пройдя ста верст, снова был схвачен и представлен в Айгун. На этот раз маньчжурские власти, не отправляя в Россию, отдали его под присмотр и отпустили на свободу в городе, вменив ему в обязанность обучение мальчиков русскому языку, за что хорошо кормили его, одевали и вообще содержали в довольстве. В 1826 году Гурий по распоряжению айгунских властей вместе с другими отправлен был вниз по Амуру для ловли рыбы. Жестокость обращения заставила его на ветке бежать еще дальше по течению, где (показывал на допросах Гурий), «пройдя слияние реки Сунгари с Амуром, я был вне всякой опасности, ибо народ янты (гольды), обитающий по Амуру, уже не зависит от китайцев и маньчжур». Продолжая путь свой далее по Амуру с помощью туземцев, он достиг к осени до земли гиляков, где остановился на зимовку. От гиляков он узнал, что к северу от Амура живут тунгусы, а потому весною 1827 года вышел из Амура на гиляцкой лодке в море Охотское. Следуя вдоль берега и не доходя 30 верст до устья р. Тутур, становился у тунгусов на зимовку и вместе с ними к весне 1828 г. явился в Удской острог. На показаниях этого Васильева ген.-губ. Восточной Сибири Лавинский основывал свои виды на Амур. В 1832 году он предполагал уставовить плавание по реке этой, поставляя китайцам на вид в в укоризну, что мы желаем только свободно плавать, а не отыскивать в их пределах перебежчиков, проживающих у них в

приамурском крае в противность заключенному с ними трактату. Министр финансов отвечал Лавинскому в 1833 году: «Мне кажется, что всякое предприятие плавать по Амуру бесполезно и в отношении подозрительности китайцев опасно: поелику мы не имеем ни силы, ни намерения обладать тем краем, а без обладания им нельзя думать о судоходстве и о торговле, а потому без этого и не следует что-либо затевать».

<sup>63</sup> «Он излечивает понос (говорит слово в слово одна попавшая нам в руки китайская рукопись); он утишает боль в кишках, прекращает паралич и конвульсии, возвращает утраченные силы, восстанавливает ослабленные и укрепляет их, увеличивает в человеке жизненный дух, утушает в мгновение ока загорающиеся страсти, чистит кровь, уменьшает избыток испарины, ободряет стариков и восстанавливает силы, растроченные в любовных наслаждениях. Сверх того приостанавливает на некоторое время самую смерть. Напр., если порошок этого корня дать в чае больному, находящемуся при последних минутах жизни, то и такой больной придет в чувство, получит, так сказать, добавку жизненного духа и проживет еще несколько часов». Самое слово «жень шень» в подстрочном переводе означает жизненный дух, и маньчжурское «орохото» — корень-человек — придано корню за сходство его с человеческой фигурой.

<sup>64</sup> В Гири-уле выдавалось 465 билетов; в Нингуге — 195; в Бедуне — 32; в Алчуке — 27; в Сан-сине — 33. В Тянь-дзине выдавался билет одному хозяину с 4 рабочими; в Гирине — один билет 4 промышленникам с 5 рабочими.

<sup>65</sup> Жень шень растет кустами. На Уссури разводится искусственно.

<sup>66</sup> Купцы частным образом не имели права ввозить корень жень шеня в Китай под страхом смерти. При проходе через Великую стену они сверх того обязаны были платить пошлину: за жень шень из Тянь-дзина по 4 лана серебра с каждого чина. (В русском фунте — 11 лан; в лане — 10 чин). Провозить свой имели право только при казенном транспорте и под прикрытием стражи.

<sup>67</sup> Лан корня 4-го разряда оценивается в 400 лан; 5-го разряда — в 300 лан; дробного корня — в 150 и мелкого — в 100 лан чистого серебра.

<sup>68</sup> 75 к., 1 р. 50 коп. за шкуру в первые годы занятия русскими Амура и не свыше 6 руб. в то время, когда кинулись сюда все сибирские торгаши (даже один армянин) и наперерыв друг перед другом набивали цену. Приказчики Амурской компании отличались тут больше всех. Туземцы, обсчитанные и обсчитанные

маньчжурами, привыкли и русские штучки считать во благо и ведут торговлю с нашими и охотнее и сговорчивее.

<sup>69</sup> Один казак в 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> месяца успел набить там до 40 соболей; другой принес 15. Много и белки, но ею стали уже брезговать казаки и бьют этого любимого на Шилке зверя неохотно.

<sup>70</sup> Казаки рассказывают, что тигр, насытившись добычей, неистово ревет и тем как бы приглашает провозятых своих, ненаходчивых барсов. Большинство слухов останавливается на том, что звери эти на людей нападают неохотно, иначе нечем объяснить отсутствие несчастных случаев при огромном количестве этого хищного зверя.

<sup>71</sup> Нижегородская ярмарка расценила амурских соболей весьма скупо, поставив их несравненно ниже якутских. Так, именно в удском краю встречаются белые соболи, но шкурка этих, кроме редкости, других достоинств не имеет. На Олекме встречается другая редкость: черная белка.

<sup>72</sup> С него на целый месяц снимали знаки достоинства, т. е. отбирали шапку с шариком, бусы шейные, курму о леопардах, не позволяли подбривать лоб, держали в доме за то, что он попустил сжечь кумирню на том несте, где Амур делает колено наподобие волжского в Жигулях, под Самарой.

<sup>73</sup> Такими господами обставляется всякая власть в Китае; несколько таких чиновников приставлено и к амбану. Раз в год они обязаны непременно донести что-либо в Пекин. Про таких, которые хорошо им платят, они обыкновенно едят легкое, удобоизвинительное, но непременно едят что-нибудь дурное. Китайское правительство твердо уверено в том, что всякий, кроме его одного, поступает дурно. Отчего и смена чиновников очень частая, — ими играют, как шашками.

<sup>74</sup> И оставивши Маньчжурию и после тщательных расспросов и наблюдений, мы вынесли то убеждение, что маленькие ножки — проще копытца — принадлежность знатных и богатых пекинских красавиц, у которых есть возможность нанимать чужие ноги и ходить на них в носилках. Маньчжурские же дамы сами ходят в лавки, сами ходят за детьми и за мужьями: им не до моды!

<sup>75</sup> У гражданских чиновников на парадных курмах вышивают вместо барсов драконы.

<sup>76</sup> Божко — шпионы и лакеи неофицерского звания и отличаются от других чиновников тем, что шарик на шапке у них просто металлический, именно — медный.

<sup>77</sup> Относительно бород и усов у китайцев существуют такие порядки: все китайцы до 35-летнего возраста обязаны бриться начисто; с 35 лет позволяют носить усы, с 45 выходит разрешение на бороду.

<sup>78</sup> За этим шариком следует еще один и последний — яхонт, выдаваемый непосредственно самим богдыханом из дворцовых сокровищ. Чин с этим знаком делается придворным, неправильно наз. мандарином (с легкой руки португальцев).

<sup>79</sup> Считаю излишним заметить здесь, что во все время разговоров наших мы видели в толпе чиновников одного с бумагой и кисточкой. Это был фискал, приставленный к самому амбаню и обязанный записывать весь разговор.

<sup>80</sup> Т. е. Головин, заключивший с Китаем трактат (1868 г.), так наз. Нерчинский, по которому Россия отступилась от Албазина и вывела с Амура русские.

<sup>81</sup> Слово это при крайней распротраненности своей, за неимением других, имеет частое применение и обширное значение. Оно значит и *приди*, и *ступай*, и *давай*. Кто как хочет, тот так и употребляет это слово. Маньчжуры его считают русским словом, отчасти и справедливо, если вести его корень от слова *шел*, хотя в таком случае его правильнее назвать оманьчжуренным русским словом.

<sup>82</sup> Выпускают же за границу и за действительно Великую стену всякого китайца, желающего торговать с чужеземцами, только под тем условием, чтобы он семью своих дорогих и кровных с собой не брал, а оставлял на родине в виде заложников, на которых правительство и изольет свой гнев потом, когда купец вздумает бежать к иноземцам. Случаев подобного рода нигде и никогда не бывало, и северных китайцев ни одно государство в числе своих подданных не считало; но закон этот равно неизменен повсюду; то же самое и в Айгуне, и на реке Уссури, и на берегах Великого океана. И в Маймачине живут купцы холостяками; и во всем городе этом женского духа слыхом не слышать и видом не видать. Заморозив постановление это на века вечные, пекинский двор делает только такую уступку, что позволяет купцу через три года съездить на родину повидаться с семьей да кстати понабраться снова китайского духа, который как-никак, а на чужой стороне успевает повыветриться. Этого Китай хуже всего не любит и со скрежетом зубов и искусавши губы подписал в 1860 г. дозволение южным китайцам — кулиям — эмигрировать, но только потому, что европейские войска победительно стояли в самом Пекине, — и с тем непременно, чтобы при первом же случае постановление это ограничить, а потом и отменить совсем. Это верно по тем многократным примерам двоедушия, какое старательно показывают китайцы в отношениях ко всем народам, навязывающим им свою непрошеную дружбу.

<sup>83</sup> Под именем барха слывет московский плис, за мизеричкое сукно, выделанное в Мезеричах, идет на Кяхте всякое с московских фабрик.

<sup>84</sup> Всякий сорт менять готов.

<sup>85</sup> Аршин.

<sup>86</sup> Я видел старика Маюкона с братьями, известного в большей части России за некогда сильно распространенный черный чай его фузы — в виде скелета, отлично приготовленного для анатомического кабинета. Он был страшен видом, отчаянно и беспрестанно кашлял, с трудом стоял на ногах и при нас свалился не в гроб, а на нары. Растянувшись по ним во весь свой рост, он клал свою голову на подушку, брал в рот чубучок в то время, когда другой старец (его брат) зажигал ему опиум, положенный в такой же снаряд, как и персидский кальян; старик неистово начинал тянуть сладковатый и действительно приятный дым опиума и при нас же заснул в приятных грезах, между которыми он, конечно, не встретил образа своей немилостивой и заслуженной смерти. Юрта же, до которой шли мы мудренными переходами через несколько дворов, между какими-то бочками, за которые задевали мы и оступались, на наш приход была полна народа, жаждавшего попить от этой сладости. К тому же кальяну с другой стороны мог подвалиться второй, для чего кстати приготовлена была еще одна подушка.

— Милости просим! — предлагали мне китайцы; но я не решился на этот раз, потому что мне предстояла прогулка по улицам Маймачина, иллюминированным фонарями по случаю праздника белого месяца: «смотрим фонарей».

<sup>87</sup> Мне довелся случай попасть во внутренние покои одного маймачинского купца, и я положительно был озадачен громадным количеством серебряной монеты, которую купец до нас считал, и, расставляя столбиками на полу, русскими целковыми и полтинниками уставил большую половину очень большой комнаты. В доказательство того, до какого громадного количества доходят капиталы у китайских купцов, рассказывается случай, бывший при богдыхане Кяв-Луне. При нем жил в Пекине такой богач, который на вопрос самого хана отвечал, что имеет серебра столько, сколько можно в его доме измерять глазами. Богдыхан велел все это отнять у купца, а его самого казнить. У другого купца имелся погреб, доверху наполненный серебром.

<sup>88</sup> Может быть, даже нинь-дзинь (серебряную иголку) — первый чай, показавшийся на коре чайного дерева и еще не развернувшийся в лист, а свернутый стрелкой, иголкой. Он бывает покрыт тончайшим белым пухом, как бы волокнами белого шелка. Чай этот — редкость, сбор его вредит плантациям, и хозяева их посылают нинь-дзи в подарок друзьям и к двору богдыхана, откуда идут, также для подарков, два сорта чая цветочных: цю-мы (царские брови) и ку-мы (дань брови), т. е. такие чай, листики ко-

торых дугообразны и подобны человеческим бровям. Сорты эти обязательны поставкой ко двору богдыхана как дань, подать с чайных фунчанских плантаторов.

<sup>89</sup> Из самых названий фуз можно видеть, во-первых, что фузы это — компании; так, напр., есть сан-и-чэн — составившийся справедливостью троих; элл-хакон-цзи — справедливость двух соединившихся; сан-ю-кон — справедливость троих оставшихся; цу-юа-шэн-дзи — разбогатевший от двух источников; во-вторых, видно, что фузы эти богаты: ко-лун-ко — блистает великим богатством; оан-шэы-чу-ан — сохраняется богатством троих; ко-фа-чэн — разбогател обширными предприятиями; хун-ю-се — единоподушие великих богачей; в-третьх, справедливость почитается великим источником, согласие — первую добродетелью, тишина и согласие — путем к изобилию и барьшу.

<sup>90</sup> Замечательно, что кули (южные китайцы), прежде других заявившие желание эмигрировать, не иначе нанимаются на работы в Калифорнии, как с тем непременно условием, чтобы тела их по смерти перевезены были на китайскую землю.

<sup>91</sup> Народное название Кяхты. См. ниже об этом.

<sup>92</sup> Летом у маймачинских китайцев имеется развлечение в разведении садиков с цветниками и огородов для овощей. На то и на другое китайцы, как известно, не имеют соперников на всем земном шаре, особенно по части искусственных и тепличных растений.

<sup>93</sup> У некоторых купцов число их доходит до 20 и более, особенно в тех фузах, главные хозяева которых живут в Сан-сине.

<sup>94</sup> Но неправильно. Это сердцевина особенного рода бамбука, растущего только на острове Формоза. Разрезая ее на тонкие, в писчий лист, пластинки, китайцы получают такую нежную (немножко замшистую бумагу), что туземные яркие краски и терпеливо отделяваемые рисунки ложатся на ней действительно оригинальным и красивым образом.

<sup>95</sup> Делается это просто: под перепонку раковины, приготовляющую перламутр ее, вкладывают какое-нибудь постороннее тело и снова бросают в воду. Года через два, через три вынимают из воды приспособленные таким образом раковины и получают жемчужины.

<sup>96</sup> Доктор Шеффер, посланный Барановым, — одним из энергических деятелей Североамериканской компании, в 1816 году привел в подданство России короля Сандвичевых островов и получил от него акт, свидетельствующий о королевской готовности к подчинению. Акт было велено возвратить королю, Шеффера вызвали в Петербург. В 1830 году пруссак Шлетке затевал снова

поднять этот вопрос и подал проект, за который получил благодарность.

<sup>97</sup> Все эти планы, ловко придуманные, и все эти предприятия, мастерски задуманные, принадлежат ирландцу Петру Добелле — дальновидному, смелому и энергическому. Он думал Ликейские острова сделать центром торговли России с Калифорнией, Манилой, Китаем и Японией; предполагал снабжать Камчатку хлебом с островов Сандвичевых; намеревался завести морскую торговлю чаем; был уверен в возможности подчинения островов Филиппинских. За проект этот Добеллу назначили русским консулом в Гельсингоре. Злополучный мученик, человек также энергический, практически-опытный Рязанов, но поставленный в русских американских владениях во враждебные отношения с Крузенштерном, умер на дороге в С.-Петербург, везя широкие и важные проекты и планы, касавшиеся преимущественно Японии, куда уже ходили торговые русские люди.

<sup>98</sup> «Если по Амуру (дополняла инструкция) могут ходить суда только мелкие, не могущие пускаться в море, в таком случае домогаться, чтобы китайцы дозволили устроить России на устье Амура складочное место для перегрузки товаров; при этом не отсекаться от приема могущих быть со стороны китайцев условий, на какие может их подвигнуть их мелочность и трусость. На Амур отправлен был Д'Овре. Велено было скрывать цель его пребывания в Нерчинске в тайне. Ему предписано собирать сведения о военном положении страны, лежащей между Байкалом и чертою китайской границы, начиная от Стрелки до Кяхты и особенно до части, ближайшей к слиянию Шилки с Аргунью. Д'Овре обязан был узнать о состоянии военной силы у китайцев в Маньчжурии, по Амуру и проч., представить заключение о том, возможно ли будет со временем совершить небольшую тайную экспедицию в страны, лежащие между Амуром и Становым хребтом; не вверять тайны никому, сотрудников занять астрономическими наблюдениями и вообще всем, что обратит на себя внимание; отнюдь не переходить черту границы» и проч. От 10 мая 1805 г. Головкин представил записку об Амуре князю Чарторыйскому и мнение свое о невозможности и ненужности домогаться у китайцев уступки всей реки, ограничиваясь пространством, какое определяется Зеей, Амуром и Удью. 17 окт. того же года Головкин представил серебряный ковш и печать, пожалованные бывшему городу Албазину царем Алексеем Михайловичем и доставленные послу иркутским губернатором Селифонтьевым. Тогда же следовала в Петербург записка Головкина с сокращенными сведениями об Амуре и с картою. Д'Овре доставил сведения о путешествии боярского сына

Игнатия Милованова в 1686 году по реке Дзее с картой этой реки (один экземпляр ее должен быть в Енисейске, а другой в Москве).

<sup>99</sup> Один из начальников миссии (именно архимандрит Софроний), говоря в своем «известии о Китайском государстве» о трезвости китайцев, делал такое заключение: «Очень редко случилось мне видеть, дабы китаец, подобно российскому дьячку, живущему в Пекине (Бейдзине), шатался пьяный по улице».

<sup>100</sup> Эта небольшая кучка русских, усилившаяся браками и переродившаяся из кавказского в малайский тип, была первою христианскою колонией внутри Китая. Ради нее устроилась миссия и существует до сих пор при представительстве одного из замечательнейших людей, когда-либо являвшихся начальниками пекинской миссии, почтенного отца архимандрита Гурия.

<sup>101</sup> Не только купцов, но и военные разъезды хватали в плен и людей безнаказанно продавали в Ташкент, Бухару и Хиву.

<sup>102</sup> Не допуская русских чиновников до непосредственной передачи подарков в Пекин внутри самого дворца, китайские чиновники принимали их в Калгане. Отсюда везли их накрытыми эмблемами богдыхана, с торжеством и пышностью, приглашая народ на это зрелище, причем старательно хлопотали выговорить обязательство для русских — быть одетыми в простые, непышные костюмы.

<sup>103</sup> Архимандрит Софроний Грибовской, возвратившийся в Россию в 1808 году, указывал на несколько подобных случаев и между ними на один весьма характерный. Китаец Лю-Си-Джов взял у Софрония бобровые меха и не заплатил денег. Приведенный в суд, он говорил: «Русские, приехав из своей земли к нам в холщовом платье да в сермягах, ведут себя смирно: а у нас, одевшись в канфу да ланзу, которых они в своем месте, может быть, никогда и не видывали, а не токмо не нашивали, ставят себя выше всех людей на свете». «Сказав сие, — прибавляет о. Софроний, — начал было закатывать рукава, что значит (!?) начинать драку, от коей офицерами удержан».

<sup>104</sup> Кяхта получила свое название от реки, а река от монгольского слова, означающего траву пырей, любимую пищу верблюдов и растущую по реке этой и по всем окрестностям в изобилии. У кяхтинцев существует предание о том, что, когда возник вопрос о выборе места для торгового пункта, китайцы требовали такой реки, которая текла бы за границу и не представляла бы удобств к отравлению воды на случай неприязненного времени. Одна эта речка (текущая всего только 11 верст) и могла выполнить это требование. Для поднятия воды устроены были две плотины: верхняя и нижняя, в настоящее время уже не существующие, но по ним официальное

название Кяхты (собственно торговой слободы) изменилось на местном языке в имя Плотины. Троицко-Савская крепость основана была в 1727 г. иллирийским графом Саввою Владиславичем Рагузинским, заложившим церковь во имя Св. Троицы, название которой с именем основателя перешло в наименование города.

<sup>105</sup> Некогда русская таможня существовала в пяти верстах от города Селенгинска, на так называемой Стрелке (т. в. при впадении р. Чикоя в р. Селенгу). Здесь все идущие в Россию чаи очищались пошлиною. Сюда наезжали китайские чиновники, а с ними весьма часто и купцы с товарами. Завелась было торговля, но вскоре прекратилась по тому поводу, что казаки, буряты и беглые начали грабить китайцев: китайцы перестали ездить. Таможню перенесли в Троицко-Савск; теперь она уже в Иркутске.

<sup>106</sup> Все количество свечей, сложенное на алтаре главного храма, наглядно представляет сумму лет, прожитых Китаем, потому что свеча готовится в одном экземпляре на весь Китай и только для руки богдыхана. Для прочих властей и правителей делаются свечи худшего достоинства, меньшей толщины и с более слабым ароматом. Приготовление и рассылка их составляют привилегию далай-ламы, который с нарочными рассылает их из Тибета по всему буддийскому и ламайскому миру и продает за высокие цены. Свечи эти готовятся из самых ароматических (и символических) трав, которые так искусно и плотно прессуются, что имеют вид и твердость дерева. Они не горят пламенем, но тлеют; цвет их красноватый; но свеча богдыхана темно-коричневая. Небольшой обломок ее попал мне в руки благодаря досужеству наших казаков, бывших свидетелями разгрома дворца богдыхана и главного буддийского храма во время недавнего нападения англичан и французов на Пекин.

<sup>107</sup> Во внутреннем Китае праздник «белого месяца» отправляют богатые 17 дней, бедные только пять. В богатом Маймачине обычаю этому не следуют и на досуге прихватывают к обычным еще несколько лишних дней.

<sup>108</sup> А теперь они в множестве поселены и на Амуре, и по р. Усури.

<sup>109</sup> Китайцы вообще не гнушаются употреблять в пищу то, что другие народы позволяют себе иногда в видах исключения. Мясо лягушек, лошадей, ишаков и верблюдов здесь является общепотребительною снедью. И несмотря на то, что правительство не позволяет убивать этих животных в здоровом состоянии, их с одинаковым удовольствием едят палыми. Собачина в Пекине не дешево баранины и употребляется уже не бедняками, а только одними богатыми китайцами. Бедняки не гнушаются есть мышей, кошек

и проч. Рыба в Пекине — самое редкостное лакомство, привозится только для богдыхана и употребляется в пищу (по причине долговременного путешествия с Амура и его протоков) всегда крепко тронутой, сильно попортившейся. Привычка сумела, однако ж, приучить китайцев находить в этом разложении и гниении то, что мы называем вкусом. Лучшим мясом китайцы почитают: мясо поросят, уток, голубей и воробьев.

<sup>110</sup> Как бы недостаточен ни был китаец, для всех гостей, по народному обыкновению, он должен поставить *полный обед*, т. е. четыре чашки и пять тарелок, *всего восемь блюд*, полагаемых для 4 человек. Для 4 же почетных ставят обед из десяти чашек и восьми тарелок, т. е. всего восемнадцать блюд.

<sup>111</sup> Маймачинские бурханы тем отличаются от айгунских, что покрыты самыми дорогими и ценными материями. Канфа (атлас) чудовищно громадного бога до того плотна, что на ощупь сдает решительной кожей, и до того ее много, что по наглазному расчету на бурхана пошло свыше ста русских аршин. А таких бурханов в маймачинском храме пять. Один бурхан покрыт мантией из канфы желтого цвета, разрешение на которую выдано было самим богдыханом в виде особого его благоволения к Маймачину (по этому поводу город ликовал целый день). Множество других бурханов, стоящих один против другого двумя рядами, не имеют облачения. Между ними резко отличается от других один в латах, в греческом шлеме и в греческой тунике, но с китайским обликом, усами и бородкой, который, по мнению знатоков, изображает Александра Македонского, возведенного китайцами в божество за то, что он не шел дальше Индии и, таким образом, пощадил Китай. Обожествление не только умерших, но и живых героев — в духе буддийской религии, которая при этом предпосылает только сказание про героев из иноземцев, что они, будучи пришельцами, все-таки по предкам принадлежат к китайской расе и в жилах их течет несомненная никанская кровь.

<sup>112</sup> Общественные сооружения запустели; многие фабричные секреты утратились. Старый фарфор несравненно лучше; древние машины, прежние краски и материи из шелку были прочнее и идти в сравнение с настоящими ни в каком случае не могут.

<sup>113</sup> Дико смотрят маньчжуры и китайцы на наши танцы; но любят прислушиваться к нашим грустным песням; в театре смеются всему тому, что занимает детей и дешевеньких зрителей из смешливых и неразвитых. Обливали из горшка чрез окно; ломали шляпу и палку притаившегося водевильного любовника — китайцы хохотали с не меньшим простосердечием, как, напр., те же зрители водевилей Александринского и других русских театров.

<sup>114</sup> У китайцев она производится с некоторыми, незначительными, впрочем, вариациями, и своими картами, и такими же костями, как у немцев, и в ту же подкаретную (или в три листика, с бардадымом, фалькой и с темной), каковую охотно переняли они у наших русских.

<sup>115</sup> При наказаниях соблюдается такой порядок: если маньчжура бьет плетью, то китайца — камышовой доской; если китайцу достаются бамбуки, то маньчжура за подобную вину вовсе не наказывают.

<sup>116</sup> Цян-лунь в 1798 г.

<sup>117</sup> Благоприятный случай, основанный на крайней степени доверия и дружбы, случайно передал в руки наших китайский подлинник маймачинской инструкции. Открывший ее русским — по застрастке, изложенной в последнем циркуляре, — подвергается смертной казни или вечной ссылке. Рассказавший одну часть ее присуждается к пятилетней гребле на хлебных барках.

<sup>118</sup> Из объявивших в Кяхте капитал на 1858 год 65 принадлежали сибирским купцам, 34 — купцам русских губерний. Более крупные цифры пали на купцов селенгинских (14), иркутских (18), кяхтинских (9) и тюменских (9); а в России — на московских и казанских (по десяти) и на подольских (5). Мелкие цифры раздробились в России: на с.-петерб. (1), царскосельских (1), верейских (2), верховажских (8), кунгурских (2) и пермских (1). В Сибири по одному из кийских, минусинских, якутских, нерченских, верхнеудинских, три тобольских, 5 тарских, 4 томских, 2 енисейских.

<sup>119</sup> Поджаривают его для того, чтобы придать листьям темно-вишневый цвет; вкус остается все-таки грубый и вяжущий, а когда лист чая не способен принять такого видоизменения, его просто подкрашивают, т. е. опрыскивают квасцами, разведенными в воде.

<sup>120</sup> Вот сорта байхового чая, известные на Кяхте: цветочный, торговый, квадратный, неквадратный первого, второго, третьего и проч. сортов. Из фамильных: ван-син-чи, ми-ю-кон, шиты-чуанхын, син-ты, сан-ю-кон, сию-фаюн, сию-фа-чуан, сан-и-чуан.

<sup>121</sup> Первый: от пристани Тянь-дзин до гор. Тунч-жеу, главной таможни, и отсюда уже сухопутьем до Калгана Цзян-чже-коу. Второй: от тянь-дзинской пристани некоторое расстояние по рекам и каналам, через озеро, образовавшееся вследствие разрыва двух рек при наводнении, в Императорский канал. Здесь по милости чиновников чай тянутся на бечеве вместе с миллионными тяжестями казенного хлеба, доставляемого для войск (в Пекине) до Пекина; отсюда чай идут в таможню, Тунч-жеу. Третий путь

идет на с.-з. к губ. Шань-си, а потом на с.-в., чрез многие реки, в губ. Чжили, где столица Пекин. Здесь все три пути соединяются. Боясь англичан, неохотно везли китайцы чай морем, не стали возить их и сухопутьем по южным провинциям, где в течение 5 лет были три опустошительные наводнения: многие провинции были затоплены, многие реки размыли берега свои и величайшее из китайских сооружений — Императорский канал — представляет теперь печальное и многострадальное зрелище.

<sup>122</sup> Любимыми украшениями полагаются у китайцев надписи над верхними косяками дверей. Надписи эти — изречения мудрецов Конфу-дзи и Лао-тсе. Над воротами дома полагаются резные надписи — название фуз, фирмы торгового дома на манер европейских: та же вычурность, та же замысловатость. Вот, напр., в переводе на русский значение фамилий, пользующихся в торговле известностью: Ван-син-чи — процветающий от удачи во всем; Мы-ю-кон — чистый нефрид справедливости; Ши-ты-чуан — сохраняющийся добродетелями поколений; Хын-син-ты — добродетель, постоянно возвышающаяся; Сан-ю-кон — справедливость троих оставшихся; Сио-фа-юн — всегда счастливый в предприятиях; Ко-фа-чэн — разбогатевший обширными предприятиями; Сан-и-чэн — составившийся честностью троих и проч.

<sup>123</sup> Цель эта достигнута: из кяхтинских торговцев только самые досужие и даровитые кое-как умеют разговаривать по-китайски. Большинство русских должно было волей-неволей изуродовать родной язык и приспособиться к тому, источник которого лежит в Калгане.

<sup>124</sup> Кстати заметим, что название это китайцы не любят, считая его насмешливым ругательством (в значении *раба, побежденного, невольника*), придуманным для них маньчжурами. Сами себя они называют *неканами*, а Небесную империю свою величают *великим Цинским государством*. Так титулуется Китай и в грамотах богдыхана.

<sup>125</sup> Без торгу, без запросу.

<sup>126</sup> Такую цену кто тебе даст?

<sup>127</sup> Вы, русские люди, не верите!

<sup>128</sup> Каждый лан чистого серебра 95-й пробы имеет 8685/1000 золотников русских; след., представляет, по цене чистого серебра, у нас ценность 2 руб. 5 86/100 коп. сер.

<sup>129</sup> Мянзя — деньги.

<sup>130</sup> Твоя воля.

<sup>131</sup> Сукна русские, по-китайски «кало», имели на Кяхте свои названия, перековерканные из фамилий фабрикантов: были мезеричские, масляные, карповайские или тридцатые. Эти три

сорта — самые любимые. С большею охотою разбирают в Китае наши плисы (по большей части с фабрики Хлебникова).

<sup>132</sup> Некогда нанка как туземное изделие шла сама в Россию из Китая, когда Сибирь еще заселялась. Теперь русской таковая честь.

<sup>133</sup> 20 февраля 1850 г. Российско-Американской компании «в видах воспособления ее оборотам» дозволено привозить из Китая чай морем для продажи в С.-Петербур., в губ. Остзейских и в Финляндии, в течение двух лет, до 4 тысяч ящиков или по 8 тыс. пудов. 19 декабря 1852 г. пособие это продолжено было еще на два года, а в 1854 году компания исходатайствовала право привезти в С.-Петербур. в следующем году, сверх дозволенных, еще 4 тыс. ящиков.

<sup>134</sup> Это — высокая трава, растущая в степях, с длинными султанами лиловато-розовых цветов. Она дает и плод, наполненный семечками с длинными шелковистыми волосками.

<sup>135</sup> Напр., *Rhamnus* или *falloria*. Растения эти (впрочем, предварительно высушенные) употребляются китайскими бедняками вместо чая.

<sup>136</sup> Окрашивают берлинскую лазурью с гипсом. Это невинно, потому что безвредно; чаще приспособляют окраску к зеленым чаям, потребляемым американцами и англичанами.

# СОДЕРЖАНИЕ

## НА ВОСТОКЕ

Введение.....	7
<b>ПУТЬ НА АМУР</b>	
Глава I. По России.....	67
Глава II. По Сибири.....	114
Глава III. На Амуре (первые путевые впечатления).....	146
Глава IV. В Восточном океане.....	314
Глава V. В Японии.....	365
Глава VI. В Маньчжурии.....	408
Глава VII. У китайцев.....	460
<b>МЕРЗЛАЯ ПУСТЫНЯ, ИЛИ ПОВЕСТЬ О ДИКИХ НАРОДАХ, КОЧУЮЩИХ С ПОЛУНОЧНОЙ СТОРОНЫ РОССИИ</b>	
Мерзлая пустыня.....	555
Лопари.....	561
Самоеды.....	569
Остяки.....	580
Шаманы.....	585
Тундра юкагиров и коряков.....	592
Чукчи и езда на собаках.....	598
Алеуты с соседями.....	605
<b>ПРИМЕЧАНИЯ.....</b>	<b>615</b>

# Сергей Васильевич Максимов

*Собрание сочинений в семи томах*  
ТОМ ПЯТЫЙ

Редактор *А. Полбенникова*  
Художественный редактор *А. Балашова*  
Технический редактор *О. Стоскова*  
Корректор *И. Яковенко*  
Компьютерная верстка *С. Шулаев*

Подписано в печать 10.02.10 г.  
Формат 84 × 108<sup>1/32</sup>. Бумага офсетная.  
Гарнитура «Журнальная». Печать офсетная.  
Усл. печ. л. 33,6. Уч.-изд. л. 31,56.  
Заказ № 0925740.

Книжный Клуб Книговек.  
127206, Москва, Чуксин тупик, 9.  
[www.terra.su](http://www.terra.su)



Отпечатано в полном соответствии с качеством  
предоставленного электронного оригинал-макета  
в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат»  
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97

Литературное  
приложение

**ОГОНЁК**

[www.terra.su](http://www.terra.su)

ISBN 978-5-4224-0033-1



9 785422 400331

[www.soyuzkniga.ru](http://www.soyuzkniga.ru)